ЮРИЙ
3
ЮРИЙ ТРИФОНОВ

ЮРИЙ ТРИФОНОВ

3

ЮРИЙ ТРИФОНОВ

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ
В ЧЕТЫРЕХ ТОМАХ

ЮРИЙ ТРИФОНОВ

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ В ЧЕТЫРЕХ ТОМАХ

✦



МОСКВА
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»
1986

ЮРИЙ ТРИФОНОВ

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

ТОМ ТРЕТИЙ

НЕТЕРПЕНИЕ
РОМАН

СТАРИК
РОМАН



МОСКВА
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»
1986

Р 2
Т 69

Составители
И. Д. ГРОМОВА, Т. А. СМОЛЯНСКАЯ

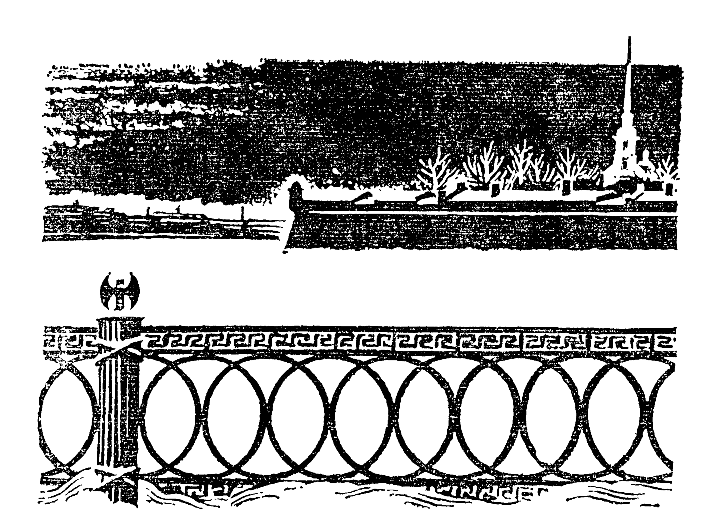
Оформление художника
М. З. ШЛОСБЕРГА

Т $\frac{4702010200-133}{028(01)-86}$ подписное

НЕТЕРПЕНИЕ



РОМАН



ГЛАВА ПЕРВАЯ

К концу семидесятых годов современникам казалось вполне очевидным, что Россия больна. Спорили лишь о том: какова болезнь и чем ее лечить? Категорические советы, пророчества и проклятья раздавались в стране и за границей, на полутайных собраниях, в многошумных газетах, модных журналах, в кинжальных подпольных листках. Одни находили причину темной российской хвори в оскудении национального духа, другие — в ослаблении державной власти, третьи, наоборот, в чрезмерном ее усилении, одни видели заразу в домашних ворах, иные в поляках, третьи в бироновщине, от которой Россия за сто лет не могла отделаться, а великий писатель полагал, что виноват маленький тарантул, piccola bestia, то бишь Биконсфильд, забежавший в Европу. Были и такие, что требовали до конца разрушить этот поганый строй, а что делать дальше, будет видно. Да что же происходило? Вроде бы все шло чередом: росли города, бурно раскидывались во все стороны железные дороги, дельцы нагребали состояния, крестьяне бунтовали, помещики пили чай на верандах, писатели выпускали романы, и все же с этой страной творилось неладное, какая-то язва точила ее. Всю Россию томило разочарование. Разочарованы были в реформах, разочарованы в балканской войне, власть разочаровалась в своих силах, народолюбцы разочаровались в народе. Появилось много людей, уставших жить. «Русская земля как будто потеряла силу держать людей!» — говорил с горечью писатель, что стращал всех тарантулом.

Понять, что происходит, современникам не удавалось: не замечая причин, они со страхом и изумлением наблюдали следствия. Лишь десятилетия спустя эта пора душевной смуты, разочарования и всеобщего недоволь-

ства будет определена как *назревание революционной ситуации*. А начиналось все это порядочно давно. Еще в те, наверное, времена, когда никому и в голову не могло прийти, что что-либо начинается. В 1866 году (едва ли тут было начало!), в царя, освободителя и реформатора, стрелял злоумышленник...

Спустя двенадцать лет зимою, в Одессе, молодой человек по имени Андрей Желябов должен был принять тяжелое решение: расстаться с женой, с которой прожил шесть лет и которая, он знал это, очень сильно его любила. Но у них был сын, и о нем следовало думать. Жена была еще молодая женщина, певица, музыкантша, нравилась мужчинам, отец влиятельный господин, сахарозаводчик, гласный городской думы, который другому зятю устроил бы отличную жизнь, и судьба жены могла бы перемениться. А какая жизнь с ним? Полунищенство в Одессе, два стула и кровать, крестьянская воловья работа в Николаевке, от зари до зари (однажды видел, как, лежа на меже, плакала), тревоги, неустройства, непутевые друзья без гроша в кармане, какие-то подозрительные женщины, развязные, с наглым взглядом, с папиросками, разговаривающие с нею свысока, ночью громыханье сапог, обыски, уходы, уводы, исчезновения, сначала на четыре месяца, потом на семь месяцев, унижение перед родителями, чтобы взять на поруки... Да зачем же все это терпеть? Конца не видно. Впрочем, виден. И даже — явственно.

Вот уже никого из старых друзей нет в Одессе: Волховский в Сибири, Петро Макаревич, Сережка Жебунев и Соломон там же, в Тобольской губернии, Сережкин брат Владимир под надзором на Харьковщине, а Никола, третий из Жебуневых, удрал в Париж. И Аня где-то там, далеко, в Европе, а Иван Ковальский казнен в августе.

Поэтому, если рассуждать спокойно и здраво, руководствуясь логикой, а не чувством...

— Зачем ты пришел сюда?

— Мы должны расстаться.

— Мы и так расстались. Это все знают. Летом ты сбежал от нас к Митьке, прекрасно там жил на бахче, торговал арбузами, мне все известно, тебя видели на базаре в Брацлаве... Зачем ты нас мучаешь? Что тебе нужно?

Из соседней комнаты, тихо приподняв занавеску, вышел маленький мальчик. Он был очень бледен, с круглой обритой по-казацкому головкой. Остановился и смотрел с каким-то робким и страстным вниманием на отца. Мать протянула руку, как бы зовя мальчика к себе и одновременно загораживая ему дорогу к отцу.

— Что мне нужно? Во-первых, вот что...— Он смотрел на мальчика.— Взять то, что я оставил летом в мешке. Где-то там, возле окна, под полом.

— Ничего нет, я не хотела рисковать и все выбросила. Еще что?

— Еще то, что я уже сказал: расстаться.

Он произнес это твердо, глядя на мальчика. Только твердость была спасением. Потому что все уже кончено, надо немедленно и навсегда. И мальчик, который еще колебался, не знал, подойти ему к отцу или нет, сделал шаг к матери, она обняла его и прижала загорелой красивой рукой. Другой рукой закрыла лицо.

— Андрейка, ступай в комнату,— сказала мать.

Он ощупывал в кармане железную немецкую игрушку, бородатого рождественского гнома, купленного по дороге сюда. Сжал в кулаке, сломал. Они должны его возненавидеть. Мальчик вышел, она сказала сломанным голосом:

— Тебе нужно непременно добить... до конца...

— Ты ничего не понимаешь! У нас выхода нет.

Она плакала. Он терпеливо ждал, сидя на стуле у окна. Смотрел на улицу. Нужна была ее ненависть, безоглядная, полная — тогда, может быть, они спасутся. Ольга поглядела с внезапной улыбкой.

— Я знаю, о чем ты думаешь! Понимаю все твои благородные хитрости. Но ты себя не обманывай. Дело простое! Ты меня никогда не любил! — Ждала возражений, хоть каких-то, из вежливости, чтобы немедленно обличить. Это было неправдой. Но он промолчал.

Вдруг вспомнилась та осень в Городище, шесть лет назад, когда он приехал в имение будущего тестя, еще ни о чем не догадываясь, еще полный ожесточения от неудачи с университетом — одесские власти были согласны его восстановить и даже ходатайствовали, но министерская сволочь в Петербурге ни за что не соглашалась, и пришлось терять второй год — и там, в Городище, обе ученицы, Оля и Тася, горячо ему сочувство-

вали и жалели его, и первые несколько дней он только и делал, что рассказывал всю эпопею в подробностях. Сейчас, вспоминая то, как он рассказывал, да и саму эту историю с профессором Богишичем, он понимал, что тщеславился и петушился сверх меры, хотя гордиться было нечем. Подумаешь, событие! Профессор, старый болван, сделал замечание Абрашке Беру (Абрашка задремал на лекции): «Вы что, в кабаке? Не хватает еще подушек! Вон!» Абрашка пытался что-то пищать в свое оправдание, но Богишич заорал: «Молчать! Вон!», топал ногами, как генерал на денщика, ну и, разумеется, оставить такое скотство без последствий было нельзя. Сначала бойкот, потом ждали объяснений, ректор пытался замять, Богишич уклонялся, но министр, граф Толстой, требовал грозных кар. Смешно все это. Во-первых, вздор: какие в кабаке подушки? Полуграмотный серб, по-русски-то говорить не научился, но такие слова, как «Молчать!» и «Вон!», уже знал прекрасно.

Тася дразнила: «А, так и надо! Не вступайтесь за какого-то Бера!» Он вступался не за Бера, а за принцип. Студент есть человек со своим кодексом чести, и никому не должно быть дозволено топать на него ногами. Ольга, старшая сестра, слушала с молчаливым восторгом. И от восторга — даже пятна на щеках, под смуглым румянцем. «Признайтесь, Андрей, вы были руководителем? Громче всех кричали «Долой!» Ничего подобного, он как раз написал в письменном объяснении — начальство добивалось узнать, кто коновод — коноводом не был, потому что их нет между студентами. Тася хохотала: «И нам боится сказать! Почему вы нам-то не скажете? Из университета только двоих исключили, вас и Белкина: значит, вы и есть коновод!»

До приезда в Городище было два учительских опыта: в Одессе учил грамоте еврейских девочек, раздражался, не хватало терпения, и в лето накануне городищенского жил в Симбирской губернии, в имении Горки, учил мальчишек Мусиных-Пушкиных. Там была трудовая жизнь, вставали с петухами, купались в холодной воде, работали в поле, косили, сгребали сено, и при этом: литература, история, Колумб, Галилей, Петр Великий, собиранье в окрестностях преданий о Пугачеве. Хозяин имения, дядя мальчишек, старик не злой, но убежденный крепостник, вечно задирался: «А почему полагаете, молодой человек, что история движется революциями? Откуда сие известно, кто доказал?» Споры

бывали изрядные. Старик сердился, называл Андрея «висельником», «Сен-Жюстом».

В Городище все было иначе. Отец Ольги и Таси страдал почти теми же муками, что и Андрей, хотя излечить их надеялся по-своему. Все разговоры за обедом вертелись вокруг гласности, земства. А после занятий — в рощу, к реке или к тайному месту, в карьер, где ломали камень лабрадор. Там было темно, жутковато. Тасе вскоре наскучило. Они ходили вдвоем. Среди каменных стен Ольгин голос звучал сказочно низко, она пела украинские, из опер, и удивительно хорошо один романс: «Не уходи, побудь со мною!» Глаза северянок, блеклые, не видные ночью, но украинские, черные — светятся. И в них было сострадание, постоянное, с первого дня. А за что было его жалеть? Он здоров, могуч, верил в себя, ничего не боялся: на набережной поколотил однажды сразу троих моряков, пьяных греков. Но вот тогда — в первый год их жизни — она его непрерывно жалела. У нее это слилось: жалость, гордость им — тоже непонятная — и какая-то совершенно слепая, безответная преданность. Сразу была готова бросить дом, отца, все самое дорогое, фортепьяно, ноты, сестру, и — куда угодно, за ним. Тесть, умный хохол Яхненко, сказал однажды не то смеясь, не то со скрытой родительской горечью: «Ну и любишь ты своего карбонара!» Это и было и есть самое тяжкое — потому что истинное.

Мать, которая не слишком-то Ольгу привечала, признавала ее худой хозяйкой, называла барыней, косоручкой, все же отдавала должное: «У нее без тебя жизни нет». И когда перед вторым арестом все как-то напряглось, он стремился в Одессу, Ольга протестовала, плакала, умоляла прекратить, пожалеть — мать чутьем поняла, что дело плохо, и пыталась уговаривать и мирить. Уж лучше с барыней, с косоручкой, чем с теми озорниками, страшными, от которых ее сыну одни напасти и беды.

Озорников мать в глаза не видела, если не считать Михаила Тригони, который залетел однажды в Николаевку, когда кончили Керченскую гимназию и до отъезда в Одессу были свободные дни. Но Миша тогда еще настоящим озорником не был. А вот отец прибыл как-то в Одессу по делам имения, где служил управляющим, и застал в доме сына шумное сборище. Недавно прошли внезапные аресты: Феликса Волховского, Жебуневых,

Глушкова, Петра Макаревича. Никто еще толком ничего не знал. Просочился слух, что выдает Трудницкий. Вот это и обсуждалось, с возмущением, изумлением, стараньями догадаться и что-то себе объяснить. И у Андрея уже начались неприятности: в сентябре был обыск, допрос, выясняли — по доносу этой твари Солянниковой, соседки Петра Макаревича,— бывал ли он на собраниях у Петра. Удалось отделаться, убедить, что не бывал, ошибка, он благонамереннейший молодой человек, зять гласного думы и члена городской управы. Конечно, имя Яхненко кое-что значило, Андрея отпустили в тот же день, но тревога не исчезала, наоборот — росла. В любую минуту все могло повториться гораздо более грозно. Ведь собрания на квартире у Петра действительно были, и он, Андрей, там витийствовал, просвещал рабочий люд, почитывал разные книжонки и брошюрки, за которые по головке не гладят, а дают, не глядя, ссылку, а то и крепость. Было, было! И с тем же Петром и Соломоном Чудновским книжки эти добывали из-за границы, через контрабандистов, и сплавляли дальше, на север — тоже было.

Ольга требовала тотчас покинуть Одессу, уехать в Городище, отец — не понимавший половины того, о чем толкуют, но чуявший главное, опасность сыну — звал с собой, пароходом в Феодосию, отсидеться дома.

Они не понимали! Ладно отец, человек далекий, но — Ольга! Она-то должна сообразить, что уехать из Одессы ему, оставшемуся на воле, было невозможно. Все нити, еще не оборвавшиеся, держались на нем. Он передавал, предупреждал, сообщал в другие города, писал шифром Ане Макаревич, жене Петра — она спаслась от ареста случайно, перед августом уехав из Одессы в Киев. И вот примчалась, взволнованная, и вместе с Машей Антоновой, женой другого арестанта, Волховского, сразу же — к Андрею, на Гулевую. Узнали, что Волховского перевезли в Москву, в Бутырки, и от Кравчинского уже пришла весть, что будут пытаться освободить. Ну и Маша, конечно, не могла усидеть в Одессе ни минуты.

Был в тот вечер Виктор Малинка, только что исключенный из университета за невзнос платы, были еще кто-то, двое или трое, жены арестованных. Разгром в ту осень был жесточайший, живых людей в Одессе не осталось (и все по вине этого подлеца или сумасшедшего Егора Трудницкого! Как в дырку из мешка вдруг про-

сыпалась вся картошка). Потом уж Андрею рассказали, что в Петербурге великие революционные умы, узнав об одесских делах, приняли своим синедрионом решение: признать одесский кружок несуществующим.

В эту кутерьму и смуту, в разговоры о Трудницком, о том, как быть и куда податься, попал отец. Тут, конечно, были и вино, и карты, Ольга садилась к фортепьяно и пела без воодушевления — сосед, чиновник, обязан был полагать, что у господина Андрея Ивановича и его супруги Ольги Семеновны гости, веселье. Отец смотрел на все это с некоторой оторопью. Поражало его, что, когда одна молодая дама плакала и вытирала слезы, другая в это же время что-то рассказывала, смеясь, а его невестка Ольга сидела за фортепьяно и пела. Особенно удивительной показалась ему Аня Макаревич, франтиха, во всем парижском. Такой высокой белолицей красотки с длинными косами, властным, уверенным разговором — она перебивала мужчин, жестами приказывала замолчать,— бедный Иван Желябов в жизни не видел и не предполагал, что эдакие царицы бала могут быть в друзьях у его сына. Аня рассказывала о швейцарском житье-бытье, два года назад, в Цюрихе, куда Трудницкий увязался со всеми — кажется, был в кого-то несчастно влюблен, но тщательно таил в кого. «А может быть, Анечка, в тебя? — спрашивала Ольга.— Ведь в тебя все влюбляются».

Ольга цепляла ее весь вечер. Она ее не любила. Что-то неукротимое, женское, и как всегда у женщин: не просто нелюбовь, а скрытая ненависть. Когда бывали ссоры с Андреем — а они начались как раз той осенью, из-за его отказа уехать,— Ольга называла Аню «твоя Розенштейн». Ей казалось, что между Андреем и Аней что-то непременно было, не могло не быть: ведь они знакомы с гимназических времен, а в Олином представлении ни одна женщина не в силах устоять перед Андреем, и он, в общем-то равнодушный ко всем, готов пойти навстречу любой. В тот вечер она говорила Ане всякие колкости, даже грубости, но Аня, умница, ее просто не слышала. На одном сошлись: Аня тоже считала, что Андрею нужно исчезнуть. Но это было невозможно. Ведь еще ничего не сделано. Не от чего бежать! У других было хоть что-то. Хоть чем-то могли гордиться. Кружки на рабочих окраинах? Перевозка книг? Все лишь в зачатке, в намеках, и вдруг — бежать. Начинать с такой похвальной осмотрительности.

Заплакал Андрюшка, он чем-то тогда болел. Ольга пошла к нему со словами: «Забыли, забыли про нас! Как всегда...» Это «как всегда» было произнесено с нажимом. И Аня сказала тихо: «Я понимаю твою Ольгу, она слишком женщина. Она женщина par exellence[1], в отличие от всех нас. И она будет драться за тебя, зубами вцепится, не отдаст, и — права». Ему это не понравилось. Что значит права? «Права, как женщина. Потому что ты — такой, как ты, понимаешь? — довольно редкое сочетание молекул. Таких без борьбы не уступают». Он сказал, что не понимает, зачем за него надо драться, будто он гроб господень... Подумал: вот Маша, тоже женщина par exellence, влюблена в Феликса безумно, сейчас кинется в Москву в надежде взорвать тюрьму вместе с московским Кремлем, а ведь у них тоже ребенок, Сонечка трех лет, куда ее денут — непонятно, и сама больная, слабая, суставной ревматизм или что-то другое, тяжелое. (Бедная Маша, ее уж нет! В прошлом году умерла где-то в Европе, куда сбежала с горя, так и не освободив своего Феликса. Но попытку, отчаянную и чисто женскую по безумию и непрактичности, она все-таки сделала: наняла лихача, помочь брался Всеволод Лопатин, брат Германа, условились с Феликсом, его везли на допрос, он бросил в глаза жандарму пригоршню табаку, выпрыгнул из саней, схватили, борьба, лихач унесся пустой, и все кончилось конфузом и несчастьем.) Тогда, в октябре, он еще не мог знать всего этого, но по Машиному окаменело-слезному лицу видел, что так и будет. Знал, что она пойдет на все, до конца, когда другие станут колебаться.

И он подумал: а Ольга? Способна ли на такое, беззаветное, когда дело пойдет о животе и смерти? Маша старше, у нее опыт, привлекалась еще по нечаевскому делу, но ведь в этой последней решимости, в жертве всем — собою, Сонечкой — не опыт и не теория, а любовь. То самое, о чем говорила Аня. Вдруг он спросил, как бы шутя: «Оля, ты меня станешь вызволять, когда меня, такого-сякого...» — и пальцами изобразил решетку. Ольга, засмеявшись, покачала головой: «Ну, нет уж! Пусть тебя товарищи вызволяют. Это их дело». Малинка куражился: «А что? Вызволим! Пустяки!» Аня же произнесла очень веско: «Я с тобой совершенно соглас-

---

[1] По преимуществу *(фр.)*.

на, Ольга. Но вот Маша как раз и есть товарищ Феликса».

Потом, когда все ушли, это замечание поминалось долго, и Аня называлась не иначе как «эта ехидная Розенштейн». Отца очень интересовало, кто такая Аня, и Андрей шепотом объяснил: «Это наша атаманша. Приказывает, кого казнить, кого миловать». Про Малинку отец тоже спросил, Андрей ответил: «А это главный наш палач». Отец обиделся. Вот после этого вечера, наслушавшись всяких страстей, дурачеств и шуток, встревожившись, но толком ничего не уяснив, отец рассказал матери, что сын озорует, связался с дурной компанией, все больше бабы, разбойницы, голову ему закрутили.

А Ольга накалялась все сильней ненавистью к Ане, хотя та вскоре уехала в Херсон, потом в Киев, но от нее приходили известия, ей что-то передавалось через Андрея, забыть о ее существовании никак не удавалось, а в ноябре того же, 1874 года произошел второй допрос с обыском в связи с Рафаилом Казбеком, петербургским студентом-технологом, которому Андрей отослал для передачи Ане шифрованное письмо. Вот это письмо и было захвачено у Казбека. Андрей сообщал важное: ту версию, которую гнул на следствии Петр Макаревич и которую Аня, в случае ее ареста, должна была бы повторить. Письмо до нее не дошло, но схватить Аню не успели, она скрылась.

После перехваченного письма Андрей уже не мог отрицать знакомства с дворянином Петром Макаревичем, но говорил, что на квартире у него не бывал, почти с ним не встречался и, более того — избегал встреч. Причина, которую Андрей после некоторого колебания высказал жандармскому полковнику Кнопу, была вполне натуральная и житейская: с юных лет он был увлечен теперешней женой Петра Макаревича, дочерью симферопольского купца Анной Макаревич, урожденной Розенштейн. И хотя он в данное время женат, старое чувство не угасло и причиняет боль. Письмо, отосланное через Казбека Анне Макаревич, было вызвано порывом давних лет, а разъяснений о лицах, упомянутых в письме, он по тем же причинам интимного свойства дать, разумеется, не сможет.

Начальник Одесского жандармского управления полковник Кноп был человек мало проницательный, а может быть, не слишком злобный. Теперь пришли люди

куда чудовищней. Четыре года прошло, а как все переменилось! Два громадных процесса, убийства, казни... Кноп поверил и даже как бы одобрил рыцарские побуждения Андрея. Поверил и тому, что Андрей избегал встреч с Макаревичем и, стало быть, не мог принадлежать к его кружку. Да и Солянникова, соседка Петра, по чьему оговору Андрея схватили, признала, когда ей показали Андрея, что это совсем не тот человек, кого она видела на сходках у Макаревича и имела в виду под именем Желябова. Кажется, тут схитрил тесть: вдовице посулили тридцатку. Ольга в те дни действовала решительно: помчалась в Городище, привезла отца, тот пошел к Кнопу, и полковник, под залог двух тысяч рублей, согласился отпустить Андрея на поруки. А может, главной причиной полковничьей снисходительности было другое: Трудницкий не вписал Андрея в свой кровавый реестр. Бес его знает почему! Виделись мало, не запомнил, забыл.

Так или иначе полковник любезно попрощался с тестем, крепко и многозначительно, даже с каким-то задорным подмигиваньем пожал руку Андрею, и они вышли на улицу. Отчетливо запомнился день: ясный, холодный, с сильным запахом осеннего моря, какой бывает в Одессе в ноябре. Медленно шли по солнышку, тесть был взволнован, дышал тяжело — в минуты волнений его астма усиливалась,— но старался шутить и никак не показывал своего истинного состояния. А ведь, пожалуй, был сильно напуган. Сначала говорил, как бы ободряя Андрея, что, мол, ничего страшного, пустяки, каждый порядочный человек в наши дни непременно должен побывать в кутузке — на самом-то деле ободрял себя,— а затем свел на любимую тему: единственное, за что стоит бороться и принимать муки, это расширение самоуправления и земство. Андрей и не думал спорить. И то и другое было близко его сердцу. Однако как бороться? Какими средствами? Только гласностью! Но не бессмысленной возней в кружках, в артелях, не пропагандой в народе — ибо сие болтовня и сотрясение воздуха. Андрей и тут не спорил, сам подходил к той же печали — только с другого края. Да, конечно, болтовня в народе ни дьявола не поможет, так же, впрочем, как и болтовня в верхах.

Тесть вскинулся: «Вы называете труды земства болтовней в верхах?! А кто добился постройки сиротского дома? Кто заставил начать ремонт набережных? А на-

значение мировых судей?» Ольга ждала их в тревоге, а они спорили, теперь уж до крика, и дважды прошли мимо дома. Почему-то не было никакой радости от того, что гуляет на свободе, по солнышку, а мог бы сидеть под замком. Ведь все товарищи там, а он — только потому, что удачно женился... И не мог слушать спокойно яхненковских поучений. Две тысячи рублей залога и роль спасителя еще не дают права... «Какое добро народу сделали вы вашей хваленой пропагандой, книжонками и листками? — кричал тесть, багровея, размахивая короткими, панскими, по наследству от панов доставшимися ручками.— А мы, презренные либералишки, земские краснобаи, делаем добро реальное! А не метафизическое! Народу не нужны журавли в небесах, дайте ему синицу в руки». Андрей, озлившись, тоже орал: «Да вашего добра народ не заметил! Все это чепуха, капля в море!» — «Но если такую каплю во благо народа будет отдавать каждый...» — «Благоустройство тюремной камеры! Вы кладете половички на каменный пол и вешаете занавески на окна».— «А что вы предлагаете?» — «Разбить на окнах решетки, а не вешать на них занавески».— «Да как вы это сделаете, сударь мой?» — «Я еще не знаю!» И правда, не знал. И не знает, кажется, до сих пор.

За обедом спор продолжался, но менее воинственно, без грубостей: Ольга пугалась, когда отец с мужем начинали петушиться. Ей казалось, что может дойти до ссоры. Но никогда не доходило и дойти не могло: и после второй отсидки, и во время Балканской кампании, когда работали в комитете по организации добровольческих дружин, и на собраниях украинофилов, «Молодой Громады», всегда и везде между Яхненко и зятем обнаруживались разногласия, всегда они в чем-то упорно друг другу не уступали, но вражды не было, разрыва никто не хотел, потому что сохранялось какое-то взаимное, невысказываемое уважение. Пожалуй, так: старик ненавидит очень многое из того, что ненавидит Андрей. Но выводы из этой ненависти они делают разные. И кроме того, тесть не желал, чтобы Ольга и Андрей расставались. Мать Ольги и вся яхненковская родня очень скоро решили, что произошла ошибка, но старик упорствовал до последнего, даже тогда, когда уж и Ольга сдалась. Все надеялся, что зять образумится. Кто-то слышал, как Яхненко с горечью говорил про зятя: «Ведь в любой стране с его умом, ораторским дарованьем он

стал бы членом парламента, министром. А у нас? Загонят куда-нибудь за Можай, в ссылку, и будет там гнить...» За глаза-то рассуждал здраво, а дома, за рюмкой наливки, плел в целях воспитания душеспасительную ахинею.

«Я, конечно, не марксид, хотя не чужд социалистских идей. Но революции я не понимаю! Что в ней хорошего? Ведь революция это revolté, мятеж, взрыв. А взрыв есть уродство, противоестественность. Природа не терпит взрывов, она живет медленно. Взрыв есть адово исчадье, землетрясенье, изверженье Везувия».— «Но рождение человека — это взрыв, и смерть человека — взрыв. Накапливаются силы смерти или силы новой жизни, и происходит revolté. Шестьсот лет, начиная с татарщины, русский народ медленно превращался в рабов. Хотите, чтоб так же медленно шло раскрепощение?» — «Да бросьте, сударь! Рабы, татарщина — это мы любим вспоминать. А наше казачество? Запорожская республика? Да ведь такой вольницы мир не видел!»

Спорили, упирались, каждый оставался на своем — а ведь было ясно, что тут не просто прения под наливку, а набросок судьбы и жизни — и все-таки две тысячи под залог подписал, не колеблясь.

Через два дня после вызволения из лап Кнопа Ольга встретила Андрея в слезах: «Ты меня обманывал! Ты мне лгал! Я была права, у тебя роман с этой жидовкой, с Анькой Розенштейн! Совести у нее нет: муж в тюрьме...» Откуда сие? Накануне приходил человек от Кнопа и втайне расспрашивал ее про Андрея и Макаревичей, сообщив, что Андрей сам признался — даже в письменной форме,— что у него интимные отношения с Аней Макаревич. Полковник-то вышел подлецом. Но это значило и то, что там не успокоились и будут рыть дальше. Он объяснял, бесполезно — рыданья и слезы весь день. Терпения у него никогда не хватало, и он, разозлившись, ушел из дома и ночевал на Молдаванке у знакомых столяров. Была тяжкая, гнусная ночь, без сна. Потому что понял: всегда это будет, вместо главного мелкое, вместо помощи обиды, попреки. Встретил на улице тестя, и тот, славный мужик, тоже стал корить вполголоса: «Голубчик, разве так делают? Вы же конспиратор, такие вещи надо уметь скрывать...» Смешной человечек! Не стал ничего объяснять, махнул рукой: «Хорошо, в другой раз...»

Через неделю пришли жандармы, новый арест. Оказывается, генерал Слезкин — тот, кто раскручивал все дознание по делу о пропаганде,— не удовлетворился объяснениями Кнопа и велел Андрея взять на цугундер. Ольга плакала, пока обыскивали, он был спокоен, гораздо спокойней, чем в первый раз, только раздражал плач жены, вдруг сказал: «Оля, я тебя очень прошу, перестань плакать!» Эта простая фраза подействовала удивительно: Ольга, будто обидевшись, перестала плакать мгновенно. Он отсидел в тюремном замке четыре месяца, вышел в марте семьдесят пятого — опять под поручительство тестя и под залог трех тысяч рублей. Тесть являл знаменитое казачье упорство: бился за Андрея до последней пули. Уехали с Ольгой в деревню, в Крым. Сначала было что-то вроде блаженного медового месяца, ни тяжкий крестьянский труд, ни неустройство, ни темные вечера ее не пугали, она радовалась тому, что они вдвоем, нет вокруг коварных баб, зловредных приятелей, но потом, когда кончилось лето, наступила тоска. Вернулись в Одессу. Тут были бурные месяцы: украинофилы, Балканы, добровольцы, новые люди, надежды. Нет, слом произошел не в деревне, которую Ольга будто бы не смогла вынести — так она говорила своей родне,— и не позже, во время балканской трескотни и одурения, поездок в Киев, встреч с «громадянами», Драгомановым, суеты вокруг журнала «Громада», и даже не тогда это случилось — окончательно,— когда он встретился в Киеве с Аней. Провели вместе целый день, ночь. Петр был в Петербурге, где шло следствие по делу об Одесском кружке. Аня его жалела, говорила, что он долго не выдержит, слаб, немужествен, очень дурно влияет мать, которая проклинает всех его друзей, и вообще по складу характера он не революционер, а бухгалтер. Она говорила о нем, как говорят о добром знакомом, но не о муже.

Зато с восторгом рассказывала о «киевских бунтарях»: Стефановиче, Мокриевиче, Костюрине, Дейче. Те затевали какую-то неслыханную авантюру, о которой Аня рассказала глухо: с помощью самозванства и подложных манифестов, будто бы от имени царя, поднять крестьянское восстание за душевой передел земли. Намечали для этого опыта какой-то уезд в Малороссии, кажется Чигиринский. Андрей про себя посмеивался. Он знал мужика лучше всех этих дворян и полудворян, преисполненных к мужику пылкой любви. Они-то знали

мужика «по Бакунину», верили в то, что мужик всегда готов восстать против панов, что он смотрит на землю, как на божий дар, и одного этого достаточно для того, чтобы восстание вспыхнуло: нужна, дескать, малая искра. Ой, как все это было далеко от истины! Но отговаривать не брался, тем более, что никто с ним в открытую не советовался. Его знали тут мало, и только Аня, старая подруга, была с ним более откровенна. Она была окрылена важной миссией: поехать в Европу, достать части для типографского станка, чтоб отпечатать «царские манифесты». Ехать надо было через два дня. И вот тогда, ночью — это была ее последняя ночь в Киеве,— когда они подумали, что все равно о них так говорят, тут ничего исправить нельзя, они нравились друг другу, это правда, но никогда ничего не было, кроме шутливых поцелуев, однажды он носил ее на руках, но теперь они расставались, может быть навсегда, и кроме того они взрослые люди, отвечавшие за свои поступки, ему было двадцать пять, ей двадцать два, и они расставались, расставались, и самое главное — это бесконечное доверие, и вот потом, уставшие от разговоров, любви и некоторого страха, потому что могли внезапно прийти люди, они лежали молча, окно было открыто, и пахло ранней весной, ночной весной, и она вдруг сказала: «По-моему, самое большое счастье — полюбить человека, которому ты можешь всегда, во всем, каждому его устремлению сказать: «Да! Да! Да!»

Он понял: это мечта. Поняв, поразился: совершенно то самое испытывал он. Почувствовал внезапную, спокойную благодарность. «Может, еще будет у нас с тобой». Она согласилась: «Может быть. Если хватит нашей короткой жизни». Вот и все, и утром расстались. Возможно, если б он сразу примкнул к «бунтарям», к делу, которым она горела, он бы и стал для нее тем единственным, с кем делят любовь и смерть. О смерти они думали много. Ведь вся эта затея с душевым переделом, о которой они хлопотали, должна была кончиться столкновением с войсками и гибелью. Их — первых! Аня ни минуты не сомневалась в том, что все «бунтари» погибнут, но подымется восстание, охватит страну, сметет трон... Андрей понимал, что ни добра, ни пользы от этой провокации с благими целями не будет, да и, по правде сказать, была усталость от слишком страстной и бесплодной веры в близкое народное восстание. Нужно было что-то иное. Нет, не мог

идти к «бунтарям» — там был обман, пахло нечаевщиной.

В начале лета встретил Аню в Одессе. Она недавно вернулась из Швейцарии, все устроила, добыла станок, шрифт, все это находилось теперь в Румынии, и Стефанович уже сидел в Кишиневе, готовясь принять драгоценный груз. Настроение у Ани было какое-то смутное. В Швейцарии посетила Бакунина, рассказала ему про план восстания с помощью «царского манифеста», но великий революционер почему-то не одобрил: «шитое белыми нитками скоро обнаруживается».

В Одессу Аня приехала с Костюриным, добрым малым, которого Андрей хорошо знал по кружку Феликса. Нет, никакой ревности к скуластому молодцу «Алеше Поповичу» не было. С первого взгляда на Аню было видно, что и тут не то. Она спокойно и как-то издалека интересовалась: «Ну, как ты живешь, мой милый? Как Ольга Семеновна?» И звучало это несколько свысока.

Она и Костюрин были теперь за чертой, дышали другим воздухом: нелегалы. Она уже и не Розенштейн и не Макаревич, а какая-то Иванова, Анна Михайловна. Про Петра не говорили. Про чигиринское дело — а они его, видно, не бросали — тоже молчок. Андрей свой, но не до конца, не до последней жилки. Аня даже подчеркнула это в полунасмешливой фразе: «Ты, конечно, как государственник...»

Нет, не Аня Макаревич со всем ее бесстрашием, и умом, и женской погубительной прелестью была причиной того, что с Ольгой — слом. Причина — в нем, в том, что он передумал, перестрадал за последний год и что сделало его другим человеком. Когда это происходит не вокруг, не в обстоятельствах жизни, а в самом человеке, тогда — конец и возврата нет. Он не мог вернуться к Ольге, так же как не мог бы вернуться к себе — прежнему.

В прошлом, семьдесят седьмом году привезли в Петербург, в Дом предварительного заключения: в июле, сразу после боголюбовской истории. Тюрьма еще кипела, протесты не отгремели, кто-то, избитый и покалеченный, лежал в больнице, кто-то сидел в карцере, арестанты отказывались гулять. Он сразу попал в атмосферу безысходной борьбы, которая всегда идет в тюрьмах, большей частью скрытно, но иногда прорываясь наружу с дикой и отчаянной силой. Вот такой взрыв, изверженье вулканической ярости произошло за не-

сколько дней перед его привозом. В тюрьму явился градоначальник Трепов. Эти господа чрезвычайно гордятся Домом предварительного заключения: почему-то считается, что это лучшая тюрьма Европы. Бог их знает почему! Надзиратели говорили: «в нашей образцовой тюрьме, лучшей в Европе...» Для их собачьей службы тут были, вероятно, преимущества. Стоя посредине двора, можно было видеть окна камер всех шести этажей. Коридоры и лестничные переходы устроены так хитроумно, что надзиратели, ведущие арестантов, могут замечательно маневрировать, избегая самого по их людоедским законам страшного: случайных встреч арестантов. Трепов вышел во двор в сопровождении тогдашнего заведующего тюрьмой Курнеева и увидел несколько арестантов, гулявших вместе. Те поклонились, приподняв шапки. Трепов сделал Курнееву выговор: почему обвиняемые по одному делу гуляют группой? Политические преступники — а их громадное большинство в ДПЗ — по три, четыре года ожидавшие суда, сидели в одиночках и обязаны были гулять тоже в одиночку, каждый в своем загончике. Но, пользуясь некоторой снисходительностью коменданта Федорова (в июле он был в отпуске, его замещал Курнеев), арестанты обыкновенно перелезали через решетки загонов и гуляли по двору вместе. Услышав слова Трепова, один из гулявших, Боголюбов, сказал: «А я по другому делу».

Сказал спокойно, без вызова, и сущую правду: был привлечен не к делу о пропаганде, а к делу о демонстрации на Казанской площади. Той самой, в семьдесят шестом году, зимой, когда впервые было поднято красное знамя «Земли и воли», а потом разгорелась драка с полицией. Долговязого Боголюбова приняли тогда за другого парня, тоже великана ростом, который порядочно поколотил фараонов и благополучно исчез. Боголюбов-то (его истинная фамилия Емельянов) был чистый пропагандист, отнюдь не драчун, однако в отместку за того, исчезнувшего, его притащили в участок и зверски избили. Да шут с ними, натешились бы да выпустили, а то ведь какой драконовский приговор: за участие в демонстрации лишить всех прав состояния и на каторжные работы в рудники на 15 лет! И вот этот парень, двадцатипятилетний сын священника, изувеченный в участке и уже осужденный с невероятной жестокостью, позволил себе смиренное замечание: «А я по другому делу».

Трепов почему-то пришел в бешенство и заорал: «Молчать! Не с тобой говорят!» Узнав от Курнеева, что Боголюбов был осужден, распорядился: «В карцер!» Тюремные власти не сразу бросились выполнять приказание, и Трепов, сделав круг по двору, вновь столкнулся с длинной фигурой Боголюбова. И тут раздражительно настроенному генералу показалось крайним оскорблением для себя то, что Боголюбов — мерзавец, каторжник — не поклонился ему при встрече и не снял шапки. А Боголюбову, вероятно, представлялось достаточным один раз поклониться и один раз снять шапку, что было сделано несколько минут назад. «В карцер! Шапку долой!» — закричал Трепов и замахнулся, чтобы сбить шапку с головы Боголюбова. Тот отпрянул, шапка упала. Видевшие эту сцену из окон заключенные решили, что генерал ударил Боголюбова по лицу. В ту же секунду начался тюремный бунт. Сотни людей в бешенстве колотили в стены, ломали мебель, орали: «Палач! Подлец Трепов! Вон подлеца!», бросали вниз, во двор, все, что могло пролезть сквозь решетки. В ответ Трепов распорядился: Боголюбова выпороть.

Об этом громко, так, чтобы услышали все камеры, прокричал Курнеев, когда разгневанный генерал ушел со двора: «Что вы наделали? Из-за вас Боголюбова теперь приказано высечь!»

Бедный малый! Сначала избили до полусмерти, приняв за другого, теперь, в отместку другим, приказано высечь. Боголюбова увели. Триста заключенных бесновались в своих одиночках, тюрьма трещала, выла, стонала, надзиратели растерялись, но затем началась расправа: врывались в камеры и усмиряли кулаками, сапогами, а то прикладами. Ах, любят у нас молотить беззащитных! Особливо когда трое, четверо, а еще лучше пятеро на одного. Приходилось видеть на базарах, как бьют воров, цыган, а то и вовсе и не воров даже, а так, сумнительных.

И вот теперь Андрею рассказывали — на прогулках и перестукиваньем в «клубах», через стульчаки,— как шло усмирение. Многих «доусмиряли» до потери сознания, кого сволокли в больницу, кого в карцер. Леонида Дическуло, товарища по Одессе, по кружку Феликса, засунули основательно избитого даже не в карцер, ибо карцеров не хватало, а в какой-то темный, жаркий, как баня, подвал, весь пол которого был в экскрементах — Дическуло сам рассказывал, встретились

во дворе, Андрей в первый миг даже не узнал Леонида. Недавний красавец, белолицый бородач, он превратился в измученного старика с бегающим, полубезумным взглядом. Все повторял: «Еще одни сутки, и я бы сошел там с ума!»

Феликс Волховский тоже попал в больницу. Его-то уж изуродовали совсем ни за что: на Феликса временами нападала глухота, так бывало и в Одессе, кажется, это велось за ним еще с первой тюрьмы десять лет назад. Когда началось буйство и тарарам, Феликс как раз был глух, ничего не знал и стучал в дверь по какой-то своей случайной надобности. Надзиратели не слышали: были заняты избиениями смутьянов. Тогда Феликс стал колотить в дверь что есть силы, и надзиратели, решив, что и здесь бунтуют, ворвались в камеру и принялись, ни слова не говоря, увечить. Вот уж, наверное, была сласть! Увечить оторопевшего, не готового к сопротивлению, да к тому же больного, слабого... Андрей не видел Феликса долго, тот был в больнице, потом его вернули в камеру — Андрей узнавал от других,— потом наладили связь, сначала перестукиванием через общих знакомых, по трубам «клуба», потом записками через уголовников, Андрей передал все главные одесские новости, в первую очередь, конечно, про Машу и Сонечку, но Андрей не знал о них почти ничего, кроме того, что они за границей, и, наконец, встретились во дворе. Андрей, увидев, содрогнулся. Феликс сгорбился, стал совсем седой. Но улыбка осталась прежняя — мягкая, виноватая. И в рассказе о том, как его избивали и тащили в карцер, а он ничего не понимал, была не злость, а насмешливость. «И долго же я, дурак, добивался: за что? Меня бьют, а я спрашиваю: «За что? За что?» И бьют-то ведь, подлецы, непременно по голове, словно это ни на что не годная для человека посудина...»

Тогда же, во дворе — был теплый день: конец августа, нежаркое солнце, и не хотелось кружить по двору, потому что половина его была в тени, а хотелось просто на солнцепеке, даже не двигаясь, и они стояли возле кирпичной стенки — Феликс читал тихим голосом стихи, много стихов, но запомнились четыре строчки: «Мы погибали незаметно, как погибает муравей, ногой досужею бесследно раздавленный среди полей». И еще он сказал тогда, в первую же минуту, как встретились: «Ну вот, ты здесь! А ведь все началось — помнишь? — Когда Соломон предложил тебе вступить в наш кружок

и ты думал три дня. Мы еще смеялись: добросовестный малый, обсуждает вопрос серьезно. Ты уж нас прости! Завлекли мы тебя, злодеи, в геенну огненную... А то сидел бы сейчас со своей Оленькой в саду да груши околачивал...»

Непонятно было: шутит, что ли? Всегда так: тихо, усмешливо, вроде спроста, а непременно будто иголкой кольнет. Не забыл, что три дня Андрей не решался! На всякий случай ответил шуткой: «Нет, братцы, я злодейства вашего ни за что не прощу. По гроб буду благодарить...»

Придя в камеру, вспоминал. Верно, верно, все и началось с того дня — четыре года назад. Пришел Соломон Чудновский и спрашивает: «Будешь или нет?» На прямой вопрос и отвечать прямо. Соломон — странная личность, всегда улыбается, глаза хитренькие, бородка круглая, шапка круглая, вид обыкновенного жуликоватого еврея, каких в Одессе полно, на базаре гуртуются, в порту маклачат, делишки обделывают. И у этого хитрость, жуликоватость, все есть, только на другое направлено — на других, для других. Был он где-то с Нечаевым связан, по Петербургу, по студенческим волненьям, и, кажется, даже с Нечаевым воевал на сходках, потом учился в Вене, терся вокруг лавровского «Вперед», вернулся в Одессу — Андрей знал его еще по университетским битвам семьдесят первого года, кухмистерским, библиотекам — и вот вопрос: «Будешь или нет?» Соломон уже числился в кружке Феликса, там же, где Макаревичи, Андрей Франжоли и прочая братия. Андрей все это знал. От него не скрывалось. Но для того, чтобы окончательно с ними,— нужно было решаться.

Тут не просто студенческий быт, кассы, библиотеки, стычки с профессорами, тут задачи пошире, государственной мерки: просвещать народ, внушать рабочему люду идеи политической экономии по книжкам Флеровского, Лассаля, с дальним и определенным прицелом. Бакунин говорил прямо: «Народ надо бунтовать». Но — как? Какими средствами? Любыми! Все средства хороши, лишь бы скорей, неотступней, кровавей. Другой кумир, рассудительный полковник Лавров, бежавший из ссылки в Европу, учил оттуда: прежде чем бунтовать, надо и народ и себя подготовить к бунту. И был еще третий учитель оттуда же, из-за рубежа, бывший нечаевец Ткачев, призывавший к заговору и перевороту. Кружок Феликса был пропагандистского толка, скло-

нялся скорее к Лаврову, к петербургским народолюбцам. Значит, другими путями, более долгими, тише едешь, дальше будешь, зато уж наверняка, но конечная цель все та же: бунтовать народ! Все это было ведомо, слышано, Андрей сочувственно одобрял... Но — едва началась семейная жизнь, Ольга ждала ребенка, а дома, в Николаевке, доживали век старики, и он был опорой, непрочной, дальней, но единственной.

Так и сказал Соломону: «Думаешь, легко?.. Дай срок три дня, подумаю и отвечу». Соломон удивился: «А за три дня что-нибудь изменится?» Измениться должно было многое. Он только что устроился на работу: учителем в одну из школ на окраине. Деньги небольшие, но — жить можно, и даже старикам посылать. Кроме того, смущала нелегальщина. Нет, не страх, не боязнь наказания — ничего похожего не испытывал, а какое-то недоверие и даже отвращение ко всему, что делается тайно. Это уж свойство характера. Враги были всегда, потому что отношения к людям скрывать не умел, но враги знали точно, что он — враг, и были наготове. Он объявлял, как Святослав: «Иду на вы!» Как опытный уличный гладиатор, он знал закон драки: бить первым. А тут предстояло готовиться втихомолку, таиться, лгать, выдавать себя за другого.

Он не боялся говорить то, что думает, на сходках: честно, в открытую. В Одессе его знали. Говорили, что он оратор, каких мало. И то, что университет окончательно закрыт для него и в июне пришлось забрать документы, было отплатой за его прямоту и славу бойца. Теперь пришлось бы все это оставить, из гладиатора превратиться в крота и рыть во мраке подземные ходы. И все же на третий день он нашел Чудновского и сказал: «Да!»

Потому что все, что можно было сказать в открытую, было сказано. Дальше начнутся повторения. Дальше — надо было превращаться в крота. Ольге он намекнул: «Как бы ты взглянула на то, что твой муж...» Ольга смотрела, не понимая, потом поняла, в глазах мелькнул панический страх, но она сдержалась и ответила достойно: «Я бы мужа все равно любила». Она еще боялась тогда ошибиться и потерять его. Ему было важно: ничего не прятать, быть прямым до конца. На первом заседании сидел смирненький, как пай-мальчик, и только слушал, присматривался, поглощал. Поразило вот что: он действительно ощутил, что эти не-

сколько человек, невзрачные молодые люди, рассуждавшие на отвлеченные темы, есть часть чего-то огромного, охватившего всю Россию, а может быть, Европу и целый мир.

Почти все были теперь здесь, в ДПЗ. Он видел их через окно, а иногда — минутное счастье — встречал на прогулке. Здесь был Соломон, серый от малокровия, в своей старой ермолке, был Андрей Франжоли, истинно русский итальянец, добрейшая душа, отважный толстяк, совершивший во время путешествия под конвоем жандармов прыжок из вагона, покалечивший его на всю жизнь; помня об этом прыжке, жандармы упрятали Франжоли, как опаснейшего преступника, в Петропавловскую крепость и только недавно вернули в ДПЗ, ибо суд, как говорили, был близок. Здесь был Виктор Костюрин, Алеша Попович, так блестяще освобожденный Михайлой и Аней в марте и снова схваченный в июле; был тут и Миша Кац, неудачливый бондарь, который — вот смех-то! — объяснял на следствии, что из учителя сделался бондарем по причине геморроя: чтоб не вести сидячую жизнь...

Первые недели три совсем не было сна, ночами напролет вспоминал, размышлял: случайно он здесь или нет? Чем дальше думал, тем тверже укреплялся: нет, не случайно. Иного быть не могло. Не Соломон его сбил тем осенним днем, не седой умница Феликс Волховский соблазнил, как прельстительная сирена, а — его собственная жизнь и все, что творилось вокруг. Не попал бы в кружок Феликса, ушел бы к киевским «бунтарям», к херсонским пропагандистам, одесским сен-жебунистам, ведь все кругом клокотало, топорщилось, рвалось куда-то, и избежать общей участи было немыслимо — так же, к примеру, как выбежать из-под ливня сухим... И все же — откуда пошло, где начало? Ну, крестьянин, простолюдин, отец крепостной, дед и вовсе раб, вековые обиды, темная, нечеловечья жизнь, но ведь он-то, Андрей Иванович — с девяти лет вольный казак, керченский гимназист, окончил с серебряной медалью, потом студент юридического факультета, уважаемый молодой господин... Откуда же эта непобедимая боль, эта невозможность примириться?

Было так — никому не рассказывал никогда — вечером в дедовском доме, на птичьем дворе в имении Кашка-Чекрак, рыдала тетка Люба, упав на пол, прижимаясь к дедушкиным ногам: «Тятенька, миленький тя-

тенька, спасите!» Дед запер дверь. Снаружи кто-то бухал что есть силы, кричали, стучали в окно, Андрей видел бородатого громадного мужика, Полтора-Дмитрия, приказчика, которого все боялись. «Отворяй, скотина. Все равно наша будет!» — орал Полтора-Дмитрий, видимо, пьяный, но дедушка отвечал: «Я вас застрелю!» А стрелять-то было не из чего, Андрей знал, было ужасно страшно и очень жалко тетю Любочку, мамину сестру, она швея, самая красивая из всей фроловской семьи, добрая, шила ему рубашки — и куда-то ее хотят забрать. Андрей закричал: «Тетя Любочка!», заплакал, кинулся к тетке, но бабка оттащила в другую комнату, заперла там. Он колотился, кричал, стучал кулаками в дверь: «Не трогайте мою тетеньку! Не трогайте мою тетеньку!» Слышал, как за стенкой шумели, тетя Люба вскрикивала, потом стало тихо, он выбрался через окошко, побежал, увидел: Полтора-Дмитрия вел тетю Любу за руку, и она, такая маленькая рядом с ним, шла медленно и спокойно, с распущенными волосами, и даже не делала попытки вырваться, а с другой стороны шел конюх Степан, по кличке Черкес. Андрею было восемь лет, но он все понял: тетю Любу вели к помещику Лоренцову. Андрей слышал раньше, как тетя Люба жаловалась дедушке: помещик пристает, грозится выдать за горбатого Миньку, если она не согласится к нему «ходить».

Что значило «ходить» к помещику, Андрей в точности не знал, но примерно догадывался: это значило н а с и л и е, нечто еще более страшное, чем избиение и даже с е к у ц и я, которой подвергся однажды дядя Василий, служивший у Лоренцова лакеем. Андрей слышал вопли дяди Василия, которого пороли на конюшне. С е к у ц и е й занимался Полтора-Дмитрий (рассказывали, что одного татарина запорол до смерти), Степка-Черкес и второй конюх. Особенно ненавидели все Полтора-Дмитрия, дедушка называл его почему-то «мамон» и говорил, что своей смерти «мамону» не видать: и верно, помещичьего холуя подстерег однажды другой желябовский дядя, брат отца, живший близ Кашка-Чекрака на оброке и считавший себя человеком полувольным, независимым, и в драке проломил голову холую. Но это было позже. А в тот вечер, когда тетю Любу тащили к Лоренцову и Андрей видел ее слезы, метанья бабки, слышал бессильные проклятья деда, дал себе клятву: когда вырастет, убить Лоренцова. Лоренцов был грек,

высокий, толстый, с каким-то сонным, синего цвета лицом, всегда полузакрытыми в тяжелых веках глазами. Отец его, простой каменщик, делал надгробные памятники, разбогател, купил дворянство и право иметь крепостных, и вот теперь этот новый помещик — сын могильщика — должен был лишиться своих рабов, воля была близка, о ней все говорили, мечтали. «Хотят натешиться напоследки,— говорила бабушка.— Чуют, что власть их кончается, вот и сильничают впрок».

Приехали из Султановки отец с матерью; они работали на другого помещика, Нелидова, отец был управляющим имением, хотя все еще числился в оброке. Лоренцову принадлежало семейство дедушки, все Фроловы, и жить в Кашка-Чекраке, на птичнике, было куда хуже, чем в Султановке, но Андрей провел здесь почти все детство, любил деда и бабку, особенно деда, и не хотел уезжать к отцу. Да отец и не слишком звал. Он все учил тестя с бабкой, как жить. Мать с ним не соглашалась. Мать очень убивалась из-за Любы, убеждала отца и деда идти в суд, в Феодосию, а не то грозилась подговорить беглого солдата, чтоб он Лоренцову отомстил. Отец сердился: «Экие вы все, Фроловы, брыкастые! Ну что б ей, дуре, не сходить потихоньку, никому бы беспокойства...» А дед ему зло: «А вы, Желябовы, холопы!» Мать тоже на отца напускалась, тот ворчал: «Подумаешь, добро! Ты вон стоила пятьсот рублей и пятак медный, а за сестру и того не дали». Этим он часто мать корил, иной раз в том смысле, что дорого за нее плачено (Что, мол, спишь? Поворачивайся! Пятьсот рублей стоишь!), а иной раз в том смысле, что дешева матушка, небогат товар: пятак медный. Цена была истинная, за которую помещик Нелидов по слезной просьбе отца и за его деньги купил мать у Лоренцова. И вот совещались семейно: как быть? Тетка Люба сгинула куда-то, бабушка сказала: «провалилась со стыда». И Андрею представлялось страшное: тетка Люба забирается на гору, где пролом, куда бегать не велено, и нарочно проваливается.

Отец с дедом переругались, отец сказал: «От вашей дурости и гниете тут, в курином дерьме». Сел, очень гордый, в бричку казенную, нелидовскую, забрал мать, и — уехали. А дед в тот же день пошел в Феодосию, жаловаться на помещика. Как они его ждали с бабушкой! Два вечера все сидели на горке, над почтовой дорогой, и смотрели, смотрели. Дед обыкновенно, когда возвра-

щался из города, еще издали поднимал шапку на палке, и Андрей, увидав его, мчался навстречу версты две. А тут — нет и нет, на третье утро пришел, мрачный, согнувшийся. Только и сказал: «Рази с ими поспоришь?» Оказывается, Лоренцов прискакал к мировому еще раньше и объявил, что дочка птичника напилась пьяная, учинила драку, пришлось ее поучить, что оба конюха подтвердили. Клятва насчет того, чтоб убить Лоренцова, помнилась крепко и долго, лет до двенадцати, пока однажды в Султановке мать не сказала: «Все они собаки, мучители». И он задумался. Понял вдруг, что если убивать, то не грека с синей мордой, а кого-то другого, или уж — всех.

Вспомнилось, потому что — неистребимо, навсегда, как у старого солдата осколок гранаты, который мучит в дурную погоду, и потому еще, что — похожее. Лютая обида, оскорбление родного человека, и невозможность спасти, отомстить. Ну что он, мальчишка, мог сделать громадному Полтора-Дмитрию или помещику Лоренцову? Если б еще у деда ружье исправное. Да и где пули взять? Топор поднять сил не хватит. Ночью, думал, пробраться к Лоренцову с ножом, заколоть, как кабана, ударом в шею, самое верное, но там псов полный двор, загрызут. И так же теперь, слыша рассказы про Трепова, про то, как надзиратели готовились к порке Боголюбова и нарочно на глазах арестантов складывали посредине двора пучки розог и жестами показывали, как будут пороть, ощущал ту же самую пытку: ненависть и бессилие.

Думал: а если бы с ним так? Генерал бы замахнулся и сбил шапку? И потом — с е к у ц и я, объявленная во всеуслышание... схватили за руки, поволокли, заголили — а? Жить можно? Нет, ничего бы такого не было. Генерала бы тут же убил, кулаком в висок, пускай стреляют, жить нельзя. Они ведь так считают: дворянина пороть не положено, а мещанина, крестьянского сына даже рекомендуется. Боголюбов-то из донских казаков, его можно. Так вот, попробуйте: кулаком в висок. Несколько дней на прогулках, в «клубах», записками на шнурках, которые выбрасывались из окон, «конями», обсуждался вопрос: как отомстить за Боголюбова, что делать с Треповым? Начальство струхнуло, было ясно, но одного крика и ломанья тюрьмы недостаточно. Мерзость не должна была сойти с рук. Предлагались такие планы: в какой-нибудь определенный день броситься и

бить чем попало **всех** представителей администрации, которые появятся в камерах, или же написать заявление на имя градоначальника о том, что плохая пища, не разрешают держать инструменты, и, когда Трепов придет к кому-нибудь из написавших заявление в камеру, напасть на него, задушить или хотя бы изуродовать. Последний план предлагался старейшим революционером, шестидесятником Муравским, известным всей тюрьме по кличке Дед. Андрей двое суток бредил — входит Трепов: «Вы писали заявление?», покорно кивать, тихо подойти и — кинуться. Двое суток кулаки сжимались, лихорадило, будто заболел. Вдруг пришло сообщение: все прекратить, партия «Земля и воля» берет организацию мести на себя. Месть грянула на всю Россию, но через полгода.

Нельзя забыть этот дом, бубнящий стенами, гудящий трубами, как улей, одиночество крохотных сот и одновременно чувство единенья со всеми и, значит, правоты, несокрушимости. Каждый день отпадала жизнь, отмирала долею молодость — и все же, все же! Нигде не было таких людей, как там. Были знаменитости, о которых Андрей слышал раньше,— Ипполит Мышкин, пытавшийся освободить Чернышевского, Войнаральский, сын княгини, бросивший все свои деньги на пропаганду, Рогачев, артиллерийский офицер, ставший пильщиком и бурлаком, легендарный храбрец и силач, Сергей Ковалик, сын полковника, мировой судья, замечательный конспиратор и умница (о нем рассказывал Дебогорий), и были никому не известные, прекрасные люди, какие-то изумительные женщины, старые друзья по Одессе и Киеву. Их согнали сюда, тщательно изловленных — да они и не хоронились особо! — по всей России, виня только в том, что слишком самоотреченно любили народ, мечтали к нему приблизиться, чему-то его научить и чему-то у него научиться. Ах, злодеи, разбойники! Их томило чувство долга. Они изнывали от желания отдать народу то, что задолжали сами, что задолжали их родители, их предки до седьмого колена. Ждала суда, например, дочь бывшего петербургского губернатора Перовского, юная, но, говорили, решительная и много успевшая девица, ведущая родословную от графа Алексея Разумовского. А в предварилке сидел Коля Морозов, очкастый, невероятно худой юноша — Андрею показали его на дворе,— сын богатейшего ярославского помещика и потомок чуть ли не Петра Великого. Мож-

но представить, какой величины долг накопился у этих господ!

Андрей посмеивался, когда слышал разговоры о долге. Аристократы, дворяне не вызывали доверия, ему казалось, что тут больше игра и дань моде. И даже когда ему передавали слова Синегуба, подарившего рабочим деньги и мебель: «У меня деньги тоже крестьянские, мне их присылает отец, такой же мироед, как все помещики», Андрей морщился: уж больно театрально! Не деньги швырять, не мебель дарить, а — что-то другое. Но что именно, было пока неясно. Хотелось поговорить с Синегубом, но никак не удавалось оказаться вместе с ним на прогулке, а когда начался суд и свели всех в кучу — в первый день,— сразу возникло столько друзей и знакомых, что голова кругом и по-настоящему поговорить не пришлось ни с кем. И все же, хоть и посмеивался и морщился, а не уважать и не восхищаться не мог! Вся Россия была тут, все сословия, но главная сила: дети дворян, священников, отставных военных, домовладельцев, купцов, мещан, коммерции советников, а преступление их заключалось в том, что в одно безумное лето они вздумали превратиться в сапожников, бондарей, пахарей, ткачей, акушерок.

Они наплевали на все, чем жили прежде; покинули дома, забыли родителей. Им казалось, что революция близка, социальный взрыв неминуем: стоит только тронуть пучину народную, всколыхнуть ее, расшатать. Где-то дают «Прекрасную Елену»? Граф Толстой написал новый роман? Это, что ли, про барыню, изменившую мужу? Шепот, робкое дыханье, трели соловья? Все вздор и невозможность — пока рабочие на фабриках по двенадцать часов, три губернии голодают, крестьянство обмануто, выкупные платежи непосильны, и грядет главное страшилище, сатана: капиталист. По камерам ходило стихотворение, сочиненное кем-то из арестантов: «Стук по стенам, стук по трубам, ночной разговор. Заседания по клубам, в воздухе — топор... Жизнь без дела и движенья, в камере мороз, и желудка несваренье, и понос, понос...» Вот и все, на что сгодился Фет.

Многие из тех, кто по три, четыре года сидели в ожидании суда, привыкли к этому смраду, к жизни без дела и движенья и, самое страшное — к бессмыслице тюремного прозябания. Нет, не сдались, не стали на путь «откровенных показаний», чтобы усладить судьбу — предателей из нескольких сот, привлеченных к процессу, ока-

залось лишь четверо или пятеро, подлец Низовкин, на чьей квартире в Петербурге собирались, Горинович, выдавший киевлян, ему уже отомстили Виктор Малинка с Дейчем и Стефановичем, облили серной кислотой, пробили голову, но тот, ослепший от кислоты, с развалившимся лицом и пробитым черепом, остался все-таки жив и стал теперь особенно страстным предателем, и еще двое или трое,— но для большинства эта мнимая жизнь стала бытом, самые упорные к ней приспособились и готовились показывать и дальше титаническую выдержку и слоновье терпение. Многие получали письма, посылки (Андрею никто не писал, лишь однажды к рождеству прислала открытку Ольга), к другим приходили на свидание жены, невесты, матери, женихи, с испуганными и печальными лицами появлялись иногда на галереях в сопровождении медных жандармских касок, и каждый раз, когда Андрей, проходя на прогулку, видел эти скованные тайным ужасом, жалкие фигуры свободных людей, спрашивал себя: хотел бы он, чтобы здесь появились мать или Ольга? И каждый раз твердо: нет, не хотел бы. Не хотел приспосабливаться к этой полужизни, не желал ее длить: если бы, думал, пришлось тут жить еще год, он бы не вынес, разбил бы голову себе или надзирателю, чтобы уж сразу конец.

И еще: с новой, не испытанной раньше силой понял вдруг, что счастье таких свиданий в одном — когда встречаются люди близкие беспредельно, понимающие один другого до конца. То, о чем говорила когда-то Аня. А если уж нет, тогда — лишние муки, ненужные слезы. Ну что, кроме страданий, принесла бы мать? А Ольга — ненавидела бы товарищей, проклинала бы всех...

...И с завистью, которую скрывал даже от себя, смотрел на людей, у кого было это счастье. Однажды увидел пару, он из камеры ДПЗ, она с воли, где находилась до суда на поруках. Получили право на свиданье, как жених с невестой: Тихомиров, желтый и больной на вид, сидевший уже четыре года, и Перовская, дочка губернатора, совсем молоденькая, с детским наивным личиком. Они шептались, сидя на скамейке близко, почти прижавшись друг к другу. Жандарм стоял в двух шагах и тупо глазел на них с хамским любопытством. Все равно по их лицам было видно, что счастливы. Познакомился он с ними позже, во время суда, но увидел впервые и отличил как-то остро, до боли, тогда, на галерее,

когда шел с надзирателем вниз: они-то, конечно, его не заметили.

В октябре началось долгожданное, о чем мечтали, как об избавлении: суд. В первый день всю массу подсудимых длинной вереницей в окружении жандармов повели подземным ходом (образцовая тюрьма, все предусмотрено!) в здание Окружного суда. Двигались медленно, потому что было много больных, ослабших, иные только из лазарета, иные на костылях, но все были возбуждены, переговаривались, шутили, радостно узнавали друг друга, знакомились, передавали новости, и этот гам и взбудораженность продолжались в зале, где толпа подсудимых, человек около ста сорока, заняла места для публики, а нескольких, наиболее лютых, по мнению судей, преступников посадили на возвышении за особой загородкой, которое тут же назвали «голгофой». Там, на «голгофе», Андрей впервые увидел могучего Рогачева, высокого, с бледным лбом и с каким-то необыкновенным, пронзительным взглядом Ипполита Мышкина, угрюмо-сосредоточенного Войнаральского, белокурого, насмешливо улыбающегося Ковалика, который своей спокойной, крепкой внешностью действительно напоминал мирового судью, еще какого-то худого блондина, который оказался Рабиновичем, и, к изумлению своему — Костюрина. Алеша Попович оброс бородой, его лукавая физиономия молодого казачка выглядела очень важно и сурово. Ох, и гордился он, видно, тем, что сидит не в зале, а там, среди именитых революционеров! То, что Виктора арестовали летом, почти одновременно с ним, Андрей знал из обвинительного акта, но ни встретиться, ни что-либо узнать о нем не удалось: Костюрина держали не в предварилке, а в Петропавловской крепости, как большого. Вот это и было удивительно. Что же на него навешивали? Кроме бегства из тюрьмы, еще и покушенье на Гориновича, что ли?

И у каждого были какие-то сомнения, удивления, вопросы, поэтому зал непрестанно гудел, трепетал от жажды общения: после одиночек, после того, что мечтали хоть об одном собеседнике, вдруг этот океан друзей, можно разговаривать, смотреть в глаза, держать за руки. Первый день ушел на опросы: звание, вероисповедание, возраст, занятия, обязательная болтовня. Некоторые на вопрос о последнем местожительстве отвечали: «тюрьма». Другие, говоря о возрасте, отвечали так: «Когда

был арестован, было девятнадцать, теперь двадцать три». На второй день Желиховский, злобнолицый гномик, едва видный за пюпитром, начал бубненье обвинительного акта, но никто не слушал, да и слышно не было: весь зал разговаривал.

Доносились иногда отдельные фразы: «Старались сближаться с рабочими, преимущественно фабричными... и посредством возмутительного содержания книг, привозимых из-за границы... Приверженцы Бакунина полагали, что пропагандисты должны немедленно идти в народ, организовывать для революции... Лавров же признавал... Чудовищные учения Бакунина и Ткачева... С наступлением лета члены петербургских кружков...»

Смысл стараний Желиховского был ясен: представить две сотни привлеченных к делу людей, якобы связанные с ними другие сотни и, может быть, тысячи, как единое громадное общество. Уже и название было придумано: «Большое общество пропаганды». Во всех жандармских управлениях, полицейских участках были отысканы и собраны в кучу аресты, обыски, доносы, выражения недовольства, факты и фактики, даже письма подозрительного содержания, полученные позорным путем перлюстрации: а в такой стране, как Россия, это добро, как известно, не переводится! Горы фактов, даже гигантские, были никому не нужны. Требовалось доказать существование общества. Ведь нет большего пугала для правительства, чем это словцо: общество. Нашлись и истоки злодейской организации, они вели к кружкам Долгушина, Натансона и, разумеется, к зарубежным пропагаторам. И вот, сшитое из лоскутьев многомесячным, кропотливым трудом Желиховского, развертывалось перед сенаторами, перед кучкой родственников, немногочисленной публикой и гудящей толпой обвиняемых это нелепо-величественное одеяло: обвинительный акт. По мелочам, по лоскутьям оно было, может, и правильное, но все вместе — громадная ложь. Еще до суда в камерах обсуждалось: как вести себя на процессе? Многие полагали, что надо вовсе отказаться от судебного следствия и последнего слова, не поддерживать всего этого вранья, лживой комедии. Состав суда, адвокатов — всех к черту. Не признавать! Другие считали, что надо воспользоваться возможностями открытого суда, крикнуть на весь мир. Среди «голгофцев», сидевших в Петропавловской крепости, большинство было за то, чтобы не выступать, и только Мышкин заявил, что

пусть с ним делают, что хотят, но он не откажется от последнего слова. «Я не могу молчать! Как хотите, а я буду говорить,— твердил Мышкин,— не могу не сказать подлецам всей правды о них самих. Позвольте мне всего раз, всего одну речь...»

Он набросал будто бы речь на клочке бумаги, набросок ходил по рукам в крепости, обсуждался, дополнялся. Все это под секретом рассказал Андрею Феликс Волховский, которому сообщил Дед, Муравский, и теперь Андрею были понятны напряженно вытянутая фигура Мышкина, его особая бледность и то, с каким вниманием он слушал Желиховского и следил за всем, что происходило в зале. Казалось, он ждал минуты, чтобы вступить в дело. Андрей не мог оторвать от него глаз. Этот человек всего на три года старше, а сколько успел! Сын военного писаря, он сделал блестящую карьеру, служил топографом при Генеральном штабе и был известен военному министру как отличный топограф и стенограф. Кто-то говорил, что он стенографировал нечаевский процесс. И вот все похерил, военную службу бросил, устроил в Москве типографию, где успел нашлепать порядочно нужных книг (Андрею кое-что попадалось), дело было налажено, брошюровали в Саратове, вскоре, разумеется, провал, бегство за границу и новая идея: освободить Чернышевского! Приехал в Вилюйск под видом жандармского поручика, в мундире, попался, бежал, отстреливался, был схвачен, закован в кандалы. Такие люди, как Мышкин, не просто вызывали уважение, они заражали какой-то свирепой жаждой жизни, борьбы. У Андрея даже кулаки сжимались, когда смотрел в белое, нервное лицо Мышкина.

«И я бы так же! И я бы не стал молчать! Если уж все равно». О своей судьбе думал без волненья. У него и подобия таких угроз, как у Мышкина, не было: ведь ничего нового у них не набралось, все тот же донос Солянниковой насчет посещения квартиры Макаревичей, письмо Ане через Рафаила Казбека.

В первый же день встретился с Петром Макаревичем, которого привели из крепости, и они сидели вчетвером вместе: Андрей, Петр, Феликс и бледный, совсем хворый, с рукой на перевязи Андрей Франжоли. Феликс и в Одессе четыре года назад выглядел болезненно и старообразно, всегда был полуседой, сутулый, но ведь Франжоли был красавчик. Петр необыкновенно похудел, как-то изжелта потемнел лицом, был мрачен, жел-

чен и все шептал Андрею: «Дело мое дрянь... Я чувствую, будет каторга...» Андрей угадывал что-то больное, скрытое, какую-то неясную зависть к себе — только со стороны Петра, одного Петра! — ибо ему каторга вряд ли грозила, но не обижался, не удивлялся. Все одинаково молоды, у всех разрублена жизнь. То была даже не зависть, а печаль по этой жизни, просто печаль. Петр почему-то ничего не спрашивал про Одессу — впрочем, ему многое мог рассказать Костюрин — и только на второй, кажется, день вдруг сказал: «Я получил известие, что Аня в Париже».

И прошел еще час или полтора — на трибуне длилось чтение акта, гудел какой-то лысый сенатор, — и Петр, наклонившись к уху Андрея, сказал тихо: «Ты знаешь, я очень долго думал: хорошо или плохо то, что Аня меня не любила? Не возражай, не надо. Я догадывался и раньше, но за три года все стало ясно. Ведь почти никаких вестей, не рвалась сюда, ничем не рисковала, чтобы хоть как-то... Я уж не говорю — как Маша, которая сделала несчастную попытку...» Андрею хотелось сказать: «Аня рисковала не здесь, а там. И рисковала отчаянно», но промолчал. Он понял, что — невозможно. Ему доверялось самое горькое, что наболело за годы, и, может быть, так откровенно лишь потому, что Петр чувствовал — и у него чем-то похоже. Но у него было все-таки иное. Петр сказал: «Я вот к чему пришел: это хорошо. Это прекрасно. Потому что, будь не так, было бы невыносимо страдать, зная о других страданиях. А так — вдвое легче. А? Ты согласен?»

Андрей посмотрел сбоку и по горестно обгорелому лицу, померкшим глазам понял, что страдания были невыносимы и — еще продолжаются. Он сказал: «Да, согласен». И вспомнились слова Ани, очень спокойные: «Он не выдержит. По характеру он не революционер, а бухгалтер». Что это значило — начнет выдавать? Сломается физически? По глазам Петра прочитал: тоска смертная. Он не был возбужден, как все вокруг, не принимал участия в спорах, шушуканье, выработке общей линии, сидел неподвижно, в то время как другие непрерывно менялись местами, кого-то искали, передавали записки. Некоторые умудрялись кидать записки даже за барьер, на «голгофу». Петр ожил немного и с напряженной гримасой стал слушать, когда сенатор читал одесскую часть. «А в июне 1873 года Макаревич поселился вместе с Франжоли у сапожного мастера Свечин-

ского...» Дальше описывалось — с мерзкой полицейской дотошностью, — как раскрылась вся история с перевозкой книг.

«Староконстантиновский еврей Мовша Шмулевич Сима, — читал сенатор, выговаривая несколько брезгливо, но отчетливо трудные еврейские имена, — содействуя проскуровскому исправнику в деле розыскания лиц, занимающихся ввозом в Россию через австрийскую границу запрещенных книг... вошел в сношения с Иос Эллером (он же Кантор), который и предложил... Сима, действуя по поручению исправника, согласился и условился с Эллером, чтобы книги были доставлены ему за пять верст от границы...»

Было странно слышать изложенное таким коровьим языком описание той незабываемой ночи, когда Сима заманил Соломона Чудновского в ловушку — стояла лунная, слабо морозная январская ночь, вернее начало ночи, Андрей и Петр ехали в пролетке следом за извозчиком Соломона, тот как будто все предусмотрел, выведал о Симе все возможное, предупредил подлеца, что в случае чего его пристрелят, как собаку, документы у него были в порядке, отличная фальшивая борода, и вот он несся куда-то в темноту на окраину, где Сима должен был передать книги, петлял чернейшими переулками, вдруг исчез, Андрей и Петр остановили пролетку на углу переулка и услышали крик: «Кончено!» Соломон успел предупредить, они умчались, спаслись. А Соломон — он сидел рядом и слушал казенное изложение своих подвигов с обычной хитроватой улыбкой — с того января семьдесят четвертого пошел гулять по тюрьмам.

Одесскую часть все одесситы слушали, разумеется, со вниманием, но Соломон непрерывно комментировал и острил. Когда шел рассказ о квартире Макаревичей, где собирались подозрительные лица, одетые мастеровыми, и где, по свидетельству доносчицы Соляниковой, во время собраний была такая тишина, что она, Солянникова, подумала — не делают ли там фальшивые ассигнации, Соломон шептал: «Феликс, признайся, таки немножко печатали? Немножко баловались купюрами, а?» В общем, было довольно весело, и даже история предателя Трудницкого, гадкая сама по себе и еще более неприятная оттого, что читалось его «предсмертное объяснение», не могла испортить настроения: какой-то бесшабашности и нервного веселья. Сенатор читал о том,

что дворянин Георгий Трудницкий окончательно разошелся с кружком, когда понял, что только резня была у всех на уме («Рэзать, рэзать хочу!» — шептал Соломон, делая зверское лицо абрека, отчего все прыскали со смеху), и счел своим долгом рассказать о планах своих бывших единомышленников, выступить с показаниями на суде и затем лишить себя жизни. Таков был благородный план психопата. Однако, не в силах дождаться окончания дела, он лишил себя жизни весною 1876 года. Соломон пропел вполголоса: «пам-пам-папам!» — начало траурного марша.

Петр оборвал раздраженно: «Перестань паясничать! Ведь мы накануне каторги!» Потом читалось про Андрея: «Желябов, исключенный из Новороссийского университета... знал лишь одну Анну Розенштейн (Макаревич), которую встречал несколько раз на улице... Евгения Петрова, на имя которой Желябов просил адресовать ему письма в Одессу, оказалась вдовой поручика Окуньковой, удостоверившей при следствии, что Желябов в сентябре 1874 года просил у нее позволения пользоваться ее адресом для любовной переписки...»

«Какая славная женщина! — юродствовал Соломон.— Главное, сказала ведь истинную правду!» Андрей перехватил взгляд Петра: тяжелый.

Сенатор читал: «Владимир и Сергей Жебуневы, Франжоли, Макаревич, Кац, Голиков, Дическуло, Лангане, Виктор Костюрин и Желябов виновными себя ни в чем не признали...» Чтение акта закончилось лишь в пятом заседании. Все были уморены, укачаны, казалось, эта пытка нудностью и гигантским количеством слов своего достигла: страсти улеглись, наступило уныние. Но прежде чем приступить к судебному следствию, первоприсутствующий Петерс объявил, что «ввиду тесноты помещения» все обвиняемые разбиваются на семнадцать групп по губерниям, и каждая группа будет судиться отдельно. И тут был миг вулканического пробуждения. «Нет! Никогда! Мы протестуем! — взорвались крики.— Недопустимо! Наши интересы нарушены!» Многие вскакивали на стулья, топали ногами. Особенно яростно протестовали те, что находились на «голгофе». Что это означало? Громадную отсрочку дела, все затягивалось на месяцы, на полгода, а выносить эту муку дальше не было сил. В зал вбежали жандармы с саблями наголо. Подсудимые повскакивали с мест, какие-то женщины из публики вскрикивали, рыдали, было

похоже, что там истерики. На «голгофе» поднялся Мышкин, и его голос, необыкновенно сильный, прорезал весь этот гам. «Даже ваши доносчики,— гремел Мышкин,— не могли дождаться суда и покончили с собой! Наши товарищи умирают! Сходят с ума! Вы трусы! Боитесь судить нас вместе! А зачем же эта комедия обвинительного акта? Вы боитесь своего вранья!» Желиховский куда-то исчез, сенаторы бессмысленно топтались вокруг стола, вдруг было объявлено: заседание закрыто. Жандармы, все еще держа над головами сверкающие сабли, теснили подсудимых к выходу. «Отказываемся принимать участие! Не отвечать! Не придем! — раздавались голоса.— Никто не должен являться на шемякин суд!» И только два человека, пять дней сидевшие от всех поодаль, шли в хвосте толпы с равнодушным видом: предатели Низовкин и Ларионов.

На следующий день вызвали первую группу, петербургскую, «чайковцев»: почти все отказались принимать участие в суде и были тут же приведены обратно в свои камеры. 10 ноября пришла очередь Андрея. Он также заявил Петерсу, что в знак протеста против действий суда отказывается принимать в нем участие, и был удален из зала. Тогда же, в коридоре, прощался с Петром: того переводили из предварилки в крепость, где он сидел до суда. «Если увидишь Аню... Я-то не увижу, между нами будет верст тысяч шесть... Скажи: все хорошо, все по-доброму, желает счастья. И скажи еще, что лучшее, что было в моей жизни,— тот вечер в Сен-Серге, в горах, под Женевой, она помнит... А больше ничего. Ну, и...» В глазах были слезы, он потряс руку Андрею и ушел быстро. Конвойный ждал его.

Что можно было сделать? Как помочь? Обреченность была в нем самом, в Петре, он уже с этим смирился и так жил. Однажды в Окружном суде, когда слушали чтение акта, он сказал Андрею: «Знаешь, я придаю большое значение фамилиям. Фамилии даются неспроста. В каждой есть тайный смысл, надо только его раскрыть.— Он говорил серьезно, как что-то очень продуманное. Мелькнуло даже: не тронулся ли потихоньку? — Возьми, пожалуйста, наших Иуд. От Трудницкого — большие трудности, от Гориновича — горе, от Низовкина — низости...» Андрей спросил, а что, по его мнению, означает фамилия Макаревич. Петр, подумавши, вздохнул печально: «Означает одно: куда Макар телят не гонял...»

Все время думал о каторге. И как накликал: получил лишение прав состояния и пять лет каторжных работ на заводе. По ходатайству суда, правда, каторга заменялась ссылкой в Тобольскую губернию.

До приговора пришлось ждать месяца два: разбирательство по группам двигалось медленно. В конце ноября прогремела речь Мышкина, которую почти никто не слышал в суде — ведь большинство протестовали и на суд не являлись,— но немногие свидетели, потрясенные, пересказывали с подробностями. Несколько человек пришли с Мышкиным нарочно, чтобы защищать его и не пускать жандармов на «голгофу», когда те бросятся затыкать ему рот. Рассказывали, с каким умом и искусством была построена речь, как спокойно, с достоинством Мышкин говорил ее. Петерс был растерян, несколько раз, но как-то неуверенно пытался перебивать: «Об этом вы можете не говорить» или «Прошу не употреблять подобных выражений», но Мышкин гнул свое.

«Ипполит сказал за всех нас! От имени поколения! То, о чем все мы думаем! Гениальный оратор!» — передавали восторженные рассказчики. Кто-то неосторожно изумился: «Подумайте только — сын писаря!» На него тотчас обрушились: «Именно потому он и смог. Голос России! Как вы не понимаете?»

Мышкин действительно сумел сказать многое: и о задачах социал-революционной партии, насчет того, чтобы на развалинах нынешнего порядка установить новый строй, близкий народным нуждам, и о том, что строй этот должен быть — союз независимых производительных общин, и о том, что мирным путем ничего подобного достичь нельзя, ибо у народа нет других средств, кроме бунта, этого единственного органа народной гласности. Это ведь замечательно верно! Нет в России другой гласности, кроме бунта. Он говорил о двух революционных потоках, в интеллигенции и в народе, и о том, что все движения интеллигенции есть как бы отголоски волнений в народе, и о том, что прославленная крестьянская реформа привела к тому, что более двадцати миллионов крестьян из помещичьих холопов превратились в государственных или чиновничьих рабов. Народ доведен до бедственного положения, до хронических голодовок. Когда крестьяне увидели, что их наделяют песками, да болотами, да такими клочками земли, на которых немыслимо вести хозяйство, да еще требуют громаднейшие платежи... «Источник всех революционных

движений — чрезвычайные страдания народа и недовольство его своим положением».

Петерс отклонял Мышкина от общих разговоров и возвращал к судопроизводству: «Извольте вести вашу речь к тому, признаете ли вы себя виновным или нет?» Мышкин упорно не отвечал, продолжая свои разоблачения, затем он сделал заявление о незаконных мерах, которые применялись к нему во время предварительного ареста, о заковке в ножные кандалы, в наручники, о том, что ему не давали не только чаю, но даже кипяченой воды, ни разу не позволили повидаться с матерью. Петерс твердил: «Ваши заявления совершенно голословны!» Наконец, Мышкин сказал, что это не суд, а простая комедия или нечто худшее, более позорное... Петерс закричал: «Уведите его!» Жандармский офицер бросился к Мышкину, «голгофцы» не пускали его, он прорвался, схватил Мышкина, началась драка, другие жандармы кинулись на помощь, Мышкин кричал: «Более позорное, чем дом терпимости! Там женщины торгуют телом из-за нужды, а здесь сенаторы из-за чинов и наград торгуют всем самым дорогим для человечества!» Жандармы избивали Рабиновича, Стопани, еще кого-то, кто защищал Мышкина, самого Ипполита потащили к выходу. В публике были крики, истерический хохот. «Палачи, живодеры!» Говорят, Желиховский крикнул: «Это чистая революция!» Мышкина увезли в крепость. Двадцать третьего января был объявлен приговор: Мышкина в каторжные работы на десять лет, так же, как Рогачева, Ковалика, Войнаральского. Еще несколько человек получили каторгу на меньшие сроки.

Андрей, как многие, был оправдан. Полгода сидеть в одиночке для того, чтобы услышать: не виновен. Некоторые сидели по два, три года и тоже, как оказалось, были невиновны. А кто же ответит за годы, вырванные из жизни? О, господи, твоя воля! Из тех российских вопросов, над которыми смеялся Феликс: «За что?» Никто не знает за что, и никому неведомо, кто ответит. Говорили, что всем оправданным надо срочно бежать из Петербурга, потому что правительство может хватиться и что-нибудь перерешить. Тоже достопримечательность времени: сегодня освободят, а завтра опять сцапают для порядка. На другой день после объявления приговора — слышали его немногие, большинство, продолжая демонстрировать презрение к суду, остались в камерах — пронесся слух, что кто-то стрелял в Трепова. К вечеру узна-

лись подробности: стреляла Вера Засулич, дочь капитана, двадцати шести лет. Ни к «Земле и воле», ни лично к Боголюбову, за надругательство над которым мстила, она не имела отношения. Стреляла в приемной комнате градоначальника, почти в упор, но только ранила, бросила револьвер и спокойно отдалась в руки жандармов, которые едва ее не убили.

Все слилось: освобождение, впервые в жизни Петербург, свобода пахла сырой угольной гарью, громадные, из темного гранита, дома свободно возвышались в морозном тумане, ехали свободные конки, в них сидели и свободно разговаривали люди, и одновременно — восторг перед неведомой девушкой, чувство почти блаженства. Она не смогла вытерпеть надругательства над другим. О, если бы все, если бы каждый так страдал! Потом уж рассказали: в Питер, с целью отомстить Трепову, приехали южные бунтари, кажется, Чубаров и Фроленко, но дело затормозилось, то ли не могли по-настоящему организовать слежку, то ли ждали произнесения приговора по Большому процессу, боясь вызвать озлобленье властей и ответную месть товарищам. И вот две девушки, жившие в «женской коммуне» на Английском проспекте, Маша Коленкина и Вера Засулич, решили взять дело на себя. Маша должна была стрелять в Желиховского, Вера — в Трепова, в один день. Желиховского не оказалось дома, и Маша в слезах от неудачи прибежала в «коммуну». Вера тем временем ждала своей очереди на прием к градоначальнику...

Какой-то господин в конке говорил: «Бедная наша Россия! Уж если девицы берут пистолеты и стреляют в лиц, облеченных...» Было непонятно, чем господин задет: то ли самим фактом стрельбы в лиц, то ли тем, что это берут на себя девицы, за отсутствием мужчин. Это последнее соображение немного, надо сказать, царапало совесть. А где же гордые бунтари? Знаменитые вспышкопускатели? Где итальянские кинжалы и английские револьверы, которые эти господа носят при себе неотлучно наподобие кисетов с табаком? И Вера и Маша были связаны с «южными бунтарями». Андрей вспомнил, что Аня Макаревич что-то рассказывала ему про Веру Засулич, про то, что Вера случайно и кратко была знакома с Нечаевым, жестоко пострадала за это: два года тюрьмы, лучшие годы юности. И главный киевский «револьверщик» Валерьян Осинский знал, навер-

ное, о намерении девушек. К тому же как раз в то время, в январе, он был в Питере. Почему же позволили им броситься в одиночку? Тут было много неясного. И одновременно с чувством радости и острого торжества — а все-таки есть высший суд, наперсники разврата, помните и трепещите! — было какое-то смутное ожидание. Этот выстрел был не концом, а началом. Началось нечто неизведанное. Андрей еще не знал, как к этому новому относиться, но отчетливо ощущал его приход.

Володька Жебунев тащил Андрея в дом, где можно было побыть день или два перед отъездом в Одессу или хотя бы узнать адрес, где можно остановиться. Доехали конкой до Лиговки, подошли к громадному, со множеством подъездов дому Фредерикса, взбежали на второй этаж. В квартире было полно людей. В одной комнате что-то пили и ели, в другой стоял дым коромыслом, шел жаркий спор, в третьей лобастый бородач, бурно жестикулируя, что-то рассказывал и даже изображал, чуть ли не прыгая посреди комнаты, и вокруг него стояли кружком и слушали. Он говорил о похоронах каких-то рабочих, которые погибли от взрыва на заводе, и о том, как полиция не решилась арестовать ораторов, испугавшись толпы. Произошло это несколько дней назад. «Нет, нет, господа! Времена изменились! — восклицал бородач.— Полиция чувствует себя неуверенно! И, главное, изменилось настроение толпы!» И снова — о выстреле Засулич, о подлости либералов, о том, что кто-то из «троглодитов» высказывал неодобрение. Хозяйка квартиры Перовская была почти незаметна. Быстро и неслышно перебегала она из комнаты в комнату, кому-то что-то передавала, приносила папиросы, стаканы, вилки, кого-то, нагруженная одеялами, вела на кухню спать. И опять, глядя на нее, поразился: совсем девочка! Жениха ее почему-то не было видно.

Подошла и спросила: «Вам есть где ночевать?» Он ответил: «Да, есть», потому что Жебунев уже договорился, они пойдут на Васильевский остров. Одно мгновенье смотрел ей прямо в глаза и увидел, что глаза-то — не девочки. Темно-синий, глубокий и какой-то излишне твердый, даже несколько неприятный твердостью взгляд. Но вот улыбнулась как любезная хозяйка, и вмиг лицо стало милым, детским: «А то, пожалуйста, оставайтесь у нас. Место есть, одеяла найдутся». И шутливым жестом показала на пол. Позвали в другую комнату, она

отошла. Второй разговор был, когда Андрей прощался. Перовская спросила: «Тяжело ехать домой? Почти все ваши друзья осуждены...» Он усмехнулся: «Что ж по этому случаю — оставаться здесь?» Ему почудился укор. Но затем понял, что никакого укора, а просто — она постоянно думала о тех, кто остался в крепости. Все веселились, радовались свободе, а она каждую минуту думала о тех. Сказала, что ей точно известно, что хотели заменить каторгу на ссылку, но царь оставил каторгу, и что Мышкина, Войнаральского в Сибирь не отправят, будут умерщвлять в какой-нибудь из центральных каторжных тюрем. «Ну, мы еще посмотрим! — сказала она как-то неопределенно и рассеянно улыбнулась, подавая руку.— Привет Одессе! Это хорошо, что вы уезжаете сразу, правильно, благоразумно».

Жебунев ждал на извозчике внизу. Резко похолодало, дул ледяной ветер, и, когда ехали каким-то длинным мостом через Неву, Андрей продрог, даже стучал зубами. «Домой, домой! Не нравится мне эта Северная Пальмира. Вот уж действительно для троглодитов, не для людей...» Жебунев смеялся: «Э, братец, хитришь! Что-то другое тебе не нравится, а не Северная Пальмира». Верно, другое: все эти петербургские умники полагали, что только они обладают истиной в последней инстанции. Одни из них снова бессмысленно рвались в деревню, другие теперь уповали на пистолеты. Да ведь ничего еще не было ясно, кроме того, что: надвигается новое. Через два дня он катился в вагоне третьего класса на юг, скоро снег кончился, пошли степи, он томился, пил пиво, никому ничего не рассказывал, думал о стариках, об Ольге, пароходы в Феодосию, наверно, не ходят, море штормит, слушал разговоры о ценах на хлеб, холере, московских пожарах, о том, что Одесса изумительно развивается, американский город, давно обогнала Киев, пассажиры менялись, все гуще звучала малороссийская речь, евреи трещали на быстром жаргоне, играли в карты, что-то пили из маленьких бутылочек, у поляков были надменные лица, но все равно видать, что голь перекатная, на перронах стояли бабы с детьми, то ли что-то просили, то ли торговали, мальчик с газетами бежал по вагону, крича про Бисмарка, моросили дожди, и, чем ближе к Одессе, тем сильней пахло в вагоне чесноком. А в Одессе сверкало солнце, толпа кипела, все зачем-то кричали, куда-то шарахались, носильщики, чернобородые, с красными,

зимними рожами, протискивались к чистой публике, а простой народ пер свою рухлядь сам.

Андрей остановился, глядел с изумлением: «Но ведь эти крикуны, торопыги — тоже народ. Нету ни конца, ни края. Вот и ныряй туда, в них, греби, раскачивай. Много ли раскачаешь? Тут землетрясения нужны, чтоб горы рухнули, моря разлились...» Никто за всю дорогу в третьем классе, где ехала беднота, не говорил ни о Вере Засулич, ни о Большом процессе, никто, наверное, и не слышал таких фамилий: Мышкин, Войнаральский. Ольга, увидев его, вскрикнула: «Боже, какой худой!», и заплакала. Руки ее были в муке, и, обнимая, она оттопыривала кисти, не желая пачкать его пальто. От ее волос, лица, от всего мягкого и теплого, что он сжимал, шел жадный дух свободы, окончательной свободы, той, о которой он как будто забыл, но на самом деле не забывал никогда. И так он стоял, обнимая жену худыми руками, дышал, молчал и не двигался.

Был один день, вернулось старое, призрачное. Он любил жену очень сильно. Днем ходили с Андрюшкой в гавань, вечером пошли к родственникам на ужин. Тесть был мил, сразу предложил денег, острых тем избегали, никто из родственников не задавал бестактных вопросов, как будто Андрей вернулся не из тюрьмы, а из какого-то скучного путешествия. Единственный раз тесть не сдержался, когда кто-то, кажется, Тася, заговорила о Вере Засулич. Тася спросила: не еврейка ли Засулич? Андрей удивился: «Да вас, я вижу, сей вопрос мало интересует. Вы газет не читаете. Все газеты пишут: дворянка, дочь капитана». И тут тесть, побурев лицом, сказал сердито: «Нас сей вопрос не интересует, а возмущает, если угодно знать! Устраивать из России какой-то дикий американский запад — да что это за дело? Каждый сам себе прокурор? Чуть что не по нраву — бах-трах?! Да мы все друг друга перестреляем!»

Андрей не стал спорить: Ольга смотрела умоляюще. Сказал только, что в другой раз попробует объяснить обстоятельства этого происшествия, тут все не просто. Яхненко ворчал: «Не надо мне ничего объяснять, я отлично все понимаю...» Но — опасная тема заглохла. Когда уходили, тесть придержал Андрея за локоть и спросил вполголоса: «Вы — под надзором?» Андрей сказал, что не знает. Вероятно, под негласным. На самом-то деле знал твердо, но не хотел пугать. Тесть сказал: «Я вам советую уехать поскорее. На некоторое время

исчезнуть, скрыться из виду совершенно! — В его глазах горела истинная озабоченность.— В городе беспокойно, Левашов всех подозревает в крамоле. Знаете что? Поезжайте за границу. Паспорта я попробую вам с Олечкой достать. Дам денег на первое время...»

Так как Андрей колебался с ответом, тесть с жаром разъяснял, по-видимому, давно продуманное и решенное на семейном совете: про какую-то родственницу, чудесного человека, она хорошо устроена, живет в Монтре. Андрей колебался только в одном: сразу отказать или, чтоб не огорчать старика, изобразить подавляемое желание, благодарность. Не было ни малейшей охоты бежать за границу. Это ведь именно бегство и в некотором смысле — предательство. Старик не знал, как часто на сходках, споря с учениями западных пропагандистов, особенно Бакунина и Ткачева, он говорил насмешливо: представьте, на лугу идет драка, свирепая, бьют кольем, убивают, а на другой стороне реки стоят мужики и кричат советы, как драться. «Левой бей! Правой лупи! Заходи сзади!» Яхненко понизил голос: «Если не удастся с паспортами, можно найти способ через границу — понимаете ли? Есть надежные люди...» Андрей улыбнулся. У тестя был вид заправского заговорщика, правда, отчаянная решимость стоила ему волнений: он побледнел, даже покрылся испариной. Ах, как хотелось ему отправить зятя к тетушке в Монтре! И наверное, безумно хотелось того же Ольге. «Нет, Семен Степанович, моя программа сейчас иная,— сказал Андрей.— Я поеду в деревню».— «Да? Как знаете. Вольному воля...» Тесть так расстроился, что сейчас же прервал разговор и отошел. На другой день утром был тяжелый спор с Ольгой, с рыданьями, просьбами, наконец с упреками в том, что по его вине разбита жизнь. Она не могла понять, почему нельзя уехать за границу. «Боже мой, но ведь можно и там заниматься революцией! — восклицала она в виде последнего аргумента.— И там есть рабочие, и там можно устраивать кружки!»

Он собирался в деревню не от того, что надеялся на возрождение старой мечты — хотя, если быть честным, мечта тянула, была убита не до конца, и, главное, не виделось чего-то замечательного и нового,— но просто оттого, что стосковался по старикам, по крестьянской работе, по коням, земле. На юге уже пахло весной. Он не хотел ждать ни дня. В Одессе был разброд: кое-кто из разгромленного кружка Заславского пытался орга-

низовать рабочих, «бунтари» группировались вокруг Дебогория-Мокриевича и Ковалевской, но от них Андрей по-прежнему был далек (все они были нелегалы, но занимались рискованными мелочами), и была еще кучка радикалов вокруг Ивана Ковальского... Хотя сам Иван давно стал нелегальным и пропагандировал терроризм — Андрей знал Ивана несколько лет, уважал его и был с ним в приятелях,— но вся его компания, в которую входило несколько радикальных одесских дам, была настроена на старый народнический лад. Андрей вполне мог бы к ним примкнуть и придумать сообща что-нибудь вроде поселения, деревенской коммуны, хотя его смущала некоторая маниловщина и прекраснодушие этих добрых людей: все они, как ему казалось, были мало приспособлены для работы «в народе». Старая история! Все эти дети дворян, нотариусов, миловидные вдовушки, исполненные благих порывов... Саша Афанасьева, выпускница Смольного, в пенсне, тоненькая и изящная, как с картинки журнала «Парижское обозрение», говорила: «Я буду прачкой! Я буду стирать белье!» Как будто в деревнях кому-то нужны прачки.

Но он, наверное, присоединился бы к ним, если бы дошло до дела, однако — понял сразу, после первой же встречи с Иваном Ковальским — пока все ограничивалось разговорами на вечеринках с красным удельным вином. Ивана встретил на другой же день своего возвращения в Одессу. Встретил, конечно, на улице. Иван был человек уличный. Никто не знал, где он жил, спал, да и спал ли когда-нибудь. За год, что Андрей не видел его, Иван изменился мало: тот же неряшливый, «нигилистячий» вид, нечищеные сапоги, плед на плечах, та же медведеватая, с легким прихрамыванием походка, длинные волосы и здоровенный, тугой румянец во всю щеку, каким отличаются одесские бродяги и биндюжники, проводящие дни на воздухе. Бывший семинарист и жизнеописатель сектантства (даже в «Отечественных записках» статейку тиснул), Иван был похож внешним обликом, да и, пожалуй, сутью, не на революционера, хоть и не расставался с громадным револьвером и кинжалом, а на беглого монаха, забулдыгу и чудака, вроде гоголевского Хомы Брута.

Когда-то вместе, в одном году поступали в Новороссийский университет, очень скоро Ивана исключили за невзнос платы. Иван поражал добротой, бескорыстием и какой-то особой способностью легко жить в совер-

шеннейшей нищете. Когда выгнали из университета, он продолжал, как многие — как и Андрей,— вертеться среди студентов, на сходках, в кухмистерских, на бульварах, пропагандировал, спорил, предлагал сногсшибательные идеи. Например: устроить кружок по спасению юных павших созданий, швей и портних. Зимой он заведовал буфетом в студенческой столовой, что было должностью общественной — получал лишь даровой обед в двадцать копеек,— и отличался крохоборческой честностью. Летом заведовал студенческой библиотекой, тоже бесплатно: лишь за то, что пользовался помещением библиотеки для ночлега. Часто встречали его в жару, на солнцепеке, бредущего с пачкой книг, где-нибудь в районе фонтанов, вдали от города. «Что вы тут делаете, Ковальский?» — «Да вот, несу товарищам...» Добросовестный книгоноша пер книги пехом верст десять! Потом он пропадал среди сектантов, вновь возник в Одессе году в семьдесят шестом, но был уже нелегальным, жил под чужой, какой-то польской фамилией.

Иван первый узнал Андрея, окликнул радостно и, оттащив его в переулок — они встретились на людной Полицейской, между Греческим базаром и семинарией,— стал расспрашивать о знакомых, о Феликсе, Макаревиче, о речи Мышкина и, конечно, о выстреле Засулич. Вид у него был какой-то расхлябанный, еще больше, чем всегда, не от мира сего. Почти не слушал, а говорил сам, взбудораженно, громко, нимало не заботясь о том, что могут услышать прохожие. «Вы не представляете, какое это произвело впечатление! Что ж остается нам, бедным? Стгелять, стгелять и стгелять!» — И он, хохоча, с лукавым видом похлопывал себя по животу, где бугрился револьвер.

Андрей не мог сдержать улыбки. Неисправимый Фра-Дьяволо! Где ты будешь «стгелять» из своего опереточного пистолета? Одесса, с ее солнцем, морем, свободой, лениво гуляющими людьми, казалась ему мирнейшим и счастливейшим местом, а одесские радикалы, даже нелегальные — милыми проказниками. Иван предложил пойти пообедать. Сказал, что знает недалеко от толкучего базара прекрасный трактирчик, где хорошо кормят за недорогую плату. Андрей видел: ему надо было что-то еще рассказать или даже показать, для чего улица не годилась, требовалось уединение. «Прекрасный трактирчик» оказался жалкой лавчонкой с крыльцом в две ступеньки и вывеской, наляпанной каким-ни-

будь базарным пьянчугой: изображались две жареные камбалы, огурец и по нижнему краю надпись «Белая харчевня». Что в этой харчевне было «белого», оставалось неясным. Внутри такая грязь, будто тут не мели, не чистили месяцами. И все же Андрей с удовольствием сел за грязный столик, огляделся, вдохнул чадный кухонный запах: впервые за полгода попал в харчевню, пускай даже в этакий хлев! Подошел половой с салфеткой под мышкой. Андрей и на этого парня с тупым и вместе наглым лицом смотрел с удовольствием.

В харчевне не было ни души. Иван вытащил из-за пазухи и показал Андрею то, ради чего они сюда и пришли: свеженапечатанную прокламацию с большим заголовком «Голос честных людей». Читать внимательно тут было не след. Андрей понял только, что это отклик на выстрел Засулич, стало быть, отпечатано днями, и пробежал несколько фраз насчет убийств шпионов, бегства из-под стражи и утверждения, что дух времени не тот, как прежде, и что настала «фактическая борьба социал-демократической партии с этим подлым правительством русских башибузуков». Вертелось на языке спросить: а что это за социал-демократическая партия? То же, что и социал-революционная? И существует ли она въяве или же это лишь мечта нескольких удальцов? Иван поспешно рассказывал: сразу после известия о выстреле в Трепова было решено чем-то отозваться на это событие, «как-то себя обозначить», по выражению Ивана. «Ведь здесь было сонное царство! Эх, тяжело жить на свете...» — приговаривал Иван. Он собрал нескольких радикалов своего кружка, велел каждому написать текст, выбрали лучший — им оказался текст самого Ивана — и в тот же день напечатали, это было не далее как вчера. Типография у них жалкая, вся помещается в чемодане, в сигарных ящиках, кассы нет, и нужную литеру подолгу отыскивают в куче шрифта. А само «друкование» производится с помощью сапожной щетки или же попросту «филейными частями»: «Иван привстал раза два и шлепнулся на лавку, изображая, как все это замечательно легко производить. Отпечатали уже две прокламации: одну про казнь разбойника Лукьянова, другую про недавно открывшегося предателя Краева. Но прокламацию про Краева, так же как «Голос честных людей», распространить еще не успели.

Половой принес две тарелки бурды, где плавало что-

то капустное. Иван хлебал с жадностью, а Андрей вдруг почувствовал, что не может,— это было почти то самое, что давали в предварилке! Он спросил: «Вы что же, полагаете, что найден путь?» В прокламации не призывалось прямо «стгелять, стгелять и стгелять», но поступок Засулич приветствовался с восторгом. «А вы этого разве не полагаете?» — в свою очередь спросил Иван. Вся та недолгая встреча с Иваном, прокламация, харчевня, разговоры запомнились в малейших подробностях. И — какая-то мешкотная, неуклюжая взбудораженность Ивана, его привычка повторять со вздохом: «Эх, тяжело жить на свете!», и то, что он куда-то спешил, ел с жадностью, и Андрею тоже было некогда, но успели поговорить о важном...

Ковальский сказал, что теперь многие считают, что путь найден. Но он-то как раз не уверен, что это так. Тут был Осинский, который яростно пропагандировал метод, как он его называл, «дезорганизаторский». То есть убийства высших сановников, известных своей жестокостью к революционерам, казнь шпионов, освобождение товарищей из тюрем. Но все это, кстати, вещи разные. Освобождать товарищей из тюрем можно и нужно, но сделать политическое убийство основной задачей партии — нет уж, увольте! Обратитесь к Сергею Геннадиевичу Нечаеву. Главное то, что народ этого пути не поймет и не примет. «Вы согласны, надеюсь!» Андрей сказал, что давно был согласен, но события последнего времени начинают его несколько колебать. Ведь дело-то в том, что правительство не хочет идти ни на какие уступки. Наоборот: жмут все крепче, давят все туже. Как же противодействовать? Ну хотя бы как ответить на экзекуцию Боголюбова? На расправу с теми, кто протестовал? На то, что почти семьдесят человек умерли, не дождавшись суда? На зверские приговоры, каторгу, ссылки — за что? Этих людей, которые в бешенстве хватаются за револьверы, можно понять. Ведь всякий человек, у кого есть хоть капля чести и способность сочувствовать чужому страданию... «Но все-таки? Ваше последнее слово?» — «Мое последнее слово...— Андрей раздумывал.— Зачем же эдак? Я ведь не подсудимый».— «А-а! — торжествовал Иван.— Не можете сказать прямо «Да»? То-то и есть! Кровь — дело серьезное. Вы же из мужиков, знаете, что станут говорить: «А, баре промеж себя «стгеляют»! В лучшем случае — безучастие...»

Иван говорил в тот день что-то мало одобрительное и о казни шпионов. Не в том смысле, что он против мести шпионам вообще, а в том, что определить, кто из этих господ достоин веревки, кто пули, кто, может быть, крепкого мордобоя или общественного презрения, бывает довольно трудно. Могут быть и ошибки. Между тем решения о казни принимаются скоропалительно, обычно тремя-четырьмя людьми юного возраста, и приговор, конечно, однообразный: смерть. Нечаев, помните, говорил точно: «Каждый шпион должен быть задушен, потом будет прострелена голова». Теперь все как будто отрицают нечаевщину, открещиваются руками и ногами. Мы, мол, этого дьявола знать не знаем и ведать не ведаем, ан нет: кое-что знаете, помаленьку ведаете. Гориновичу даже и голову по уставу прострелили, только сукин сын оклемался. А ведь историйка с ним неясная. Не на сто процентов доказано, что следовало убивать, может быть — мордобоя достаточно...

«Зачем же носите револьвер и кинжал?» — спросил Андрей. Иван объяснил, что с единственной целью: собственной безопасности. Он твердо решил и повсюду об этом твердит: нельзя давать себя арестовывать. Надо сопротивляться! Когда революционеры покажут властям, что они не кролики, которых можно брать голыми руками и сажать в мешок, а потом делать с ними что угодно, морить голодом, истязать, держать без суда годами, когда каждый при аресте станет сопротивляться оружием, стрелять, убивать, если нужно, обороняться кинжалом — тогда авторитет революционеров возрастет вдвое. Вот он выбил из Акция, на кинжале: «Oderint, dum metuant». Пусть ненавидят, лишь бы боялись.

«И кроме того, запомните! — внушал Иван.— Вооруженное сопротивление есть дело святое. Это есть защита личности. Чего нам, русским, особенно и трагически не хватает, и тому есть исторические причины, это — умения защищать личность!»

Слушая тогда Ковальского, Андрей и подумать не мог, что очень скоро — и нескольких часов не пройдет — Ивану придется применять свою теорию к делу. Честно признаться, относился к Ковальскому хотя и с симпатией, но не слишком серьезно. При всем его уме, начитанности, бескорыстии Иван все же принадлежал к разряду «городских сумасшедших». Забавный тип! Жил почти Диогеновой жизнью. Страдал женобоязнью. Радикальные дамы, которые время от времени

пытались брать его под свое попечение — что было задачей нелегкой, ибо он избегал всякого покровительства, тем более дамского,— втихомолку над ним посмеивались. Он не был ни драчуном, как Андрей, ни вспышкопускателем и заговорщиком, как Дебогорий с компанией, и вдруг — идея кровавой самозащиты! Андрею даже показалось, что это говорится во всеуслышание и, по его собственному признанию, повсюду не для того ли, чтобы дошло до надлежащих ушей в виде предупреждения: этого чудака, дескать, не вздумайте трогать?

Прощаясь, Иван сказал, что торопится по важному делу, но просит непременно прийти завтра и рассказать «всем нашим» о суде, Мышкине, Феликсе и прочем. «Вы здесь первая ласточка. Все будут ждать с громадным нетерпением». Дал адрес сестер Виттен: дом на Садовой, третий этаж. С обеими сестрами, Еленой и Верой, Андрей был знаком, обе домашние учительницы, а Елена имела в Одессе лет шесть назад даже особую школу: наглядного обучения. Но теперь Елены, кажется, не было в городе, она работала сестрой милосердия в каком-то военном лазарете. Иван сказал, что хозяйка квартиры сейчас Вера, но «из наших» будет человек семь, среди них Коля Виташевский, которого Андрей должен помнить, один бывший юнкер, поляк, лишь месяц назад бежавший из херсонской тюрьмы, еще кое-кто.

Договорились, что Андрей придет завтра пораньше, часов в пять, чтобы сделать полный отчет о процессе. Расстались на улице, Андрей пошел к дому, на Гулевую, Ковальский зашлепал на Старопортофранковскую — башмаки его были стоптаны немыслимо, каблуков не осталось, Иван не поднимал ног, а как-то вез их по земле. Бедный Диоген! Не знал, что последний раз идет по одесскому солнышку, дышит морем, запахом известковой пыли... Зачем-то Андрей сообщил Ольге, что собирается навестить Веру Виттен. Ольга и Виттенши, как называли сестер Виттен, были знакомы, встречались у общих друзей. Ольга и Вера, обе музыкантши, обычно играли на этих встречах — у Семенюты, старого приятеля по городищенским временам — на фортепьяно, в четыре руки. С неожиданной холодностью Ольга сказала, что с Виттеншами давно не виделась и не испытывает желания видеться. Что же произошло? Ничего особенного, кроме того, что обе с ума посходили со своим

Ковальским, шутом гороховым, какие-то у них вечера, диспуты, радения, бог с ними совсем. Они и с Семенютой раззнакомились. Со всеми порядочными людьми. Ну, и господь им судья, прекрасно, подальше от них.

При более подробном расспросе узналось, что осенью Вера Виттен встретила Ольгу на улице, расспрашивала про Андрея и очень удивилась тому, что Ольга не собирается ехать в Петербург и добиваться свиданья. «После этого она меня запрезирала. И на улице перестала кланяться. Такая дура! Во-первых, я не могла бросить ребенка, во-вторых, отец не дал бы денег на дорогу. А в-третьих, какое ее собачье дело и что она знает о наших отношениях? — Ольга рассказывала в большом волнении, лицо делалось злым, губы бледнели, собирались сухим пучком. Когда злилась, сразу вдруг старела, какие-то ямки появлялись на щеках, смотреть было неприятно.— И с видом этакого превосходства: «Да, я вижу, вы не Волконская. И даже не Волховская...»

Очень не хотелось Ольге, чтобы он шел к Виттенам. Она говорила, что это опасно, что нужно проявлять осторожность — хотя бы в первые дни. Он терпеливо объяснял, что пойти совершенно необходимо. Его ждут люди, которым нужно знать, что произошло с друзьями. Он передаст приветы. Расскажет, как они выглядели. Неизвестно, вернутся ли они оттуда, из каторжных централов, из Сибири. Она не понимала. Нет, не понимала, и все. Еще раз убеждался в том, что непонимание не злостное, а глубоко натуральное, природное, победить которое нет возможности. Люди с этим рождаются и умирают. А другие люди рождаются с пониманием, и они-то, должно быть, и есть настоящие близкие люди. В ту ночь, когда он вернулся, рассказывал много часов подряд, она слушала с жадностью, со слезами на глазах, прерывая рассказ поцелуями и рыданьями, потому что страстно жалела его и всех его товарищей, а потом вдруг робко сказала: «Андрюша, но ведь Мышкин стрелял в казаков, правда же? Алешу Поповича тоже подозревают в убийстве? Но ведь есть закон и такие дела все-таки наказываются, правда же?» На эту ерунду он ответил: а ее собственный муж, который не убивал, не стрелял, за что просидел полгода в одиночке? Тогда она еще более робким и жалким голосом сказала: «Но ведь тебя оправдали же!»

Вот это и было то самое: которое победить нельзя.

Разговор насчет Виттен произошел уже после ужи-

на у родственников и отказа ехать в Швейцарию. Он понял, что никакие разъяснения не нужны. Непонимание делало свое дело: все шло к концу. Он сказал, что узнал о пароходе: третьего февраля отходит «Трувор». Он поедет к старикам, в Крым.

Рано утром прибежал малознакомый студент, по поручению Дебогория, со страшной вестью: накануне, 30 января, поздно вечером — то есть через несколько часов после обеда в «Белой харчевне» — Иван Ковальский и члены его кружка арестованы на квартире Виттен, на Садовой. Ковальский сдержал слово: оказал вооруженное сопротивление. Кажется, убил жандарма. Другие тоже стреляли.

Подробности Андрей узнал позже. Много позже, когда был суд. Кто-то из близких кружку Ковальского оказался предателем. Полиции стал известен адрес Виттен. Агент проник в квартиру — в отсутствие Веры утром того же тридцатого,— обнаружил типографию в сигарных ящиках, которую только за день до того перенесли сюда, и нашел на столе кем-то предусмотрительно оставленную рукопись «Голос честных людей». У жандармского полковника Кнопа оказались в руках все улики. Он мог действовать наверняка. Для арестования преступников послал целый наряд жандармов, восемь человек со штабс-капитаном. Обычно посылались два жандарма. Но тут знали наперед: и то, что захватят всех скопом, и то, что может быть сопротивление. У Виттен собрались человек семь, были две женщины. Сидели за столом, пили чай. Штабс-капитан Добродеев во главе своего отряда, да еще с толпой понятых в арьергарде, быстро занял опорные пункты квартиры, велел всем оставаться на местах, сел к столу и приступил к опросу. Паспорта у всех оказались в порядке. Добродеев переписал адреса и затем сказал, что должен каждого обыскать. Первым подозвал к столу Ковальского. Тот подошел нерешительно, путано отвечал, делая вид, что не понимает, что от него хотят, и вдруг выхватил из-под пиджака револьвер и звякнул курком: револьвер дал осечку. Штабс-капитан с криком «Жандармы! Жандармы!» бросился на Ковальского, повалил стол, опрокинулись лампы, в темноте раздались выстрелы — стрелял тот самый бывший юнкер, Свитыч, бежавший из херсонской тюрьмы, но стрелял, по-видимому, в потолок, для острастки жандармов. Ковальского повалили, отняли револьвер. Тогда он вырвал из-за поя-

са кинжал, ранил жандарма, штабс-капитана ударил в висок, но Свитыч и Виташевский кинулись Ивану на помощь в то время, как другие принялись жечь бумаги. Жандармы, испугавшись стрельбы, сбежали вниз. Дом был оцеплен. Снизу кричали: «Сдавайтесь!» Ковальский с кинжалом в руке пытался пробиться, ранил еще кого-то из жандармов, был схвачен, отчаянно боролся; остальные члены кружка видели с балкона, как его, связанного, избитого, втискивали в карету, и кричали прохожим, чтобы те помогли Ковальскому. Никто не помог. Ковальского увезли. Запертые в квартире долго ждали, пока прибыла рота солдат и начала правильную осаду. Прибыл будто бы сам градоначальник граф Левашов, руководил сражением, ругаясь при этом, как извозчик.

Иван в точности выполнил то, что обещал: сопротивлялся до последнего. Сначала стрелял, потом бился кинжалом, потом — голыми руками. Он шел на заведомую гибель. Был ли смысл в гибели? Об этом думал Андрей, стоя на палубе «Трувора» и глядя на отплывающую Одессу. Смысл был. Если сжимаются кулаки, когда думаешь об Иване, и злым парусом подымается ненависть, значит, то же испытывают другие, и в этом — смысл. Иван знал, что предан, что за типографию и за «Голос честных людей» неминуема каторга. Если уж такой святой, как Иван, не вынес, и поднял, и обагрил — что же это за мир, в котором досталось жить? Смысл этой нищей, уличной, не стяжавшей и не желавшей ничего для себя несчастной жизни оказался в ее конце. Ибо ненависть — смысл. Когда-нибудь из этого смысла непременно что-нибудь родится: например, высокие многоэтажные дома, громадное множество домов. Он смотрел на удалявшийся город, и ему казалось, что там, у горизонта, в меловых сумерках толпятся тьмы и тьмы многоэтажных домов.

Где-то на набережной стояли Ольга с Андрюшей. Он вспомнил, как несколько лет назад отплывал отсюда в Крым, изгнанный и прославленный, толпа кричала «ура!», он был весел, полон надежд. Теперь провожали только жена и сын. Толпа на набережной приветствовала какую-то итальянскую певицу, уезжавшую в Ялту. Все это отодвигалось в глубь сумерек, покрывалось дымом, исчезало. Он никого уже не мог разглядеть. Ольга сказала, что приедет в Султановку в мае. Было ясно, что не приедет. Через трое суток сошел на феодосий-

ский берег и сразу стал искать лошадей в Султановку. Почтовая карета шла на Симферопольский тракт только утром следующего дня. Нанимать бричку особо — не было денег, и он остался в городе, у старого рыбника Лулудаки, у которого отец всегда покупал рыбу для нелидовского именья. Старик был довольно добр и неглуп, но возбуждал неприятные воспоминания: был родственником того самого богача Афанасия Лулудаки, стипендией которого в Новороссийском университете (для молодых людей Феодосийского уезда) Андрей некоторое время пользовался. На втором курсе стипендию Лулудаки — 350 рублей в год, не шуточки — он почему-то получать перестал. Что там произошло, было неясно, а может быть, просто забылось: кажется, богач помер, а его душеприказчица решила найти деньгам другое применение. Но вот что запомнилось: чувство собственной жалкости в той борьбе за попранную справедливость, которую затеял отец. В Одессе Андрей, разумеется, и пальцем не шевельнул для того, чтобы вернуть стипендию. Готов был ночами работать в порту, на складах, добывая деньги, но не унижаться, не повторять проклятых слов «о звании моем и бедности, которые дают право...». Но когда приехал летом домой, отец тотчас насел на него и потребовал действий. «Мы эту скрягу заставим раскошелиться! Поза́рилась! Покойник на святое дело положил, а ты, воровка, хотишь у детей украсть?» Весь гнев выплескивался дома, а в городе, куда таскались с Андреем, отец разговаривал просительно, слезливо, но с неотступным упорством. Ходили к мировому посреднику, в Феодосийскую дворянскую опеку, писали заявления, вытребовали копии обязательств и удостоверений из университетской канцелярии — атака на душеприказчицу, некую Марию Ивановну Лулудаки, велась грозная, но та не поддавалась. И вот останавливались тогда у рыбника, который был дальним родственником померщего богача и душеприказчицу ненавидел по каким-то причинам еще лютей, чем все лишившиеся стипендии. С этим стариком, Иваном Христорофовичем, отец даже советовался, как ему лучше действовать и больней Марию Ивановну ущемить.

Вспоминать все это муторно. Ведь не вынес хлопот, хождений в присутственные места, непременных жалоб на бедность и несостоятельность, поругался с отцом и сбежал в Одессу раньше срока.

Иван Христофорович заметил Андрея, который слонялся по базару, коротая пустой день, обрадованно окликнул. И пришлось пойти к рыбнику и ночевать у него. Как ни странно, в этом городе, почти единственном на побережье, не оказалось верных друзей. Гостиница была не по карману. Он возвращался домой, как блудный сын, голый, одинокий, без гроша. Если бы старый Христофорыч знал, какого бродягу и шалапута он приютил на ночь! Но вид у Андрея был респектабельный, нарочно приоделся, чтоб родителей ободрить: темное хорошее пальто, совсем еще не ношенное (год почти провисело в шкафу на Гулевой), пиджак с отворотами, галстук бабочкой, шляпа, трость, кожаный немецкий саквояж. И в саквояже — ничего, кроме пары белья и нескольких книг. Что ж там было? Последняя книжка «Отечественных записок», Зибер о Рикардо, статистика Кольба, которую Андрей любил перечитывать, что-то по истории. Было, конечно, и несколько брошюрок возмутительного содержания, возить которые было рискованно, за любую дадут Сибирь, но уж очень Андрей к ним пристрастился, помнил, с каким успехом читались. Особенно «Чтой-то, братцы». Великая штучка! На пяти страницах про все сказано: про то, как мужика лупят, сперва дубьем, теперь рублем, про землю и про Земский собор. В предварилке с автором познакомился: с тихим подслеповатым Шишко. Получил, бедняга, каторги десять лет.

И вот у старого рыбника Христофорыча...

Сначала ничего: пили вино, курили турецкие папироски, грек рассказывал про отца, тот стал приезжать в город реже, у помещика, господина Нелидова, дела плохи, хочет имение продать. Потом спросил: верный ли слух, что был какой-то суд в Петербурге и каких-то молодых людей царь опять в Сибирь сослал? Что-то слышал насчет Андрея, но, видно, не от отца. Отец, конечно, молчал. Андрей не любил лукавства и, видя, что старика разбирает безумное любопытство, ради которого и это приглашение, и молодое вино, и папироски, ответил прямо: так, мол, и так, все верно. Но — оправдан! Так что никакой опасности для купца первой гильдии нет. Старик смеялся: «Э, Лулудаки не боится! Турок не боялся, татарских абреков не боялся, холеры не боялся — теперь семьдесят лет, какой может быть страх...» Но затем осторожно принялся выяснять: чего же молодые люди хотят и во имя чего страдают?

Андрей обычно пользовался всяким случаем, чтобы говорить людям правду, объяснять, растолковывать. Мог говорить часами, спорить с десятью противниками и не уступать — так бывало на одесских сходках, до кулаков — мог терпеливо внушать истину, как тот «внушитель» из сказки, самым темным и непонятливым. Но рыбник, купчина и, разумеется, эксплуататор наемного труда, был неподходящим объектом для пропаганды. Кроме того — дойдет до отца, тот перелякается. Потому ответил кратко: «Во имя чего? Ну, скажем, во имя одного — справедливости».

Лулудаки опять смеялся: ха-ха, справедливости! Есть такие женщины, красивые и глупые, их все обманывают, и они всех обманывают. Вот это и есть справедливость. Худшие дела творились во имя справедливости: христиане резали турок, турки христиан, французы бомбили Севастополь, римские владыки жгли на кострах. Самое страшное зло на земле. Страшное тем, что его нет, оно не существует...

Что-то в таком роде говорил старый грек.

Значит, по-вашему, господин Лулудаки, бороться за справедливость нет расчета? Нет, нет. Совершенно никакого расчета. Разумеется, он молол вздор, но так как выпили целую четверть вина, разговор становился забавным. Мы, греки, говорил старик,— самые древние жители на этой земле, нас теснили дикие степные племена, номады, разбойники, генуэзцы, татары, потом вы, русские. Где же справедливость? Может быть, надо бороться против вас всех? Ведь мы первые поселились на этом берегу! Нет, не надо. Мы хотим ловить рыбу в море, как две тысячи лет назад, вот и все. Потому что справедливость — то, что дает нам море и бог.

Ага, вы настоящий гегельянец! Вы оправдываете все сущее. Все действительное разумно, не так ли? Андрею было весело. Давно не было так весело, легко и как-то заманчиво жить. Черт возьми, кроме справедливости существует еще много прекрасных вещей: например, море, вино, старики, пьяные разговоры! Итак, синьор Лулудаки, вы оправдываете любую действительность? Не понимаю, о чем вы там говорите, но, что бы вы ни говорили, я это оправдываю. Да, да, я оправдываю! Оправдываю, оправдываю!

И грек, смеясь и дрожа всем своим старым, пористым, как коричневая губка, лицом, подымал руки и взмахивал ими, благословляя что-то. Андрей радостно

смотрел на него. Старик нравился ему все больше. Какой милый, веселый эксплуататор наемного труда! И он не глуп. Эти старики, прожившие трудную жизнь и кое-чего добившиеся, очень даже неглупы. Дорогой мосье Лулудаки, лет тридцать назад, когда вы были простым рабаком, вам не казалось, что все в мире так уж замечательно. Но потом вы заплатили шестьдесят пять целковых, купили свидетельство второй гильдии — не так ли? — и решили, что мир стал немного лучше. А потом заплатили еще двести пятьдесят, стали купцом первой гильдии, оптовиком, и теперь вы уверены, что на земле все в отличном порядке.

Андрей хохотал, старик подливал вина и говорил грустно: нет, мои дела не имеют отношения к моим мыслям. Я говорю на опыте долгой жизни. Двенадцать лет назад я потерял жену, моложе меня, красивую русскую женщину — разве это справедливо? Один мой сын погиб в Сербии, другой живет в Петербурге и забыл меня. В старости я одинок, как Иов. Это справедливо? Ведь вся моя жизнь была для детей, а их нет у меня. Между прочим, это вино покупают для Ливадийского дворца, я знаю поставщика, он мой друг. И вот я говорю вам: справедливости нет! Ее просто нет в природе. Так как же, я вас спрашиваю, можно бороться за то, чего нет?

Они продолжали разговор утром. Старик провожал до почтовой станции, непрерывно щебеча и рассказывая неглупые истории. Они расстались друзьями и крепко обнялись.

Отец побледнел, когда узнал, что Андрей гостевал у рыбника Лулудаки и проговорил с ним целую ночь. Да ведь старая жаба связана с полицией! Все выпытывал насчет Андрея у отца, не сам, конечно, а по поручению, и вот, поди ж ты — Андрея усмотрел, выловил! «Ах, ах, несчастье, несчастье! — бормотал отец, крайне огорченный.— Теперь исправник прикатит. Перед господином Нелидовым неприятности...» Верно, исправник прикатил на третий день. Очень строго: «Почему не явились и не отметились? По вашему положению, вы это хорошо знаете, обязаны отмечаться в течение двух суток, не позднее. Чем собираетесь заниматься?» Андрей сказал, что приехал помочь отцу по весне в крестьянской работе, а впоследствии намерен учительствовать. Исправник угрюмо заметил: «Ну это мы посмотрим! Надобно иметь разрешение».

Отец был напуган, мать потихоньку плакала, один дядя Павел, брат отца, сильно постаревший и ставший как будто горбатеньким, поглядывал на Андрея лукаво и подмигивал, как единомышленнику: «Мы, мол, с тобой люди лихие, этим не чета!» Дядя Павел в молодости бегал от помещика, шатался повсюду, чуть ли не до Сибири добрался, был усыновлен крестьянином, ходил от него коробейником, потом его открыли, как беспаспортного, и вернули помещику в кандалах. С детства помнилось, как помещик, господин Нелидов, топал на дядю Павла ногами и орал: «В Сибирь мерзавца!» Отец ужасно пугался. А дядя Павел — ничего, не трусил, говорил, что в тюрьме бывал, кандалы нашивал, не привыкать. Работал он тогда поваром, а теперь просто доживал дни на кухне. Вся эта жалкая, холопья жизнь — отец хоть и был управляющим, но холопьего нутра не изжил,— и в детстве тяготила, а теперь сделалась вовсе невыносимой. Встретил два раза Нелидова. Тот невероятно распух, видимо, от болезни, едва ходил, перекатывая громадный живот. Когда-то сделал хорошее дело: первый объяснил Андрею гражданскую — не церковную, ту от деда узнал — грамоту и прочитал «Сказку о рыбаке и рыбке» Пушкина. Взял Андрея с собой в Керчь, где жил тогда, и определил в приходское училище, из которого потом Андрей перешел в уездное. В общем, от Нелидова двинулось все Андреево учение. И осталось в душе, навсегда, как любовь к деду, жалость к матери, как сочувствие к слабодушному отцу, благодарность к тому большому, с круглой, блестящей головой и громким голосом, всегда от него пахло сладким табаком, на животе болталась цепка, он властно хватал за руку и вел куда-то, от чего захватывало дух...

Теперь стояли и смотрели друг на друга, стараясь что-то вспомнить и узнать. Но ничего не могли узнать. Очень толстый, старый человек с отвисшей губой, тяжелым, хриплым дыханием глядел на Андрея холодным и больным взглядом. Смотрел долго, потом сказал: «Жалею, что когда-то учил вас грамоте», повернулся и ушел. В первый раз Андрей увидел его, когда уезжал в Кашка-Чекрак, к деду. Отец заложил бричку, сам взялся свезти: был рад, что сын уезжает! Нелидов, подойдя к бричке, сказал: «Такие, как вы, заставляют ненавидеть все лучшее, что дали России реформы!»

И в глазах — ненависть, истинная. Андрей опешил от внезапности, не нашелся ответить. Да и какой раз-

говор? Кроме того, увидел согнувшегося, как бы ожидающего удара отца. Потом уж сообразил: было начало апреля, только что пришла весть об оправдании Засулич.

Так странно переменилось: Нелидов вовсе не деспот, мягкошляпный либерал, который и впрямь делал добро, глядел волком, ненавидел слепо, а скотина и насильник Лоренцов, которого Андрей хотел когда-то убить, встретил и разговаривал вполне благодушно. Впрочем, кроме баб и пьянства, старый пень по-прежнему ничем не интересовался. Наверное, и газет не читал. Поездка в Кашка-Чекрак удручила сильно. Дед был при смерти, одинок, несчастен. Бабушка умерла давно. Доживал дед в той же избенке при птичьем дворе на правах то ли божьего старичка, побирушки, то ли старой собаки, которую прогнать некуда и убивать жаль. Дедова невестка со своим новым мужиком — настоящий ее муж, сын деда, пропал куда-то лет семь назад, Андрей его помнил — шкиляли и туркали старика, заставляли делать непосильное и ждали, когда помрет, чтоб завладеть избой. Они его вовсе не кормили. Иногда какую-нибудь малость деньгами присылала тетя Люба из Киева, где служила в прислугах, а то мать приезжала из Султановки, привозила чего-нибудь.

Андрей помнил деда высоким, рослым, со здоровой седой бородой, румянцем. Ходил он медленно, разговаривал не спеша и как-то очень горделиво, степенно. Все шуршал старыми книгами, раскольничьими, в тяжелых переплетах, и, как утверждала семейная легенда, Библию всю целиком прочитал дважды! Он и Андрея приучил к чтению церковных книг, заставлял учить наизусть, например, Псалтырь. Шли в горы гулять или в лес за дровами, дед приказывал: «А ну, Фроленок, псалом такой-то!» И Фроленок барабанил без запинки, хоть и не понимал многого. Нравилось барабанить, потому что странно, задорно, иногда и страшновато звучало: «С тобою избодаем рогами врагов наших, во имя твое попрем ногами...» И всегда так: Фроленок, Фроленок, никогда Андрюшкой не называл. Гордился: фроловская кровь!

Потом много и часто думал о деде и вспоминал о нем. Потому что в старике воплотилось представленье о том, что было надеждой, загадкой, мучило всю жизнь: русский мужик, что же он есть? Понять, какова суть его, Гаврилы Фролова, было то же, что понять себя, Андрея

Желябова. Корень — там, и ветви тянутся из глубокой глубины, из тьмы темнущей, необоримой. Вспоминал с изумлением: откуда в нем, Гавриле Фролове, эта гордость несокрушимая? Ведь раб крепостной, во многих коленах, давно бы уж вся гордость переварилась да с кашей вышла. Худший из крепостных — из дворни! Из дворовых людей помещика Штейна (и второй дед, Желябов, из той же штейновской челяди). Ехали с помещиком из Костромской губернии в Крым, с долгими остановками, по-старинному, и где-то на Херсонщине то ли на Полтавщине Гаврила Тимофеевич нашел вольную казачку Акулину Тимофеевну, бабушку. А в Крыму, как говорила бабушка, помещик Штейн «опанкратился», продал своих крестьян кого куда, иных роздал дочерям в приданое. Так и попали: желябовское семейство к Нелидову, а Фроловы к грекам, сначала к Лампси, потом к Лоренцову. Бабушка вечно жаловалась, то в шутку, а то с истинной горечью, когда сердилась на деда: «И зачем это я пошла в неволю?» А дед дразнил бабку трусихой, какая, мол, ты казачка, вороны боишься, и еще так: «Эй, Акуля, ты откуля?» И правда, бабка жила в постоянном страхе, в ожидании бед, несчастий, вечерами прокрадывалась к окошку и прислушивалась, нет ли поблизости страшного Полтора-Дмитрия, приказчика и шпиона...

Все это — в давности.

Бабушка умерла, Полтора-Дмитрию пробили голову, тоже помер давно, а дед, усохший, с худым лицом, поредевшей и какой-то не белой, как раньше, а сивой бородой, лежал на полатях, ждал смерти. «Встать-то можешь?» — «Могу». Поднимался медленно, накрывал плечи старым своим длиннополым сюртуком рыжего верблюжьего сукна, выходил, едва двигая ногами, на крыльцо и стоял там, качаясь, ноги гнулись, но — стоял. Не хотел помощи. Одна гордость и теплилась еще в ветхом теле. И у Андрея сжималось сердце, и такая тоска однажды взяла, не знал, что делать: выскочил из избы, увидал невесткиного мужика, схватил и затряс бешено: «Если ты, собака... моему старику!..» Мужик обмер от страха, повалился наземь. Да что можно сделать со смертью и старостью? «Я пролился, как вода, все кости мои рассыпались...»

Больше месяца пробыл Андрей со стариком, работал по крестьянству, вечерами разговаривал, ночами думал. Он чувствовал, как в его жизни происходит поворот,

незаметный, но громадный, как звезды к лету поворачиваются все сразу, если не наблюдать внимательно, то ничего не заметишь, а если остановиться, поглядеть, подумать — тогда видно. Все как-то сдвинулось, куда-то сползло, и те звезды, что были наверху, скатились к горизонту, а наверх поднялись другие и заблистали. Надежды на скорый бунт, к которому призывал Бакунин — помер, бедный, так и не дождавшись ничего, кроме вздорной чигиринской затеи,— надежды эти угасли. Разбойники? Сектанты? Вольное казачество? Все было глухо, дремало или же было занято мелкою злобой, что довлеет дневи. Бунтари, величавшие разбойников истинными революционерами, мечтавшие о новом Пугаче и бегавшие по лесам в надежде встретить шайку душегубов, чтобы обработать их с помощью Прудона, рассочились бесславно кто куда: одни в тюрьмы, другие за границу, третьи по домам. Разбойники продолжали помаленьку грабить обывателей, сектанты по гнездам своим бранили попов, а вольное казачество гоняло студентов и давило демонстрации. Все это переродилось и из силы превратилось в бессилие. Русская община? Дед Гаврила Фролов с его воспоминаньями о мирских сходах, о вековой правде мира? «Хоть на заде, да в стаде, отстал — сиротой стал». Было, было, сохранилось в преданиях, в драгоценном опыте: исконный славянский совет, свободная говорильня, право всех и каждого кричать свое мнение, то самое вече, которое изумляло византийцев, высшее русское благо, раздавленное татарской пятой и все же перемогшее татарщину, воскресшее могучей республикой, с колоколом на торговище, с правом каждого звонить в него, требовать суда и совета, и вновь растерзанное своими же российскими злодеями. Крестьянская община, говорили историки, есть сколок того утерянного рая, древней русской вольности. Народ зачем-то берег эту память. Так вот: вернуться в великую годину к своему идеалу, к жизни по закону и по правде. Но так же, как у древнего народовластья оказались слишком немощные мышцы для борьбы с железным Ивановым кулаком, так и община оказалась слаба — призрачно слаба! — для того, чтоб возлагать на нее хоть какие-то надежды в схватке с самодержавием. Она была тенью прошлого, музеем, где хранились забытые обычаи и печальные мечты.

И никто не хотел ничего другого! Когда Андрей прочитал одному умному, дельному мужику, с которым

много беседовал об истории, о мятежах, происхождении крепостного права, статью из «Отечественных записок» насчет современных деревенских кулаков, которые обирают мужиков, сосут из них кровь, слушатель Андрея неожиданно разъярился: «Неправда это! Завидно им, что мужик на поправку пошел, вот и выдумывают про мужика!» Отлично знал, что правда, сам жаловался на местного мироеда, но в статье был скрыт намек на бунт, а это сразу вызвало отпор. Яков, невесткин мужик, с которым Андрей понемногу сдружился и которому объяснял про землю, про честный душевой передел, обрадованно воскликнул: «Вот бы хорошо получить землицы поболе! Принайму двух работников!..» Но и то, о чем толковал Лавров: медленное приготовление народа к социальному переустройству, выковка критически мыслящих личностей — не годилось, потому что затягивало все надолго, неведомо на сколько поколений. А ждать долее невтерпеж! Гибли лучшие, народ дичал, тупел, и страшной угрозой вырастал кулак в деревне и капиталист в городе. Тургенев давно еще — когда угроза была лишь в намеке — сказал, что русский мужик носит зародыши такой буржуазии в дубленом тулупе,— что твои немцы! Они общину и пожрут, дубленые тулупы. И — страну разорвут, на куски растащат, дай им волю. Никакие умственные, интеллигентские силы не спасут общину от мироедства, ибо когда еще скажется эта долгая, муравьиная копотня, а тут — наскок, проворство, русские немцы окореняются не годами, а неделями. Яков с дедовой невесткой откупили у Лоренцова долю птичьего хозяйства и уже торговали яйцом и битой птицей в Керчи. Другому мужику, тоже бывшему крепостному, Лоренцов продал часть земли, бросовую, горы да буераки, а тот затеял вырубать камень, дело пошло лихо, рабочая сила дармовая, бродяги и гольтепа стекались сюда, к теплу, со всей России, море близко: за два года обогатился неслыханно. Торопиться нужно! Иначе России — каюк.

Пока жил у деда в Кашка-Чекраке, не знал толком, что творится в стране. Потом уж, в июне, встретившись в Одессе с товарищами и перечитав газеты, понял, что возбуждение и тревога одолевали многих. Каких-то поспешных, решающих действий жаждали все: и революционеры, и охранители порядка. В феврале был убит еще один шпион, Никонов, в Ростове, и покушались на жизнь прокурора Котляревского. В марте братья Избиц-

кие в Киеве оказали вооруженное сопротивление при аресте. В мае был убит кинжалом на улице жандармский офицер, барон Гейкинг, а в конце мая замечательно удался побег из киевской тюрьмы бунтарей-чигиринцев Стефановича, Дейча и Бохановского. Но власти от всего этого лишь стервенели: в апреле произвели массовую высылку студентов из Киева, без суда и следствия, скопом, в северные края, а когда везли студентов через Москву, устроили зверское избиение их охотнорядцами. 9 мая объявлено было высочайшее повеление о том, что преступления против должностных лиц изымаются из ведения суда присяжных (скорый и раздраженный ответ на оправданье Засулич!) и передаются судебным палатам, Особому присутствию Сената и Верховному уголовному суду. А через месяц, 9 июня, явилось новое великое благодеяние: по всей России введен институт урядников.

И все же окончательной решимости броситься к тем, кто видел спасенье в терроре, в кинжальной схватке с властями,— не было. Не что-либо иное, а только одно: неосновательность кинжального выхода. Не на годы, не на века решалась этим способом судьба России, а — на дни, месяцы. Когда прощались с дедом, старик, собравшись с силами, пошел провожать далеко, сколько мог, и добрался до того взгорка над почтовой дорогой, где когда-то, сто лет назад, Андрей с бабушкой ждали его обычно из города. Ничто не изменилось кругом: так же убегала вниз жаркая, зеленая равнина, порыжелая от ярого весеннего солнца — через месяц вся изжелтеет, сгорит,— так же петляла по холмам дорога, туманными горбами, в бледность, в марево уходила даль, серым зноем палило небо, трещали кузнечики, арба ползла далеко внизу. Тут начиналась его дорога, и теперь он прощался со всем этим. Он знал, что никогда больше сюда не вернется. А этот мир, который он покидал, был свеж, напоен солнцем, равнодушен и непобедим. Дед вдруг сказал: «Ибо не на лук мой уповаю и не меч мой спасет меня...»

Долгий день потом, идя сначала горами, потом степью, думал об этих словах, забытых, и соглашался умом. Но сердце томилось: «Где же взять слова, кроме лука и кроме меча?» Старик уходил из этого мира в спокойствии. Его справедливость была — там, за земной гранью. Но тому, у кого не было ни малейшей надежды попасть т у д а и чья жизнь имела единственный смысл:

добывание справедливости *здесь* — как быть? Нет, он не видел ничего, кроме солнечного блеска, пыльной дороги в черном горохе овечьего помета, не ощущал ничего, кроме жары, пота, слепившего глаза, боли в ногах и желания поскорее добраться до почтовой станции.

Митя Желтоновский, старый приятель, единственный из кружка Волховского, кто уцелел — таскали, выпытывали, но процесса избежал, был отпущен за недостатком улик,— позвал к себе на хутор, близ Брацлава, поработать на бахче. Стояла сердцевина лета. Одесса вымирала, задыхалась в каменном зное, в дурмане известковой пыли. Ольга с Андрюшкой жила у родственников в Городище и ехать в Брацлав, конечно же, отказалась. «Разве ты можешь нас прокормить? Тут мы хоть и христарадничаем, да у родных...» В насмешке была злая правда: прокормить не мог. «Андрей, да когда ж кончится? — Едва не плача.— Где твоя совесть? Не надо было заводить семью, если не желаешь жить с нами. Андрюша, милый, ведь я выходила замуж за правоведа, а не за батрака на баштане. Два года в твоей Николаевке — ну хватит, не могу, невозможно...» Все шло, как и быть должно. Он уехал к Желтоновскому. Работа на бахче оказалась адским испытанием: по шестнадцать часов в сутки трудился на солнцепеке, ходил за волами, носил воду, поливал, окапывал, таскал на горбе. Для пропаганды среди крестьян, на что Андрей надеялся и чем особенно завлекал Митя, не оставалось ни сил, ни времени. Вечерами, когда спадала духота, начиналась самая страда — полив, а к ночи на ногах не стоял. Митя работал вровень и только убегал вдруг на час, другой к Ольге, жене: она лежала днями напролет на террасе, мучилась болезнью. Женщина добрая, терпеливая, с каким-то особенно ясным и покойным взором, какой бывает, Андрей заметил, у дочерей сельских священников, и даже губительная болезнь, от которой она умирала, не сделала ее злой и мрачной. Все жалела Андрея: «Бедный вы! Как же вы живете, одинокий? Я без Мити и дня не смогла бы...» Андрей усмехался: «И моя Ольга так говорила. А сейчас, видите, живет и не тужит».

Ольга, жена Мити, заболела чахоткой в тюрьме, тоже отсидела около года по обвинению в принадлежности к противозаконному обществу и распространении запрещенных книг. «Крестным» ее был Иван Лобков-

ский, который выдал многих, в том числе и Аню Макаревич. Митя не любил, чтобы жена теребила прошлое, особенно тюремное прошлое, а Ольге и Андрею иногда хотелось поговорить: например, об Ане, с которой Ольга была дружна. Улучали минуты и разговаривали. У этой тихой, ясноглазой женщины была довольно бурная жизнь: в юности вышла замуж за своего учителя по Каменец-Подольской гимназии, фиктивным браком, но увлеклась, полюбила, а он уехал лет семь назад в Америку с группой социалистов, мечтавших создать земледельческую коммуну по типу Фурье, обещал вызвать жену, но погиб от несчастного случая: товарищ случайно застрелил его, чистя ружье. Американцы судили коммунаров, оправдали. Впрочем, коммуна развалилась, почти все вернулись в Россию, нищие и разочарованные в Фурье. А Ольга тем временем — году в семьдесят третьем — прибилась к кружку Феликса. Митя Желтоновский был тогда энергичнейшим членом кружка, выпускал рукописный журнал «Вперед», ездил в Киев для налаживанья связей с киевским и петербургским кружками. Ольга тоже занималась делом: переводила на украинский «Историю одного крестьянина» Эркман-Шатриана. Но после разгрома семьдесят четвертого года, после бесконечных дознаний Мити и тюрьмы Ольги, сокрушившей ее здоровье, оба отошли от движения: Ольга просто в силу болезни, стремительно развивавшейся, а Митя — разуверившись в успехе, ожесточась на судьбу.

Он рассказывал: в прошлом году, когда готовилось освобождение Костюрина из одесских жандармских казарм, у него, Мити, возникла ссора с Фроленко. Собственно, до открытой ссоры не дошло, но неприязнь обнаружилась. Кажется, Митю это мучило, и, рассказывая, он как бы ждал одобрения. У Алеши Поповича в то время, весною семьдесят седьмого, из одесских товарищей был на воле один Желтоновский: к нему Костюрин и стал посылать записки, умоляя о помощи в смысле побега. Митя связался с двумя лихими ребятами, «Грыцкой» Попко и «Михайлой» Фроленко. Стали вырабатывать план, дело затягивалось, Костюрин нервничал и умолял Митю спешить. Первый конфликт возник еще при обсуждении плана. А если помешает часовой? Устранить! «Как, вы не остановитесь перед кровью?» Оба совершенно спокойно: «А что прикажете делать?» Нет, нет, други мои, в таких делах я вам не товарищ!

Митя полагал, что его оставят в покое, как принято между честными людьми, но через некоторое время опять появляется хитрый Фроленко и, как ни в чем не бывало: «Крайне нужно достать пятьдесят рублей!» Митя поинтересовался: «Вам на дело или на житье?» Михайло замялся, сконфузился и признался, что — на житье. Митя денег не дал. Потом уж узнал, что приехала Аня Макаревич, достала двести рублей, Михайло нанял лошадь в Татерсале, и побег был устроен.

Тема «крови» была для Мити больным местом. При жене сдерживался, но когда оставался с Андреем вдвоем, рассуждал об этом нервно и пылко. Убийство Гейкинга его ошеломило. Подкараулить, заколоть беззащитного человека на улице — да за что же? Только за то, что носит мундир жандармского офицера? Говорят, барон был вполне умеренных взглядов, во всяком случае не худший тип жандарма, кого-то из революционеров даже, говорят, предупреждал об арестах, а жена и вовсе либеральная дама — и вот его-то убивают. Ну, конечно: легкая добыча. Зато шум, звон, выпустили специальную прокламацию с каким-то штампом Исполнительного комитета. И кто убивал? Тот же Грыцко, мягкий, образованный, парижанин Попко, про которого говорили, что он мухи зря не обидит. В том-то и ужас: убийство и кровь становятся обыкновенностью, бытом русского вольнодумца... А Иван Ивичевич? Митя видел его весною в Киеве. Ведь это Иван убил предателя Никонова в Ростове, свалил его выстрелом из револьвера на улице, потом прострелил голову. За дело: мерзавец выдал многих. Но как же Иван об этом рассказывал! С какой простотой, веселостью, с этаким удальством, словно и не об убийстве, а о какой-то гусарской шутке. И вот тогда, в Киеве, когда слушал похвальбу Ивичевичей, Ивана и его брата Игната, Митя понял: баста, тут я остановлюсь. Хватит с меня моей разрушенной жизни, хватит того, что Ольга поплатилась страшной болезнью, теперь еще и кровь надвигается.

Андрей знал Ивичевичей по Одессе. Это были отчаянные смельчаки, мальчишки, без царя в голове, обаятельные своей удалью и готовностью в любую секунду умереть, или убить, или пуститься в бесшабашную гулянку. Но ведь в тот день, когда начнется восстание, таким людям, как Ивичевичи, цены не будет! А сейчас, конечно, они, как белые вороны, выглядят нелепо и страховидно.

«Ты мечтаешь о революции без крови?» — спрашивал Андрей. «Нет! Нет! — восклицал Митя.— Но я отвергаю кровь без революции!»

В начале августа Митиной Ольге стало резко хуже. Желтоновский помчался за врачами, сначала в Брацлав, потом — кто-то рекомендовал хорошего доктора, немца — в Одессу. Немец был еще не старый, очень тучный, тяжело дышащий, того типа, который принято называть «апоплексическим». По-видимому, был сильно жаден, если согласился ехать в этакую даль и в жару на таратайке. Он привез какое-то снадобье на меду, но Ольге, кажется, уже ничто не могло помочь. Митя делал все, что мог. У него самого был вид покойника: загар как-то внезапно слинял, лицо посерело; он стал плохо соображать. Переговоры с доктором вел Андрей, а Митя сидел рядом и слушал с оцепенелым видом, изредка спрашивая невпопад. Вдруг он заплакал, бормоча: «Я знаю, это мне за грехи! Это божья кара мне...» Немцу заплатили восемьдесят рублей. Он хотел ехать назад немедленно, не желал ночевать, так как волновался за семью: «Die schrekliche Zeiten [1] в нашей милой Одессе!» За ужином рассказывал всякие ужасы. Одесса, оказывается, переполнена революционерами. Туда съехались в июле отовсюду, из других городов, даже из-за границы: готовились поднять восстание во время суда над одним из своих вожаков, Иваном Ковальским, знаменитым разбойником. Знакомая доктора видела своими глазами, как с вокзала по Старопортофранковской шла целая толпа приезжих революционеров, они все были вооружены, по нескольку кинжалов и револьверов у каждого. В город прислали войска, три роты башкир и казачий полк. Когда Ковальскому объявляли приговор, толпа стояла на улице и ждала в нетерпении, кто-то крикнул из окна: «Смертная казнь!» — и тут началась истинная революция. Крики, стрельба! Все это доктор хорошо слышал, видел бегущих людей, которых преследовали казаки: он живет в Лютеранском переулке, а суд и все действия происходили на Гулевой. Он запретил домочадцам два дня выходить на улицу. Говорят, какая-то совсем юная девушка выступала на бульваре с речью, призывала громить тюрьму, освобождать преступников: die wirkliche Revolution! [2] Полиция хотела ее схва-

---

[1] Страшные времена *(нем.)*.
[2] Настоящая революция! *(нем.)*

тить, но толпа отбила. Все-таки русская революция немножко wild und barbarisch:[1] эти разбойники с кинжалами, дети на баррикадах, казаки со своими длинными пиками. Убить невинного человека ничего не стоит. Два дня сидели дома, дрожали от страха, питались сыром и печеньем, это было мучительно. Страна, которая не может обеспечить покой своим гражданам, не имеет права причислять себя к европейским странам.

С этим заявлением немец укатил в таратайке. Митя сказал: «Он не рассказал главного: через день после казни Ивана, третьего дня, убит шеф жандармов Мезенцев. Заколот кинжалом в Петербурге на улице». Андрей вскочил: «Кто это сделал?» — «Меня это не интересует!»

И Митя опять плакал и говорил, что судьба казнит его за грехи. Какие грехи? Он слишком любил Ольгу, так сильно нельзя любить женщину. В сентябре Оля Разумовская, по первому мужу Романько-Романовская, по второму — Желтоновская умерла в возрасте двадцати пяти лет. До последнего дня сохранились ясные глаза, несмотря на страдания. Однажды, когда Мити не было, вдруг спросила Андрея: «А зачем была нужна моя жизнь?» Он задумался, чтоб ответить добросовестно. «По-моему, так: человеческий род, кроме материальных вещей и духовных богатств, создает еще нечто, неосязаемое, неучитываемое. Может быть, это совесть в высшем каком-то значении. Нет, не совесть, а — производное совести. И это неуничтожимо, и накапливается, и всегда будет сопровождать людской род. И люди будут брать оттуда». Она улыбнулась: «У них не будет своего?» — «И это возможно...»

«Милый Гриша! (Звала его Гришей, как звали в рабочих одесских кружках, где они познакомились.) Ты говоришь со мной, как учитель с малыми детьми. Но все равно — спасибо...»

На другой день он должен был ехать в Брацлав на базар, продавать арбузы и дыни, Митя оставался с умирающей. Если бы не эта смерть, не Митя, которого жаль, бросил бы бахчу и удрал в Одессу. Было ясно, что события назревали: бедный Иван! Казнь Мезенцева! Шеф жандармов получил за особые старанья: ведь именно он настоял на ужесточении приговора по Большому процессу. Значит, никто из палачей, как бы высоко ни

---

[1] Дикая и варварская *(нем.)*.

сидел, не может избежать возмездия. Андрей был убежден в том, что убийство Мезенцева поведет к свирепым и немедленным мерам, а это в свою очередь поведет — и так далее, неостановимо. Как в лесном пожаре: молния ударяет в дуб, он загорается, и тут же начинают пылать десятки соседних деревьев. В Брацлаве узнал, что угадал верно: власти ответили указом о том, что все политические убийства и насильственные действия предаются военному суду, действующему по законам военного времени. Огонь хотели погасить огнем.

В октябре Андрей вернулся в Одессу, измученный деревенской страдой, разочарованный навсегда: как пропагандист он попросту потерял три с половиной месяца. Жизнь в деревне была трудом, тяжелейшим, конским, превращавшим человека в животное, ибо на человеческое не оставалось сил. Тут был тупик. Смерть Ольги Желтоновской и помешательство Мити с горя были каким-то глубоким, скорбным подтверждением того, что — тупик, жизнь остановилась. Почти без денег, потому что выручку от продажи бахчи отдал несчастному Мите, приехал в Одессу. Идти было некуда, и — пошел домой, хотя какой же там дом? За все лето Ольга не прислала ни одного письма, никакой весточки на хутор. Две комнатки на Гулевой, угол Дегтярного, где он жил когда-то и где бывали часы скромной молодой радости, теперь казались чужим помещением — он даже не стал подниматься сразу, а стоял на улице и смотрел, — где сгущалась какая-то муторная ненужность. Оглядывал улицу: все было, как обычно, ранним часом плелись к центру города на работы одетые в рабочее тряпье каменщики, плотники с инструментом, маляры с ведрами и кистями. Всегда они с Молдаванки тянутся здесь, по Гулевой. И обратно, вечерами, тут же, только застревают в Прокудинском трактире «Китай» — вон там, напротив здания военно-окружного суда. Все происходило здесь, рядом с большим домом: башкиры, вероятно, загородили выход к Соборной площади и открыли стрельбу. Убитых, как оказалось, было двое. Потом ему рассказали про девушку, которая говорила речь на бульваре в тот вечер, 24 июля, когда объявили приговор: Виктория Гуковская. Вскочила на скамейку и кричала толпе: «Пока вы здесь гуляете, наслаждаетесь вечером, ваших товарищей приговаривают к смертной казни и каторге за то, что они добиваются вашей свободы, вашего благополучия!» Полицейский стащил со скамьи ее, она

вырвалась, бросилась бежать. Градоначальник Левашов издал приказ о поимке преступницы (ей всего четырнадцать лет!), и по городу развесили объявления и просьбы о содействии обывателей. Иван был расстрелян на рассвете 2 августа. Викторию Гуковскую арестовали через двенадцать дней. В конце лета арестовали еще нескольких человек: Лизогуба, Чубарова, Попко, о которых с обидой рассказывал Митя. Да, жизнь тут клубилась темными электрическими облаками, воздух был душен, и все предвещало великое очистительное бедствие.

Когда Андрей вошел, Ольга, не поднимаясь из-за стола, за которым шила, поглядела с какой-то злобной насмешливостью: «Нагулялся? Выглядишь отлично, загорелый, худой. И борода к лицу...» Он спросил, была ли она в городе во время суда над Иваном. «Меня это мало занимало, не помню. Кажется, была в это время у Ляли в Городищах». Он оставил все деньги, сколько привез, рублей около двухсот, и ушел на Молдаванку. Где-то там, то ли в квартирке Васи с Миколой, то ли в бараке, где жил Макар Тетерка, его ждали друзья, по которым он соскучился. Потом возвращался на Гулевую, жил с Ольгой и сыном по нескольку дней, даже ходил с Ольгой в гости к знакомым, чаще всего к Семенюте, у которого брал книги, но все это без тепла, без необходимости, а так — холодным прозябанием. Негде было ночевать, приходил. А то исчезал на неделю. Оба понимали, что конец близок, как смерть старика. И он ничего ей не рассказывал, ни с кем не знакомил, а она ни о чем не спрашивала.

И вот думал над ее словами: «Ты меня никогда не любил!» Неправда, тот студенческий бунтовщик, гуляка, драчун, которому все так легко давалось, и везло, и нравилось жить, который еще не ведал тюрьмы, горя, гибели товарищей, не носил бороды, не знал, какая бывает истинная ненависть, перерождающая человека: тот когда-то любил ее. Но доказать и объяснить это теперь нельзя. Ведь невозможно сказать: «Просто перед тобой другой человек, ты обращаешься не по адресу». Единственное, что должен сделать,— спасти ее и сына от судьбы, ими незаслуженной.

— Тебе ничего не нужно, кроме твоей ужасной жизни...

— Нет, нужно многое. Но ты мне этого дать не можешь. Значит, надо расстаться, совершенно законно, чтобы ни я к тебе, ни ты ко мне не имели никакого касательства...— Она плакала, он продолжал говорить, не меняя тона: — Есть тысячи причин, по которым наш брак должен быть расторгнут. Хотя бы история с Аней Розенштейн. Не говоря уж о том, что я не даю вам средств...

— Мне наплевать на все! Я ничего не хочу от тебя! — кричала она. Прибежал из соседней комнаты сын, испуганный, тоже заплакал.

Потом зачем-то пошли к тестю, на Екатерининскую. Ольга его упросила, он согласился, сам не зная хорошенько зачем. Видимо, стало очень уж жаль! Она металась, лепетала вздор. «Папа даст нам совет... По поводу того, чего ты добиваешься...— бормотала она.— Кроме того, он хотел поговорить». О чем? Ну хорошо, пожалуйста. По дороге возникло предчувствие: не надо идти. Это совсем ему не нужно. Но — шел, даже сына вел за руку, и, как всегда в минуты таких предчувствий, когда угадывалось неприятное, не в силах был остановить себя, а пер уж до конца. Почти год не был он в этом доме: появилась железная ограда, медная табличка на белой квадратной колонне крыльца и, дорогое новшество из Петербурга, карселевые лампы в вестибюле. Незнакомая прислуга, дородная Гарпина в наколке и в переднике с малороссийским узором сообщила Ольге, что «батька у горницы, вечеряють с гостями».

Вот и неприятное: гости! Андрей помрачнел. Общаться с людьми яхненковского круга, будь они хоть самые распролиберальные дельцы, ему не улыбалось. Бессмысленные разговоры, бессмысленное напряженье и испытанье воли: ведь того, что думаешь, не скажешь, надо молчать дураком или поддерживать болтовню.

Гостей было трое: дальний яхненковский родственник помещик Леман с женой, постоянно жившие в Петербурге, и Гералтовский, сотрудник «Одесского вестника», с которым Андрей шапочно был знаком. В «Вестник» Андрей иногда захаживал, раньше носил туда хронику студенческой жизни, а в последнее время заходил к знакомым типографским рабочим, и еще — когда навещал Семенюту, который жил в том же доме, где редакция. Гералтовский был из свиты Барона Икс, фельетониста «Одесского вестника», а сию знаменитость Андрей презирал, считал пустозвоном, и презренье

свое распространял, разумеется, на все его «хвосты и аксельбанты», то есть на его прихлебателей. Мелкий характеришко Гералтовского проявился в том, что, когда тесть представлял Андрея, этот рыжеусый таракан, с которым однажды пили чай в буфете и о чем-то даже разговаривали, сделал вид, будто незнакомы. Ну да шут с ним. Все было явно некстати. Да и представлял тесть как-то скороговоркой, теща глядела холодно, едва кивнула, а Тася, Ольгина сестра, до сих пор девица, заметно подсохшая и пожелтевшая, улыбалась язвительно. И зачем догадался прийти?

Был какой-то разговор о войне, о Берлинском конгрессе, возмущались, как водится, тем, что русская кровь проливалась ради выгод англичанки и австрияков, сетовали на недостаток «умов» в русской дипломатии и высшей государственной службе (Гералтовский: «Вы только представьте, какой бы куш сорвал Дизраэли, если бы англичане имели такие победы и понесли бы такие жертвы, как мы, грешные!»), потом от Берлина и Бисмарка перенеслись к Вильгельму, на которого в этом году было два покушения: в мае стрелял жестянщик Гедель, а в июне доктор Нобилинг, причинивший императору несколько тяжелых ран.

Стали говорить о том, что — какая-то мировая зараза, и мы, русские, всякую заразу подхватываем, конечно, первыми. Леман уверенно объяснил: «Интернационалка мутит!» Яхненко сказал, что ни доктор Нобилинг, ни жестянщик, как это достоверно доказано, не являются социалистами. Однако пострадали-то как раз социалисты. Тесть стал еще сильней похож на Шевченко, еще больше полысел, пообвисли усы, попечальнел взгляд. Глядя печально-тяжелым взглядом на Андрея, тесть рассуждал — тихим голосом, вид у старика был больной — о том, что немецкий пример должен всякую критически мыслящую личность заставить задуматься. Что же принесли два эти покушения? Ничего, кроме бедствий. Жестокий закон против социалистов, принятый рейхстагом две недели назад,— вот и весь прибыток.

— Да, мерзость, возмутительно! — подхватил Гералтовский.— Этакое немецкое, солдафонское...

— Позвольте, Доминик Францевич, что вы находите возмутительного? — заговорил, краснея, Леман, и его крупное, брылястое лицо с оттянутыми вниз губами приняло выражение недоумения и брезгливости.— Странно слышать! Разумное, деловое решение, которо-

му мы, русские, можем только завидовать. Именно этой разумности, этой железной бисмарковой крепости нам и недостает, если угодно знать. Вместо твердых мер занимаемся уговорами и увещеваньем. И — кого? Уголовный сброд, безумцев, которых надо — в смирительную рубашку и на цугундер.

— Ну уж, только увещеванием! — засмеялся Яхненко.— Дело обстоит не так лучезарно, по-моему.

И он посмотрел на Андрея, и тому показалось, как будто даже подмигнул. Недурной старикан, прощаться с ним все-таки жаль. Андрею почему-то показалось, что весь разговор затеян нарочно для него, что было, разумеется, вздором. Гералтовский имел о нем смутное представление, а Леман, петербургский житель, редкий тут гость,— и вовсе никакого. Не надо было приходить сюда. Дамы щебетали в другом конце зала, мужчины продолжали спор, постепенно все более накалявшийся. Гералтовский в запальчивости, этаким либеральным чертиком, наскакивал на Лемана:

— Стало быть, Георгий Георгиевич, что же: возврат к шпицрутенам? Намордник на общественное мнение? Предварительная цензура и так далее?

— Господа, да освободитесь вы от власти слов! Россия гибнет от словоговорения. О чем я толкую? Я человек монархический, это всем ведомо, я безмерно уважаю царствующего монарха, ибо он открыл России большие горизонты — но! Но, господа! Надеюсь, тут нет агентов Третьего отделения? — Улыбаясь шутливо, он оглядел всех, остановившись взглядом на Андрее.— Эти нервические судороги, эта истерия и бессмысленные метания, которые начинаются всякий раз, когда дело идет о борьбе с политическими противниками! Где достоинство? Где твердая, неукоснительная воля? Ведь обращение правительства к обществу, эта жалкая мольба о помощи в борьбе с крамолой, о чем мы узнали двадцатого августа,— это же стыдобушка! Громадная империя, перед которой дрожит и склоняется полмира, имеющая великую армию, тайную полицию, арестные дома, крепости, централы, Сибирь, умоляет о помощи безоружных обывателей — да ведь просто хочется сказать: тьфу! Ведь бог знает что, господа. Если и думать долго, то не придумаешь ничего более подрывающего веру и уважение к власти.

— А я мыслю совершенно иначе,— сказал Яхненко.— По мне, так это мудрейший шаг за последние годы.

Только совместные усилия властей и общества могут дать спасение. И — только доверие к силе общественного разума! Может быть, мы люди отсталые, провинциалы, чего-либо не понимаем...

— Я полностью на вашей стороне, Семен Степанович! — опять пылко подхватился Гералтовский.— Если бы люди имели свободу общественной группировки, они, не колеблясь, соединили бы свои усилия с усилиями правительства. Но невозможно же! Руки связаны.

— Позвольте, у правительства достаточно сил...

— Георгий Георгиевич, между правительством и обществом образовалась пустота. Пустота, понимаете? — Гералтовский в ажитации чертил руками в воздухе фигуры, изображая наглядно правительство, общество, а также пустоту между ними.— И в эту самую пустоту занесло с запада нигилизм. Понимаете ли, что произошло? Свято место пусто не бывает.

— Называемая вами пустота есть отсутствие крепкой власти! Есть повальная, сверху донизу, неуверенность! — сердито прокричал Леман.— Вот вам из последних фактов: мой добрый знакомец, вполне благонамеренный человек, но с неуживчивым бурсацким характером, отчего у него постоянные безурядицы на службе, долго добивался приема у Александра Егоровича Тимашева. Писал прошения, грозил, молил, наконец, добился. Когда он вошел в кабинет, министр быстро пошел ему навстречу, распахнул мундир и сказал: «Стреляйте! Я никого не боюсь! Не вы первый, не вы последний угрожаете мне, я покажу вам полный мешок угрожающих писем». Мой знакомый был совершенно фраппирован: его приняли за нигилиста и даже за револьверщика. Но каково поведение министра внутренних дел? Распахивает мундир и предлагает: «Стреляйте!» Честно вам сказать, господа, я был потрясен этим рассказом: какова же дряблость, какова степень растерянности, если такие фортели выкидывает министр — блюститель порядка, которого считают к тому же приверженцем твердой линии. Что же в таком случае остальные наши блюстители? Уму непостижимо! Дело зашло очень далеко.

Этот рассказ и Андрею показался занимательным. И он решил про себя: нет, время не потеряно. Странно, что он так долго оставался спокоен, как будто спорщики говорили о чем-то, не имевшем к нему касательства. Обычно он не вытерпливал роли слушателя и ввязывал-

ся в драку. Но теперь было особое положение: он пришел сюда ради Ольги... И, по всей видимости, последний раз в жизни.

Между тем мужчины говорили все громче, и дамы, прервав беседу о ротондах, стали прислушиваться. Госпожа Леман, высокая, бледная, очень петербургская дама с каким-то вогнутым, странно невыразительным лицом — подбородок и лоб выдавались, а все внутри вместе с маленьким чухонским носиком было как бы провалено — проговорила низким голосом строгую французскую фразу. Андрей понял смысл: Жорж, мол, не волнуйся по пустякам. Затем, обращаясь ко всем, госпожа Леман сказала:

— Георгий Георгиевич всегда очень волнуется, когда речь заходит о молодежи. У нас еще несчастье с племянником, киевским студентом: в мае его высылали в Вологду, провозили через Москву, и он попал в эту ужасную бойню в Охотном ряду. Ему пробили голову, он оказался в лазарете, сестра Георгия Георгиевича, вдова, приезжала в Петербург, мы хлопотали. И Георгий Георгиевич с тех пор...

— Матушка, я мог бы и сам рассказать. У меня язык есть.

— А на мой взгляд,— повышая голос, проговорила дама с вогнутым лицом,— дело очень просто и не нуждается в длинных разговорах. Они действуют бесчестно, а с ними стараются поступать по чести. Вот и есть ошибка.

Эту дуру уж нельзя было снести!

— Вы полагаете, сударыня, что ссылать четырнадцатилетних девочек в Сибирь только за то, что они говорят речи на бульваре — поступать по чести? А держать без суда годами в тюрьмах, одиночках, а потом освобождать за недостатком улик — тоже по чести? Да тут честь и близко не ночевала.

Андрей и сам не замечал, как голос его злобнел и креп, точно он где-то на сходке, а не в гостиной.

— Я не знаю, о каких фактах вы толкуете...— проговорила госпожа Леман, ошеломленная не столько смыслом слов, сколько тоном и напором Андрея.

— Я эти факты знаю, знаю! Мне они хорошо известны.— Леман делал успокоительные жесты жене, как бы говоря: «Подожди минуту, сейчас мы этого господина прихлопнем».— И тем не менее ты абсолютно права. Попала в самую точку. Федор Достоевский, сам быв-

ший бунтовщик, каторжанин, хорошо знающий всю эту музыку, писал в романе «Бесы» о том, что суть русской революционной идеи заключается в отрицании чести. Я помню это место, даже выписал нарочно, когда читал в журнале. Потому что точнее уж не скажешь!

— Господин Достоевский тем отличается, что сначала утверждает одно, а спустя некоторое время совсем иное и противоположное. Так что у меня нет доверия к этому автору,— сказал Андрей.— Когда-то он сам был «старым нечаевцем», а теперь всех «нечаевцев» без разбора обливает грязью. В «Бесах» писал о том, что революционеры лишены чувства чести, а в дневнике своем, в «Гражданине», лет пять назад — об отсутствии чести у нас, у русских, как о черте характера. Это местечко вы забыли? Так вот вам мое мнение...

— Ответьте прежде: вы сами-то русский человек? — спросил Леман.

— Да, да, не беспокойтесь, Георгий Георгиевич,— ответил за Андрея тесть, бывший тесть, но все же милейший старикан, который глядел на Андрея со странным выражением неодобрения и восторга.— Андрей Иванович коренной русский человек, из крепостных крестьян.

— Ах, вот как! Итак, Андрей Иванович?

— Мое мнение таково: русские революционеры как раз возродили чувство чести в народе, если хотите знать. Все эти революционные вспышки, которые мы наблюдаем, есть взрывы оскорбленного чувства чести. Понятно вам? — Он нервничал и стал говорить грубо.— Помните гоголевского поручика Пирогова, которого высек слесарь Шиллер? А потом Пирогов съел слоеный пирожок и танцевал мазурку на именинах. Так вот, пироговщине надо конец положить. И революционеры первые сказали: довольно! Нельзя сечь русского человека безнаказанно. За это — пулю в лоб. Это что вам — не чувство чести? А девушка, которая стреляла в Трепова, ни сестра, ни невеста, даже не знакома с Боголюбовым — что ее толкнуло на поступок, может быть безумный и ложный? Оскорбленная честь, ничего более. Не снесла поругания человеческого достоинства. Господин Достоевский не знает современной молодежи, напуган Нечаевым, а Нечаев-то — вчерашний день, его и не помнят, другие люди пришли, другие идеи владеют умами. «Бесов» нынче никто не читает, кроме полицейских чиновников.

— Вы глубоко заблуждаетесь,— произнес Леман, смотря на Андрея остановившимся взором, точно разглядывая его со стороны.— Я слышал, вы судились по Большому процессу? Да, да, слава богу, все обошлось, это большое счастье для семьи. Но повторяю: вы заблуждаетесь глубоко.

— Верно Достоевский написал: нет у них чести, у этих людей,— вдруг заговорила из диванного угла мать Ольги.

— Мама! — сказала Ольга.

— Они семьи заводят, а жить семейно не могут. Разве это честно? Детей народят и детьми не интересуются, не видят их месяцами,— дрожащим голосом, но все более громко говорила теща.— Деньги в дом не носят, трудиться не хотят и близких своих делают несчастными...

— Мама! Что ты говоришь?

— Я проклинаю этих людей! Проклинаю, проклинаю! — рыдая, кричала старуха. Все поднялись с мест, Гералтовский застыл с разинутым ртом, Яхненко бежал, спотыкаясь, к жене, она кричала: — Ироды! Проклинаю! Погубили твою жизнь!

— Уходите же! — Тася махала на Андрея рукой.

— Я с тобой! Я с тобой! — крикнула Ольга отчаянно.— Мама, Андрей честный, необыкновенный человек. Что ты наделала? Я ухожу от вас, буду жить одна, не хочу вас знать...

Она словно помешалась, тянула Андрея к выходу, сын цеплялся сзади, старик Яхненко что-то кричал. На улице было холодно, Ольга прижималась к нему. Он обнимал ее одной рукой, другой стискивал ладошку сына. Как будто знал, что все это должно было случиться, и вот случилось, и он был спокоен. И только печаль сжимала сердце.

Пришли в свои темные комнаты, зажгли керосиновую лампу. Печка выгорела, он спустился вниз, во двор, чтобы наколоть немного дровишек. Ему хотелось, чтобы стало очень тепло. Ольга возилась с бельем, принимаясь за стирку. Лицо у нее было мятое от слез, но спокойное, даже счастливое. Он подошел к ней, обнял ладонями ее лицо и, глядя в глаза, сказал: «Оля, нам надо расстаться». Она, закрыв глаза, кивала. Сын из глубины комнаты смотрел на них.

ГОЛОС ИЗДАЛЕКА: СЕМЕНЮТА П. П.

Я, Пимен Семенюта, часто задумывался: меняется ли человек в своей сути? К концу жизни решил, что — нет, не меняется. Человек рождается, как бы заклейменный особым зна́ком, и уж этот знак ни вытравить, ни смыть, ни переделать нельзя, а видимые изменения, которые в человеке происходят, есть лишь случайности, временное, наносное, то, что ложится поверх знака. Мы ведь судим о природе людей по нашим близким. Если нас окружают люди злые и несправедливые, мы считаем, что человечество несправедливо и зло, если же вокруг нас люди простые, добрые — мы верим в добро и полагаем, что человечество достойно лучшей участи. Кажется, я болтаю вздорности. Простите меня, я немолод, болен, истаскан и измордован жизнью — впрочем, как всякий русский человек, переживший последние три десятилетия. Кстати, я долго надеялся на то, что женщина, которую я когда-то любил (кстати, и Андрей Иванович был сильно увлечен ею), как-то переменится с течением лет, станет другой, и я буду любить ее еще больше. Но она не менялась. Надежды были напрасны. Самое странное, что я продолжал упрямо и нудно ее любить, и Андрей Иванович, между прочим — тоже! Он давно уж был женат, имел сына, но когда спустя лет восемь после нашего юного соперничества зашел ко мне домой — в конце семьдесят восьмого года — увидел эту женщину, я заметил, как он вмиг потемнел от прихлынувшей к щекам крови, глаза заблистали, это было так внезапно и открыто. Вообще, он был нервен, легко краснел, бледнел, впадал в гнев.

В тот вечер мы долго проговорили, сначала в присутствии женщины, что очень его возбуждало и тонировало, и он с необыкновенным талантом, живостью, остроумием рассказывал о своей эпопее незадачливого бахчевода, а потом остались одни, засиделись за полночь. Забавно, что, когда прощались, он строго и требовательно сказал: «Ты должен относиться к ней гораздо лучше, чем ты относишься! Я просто велю тебе это». Я перевел на шутку, но он, кажется, не шутил. Все его поступки и даже слова имели подоплеку какой-то глубокой, внутренней страсти. Имя женщины? Это не существенно. Важно то, что была. Нет, не Аня Макаревич (Аня в то время уже навсегда покинула родину) и не какая-либо другая из наших радикальных кружков. И то, что

он расстался с женой, Ольгой Семеновной Яхненко, милой женщиной, но чересчур домашней, не имело никакого отношения к истории, о которой я говорю.

Там дело другое: человек изменился. Вот об этом и речь. Наша встреча в конце семьдесят восьмого меня поразила. По своим взглядам, настроениям, характеру жизни этот человек неизмеримо удалился от юноши, которого я помнил по студенческим временам. Тогда прошумела громкая, хотя и вполне невинная история с профессором Богишичем, одним из тех служак-«братушек», которые гнули линию графа Толстого: превращали университеты то ли в казармы, то ли в управу благочиния. Андрея Ивановича высылали пароходом в Крым. Помню толпу, праздничное клокотанье, чуть ли не пели «Марсельезу», и в этой толпе был я, тогда юный репортеришко «Новороссийского телеграфа», и был наш общий с Андреем Ивановичем предмет. Она еще не сделала тогда выбора, колебалась, была опечалена его отъездом, а он жал мне руку, говорил «Прощайте!», и в его темных глазах я читал страстную зависть: не тому, что я был независимый человек, а он отправлялся в ссылку, а тому, что я — с нею, держал ее под руку, оставался на берегу, а он отплывал. «Прощайте, прощайте!» — говорил я, сочувствуя ему и жалея его совершенно сердечно, но все же с некоторым облегчением. Тогда, помню, случилась невероятная давка, толпа провожающих притеснилась к самому борту. Задние напирали, и, когда пароход стал отходить, люди едва не попадали в воду, были крики ужаса, возгласы «Помогите!», и я помню бледное лицо Андрея, который кричал нам с парохода: «Вы невредимы? Все в порядке?» — «Да, да! Прощайте, прощайте!» — кричал я радостно и махал шляпой.

Я знал его по одесским студенческим сходкам тех лет: агитатор, говорун, крикун, но не более того. И вдруг совсем иные речи. Он стал мощнее, плечистей, темная борода, крепчайшее рукопожатье. Говорил о положении рабочих: тяжкий труд и грабиловка, которой рабочие подвергаются, ведут не только к нарастанию недовольства, но и к отупению, безнадежности. Артели и союзы могли бы придать рабочим силы, но правительство неусыпно бдит, давит, громит всяческое объединение. «История движется ужасно тихо, надо ее подталкивать. Иначе вырождение нации наступит раньше, чем либералы опомнятся и возьмутся за дело».— «А конституция?» — спросил я.— «И конституция пригодится».—

«Что же ты предпочитаешь: веровать в конституцию или подталкивать историю?» Он, помолчав, ответил: «Я теперь больше надеюсь на подталкивание!»

Вот вам перемена: человек начал с того, что хотел учиться у народа, а пришел к тому, чтобы учить историю. В ту осень и зиму семьдесят восьмого — семьдесят девятого мы встречались с Андреем Ивановичем довольно часто. Раза два я бывал у него дома на Гулевой, в убогой квартирке — по-видимому, Яхненко вовсе отринул дочь, отказался помогать ей, она зарабатывала где-то как акушерка,— но чаще Андрей Иванович приходил ко мне. Тем более, что в конце ноября или в декабре он окончательно расстался с Ольгой Семеновной. Свое расставанье намеренно сделал широко известным в Одессе, об этом много болтали среди наших знакомых, жалели Ольгу Семеновну, которая его очень любила и надеялась, что все это не всерьез. Нет, он заботился о ней совершенно всерьез. Но это, как оказалось, не помогло.

В моем доме бывали одесские радикалы, бывал Валериан Осинский, когда появлялся в Одессе. Впрочем, Валериан бывал повсюду. Я не помню человека, который имел бы больше знакомств в самых разных слоях и кругах, чем Осинский. Удивительная для революционера общительность! Я хотел познакомить с ним Андрея Ивановича, но тот почему-то уклонялся. Меня это озадачивало, я спросил прямо: в чем дело? «Не люблю я этих белоручек и аристократов. У вас будет, небось, и Барон Икс со всей своей псарней? Не могу, не хочу видеть: противно».

Люди у нас дома бывали разные, мог появиться и Барон Икс, фельетонист, популярный в Одессе, и не самый скверный человек. Вовсе не аристократ. И уж во всяком случае Андрей Иванович отлично знал, что Барон Икс и Валериан Осинский — фигуры не равновеликие, и не следовало свое презренье к одному этак махом, небрежно, перебрасывать на другого. За Валерианом были уже очень крупные дела. Андрей Иванович должен был это знать, если знал и я. Ну как же: Валериан организовал убийство шпиона в Ростове, покушение на прокурора Котляревского, убийство жандармского офицера Гейкинга, и он же первый стал помещать в прокламациях печать Исполнительного комитета, которого не существовало в природе. Овальная печать, вокруг нее значилось: «Исполнительный комитет русской социально-революционной партии», а в середине пере-

крещивались револьвер, кинжал и топор. Иные смеялись над этой выдумкой, другие возражали, но Валериан-то оказался прав: власти сильно испугались картинки. Все допросы семьдесят восьмого года начинались и кончались такой фразой: «Что вы знаете об Исполнительном комитете?» Никто, разумеется, ничего не знал. Но через год это название взяли себе другие люди, так что выдумка оказалась пророческой.

Валериан Осинский был, конечно, человек замечательный, блестящий, и Андрей Иванович, чуя это, избегал встреч с ним в больших компаниях: ведь Андрей Иванович, скажу по секрету, был заметно честолюбив и не терпел чьего-либо превосходства. На улице, в трактире, на рабочей сходке он был, конечно, король, но в гостиной за чаем первенствовал Валериан. Он очень нравился дамам (и та, о которой я говорил, не избежала соблазна), стройный, белокурый красавец, в пенсне, с небольшой золотистой бородкой, он быстро двигался, много говорил, любил болтать вздор, чепуху, смешное, но всегда с ироническим смыслом, любил мистифицировать, сочинять небылицы, в которые сам же легко верил, Wahrheit und Dichtung [1] были у него перемешаны, и он сам, вероятно, путался где что. Он рассказывал мне, что двенадцатилетним мальчишкой спас соседа, на которого напали бандиты, хотели убить, а он прибежал с ружьем, и те скрылись. Была еще такая легенда: будто бы в Петербурге, где Валериан учился в Институте инженеров путей сообщения, он гулял однажды в Летнем саду и, встретясь на аллее с царем, не уступил ему дороги. За это его будто бы таскали в участок, страшно на него кричали и грозили ссылкой, но он отговорился тем, что недавно в Петербурге и не знает царя в лицо: тот был в генеральской форме. Вероятно, тут была самая истинная Wahrheit, но от того, что Валериан слишком часто фантазировал по пустякам, мы и этот рассказ воспринимали как изрядной долею Dichtung.

Впрочем, дерзостью и отвагой Валериан обладал редкостными. В Петербурге даже слегка всполошил землевольцев своими «дезорганизаторскими» идеями, вплоть до цареубийства, и подлинного содружества там, кажется, не получилось. Но об этом я знаю понаслышке, не стану говорить зря. Что же касается Одессы и Андрея Ивановича, то, как ни уклонялся Андрей Иванович от

---

[1] Правда и вымысел *(нем.)*.

общения с Валерианом, обстоятельства толкали его к нему и даже вынуждали пользоваться его помощью. Деньги, оружие, документы: все это в конце семьдесят восьмого и в январе семьдесят девятого, до дня его ареста, можно было достать у Валериана. Более могущественного человека в этот период в Киеве, Одессе и окружающих городах не было.

Андрей Иванович, еще не будучи нелегальным, не считал себя вправе рассчитывать на деньги из фонда Валериана. А денег-то у Андрея Ивановича не было. Он зарабатывал той зимой очень скудно. Иногда, встречая его на улице, я замечал, что он попросту голоден, он исхудал, лицо приобрело какой-то землистый оттенок, всегдашний румянец спал. Это были недели его последних, мучительных колебаний.

Однажды я долго уговаривал его взять деньги, вырученные от какого-то концерта. Он отказывался, говорил, что не надеется отдать скоро и поэтому не считает возможным брать, но я знал, что его терзают долги и, главное, необходимость давать жене и сыну, с которыми он уже не жил. Я настаивал, мы препирались, наконец я сказал: «Считай, что это из фонда Валериана!» Он вспыхнул: «Тогда я тем более не возьму!» Я почувствовал в его голосе озлобление. Мало того, что Валериан был обаятелен, дерзок, интеллигентен, красив, он был еще и богат, то есть не угнетаем ежедневными заботами: где поесть и где заработать? Валериан какими-то одному ему известными способами умел добывать средства для организации. Он привлек Лизогуба с его громадным состоянием. У него бывали фантастические удачи: например, какая-то богатая полька обещала ему чуть ли не двадцать тысяч рублей, если удастся освободить из тюрьмы Стефановича с товарищами. Там была сложная, романтическая история, мне рассказывали: полька была, кажется, влюблена в кого-то другого, не из компании Стефановича, но тоже сидевшего в тюрьме, и ей хотелось наблюдать пример удачного освобождения, так как Валериан обещал освободить ее друга. Валериану удалось с помощью Фроленко, поступившего в тюрьму надзирателем, не только освободить Стефановича, Дейча и Бохановского, но и получить у польки обещанный приз! Наконец, поняв, что совершил оплошность, я стал убеждать Андрея Ивановича в том, что насчет фонда Валериана была шутка и что я предлагаю ему мои собственные деньги по праву десятилетнего знакомства и,

разумеется, в долг, он с угрюмым видом согласился. Вероятно, продолжал считать, что занимает у Валериана.

Еще раз ему пришлось побороть гордыню и просить помощи у Валериана, когда он окончательно решил стать нелегальным и понадобился документ. Такой документ добыл Валериан: на имя Василия Андреевича Чернявского. Было это, кажется, в самом конце семьдесят восьмого года. Во всяком случае не позже середины января семьдесят девятого, ибо в конце января Валериана схватили в Киеве. Документ был настоящий, испробован в Одессе и в Киеве в опаснейшее время. Достать его, видимо, было очень трудно. Когда донеслась весть об аресте Валериана, мы даже не поверили сразу: так нелепо все произошло. Городовой остановил Валериана на улице и под каким-то невинным предлогом попросил зайти в участок. Валериан, ничего не заподозрив и обладая к тому же хорошим паспортом, пошел за полицейским, но в участке вместо пристава или его помощника его встретил Судейкин. Валериан пытался выхватить револьвер, но Судейкин, обладавший громадной силой, навалился на Валериана, смял его и с помощью полицейских обезоружил. Вот убили барона Гейкинга, на смену которому пришел Судейкин, а ведь барон этак-то ловко не сумел бы! Суд над Валерианом происходил в мае, я был тогда уже в местах отдаленных и читал в газете. «Осинский дрался ногами, мы принуждены были его связать,— объяснял Судейкин.— Все это время Осинский находился в каком-то исступлении, кричал, метался, изрыгал ужасные проклятья на полицию и жандармов, когда я ему сказал, что вы, господа, мастера убивать из-за угла, он заметил: «Все равно скоро всех вас, жандармов, будут убивать прямо на улицах». Через несколько времени он успокоился, тогда его развязали и приступили к допросу».

Последнее, что успел сделать Валериан перед гибелью (кроме того, что достал спасительный документ Андрею Ивановичу), была его помощь деньгами, оружием и связями Григорию Гольденбергу, убийце харьковского губернатора Кропоткина и знаменитому разоблачителю революционной партии. Но об этом пусть расскажут другие. Я же рассказываю лишь о тех, кого знал близко и считал друзьями: об Андрее Ивановиче и Валериане. Помню, когда Андрей Иванович узнал об аресте Осинского, он был очень подавлен и воскликнул с болью:

«Как я ошибался! И как ругаю себя! Меня отчуждала от него глупость, мой вечный отвратительный предрассудок: то, что его отец был в больших чинах, чуть ли не в генеральских...»

А я скажу иначе: Андрей Иванович, при всем его большом и сильном уме, часто промахивался в оценке людей. У него не было интереса к подробностям человеческих характеров. Он воспринимал людей как-то общо, округлял их, не замечал ни зазубрин, ни извитий, ни того, что в ядре характера может быть скрыто еще ядро, поменьше и потверже, а в том еще более твердое, маленькое ядрышко, которое и есть истинное. Словом, мне кажется, он не всегда умел разглядеть тот неуничтожимый знак на человеке, о котором я говорил прежде. Недаром же он не раз тянул в организацию лиц, которые потом оказывались сомнительной чистоты. Ну вот, вернемся к началу: к знаку. В «Одесском вестнике» в те времена вертелся некий Гералтовский, комнатный вольнодумец, который сочинил такой стишок: «Одни рождаются, чтоб делать революции, другие — чтобы испытывать поллюции». Сам он принадлежал, разумеется, к последним, хотя выдавал себя за сочувствующего революционерам, что считалось тогда в некотором роде bon ton. После первого марта он даже шептал горделиво, что был близким другом Андрея Ивановича и бывал у него дома. Но четверть века спустя у нас же, в Одессе, показал себя таким подлецом и охранителем, что все ахнули — все, кроме меня. Я давно разглядел на нем знак подлости. Человек не меняется, знак остается прежним. Меняются только орнаменты вокруг знака, то приносное и уносное, что сопровождает человека всю жизнь и затуманивает мозги окружающим.

Андрей Иванович, я убежден в этом, был предназначен для судьбы, которая нашла его. То, что я поразился осенью семьдесят восьмого, увидев, как он изменился, значило лишь, что я недостаточно еще его разглядел. Человек не меняется, как это ни печально. Да господи боже мой, зачем ходить далеко? Я чувствую по себе: мне много лет, я болен, предвижу скорый конец, но какие нелепые, старые, детские ощущения я испытываю порой! Стыдно признаться. Я испытываю почти детские страхи, почти детское чувство зависти, почти детские огорчения и почти детские радости. Но главная радость моя совсем не детская: она в том, что я еще жив. Андрей

Иванович стал мировой знаменитостью, я видел заграничные книги и журналы с его портретами (везде непохожими), кое-что появляется и у нас после двадцатипятилетнего молчания, но самого Андрея Ивановича давно уже нет на свете, а я еще здесь. И сегодня, в апреле 1906 года, радуясь достижениям русской свободы, я не могу без чувства благодарности думать и вспоминать о тех, кто... Я мог бы многое вспомнить об Андрее Ивановиче — хотя бы о том, как он предупреждал меня об арестах, я отнесся несерьезно и был наказан, или же о том, как мы прощались, он дал мне на память золотую цепочку, подаренную ему когда-то родителями Ольги Семеновны, и эта цепочка стала мне дорогой реликвией на всю жизнь, она и теперь, когда я пишу, лежит на моем массивном, из темно-зеленого мрамора чернильном приборе,— но я умолкаю, ибо времена настоящих воспоминаний об Андрее Ивановиче еще не наступили.

И знаете ли, к какому странному выводу я пришел? Да, человек меняется, и порою непоправимо, но — после смерти. Посему: не будем увеличивать непоправимость.

КЛИО-72

Ничего, кроме событий, фактов, имен, названий, лет, минут, часов, дней, десятилетий, столетий, тысячелетий, бесконечно исчезающих в потоке, наблюдаемом мною, Клио, в потоке, не ведающем горя, лишенном страсти, текущем не медленно и не быстро, не бессмысленно, но и без всякой цели, в потоке, затопляющем все.

Анна Розенштейн, по первому мужу Макаревич, проживала в Париже под именем Кулишовой и в мае 1878 года за организацию секций Интернационала выслана из пределов Франции. Жила в Швейцарии, была женою итальянского анархиста Андреа Коста. Затем поселилась в Милане, стала женою Турати, вождя итальянских социалистов, и умерла в 1925 году глубокой старухой. Ей были устроены торжественные похороны. В Италии Анна Кулишова известна гораздо более, чем на ее родине, в России. Весть о том, что Андрей Желябов казнен, как цареубийца, так потрясла его бывшего тестя Яхненко, что с ним случился удар и он умер. С семьей Яхненко никто не хотел знаться, они разорились, Ольга Семеновна почти нищенствовала, обезумела, просила

об изменении фамилии, отрекалась от мужа и проклинала его, спасая судьбу сына, но неизвестно, что ей удалось, есть намек, что она побиралась именем Христовым. И далее сведения о ней исчезают, как все исчезает в моем потоке...

ГЛАВА ВТОРАЯ

Поздней осенью 1878 года, когда Андрей Желябов добывал паспорт в Одессе, чтобы начать новую, подпольную жизнь, в Петербург приехал некий Клеточников Николай Васильевич, чиновник тридцати одного года, как будто еще и не старый, но по общей невзрачности, блеклому, нездоровому цвету лица, темным очкам, манере горбиться и разговаривать тихим голосом выглядел куда старше. Зачем Николай Васильевич, внезапно сорвавшись, распродав вещи, оставив место кассира общества взаимного кредита в Симферополе, примчался среди зимы в гнилую Северную Пальмиру, он и сам толком не знал. Будто тут его ждали! Никто не ждал, ни единая душа, и в Крыму никто слез не лил, прощаясь. Вероятно, Николай Васильевич имел смутный расчет: как-то переменить судьбу. Уж очень все в его жизни получалось безуспешливо и досадно. Недоучился по болезни в Медико-хирургической, рано похоронил родителей, мотался бессмысленно из града в град, летал зачем-то за границу, докучивая малое родительское наследство, и все в одиночку. День и ночь со своей персоной наедине, врагу не пожелаешь, пошел служить, томился в присутствии, кашлял от крымской пыли, доктор Вернер советовал: «Попробуйте переменить климат!» А рожа у доктора кислая, гробовая: «Э, в сущности...» Да что ж климат, когда надо — судьбу.

Не успел еще расположиться в этой жизни, не распаковал чемоданов, а уже — собирайся, пора. И более глупого придумать нельзя: из сухой и теплой крымской зимы — в сляклый петербургский мороз, на тротуарах грязи наворочено, с неба ледяной трухой моросит, не то сырым холодом душит, самый смак для чахотки. Да ведь столица в России одна, выбирать не приходится.

Поселился в доме на Песках, знакомые курсистки присоветовали: знакомство сведено было в Ялте, минутная отвага под влиянием бутылки «Иоганнесберга», но

адресок запомнил, записал, не надеясь, что пригодится, и даже, честно признаться, не веря в то, что девицы сказали правду. Зачем бы им, милым, этакий перестарок очкастый, морщинистый? Очень сильно оморщинел за последние два года, и волос стал слетать. Кремы разные, притирания, снадобье доктора Гарднера, брюссельский эликсир, все по журналам вызнавал и выписывал, денег натратил, да попусту. И вот, подъехав к дому на Песках, с извозчиком не расплатился, велел ждать: так был уверен, что девицы надули. А они-то все трое дома и невероятно почему-то ему обрадовались! Там же на Песках нашли комнату, темноватую, в нижнем этаже, но для первого случая вполне удачную.

Искал работу, девицы помогали, доброхотствовали, звали вечерами пить чай, таскали с собой в театр, однажды и он водил всех троих в кондитерскую: угощал кофе с пирожными, замечательно вкусными, в виде миндальных трубочек с заварным кремом, но не просто белым, сливочным, а чуть с желтизной и запахом лимона. Каждая трубочка восемь копеек. Прокутил изрядно: рубль с лишком. Но Николай Васильевич не жалел нисколько, потому что к девицам все больше располагался. И ото дня ко дню убеждался, что девицы не такие уж собственно девицы, щебетуньи, каких в Петербурге тьмы тьмущие, а самостоятельные молодые дамы, вольные не только в поведении (они ему, как родному, многие свои огорченья порассказали!), но и в мыслях и рассуждениях. А это для Николая Васильевича всегда было самое ценное. Были у них и какие-то связи секретные, знакомства удивительные, он догадывался. Одна проговорилась, будто знает студента, который дружен с кем-то, кто хорошо был знаком с кучером черного рысака, унесшего убийцу Мезенцева. Другая рассказывала про таинственную газету под названием «Земля и воля», которая вышла недавно первым номером. Держала ее в руках ровно одну минуту, тут же отняли, понесли кому-то показывать — человеку, близкому ко двору, но, говорят, либеральному и порядочному,— но даже беглого взгляда достаточно: за одно чтение такой газетки Сибирь и рудники обеспечены. Ах, загорелось: глазком бы взглянуть! Ведь судьбу переменить — не значило же опять куда-нибудь в присутствие затолкаться, штаны просиживать.

Была мечта скрытая, долго молчал, не решался, наконец попросил: нельзя ли познакомиться с кем-нибудь

из тех? Недоумевали: это из каких же из тех? Ну, из тех, из ваших, знакомых с теми, которые знают тех, самых главных тех. Девицы смеялись: «Эх вы какой, Николай Васильевич, да еще Клеточников! А может, вы как раз насчет «клеточки» и хлопочете? Из того здания у Цепного моста?» Все смехом, шуточками. Никаких тех не знаем и знать не желаем. Мы честные девушки, нам это все неинтересно, мы любим кофе с миндальными булочками и французскую оперу... Но все же любопытно бы знать: а для какой корысти те бы понадобились? Кое-как объяснил. Насчет давешнего своего: переменить судьбу. «Скучно жить на этом свете, господа!» — как сказал тезка. Прошло дня три, девицы его находят, зовут. В комнатке сидит молодой человек, коренастый, лицо спокойное, незаметное, волос русый, глаз внимательный: Петр Иванович.

— Так что же, Николай Васильевич, в Крыму, стало быть, дела не нашлось? — На столе перед Петром Ивановичем бутылка пива, стакан, тарелка с огурцом и котлетой, и он, вилку вонзя, котлету ножом казнит. А ведь не по правилам хорошего тона. И вдруг Николай Васильевич ухмыльнулся, сообразивши: если этот из тех, значит, ему только так и никак иначе — ножом.

— Дела-то есть... Да — скучные дела...

И не может оторваться от ножа с котлетой, глядит, похолодев.

Поговорили про Крым, про то да се. Николай Васильевич набирался духу, наконец спрашивает: что бы такое найти, чтобы польза была? Очень бы хотелось именно такое, полезное, потому что — жизнь уходит, здоровья нет, да и ничего по сути-то дела нет, а есть одна голая бесполезность. Петр Иванович подумал, подумал и говорит:

— Знаете что, Николай Васильевич? Есть у меня одно предприятие, только пока что не работа, а так. А работа набежит в дальнейшем. Вот адрес: угол Невского и Надеждинской, дом Яковлева. Живет там некая Кутузова Анна Петровна, акушерка, вдова полковника, промышляет тем, что сдает комнаты жильцам, по преимуществу молодым людям. И есть подозрение, что сия Анна Петровна оказывает услуги Третьему отделению, ибо несколько курсисток, живших в ее квартире и привлеченных к дознанию по разным пустякам, говорят, что кое-чего полиция никак знать не могла, а — знает. Вот и подозрение, то ли его подтвердить, то ли рас-

сеять. Потому что дело серьезное, и надо людей об этой щуке предупреждать. Согласитесь поселиться у Анны Петровны под видом... да под каким особенным? Под вашим собственным и поселиться. Приискиваете работу. А может, она вам и найдет. У нее связи имеются.

— Понимаю. Скажите, Петр Иванович, а вот, так сказать... У кого подозренье-то возникло?

— Насчет Анны Петровны?

— Именно так. Кого, так сказать, сия загадка интересует?

— Меня, меня крайне интересует. Меня, Петра Ивановича. Мне и расскажете, если что удастся разузнать.— И глазами твердыми уперся в глаза, глядит, не мигая, черт какой-то. А ведь смело завернул! Рискованный господин.

Польза тут несомненная и перемена судьбы, потому что Третьим отделением пахнет. Но — у Николая Васильевича даже сердце слегка заколотилось — будет ли сил поднять? Вот о чем, сконфузясь несколько, бормотал:

— Боюсь, не по Сеньке шапка... Тут ведь особое уменье, войти в доверие...

— А вы попробуйте. Очень это нужно — мне, Петру Ивановичу.

Анна Петровна Кутузова оказалась дамой, что называется, в «последнем соку». Ее щеки и шея наливного, брусничного цвета постоянно блестели от того, что она мазала их каким-то кремом, очень жирным, похожим по запаху на крем Дриммлера. По квартире бегала в капоте, с головой, обвязанной полотенцем, и только вечером капот заменялся другим капотом, более напоминавшим платье, а полотенце снималось, обнаруживая жиденькую постройку из сивовато-русых волос. С первого взгляда Николай Васильевич догадался, что та же грусть: волос падает. На эту тему и беседовали в начальных разговорах. Затем Николая Васильевича стали звать на чаек и на карточки. Анна Петровна обнаружилась лютой картежницей: могла сидеть за стуколкой до полуночи, до часу, а уж если карта ей шла, то отодраться от нее возможности не было. Чуть ли не выселеньем грозила. «Нет, государь мой, вы карточки не любите, буду других жильцов приглядывать!» — хохотала, лука-

вила остренькими глазками, а партнеры бледнели, Николай Васильевич замечал.

Играли обыкновенно вчетвером: отставной штабс-капитан Рында, старуха Богданович или же Вавичек, вольнослушатель из поляков, и Анна Петровна с Николаем Васильевичем. Иногда четверых не набиралось, тогда Анна Петровна заставляла Николая Васильевича играть с нею вдвоем. Роняла карты, он лез под стол, шарил по полу в коварной близости от могучей Анны Петровниной ноги в лавандовых облаках. Как-то капот отпал, открылось розовое, в шелесте, в белых кружевах: Николай Васильевич, поспешно стукаясь макушкой, выдирался из-под стола. Скоро Анна Петровна примирилась с тем, что от нового жильца ничего, кроме мелких выигрышей в стуколку, ей не перепадет. Но мелкие — зато регулярные! — эти выигрыши и были нынче ежевечерним сладострастием Анны Петровны. Она не огорчалась теперь, если и не собиралось четверо. С Николаем Васильевичем, мужчиной тихим и безответным, играть под чаек с рябиновкой было куда как хорошо, даже, пожалуй, еще насладительней, ибо с томностью ожидалась в конце непременная радость: выигрыш рубля, а то и двух. Николай Васильевич играть в карты не любил, не умел, плохо запоминал и порой во время игры отлетал мыслью далеко, задумывался почти с ужасом: «Да зачем же я сижу здесь, жалкий человек? Приговорен я, что ли, с этой дурой вечера убивать?» Анна Петровна, наслаждаясь, успевала, однако, и сама болтать и расспрашивать. То про мужа рассказывала, полковника артиллерии, из семьи знаменитого Кутузова, только не фельдмаршала, а другого, розенкрейцера, крамольника («Мы все, Кутузовы, вольнодумцы, у нас это исстари ведется!»), то заводила разговор про молодых жильцов, студентов и курсисток, которых очень жалела и всячески оправдывала. Николай же Васильевич стриженых девок не уважал, называл их стрикулистками, говорил, что, будь его воля, всех бы по монастырям заточил, пускай бы там полезное делали, монахам портки стирать — и то лучше. Анна Петровна не соглашалась. Спорили.

Но ничего и никак узнать про то, о чем просил Петр Иванович, не получалось.

Надоело Николаю Васильевичу — что он, нанялся, в самом-то деле? — и решил от тошнотворной бабы съезжать. Сказал: работа не подыскивается, жизнь тут дорогая, последнее проживешь, надо возвращаться в про-

винцию, то ли к себе в Пензу, то ли в Крым, в тепло. Анна Петровна всполошилась. Такой милый жилец норовит утечь! И тихий, и непьющий, платит основательно, дурных людей не водит и, главное, каждый вечер безотказно: хоть копеечку, да принесет. Неужто в таком городе огромнейшем службы не найти? В том и лихо, что нету. Тут знакомства нужны, иначе никак, нет уж, лучше в провинцию, в простоту — там хоть нет таких роскошных кондитерских, газовых фонарей да французских артисток, зато люди добрые и житье дешевле. А ежели мы вам... Что? Подыщем что-либо подходящее, в случае чего. К примеру что же, Анна Петровна? К примеру, к примеру...— Поглядывала лисовато, красненьким брусничным глазком.— Есть племянник, к примеру, Гусев. Служит в Третьем отделении, человек уважительный, может поспрошать. Авось чего есть там-то?

Николай Васильевич едва не подпрыгнул. Вот! Проговорилась, старая кляча. Значит, все верно, Петр Иванович прав: вдовица о т т у д а. В тот же вечер Николай Васильевич побежал, как условились, в квартиру на Песках и велел сказать, что хочет видеть Петра Ивановича. Просили прийти на другой день. Петр Иванович выслушал сообщение Николая Васильевича как будто без особенной радости, а когда Николай Васильевич сказал: «Ну, слава богу, теперь можно от этой Цирцеи бежать», Петр Иванович поглядел с изумлением: «Как — бежать? Пока не зачислены в штат Третьего отделения, бежать никуда нельзя». Николаю Васильевичу показалось, что ослышался. В штат? Третьего отделения? Шутка, вероятно? Никаких шуток, крайне серьезно, и даже гораздо серьезней, чем можно подумать. Поступить на службу в Третье отделение, в этот вертеп зла, в логово змей, сколопендр и всяческих гадин? Хотите, чтоб бедный Клеточников, которому и так не везет, и так судьба бьет его смертным боем, превратился бы, как Одиссеевы товарищи под Цирцеиными чарами — в свинью поганую? Да побойтесь же бога, милый Петр Иванович, пожалейте сироту, не просите невыполнимого. Ведь если просить будете — отказать нельзя, а если отказать нельзя — тогда гибель, конец.

Бормотал жалобно, в мыслях паника, а в душе, из глубины неведомой поднималось ликование: нет, не конец, а начало, н а ч а л о! И знал уже, что согласится.

Петр Иванович внушал:

— Понимаете ли, Николай Васильевич, в чем горе: шпионов засилье. Расплодилось их на казенный счет — сила необоримая. Взять хоть дом, в котором вы живете, угол Невского и Надеждинской: ведь там гнездо. А сколько таких домов по Петербургу? Да у нас на каждого честного человека по три шпиона, ей-богу, не менее, по улицам шныряют, в университете толкутся, в трактирах сидят, на конках катаются. Недавно в «Новом времени» стишок Некрасова покойного напечатали — не читали? «Праздному» называется. Без последней строфы, но нам-то она известна.

И прочитал, глядя на Николая Васильевича твердоголубым, неотклонимым взглядом:

Что сидишь ты сложа руки?
Ты окончил курс науки.
   Любишь русский край.
Остроумно, интересно
Говоришь ты, мыслишь честно,
   Что же, начинай!
Иль тебе все мелко, низко?
Или ждешь труда без риска?
   Времена не те!
В наши дни одним шпионам
Безопасно, как воронам,
   В городской черте.

Вот и надо, чтобы стало им небезопасно. Стрелять их, как псов бешеных. Только в этом спасенье. Иначе честным людям житья не дадут...

Николай Васильевич догадывался, что под «честными людьми» Петр Иванович подразумевал людей определенных. Спрашивать о догадке было неделикатно. Он слышал, что месяца два или три назад в революционной партии произошел разгром, арестовано много видных людей, вожаков, и уж конечно, делалось это не без помощи шпионов: озлобление Петра Ивановича против мерзких существ вполне понятно.

— Если бы, Николай Васильевич, удалось вползти к ним за пазуху, а еще бы лучше — в нутро, в кишки...

— Попробую, Петр Иванович,— сказал Николай Васильевич, ужасаясь собственного голоса.

Вдова обрадовалась, узнав, что жилец, подумавши основательно, дал согласие. Племянник был приглашен в ближайшие дни. Это был рослый, плотный, сильно лысый субъект пожилых лет, который по виду мог бы быть мужем Анны Петровны. Из разговора выяснилось, что он женат вторым браком, у него пятеро детей, трое от

первой жены, умершей при родах, и два сына от второй жены, немки, дочери фабриканта. Пили чай с вареньем, разговаривали о событиях, Николай Васильевич ругал, как обычно, стриженых девок, Анна Петровна защищала. Племянник внезапно, безо всякого перехода, угрюмо и, как показалось Николаю Васильевичу, с неудовольствием произнес: «Так что пожалуйте в пятницу к господину Кириллову!»

Было видно, что тетка имеет на племянника влияние, тот выполнял ее просьбу через силу, не смея ослушаться. После его ухода Анна Петровна намекнула: он, мол, у нее в кармане, все сделает, что велят, потому что ждет от нее наследства. Николай Васильевич еще подумал: «Не дождется, бедный! Пережить этакую бабищу — задачка...» Однако ночью, лежа без сна, вспоминая и обдумывая, потея от страшных мыслей, Николай Васильевич решил вдруг, что Анна Петровна все ему наплела: никакой он ей не племянник и не ждет наследства. Да, да, наплела. Зачем бы это? И что ж этого субъекта с нею связывает, отчего он так послушен? Внезапно пришла простая догадка: да потому и послушен, что она его чином выше. Когда утвердился в этой догадке, стало еще страшней, потому что: для чего же он-то, Николай Васильевич, места не имеющий жалкий чиновник, понадобился зловещей особе? В чем интерес для нее? Неужто только лишь по рублю клевать в стуколку? Нет, другое что-то. Чуял Николай Васильевич, что вползает в какую-то странную игру, в неведомую сеть: вроде хочет кого-то запутать, поймать, а его самого в то же время ловят и путают. Сна не было, и отступления не было, и выхода никакого! Успокаивался на одной мысли: польза под конец жизни, вот она, польза, грозная, ледяная, смертью дышащая, от нее поджилки трясутся, душа замирает, хочется «мама!» крикнуть, все так, да ведь бесполезность еще смертельней и ледяней. Бесполезность — это уж совсем лед, кровь застывает. Заснул под утро, маялся в кошмаре: Анна Петровна представлялась в зверином непотребстве, то с мордой кошачьей, с клыками во рту, то с эполетами на плечах, а то — капот нараспах и ляжки белеют в синеватых лягушечьих разводах...

Господин Кириллов, заведующий агентурной частью Третьего отделения, беседовал с Николаем Васильевичем не так уж долго, но как-то странно, зигзагами, точно вел не простой разговор, а нечто неприятно-много-

значительное, каждое слово с задней мыслью, в некотором роде дознание. Шут его знает — может, разучился человек разговаривать по-простому, непременно с подвохом да подковыркой? Например, интересовался: «А зачем вам понадобилось в семьдесят третьем году ездить в Вену на выставку?» Так как особых причин для той поездки у Николая Васильевича не имелось, то и объяснить зачем было совершенно невозможно, Николай Васильевич краснел, мялся, бормотал невнятицу, а господин Кириллов, кажется, торжествовал: ага, поймал! Внешность господина Кириллова могла бы показаться кому-то замечательной и выдающейся — большой лоб, нос длинный, греческий, усы и баки черные с проседью,— но для Николая Васильевича в этом красивом лице было отталкивающее. Белизна почти мертвенная, бескровная. Когда-то мальчишкой лазал в пещеры, в заброшенные каменоломни, и там в потемках находил жуков и растения, не имевшие цвета, беловатые, слепые. И вот эта белизна — принадлежность к подземному, тайному — была на лице Кириллова. Моргая тяжелыми веками, господин Кириллов вдруг спросил:

— А как здоровье, Николай Васильевич? Не жалуемся?

— Нет. Отчего же? — как бы даже обиделся Николай Васильевич, а у самого дух занялся: экий мудрец, чего спрашивает. Да что за дело его насчет здоровья интересоваться?

Кириллов тут же объяснил строгим голосом:

— Нам больные люди определенно не нужны. Я смотрю, у вас наружность не сказать, чтоб очень цветущая.— Бесцеремонно щурясь, оглядывал.— Чахотки нет? А то заразите людей. Может, с этой целью и подсылают: перезаразить все Третье отделение к чертям, ненавистное, а? А? — Смеялся, выставляя зубы.

Николай Васильевич качал головой и руками махал: нет, нет, ничего подобного! А сам думал, содрогался: «Ну и народ! Ну и публика! Монстры какие-то. Гадины отвратительные. Как же работать? Невыносимо. Неужто все там такие?» Кириллов меж тем достал из железного шкафа листок бумаги и толкал его щелчком пальца через стол, по стеклу: типографским шрифтом было напечатано «Письменное заявление». Ниже следовало заявлять, чтобы приняли в секретные агенты с жалованьем 30 рублей в месяц. Николай Васильевич заявил. Господин Кириллов поставил свой росчерк и, спросивши, кого

на первый случай Николай Васильевич мог бы иметь в виду, велел приходить в понедельник, к десяти.

24 января Николай Васильевич встретился с Петром Ивановичем и все рассказал. Об одном предупредил: если от него потребуют предательства или выдачи кого бы то ни было, он тотчас выйдет в отставку. Служить в тайной полиции! Да если б еще недавно кто-нибудь ему сказал: «Вы, Клеточников, с января начнете получать деньги в Третьем отделении», он бы посмотрел на человека с диким изумлением, как на полного идиота. А то еще, гляди, всадил бы пощечину.

Петр Иванович улыбался мягко и дружески.

— Милый Николай Васильевич! В наши дни все так быстро и неостановимо меняется, ничего удивительного. Я, например, еще недавно жил в какой-то дыре в глухомани с беспоповцами, читал раскольничьи книги, совершал их обряды, и вдруг я здесь, в столице — курю дорогие папиросы, пью пиво и разговариваю запросто с сотрудником Третьего отделения. А? Разве не удивительно?

Николай Васильевич кивал уныло, как бы говоря, что он понимает шутку, но от этого ему не легче. Затем Петр Иванович сказал, где и как они будут встречаться, просил соблюдать очень точно назначенные дни и часы, а также обращать внимание на условные знаки, выставляемые обыкновенно на окна: то в виде книги, то лампы или какой-нибудь вазы с цветком. Вдруг спросил, сильная ли у Николая Васильевича близорукость и хорошо ли он видит в очках? Николай Васильевич сказал, что близорукость порядочная, очки слабоваты, но ничего, привык.

— Очки надо менять,— сказал Петр Иванович.

— Да, да, я знаю. Я имею в виду. Как-нибудь надо зайти к доктору...

— Очки нужно менять немедленно,— сказал Петр Иванович строгим и неприятным голосом.— Ваше зрение теперь не только ваше, оно принадлежит и другим. Вот вам адрес врача.— Вырвал листок из памятной книжки и дал Николаю Васильевичу.— Деньги у вас есть, чтобы заказать сейчас же? Очки в хорошей оправе стоят пять с полтиной.

Николай Васильевич, пряча листок в карман, произнес нетвердо давно заготовленное и все равно гадкое, но — выхода не было. Насчет того, чтобы получить, если есть возможность, заимообразно ну хотя бы рублей

двадцать. Потому что за комнату платить и, вообще, глотнуть немного петербургской жизни, а то каждый вечер в эту стуколку, фуколку, все средства профукал. Выговорилось как-то длинно, развязно и вместе жалобно, отчего, Николай Васильевич почувствовал, лицо залилось краской. Но выхода не было. Петр Иванович кивнул все с тем же серьезным видом и, вытащив кошелек, отсчитал двадцать рублей и дал Николаю Васильевичу. Затем записал что-то в памятной книжке.

— Так,— сказал Петр Иванович.— Пожалуйста. И долги, вероятно, накопились?

— Долгов-то нет. Я долги избегаю, просто даже не терплю. А знаете ли, пойти с девушками, знакомыми — да они и ваши знакомые, на Песках, помните? — ну вот, в кондитерскую, на Невский...

— Это я вам не советую. Это нужно оставить.

— Почему оставить? Ваши же знакомые! Милые же какие, курсистки, вполне радикальные...

— Оставить, оставить, Николай Васильевич.— Петр Иванович, улыбаясь, делал рукою мягкий, успокаивающий жест, будто разговаривал с ребенком.— Вы теперь, извините за сравнение, Николай Васильевич, как женщина в интересном положении, должны всю жизнь свою перестроить. Лучше дома сидите. А то, не дай бог, споткнетесь или поскользнетесь на ровном месте. Зачем нам это нужно? Девиц этих я, конечно, знаю. Ничего в них особенного, пустенькие девицы. Забыть про них.

Вечером того же дня, 24 января 1879 года, Петр Иванович — он же Александр Михайлов — открыл тетрадь в розовой обложке с надписью «Кассовая книга Об. «З. и В.». Сюда заносил все мелкие, иной раз и крупные, рублей до ста, а однажды, в декабре, даже двести пятьдесят, отправленные в Саратов на поселение, расходы общества «Земля и воля». Тетрадь завелась три месяца назад, первые записи были, пожалуй, комические: «Пальто два и две шапки — 39. Две пары сапог и калош — 16». «Воробью (то есть Коле Морозову) на жизнь — 20». Но среди декабрьских трат уже значились нешуточные, под маленькой пометкой «дез.» — «дезорганизация». На третьем листе записал: «Января 24. Долг Льву — 17». (Утром встретились с Тихомировым.) И ниже: «В долг агенту — 20».

Итак, с завтрашнего дня странный человечек — там,

у Цепного моста! То, что казалось невероятнейшим, произошло. Чем же он их пронял? Почему так за него схватились — и Кутузова, и тот чиновник, будто бы родственник, и сам Кириллов? Влезть туда очень трудно, немыслимо, а он — вроде бы без труда. Значит, есть в нем что-то, невидное простому зрению, скрытые таланты, что-то мыльное, вазелиновое, позволяющее скользить и проникать. Очень интересно. Безумно интересно. Главный интерес, разумеется, впереди, а пока что — молчок. Рано торжествовать. Молчок, молчок. О нем не узнает никто из самых ближайших. Тем более теперь, когда страсти накалены и возникает положение, напоминающее лебедя, рака и щуку. Общество может просто разорваться преждевременно на куски, как худо приготовленная бомба. В октябре схвачены такие бойцы, как Ольга Натансон, Адриан Михайлов, кучер «Варвара», Оболешев, Малиновская, Буланов, Маша Коленкина — Маша, отважная душа, отстреливалась. Несчастье как будто сплотило уцелевших, но ненадолго. На собраниях — ничего, кроме пререканий, взаимных укоров и чуть ли не оскорблений. «Револьверщики» и «деревенщина» — вот два полюса, по которым разрывалось, треща и лопаясь, славное общество. И это значило, что о странном человечке Николае Васильевиче — ни тем, ни другим. Гробовая тайна. Ведь тут может быть самый громадный успех за последние годы, а может быть — крах, новые смерти. Что в нем привлекательного? Во-первых, то, что приезжий, провинциал, без родственников, без друзей, никаких связей и обязательств. Лучшие люди для дела — окаянные одиночки. Но это столь же прельстительно и для Третьего отделения. Во-вторых, непьющий, некурящий, смирный, вялый, слабогрудый, с курчавой бородкой и бледностью монашка, облик очень важен. Когда этакий хилый, на ладан дышащий предлагает свою жизнь для общей пользы — это серьезно. Когда примерно то же предлагал Мартыновский или такой здоровило, как Шмеман, поневоле задумаешься: не игра ли тут, не театр ли шиллеровский? А кроме того, обнаружилось, что — образован, читал философов, о Парижской коммуне говорил однажды с восторгом.

Так размышлял, то окрыляясь надеждой и торжеством, то погружаясь в тревогу, Александр Дмитриевич Михайлов, прозванный Дворником. Перед сном, как обычно, забаррикадировал дверь шкафом и столом, под подушку положил заряженный револьвер.

Та польза, о которой хлопотал Клеточников, стала проявляться с отчетливой и необыкновенной быстротой. Не прошло и нескольких дней, как агент предупредил о готовящихся обысках у курсисток и студентов: всем удалось сообщить, но в одном случае какая-то радикальная идиотка чуть не погубила дело. Вздумав поиздеваться над жандармами, пришедшими с обыском, она сказала насмешливо: «А, здрасте! Мы вас давно ждем!» Жандармы не нашли, разумеется, ничего предосудительного, кроме этой насмешливой фразы, которую сообщили начальству, и в Третьем отделении случился переполох: кто мог предупредить студентов об обысках? О готовящейся акции знали лишь Кириллов, его помощник Гусев, Клеточников и одна курсистка, предложившая услуги в качестве доносчицы. Кириллов и Гусев вызвали нового агента для сурового пытанья, и Клеточников — сам поразился своему хладнокровию! — твердо сказал, что разболтала, конечно же, курсистка. Вызвали ту, она растерялась, в слезы, все стало ясно, ее прогнали, Клеточников вышел сухим из воды. Но после этого едва не рокового случая землевольцы задумались: все ли сообщения агента нужно использовать для немедленного действия? Терять такого человека — его ценность увеличивалась с каждым днем, в геометрической прогрессии — было бы преступлением.

Ну разве не драгоценность те два десятка фраз, переданных Клеточниковым в конце января, сразу же по прибытии на место службы?

«В конце 78 г. писарь с фабрики Шау (за Нарвской заставой) Федор Францев дал одному рабочему письмо от имени домашнего учителя Петра Николаева (шпиона) к Францу Матвеевичу Федоровскому (угол Казачьего и Загородного, 60/10, бельэтаж, 6 окон, три входа в дом), присяжному поверенному (бывшему). По этому письму рабочий явился к Федоровскому. Федоровский, узнав, что рабочий этот бежал из ссылки, принял в нем живое участие, дал ему 16 р. денег; спрашивал, не знаком ли он с работающими в «Вольной Русской Типографии», просил, не может ли познакомить с ними, так как, мол, я слышал, что они нуждаются в деньгах, и при этом, открыв шкатулку, показал векселей на 20.000, запрещенные издания и предлагал ими пользоваться. «Как бы мне познакомиться с самым главным-то, кто у них всеми делами заправляет — я бы с ним в компанию вступил», — говорил он.

У Федоровского несколько раз был в гостях и ночевал воспитанник учительницы Александровой (из Москвы), болтал и был обыскан ночью Федоровским. Федоровский одел его на свой счет.

Федоровский несомненно шпион. Приметы его: лет 40—45, брюнет, роста ниже среднего, католик, борода клином, есть бакенбарды...»

Все так, золотые россыпи, но дело пока еще не шло о жизни и смерти. Однако скоро, в начале февраля, возникла смертельная необходимость в агенте: завертелась история с Рейнштейном, слесарем. Михайлов его несколько знал, как знал многих из «Северного союза русских рабочих». Рейнштейн был послан в Москву для организации рабочего союза (филиала) там, но в Москве вскоре случился провал, были массовые аресты; Рейнштейн вернулся в Питер в начале февраля, числа шестого. Между тем в конце января был арестован вожак «Северного союза русских рабочих», Обнорский, а в середине февраля — Клеменц, один из редакторов «Земли и воли», за которым полиция охотилась безуспешно и долго. Эта цепь провалов вызвала подозрение. Обратились к агенту. Его раскопки принесли ошеломительные результаты: виновником московского разгрома, арестов Обнорского и Клеменца оказался Рейнштейн. Агент сообщил, что в Москве Рейнштейн получил несколько сот рублей от полиции, и, удачно справившись с московским подпольем, он будто бы обещал за тысячу рублей так же ловко разделаться с петербургскими революционерами. Помогала ему в этих предприятиях жена, Татьяна Алексеевна, бывшая любовницей Обнорского. Вот какие прелестные новости были узнаны в середине февраля, и тут же принято решение: Рейнштейна казнить.

15 февраля Михайлов записал в розовой тетрадке: «Родионычу спец. дело — 100». 21 февраля другая запись: «Оружие холодное — 20».

26 февраля шпион Рейнштейн, возомнивший, что совсем нетрудно заработать тысячу рублей на костях революционеров, был убит в Москве, в номере бывшей Мамонтовской гостиницы.

Когда Родионыч вернулся в Питер, он долго не мог связно рассказать, как все это произошло. Никто и не спрашивал. Потом сам стал рассказывать, и каждый раз начинали дрожать руки, краснело лицо, он задыхался, будто в приступе астмы. «Проклятая нечаевщина...» — однажды пробормотал. Совсем уж нелепость! Пришлось

объяснять, что нечаевщиной здесь не пахнет, что студент Иванов, убитый Нечаевым, никаким шпионом не был, а был лишь соперником Нечаева и спорщиком, а Рейнштейн принес столько зла — да что говорить! Родионыч все это понимал, но, кажется, где-то в глубине, душою, дрогнул. Как раз в это время обсуждалось новое дело, новая неизбежная кровь: казнь Дрентельна, заменившего на посту шефа жандармов Мезенцева. Один Плеханов из членов Совета угрюмо воздерживался. Покушение вышло неудачным. Леон Мирский стрелял в Дрентельна на скаку, на Невском, не попал и умчался, это вызвало небывалое ошаленье властей: Петербург дыбом, облавы, аресты. Противники террора — Плеханов среди них первый — вновь подняли шум: «Вот результаты разбойничьей тактики! Мы гибнем!» Но главный *словесный* террорист Коля Морозов напечатал статью в «Листке Земли и воли», где черным по белому было сказано: «Политическое убийство — это осуществление революции в настоящем». Все это значило, что разрыванье общества продолжалось и конец близок.

И тут как раз подоспели два удачливых молодца из южан: Гольденберг и Кобылянский. В феврале Григорий Гольденберг застрелил харьковского генерал-губернатора Кропоткина. Кобылянский ему помогал. Это было дело Осинского, то есть предприятие «Земли и воли», и хотя Валериан был уже в тюрьме — его руки действовали, его пистолеты стреляли. Кобылянский оказался молодым коренастым поляком, он плохо говорил по-русски и, стесняясь этого, часами упорно молчал, зато Гольденберг говорил за десятерых. Его речь была по-южному торопливой, напевной, с резко меняющимися интонациями, как говорят в Киеве и в Одессе. Гольденберг очень гордился *делом* Кропоткина, много раз пересказывал одно и то же, с подробностями, и, когда, размахивая руками, впадал в особенную ажитацию, на его губах даже прыгали пузыри.

Он чувствовал себя героем и любил, чтобы его водили по нелегальным квартирам, поили водочкой, и он бы болтал, болтал, болтал. Было похоже, что Гришка слегка очумел. Вдруг заявил — когда собрались впятером, он, Кобылянский, Михайлов, Квятковский и Зунделевич в одном известном трактире, где можно разговаривать свободно, относительно свободно,— что он приехал в Петербург неспроста. Пусть никто из товарищей не удивляется. Он решил нанести последний удар. Убить

медведя. Доделать то, чего не доделал Митя. И не надо отговаривать, никаких разговоров, молчание, полное молчание. «Медведь мой! — Стучал кулаком, пузыри прыгали.— И я его никому не отдам!»

Михайлов после одной из трактирных встреч сказал Квятковскому:

— Не знаю, говорить ли нашим в совете? С одной стороны, мы обязаны сказать...

— Пока не говори.

— Не стану. Но представляешь, что будет, если они узнают не от нас? Страшно подумать!

Решили пока не говорить. Да и делом еще не пахло, разговоры, похвальба. Правда, в Гришке при его склонности к трезвону и хвастовству была какая-то скрытая сумасшедшая сила: мог сдуру, наплевав на всех, кинуться в самое безумное. Нельзя было выпускать его из вида ни на день. И тут явился Соловьев. В Питер приехал он раньше Гришки, чуть ли не в декабре, но возник на горизонте и стал разыскивать Михайлова в марте. Все они чуть что начинали разыскивать Михайлова. Нашел, признался в своем твердом намерении: таком же, как у Гришки. Для того и приехал, бросил Саратов, поселение, друзей, никому ничего не сказал. Как быть? Пришлось знакомить с Гришкой и Кобылянским, обсуждать вместе — прежних пятеро и шестой Соловьев.

Но совету все еще — ни слова!

Опять трактир, тот самый. Задняя комната, стол с бутылками пива, копченая рыба и — тяжесть, духота переговоров. Тяжесть оттого, что — он, Квятковский и Зунд не переступали в неведомое, оставались жить, а эти трое рвались туда, за черту. Михайлов знал, что и он будет там, за чертой, и наверное, скоро. Но еще не сегодня. Будто каким-то мечом, павшим с небес, разрубило надвое: трое сели на одной стороне стола, трое других напротив. И у тех, других, даже лица другие. При свете свечей — неживое что-то, застылое. Гришка попросил водки. Квятковский стучал в стенку, прибегал Федька, половой, приносил графин, никто не пил, кроме Гришки и Кобылянского, но и эти двое не пьянели. Советовать им было не с руки. Сами должны решить, как и что делать. Соловьев твердил: он не отступится, нужен лишь сильный револьвер и яд. Может ли общество дать ему револьвер и яд? Они трое не могли отвечать за общество. Зунделевич сказал: стрелять не должны ни еврей, ни поляк, начнутся погромы. «Я знал, что вы это

скажете!» — у Гришки исказилось лицо. Кобылянский отпал, Гольденберг упорствовал, но всем стало ясно, что стрелять ему не дадут. Тогда Гришка стал просить Соловьева, чтобы тот разрешил ему быть запасным стрелком, Соловьев не соглашался: в этом деле (он все продумал) надо действовать моментально и в одиночку. Чем больше участников, тем скорее провал. Михайлов со страстным вниманием глядел на этого человека: знал его раньше, но теперь ему казалось, что не знал никогда. Соловьев с его серым, испитым от нервного напряжения лицом был похож на мелкого чиновника, проигравшегося дотла. Худыми пальцами пощипывал жидкие регистраторские усики. Разговаривал едва слышно: «Единственное, что мне нужно — яд». Заботился не о жизни своей — о смерти.

На самом-то деле нужно было много чего: а) организовать слежку, б) квартиру, в) оружие, г) лошадь для бегства, д) кучера. Все это Михайлов держал в уме, понимая, что без помощи общества не обойтись, и видя наперед другое: получить помощь будет немыслимо трудно. Ведь шло к полному разладу. Однако все же не ждал встретить такое сопротивление и такую враждебность.

Родионыч чуть ли не кричал, что своей рукой убьет «губителя народного дела». Квятковский вспылил: «Мы тоже умеем стрелять!» В какую-то минуту Михайлов пожалел, что пришел с этим разговором, потом понял — так лучше, договорить уж до конца. Они требовали назвать фамилию. Михайлов не называл. И Плеханов, и Игнатов, и в особенности Родионыч кипели злобой к человеку, который был известен им лишь тем, что жертвовал собой, шел на мученья и смерть. Игнатов сказал:

— Я знаю, кто это: Гольденберг!

— Он сумасшедший! — кричал Родионыч.— Его надо связать и вывезти силой из Петербурга! В любом случае, удачи или неудачи, будет разгром всего движения. Вот запомните, я всех вас предупреждаю! Этот путь приведет нас к гибели!

— И это говоришь ты, месяц назад казнивший Рейнштейна?

— Да, да! Говорю я, казнивший Рейнштейна! И как раз потому, что знаю, что значит казнить, говорю о гибельности! — У него у самого был вид безумца.— И у меня рука не дрогнет...

Зунделевич, неизменно хладнокровный, толкая под столом, шептал:

— Пусть думают, что Гольденберг. Не опровергай...

Решено было ввиду разногласий никакой помощи обществом не оказывать, но некоторые члены, как Михайлов, Квятковский или Морозов, могут, если желают, помогать в частном порядке. И кроме того: всем нелегальным за несколько дней до покушения покинуть Петербург. В конце марта стали разъезжаться. Соловьеву достали яд, револьвер, купили большие патроны: сказали в магазине, будто для медвежьей охоты.

От всякой другой помощи — лошади для бегства, тайной квартиры и прочего — Соловьев отказался. Ночь с первого на второе апреля он провел у Михайлова.

Это была лучшая ночь перед смертью. Ясная, месячная. Натопили печь, открыли окно и разговаривали тихо. Никто не мог услышать. Да и о чем разговаривали? Просто так, о прожитой жизни, о детстве, о родителях, друзьях. Вспоминали саратовцев: ведь недавно еще были рядом, Михайлов в селе Синенькие под Саратовом, среди раскольников, а Соловьев волостным писарем в Вольском уезде. Мечтали, надеялись, верили фанатично в целительную и вековую мудрость народа. Михайлов грезил о какой-то новой, рационалистической секте, восхищался расколоучителями, Соловьев твердил о жизни «по справедливости», народной правде, которая — там, в темных избах, в гуще крестьянской. И вот — года не прошло — оба здесь, в ненавистном Содоме, потому что все бесполезно, один выход: взрывать! Воздух очистится, и, может быть, вся русская жизнь потечет поиному. Никак иначе нельзя отомстить за друзей, никак иначе — вывести народ из оцепенения, из болотной спячки, из унылости тухлой, тысячелетней. Об этом не говорили, потому что слишком говорено раньше, все было ясно, очевидно, е д и н с т в е н н о.

Соловьев говорил: самая большая боль для него — муки родительские, не отвратить. Старики живы, в Петербурге. В пятницу он с ними простился, сказав, что уезжает в Москву. Никто им ничего не объяснит, да все одно не поймут. Отец коллежский регистратор, лекарский помощник придворного ведомства. Постоянно — в страхе. Всю жизнь боялся нанести урон здоровью влиятельных лиц, трепетал малейших ошибок, случайностей, а сын его — с громадным револьвером для убийства...

Он был старше Михайлова лет на девять, но Михайлову казалось теперь, что — младше. Бородку он сбрил

третьего дня. Ведь жизнь кончена. Ничего дальше не будет: ни жены, ни детей, ни старости, ни любви. Михайлов еще надеялся, что у него — будет.

Никогда Михайлов не ощущал себя с кем-либо рядом — слабым. Всегда было сознание, что он сильнее, крепче на ногах, должен нести главный груз. И только в эту ночь...

Соловьев как будто понял, вдруг улыбнулся: в жидких усах, криво.

— Ты не гляди на меня, как на мученика христианского, которого — на растерзанье... Ведь и тебе — то же будет. Не завтра, так послезавтра.

— Да,— сказал Михайлов. И стало легче.

— Вот еще что. Скверная мысль, паскудная, но никак не уклонишься, вертится тут, как все равно...— Он отмахнулся, будто от осы.— А ежели напрасно, а? Ежели толку не будет? Все так и останется, как и было? Все то же самое в этом мире, только минус я... Зачем же тогда?

Михайлов молчал. Он не мог опровергать это сомнение, такое человеческое, предсмертное, и не мог поддерживать. Он не мог ничего. Должен был молчать.

— Нет, это невозможно. Глупости, вздор! Никакая не мысль, а просто провокация на почве страха.— Соловьев и не ждал от Михайлова слов. Разговаривал с собой.— Человек так привязан к земле, что готов обманывать себя бессознательно. Я не боюсь смерти: это то, что мне твердо известно. И все ж боюсь, боюсь: это то, что я чувствую. Вот и выскакивают, помимо воли, разные мысли... Еще вот. Тоже мучает. Древние христиане, которых бросали в цирках на съеденье львам — где-то на дне их безумья, их веры, готовности страдать, не было ли капли тщеславия? Это горькая капля. Нет, нет, у меня этого нет совершенно, я лишен от природы! И когда я учился на юридическом факультете... Ведь в самом деле, если есть капля тщеславия и если ничего не взорвется, все останется на прежних местах — тогда зачем же? И огород городить нечего.

Михайлов молчал. Соловьев тоже замолчал, потом спросил:

— Ты придешь завтра утром?

Он пришел и видел, как на тротуаре, ведущем от Певческого моста к Дворцовой площади, Соловьев, высокий, в чиновничьей фуражке с кокардой, в длинном своем пальто, стрелял в царя, тот бежал, делая прыжки

в стороны, Соловьев стрелял еще, еще, все мимо, потом набросились, повалили, кто-то бил саблей, кричали.

В воскресенье, в первый день пасхи, Николай Васильевич Клеточников гулял с новым приятелем Чернышевым по Невскому. Заходили в портерные. Отказаться было нельзя: Чернышев уж очень одолел, приставал еще с пятницы, как узнал насчет пособия, тридцати рублей, полученных Николаем Васильевичем от начальства. Ведь Николай Васильевич уже неделю на новой, прекрасной должности: переписчиком в агентурной части. Куда как лучше! И работа спокойней, и место тихое, всего трое в комнате, а там-то, в сыскном, всегда шум, толкотня, дым коромыслом, агенты шныряют, дверьми хлопают, и, главное, не можешь знать, что тебе скажут через минуту, куда пошлют. Должность беспрекословная. А другим нравится, по роже видать: все ему мило, целый день на ногах, бегает саврасом, не спит путем, не обедает, где водочки хлыстанет, где пирожок, где рублик-другой казенный утаит, и доволен. Ах ты, господи, пришлось помыкаться два месяца полных, пока господин Кириллов не сообразил: у каждого человека свои дары природы. Николай Васильевич по этому делу тупица. Зато почерк необыкновеннейший, алмазный. И Николай Васильевич прилежно, хотя скромно и как бы вяло внушал: агент из него бесполезный, а вот по письменной бы части куда ни шло. Разрешилось: с конца марта, с понедельника Николай Васильевич в агентурной части вольнонаемным переписчиком. Пока еще не в штате, но обещают. Специальное пособие дали, три червонца, денежки немалые.

А Чернышев в той же комнате сидит. Человек малого роста, да нахальства немалого. Толстенький, молодой еще, глаза какие-то странные, враскорячку, один глаз зеленоватый, другой — голубой.

То голубым глядит, все шутит, глупости разные, а то зеленоватым уставится — холодом обдаст. Пристал: пойдем да пойдем. Нехорошо с товарищами радостью не делиться, будто нехристь какой. Ежели вы, Николай Васильевич, человек православный и благородный, то обязаны о товарищах позаботиться, а не то что: схватил тридцатку и домой уполз, в берлогу гнусную, холостяцкую.

Терпел, слушал, сам болтал чепуху и поил Чернышева: в каждой портерной, как шли от вокзала правой стороной, останавливались. Вечер был ясный, теплый,

истинно праздничный. Народ гулял, в портерных толкотня, веселье, хмельные чиновники, заводские рабочие в котелках, приказчики, дамочки, на улицах каретная гоньба, крики, спешка, брызги черноты из-под колес, а из больших ресторанов, со вторых этажей, музыка летит. Николай Васильевич и сам немножко потягивал, лафитничка два, три, четыре, а то и пятый, чтоб не обидеть и не раздражить, то мозельвейна, то немецкого портера, то рябиновки под огурец, так что голова стала полегоньку пухнуть, соображенье мутилось и возникало само собой сладкое удальство: вот она, петербургская жизнь, золотая, мечтательная! Но за всем тем помнилось: а шут его знает, кто таков? Хороших людей в этом гадюшнике не бывает. Толстяк был тоже холост, домой не спешил и намеревался, кажется, прокутить все товарищево пособие.

Николай Васильевич положил предел: шесть рублей. Да и то легкомыслие, это уж на полгода вперед. Это уж только потому, что нельзя отказать, подозрительно. Чернышев кого-то бранил, сварливо, с упорством пьяным, бессмысленным, Николай Васильевич не сразу разобрал, потом понял: Вольфа, столоначальника. «Это жаба, хамелеон подлый, вы его бойтесь, он наушничает. Слышите? Подальше от него. Я дурного не посоветую...» Николай Васильевич кивал, соглашался.

Вдруг, уставив зеленоватый глаз, цедил ледяным тоном:

— А я все про вас знаю, Клеточников. От меня — ни-ни, не укроетесь.

— Что ж вы можете знать? — смеялся Николай Васильевич.— Я человек откровенный.

— Все ваши секретности знаю.

— Ну и знайте на здоровье.

— Ах, вот вы как? — Чернышев будто бы сердился, но глазом голубым, веселым, уже шутил, проказничал.— А у кого дама сердца на Литейном проживает? Хорошенькая? Подруга есть? Велите, чтоб с подругой познакомила. Мне подруга нужна...

Николай Васильевич отшучивался, а у самого холодело: болтает зря или вправду до чего донюхался? Никому же верить нельзя, все они там, гады ползучие, перекрученные. Может, он и не пьян вовсе, и ходить ему с ним, Клеточниковым, в светлый праздник по портерным никак не интересно, но — господин Кириллов послал? Неделю назад, сразу же, как перевели в агентурную часть

переписчиком, Петр Иванович предложил ему посещать новую квартиру, где жила барышня Наталья Николаевна, одинокая. А он будто бы ее друг. Для всех понятно, и ничего удивительного. Николаю Васильевичу очень понравилось, и барышня милая, тихая, бледненькая, на диване с книжкой, а они с Петром Ивановичем в соседней комнате. Но живет барышня вовсе не на Литейном, на другой улице.

Однако неприятное что-то колыхнулось, в голове прояснело.

— Никаких барышень знакомых на Литейном у меня, к сожалению, нет,— сказал со вздохом.

— А где есть?

— Да нигде нету. Я до барышень не охотник, и они до меня...

Чернышев стал тут же, с необыкновенной живостью и азартом тянуть Николая Васильевича к какой-то знакомой Рихтерше, в заведение. Насилу отбился. Чернышев, выпросив в долг, под честное-благородное слово три рубля, убежал.

На другой день, второго апреля, в понедельник, Николай Васильевич едва встал, голова раскалывалась, был одиннадцатый час. На службу мог не идти, но еще страстной пятницей договорился с начальником, что придет, побросает бумажки: ведь дело поручено огромнейшее, изо всех алфавитов составить один общий за десять лет. А еще обычной переписки каждый день горы. Когда ж успеть? На самом-то деле манила замечательная праздничная пустота и тишь. Самое заветное переписать. Было что: в пятницу, поздним часом, доставлен список подозрительных, семьдесят шесть человек, который переписать тогда не случилось. И вот — спать бы, порошков бы каких-нибудь — а он тащился, ковылял, разбитый и жалкий, изумляясь: «Что ж это за люди такие, которые каждый день вино пьют? Каково здоровье надо иметь!»

Возле здания у Цепного моста творилось странное: подъезжали кареты, пролетки, оттуда выскакивали и бежали опрометью к подъезду люди. Николай Васильевич определил: агенты. Некоторых узнавал. Зачем-то вызывают? В вестибюле кучками теснились чиновники, разговаривали вполголоса, возбужденно, на лицах — общее, одно, то ли перепуг, то ли скорбная какая-то загадочность. Ага, вот и Вольф! Подбежал и, глаза тараща: «Покушение на государя... Слава богу, да, да — жив...

жив... Схватили...» Произошло в десятом часу. Все сыскное отделение вызвано. Канцеляристы и переписчики, разумеется, не нужны.

— А вы — как же? Не знали?

— Я не знал! Я совершенно ничего не знал! — лепетал Николай Васильевич, потрясенный, прижимая обе руки к груди.— Я своим алфавитом занимаюсь... Боже мой, в светлый праздник! Злодейство!..

Шел по коридору, шатаясь, держась за стенку. И, правда, шатало: голова-то кружилась, во рту дрянь. Но в своей комнате, пустой, усидеть не мог. Рука дрожала, буквы не выводились. Вновь спустился на нижний этаж, там теснилось все гуще, у многих похмельные дикие лица, кто-то разгонял.

— Господа, вызванных прошу разойтись по комнатам!.. Всех прочих — по домам! Не мешать, господа, не мешать, не мешать.

Кто-то рыдающим голосом:

— В честь чудесного избавления... Ура-а!

Николай Васильевич кричал со всеми. Сердце колотилось. Возникла ужасная мысль: кто стрелявший? А вдруг? Прискакали из дома градоначальника, сообщили последнее: покушавшийся приведен в сознание, назвал себя Иваном Осиповым Соколовым. Ничего более не указал. Бил его шпагой и поймал офицер из охранной стражи Кох. Государь даже не ранен. Злодею лет на вид около тридцати, светлые усики, самообладание фантастическое. Когда пришел в себя, сразу попросил папироску.

Николай Васильевич слушал, все более утверждаясь в ужасном: Петр Иванович! Он решил вдруг бежать к дому градоначальника. Но тут же понял, что безумие, не пустят, невозможность. Мечась внизу, то сбегая по ступеням, то поднимаясь, не зная куда и зачем, вдруг увидел, как быстро, этаким клином спускаются парадной лестницей начальственные лица: в острие клина помощник шефа, свитский генерал Черевин в полной форме, за ним господин Кириллов и адъютант Черевина жандармский капитан, позади еще двое в партикулярном платье. Николай Васильевич неожиданно рванулся к господину Кириллову (безумье, похмельный бред!) и пробормотал, прохрипел, а может быть, даже крикнул:

— Позвольте, Григорий Григорьевич, содействовать! Ведь мог часом видеть и узнаю в лицо...

Господин Кириллов, на миг отстав от клина, вонзился металлическим взором.

— Где могли видеть?

— На Песках, в студенческих номерах, то есть собственно...

— Следуйте за мной!

Генерал Черевин с адъютантом поместились в первой карете, господин Кириллов и один из партикулярных господ сели во вторую, и туда же по знаку, данному белой перчаткой господина Кириллова, всунулся Николай Васильевич. В начальственной карете пахло духами, как показалось Николаю Васильевичу, дамскими. Уловил запах крема «Греко». Партикулярный господин, видимо из агентов крупного чина, не теряя времени, докладывал: профессор фармации Трапп получил письменное предупреждение от злодейского комитета насчет того, чтобы воздерживаться от пыток арестованного при дознании, за что грозят смертью. Господин Кириллов, схватив протянутый агентом листок, пробежал быстро, ухмыляясь и как-то горделиво сверкая глазами.

— Запугивают, негодяи! Ах, маньяки! Ох, подлые души! А старик уже там, в доме Зурова, и делает все, что нужно. Собственно, сделал главное: спас злодея от смерти. Яд не подействовал...

У Николая Васильевича сжималось сердце. Было нехорошо. Дыханье пресекалось. Он не чаял, когда доедут и можно вдохнуть воздуха. Лошади круто поворачивали, замедляли бег, карета наконец остановилась. В доме градоначальника встречали при входе. Повели через приемную и столовую в небольшой коридорчик, из которого дверь вела на черную лестницу. Поднявшись на один этаж, вошли в дверь с надписью: «Отделение приключений». Был длинный коридор, в виде галереи, с одной стороны сплошь окна, с другой белая стена и несколько дверей. Ближайшая дверь распахнута, в комнате толпилось много солдат в шинелях, с оружием: тут, по-видимому, была караульная. Белобрысый хожалый, бежавший впереди генерала, почему-то в парадном фраке, подскочил к следующей двери и отворил ее со словами: «Он тут!»

Николай Васильевич был позади всех, остался на пороге, не в силах переступить. Зачем же пошел сюда? Ведь Петру Ивановичу не смеет ни словом, ни жестом обнаружить свое сочувствие и знакомство. Безумие про-

должалось. Неодолимо тянуло: увидеть необыкновенного человека, которого успел полюбить, и хотя бы взглядом сказать. Он чувствовал, как охватывает, одуряет озноб, ноги подкашиваются, и, однако, шагнул в комнату и увидел множество людей: статских, полицейских, каких-то военных в адъютантской форме. Слева у стены на кожаном диване полусидя, полулежа находился... слава тебе, господи, совсем другой! Нет, нет, не Петр Иванович, вовсе не Петр Иванович! Какой-то высокий, худой, с длинными светлыми волосами, заметно всклокоченными. Взгляд мутный, лицо измученное. Возле дивана на полу было набрызгано, стояла умывальная чашка с блевотой и в блевоте кровь. Кто-то сказал: давали противоядия. Николай Васильевич протеснился к господину Кириллову и дрожащим голосом объяснил: нет, человек незнакомый.

Господин Кириллов как бы не слышал.

Надо бежать отсюда. В коридоре какой-то молодой жандармский офицер рассказывал собравшимся, как он опрокинул стрелявшего ударом шпаги. «Повалился, а мы его молотить!.. Молотили, молотили... Во! — показывал изогнутую шпагу.— В ножны не лезет! Сломал к шутам!» Голос был ликующий. Кто-то спокойно обещал: «Ничего, другую дадут. Из золота...» Навстречу по коридору бодрым шагом, держа под мышкой портфель, спешил человек в вицмундире с судейским значком. Бежать, бежать!

К утру следующего дня добились — Николай Васильевич тотчас, как пришел на службу, получил сведения,— что стрелявший признал: зовут его Александр Константинович Соловьев, коллежский секретарь из дворян Петербургской губернии, имеет отца Константина Григорьевича, мать Татьяну Алексеевну, а также брата, служащего в Хозяйственном комитете Сената, сестер и так далее. О себе показал подробно и верно, более — ничего и ни о ком. Видимо, кто-то вчера же его опознал. Мысль о цареубийстве возникла у него будто бы после покушения на жизнь шефа. В страстную субботу заходил на Дворцовую площадь, чтобы видеть, в каком направлении гуляет государь, в воскресенье совсем не приходил, а в понедельник произвел покушение. Ночь на второе гулял по Невскому, встретился с проституткой и ночевал где-то у нее на Невском. Форменную фуражку купил в Гостином дворе. Револьвер подарил один знакомый, фамилию которого сказать отка-

зался. Яд, цианистый калий, достал в Нижнем Новгороде года полтора назад и держал его в стеклянном пузыре. Приготовил его в ореховую скорлупу накануне покушения, и, когда били, он тотчас, упав лицом на землю, раскусил орех с ядом, бывший во рту, а другой орех найден при обыске в кармане пальто.

Петр Иванович слушал сведения с окаменелым лицом. Не прерывал, не спрашивал, не видно было — новость для него или же знакомо.

И только когда о проститутке — усмехнулся слабо и двумя пальцами слегка махнул, как бы говоря: «Неправда!»

— Да. Чего я и боялся: выдохся яд, долго лежал...

Потом Николай Васильевич передал список семидесяти пяти заподозренных лиц и сообщил по памяти об арестах и обысках, произведенных ночью: обысканы 52 человека, большинство арестованы. Среди них доктор Веймар, присяжный поверенный Ольхин, все родственники и прежние знакомые Соловьева. Дворникам и швейцарам показывали карточки Соловьева и Мирского с целью узнать, не бывали ли эти лица у кого-либо из квартирантов.

Потом Наталья Николаевна пригласила в соседнюю комнату, где был накрыт стол для чая. Ели кулич и пасху творожную, замечательно вкусную и на третий день, Наталья Николаевна сама готовила. Понемногу разговорились, разохотились. Петр Иванович рассказывал, как жил среди сектантов и раскольников, как молятся поихнему, интересно. А у одной его хозяйки висело на стенке, у образов, такое сочинение, в рамку вделанное, рукописное: «Известия новейших времен». И там разные смешные премудрости, этак ловко напридумано, Петр Иванович запомнил и говорил все подряд. Вроде того, что благодать на небо взята, любовь убита, правда из света выехала, правосудие в бегах. Ну и так дальше. Много забавного! Кредит вроде, что ли, обанкротился. Невинность под судом. Ум-разум в каторжной работе. Закон лишен прав состояния. И конец, главное, очень интересный: а в конце концов терпение осталось одно, да и оно скоро лопнет.

Смеялись. Эх, народ, народ, никто лучше не сочинит, никакой писатель. Наталья Николаевна тоже рассказывала: как она «в народе» жила, фельдшерицей в Новохоперском уезде. Тоже много веселого. Хотя и горького наравне. И казалось: нет рядом Петербурга, обысков,

страха, близкой казни того, несчастного, а только они трое за столом при свечах... Хорошо было! Славно.

Уходить не хотелось, а — надо. Петр Иванович первый ушел, часов около десяти, а Николаю Васильевичу, как другу дома, пришлось задержаться. Петр Иванович велел: «Вы уходите в четверть двенадцатого: не раньше, не позже. Если раньше — будет неубедительно, а если позже — на квартире вызывать подозрение». Умнейший человек!

Что ж, кончились ужасные испытания, миновала святая, опять присутствие, рапорты агентов, переписка, запоминанье, страх почти ежеминутный, но уже привычный, как застарелая боль, и по утрам дурак Чернышев с его шутками глупыми, скабрезными:

— А вы, Николай Васильевич, живете тусклой половой жизнью!

В конце апреля Петр Иванович сказал, что вскоре уедет на месяц, на полтора. Видимо, куда-то на юг, в свои края, к раскольникам. Вместо себя никого не назначил. Скучно стало. Одна радость: весна!

ГОЛОС ФРОЛЕНКО М. Ф.

Я, Фроленко, по кличке Михайло, пригласил Андрея Желябова на тайный съезд в Липецке, и с этого началось его восхождение на нашем горизонте. Из мало кому известного провинциального бунтовщика (Да какого бунтовщика? Народника, мечтателя!) он вмиг превратился в атамана, в вождя террора. И все после той истории с быком, которую я рассказывал. У меня не было доказательств, но я чуял в нем натуру бунтовщика. Все же я знал его чуть больше, чем другие. Бывал у него на одесской квартире, разговаривали, шумели, пели наши хохлацкие песни, и на тех «вечорницах» я слышал рассказы о всякого рода буйствах, проделках, стычках с полицией и прочих казацких подвигах. Он любил покрасоваться, малость побахвалиться: характер-то рыцарский, а рыцарство это всегда некоторая похвальба. И тогда я услышал историю про быка.

Запомнил такую фразу: «Я понял, что нет на свете такого страшного быка, которого нужно бояться».

Дело в том, что когда меня срочно вызвали после соловьевского покушения в Петербург совещаться по по-

воду съезда, в горсде царило небольшое обалдение и паника. Правительство в ярости — и верно, как бешеный бык — бросалось из стороны в сторону, кидало рогами то либералов, то студентов, то вовсе невинных людей, кто попадался под копыта. Введены были военные губернаторства, пошли аресты, обыски, ссылки: все враз закипело и сгустилось втрое. Ну и те, деревенщики, стали нас клясть: «Ага, вот ваш Соловьев! Вот к чему это приводит. Вся наша работа к бису». А мы отвечали: «А вы, други добрые, надеялись, что враг не будет сопротивляться? Эге, умники! Будет сопротивляться, будет злобствовать, будет нас убивать, но и у нас есть выход: убивать его». Разговоры наспех, в запале, один на один или, по крайности, двое на двое ничего не давали и только усугубляли сумбур. Собраться всем! Вызвать деревенщиков, горожан, бунтарей, все наличные силы. Объясниться начистоту, окончательно организоваться или уж — окончательно враздробь. Где? Сначала придумали — Тамбов, потом остановились на Воронеже, где есть славный монастырь, Митрофановский, и куда летом народу наезжает тьма. Но прежде Воронежа все мы, сторонники нового метода, то есть террора — Тигрыч, Воробей, Дворник, Александр, Зунд и еще несколько человек — постановили сойтись где-то отдельно, чтобы столковаться заранее. Решили — в Липецке, близ Воронежа, городишко недурной, тоже удобен: там лечебный курорт, приезжает публика.

У меня спрашивали: кого можно пригласить с юга? Не в Воронеж, а в Липецк. Нужны, мол, верные хлопцы, которые поддержат наши идеи, чтобы к Воронежу сколотить большинство. Я назвал Желябова. Его знали по Большому процессу. Были изумлены: «Да он же завзятый народник!»

Я говорил: верно, народник, но в душе бунтарь. Да чем же он проявил свое бунтарство? Ничем, в том-то и дело. Доказательств нема. В юности какие-то наивные студенческие мятежи в университете, потом кружки пропагандистов, потом процесс, где вел себя вполне смирно и незаметно, хотя и отказался отвечать суду. Но ведь отказалось большинство, почти все. И, однако, я угадывал, готов был поклясться, что он отчаяннейший бунтарь! Для того чтобы убедить товарищей, я рассказывал всем одну-единственную бунтарскую историю: с быком Степкой. Слышал от Андрея. Однажды он работал в поле, вдруг крик матери, испуганный, он оглянул-

ся и видит: по полю бежит страшный черный бык Степка, его вся деревня боялась, прямо на мать. Андрей выдрал из плетня дрын, бросил в быка, попал ему по ногам, и бык упал: это дало несколько секунд, мать спаслась.

Вот, собственно, вся история, как ее рассказывал Андрей. Он говорил о том, что нечеловеческий, ужасный страх за мать заставил его в одно мгновенье принять нужное решение — ничто другое, наверное, не спасло бы. Я же передавал эту байку, как героическую сагу: будто бы он схватил вилы, пошел на быка, и тот испугался и пустился наутек. И, как ни странно, «сказочка про черного быка» оказала действие. Мне сказали: «Давай, зови».

Некоторые потом говорили: тореадорские басни. Я, мол, изобразил его тореадором, каким он не был. Но я-то вышел прав. Он оказался великим тореадором, одним из величайших в истории.

В Одессе я нашел Желябова и спросил, согласен ли он принять участие в продолжении соловьевского дела. Он ответил: согласен. Но когда услышал про липецкий съезд, про то, что создается постоянная организация и будут, значит, другие дела, много дел, он заколебался и сказал, что нужно подумать.

Думали с ним долго, до глубокого вечера, и решили так: он согласен на единичный акт и останется с нами, пока этот акт не будет выполнен. Затем он свободен и может уйти. Потребовал, чтобы дали слово, что он волен поступить по желанию: уйти или остаться. Я с суровым и таинственным, партионным видом дал ему такое слово, хотя мы насильно никого не держали. Думаю, что эта оговорка — насчет единичного акта и права уйти — был лишь бессознательной хитростью, компромиссом с народнической совестью, ибо то, к чему он пришел, давно уже зрело в его сознании. Вскоре в Одессе появился Дворник — была, кажется, середина мая, — я их познакомил, а сам уехал. Надо было выручать деньги, добытые подкопом под Херсонское казначейство.

А когда в июне мы встретились с ним в Липецке, я его не узнал: законченный террорист! И не просто террорист, а страстный теоретик и обоснователь террора. Мне кажется, его главная сила, как личности, это сила рациональности. Он все железным образом додумывал до конца. Коли поступить так, то другим шагом должно быть это. А коли будет это, то неотложно то-то и то-то,

между тем как то-то потребует того-то и так далее до логической точки. Коли дано согласие на единичный акт, значит, нужно этот акт как следует подготовить, значит, нужно создать организацию, а коли создавать организацию — и так далее. И в последний год, когда мы жили отчаянно и слепо, с каким-то смертельным легкомыслием — я говорю о той зиме перед первым марта, иначе нельзя было, иначе сойти с ума,— он по-прежнему все докапывал до дна, до предела. И видел этот предел. Спокойно говорил о том, как его будут вешать, даже описывал казнь. Соня бывала вне себя! Она стукала его своим маленьким кулачком, требовала, чтоб он прекратил, но он не мог переделать себя: не мог перестать думать до конца.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Это носилось в воздухе: должен быть ответ, отпор, что-то непременно должно произойти и где-то уже готовится. И когда появился Михайло Фроленко с предложением поехать в Липецк, он не удивился. Не удивился и тому, что во всей Одессе Михайло к первому поехал к нему, да потом еще, кажется, к Коле Колодкевичу, и только прошло время, он вдруг задумался: «Почему же ко мне-то? Ведь знают же, черти, что я социалист, народник!» Но тут было искушение. Невозможно терпеть. И Михайло, гениальный хитрец, угадал верно: бил без промаха.

Ведь все, что медленно варилось в вековом российском котле, теперь бурно и кроваво вскипало: злоба властей, взаимное ожесточение, неуступчивость, желание мести. Какая уж тут пропаганда? Какие поселения? Тут дело пошло на живот и на смерть. В начале апреля одновременно с выстрелом Соловьева в Ростове вспыхнул рабочий бунт: захватили участки, избивали полицию. В середине апреля в Петербурге в военно-окружном суде начался процесс над подпоручиком Дубровиным, оказавшим сопротивление при аресте и, вообще, как видно, человеком дикой отваги, а двадцатого апреля Дубровин казнен. За что? Да вот за сопротивление при аресте, за то, что не хотел смирной овечкой идти на заклание. Но арест-то за что? Письма какие-то найдены у Малиновской, ничего существенного, ерунда. Казнь

за письма. Главное: быстро, бесколебательно, по-военному.

Это «по-военному» стало главным принципом после соловьевского покушения. 7 мая открылся процесс Валериана Осинского в Киеве, а через неделю Валериан и два его товарища, Брандтнер и Антонов, уже повешены. Говорят, суд приговорил к расстрелянию, но государь самолично распорядился переменить на виселицу. В середине же мая начался в Киеве процесс братьев Избицких, а двадцать восьмого казнен Соловьев. Неужели эти верховные идиоты, эти тухлые полунемецкие мозги, эти опричники с генеральскими эполетами не понимают, что кровь обернется еще более страшной кровью и падет на их голову? Нет, не понимают, не в силах, не хватает ума перешагнуть через сегодняшнюю злобу и заглянуть в завтра. Да разве же это государственные умы? Вся Россия видит, что надо выпустить пар, дать людям хоть немного свободы, научиться уважать и другое мнение: нет, уперлись, стоят тупо, ни пяди не отдают и только давят, вешают, заселяют Сибирь. Хотят доказать, что вешают разбойников и убийц. Ничего не докажете, дураки вы, захребетники народные! Вешаете вы лучших и бескорыстнейших русских людей, и за все это будет отплата, очень скоро.

Докатилось до Одессы: над Софьей Лешерн, подругой Валериана, глумились во время суда, а при чтении ей обвинительного приговора устроили гнусный спектакль. Проделали весь обряд смертной казни: надели саван, закрыли голову капюшоном, наложили на шею петлю и только после прочтения приговора сняли петлю и объявили Лешерн, что она помилована, смертная казнь заменяется вечной каторгой. Не знали, что для нее это худшая мука, она хотела умереть вместе со своим Валерианом и впала в отчаяние, узнав, что остается жить. Нет, надо было поиздеваться над женщиной в такие минуты! Разве можно простить? Что ж они думают: все эти гнусности сойдут им с рук? Валериан в апреле передал письмо из тюрьмы — Михайло рассказывал — очень бодрое, ловкое, в его духе, но все же предполагал худой конец. «Сам, говорит, не знаю, какие прелести сулит мне будущее, все зависит от политического положения данной минуты, а оно после соловьевского покушения не очень розово». Михайло запомнил слово в слово: «Во всяком случае, что-нибудь вроде централки, а может, и вервия». Да, угадал, но того, что во время казни оркестр

будет играть «Камаринскую», угадать не мог. Новое изобретение в палаческом производстве. Для толпы: щобы не журились. Подумаешь, одним разбойником меньше!

Толпа, как обычно, стояла молча. Говорят, вешали неудачно, Валериан бился в судорогах, долго не умирал, и какой-то подлец, полковник, объяснял толпе, что мучается из-за того, что отказался принять священника. В толпе, говорят, были аресты, семерых гимназистов арестовали за то, что плакали. А несколько солдат и офицеров, находившихся в строю, упали в обморок. Вот он, ответ толпы, лучший, на какой можно надеяться: плач да обмороки... О господи, да на что тут надеяться? Что можно сделать с этой несчастной страной?

Плач да обмороки — не от того же, что сочувствуют и понимают, а лишь только от жалости, от вида ужасного. А вешали бы полковника — тоже бы плакали.

Последние месяцы, живя среди рабочих на Молдаванке, в порту, в ночлежных домах — наслушался всякого. Темна вода во облацех этих душ! Один грузчик, хохол, объяснял выстрел Соловьева так: паны, сучье семя, на царя-батюшку серчают за то, что волю дал крестьянам. Да ведь тебя эта воля раздела, разула, ты вон дом бросил, семью бросил, в город нищим пришел. То меня паны раздели, а царь мне волю дал!

Слышал однажды, как в трактире мужик разглагольствовал: когда, говорит, революционеры постановили убить царя, они разослали во все города своим людям приказ громить полицейские участки и перебить все начальство, и, если б Соловьев убил царя, по всей России произошло бы то же, что в Ростове. Но Соловьев промахнулся, потому из Петербурга выслали приказ повременить, а в Ростов то ли запоздали, то ли забыли прислать, и вот там бунт. Несколько человек слушали мужика с большим вниманием и серьезностью и верили, очевидно, каждому слову. Эта байка, услышанная случайно, как-то взбодрила и укрепила надежды: ведь наивным слогом выражалась программа! Приходилось в разговорах с рабочими и такое слышать: да, те, которые стреляют, люди, конечно, ученые, мы их уважаем, но они «свово добиваются, а нам свово нужно». Как-то в ночлежке на соседних нарах шептались, один рассказывал, другой переспрашивал и ахал в изумлении.

«Это все неспроста,— говорил рассказчик,— нету дыма без огня! А Каракозов, думаешь, спроста стрелял? Я слыхал такую вещь, когда Каракозов был под след-

ствием, к нему пришел в тюрьму Муравьев и говорит: ты должен мне сказать все — знаешь, ведь я русский медведь! А тот ему в ответ: я тоже, говорит, белый медведь, и сказал ему что-то. Что сказал, не знаю, врать не буду. Только Муравьев, конечно, царю доложил, а тот приказал: никому, мол, эту тайну не выдавай и сохрани до гроба, а не то, смотри — и показывает шелковый шнурок. Ежели, мол, проболтаешься, вот что тебе будет, милый друг. Ну, и никто не знает в точности. Но чтой-то такое есть...»

Кто-то сочинял, фантазировал, бредил, пытался догадаться и понять.

Михайло высказал одну простую мысль. Он ведь не теоретик, а прагматист, замечательно четкий, практический ум. С его расчетливостью ему бы не революцию делать, а коммерческие дела, мировую торговлю.

— Тут надо рассуждать здраво,— говорил он.— Ведь все равно погибнем? Верно же? Другой возможности нет? Нет. Погибнем. Но можем погибнуть из-за ерунды, из-за дряни, а можем — сделав что-нибудь крупное. Прямой расчет делать крупное.

Он показал номер «Листка Земли и воли», вышедший месяца полтора назад, где была передовая «По поводу политических убийств», из-за которой разгорелся сыр-бор. Статью написал один из редакторов «Земли и воли» Коля Морозов, «Воробей». Андрей отлично помнил его по Большому процессу, худенький хлопчик в очках, похожий на золотушного, изнеженного домашним воспитанием гимназистика. И вдруг — этот дерзкий, карбонарский слог! Понятно, почему народ заволновался, а Жорж Плеханов объявил статью незаконной, ибо она прошла каким-то образом мимо него, тоже одного из редакторов. Скандал! Тигрыч, Дворник и Воробей — за статью, Жорж с Родионычем, да еще Игнатов, деревенщики — против. Собственно, из-за этой статьи, да еще из-за споров вокруг соловьевского дела возникла нужда съехаться, наругаться всласть. Так вот:

«Политическое убийство — это прежде всего акт мести. Только отомстив за погубленных товарищей, революционная организация может прямо взглянуть в глаза своим врагам; только тогда она поднимется на ту нравственную высоту, которая необходима деятелю свободы для того, чтобы увлечь за собою массы. Политическое убийство — это единственное средство самозащиты при

настоящих условиях и один из лучших агитационных приемов. Нанося удар в самый центр правительственной организации, оно со страшной силой заставляет содрогаться всю систему. Как электрическим током, мгновенно разносится этот удар по всему государству и производит неурядицу во всех функциях. Когда приверженцев свободы бывает мало, они всегда замыкаются в тайные общества. Эта тайна дает им огромную силу. Она давала горсти смелых людей возможность бороться с миллионами организованных, но явных врагов... Но когда к этой тайне присоединится политическое убийство, как систематический прием борьбы — такие люди сделаются действительно страшными для врагов. Последние должны будут каждую минуту дрожать за свою жизнь, не зная, откуда и когда придет к ним месть. Политическое убийство — это осуществление революции в настоящем. «Неведомая никому» подпольная сила вызывает на свой суд высокопоставленных преступников, постановляет им смертные приговоры — и сильные мира чувствуют, что почва теряется под ними, как они с высоты своего могущества валятся в какую-то мрачную, неведомую пропасть... С кем бороться? Против кого защищаться? На ком выместить свою бешеную ярость? Миллионы штыков, миллионы рабов ждут одного приказания, одного движения руки... По одному жесту они готовы задушить, уничтожить целые тысячи своих собственных собратий... Но на кого направить эту страшную своей дисциплиной, созданную веками все развращающих усилий государства силу? Кругом никого. Неизвестно откуда явилась карающая рука и, совершив казнь, исчезла туда же, откуда пришла,— в никому неведомую область... Политическое убийство — это самое страшное оружие для наших врагов, оружие, против которого не помогают им ни грозные армии, ни легионы шпионов. Вот почему враги так боятся его. Вот почему три-четыре удачных политических убийства заставили наше правительство вводить военные законы, увеличить жандармские дивизионы, расставлять казаков по улицам, назначать урядников по деревням — одним словом, выкидывать такие salto mortale, к каким не принудили его ни годы пропаганды, ни века недовольства в России, ни волнения молодежи, ни проклятия тысяч жертв, замученных на каторге и в ссылке... Вот почему мы признаем политическое убийство за одно из главных средств борьбы с деспотизмом».

Все верно, но на этом пути возникали опасности. Первая: чрезмерное увлечение убийствами отодвинет на второй план, а может быть, заставит вовсе забросить главную задачу — приготовление народа. Вторая: убийства будут разжигать жажду власти, стремление к тайному господству надо всем и вся, что может привести к перерождению движения, к нечаевщине. Об этом Андрей прямо сказал Михайле. Тот ответил: партия вовсе не собирается превращаться в корпорацию убийц, в фабрику тайных казней по нечаевскому идеалу, Воробей увлекся, он романтик, поэт. Речь сейчас идет об одном убийстве. И, может быть, оно станет последним.

Последним? Да, последним, окончательным, убивающим все прочие убийства. Они сделаются ненужными. Если бы Соловьев не промахнулся, в стране уже сейчас, в мае, могла быть полная перемена: новое правительство, новый государственный строй. Ведь Ростов показал, что достаточно малой искры...

Последнее убийство — какой великий соблазн! И затем наступает царство разума. Торжество справедливости. Общество, организованное на новых или, правильнее сказать, забытых, истинных, народных началах. Но только — нужен толчок, удар, чтобы все затряслось, закачалось... И вот еще что: этот удар будет, конечно же, гибелью для того, кто его нанесет. Поэтому то, что Андрей сказал Михайле — согласен на это одно убийство, а потом должен иметь право, если захочет, уйти — было глупостью. Понял это в ту же секунду, как сказал. Куда уйти? И, главное — откуда? Из-под колес паровоза? Не надо себя обманывать: уходить будет неоткуда, некому.

Михайло быстро куда-то исчез, но тут появился Дворник, Александр Михайлов. У того были сложные дела в Одессе и вообще на юге: Андрей догадывался, что-то связанное с добычей денег. Лизогуб уже девять месяцев был в тюрьме, но кое-что из его громадных средств получать удавалось через его управляющего Дриго — до своего ареста этим занимался Валериан, а теперь пытался наладить связь с Дриго Михайлов. Но Дриго уклонялся, пропадал, вел себя, по выражению Дворника, «недостоверно», и было неясно, как на него воздействовать: деликатной настойчивостью или, может быть, припугнуть? Дворник был мрачен, зол, Андрей видел, что дело клеится слабо, а деньги нужны как раз теперь, накануне

съезда, потому что если дойдет до разрыва и дележа имущества — было бы что делить.

Подробностей операции Дворник не рассказал, но однажды в конце мая явился веселый и дал понять, что кое-что успел. Вид был победительный, даже подмигивал с каким-то не свойственным ему самодовольством.

— Ну, брат, история. Когда-нибудь расскажу. Только одно знаю: никто бы кроме вашего покорного слуги этого дельца не сварганил!

Много отличных людей встречал Андрей в жизни, и в Одессе, начиная с Феликса и Жебуневых, и по Большому процессу. Умел раскусывать сразу, сходился легко, расставался быстро. Но так еще не бывало: чтобы мгновенно, с первой минуты почувствовать полное доверие. Этот парень, хотя и моложе несколько, года на четыре, всем своим обликом, крепостью тела, мыслями, разговором — да всем, всем, и, главное, каким-то основным, глубинным настроем души — мог бы быть Андреевым alter ego[1]. Они все, конечно, чем-то похожи, у всех душевный настрой примерно одинаков, но этот оказался уж очень близок. И все же! Мало радости встретить точную копию себе, и, к счастью, такие ужасы бывают лишь во сне.

Михайлов был наделен громадной деловой силой, теориями интересовался мало, споров избегал, человек действия, в то время как он, Андрей, пожалуй, человек размышления. Практичность Михайлова была поразительной, ежеминутной. Встретились на улице, шли по городу. Расспрашивал: а это что за площадь? Куда ведет переулок? Проходной двор есть? Почему-то особенно интересовался проходными дворами. Андрей понимал смысл такого интереса, но — в Петербурге, а здесь-то зачем?

— Вы, кажется, уезжаете отсюда через неделю? — Тогда, в первый день, еще говорили «вы», но уже в следующую встречу «тыкали» друг другу беззастенчиво, как два старых приятеля.— Не понимаю, зачем вам одесские проходные дворы?

— Во-первых, неизвестно, уеду через неделю или нет. А во-вторых — привычка.

А в другую встречу изумил: шли к порту, он повел каким-то немыслимым путем, дворами, Андрей, старый одессит, возражал и говорил, что не выйти, тупик, но,

---

[1] Второе я *(лат.)*.

к сраму его, вышли и — гораздо быстрей. Какое-то двойное зрение. Он как бы анатомировал улицу, смотрел сквозь дома. И еще такое: сразу видел все, что происходит на улице, всю картину мгновенно и в подробностях.

Шли по бульвару, вечером, очень жарким, уже наступила жара, публика фланировала на пятачке между памятником Ришелье и Думой, они вдвоем — Фроленко уехал — проталкивались через толпу.

Вдруг Дворник шепнул:

— Вон стоит шпион...

Андрей оглянулся, увидел стоящего позади скамейки, на которой сидели люди, человека, известного в Одессе под кличкой Кузя. Это был обнищавший помещик, картежник, игрок на биллиарде, о котором, действительно, говорили, что он имеет связи с почтенным учреждением.

— Откуда ты знаешь? — спросил Андрей.

— Я не знаю. Догадка.

— Черт возьми, ты прав! Каким же образом?

— Объяснить не могу. У меня нюх на этих господ. Понимаешь, у них у всех — даже у самых важных и представительных — есть что-то неуловимо собачье. И я чую. Ну, в общем, по роже видать.

Говорил всерьез. Андрей улыбался. Этакий Макар: а ведь угадывает! Раза два ночевал на квартире у Андрея и опять удивил:

— Как! Ты не занавешиваешь на ночь окна? — Вид был крайне обескураженный и даже, пожалуй, возмущенный.— Это нужно делать непременно. Я просто тебе приказываю. Солнечный свет портит глаза, а глаза для нас — первое дело.

Все было прекрасно, на пользу, и Андрей испытывал чувство благодарности к Дворнику за то, что постоянно учился мелким революционерским премудростям, но иногда хотелось другого: поговорить о серьезном, или, как Андрей шутил, о возвышенном. Например: что думают делать землевольческие деятели, авторы замечательных статей насчет политических убийств, на второй день после революции, буде она удачно разрешится? Какова предполагается система правления? Земский собор? Народное представительство? А ежели народные представители выскажутся за сохранение монархии? При том уровне революционного самосознания и при жалком, да и забытом опыте народоправства это ведь вероятно. Как же быть? Михайлов ответил: что ж, под-

чинимся народной воле. Но...— помедлив секунду, вдумываясь, и с торжеством: — Но оставим за собой право снова уйти в подполье и бороться за наши идеалы!

Теоретические вопросы решал быстро, не толокся на месте. Все для него ясно. Главная задача и трудность: дисциплина и централизация. Ведь деревенщики еще и оттого ноют, что боятся дисциплины, подчинения центру, а без этого — гибель, партия развалится. Будем драться не кулаком, а растопыренными пальцами.

Незадолго до отъезда в Липецк, в начале июня, в Одессу пришел номер «Нового времени» с описанием казни Соловьева. Взяли две газеты, сели на отдаленной скамейке, на набережной, и читали. Жара вдруг спала, как бывает в Одессе после знойных дней конца мая, море было ясное, штилевое. Рыбачьи лодки, пароход с сине-белым греческим флагом, клочья тумана на горизонте — все не двигалось, стыло в безветрии.

Оба читали внимательно, молча.

Никогда еще не приходилось читать — да, пожалуй, и не печаталось — в обычной, подцензурной прессе такое тщательное описание в е р в и я. Репортер отмечал малейшие подробности. Каков был смысл этого скрупулезного и бесстрастного сочинения, похожего на то, как Марко Поло описывал китайские церемонии и казни Востока? Вот это и хотелось понять. И кроме того, завораживали подробности, нельзя было оторваться от мелких газетных строчек. Этот интерес — от которого пересыхало в горле — был естественным, но ненужным. В середине чтения Михайлов вдруг сказал со злобной насмешкой:

— Да черт возьми этого шута, фельетониста! Досталось свинье на небо взглянуть! — Он отбросил газету.— Нарочно, подлецы, разжигают плотоядное чувство. Намеренно же озверяют народ против нас... Прекрати! Довольно!

Хотел вырвать газету у Андрея, тот не давал, отодвигал локтем. Стали бороться руками, Андрей левой, тот правой, как бы шутя, но на самом деле с интересом пытая силу друг друга. Напрягались, пыхтели, было немного неловко, никто не мог сдвинуть другого.

— Ну и здоровая ты орясина!

— Ты тоже хорош бугай!

Михайлов вдруг отнял руку, встал со скамьи и, хмурясь, еще красный от борьбы, сказал:

— Ладно, читай эту гадость, ежели хочешь, ты Алек-

сандра Константиновича не знал. А я не то, что его — я и родных его знал, сестру, отца. И не желаю эту гадость, этот садизм газетный читать.

— Я дочитаю,— сказал Андрей.— Нужно знать.

— Не нужно этого знать совершенно. Ни с какой точки глядеть — не нужно,— сердито сказал Дворник.— Сиди тут, я через полчаса вернусь.

И быстро куда-то ушел. Сквозь газетные строчки Андрей подумал: боится, что напугаюсь и в Липецк, чего доброго, не поеду. Но Дворник уже привык к этим мыслям, не желает знать, потому что много, много об этом думал и все знает. Тут главное — привычка к мыслям. Как каторжник привыкает к кандалам и перестает замечать их. Главное, постоянно держать в голове, тогда образуется привычка, тогда можно привыкнуть ко всему, даже к тому, что с самого раннего утра густая масса народа обложила обширное поле со стороны Среднего проспекта Васильевского острова. Прибывшие ранее взгромоздились на находящиеся здесь постройки и торчащие рядом каменные стены. Среди публики, по преимуществу принадлежавшей к низшим слоям общества, можно видеть немало женщин, явившихся сюда даже в сопровождении маленьких детей. Достойные женщины! Милые дети! Они тоже вырабатывают в себе привычку, которая поможет им в жизни. Самый эшафот, воздвигнутый на середине Смоленского поля и доступный для простого невооруженного глаза с крайних его рубежей, состоял из деревянного помоста, в форме правильного прямоугольника, длиною 4, а шириною $2^1/_2$ сажени. Помост обрамлен решеткою из железных прутьев, и только спереди, в середине, оставлено отверстие в аршин. К середине продольных стенок помоста прикреплены две деревянные жерди, вышиною в $2^1/_2$ сажени, вверху соединенные поперечною перекладиною. К этим жердям прикреплена веревка, не особенно толстая, вроде тех, которыми обвязывают большие чемоданы, приблизительно в диаметре $^1/_5$ вершка. Большие чемоданы для переезда на тот свет.

Впереди ехала в двух колоннах сотня лейб-гвардии казачьего Атаманского полка, а за нею рота лейб-гвардии Гренадерского полка. Затем следовала колесница, окруженная цепью конных жандармов. Колесница с дороги свернула на поле, по направлению к эшафоту. Войска переднего фаса раздвинулись, чтобы впустить в каре колесницу, которая, подъехав к самому эшафоту,

остановилась перед ведущей к нему лестницей. Репортер, как видно, специалист по военным парадам. Колесница, запряженная парою лошадей, представляет собой обыкновенную русскую телегу, с задней стороны которой имеется лестница. Поперек установлена скамейка с приложенными к спинке четырьмя железными прутьями. Вот: Соловьев сидел на скамейке спиною к лошадям, причем руки его были перевязаны сзади веревкою и прикреплены к прутьям ремнями. На нем было платье, в которое обыкновенно одевают арестантов, принадлежащих к привилегированному сословию, именно: черный сюртук из толстого солдатского сукна, черная фуражка без козырька и белые панталоны, вдетые в голенища сапог. На груди у него висела большая черная доска, на которой были начертаны белыми буквами слова: «государственный преступник». А что же толпа? Все эти корреспонденты, солдаты, казаки, офицеры? Они — верят? Вот где загадка, вот затмение. Родные Каракозова просили о перемене фамилии. Хорошо, что окончательно, на глазах всех расстался с Ольгой. Несколько дней назад встретил на улице сына с Тасей, шли из магазина, с покупками, сын не заметил, а Тася смотрела прямо в глаза и не поздоровалась, не кивнула. Ну и лучше. Хорошо, что это так, но только неизвестно, ничего не известно. А вдруг — напрасно, все равно их будут терзать, замучают, убьют... Едва остановилась колесница, к Соловьеву быстро подошел палач, назначенный к совершению казни. На нем надета красная рубаха, а поверх ее черный жилет с длинною золотою цепью от часов. Подойдя к Соловьеву, он стал быстро отвязывать ремни и затем помог ему сойти с колесницы. Соловьев, сопровождаемый палачом, твердой поступью вступил на эшафот и с тем же, как казалось, самообладанием поднялся еще на несколько ступеней и занял место у позорного столба с завязанными сзади руками. Палач стал рядом, правее его, а у самого помоста находились два его помощника, на случай надобности. Раздалась команда «на караул», палач снял с Соловьева фуражку, офицеры и все служащие лица гражданского ведомства, бывшие в мундирах, подняли руки под козырек. Как только окончилось чтение приговора, к эшафоту приблизился священник в траурной рясе, с распятием в руках. Сильно взволнованный, едва держась на ногах, приблизился служитель церкви к Соловьеву, но последний

киванием головы заявил, что не желает принять напутствия, произнося не особенно громко: «Не хочу, не хочу». Ну, это понятно. Когда священник, убедясь, что его последняя христианская услуга отвергнута, отошел и легким наклонением головы как бы закреплял творимую им молитву, Соловьев довольно низко поклонился ему. Наступил последний момент. Хор барабанщиков, бывших при каждом батальоне, забил учащенную дробь. Ровно в десять часов утра на Соловьева, спустившегося на несколько ступенек от позорного столба, надета была палачом длинная белая рубаха, голова покрыта капюшоном, и длинные рукава, обмотанные вокруг тела, были привязаны спереди...

На берег из громадного солнечного, голубого моря по-прежнему веяло теплой свежестью, пищали чайки, ничего не изменилось, и только греческий пароход отодвинулся далеко вправо, уменьшился, повернулся кормой.

Через несколько минут пришел Михайлов, держа что-то аккуратно завернутое в белую бумагу. Это оказались пирожные. Развернув пакет, взял одно ореховое в виде кренделя, а пакет с другим протянул Андрею.

— Силь ву пле, мосье. Прекрасные у вас тут кондитерские, доложу тебе. Это я у Гроссберга схватил, на Дерибасовской.— И, пожевав немного с видимым наслаждением: — Ну-с вот, успел в городскую кассу за билетами. В понедельник едем.

Городишко был небольшой, чистенький, старинный, после одесского гама показался благостным и провинциальным. По улицам гуляли козы. В палисадниках старушки в плетеных креслах пили чай — совсем как на даче на Малом Фонтане. Были казистые особнячки с балкончиками, в садах за железной оградой, попадались дорогие кареты, но все равно жалкота и бедность рядом с одесскими особняками и каретами! Номер в постоялом дворе Голикова сняли приехавшие раньше Баранников с женой Марией Николаевной Оловенниковой — а то бы нипочем не снять, сезон на водах разгорался, публика подваливала.

Обыватели смехотворно жаловались: «Ну, народ! Дороговизна! Вся Россия, что ли, взялась лечиться?» И это при пустых-то лавках и при том, что только в курортном саду вечерами да на главной улице, освещен-

ной газом, слонялись гуляющие, гимназисты с барышнями да едва ступающие подагрические старики, а кругом, на всех прочих улицах, могильная тишина и мрак. За курортным садом было озеро с длинной гатью, с очень прозрачной водой. Рыбы почему-то совсем не было. Спросили у старика, который давал лодку покататься. Тот объяснил: запруда сделана антихристом, оттого и рыба перевелась. Откуда же известно, что антихристом? А никому другому, кроме него, не под силу такую длинную гать насыпать. Когда отошли от старика, важно сообщившего эту историческую подробность, Михайлов спросил:

— Понял, о каком антихристе речь?

— Нет,— признался Андрей.— О царе Петре, что ли?

— Ну, конечно. Петр тут и первый завод построил, и железные воды открыл. Вот она, благодарная людская память!

Посмеялись, потом Михайлов сказал — вмиг, как обычно, переменившись от смеха к серьезности.

— А я, как вшивый про баню. Все то же: не поймут нас, надо самим действовать, на свой страх. И нас с тобой назовут антихристами. А? Сомненья быть не может: назовут. Но лет через сто, двести, а то триста... Впрочем, другое: никто не понимает поистине и не поймет еще долго, но тебе скажу.— Он заговорил тише и слегка заикаясь. Всегда заикался, когда начинал волноваться.— Мы ведь антихристами стали от Христа. Это я верно тебе говорю. На меня, к примеру, евангельская история не менее влияла, чем история Гракхов или Вильгельма Телля. А «цель оправдывает средства»? Разве иезуиты придумали? Макиавелли? Неправда, это есть в самом христовом учении, в подкладке, за всей красотой. Да и было бы иначе, была б одна благостыня, разве могли бы два тысячелетия победить? Нет уж, мы, антихристы, должны твердо держаться: цель и в самом деле оправдывает средства.— И, высказав серьезное, опять рассмеялся, лицо стало легким, шутливым.— А все равно ведь скажут: экую длинную гать насыпали! И рыба из-за вас перевелась.

Андрей видел: чем ближе день съезда, тем более — хотя и скрытно — Дворник нервничает. Он должен был докладывать проект Устава, составленный им вместе с Тихомировым. Андрею показывал. Все было разумно, жестко: централизация, суровая дисциплина, и вся став-

ка, разумеется, на политическую борьбу. Словом: создается организация. Не группа, не кружок, а организация, партия. Дворник боялся голосов, могущих помянуть Нечаева: если и не в Липецке, где собираются, в общем-то, единомышленники, то уж во всяком случае в Воронеже. И вот ежедневно в Одессе, дорогой и здесь, когда поселились вместе, разговоры с Андреем, обсужденья, толкованья, споры. А споры большей частью по мелочам, из-за слов, тона: Дворник нетерпелив, грубоват, Андрея иногда коробило, а иногда пропускал мимо ушей, ибо во всем главном они сходились.

Наконец к середине июня те, кого ждали, съехались.

Андрей знал почти всех: одних по Одессе, как Гришку Гольденберга, Колодкевича и Фроленко, других, как Тихомирова с Морозовым, хоть и бегло — по Большому процессу. С Дворником — будто сто лет знаком. Баранников, по кличке Семен, оказался закадычным, с гимназических лет другом Дворника, из одного города, Путивля, и с этим рослым, чернявым богатырем тоже спаялся сразу. Жена его, Мария Николаевна, только в первый день показалась чопорной, суховатой, чересчур дамой — она старше Семена, это заметно и по облику, и по манере разговаривать с ним как-то излишне твердо, но вскоре понял, что первое впечатление обманчиво, что Мария Николаевна образованна, умна, даже не по-женски, и уж скорей в ней заметно мужское, а не дамистое. У них у всех кидались в глаза какие-то не очень привлекательные черточки: у Марии Николаевны эта надменная, будто бы аристократическая суховатость, у Дворника резкий, безо всяких полутонов и сентиментальностей тон, у Тихомирова манера разговаривать язвительно, Гришка Гольденберг раздражал громким голосом, суетой и, видимо, большим самомнением, Семен же, наоборот, был сверх меры молчалив, мог целый вечер промолчать тумбой, это тоже не велика радость — но было ясно, что все это мелочи, наносное, а по сути они люди настоящие, крупные, может быть, даже необыкновенные. Не знал Андрей Квятковского, по кличке Александр Первый, о нем много рассказывал Дворник, не знал и молодого Степана Ширяева. Эти двое собрали в Питере недавно еще одну тайную группку, группку в группке, под названием «Свобода или смерть». Все это следовало упорядочить. Да, необыкновенные! Вдруг почувствовал это семнадцатого, утром: с крыльца гостиницы глядел на них всех, человек десять, стоявших круж-

ком посреди двора и балагуривших с номерными. Ждали извозчиков. Всех томило нетерпение. Дворник договорился с извозчиками накануне и даже ездил с одним за город, осматривал место для пикника, нашел отличный лесок. Подсказали номерные: в том месте всегда купцы гуляют и молодые господа с барышнями.

— А у вас что ж одна барышня на всех?

— Будут, будут! Подвезут своим часом! Всем хватит!

Номерные подмигивали, склабились, давали советы: взять поплотней, подстелиться, а то земля сыра, не прогрелась еще. Бегом носили в пакетах и сумках то, что было заказано, складывали на скамейке: закуски, вино, папиросы и, конечно, очищенную. И вот глядел с крыльца, слушал шутливые разговоры и думал: никто и не догадывается, что за люди тут собрались. На всю Россию таких раз, два и нету. Человек пятнадцать, не больше. Глядел как будто со стороны: все молодые, красивые, франтоватые, настоящие веселые петербургские господа! А ведь каждый из них своего рода знаменитость. За каждым громкое дело, по всей стране прокатилось, за границами отозвалось. Семен, Баранников, вместе с Сергеем Кравчинским — тот уже далеко, то ли в Англии, то ли в Швейцарии — казнил в прошлом году Мезенцева. Михайло прославился многими подвигами, освобождал Алешу Поповича, служил тюремным надзирателем и вывел на волю чигиринцев. Гольденберг застрелил князя Кропоткина. Коля Морозов, этот хрупкий, нежно-румяный юноша — вон он дурачится, декламирует какую-то очередную глупость, сочинитель стишков, все покатываются со смеху и даже номерные разинули рты — один из самых отчаянных, решительнейший террорист. Уж наверно его статья напугала правительство не меньше, чем любое покушение. Тихомиров, ровесник Андрея, но по виду заметно старший, мрачноватый, бледный, насмешливо глядящий на дурачества молодых, за ним четыре года тюрьмы: опыт, какого нет ни у кого. Все говорят, что он блестящий талант, мог бы, если б захотел, посвятить себя легальной печати, стать Щедриным, Михайловским, Шелгуновым. Дворник сказал, что он куда острее Михайловского и Шелгунова. «В нем нет дряблости, жира, одни мускулы». А вон Мария Николаевна, красивая, сидит на скамье, курит, улыбается вяло и снисходительно, как взрослая дама, которой немного скучно с резвящимися детьми. Кто бы ска-

зал, что эта белолицая матрона недавно принимала участие в бесстрашной попытке отбить от жандармов Войнаральского! Дворник рассказывал: поразился ее хладнокровию. В острейший момент, когда на тайной квартире она ждала товарищей после нападения — неизвестно, удачного или нет,— она, несколько утомленная, спокойно задремала. Грандиозные нервы! Говорили, что Мария Николаевна была близка к кружку известного Заичневского, якобинца, по-прежнему уповает на заговор и переворот...

То, что тут люди разные, якобинцы, бунтари, народники, пропагандисты — это нехудо, нестрашно. Это, может быть, даже хорошо в смысле наглядного доказательства: значит, все поняли, что выхода нет, все повернулись или, говоря вернее, всех повернуло на одну дорогу.

Вкатились три экипажа. Стали грузиться, рассаживаться.

Морозов, который веселился почему-то больше всех, запел вдруг по-итальянски. Номерные махали руками. День разгорался. Андрей сел по знаку Дворника в первую карету вместе с Дворником, Квятковским и Ширяевым. От солнцепека, мельканья, свежего июньского зноя, залетавшего в экипаж, от запаха травы и лета и от волнения, которое забирало исподволь, слегка кружилась голова. И, сидя в карете, толкаясь плечом в крепкое плечо Дворника, глядя на молодые, бородатые, смеющиеся лица Степана и Александра — вчера еще их не знал, а сегодня ближайшие друзья,— он испытывал странное, изумительное чувство: наступал миг полной жизни, наслаждения жизнью! Заспорили о чем-то с Дворником, хохотали, боролись, мальчишками хорохорились один перед другим: кто сильней. Экипажи ехали низиной, которая, видно, заливалась по весне половодьем, еще теперь рукавами змеились не вполне высохшие протоки, белели песчаные островки, мели.

По мосту перескочили реку, поднялись на невысокий противоположный берег и, повернув вправо, против солнца, покатили полем по большаку. Лес синел на горизонте. Добрались, ехали не менее получаса лесом, и Дворник криком велел остановиться: тут были какие-то постройки, дощатый балаган, что-то вроде летнего ресторана, пока еще закрытого, с заколоченными окнами. Андрей спрыгнул на землю и, когда подкатил второй экипаж, вдруг подбежал к нему, схватил за заднюю железную ось и поднял вместе с седоками.

— Стой! Вылезать!

Лошадь, бежавшая тихой рысью, остановилась.

Все были изумлены, извозчик ахнул: «Ну и сильный господин!» Андрей усмехался: фокус был старый, отработан не раз в Одессе, еще в студенческие времена. Правда, силенок было тогда побольше, но и сейчас рванул ловко, только кожа на руке лопнула. Мария Николаевна дала платок, чтоб остановить кровь. Дворник, уже занятый делом — награждал извозчиков закуской и водкой, чтобы не скучали здесь часа три, четыре, сколько понадобится,— едва заметил Андреево геройство. Пошел быстро по тропе в глубь леса, за ним гуськом остальные. Вскоре обнаружилась большая поляна, в середине которой рощица, несколько берез, какой-то кустарник,— удобнейшее место, где легко было скрыться за кустами, и проглядывалась вся округа.

Разложили пледы, пальто, расставили на газетах бутылки, стаканы и закуску — сели, закурили. Хорош был день!

Квятковский и Михайлов стали читать по очереди: один — проект программы, другой — устав нового общества. Так как Андрей и то и другое знал, много раз обсуждал с Дворником, он слушал не очень внимательно. Опять вдруг отлетел куда-то, будто вон до той опушки, залитой солнцем, и оттуда — глядел.

И видел кучку людей, жалкую горсть, в тени берез.

Чего они хотят и что могут в этом необозримом мире, которому бросили вызов? Смешно, фантастично — но только на миг. Голос Квятковского сквозь жужжание пчел звучал с непреклонной твердостью.

— ...Поэтому всякому передовому общественному деятелю необходимо прежде всего покончить с существующим у нас образом правления, но бороться с ним невозможно иначе, как с оружием в руках. Поэтому мы будем бороться по способу Вильгельма Телля до тех пор...— По тому, как Морозов сиял и, как бы поддакивая каждому слову, кивал своей пышной шевелюрой, можно было догадаться, что он принимал в сочинении документа прямое участие,— пока не достигнем таких свободных порядков, при которых можно будет беспрепятственно обсуждать в печати и на общественных собраниях все политические и социальные вопросы и решать их посредством свободных народных представителей...

Еще два абзаца, дополняющих ту же мысль,— и вся программа. Кратко! Хотелось бы расширить, поясней

сказать о тех идеалах и будущем России, ради которых все делается, но еще прежде из разговоров с Михайловым и Тихомировым понял, что краткость, даже, пожалуй, куцеватость программы намеренная: чтобы при обсуждении не устроилась болтовня. Чем больше фраз, тем больше толкований. Тут дело практическое, утвердить одну-единственную идею, для которой собрались. «Способ Вильгельма Телля!» Пышно сказано, романтично, но это и есть то единственное: террор. Никто не возражал, все торопились дальше, к более интересному, к уставу. Андрею не хотелось с первых же минут — все-таки новичок — выступать с критикой, затевать разговор о возвышенном. А мог бы сказать: для всякой партии программа важней устава.

Но — не стал. Потом, потом! Будет время, будут разговоры, а сейчас — организоваться, чтобы ломать. Делать потом.

Постановили печатать программу в первом номере будущей газеты или журнала, что станет выпускать вновь образованный Исполнительный комитет. Затем Михайлов читал проект устава, сначала бегло все целиком, потом по параграфам, и — обсуждали. Вот тут заварилась каша. Все хотели высказаться, перебивали друг друга, в возбуждении кричали чересчур громко, и Михайлов резко обрывал. Обычное дело, насчет программы, теории — гробовое молчание, мыслей вроде бы никаких, все ясно, а тут, где мораль, где быт, практика — сразу яростный интерес, клокотанье мнений. Гришка Гольденберг то и дело вскакивал и кричал что-то в азарте, с тарахтящей быстротой: разобрать невозможно. На зубах у Гришки пузыри, глаза таращились, Михайлов замахал руками.

— Все! Тихо! Нужен секретарь, у меня горла не хватает. Предлагаю Бориса, он мужик рассудительный. Кроме того, экипажи на ходу останавливает. Так что в случае надобности может кого из ораторов остановить...

«Борисом» звали Андрея. Согласились. Михайлов вновь читал, все сначала, с первого параграфа.

— Итак, параграф первый: В Исполнительный комитет может поступить только тот, кто согласится отдать в его распоряжение всю свою жизнь и все свое имущество безвозвратно, а потому и об условиях выхода из него не может быть и речи. Есть возражения против этого параграфа?

— Нет! Никаких! — разом ответили все.

Но остальные параграфы вызывали споры.

Параграф второй: Всякий новый член Исполнительного комитета предлагается под ручательством трех его членов. В случае возражений на каждый отрицательный голос должно быть не менее трех положительных.

Параграф третий: Каждому вступающему читается этот устав по параграфам. Если он не согласится на какой-нибудь параграф, дальнейшее чтение должно быть тотчас же прекращено и баллотирующийся может быть отпущен только после того, как даст слово хранить в тайне все, что ему сделалось известно во время чтения, до конца своей жизни. При этом ему объявляется, что с нарушившим слово должно быть поступлено, как с предателем. (Тут Гришка требовал, чтобы было точно указано, как именно должно быть поступлено с предателем. Андрей сказал, что для всех очевидно, как поступают с предателями, их убивают, а придумывать какие-либо особые способы убийства, вроде нечаевского — шпион сначала должен быть задушен, потом простреливается голова — нет нужды, это попахивает театром и одновременно изуверством. Согласились, оставили так.)

Параграф четвертый: Члену Исполнительного комитета может быть дан отпуск, срочный или на неопределенное время по решению большинства, но с обязательством хранить в тайне все, что ему известно. В противном случае он должен считаться за изменника. (Мария Николаевна сочла этот пункт слишком мелким, чтобы включать его в устав. Дворник и Тигрыч возражали, особенно настойчиво возражал Тигрыч, из чего Андрей вывел, что он, может быть, является автором пункта. В самом деле, странно, какой может быть отпуск от революционной работы? Да еще — на неопределенное время? Гришка вновь попросил слова и, опять возбуждаясь до пузырей, кричал: «Это надо исключить! Это глупость. Мы люди конченые, у нас нет никакой жизни, кроме революции, и не может быть! Что за вздор! Отпуск, каникулы!» Андрей сказал, что надо, вероятно, ввести общий и более четкий параграф о дисциплине и туда в виде мелкого пункта вставить про отпуск. Как исключение. Революционеры такие ж смертные, как и все прочие, могут болеть сами, могут болеть их близкие, мало ли что, отпуск бывает внезапно и жизненно необходим. Но — никаких «неопределенных сроков»! И нельзя помещать этот пункт, исключительный и рядом со всем

прочим действительно мелкий, где-то в первых параграфах устава. Едва приступаем к делу и уже думаем об отпуске.)

Параграф пятый: Всякий член Исполнительного комитета, против которого существуют у правительства неопровержимые улики, обязан отказаться в случае ареста от всяких показаний и ни в коем случае не может назвать себя членом Комитета. Комитет должен быть невидим и недосягаем. Если же неопровержимых улик не существует, то арестованный может и даже должен отрицать всякую свою связь с Комитетом и постараться выпутаться из дела, чтоб и далее служить целям общества. (Оставили без изменений, споров не было, лишь Андрей заметил, что пункт вряд ли выполнимый. Нельзя одновременно отказываться от показаний и выпутываться из дела. Неопровержимые улики? Каждый, кто находился под следствием, знает, что между неопровержимыми и опровержимыми уликами есть много оттенков, которые неизвестно куда отнести.)

Параграф шестой: Член Комитета имеет право с ведома организации поступать в члены посторонних тайных обществ, чтоб по возможности направлять их деятельность в духе Комитета или привлекать их к нему в вассальные отношения. При этом он имеет право хранить в тайне их дела, пока они не вредят целям Комитета, а в противном случае немедленно должен выйти из такого общества.

Было еще несколько параграфов: об избрании редакции, о распорядительной комиссии из трех человек и двух кандидатов на случай ареста, о секретаре, который должен хранить документы и денежные средства, и об агентах Комитета — первой и второй степеней. Вновь возникали споры, недоумения. Морозов удивлялся, почему агенты первой степени должны быть с малым доверием, а агенты второй степени — с бо́льшим, на что Тихомиров ответил:

— А пусть никто не знает, сколько степеней надо пройти, чтобы достигнуть Комитета.

— Но ведь это иерархическое устройство! То, что мы отвергаем! — восклицал Морозов.— В теории отвергаем, а на деле...

— А у нас нет другого выхода.

— Выход есть: это наша малочисленность, это дух товарищества, равенства, это подбор людей по моральным качествам...

— О господи! — Тихомиров морщился, бледнел.— Оставь ты эти слова для своих стихов. Одно из двух: мы создаем кружок душеспасительных разговоров или же — боевую организацию для борьбы, для террора, о чем ты, черт побери, хлопочешь как раз больше всех! Ну? Куда же мы денемся без строгой тайны и без иерархии, которой ты так боишься?

— Иерархия поведет к разбуханию,— упорствовал Морозов.— Нижние чины будут размножаться почкованием, а верхние — надуваться от сознания собственной власти...

Спор был старый, оба волновались, говорили повышенными голосами, почти сердито. Вступили и другие: Михайлов поддержал Тихомирова, Квятковский тоже, но Фроленко сказал, что среди киевских бунтарей была попытка такого иерархического устройства, выбирался центр с диктаторскими правами, он мог иметь свои тайны, действовать по своему усмотрению. Что ж получилось? Все тайны скоро были раскрыты, даже тайны баллотировки в центр. И никто не хотел никому подчиняться по уставу. Подчинялись только в силу внутреннего уважения, подчинялись авторитету, как, например — Валериану. Гришка говорил:

— Да, да, это не для нас! Мы, русские, не умеем хранить тайны. И не любим подчиняться.

Так, из-за пустого вопроса об агентах первой и второй степени затеялся долгий спор. Андрей сказал:

— Тут дело не в иерархическом устройстве, а в том, что мы открываем военные действия. Значит, нужен командир, нужны команды. Правильных военных действий без этого вести нельзя. Наш командир — центр, ну, допустим, распорядительная комиссия, которую мы изберем. Если уж воевать с государством, у которого полумиллионная армия, тогда уж вести дело всерьез. У нас нет иной силы, кроме дисциплины и нашей готовности умереть. В стране за последние месяцы все резко переменилось к худшему. То, что созданы генерал-губернаторства, введено военное положение, массовые аресты, высылки — все это ошеломило общество, напугало либералов. Чтобы вывести страну из оцепенения, нужен мощный удар. Тогда в народе и в обществе воспрянут силы к сопротивлению. Может быть, даже не один удар, а серия ударов, точно продуманных: тут нельзя полагаться на стихийные акты, должна быть система, а значит, должен быть центр...

Видел, как его слушают. Смотрели на него новыми глазами: с некоторым изумлением.

Фроленко вечером, в гостинице, сказал:

— С тобой, брат, что-то стряслось. Стал какой-то другой.

— Лучше или хуже?

— По мне, так лучше. И Кот-Мурлыка заметил: «Наш-то Андрей ни разу за целый день не сказал слова «конституция»!»

Андрей грозил чернобородому Колодкевичу: ишь, шутит! Сам ретивый конституционалист, в декабре мотался в Киев на тайную сходку революционеров с земскими деятелями. Там и Валериан был, и Андрея звали, но он не смог.

На другой день избрали членов редакции — Тихомирова и Морозова, и распорядительную комиссию — Михайлова, Фроленко и Тихомирова. Кандидатура Тихомирова прошла с некоторой натугой. Морозов высказал сомнение: не много ли занятий у Тигрыча? Между ними все время шла какая-то пикировка. Воробей, кажется, надеялся на то, что Тихомиров откажется от распорядительной комиссии, но тот — лысоватую голову нагнул, надулся, молчал и был избран. А вечером Андрей навестил Фроленко, жившего в гостинице «Москва», и видел, как Гольденберг, заметно пьяный, чуть ли не в истерике кидался на хладнокровного Михайлу.

— Ответь мне: где справедливость? Создают организацию для террора, а главного террориста не выбирают ни в какую комиссию! Кто-нибудь из вас убил князя Кропоткина? Я тебя уважаю, Михайло, но ты пока еще никого не убил, извини меня. Андрей? Андрей, вообще, известный пропагандист. Я даже не знаю, что ты тут делаешь, Андрей? Удивляюсь, почему тебя не выбрали в распорядительную комиссию, если уж там Тихомиров, умный человек, но знаменитый трус; все знают, как он боится шпионов, весь Петербург над ним смеется. Семен? Семен помогал Кравчинскому, он присутствовал при казни Мезенцева, но ведь дело сделал Кравчинский. Среди вас нет ни одного настоящего террориста. И при этом меня, Гришку Гольденберга, меня, меня,— он хохотал, хватаясь за голову,— не хотят никуда выбирать! Смешно! Когда во всем мире газеты писали о моем деле! Нет, я не думаю заниматься обидами и капризностями, я просто смеюсь. Смеюсь, смеюсь, смеюсь! Со всеми вами, милые друзья, я остаюсь в добрых отношениях,

буду по-прежнему вам верный Гришка и буду делать то, что мне скажут, но я смеюсь, смеюсь. Ха-ха-ха!

Так и ушел, хохоча. Куда-нибудь допивать.

— Ну и шум от него,— сказал Андрей.

— Насчет Гришки я Дворника предупреждал,— сказал Михайло.— Еще в апреле, когда толковали, кого звать в Липецк. Мы-то Гришку знаем лучше, а для северян он фигура, герой. Дворник сказал: руководства я бы ему не доверил, но пистолет в руки — дал бы. Человек он храбрый, хотя и сумасброд.

Возвращаясь от Михайлы темной улицей к себе на постоялый двор, Андрей встретил разгуливающего в одиночку Тихомирова. Тот любил променад перед сном, пекся о здоровье. Говорил, что за четыре года тюрьмы более всего истосковался по прогулкам и свежему воздуху. Тихим голосом сказал, взяв Андрея за руку:

— Мне не нравится тут один человек. Идем скорее!

— Кто?

— Да тут как раз... Может сидеть у окна...— Понизил голос до шепота и тянул Андрея сильнее.— Мы впотьмах не видим, а он сидит и слушает, гнида. Сегодня пристал ко мне: «А вы откуда? А надолго ли? А не лечились ли у доктора Петрова?» Я сухо ответил: «Нет, не лечился». И рожа такая скверная, улыбающаяся...

Ночь была теплая. Пел соловей.

Как-то издалека, кружным путем возникла мысль: а почему девушка, дочь генерала, которая считалась невестой, не приехала в Липецк? Перовская Соня. И вспомнилось то чувство, острое, уколовшее когда-то в коридоре предварилки, когда видел их вместе: зависть. Между ними что-то произошло. Может быть, как раз по той причине, о которой говорил Гришка. Нет, не трусость, трусливых здесь быть не может, трусливые отскакивают на сто верст отсюда.

— Почему ты заподозрил шпиона?

— Слишком уж назойливо он меня расспрашивал. Мне кажется, завтрашняя сходка — лишняя. Надо разъезжаться.

Андрей спросил:

— А где твоя невеста Соня?

Тихомиров посмотрел на Андрея. В темноте было видно, как его лицо — бледное — настороженно поднялось.

— Устаревшие сведения. Она давно мне не невеста,— помолчав, сказал Тихомиров.— Пойдем куда-ни-

будь подальше. Не хочу здесь, ночь теплая, все окна открыты и — могут слушать...

Нет, нет, Гришка не прав, это не трусость, это болезненная осторожность. Он как-то чересчур быстро постарел. Ведь ровесник, а выглядит на десять лет старше. Осторожность это вроде подагры, глухоты: признак старости. Прошли в конец улицы, через площадь, в сад. На скамейках, замерши в темноте, ютилось что-то живое, наверное парочки. Иногда белело платье, долетал шепот. Тихомиров вел Андрея все дальше, в глубь сада, где не было скамеек, не могло быть живого. Такие ночи, как эта — безлунная теплота, душность от цветов, от свежей листвы,— бывают раз или два в году.

Наконец, когда зашли далеко, Тихомиров заговорил: что произошло между ними. Его, как видно, томило. Он сказал: когда женщина слишком страстно увлечена делом, она что-то теряет от своей природы. И вот это как будто случилось с Соней. Трещина пробежала почти сразу после освобождения по Большому процессу. Он, Тихомиров, собрался поехать на юг, повидать стариков — ведь и Андрей тотчас уехал в Одессу, к семье! — но Соня требовала сразу заняться делом, освобождением Мышкина, которого, по слухам, намеревались переводить в Харьковский централ.

— Понимаешь ли, я не мог отказаться, но несколько колебался. И она это почувствовала, и тут же возник холодок. Она мерила по себе, а ее раздирало желание действовать. Но понять — просто по-человечески — такую вещь, что мы находимся с нею в разных состояниях, она не могла. Я — после четырех лет тюрьмы, намаявшись, уставши, в мечтах поскорей увидеть родных, она же была на воле, на поруках, как дочь уважаемого генерала Льва Николаевича. Нет, понять такую разницу ей не дано! — Тихомиров говорил, волнуясь. Все это еще не отболело.— «Я, кажется, должна вас уговаривать?» И выражение лица этакое суровое, революционное и в то же время презрительное, графское. Ну, я поспешил сказать, разумеется, что я ни минуты не колеблюсь. Поехал в Харьков. Что там было, ты знаешь. Не хватило средств, не было связей, когда я бросился за средствами в Питер, Мышкина провезли на юг. Словом, чепуха. Но ты бы слышал, как она меня крыла! Металась по комнате, как бешеная рысь: «Проворонили! Растяпы! Неизвестно зачем ездили!» Крику и оскорблений было много, ну и возвращаться потом оказалось

трудно... Почему ее нет здесь, я не знаю. Она все еще в Харькове. Михайло за нею почему-то не заехал, кажется, считает ее чересчур ярой народницей и «русачкой». Конечно, ошибка, надо было заехать, и он еще за это поплатится!

Тихомиров засмеялся с каким-то тихим, злорадным самодовольством, но — скрытно, про себя. Весь этот рассказ был «про себя». Андрей был далек, мало знаком с нею и с ним, Тихомировым, и, наверное, только поэтому все рассказывалось с такими подробностями. Впрочем, Андрей привык к тому, что люди перед ним раскрываются. И подумал: здесь главная и, может быть, единственная мера — бесстрашие, готовность собою жертвовать. Ценится более ума, образованности и многих высоких качеств. И отчего-то сделалось весело, и, возвращаясь назад — опустелым садом, в разгар ночи,— даже насвистывал. Тихомиров опять заговорил о том, что завтрашняя сходка необязательна, все вопросы выяснились и достигнуто основное: единство по поводу политической борьбы. Не нужно искушать судьбу. Каждое новое сборище — новый риск. А зачем это нужно, когда все вокруг кишит шпионами? Андрей не мог сдержаться — какая-то дурацкая напала веселость! — и рассмеялся.

— Ну, не так уж кишит, Тигрыч, не преувеличивай.

— Кишит, кишит. Я чую, как вокруг нас сгущается подозрительность. Мне не нравится, например, половой в трактире, такой чернявый, с бородавками.

— Но мы не можем разъехаться, пока не сказано последнее слово!

— Ты имеешь в виду? Ну да, понимаю. Все ясно, не надо никаких последних слов. Дворник любит эффекты.

— Слова нужны,— сказал Андрей.— Потому что дело-то каково? Не шпиона заколоть, не купца тряхануть. Этот эффект через сто лет отзовется. Дворник совершенно прав: тут надо сказать все до конца, очень четко. Так, мол, и так. Другой надежды сейчас нет. И все мы должны с этим согласиться.

Тихомиров, помолчав, сказал:

— Ну, смотрите...— и рукою слабо махнул.

На другой день в лесу Дворник произнес обвинительную речь против Александра II. Это и было последнее, необходимое слово, которое должно объяснить, почему неотклонимо и единственно то дело, что не довершил Соловьев. Михайлов рассказал кратко обо всем

царствовании лживого деспота, вот уже почти четверть века дурачившего русских людей пустыми обещаниями и посулами. Да, реформы были во благо и могли бы стать началом величайшего возрождения России, свободной и процветающей, с исконным для русской земли справедливым земским управлением — почему же не стали? Почему спустя полтора десятка лет после введения реформ российская жизнь стала не лучше, а еще гаже, мрачнее, невыносимей? Потому что все эти уступки народу и обществу были обманом, лицемерием. А на деле: простор для хищников, разграбленье страны, миллионы нищих, голодающих. Для видимости простил декабристов, вернул нескольких уцелевших несчастных стариков из Сибири, но беспощадно и бессмысленно подавил поляков, залил кровью Польшу, в ту же Сибирь погнал тысячи и тысячи. Для видимости, для одурачиванья мира провозглашал громкие слова о свободе и конституции, ради которых будто бы затеял освобождение братьев-славян от турок, но на деле всякий признак свободы и всякую мысль о конституции давил и душил в собственной стране. Никогда в России не было столько виселиц, как при царе-«освободителе». Казни в Киеве и в Петербурге, зверское обращение с заключенными в Петропавловской крепости, приведшее к бунту и избиениям, издевательства над женщинами, нашими подругами, Малиновской, Витаньевой и Александровой, все это делалось с благословенья царя. Да что стоит хотя бы то, что сей миролюбец усилил наказание пропагандистам по Большому процессу! А кто ответит за погибших, за тех, кто сошел с ума, не дождавшись суда? Все полезное, что было сделано в начале царствования, император уничтожил за последние годы. Можно ли простить ему притесненья народа, казни и надругательства над лучшими людьми? Можно ли простить то, что развеялись и поруганы все надежды на то, что Россия может стать когда-либо свободной страной?

Ответ был единогласный: нет, простить нельзя.

Десять человек сидели кто на пнях, кто на траве: Мария Николаевна, Баранников, Тихомиров, Морозов, Ширяев, Гольденберг, Квятковский, Фроленко, Колодкевич и Андрей. Один стоял посреди лужайки, заложив руки за спину, бледный, с упорным, в одну точку направленным блистающим взглядом, и — говорил. Никогда Андрей не слыхал такой страстной, возбуждающей речи. И сразу, как он кончил, встал Андрей.

— Если мы хоть сколько-нибудь считаем своей целью,— заговорил он, с колотящимся сердцем и с тем мощным чувством наслаждения жизнью, что уже было на днях,— защиту прав личности, а деспотизм признаем вредным... Если мы верим, что только борьбой народ может добиться освобождения, тогда мы не имеем права относиться безучастно к таким проявлениям тирании, как зверства одесского и киевского губернаторов, Тотлебена и Черткова. Но инициатива этой политики расправ принадлежит царю. Партия должна сделать все, что может: если у нее есть силы низвергнуть деспота посредством восстания, она должна это сделать. Если у нее хватит силы только наказать его лично, она должна это сделать. Если бы у нее не хватило силы и на это, она обязана хоть громко протестовать. Но сил хватит, и силы будут расти тем скорее, чем решительнее мы станем действовать!

В Воронеж он приехал, ощущая себя по-новому. Это было радостное ощущение, он прятал его от других, но иногда — в краткое мгновение — получал от него тайное удовольствие. Конец провинциальному прозябанию! Теперь, в громадном деле, он покажет себя. Его уже разглядели, признали. С ним советуются, прислушиваются к его словам, то и дело он слышит: «Борис сказал... Борис считает...» Дворник, этот вожак, титан, с непостижимой быстротой стал ближайшим другом, они не расстаются, все обсуждают вместе, иногда спорят, но почему-то в конце концов Дворник всегда соглашается.

— Устал я от твоего мужицкого упрямства! — шутя, говорил Дворник.

— А меня удивляет твой практицизм, вовсе не дворянский. Врешь, братец, никакой ты не дворянин, а из купцов первой гильдии!

В Воронеже, как и в Липецке, поселились вместе. Сюда приехали все, кто были там, кроме Гришки Гольденберга. Были сомнения: приглашать или нет? Дворник относился к Гришке неплохо, считал, что его наверняка удастся использовать, но Андрей сказал, что использовать можно и не приглашая на съезд. «Шуму от него много. А где шум, там опасности. И потом другое: ведь будет борьба, столкновения мнений, и не в наших интересах, чтобы нашу сторону защищал этот трескучий

и несерьезный малый». Дворник, подумавши, согласился. Тем более что в Воронеже должны быть Родионыч с Плехановым, у которых остались неприятные воспоминания, связанные с Гришкой: о мартовских сходках в Питере, когда решалось дело о помощи Соловьеву.

— Ладно. Звать его в Воронеж не станем,— сказал Дворник.— Все равно будет раскол, разбежимся в разные стороны, и Гришка — к нам.

Все этого боялись и были уверены: раскол неминуем. Но — миновало! И деревенщики и террористы не смогли разойтись сразу. Уж очень мало их было — всех — на Руси, чтобы еще дробиться. Жались друг к другу, искали тепла, силы, помощи. В Воронеж съехалось человек двадцать: десять заговорщиков из Липецка, составивших Исполнительный комитет, да еще столько же землевольцев, деревенщиков, кто из Питера, кто из Харькова — Перовская с Лебедевой,— кто из сельских мест, взяв краткий отпуск у хозяев или у земских властей. Вначале хотели собраться в Тамбове, многие туда съехались, но смешной случай помешал: во время прогулки на лодках по Цне Женя Фигнер, сестра Верочки, отличная певица, так замечательно пела арии из опер, что на берегах скопились слушатели, аплодировали, кричали «браво», все это привлекло ненужное внимание. Что за компания? Кто такие? Сочли за благо из Тамбова исчезнуть.

В Воронеже собирались в укромных местах, в Ботаническом саду, а то в Архиерейской роще, или же брали лодки и — на реку, на острова. В первый же день Дворник сказал, что есть возможность пополнить состав общества новыми членами, людьми с почтенным революционным опытом. Это всем известные Оловенникова, Желябов и Колодкевич. Вон они, проявляя деликатность и скрывая волнение, прячутся в близлежащем леске. Были приняты единогласно и криком приглашены. Тут же и деревенщики сообщили, что у них тоже — совпадение! — есть на примете три прекрасных кандидата в общество, которые, волнуясь ничуть не менее, затаились в леске с противоположной стороны.

Вот так легко, полушутливо, со смехом, все это началось. Но сразу за тем зазвучало горестное и мрачное. Михайлов сообщил, что по последним сведениям из Одессы над Дмитрием Лизогубом нависла рука палача. Казнены Валериан с Брандтнером и Антоновым. Вот завещание Валериана товарищам, оно недавно получено, а написано было на рассвете в день казни, 14 мая.

Дворник стал читать по тексту свежего «Листка Земли и воли»:

— «Дорогие друзья и товарищи! Последний раз в жизни приходится писать вам, и потому прежде всего самым задушевным образом обнимаю вас и прошу не поминать меня лихом. Мне же лично приходится уносить в могилу лишь самые дорогие воспоминания о вас... Желаю вам, дорогие, умереть производительнее нас. Это единственное, самое лучшее пожелание, которое мы можем вам сделать. Да еще: не тратьте даром вашей дорогой крови! И то все — берут и берут...»

Андрей слушал с тоской, душившей сердце. Видел милое, очкастое лицо Валериана, слышал его быстрый, веселый, полухохлацкий говорок, и — тоска еще от того, что горько ошибался, глупо избегал его, считал, дурак, в своей мужицкой спеси его каким-то аристократом. Да какой же аристократ? Простой человек, как все герои. Никто бы не мог так просто сказать: «умереть производительнее нас». А в кармане последнее сделанное им добро: паспорт на имя Чернявского Василия Андреевича. Дворник читал:

— «Мы не сомневаемся в том, что ваша деятельность теперь будет направлена в одну сторону. Если бы даже вы и не написали об этом, то мы и сами могли бы это вывести. Ни за что более, по-нашему, партия физически не может взяться. Но для того, чтобы серьезно повести дело террора, вам необходимы люди и средства... Дай же вам бог, братья, всякого успеха. Это единственное наше желание перед смертью. А что вы умрете и, быть может, очень скоро, и умрете с не меньшей безвестностью, чем мы,— в этом мы ничуть не сомневаемся. Наше дело не может никогда погибнуть — и эта-то уверенность заставляет нас с таким презрением относиться к смерти. Лишь бы жили вы, а если уж придется вам умирать, то умерли бы производительнее нас. Прощайте и прощайте!»

Было что-то еще, прощальное. Андрей не слушал. Он читал это письмо накануне, в последнем, только что привезенном из Питера шестом номере «Листка Земли и воли». По лицам других видел, что такая же тоска и боль терзали всех, кто слушал... Дворник гениален! Надо было догадаться написать Валериану в тюрьму, в утешение ему перед смертью о том, что деятельность партии «будет направлена теперь в одну сторону»! И, получив ответ, это разрывающее душу письмо-завещание,— напе-

чатать его немедленно в «Листке». Вот же смысл: дело Валериана будет продолжено. Даже само название, Исполнительный комитет, придумано Валерианом.

Да, трудно после того, как прочитано такое письмо, возражать против террора и мести. Все учел, мудрец. И, правда, в первый день дело ладилось без задоринки. Избрали единогласно председателем съезда Титыча, толкового, добродушного, громадного роста парня, тамбовского поселенца. Затем приступили к выработке программы. По пунктам читали старую землевольческую программу, принятую год назад, и каждую поправку ставили на обсуждение. Основное осталось неизменным. Главная работа партии должна была по-прежнему вестись в народе, но усиливалось значение дезорганизаторской (выражение Валериана!) части программы, то есть значение аграрного террора и мести агентам правительства на местах.

Все без исключения проголосовали за такую краткую резолюцию: «Так как русская народно-революционная партия с самого возникновения и во все время своего развития встречала ожесточенного врага в русском правительстве, так как в последнее время репрессалии правительства дошли до своего апогея, съезд находит необходимым дать особое развитие дезорганизационной группе в смысле борьбы с правительством, продолжая в то же время и работу в народе, в смысле поселений и народной дезорганизации».

Но уже следующий вопрос — о политическом терроре — оказался огнеопасным. Все как будто соглашались: да, да, необходимо, полезно, возможно, кто же спорит. Но по выражению кивающих лиц и по тону голосов — особенно Плеханова, настроенного несколько нервно, и Попова, «Родионыча», который держался угрюмо, резко, перебивал и вообще вел себя чересчур по-хозяйски,— Андрей чувствовал, что согласие какое-то натужное, неистинное. Все говорило о том, что свара будет. И Андрей сам уже рвался в бой. Наконец Плеханов, не выдержав, спросил прямиком:

— Послушайте, на что вы рассчитываете? Чего добиваетесь?

— Мы получим конституцию! — неожиданно выпалил Дворник.— Мы дезорганизуем правительство и принудим его к этому!

— Конституцию? Ах, вот как! Малопочтенная цель для революционеров.

— Конституция не является целью. Она лишь средство в борьбе за социализм,— сказал Андрей.— В стране, где царит бесправие, нет возможности ни работать в народе, ни как-либо защищать классовые интересы. Есть только одна возможность: гибнуть из-за мелочей.

— Конституция отдаст власть буржуазии. Вы будете таскать каштаны из огня для других.

— Нет, конституция отдаст власть представителям всего народа — учредительному собранию! — Андрей умел иногда сокрушать противника голосом. Он заметил, что Жорж побледнел.

— Наивность и теоретическое невежество!

— Единственный путь для России. Политический переворот послужит освобождению не какого-либо одного класса, а всего народа русского. Всего, понимаете? И ради этого всего мы должны трудиться. Я, к примеру, знаю много умных, энергичных, общественных мужиков, которые сейчас сторонятся мелких дел, потому что не хотят становиться мучениками из-за пустяков. Конституция даст им возможность действовать по этим мелочам, не становясь мучениками, и они возьмутся за дело. А потом, выработавши себе крупный общественный идеал, они станут неколебимыми героями, какие встречаются иногда в сектантстве. Народная партия так и образуется!

— И вы надеетесь вашим путем — цареубийством, террором — прийти к этому парадизу?

— Господа, давайте не углубляться в слишком далекое будущее! — крикнул Тихомиров, взяв на себя роль председательствующего, ибо Титыч молчал и прислушивался к спору.— Ведь решено же, что мы усиливаем дезорганизаторскую работу. Возражений ведь не было?

Дворник шепнул Андрею:

— Не веди к расколу!

— Да черта ли играть в прятки? — тоже шепотом отозвался Андрей.

— Не нужно. Не в наших интересах сейчас...

Плеханов не унимался.

— На этом пути вы не добьетесь ничего, кроме того, что к имени «Александр» прибавится третья палочка!

И все же, так как никто Жоржа не поддержал, удалось принять согласительное решение о терроре: признается как исключительная мера. Затем специально о цареубийстве говорил Дворник и сообщил о том, что создана особая Лига, или Исполнительный комитет, твер-

до решивший довести дело Соловьева до конца. Всем было ясно: споры ничего не изменят, Комитет будет действовать несмотря ни на что, и после некоторых ворчливых перепалок большинство решило оказать Комитету содействие деньгами и людьми. Дворник прятал улыбку удовлетворения. Воробей же, который непрерывно что-то записывал в книжку, откровенно и по-детски лучезарно сиял. Но его лучезарность тут же померкла, ибо, как только началось обсуждение вопроса об органе партии, Плеханов поднялся с «Листком Земли и воли» в руках и нервным голосом стал читать знаменитую морозовскую статью о политическом терроре. Все слушали в напряженном молчании, хотя, разумеется, хорошо знали статью и помнили. Ждали, что будет. У Воробья был вид нашкодившего и одновременно готового на все, отчаянно-дерзкого школьника. Прервав чтение, Плеханов спросил:

— Господа, считаете ли вы, что редакция имеет право и впредь высказываться в таком духе?

Он с изумлением оглядывал всех, полулежавших на плащах, пледах, сидевших кружком на лужайке и смотревших на него. Фроленко сказал:

— Что ж, так и нужно писать, по-моему, в революционном органе...

Было сказано не слишком уверенно, но так как тягостная пауза длилась, выходило, что фроленковская неуверенная мысль одобряется всеми. Попов спросил у Морозова без всякой воинственности — это был скорее жест для Плеханова:

— Вы признаете это общим методом?

Воробей забормотал пылко:

— Видите ли, как только будет обеспечена свобода слова и низвергнут абсолютизм, сейчас же нужно будет действовать убеждением. Исключительно убеждением!

Кто-то из саратовцев прогудел одобрительное, остальные молчали, Плеханов, уже севший было на свой плащ, снова вскочил.

— Господа! В таком случае мне здесь больше нечего делать. Прощайте!

Качнулся, поднял плащ и, помахивая им, довольно медленно и с какой-то жалкой торжественностью — наверно, ждал, что окликнут,— пошел в сторону леса. Никто не окликнул. У всех на лицах было написано виноватое, мучительное. Верочка Филиппова прошептала:

— Господа, нужно его возвратить!

Андрей и Дворник переглянулись. Поняли без слов. Дворник произнес бесцветным, директорским голосом, какой являлся у него в иные минуты:

— Нет, как ни горько, мы не должны его возвращать.

Жорж ушел. Ни один человек, даже из ближайших единомышленников — ни Попов, ни Щедрин, ни Преображенский с Харизоменовым,— за ним не последовали. Раскола не произошло. И, однако, тяжесть, смутно-гнетущая, чувствовалась всеми: пока еще никто не последовал; и раскола пока не произошло. Стали выбирать редакцию органа из трех человек: назвали Тихомирова, Морозова, а третьим вместо ушедшего Плеханова кто-то предложил «Юриста», Преображенского. Дворник неожиданно — нервы у всех накалены — вспыхнул: «Ну нет уж, кого хотите, только не Юриста! Он же народник из народников!» Была пауза ошеломления, едва не грянул гром, но Мария Николаевна со своим бесподобным хладнокровием заметила: «Ах, Дворник! Как вы плохо воспитаны! Вы забыли, что о присутствующих так не говорят, а кроме того, не все такого мнения о Юристе, как вы». Этот полушутливый выговор всех слегка успокоил, Преображенский сам предложил Аптекмана, маленького, юношески-хрупкого человека, но, как говорили, дельного, честнейшего землевольца, однако Аптекман наотрез отказался. Тогда сошлись на Преображенском, и он попал третьим в редакцию. Затем выбрали трех человек в распорядительную комиссию: Михайлова, Фроленко и Тигрыча. Все как будто шло примирительно. Но тяжесть, возникшая однажды — чувство непрочности,— не проходила. Силились ничего не сдвинуть, не нарушить, не изменить себе, но когда для дружбы прилагают усилия, тогда дело плохо.

И только Андрей — может быть, единственный из всех — не испытывал ни тяжких предчувствий, ни угрызений совести. Старое рвалось, ну и ладно! Это было не его старое. Особенно суетились барышни. Ну естественно, чувствительные натуры. Когда Соня Перовская, очень взволнованная уходом Плеханова, о чем-то шепталась то с одним, то с другим и, кажется, призывала к какому-то действию, Андрей, улучив минуту, спросил ее:

— Сильно огорчены?

Она, почувствовав в его тоне насмешливость, ответила резко.

— Да, огорчена! Не люблю заговоров и переворотов.

Считаю, что заговорами и переворотами мы ничего не добьемся ни в нашей борьбе, ни внутри себя. Порядка не будет! — И вдруг повернувшись к Фроленко, который сидел рядом с Андреем: — А вы, сударь, очень странно себя аттестуете!

Михайло покраснел, добрая душа, и даже привстал.

— Соня, ты о чем? — Знал о чем.

— Если уж звать Марию Николаевну... — Она понизила голос, так как Тихомиров и Морозов продолжали спорить с кем-то из деревенщиков, довольно шумно, Титыч их примирял. Шептала, наклоняясь к Михайле: — с которой мы делали одно дело в Харькове, то почему ж меня забывать? И, вообще, что я, заразная? Черти вы этакие, кощеи несчастные! — И она как бы шутя, но вполне неслабо шлепнула Михайлу ладонью по затылку.

— Соня, голубка моя, тебя никто не забывал, но я, ей-богу, считал тебя неисправимой народницей, — бормотал Михайло, сконфуженный. — Прости, пожалуйста...

— Нет уж, не прощу никогда!

Она отошла, грозя пальцем, улыбаясь, но лицо было злое. И видно, что говорит правду: не простит.

Наконец долгий день споров, тягостных переживаний кончился, все устали, были голодны, женщины жаловались на головную боль. Как бы хорошо было всем пойти куда-нибудь в ресторан или в трактир, поужинать славно, с вином! Морозов и весельчак Титыч загорелись: «А что? Давайте! Пошли! A capella! [1]» Дворник, разумеется, тут же пресек: «Никаких a capella! расходимся небольшими группами». Так вышло, что, расходясь группами, Андрей и Михайло оказались вместе с Соней и Таней Лебедевой, затем Михайло и Таня, попрощавшись, куда-то исчезли, и Андрей остался с Соней вдвоем. Решили пойти поесть в трактир. Андрею нравилась маленькая женщина. Он с удовольствием над нею подтрунивал. Не мог отделаться от мысли, что она — истинная аристократка, дочь петербургского губернатора! А вообще-то, как рассказывал Тигрыч, она праправнучка знаменитого Кирилла Разумовского, последнего гетмана малороссийского. Очень забавляло, интриговало даже: как могла порвать с семьей, с домом? Ведь революционерами становятся от отчаяния жизни, а тут...

— На вас посмотреть, Борис, — сказала она, — тоже

---

[1] **Хором, вместе** *(ит.)*.

не скажешь, что отчаявшийся. Такой здоровенный, физиономия бодрая, румяная...

— Природа мужицкая, что поделать. Но жизнь я хлебнул, знаю что почем. В народ ходить, долги какие-то отдавать, мне не требовалось.

— А знаете, что я скажу вам? Кичиться крестьянским происхождением так же нелепо, как и дворянским.

— Да? По-моему, это не одно и то же.

— Одинаковая гадость. Вот я люблю простой народ, уважаю безмерно, может быть, к некоторым отношусь даже лучше, чем они того заслуживают: только потому, что преклоняюсь перед трудовой жизнью, перед страданьями, бедностью. Но когда вдруг сталкиваешься с этаким самомнением, похвальбой своей народностью — в деревне этого нет, но в городах, среди фабричных, даже в наших рабочих кружках приходилось встречать — противно бывает. И ради этого, думаешь, дурака, самолюба, жизнью жертвовать?

— А не приходило в голову, что бояре на Руси тыщу лет кичатся происхождением, а мы, людишки черные, тягло, быдло — только едва-едва, лет пятнадцать, как почуяли, кто мы есть? Едва голову подняли, а вам уж противно.

Она посмотрела как-то сбоку, внимательно.

— Ладно. Знаете что? — Тронула пальцами его руку. Наверное, для нее этот жест, примирительный, был большого значения.— Давайте ценить людей не за их происхождение, ладно? Не за их племя, религию, образование, а за то, что вложил в них бог или природа.

Он кивал, улыбаясь. Как-то уж очень она всерьез. Вообще, была похожа на серьезную гимназисточку, из тех, которые берут книги в библиотеке, рассуждают о возвышенном и все, кроме занятий, считают глупостью. Не верилось, что эта розовощекая барышня прославилась многими подвигами. Например, гениальным бегством из-под конвоя в Чудове. После Большого процесса ее арестовали на юге, везли чугункой в ссылку, в Олонецкую губернию, и на станции Чудово, где поезд довольно долго стоял, она попросилась в дамскую комнату. Жандармы проводили, сели у входа, были, видимо, пьяны, задремали, она спокойно дождалась, пока поезд уйдет, перешагнула через спящих и скрылась. (Рассказывал Михайло в прошлом году.) В трактире Андрей нарочно, продолжая испытывать аристократизм своей спутницы, заказал самое грубое, дешевое, что было: щи

со щековиной, из соленых бычьих щек. Она ела с аппетитом, не замечая того, что ест. Он наблюдал исподтишка. Нравилось: наблюдать. Вдруг она сказала:

— Когда-нибудь расскажу, почему я стала революционеркой.

— Когда-нибудь? А если — сейчас?

— Нет.

— Расскажите сейчас.

— Нет, сейчас неохота.

— Рассказывайте сейчас же! — Он взял ее маленькую руку с пухлыми пальчиками, стиснул. Стискивал все сильнее. Наверно, ей было больно. Она смотрела улыбаясь, и в глазах, нежно-серо-голубых, светилось неколебимое спокойствие.

Качала головой. Он отпустил: на руке отпечаталось белое.

— Началось у меня от ненависти к деспотизму. Когда-нибудь расскажу. Деспотизм ведь бывает всякий, домашний, семейный. Но дело в том, что самое страшное — когда заставляют делать вопреки твоей воле.

Потом долго разговаривали об обществе, об уходе Жоржа, о том, как все это будет дальше. Она упорствовала: нет, никогда не согласится ради террора оставить работу в народе. Политический террор может быть только подсобным средством, но вовсе не универсальным. Жорж умнейший человек, знаток Маркса, Лассаля, как теоретик он не имеет равных. А как практик: кто организовал демонстрацию на Казанской площади? Кто впервые поднял красное знамя «Земли и воли»? Да, но как раз потому, что больше теоретик, чем практик, он не видит всей безнадежности работы в народе. Нас всех перевешают, пока сдвинем эту глыбу, хотя бы на миллиметр. Нет, нас перевешают скорее, если вступим в открытый бой. Вот здесь наша гибель будет мгновенной. Почему же она не пошла за Плехановым, если такая противница террора? Не противница, нет, но не считает террор спасением. Она противница раскола, разъединения, ибо тут пагуба и конец, и поэтому — не пошла за Плехановым. И как он ни спорил, как яростно ни доказывал, какие примеры ни приводил, она стояла скалой: нет, толку этим путем не добиться, Россию не освободить. Повалить самодержавие можно только долгим и кропотливым трудом среди народа.

— Я тоже так полагал, леший бы вас драл, упрямая вы бабенка! — кричал Андрей, потеряв самообладание.—

Но теперь-то! Оглянитесь кругом! Неужели не видите, что творится? Неужели не понимаете, что через полгода всех нас переловят и передушат, как мышей?

— Вероятно. А что вы на меня кричите? Я ведь согласилась, никуда не ушла, буду заниматься и террором, если понадобится. И цареубийством. Но мнение-то свое, независимое, могу иметь?

— Можете иметь. Но и соображать должны.

— Да вы-то чего хлопочете насчет террора? Зачем к террористам ладитесь? Вы же знаменитый конституционалист. Вы уж поближе к князю Васильчикову...

— А что вы обо мне знаете? — Андрей, рассвирепев, даже кулаком по столу грохнул.

— Вы прекрасные речи произносите. Большой говорун.

— Я большой говорун?

— Ну, конечно, готовитесь к учредительному собранию...

Из-за соседнего стола угрожающе поднялись трое. Какие-то темные рожи, кабацкая пьянь. Видно, давно прислушивались.

— Эй, господин, ты девку не обижай...

— Машка, айда с нами! Наплюй на его!

Один уж и руку тянул, чтобы Соню схватить. Трактир был, действительно, из последних. Андрей соображал, кого первого бить. Соня вдруг закричала на пьяных ярыжек так, что те опешили, отступили, да и Андрей изумился. Вышли на улицу, в душную темноту. Андрей смеялся: нет, не зря в народе толкалась, умеет разговаривать с простыми людьми! И пока провожал до дома, где она жила с Таней Лебедевой,— спорили все о том же, до ругани, до хрипоты.

И на другой день спорили. Перетягивал к себе, в Исполнительный комитет. Убеждал: все равно разрыв неизбежен. На последнем заседании решались финансовые дела. Опять могли разгореться страсти: какую часть деревенщикам, какую на террор. Андрею посоветовали (Дворник особо просил) не выступать, чтобы не обострять положения. Он уже обозначил себя, как самый резкий сторонник нового направления, который к тому же вовсе не заботился о сохранении единства. Ему это было не дорого. Ну вот, и, подчиняясь просьбе, сидел в сторонке, слушал, что говорят, и рассуждал вполголоса то с Соней, то еще с кем-то, из колеблющихся.

Было постановлено не больше одной трети всех имеющихся средств тратить на террор, остальные две трети — на работу в деревне. Дворник пытался протестовать, не очень, правда, решительно, да и Андрей жестом остановил его. Ведь было ясно, что никакой работы в деревне не предвидится, все это миф, химера, любимая бесплотная мечта. Расставаться с химерами всегда мучительно. И Перовская, хотя твердила упорно: «Работу в деревне ни за что не оставлю!», было видно — страдает. Потом она, ее подруга Таня и Верочка Фигнер, она же Филиппова, мололи вздор насчет того, что Исполнительный комитет их пугает: нет ли здесь нечаевщины? Заговор, конспирация от товарищей, тяга к убийствам... Пришлось объяснять: заговор был направлен не против товарищей, а против общего врага. Тайна существовала лишь несколько дней, а теперь все открыто, каждый волен поступать по своему разумению. И не надо так уж трястись и скрипеть зубами при слове «нечаевщина». Ну, тут началось! Женщины бросились на Андрея с криком, с проклятьями, чуть ли не с кулаками. Да как он посмел? Что у них общего с этим грязным обманщиком, вымогателем? Так говорить значит ничего не понимать в русском освободительном движении! Обманул умирающего Герцена! Шантажировал Огарева! Вера Засулич говорила о его бессовестных проделках! Бакунин от него отрекся! Когда его схватила швейцарская полиция, ни один русский студент (Верочка готова присягнуть) не желал шевельнуть пальцем для его освобождения! Убить невинного человека! Иезуит от революции! Весь вышел из книжечки Макиавелли «Монарх»: помните, появилась в шестьдесят девятом году в переводе барона Затлера? Если уж говорить...

Тут грянул ливень. Кинулись с лужайки под деревья, сильный дождь доставал и там, вмиг потемнело, от травы шел пар, и тогда кто-то крикнул, что надо бежать в павильон, к пруду. Побежали, веселясь, женщины подобрали юбки, кричали, ахали, Андрей поднял на руки Верочку, кто-то подхватил Соню — добежали, допрыгали, Воробей потерял очки, Марья Николаевна, босая, поскользнулась и шлепнулась, хохотали, валились от изнеможенья и хохота на пол, господин с дамой смотрели с недоумением, у всех блестели глаза, лица были мокрые, красные, Верочка вдруг запела сильным, счастливым голосом «Бурный поток», ливень с нарастающим гулом колотил в деревянную крышу...

Непрочность, о которой догадывался Андрей, проявилась скоро. Два месяца после Воронежа бились, терпели, сдерживали себя, шли обоюдно на всяческие уступки — мелкие, несущественные, но казавшиеся важными,— однако дело непоправимо разлаживалось. Деревенщики гнули свою линию, Исполнительный комитет — свою. И когда стало окончательно ясно, что нет смысла мучить себя и других, было решено разделиться. Разделили слова: сторонники политического террора взяли «волю» и назвали себя «Народной волей», а те, другие, взяли «землю» и придумали себе название «Черный передел». (Это была, собственно, исконная крестьянская мечта — душевой передел земли,— на которой строили свои надежды чигиринские пугачевцы, Дейч со Стефановичем.) Разделили имущество: типографию. Разделили средства. И с того дня, когда это случилось — в августе, в Лесном, под Петербургом,— террористы и будущие цареубийцы, вздохнув с облегчением, приступили к своим делам. Они знали, что скоро погибнут, может быть очень скоро, той же осенью семьдесят девятого года, но были твердо убеждены в том, что смертью своей принесут родине избавленье и счастье. И поэтому очень торопились, старались не терять ни дня, ни часа.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

В один из последних дней лета на даче в Лесном члены Исполнительного комитета приняли решение о казни императора Александра II на его возвратном пути из Ливадии в Петербург. Обыкновенно император возвращался с юга в ноябре. За два месяца — сентябрь и октябрь — надо было успеть расставить такие капканы, чтобы покончить с императором неминуемо. Перекрыть все пути. Не так уж сложно, если взяться за дело с умом. Путей было два: железной дорогой из Симферополя через Харьков, Курск, Москву и морем до Одессы, оттуда поездом. Скорей всего царь поедет из Симферополя железной дорогой, но все же Одессу нельзя было упускать: туда направили Михайлу Фроленко. Главные силы бросили на Московско-Курскую дорогу: Дворник вместе с Морозовым, Гартманом, Перовской (к исходу лета она окончательно сломилась в своем народническом упорстве и примкнула к терроризму) должны были приготовить минную засаду под Москвой, а Андрей вызвался

устроить такую же каверзу на юге, где именно, еще не знал, где-то на степном просторе между Симферополем и Харьковом.

Андрей был убежден, что его мина окажется первой и решающей. Ну, а если нет — тогда Москва. Спасенье царю не предвиделось. В ноябре жалкий тиран испустит дух, а к рождеству вся жизнь в России переменится: новый государственный строй, конституция, представительное управление, свободная печать. А там уж пойдет настоящая борьба за народоправство!

В радостном нетерпении мчался Андрей на юг, сквозь зной и спелость осенних российских равнин. В Харькове остановился на «Монастырском подворье». Среди здешних людей было немало знакомых: один из лучших и верных — Иван Глушков, «Ионыч», старый приятель по одесским кружкам. Но теперь, в начале сентября, Ионыч подумывал насчет того, чтобы исчезнуть, ибо вокруг сгущалась опасность. Новый генерал-губернатор Харькова Лорис-Меликов, заменивший на этом посту убитого Гришкой Кропоткина, действовал гораздо более хитро, но и решительно. Кружок Дмитрия Буцинского, толкового молодого человека, близкого Андрею по духу, называвшего себя «государственником» (бегло познакомился в прошлом году, да и Соня Перовская много рассказывала), был сильно весною подорван, лорис-меликовские шпики искали убийц Кропоткина, выудили нескольких человек, и Буцинский в апреле бежал из Харькова. Теперь все было в разброде, более затаенно, но сходки, вполне мирные, без кровожадности — чтение книжек и споры о социализме,— кое-где, по студенческим квартирам, продолжались.

Ионыч быстро свел Андрея с местными карбонариями. Самым заметным был, конечно, «Староста», Петр Абрамович Теллалов, ровесник Андрея или, может быть, на год младше, с немалым опытом: еще в семьдесят четвертом году, когда был студентом Горного института, попал в ссылку за участие в «беспорядках». Этому Старосте, или Абрамычу, Андрей вез поклоны из Питера. Гришка Гольденберг, появившийся вскоре, тоже знал Теллалова и рекомендовал его, как вернейшего человека. Ионыч и Староста — на этих двух можно было опереться, но Ионыч уже собирал пожитки. Остальные здешние были тощая молодежь, слегка напуганные, слегка легкомысленные, знавшие обо всем понаслышке. Шут знает, чем они занимались! Староста делился опы-

том, как они добывают деньги для кружка: обрабатывают либералов, одну даму, например, жену председателя Харьковской судебной палаты дообрабатывали до того, что она ежемесячно вручает ему, Старосте, тридцать четыре рубля в пользу социалистов, а некий Легкий, восемнадцатилетний гимназист, нашел замечательный способ добывания денег. Он обещает гимназистам через мифического чиновника министерства просвещения, который тут будто бы проездом, достать фальшивый аттестат зрелости для поступления в университет за шестьсот рублей, берет триста рублей задатка, и два осла на эту удочку уже попались. Чем рисковать много раз по мелочам, лучше однажды рискнуть хорошенько, но зато запастись средствами на год, два, три. Тут это понимали и носились с идеей подкопа под Полтавское казначейство. Впрочем, главное — на что тратить средства? — в Харькове представляли смутно.

На одной из первых же сходок, на квартире студентов Кузнецова и Блинова, кто-то спросил: верно ли, что Петербургское общество изменения государственного строя разделилось на две фракции, террористов и народников? Пришлось объяснять, что общества с таким длинным названием вовсе не существует и что народники, признавшие террор одним из средств борьбы, не перестали быть народниками. Слухи о разделе докатились сюда еще летом, родили сумятицу в мозгах. Гришка Гольденберг сильно портил дело. Здесь, в Харькове, на месте своего геройства, он чувствовал себя непререкаемым авторитетом и пребывал в каком-то постоянном, именинном возбуждении: каждую минуту ждал дани восхищения, пускай даже молчаливого. Он запретил называть себя Гришкой, Давидом, Биконсфильдом, велел звать Федором. Хвастался, что вряд ли есть хоть один другой революционер в России, который имел бы столько разных имен, как он. То и дело вынимал из кармана флакончик с прозрачной жидкостью и что-то писал (видимо, важные письма) этой жидкостью на листках бумаги. Как будто не мог заняться писаниной дома, наедине. Студенты глядели на него разинув рты, подавленные его значительностью. Еще бы: кто-то приведший Гришку в этот кружок впервые назвал его «певцом» и «одним из друзей Кропоткина». Свою славу певца Гришка старался подтверждать и после серьезных разговоров, когда дело доходило до веселого застолья, всегда пел малороссийские песни. Но что касается рекомендации насчет «од-

ного из друзей Кропоткина», то намек был, кажется, всем ясен. Вот этого мелкого фанфаронства, неутомимой самощекотки, Андрей не понимал. Какой вздор! Тщеславиться перед мальчишками, рискуя из-за этого провалить себя, да и дело. Сказал ему об этом. Гришка удивленно поднял брови: «Ты учишь меня конспирации?» И хохотал: «Учит меня конспирации! Это уже анекдот. Милый Борис, я не проронил ни слова, ни полслова».

Верно, не проронил. Но ведь намекал же, черт тебя драл!

— Мы не будем, как прежде, заниматься такими мелкими делами, как убийства Кропоткина и Мезенцева. Мы начнем с главного, с царя! И пусть все, кто нам сочувствуют, но колеблются или трусят — что, впрочем, одно и то же,— знают, что мы не требуем, чтоб в этом деле принимала участие вся террористическая партия. Нам достаточны единицы, чувствующие к этому призвание. Остальные будут лишь содействовать. Один кинжал нельзя держать десятью руками. Подвиг есть дело редкое и добровольное.

Все было так, но — тон, категоричность, тайное самолюбование, которое нельзя было скрыть, оно так и прыскало, вызывая раздражение. Из-за Гришки, чтобы сгладить впечатление, Андрей выступал помногу и долго. Один из почтительных Гришкиных слушателей, совсем молоденький реалист, сын известного в Харькове доктора Сыцянко, робко возражал: они не трусят, нет, но колеблются, ибо террористический путь, как известно, влечет за собой репрессии, невинные жертвы. Привел в пример двадцатилетней давности покушение Орсини на Наполеона III, когда император с императрицей после взрыва бомбы спаслись, а полтораста человек на улице вблизи театра были ранены и десять убиты. Гришка, рассердясь, сказал, что никому не советует попадаться под карету истории. Еще был вопрос: а какие пути предлагают террористы для достижения конституции? Гришка ответил загадочно: «Этого пока еще нельзя говорить, секрет».

Более всего Андрей боялся, что в Гришкиных речах может мелькнуть настоящая причина их приезда в Харьков. Сам он вовсю создавал видимость, что они приехали сюда, как истые пропагандисты: говорил на исторические темы, объяснял по Марксу суть борьбы классов, ну и, разумеется, о терроре, но без горячки, спокойно.

В двадцатых числах приехал Колодкевич, а вскоре Баранников (теперь он звался Ипполит Кошурников) и Андреев тезка Пресняков. С Пресняковым Андрей познакомился только теперь. Это был высокий блондин, несколько бледный, угрюмый, худой, похожий внешностью на петербургского мастерового, однако на самом деле был вполне образован: учился когда-то в Учительском институте. Потом, правда, слесарничал на каком-то заводе в Питере. Пресняков был мужчина серьезный. За ним числились дела: Казанская демонстрация, бегство из полицейской части и — кровь. Говорили, что убил шпиона два года назад. Представляясь Андрею, жестко стискивая его руку, сказал внушительно: «Андрей Корнеевич». Взгляд у Андрея Корнеевича был какой-то странно застывший, водянистый. Андрей, поглядев на него, подумал: «Эге! Человек нужный». Пресняков с Баранниковым привезли динамит и проволоку.

Теперь надо было решать: где? Сидели ночами над картой. Баранников по поручению Комитета уже занимался рекогносцировкой на Варшавской дороге, теперь он помчался в Крым, но через несколько дней вернулся: подходящего места на юге не было. Снова колдовали над картой, сошлись на том, что может подойти Александровск, уездный городишко Екатеринославской губернии. Баранников в дни юношеских скитаний бывал там, да и Теллалов знал это место, его брат жил в Александровске, занимался торговлей. Итак, Александровск! Поехать, посмотреть. Времени еще было много, месяца полтора, однако Андрей спешил. Нетерпение не покидало его. Он должен был ехать один: Колодкевич возвращался в Одессу, где его ждали Верочка и Михайло, Пресняков отправился в Крым (ему дали адрес верного Теллалову человека, в Симфорополе, где Преснякову надлежало обосноваться и следить за передвижением царя), а Баранников торопился в Москву. Там требовалась громадная физическая работа, затеяли подкоп, нужно много сильных мужиков.

Еще в середине сентября перед своим отъездом из Харькова Ионыч — Глушков — свел Андрея с человеком, который был теперь необходим: ведь пора уже было приготовлять мину! Даже не одну, две. Человек был — мастер, золотые руки, Ваничка Окладский, он и слесарь, он и медник, и немного по электрической технике, и, главное, несмотря на юность, многоопытный в революционных делах, воспитанник петербургских кружков.

Андрей познакомился с Ваничкой (все его почему-то так звали, хотя парню было уже двадцать) в Одессе лет пять назад, но — бегло, едва запомнилось. Впрочем, запомнилось: мальчишка, а разговаривал и держался с достоинством, как-то по-столичному чванился. Теперь, хотя стал старше, выглядел попроще. Но тоже нет-нет, а мелькнет — этакое столичное, глуповато-важное.

Ионыч, уезжая, сказал: «Ваничка тебе все сделает».

Встретились на Университетской горке, вечером, мелкий дождичек зарядил, и дохнуло вдруг — зимой, холодом. Андрей зябнул, Ваничка напыжился, похвалился:

— Для нас, петербургских жителей, этакая погода — в самый раз.

Ну ладно, бог с тобой. Как все мастеровые, и этот, желторотый, набивал себе цену. Андрею все же он нравился, истинный работник, самостоятельный, но в то же время за годы вращения среди питерских революционеров, да и одесских — знал Заславского, Малинку, Родионыча, многих — приучился, как младший, опекаемый, к послушанию. Где взять мастера, и опытного, и чтобы довериться полностью? А тут хоть и молод, да свой.

Ведь таиться бессмысленно. Что за снаряд? Какой корпус? Для чего? Делать — ему. Должен знать.

И тогда же, вечером, гуляя под мокрыми деревьями, сказал все. Поразило: Ваничка нисколько не удивился. Не взволновался, не дрогнул. Деловито и расчетливо, будто портной берет заказ на сюртук, стал расспрашивать, какой длины предполагается снаряд, каков вес динамита, из чего делать корпус, какого диаметра нужен земляной бур. Обсудили. Ваничка сказал, что работал в мастерской доктора Сыцянко, там можно листовую медь достать и все прочее, что надобно, а если будет какая недостача, есть другая мастерская, Якубовича, в том же доме, где доктор Сыцянко. Ребята везде знакомые, достать можно. Само убиение царя как будто не представлялось Ваничке важным делом, об этом даже не задумывался, а вот достать материал, сделать — это задачка. «Хорошо, хорошо,— соображал Андрей.— Нам такого и нужно, чтоб не задумывался».

Сняли дом на Москалевке, хозяйке Ваничка объявил, что будет работать на заводе Пильстрема, ждет жену из деревни. Про дом на Москалевке никто, кроме Андрея, не знал. Корпуса изготовлялись из меди, цилиндрические, полтора аршина длиной. Следить нужно было, чтобы швы легли плотно, герметически, иначе нитроглице-

рин станет просачиваться и убойная сила погаснет: об этом еще в Питере Гришка Исаев, ученый малый, предупреждал. Ваничка старался вовсю, стукал медницким молотком на оправке.

Андрей верил Ваничке. Да, конечно, верил совершенно, потому что все верили. В Питере его, мальчишку, подобрал доктор Ивановский, известный человек, пропагандист, умница, благороднейшая душа. И все-таки — от того, что кому-то раскрыл тайну, кого-то посвятил, пускай своего и близкого, но ведь не совсем же своего и не окончательно близкого,— теперь бессонно томило беспокойство. А вдруг? Ведь молодой же, черт, хрупкий. И ничего поделать было нельзя. Андрей знал за собой эту нервность, знобящую, непобедимую, как привяжется — смерть, спасу нет. Вспоминал с завистью про жену Семена, Марию Николаевну Ошанину: как же могла заснуть в те часы, когда нападали на конвой? У него еще все далеко, но вот вломилась в башку тревога, и не то, что не спится, а — места себе не найти. Накануне отъезда Баранникова в Москву Андрей ему сказал: Ваничка работает, все в порядке, но хорошо бы малого как-то привязать покрепче. Он ведь не член партии, не агент, устава не знает, клятв не давал. Пугнуть, что ли?

Андрей вспомнил, как кто-то — не Марья ли Николаевна? — говорила, что для приема новых членов нужно выделять двоих: его, Желябова,— чтоб говорить, и Баранникова — чтоб устрашать. Верно, физиономия у Семена неподвижно мрачная, диковатая, как у итальянского bandito. Мать наградила этакой красотой. Парень замечательный, Андрей за несколько дней сдружился с ним крепко. «Поговорим!» — согласился Семен.

Ваничку вызвали, пошли втроем в столовую в Мордвиновском переулке, в дом, где бывали часто: столовую содержала вдова Заславского, того самого, одесского, который год назад умер, бедняга, в тюрьме. У женщины всегда были глаза на мокром месте. К Андрею она относилась тепло, даже нежно, помнила его по Одессе. Однажды подошла близко, бормоча невнятное:

— Они мне ничего не сказали, но я узнала досконально: Женя сошел с ума. Они его домучили. Такого человека...— Губы ее дрожали, глаза были полны слез. Внезапно приблизив лицо вплотную и глядя как-то необычайно значительно, прошептала: — Вы должны это всегда помнить!

И отошла, не дожидаясь ответа.

Теперь, когда пришли с Ваничкой, Заславской не было. Прислуживала какая-то незнакомая толстая девка, и разговаривать нужно было с осторожностью.

Семен рассказывал о своем прошлом, о детстве в Путивле, о том, как вырвался из Павловского военного училища, симулировав самоубийство в Неве, о том, как бродяжил по России, как сражался в Черногории в отряде Пеко Павловича. Рассказывая, кидал черным, косящим зрачком — пронизывая — на Ваничку. Но тот никакой пронзительности не чуял, ел и пил беззаботно. Семен стал вспоминать, как черногорцы мстят изменникам: хоть малейшая выдача, хоть словцо случайное — кинжал в сердце.

— Понятное дело,— соглашался Ваничка.— А потому что им иначе нельзя.

— Очень месть уважают! — говорил Семен, хмурясь грозно.

— Обязательно.

— Такая есть поговорка черногорская: «без освете нема посвете». Без мести, значит, нет спасения. Понял?

Все было — мимо. Ваничка как будто не догадывался, куда клонится разговор. Тогда Семен сграбастал могучей ладонью Ваничкин тощий загривок, пригнул его голову к столу, почти носом к тарелке, и шепнул в ухо:

— Если хоть словцо из тебя просыпется... ясно? — Видно, шейку-то он Ваничке сжал, потому что Ваничка побелел вдруг, захрипел. Семен отпустил его. Он выпрямился, поводил, моргая, красными — но без тени испуга — глазами, вздохнул глубоко и улыбнулся радостно, догадавшись:

— Это вы мне предупреждение делаете? Ну, и правильно, правильно. Только я вам скажу, дядя...— Мигнул лукаво, а сам все шею, намятую, рукой тер.— Я же первей вас в революционном движении действую. Чего меня предупреждать? Меня мальчонкой, двенадцати лет, в первый раз в часть сволокли. Я вам так скажу, словами Стеньки Разина: «И доблесть рыцарская ничего не сможет пред силою летящего ядра!» Так меня инженер Левицкий учил, по книжке.

— Ладно, не болтай, а запомни. Насчет того, что без освете нема посвете. Спасения не будет.

— Зна-аю! — Ваничка, смеясь, рукой махал.— Это я раньше вас еще понял! Мудрость какая!

Вдруг в комнату ввалился Гришка Гольденберг, замолол чепуху: про какой-то музей исторических вещей, который кто-то — неведомо кто! — предлагает организовать.

— Я должен дать револьвер, тот самый, ну вы знаете, про что я говорю,— тарахтел вполшепота Гришка.— Туда же кинжал Сергея, который тоже прославился... Ты, Борис, можешь дать — хотя нет, рано, рано! Не говори гоп! Молчу, молчу!

Уезжая в Александровск, Андрей несколько тревожился: сможет ли Гришка как должно проследить за работой Ванички? Увлечется ерундой, забудет главное. Гришка рвался вместе с Семеном ехать в Москву, но сказали твердо: поедешь, когда Андрей вернется из Александровска, наладив работу.

Александровск оказался захолустнейшим городком, одна слава, что уездный, на деле — большое село, тысяч на шесть жителей. При речонке Мокрой Московке, в двух верстах от Днепра. Вокруг — черные осенние хляби, овраги, курганы, и неподалеку, на Днепре, Хортица, знаменитый остров, где сидели когда-то запорожские сечевики, а теперь жили немецкие колонисты-менониты. В извозчичьей повозке Андрей объехал окрестности, высматривая место для кожевенного завода: прикатил он сюда будто бы из Ярославля, купцом Черемисовым, в надежде открыть производство кож и быстро обогатиться. Вид был вполне купеческий, разговор дельный. Его и в Харькове принимали за купца: ходил в черном бурнусе, в картузе, в русских сапогах. И вот, колеся кругом города с биржевым извозчиком Миколой Сагайдачным — познакомились накануне, на вокзале, где Микола у извозчичьей колоды дожидался седоков,— расспросил исподволь об александровском бытье, о купцах, исправнике, городском голове господине Демогани. «Эге! — почему-то обрадовался Андрей.— С греком договоримся, не впервой». Стал вспоминать отдельные, с юности застрявшие греческие словечки, но тут же себя перебил: ведь бесполезно, неоткуда их знать ярославскому купчине.

Миколе объяснял: место нужно такое, чтоб вблизи яма, куда можно сваливать нечистоты. Такое место, и замечательно удобное, в двухстах саженях от полотна железной дороги, нашлось в первый же день, но городская

дума воспротивилась, боясь, что станет грязниться река Московка. Андрей посулил господину Демогани благодарность за помощь — не так уж страстно желал он занять этот первоначальный, удобнейший участок, но, главное, так надлежало действовать купцу Черемисову,— однако грек не дрогнул и все-таки отказал. Время еще было. Не менее месяца. Царь приезжал в столицу обыкновенно в середине или в двадцатых числах ноября. Андрей наметил другой участок, от полотна подальше (тут было свое преимущество: не так подозрительно!), и, сняв двухкомнатную квартиру с кухней, восемь целковых в месяц, сроком на полгода, и заключив по сему поводу контракт, а также оставив новому приятелю Миколе десять рублей на покупку мебели, поспешил в Харьков.

Здесь все шло чередом, Ваничка работал, подбирались помощники: у Ванички появился некий Коля, Ваничкин знакомец, парень вроде бы верный, но ему, однако, всего не раскрыли, правильно сделали, из Ростова прикатил еще в конце сентября пресняковский дружок Яшка Тихонов, этому сказали все, согласился враз, его надо брать в Александровск, там нужна сила, землекопы, и, наконец, прибыла из Питера «жена купца Черемисова Марья Петровна» — Аня Якимова, по кличке Баска.

Все были не новички, народ каленый.

Баску Андрей знал еще по Большому процессу, весной она входила в ширяевскую группу «Свобода или смерть», эта группа, правда, ничего сотворить не успела, но создала перед съездом особое террористическое настроение, а летом Баска хозяйничала в динамитной мастерской вместе со Степаном Ширяевым. Яшка Тихонов судился по делу о пропаганде среди петербургских рабочих (сам-то он ткач и слесарь, истинный пролетарий), ссылался в Архангельскую губернию, оттуда бежал. А уж сам Ваничка! Этот всех знал, и его все знали. Опыт у Ванички был громадный. Жизнь свою сразу перестроил: ни он ни к кому, ни к нему никто. Однажды, когда Андрей был в Александровске, Ваничка закатил скандал Гольденбергу, и поделом: Гришка вздумал в неурочный час к Ваничке на Москалевку наведаться, узнать, как идет дело. Ваничка на него чуть не с кулаками: «Да как же ты, идол, соображаешь? Дурак ты, дурак, а еще в Кропоткина стрелял!»

И — прав, молодец. Гришка Андрею жаловался: «Он меня выгнал, показывать не стал. Сопляк! Пусть бога

благодарит, что я был без оружия. Я невежества ни от кого терпеть не стану!»

Все дело в том, что Гришку мытуха разбирала: скорей в Москву! И вот, не в силах дождаться срока, побежал теребить, подгонять. Была же договоренность: в дом на Москалевке никто ни ногой. Встречаться только в условленных местах. Андрей, к примеру, встречался с Ваничкой на Университетской горке. Но Гришке с его фанаберией — попробуй, объясни. И еще случилась неприятность: с околоточным. Работая медницким молотком, выгибая цилиндр на оправке, Ваничка, конечно, стучал сильно. Пришел околоточный, сказал, что соседу, больному чиновнику, мешает звон. Нельзя ли прекратить? И что тут за мастерская? Ваничка не растерялся, наврал, что делает аппараты для перегонки спирта для винокуренного завода. Околоточный был грузен, неповоротлив, во двор лезть поленился и только лишь пригрозил угрюмо: «Бей тише. Беспокойство делаешь...»

А как войдет да станет смотреть — что за аппараты? Ваничка сообразил: судьбу не искушать, сняться с Москалевки тотчас.

Андрей жил теперь на сумском подворье. Встретясь первый раз с Ваничкой и узнав, что работа близка к концу, дня два осталось, он, успокоенный, решил эти два дня посвятить учению: почитать с толком книгу «Кожевенное производство», купленную еще в Петербурге. Читать было все недосуг, а нужно. Вдруг — сообщение, Колька принес, Ваничкин подручный, писано шифром. Здесь, в Харькове, ключевым словом было «ШТУНДИСТЫ». Андрей еще не привык читать сразу, в уме, пришлось набросать сетку. «Штундисты» написать колом, по-китайски, и затем к каждой букве приписать девять, следующих по алфавиту.

В результате прочитал: «Срочно искать другое место пять на горке». К пяти пришел на Университетскую горку, Ваничка уже расхаживал, мрачно-сосредоточенный. Рассказал про околоточного. Как быть? Уходить, что ли? Андрей спросил, долго ли до конца? Если ночью поработать как следует, так завтра к утру. Ваничка мялся, плечами подергивал: предоставлял решать. Ну ладно, рискнули до утра. Не тащить же недоделанные. Да и место еще нужно найти.

Вечером Гришка побежал к Старосте, с ним пошли к Блинову, студенту, предупредили: завтра, мол, принесем к вам вещь. Какую вещь? Необходимо схоронить. Во-

просы неуместны. Дома будете днем? Блинов, слабогрудый, болезненный, закашлялся, заныл: «Да я не знаю, право. Я ж не один, надо Кузнецова спросить, а его нет, у него контроль по анатомии...» Но Гришка с ними распоряжался по-свойски. Он и жил у них, нахалом, без спроса, вторую неделю. «Ладно, Митрофан, мы все поняли! Вы человек честный, хотя и робкого десятка. Ну, ничего. Сидите дома и ждите». Утром на другой день Андрей взял извозчика, поехал на Москалевку. Ваничка вынес ему оба цилиндра, связанные вместе, крепко упакованные в рогожу. Тяжесть была пуда два. Отвезли вместе с Гришкой к Блинову, сунули под кровать.

Блинов допытывался:

— А что ж все-таки за вещь?

— Динамит! Бух-бух! — с шутовским видом, подмигивая, говорил Гришка.— Я, я буду спать на этой кровати, нехай уж меня разорвет, леший меня забери! Испугался? Ха-ха! Поверил? Ха-ха, не волнуйтесь, никакой не динамит, а просто железо. Феррум, айзен, ляфер. А вы хорошенький трусишка, Митрофан!

— Я только к тому, что Кузнецова нет... У него контроль по анатомии...

— Вот что, Митрофан, запомните.— Гришка тряс пальцем.— Первый закон всякой революционной партии есть доверие к авторитету и умение подчиняться. Второй закон — презрение к смерти. Это понятно? Не нужно разъяснять?

Блинов сказал, что не нужно, и умолк. За два часа, пока грели чай на спиртовке, болтали и обсуждали первый номер новой революционной газеты «Народная воля», только что присланной из Петербурга, Блинов ни разу взгляда не бросил под кровать, на «вещь», и даже вовсе не смотрел в ту сторону. Все же Андрей решил, что снаряды нужно перенести в другое место, более надежное. Отправляться в Александровск было еще рано, не все необходимое успели достать, нужен был земляной бур, листы цинка, кое-что другое, обещанное Ваничке в мастерских. Андрей должен был ждать, пока Ваничка скажет: «Готово!» Кузнецов, сделавший контроль по анатомии и, видно, мало в этом успевший — отчего был раздражен,— поднял вечером шум: «На каком основании, пользуясь отсутствием хозяина...» Тут Ваничка привел Сашу Сыцянко, сына доктора, который мгновенно согласился взять таинственное железо к себе. Пожалуйста, у них есть недостроенный флигель и можно хранить

что угодно хоть полгода. Потому что работы возобновятся только весной.

Кажется, и он, и Блинов с Кузнецовым думали, что в рогожу упакованы части типографского станка. Саша забрал «вещь» и увез. Гришка в этот день уезжал ночным поездом в Москву. В столовой у Заславской устроили что-то вроде прощальной закуски. Опять были споры о терроризме.

Саша Сыцянко, самый юный и, как казалось Андрею, самый чистосердечный народник, с напряженной бледностью на безусом гимназическом лице давал, черт возьми, свое согласие на политическое убийство, но с одной — да, да, единственной, но крайне важной! — оговоркой:

— Жизнь за жизнь. Человек, который убьет, обязан и свою жизнь отдать: добровольно предоставить себя в распоряжение врагов. Это будет справедливо.

— О какой справедливости вы говорите, имея дело с правительством палачей? — кричал Гришка, распаляясь.— А с нами проявляют хоть малейшую справедливость? За что повесили честнейшего Лизогуба? За что казнили Горского, Бильчанского? Виттенберга и Логовенко? Ого, вы хотите быть джентльменами с бандой убийц!

— Тем более что ваше условие неотвратимо,— сказал Андрей.— Каждый, кто идет на террор, обрекает себя на смерть. Мы все это знаем.

— О, нет! Сила в том, чтобы отдать себя сознательно, а не просто потому, что тебя выследили и схватили.

— И не каждого хватают, к счастью,— заметил Блинов.— Вы же, Биконсфильд, слава богу, живы-здоровы!

Гришка от неожиданности замер с открытым ртом, желая что-то сказать. По-видимому, он был под хмелем, потому что был красен, говорил громко и скоропалительно, до пузырей, а тут — услышав этакую внезапность — как будто мгновенно на глазах протрезвел. Ведь никому из молодых не было в точности известно, что Гришка стрелял в Кропоткина, могли лишь догадываться, но говорить вслух было запрещенным приемом и нарушением правил конспирации.

Гришка спокойно сказал:

— Вы тоже, слава богу, живы-здоровы, Митрофан. О себе я могу сказать, почему я жив и здоров. Потому что моя рука еще крепка и умеет держать оружие.— Он

вытянул перед собою костистый рыжий кулак.— И пусть еще послужит революции.

Андрей сказал: жизнь за жизнь было бы чересчур начетисто, нас слишком мало. Однако Саша Сыцянко не унимался. Каким же иным путем снять кровавую тяжесть? Гришка вскипел: ах так, вы хотите делать революцию на основе моисеевых заповедей? И это в то время, когда главный российский деятель сегодня — палач Фролов? И — загремело, покатилось. Все те же pro, те же contra. Господи, как эта шарманка наскучила! Никто из них (кроме Гришки и Старосты) не знал, что спорить поздно. Через день или два завернутые в рогожу мины, которым назначено перевернуть судьбу России, а может быть, целого мира, поедут в вагоне третьего класса в Александровск.

Обрушилась осенняя непогодь, холода, дожди. Потоки воды катились с высот в низины и наполняли грязью громадный овраг, где нужно было лежать недвижно, как в гробу, выжидая. Будто кладбище, затопленное наводнением. Гробы плавают в холодной воде, в черном предзимнем мраке. Ведь всю работу приходилось делать ночью. Днем спали, болтали с хозяевами, играли с собачкой, дулись в карты, бегали по множеству важных дел насчет устройства кожевенного завода, сыромятни, шорни, покупки лошадей и телеги у извозчика по фамилии Шампанский, а ночью в могильной темноте ждали нужной минуты. Яшка Тихонов оберегал с одного бока, со стороны Лозовой, Ваничка — со стороны Александровска. Сверлить насыпь буром и закладывать мины он обязан сам. Его дело! Одно худо — ночью плохо видел. И вообще-то зрение за последние годы ухудшилось, а в потемках совсем никуда. Несколько ночей прошло, пока научились — и он, и Яшка с Ваничкой, у тех глаза хорошие,— находить свой овраг, а то плутали. Одну ночь всю проплутали, так и не нашли, вернулись домой, к Бовенкам. Баска привычно ужасалась: «Мать моя! Страхи!» Возвращались в земле, в грязи, во всем мокром. Печь топилась круглые сутки, чтоб платье сушить. Ночи две, а то и три ушли на укладку провода: от проселочной дороги, ведущей из Александровска в деревню Софиевку, параллельной рельсовому пути и саженях в полутораста от него, нужно было тащить к оврагу, нырять вниз, по дну, карабкаться склоном наверх, к насы-

пи. Как будто нехитро, да ведь кромешная тьма, и немыслимо не только фонарем посветить или спичкой фукнуть, но сделать самомалейший шумок, скрип. Сторожа ходят беспрестанно. Шут их знает, отчего такая подозрительность? То ли что-то почуяли, то ли обыкновенный перепуг, не утихающий после соловьевского дела. А может, чья-то выдача, туманная, издалека? Потому что если б прямое указание, весь бы Александровск затопило синими мундирами и шпиками переодетыми, но ничего не заметно. Все тихо, только вдоль дороги шныряют. Еще вот какой перепуг: дожди. Вода, заливавшая овраг, несла всякий сор, ветки, комья земли, все это забивало трубу, проложенную в насыпи для стока, получалась пробка, в овраге образовывалось озерко, вода поднималась, пропитывала насыпь и разжижала грунт. Возникала опасность катастрофы, насыпь могла попросту расползтись, как было недавно где-то, газеты писали: рельсы разошлись, вагоны попадали под откос, их засосало грязью, люди погибли. Боясь такой истории, начальство посылало рабочих с фонарями осматривать насыпь и трубу. По четыре, по пять раз в ночь обходчики появлялись вблизи оврага, проходили, мелькая фонарями, переговариваясь,— дождь хлестал, сквозь шум было плохо слышно, да, верно, никаких особых разговоров, а просто ругань, проклятья ноябрю, дождям, начальникам,— а трое лежали на дне оврага, в сырой черноте, замерев, не дыша. И тела их, как насыпь, пропитывались водой, становились жидкими, готовы были расползтись.

И вот — ждать минуты... Промежуток между проходами сторожей был часа два, но кроме сторожей вдоль полотна ходила вооруженная охрана, переодетые жандармы. Этих не интересовали коварства природы, неисправности техники, их занимало одно: злоумышляющее человечество. Ночью узнать сих господ, отличить их от дорожной челяди было трудно — тоже с фонарями, с руганью,— но днем они дважды попадались на глаза, и по бритым рожам, долгополым плащам сразу было видать, что за публика. Говорят, ведомство Дрентельна разбросало их по всему пути от Симферополя до Москвы. Сторожа, жандармы, какие-то случайные путники, бредущие бог весть куда по шпалам, да проезжающие поезда — все было помехой, заставляло ждать, ждать, ждать. Лежали, ждали. Теперь оставалось: заложить цилиндры в пробуренные в насыпи дыры. Телега стояла

на проселке, далековато, а подъехать ближе никак нельзя, нет дороги. Пронесли снаряды в овраг и ждали. Вчерашнюю ночь всю прождали впустую, не удалось, то одно, то другое, как назло. Отчаянье брало, силы падали. Неужели же из-за какой-то едунды, случайного пьяного дурака? Вдруг налетала дикая, секундная бесшабашность, помутненье мозгов: «А, была не была!» Тянуло рискнуть, поползти. Терпенье обламывалось, конец, невозможность, но — лежали не шевелясь, ждали. Снова ждали, ждали, медленно превращаясь во что-то сырое, бесчувственное, нечеловеческое. И так, не дождавшись, перед рассветом потащили снаряды назад к телеге и поехали домой.

Еще одна ночь: снова на телеге дотрюхали до оврага, потащили цилиндры, тяжеленные, пуда два, держали их бережно на руках, как детей, чтобы не рвануло ненароком — в темную глубь оврага. Ваничка пополз вправо, Яшка — влево. Лежали, ждали. Ждали и ждали. Больше нечего: ждать.

И в этом ожидании, беспроглядном, изнуряющем, как тяжелый дурман, возникали мысли. Возникала, например, такая мысль: вся жизнь есть ожидание смерти. Но мы не замечаем. Ожидание глубоко внутри, в недрах нашего существа, когда же оно поднимается из глубин, и заполняет, и охватывает — смертельное ожидание,— тогда это уже почти наступившая смерть. Ожидание смерти есть смерть. Последнее, что видел: в черной жидкой грязи склон оврага. В секунды густейшего дурмана, полной омертвелости сознания представлялось, что он уже там, за земной гранью, и на все это — на грязь, дождь, холодный ветер, даже на дрожание собственных стынущих рук и колотье зубовное — гляделось откуда-то о т т у д а, из т е х пределов. Потом были другие секунды, когда он как бы опоминался и думал завистливо и с тоской: почему же я не умер? Ведь так бы просто умереть в ту, давешнюю секунду, когда возникло полное ощущение смерти. И было бы тихо, легко. Но — невозможно, потому что нельзя. Ничего не сделано для смерти. Нужно ждать, ждать.

На исходе ночи минута пришла, Ваничка сполз по склону, схватили вдвоем, потащили. Было сделано быстро. Ваничка так ловко помогал, перехватывал. Но со второй миной — ее место пробурили саженях в тридцати от первой — едва не случилось несчастья. Вдруг показался сторож, почему-то шел в одиночестве, без фона-

ря, поэтому заметили поздно — Яшка заметил,— пришлось выволочить наполовину засунутую мину из дыры, спуститься под насыпь. И там лежали, вжавшись в землю, боясь дышать. Спасло то, что ветер внезапно усилился и вместо дождя повалил мокрый снег. Эта ночь оказалась удачной: заложили оба снаряда, и Ваничка соединил их проводом. Теперь последнее: от второй мины протянуть провод по дну оврага к дороге. Но это уж легче, куда легче! Главное позади. Нужен был день отдыха.

Баска мыла, стирала, сушила, гладила, мужики таскали воду, кололи дрова, но все равно — отдых. Напряженье спало. Можно было почитать Гоголя, или «Кожевенное производство», или же газетку: перечитывали передовую с эпиграфом «Delenda est Carthago!»[1]. Писал Тигрыч. Лучше его никто не напишет. Еще занимала мысль, что рядом Хортица, старинный запорожский лагерь,— было б время, съездить туда, поклониться развалинам казацкой вольницы. Ни Ваничка с Яшкой, ни Баска ничего толком о сечевиках, об их великой праведной жизни, их славе и разорении не знали, и он рассказывал, благо недавно, весною в Одессе, читал с наслаждением Антоновича и Костомарова. Вольность всегда была высшей и благодатнейшей ценностью на этой земле. Никаких цепей не желало терпеть казачество: ни государственных, ни божеских, ни атаманских, ни семейных. «Ты, Баска, напрасно мечтаешь. В Сечь тебе бы не попасть, туда женщин не допускали. А если какая пробиралась: смерть ей!» И как же вышло, что на самой вольнолюбивой земле утвердилось самое гнусное самодержавие, которому по жестокости нету равного в мире, а из казаков — первых бунтарей и рыцарей свободы — образовались самые верные защитники этого деспотизма? Не сразу, не сразу, надо думать. Века протекли, дело творилось медленно, но вот нынче — так, упрочилось, кованой тяжестью припечатало к земле прошлое, будущее, стремленья, надежды. И уж не казакам теперь, не Разину с Пугачом отслонить и сдвинуть. Один выход: взорвать...

Вечером пришел со штофом водки приятель, биржевой извозчик Николай Афанасьевич Сагайдачный. Ваничка с Яшкой быстро исчезли, они жили в другом доме. Вовсе отказаться от угощения было нельзя, но и

---

[1] Карфаген должен быть разрушен! *(лат.)*

пить немыслимо: ночью работать. Руки станут дрожать, внимание ослабнет. Что делать? Для отвода глаз выпил две рюмки, Баска помогала тихонько (Николай Афанасьевич был уже захмелевши, не замечал), пели песни, хозяин дома, Бовенко, оказался тут же, «пришей-пристебай», у даровой водочки, и получилась полная кутерьма до полуночи. Да тут еще Николай Афанасьевич стал проситься на ночь, не то что проситься, а попросту, по-казацки, повалился на пол: «А ну ее, бисову жинку...» Поругался дома и не желал возвращаться в хату. Это уж была громаднейшая опасность. Ночь терять невозможно, каждую минуту мог нагрянуть из Симферополя Пресняков и объявить: завтра! А еще провод тянуть от второй мины через овраг.

Честно говоря, не верилось, что может быть «завтра», дней пять в запасе еще как будто оставалось. Стал Бовенко трясти:

— Ради Христа, забери ты его отсюда! У меня баба молодая, ей при чужом мужике стеснительно...

— А баба у тебя ладная.— Бовенко кивал понимающе.— Замучила?

— Ну!

— Эге, видать же: как огарок стаял, одна борода торчит...

Кое-как Сагайдачного спровадили на другую половину, там он захрапел, но Бовенко, странный малый, с каким-то особым, дурным интересом к тайной стороне жизни, не уходил, нес околесную, хохотал, подмигивал, выспрашивал. А приходилось делать все честь по чести: стелиться вместе, на одной лежанке. А то обнять, и шлепнуть, и на колено посадить при пьяном госте. Бовенко, ирод, смеялся:

— Ах ты, молодая, ты ж его и заездила! Без тебя приехал, такой бугай здоровущий, а нынче, гляди — мослы да кожа, один статуй остался! — Рыготал, довольный.— Ну и зла ты, мать!

— А с вами, дураками, так и надо: все соки из вас тянуть, чтобы глупостев не было...

Баска отвечала лихо, находчиво. И никто бы не сказал, что эта простоватая купчиха, белобрысая и скуластая жительница какой-то северной глухомани, знает французский, читала Спенсера, Милля. Бовенко, уже сильно окосевший, норовил незаметно — ему казалось! — ущипнуть Баску за мягкое, но получил хорошую

плюху, вполне в духе Марии Петровны, отчего едва не слетел с лавки. Пришлось его, не думавши, вытолкать из горницы, он не сопротивлялся, только бормотал как будто с восторгом: «Ну баба, ну здоровуща!» Задули свечки, легли, ждали часа полтора, пока за стенкой не установилась мертвая ночная тишь. Разговаривали шепотом.

Он чувствовал, как женщина прикасалась к его руке своей рукой. Это было как всегда, как обыкновенно. Женщины тянулись к нему. От волос Баски пахло печным дымом. Это было как когда-то давно, как в другой жизни, но теперь одна страсть иссушала его: сделать так, чтобы за ночь все закончить. Ведь укладка провода должна пойти быстрее. Не так, как в первые дни, теперь есть опыт, сноровка. Баска что-то рассказывала о себе: отец был сельский священник в Уржумском уезде, в селе, и не выговоришь вотяцкого имени, Тумьюмучатском. Девушки рожали детей до свадьбы. И чем больше у девушки детей, тем она лучше, завидней: значит, хорошо способна к деторождению. Верили в домовых, водяных, леших. В иных лесных деревеньках — отец рассказывал — гостю непременно предоставляли жену. Да вообще: тьма, муть, серая призрачная жизнь. Тумьюмучать! Надо ж придумать: родиться в селе с таким названием. Потом училась в Вятском епархиальном училище. И удивительно: сколько же людей пришло в революцию из священнических семей? Множество! Вспоминали: Коля Кибальчич, Грачевский... А из харьковчан: Буцинский, Кузнецов.

Он подумал о себе, вспомнил деда. Ведь вот что: умереть, пострадать. Это же евангельское. Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих. Он сжал маленькую руку женщины и почувствовал ее тепло, и преданность, и готовность, и подумал: да, да, кроме всего, кроме высоких причин, научно обоснованных поводов, величайших закономерностей есть еще простое искушение — душу свою за друзей своих. И если бы не было друзей... Вот этой теплой ладони, в которой пульсирует нежная сила и вера, и там, на севере, не было бы другой женщины, не было бы Дворника, Семена, умного Тигрыча, Морозова с его стихами, Степана, Сашки, да всех, всех, их мало для страны, но много для одного человека, а без них — не было бы ничего. Это, может быть, страшно: но не было бы ничего. Умирать нужно ради кого-то, для кого-то. И учитель из

Назарета, не будь у него учеников, не нашел бы силы для подвига.

Наверное, он очень сильно сжал руку женщины.

В окно постучали тихим, условным стуком. Была черная, дождевая ночь, и, выйдя на крыльцо, он не увидел Ваничку в трех шагах. Тот потряс его за локоть, и они пошли: Яшка впереди, за ним Ваничка, он последним. В эту ночь обнаружилось ужасное дело. Дожди размыли почву, оголили провод. Особенные разрушения сделались на дне оврага. Местами там нарушилась изоляция. Это была почти катастрофа. Всю работу по укладке провода нужно начинать сначала! На миг их охватило отчаянье. Они сидели под дождем, без сил — от смертной тоски — и ругались шепотом. Решили тянуть провода не по дну, где накапливалась вода, а по краю оврага. Работали всю ночь и всю следующую ночь. И тут возник Пресняков с сообщением, что царский поезд надо ждать каждый день. Он привез деньги, полученные в Крыму от верных людей. Сказал, что тут же возвращается в Симферополь и чтобы ждали условной телеграммы: какой поезд взрывать. Пойдут два поезда, каждый с двумя паровозами, надо знать, в каком царь. Свита едет в свитском, царь в царском, но царь может переходить из одного в другой. Теперь уже не оставалось ни дня, ни часа. Все должно быть готово. Пресняков уехал. И как на беду, выпала такая неистовая бурная ночь, с 14 на 15 ноября, что, провозившись полчаса, увидели безнадежность, ураган валил с ног, опрокидывал, рисковали порвать провод, и — едва доползли до хаты. Наступили часы лихорадочной, бессонной жизни. Другая ночь была потише, но теперь появилось то, чего не было раньше: страх. Почему-то стало казаться, что их выслеживают, они преданы, окружены, с минуты на минуту из темноты выскочат жандармы. Кто мог их предать? Глупости, больной вздор, но страх — особый, не за себя, за других — не пропадал.

Страх был такой: он боялся, что обознается, примет подходящих в потемках Яшку или Ваничку за сторожей и выстрелит. Отступать и прятаться было теперь невозможно. Да и нервы уже на пределе. Поезд мог быть завтра. Завтра, завтра! В ночь на шестнадцатое чуть не застрелил Яшку: тот чересчур прытко перебегал овраг. И на рассвете шестнадцатого все было наконец сделано: провода протянуты ладно, скрытно, два кончика их придавлены камнем, на своих местах лежали цинковые

листы и в норах под шпалами покоилось в медных панцирях божество, deus ex machina[1], обязанное в нужную секунду перевернуть судьбу России.

Вечером приехал черный, обросший бородой, со своим застылым, проваленным взглядом Андрей Корнеевич и сказал: «Восемнадцатого утром».

Когда Гришка Гольденберг в конце октября приехал в Москву, тамошний подкоп был сделан наполовину. Гришка поселился в доме, где под фамилией Сухоруковых жили Гартман с Сонечкой Перовской. Сонечка давно нравилась Гришке. В январе, когда готовилось убийство Кропоткина и Гришка метался между Киевом и Харьковом, он останавливался в Киеве на Ивановской улице, на квартире Сонечки. Там было подобье клуба. Сонечка нравилась тайно, глубоко: и тем, что беленькая, юная, подросток, и тем, что отец знаменитый губернатор, и какой-то скрытой, необычной силой, он ее чувствовал. Нельзя не чувствовать. Такое странное сочетание: детскость и сила. Все было невысказанное, мучившее, а снаружи — шуточки, дурашливость. «Сонечка, ты мне подаришь свои лобзанья, если я что-нибудь совершу?» — «Смотря что, мой дорогой Давид...» — «Ну, уничтожу какую-нибудь нечисть».— «Только Голиафа. На меньшее не согласна». Так вышло, что после того, как он уничтожил своего Голиафа, прошло почти полгода до их встречи, и изумление от подвига — ведь было решительное изумление, всеобщее, громовое! — несколько поутихло, заслонилось другими событиями, новыми целями. «А как с обещанным лобзаньем?» Разумеется, шутки, глупости, милая болтовня в паузах серьезного разговора. И она тоже отшучивалась, но, боже мой, как бесстрастно, с какой тупой детской непорочностью! Нет, по-видимому, слухи о том, что женщина в ней не то что не проснулась, но даже и не ночевала, были, как ни грустно, справедливы. Остаться равнодушной к такому парню, как Гришка! Он и герой, и ростом высок, и выпить может, как русский извозчик, и песни поет, и на любое дело удал. Говорили, что она фанатик. Да ведь все фанатики. А кто не фанатик? И все же, зная обо всем и ни на что не надеясь, тянулся в Москву, к Сонечкиному делу, непобедимо. Никому не говорил

---

[1] Бог из машины *(лат.)*.

и себе не признавался. Но истина-то была жалкой, стыдной: увидеть Сонечку.

И вот увидел: она теперь маленькая чиновница Марина Семеновна Сухорукова, круглый день у плиты, с совком, с тряпками, над корытом со стиркой. Похудела, лицо обтянутое, глаза блестят. У всех вид замученный. Работа оказалась адская и смертельно опасная. Начинали с семи утра и работали до девяти вечера, посменно, бесперебойно. За день прорывали сажени две. А вся галерея должна быть длиною саженей двадцать. Высота же — всего восемнадцать вершков, двигаться приходилось ползком или на четвереньках. Рыли лопатками, землю вытаскивали на железных листах, которые вытягивали веревкой. Своды галереи укреплялись досками, на пол тоже укладывались доски, но все равно снизу проступала жидкая грязь, сверху сочилось, дышать было трудно, свеча гасла от спертого воздуха. Гришка азартно полез в подкоп в первый же день и хватил такого страху, какого не испытывал, кажется, никогда в жизни. Будто живой оказался в могиле. Душная земляная сырость со всех сторон. Своды галереи потрескивают, шуршат, вот-вот обвалятся, вдруг — ужасающий грохот над головой, все дрожит, дрожат стены, своды, доски, на которых лежишь, и возникает ощущение мгновенной гибели, землетрясения. Проходил поезд. Дорылись до самой насыпи. Гришка чувствовал, как останавливается дыхание, немеют руки: предсмертное состояние. И как тут работали Дворник, Семен, студент Исаев, Гартман не минутами, а часами? Вылез едва живой. Сонечка улыбнулась:

— Стрелять легче? Конечно: прыгнул, дверцу открыл — паф! — и готово... А тут...

Ответить не мог: рот разевал и дышал, дышал. Наконец, отдышавшись, вымолвил:

— Привычки... нету...

Кажется, никто не понял, что дело не в привычке, а в диком страхе. Ведь все могло рухнуть каждую секунду. Недаром Алхимик — Гартман — брал с собой яд, чтобы не мучиться, если рухнет. Дворник и Семен не брали яда. Эти не боялись ни черта, ни дьявола, ни мучительной смерти, но, главное, волею и бесстрашием отбрасывали самую возможность того, что рухнет. Студент Исаев, которого тоже звали Гришкой, работал самозабвенней всех, мог находиться в подкопе долго, как никто. Правда, однажды потерял сознание: поняли по

тому, что не потащил к себе опорожненный железный лист, и Дворник сразу же полез к нему и выволок беднягу. Тогда решили дать ему отдых. Из Александровска пришло от Бориса известие о том, что не хватило проволоки, нужно саженей семьдесят, и с проволокой послали туда Исаева.

Гришка работал на физически тяжелой работе: выгребал землю из подкопа, подавал ее в люк и выносил из люка. Тоже нелегкое дело. Землю сваливали в чулан, разбрасывали по двору. Если б Дворник разрешал хоть рюмочку в день для бодрости! Ничего, кроме чая и молока. И спорить с ним, уговаривать его бесполезно. Да, выдержать искус было дано не каждому: Колю Морозова попросту отстранили от работы по причине слабых рук, Арончика — потому, что ленился. Впрочем, Гришка догадывался, что лень Арончика, и слабые руки Коли, и его собственная непривычка были естественной, хотя, может быть, и бессознательной реакцией на ужас, который охватывал человека в подкопе. В начале ноября пала оттепель, почва размокла, в галерее сделалось настоящее наводнение. Откачивали воду. И новый страх: на улице, над галереей, образовалась промоина, земля грозила провалиться и проезжавший здесь водовоз мог обратить внимание на возникшую странную впадину. Ночью срочно навезли земли, засыпали, разровняли: водовоз, слава богу, на другой день не приехал, и улица утопталась и приняла обыкновенный вид. Каждый день случались какие-то непредвиденные, опаснейшие истории, приходилось выпутываться, и Сонечка опять поражала всех смелостью и изумительным хладнокровием: то являлась вдруг прежняя хозяйка дома с просьбой достать из чулана забытое ею варенье, а открыть чулан невозможно, ибо он до предела набит землей, даже доски вываливаются, и Сонечка разыгрывала по всем правилам театра сцену потери ключа от чулана, так что хозяйка уходила, пообещав прийти в следующий раз, когда ключ найдется, но к следующему разу проклятое варенье будет благополучно добыто; то прежняя хозяйка со своей родственницей приходила утром забрать какие-то вещи и встречала Сонечку, которая возвращалась из лавки с корзиной, полной провизии, и дать хозяйке заметить количество провизии в корзинке, непомерно большое для двух человек, было непростительным риском, и Сонечка под каким-то предлогом не заходила в дом, исчезала; то Гартман забывал

запереть на ночь дверь на кухню, где был устроен люк, и утром притаскивался сосед, болтливый старик, желавший лишь дать совет о необходимости запираться на ночь и при этом всех мучивший: боялись, что он заметит на кухне непорядок, землю. Однако все обходилось. Ждали добавочного динамита из Питера, но получилась задержка, и было решено послать Гришку в Одессу, привезти динамит оттуда, так как из-за дурной погоды император, видимо, морем не поедет. Подкоп был почти завершен, оставалось заложить мину. Тут прибыло подкрепление: Степан Ширяев, главный техник и электрический мастер. Он ведь за границей работал, в лаборатории Яблочкова.

— Что тебе привезти из Одессы, моя крошка? — спрашивал Гриша Сонечку игриво-легкомысленно, как почему-то привык разговаривать с ней. Наверно, то была самозащита. На самом-то деле как-то слабел и трепетал, разговаривая. Сонечка просила привезти чего-нибудь сладенького. Чего бы, например? Ну, варенья. Хорошо, будет варенье. Алхимик шепотом, чтоб Дворник не услыхал, просил привезти вина. Девятого ноября, сумрачным днем, попрощались, уехал.

Через два дня на станции Елисаветград встретил Колю Кибальчича, который направлялся к Борису в Александровск, тоже вез проволоку и спираль. Посмеялись: что, они там проволоку едят, что ли? Кибальчич ехал из Одессы. Он знал все одесские дела и сообщил, что Михайло уже заложил, вероятно, динамит под рельсы. Гришка разволновался: «Надо послать телеграмму! Пусть приготовят к моему приезду, достанут, привезут в город! У меня нет времени! Дорог каждый час!» Одесскими предприятиями распоряжался Кот-Мурлыка, Колодкевич. Решили послать ему такую телеграмму: «Не посылайте напрасно вина, завтра приедет мой поверенный. Максимов». Под этой фамилией значился Коля Кибальчич.

Подъезжая к Одессе, Гришка всматривался во все домики будочников: где-то на четырнадцатой версте обосновался Михайло, «будочник», со своей «женой» Таней Лебедевой. Михайлу не увидел, но фигура Тани как будто мелькнула возле одной будки. И вот — Одесса, тепло, старые друзья: Кот-Мурлыка, Савка Златопольский, Михайло... И — новые, молодые, почтительные, вроде Герасима Романенко, перед которыми сладко было пощеголять и поважничать. Михайло обнаружил

недовольство: не хотел отдавать динамит. Гришка на него кричал. 13 ноября привезли динамит, триста рублей для передачи Дворнику, а также несколько бутылок вина и варенье. Чемодан, в который упаковали динамит, был очень тяжел. Но Гришка, демонстрируя силу, поднимал его на вытянутой руке. Вечером того же дня, тринадцатого, в веселом настроении, ибо считал вправе отметить завершенье первой половины поездки, сел в поезд и покатил в Москву.

А между тем близился срок возвращенья царя из Крыма. Власти все более будоражились. Среди разных мер предосторожности было также строжайше указано пристально наблюдать за багажом. В это наблюдение наравне с жандармами включилась вся железнодорожная челядь: весовщики, носильщики, кондукторы. 14 ноября весовщик станции Елисаветград Полонский наблюдал интересный факт: небольшой чемодан, прибывший в багажном вагоне из Одессы, поражал необычной тяжестью. Полонский доложил станционному жандарму Васильеву. Тот задержал выдачу багажа. Владелец чемодана, потомственный почетный гражданин города Тулы Степан Петрович Ефремов, признал багаж своим, но на вопрос, что находится в чемодане, заметно смешавшись, ответил, что чемодан не его, а принадлежит его приятелю, живущему в Курске, и ключ от чемодана потерян. Странно и скоропалительно бормочущего пассажира — некоторые его слова нельзя было разобрать, и он то и дело сплевывал с губ пузыри — тут же обыскали, нашли ключ. Пассажир, не дожидаясь открытия чемодана, перемахнул маленькую железную оградку, побежал на перрон, через линию, в поле. За ним бросились жандармы, толпа зевак и несколько местных гусар. Бежать было бессмысленно, но Гришка не хотел оставаться в станционном помещении, где сгущалась толпа, его мог увидеть из окошка и узнать телеграфист: три дня назад Гришка давал отсюда телеграмму Колодкевичу.

Жандармский офицер майор Пальшау рапортовал в Третье отделение: «Наконец, Ефремов был окружен, но подойти к нему и взять его не было возможности: кто только приближался к Ефремову, на того он взводил курок своего револьвера и целил в каждого. Таким образом он постоянно наводил свой револьвер и чрезвычайно возбудил против себя толпу народа. Но как-то одному рядовому 7-го гусарского белорусского полка Буригину удалось вырвать револьвер из рук Ефремова,

после чего толпа народа с ожесточением набросилась на Ефремова и стала наносить ему побои, но вмешавшиеся жандармы прекратили это. Однако ж и после сего едва удалось шести человекам связать руки Ефремова и отвести его на вокзал: так был силен Ефремов и к тому же зол, так что даже кусался».

Гришка на первом допросе держался гордо и врал: сказал, что его фамилия Ефремов, он православный, двадцати шести лет. Однако признал, что принадлежит к членам российской социал-революционной партии. (Динамит! Куда денешься?) Сказал, что не стрелял, лишь пугал народ револьвером, потому что был окружен частными лицами, а не жандармами, и не желал лишних жертв. От дачи каких-либо показаний твердо отказался. Майор Пальшау ни о чем не догадывался. Даже о том, что Ефремов еврей: это выяснилось лишь через четыре дня, случайно, во время врачебного осмотра. Утром восемнадцатого ноября, когда Андрей вместе с Ваничкой и Яшкой выезжал на телеге к оврагу, Гришка Гольденберг, насвистывая, расхаживал по тесненькой арестантской съезжей в Елисаветграде, потягивал из бутылки красное мускатное вино (жандарм сбегал в лавку за пятиалтынный), а на душе отчего-то было горделиво, радостно: нет, никогда, ни за что, все увидят, и Сонечка изумится силе духа! Да где, между прочим, доказательства? Динамит еще ничего не значит. Может, и удрать удастся. Из Архангельской ссылки как было хитро, а все же удрал. Чем более опорожнивалась бутылка, тем светлей и радостней делалось в бедной Гришкиной душе. А колеса его судьбы уже катились с горы, набирая разгон — неотклонимо, беспощадно. Из Третьего отделения уже летели во все губернские жандармские управления фотографические снимки Гришки — насупленный, пышно-лохматый, с пронзительным полубезумным взглядом из глубоких впадин-пещер,— и через три дня киевский жандармский полковник Новицкий узнает его, покажет снимок Гришкиному отцу, мануфактурщику Давиду Гольденбергу, и старик, трясясь и белея, скажет: «Да, да, мой Гиршеле», и силы его оставят, а полковник Новицкий, наоборот, почувствует громадный прилив сил и станет бодро распоряжаться...

Император был чувствителен к погоде. Неожиданные смены ветров, перепады температур ощущал болезненно, даже до слабой дурноты и головокружения.

В ноябре стало скверно, начались дожди, погода менялась на дню семь раз: то голубизна, солнце, то натянет с моря туман и сырость, а то дохнет прохватисто, до костей, севером, Петербургом. Надо уезжать, да что-то удерживало. Каждое утро, как всегда, вставал в четверть девятого, выходил в сад, вымокший за ночь, дышащий отчужденно и прощально, иногда на клумбах лежали клочья тумана, было холодно, море внизу белело. Дурак Кох выглядывал из-за дерева. Удерживало вот что: Катя, с нею проще здесь, там невыносимо, разговоры за спиной, презрительные взгляды, вражда, интриганство. И вообще, много гнусных забот ждало в Петербурге. Гуляя, спускался левой аллеей к морю, не слишком далеко вниз, чтобы потом не подниматься, но так, чтобы дворец скрылся из виду, чтоб было одиночество и возможность сосредоточенно думать. Впрочем, Кох все равно торчал где-то в кустах. Но это уж неизбежность: как туман и дождь.

Он думал о том, что старость напоминает правильную осаду. Как бы отчаянно гарнизон ни сопротивлялся, какой бы крепостью духа ни обладал, конец один: холодным зимним днем Осман-паша прибудет на Плевненский редут, чтобы отдать свою шпагу. Лицо турка было черным от унижения. Весь в бинтах, солдаты его поддерживали, почти несли. Вынув шпагу из ножен и протягивая ее: «Я не думал, что заслуживаю такого позора». Да, да, благородные слова и не менее благородный ответ: «Я возвращаю вам вашу шпагу. Храните ее в знак моего восхищения и уважения». Но старость страшна тем, что некому вернуть шпагу. Нет Александра, который мог бы внезапно пожалеть и сказать: «Я возвращаю вам...» Результат этой ужасной войны: он постарел. Никто не замечал, не смел замечать, но он-то знал, как отяжелел, огрузнел, не только могучим телом, но и, что пострашнее — душой. Грозный признак: душевная усталость и лень как раз в той области, где когда-то был радостно неутомим. Третьего дня представлялась прибывшая вместе с Гирсом из Петербурга баронесса Кампенгаузен, свояченица флигель-адъютанта Бера, синеглазая фея, лет двадцати пяти, не более, отчетливо угадал совершеннейшую и мгновенную готовность. Хотя все последние годы после того, как возникла Катя, он постоянно отмечал появление разного рода фей, засылаемых людьми, не оставлявшими глупой надежды перебить Катю одной из этих лазутчиц, он,

несмотря на то что внутренне раздражался и даже приходил в ярость, не упускал случая взять свое. Получал злорадное удовольствие от того, что таким образом наказывал интриганов. Неужто эти люди там, в Аничковом дворце, не могут до сих пор уразуметь, что Катя Долгорукая — не увлечение, даже не любовь, а судьба? Но третьего дня, разглядывая новую фею, ее прелестные стати, ужаснулся тому, что лень и душевное бесстрастие остались непоколеблены: даже на миг не возникло желания отомстить интриганам!

И эта сырость, давящий воздух, круглая рожа Коха, мелькающая в мокром, вечнозеленом... Кофе пил в комнате. Грудь прочистилась, дышать стало легче. Катя накануне тоже кисла, жаловалась на сердце, уехала к себе в Биюк-Сарай и там ночевала. Всегда успокаивала его, когда он говорил о недомогании: «Сейчас это у всех, Сашенька, от погоды, я сама очень слаба. А ведь я моложе тебя на тридцать лет!» Эти простые слова успокаивали. После кофе работал, читал бумаги, последние телеграммы и, как ежедневно по утрам, делал запись в памятной книжке о прошедшем дне. Эти изящные, с золотым обрезом книжечки, специально отпечатанные в типографии Брокгауза, с гравюрами, множеством полезных сведений, нужных чинов и фамилий, явились на свет благодаря Адлербергу, который упорно приставал насчет ведения ежедневных записей: «Ваше величество, каждое ваше слово есть историческая драгоценность. Если бы вы позволили себе ежеутреннее небольшое усилие...» — «А ты подай такую книжку, чтоб удовольствие было записывать. От этого очень много зависит». И верно, книжечки в темно-зеленых кожаных переплетах, с золотым тиснением, оказались так хороши, что он пристрастился всегда держать их на столе перед глазами. Мельчайшим почерком — так, что никто бы, кроме него, разобрать не смог — записал под числом 12 ноября, понедельник: «Вст. в $^1/_4$9. Гулял, сыро, тепло, но мелк. дождь цел. день. Кофе с К. в комнате. (Вчера была Катенька, и кофе вместе!) Раб. В 11 ч. Милютина и Адлер. Гулял, завтр. Обед в 7 ч. Лег в $^1/_4$2».

В полдень с докладом явились Гирс и Адлерберг. Отъезд определился: в субботу. Раньше предполагалось, что отъезд состоится в среду или в четверг, но как раз в четверг, как сообщил Гирс, в Петербурге в военно-окружном суде начнется процесс политических преступ-

ников Мирского, Тархова и других. Тот самый Мирский, что покушался на Дрентельна. Кажется, тут уж остатки всей этой сволочи, последние поскребки, тем нежданней может быть отклик в известных кругах. К открытым злоумышленникам присовокуплен адвокат Ольхин, либеральная скотина, допрыгался, докричался, очень правильно сделано. Приезжать в Петербург во время суда не хотелось, но то было тайное соображение, о котором статс-секретарю и министру двора знать не обязательно. Суд предположено закончить семнадцатого, в субботу. Вот и ехать в субботу. Ах, какая была бы сласть: приехать в чистый Петербург, освобожденный от нечисти! Решительные действия давали заметную пользу. Особенно благотворен оказался августовский указ, согласно которому каждый обвиняемый в политическом преступлении мог быть судим без предварительного следствия, осужден без свидетельских показаний и приговорен к казни без права апелляции. Господа стреляльщики и кинжальщики поджали хвосты. Всю осень об их проделках не было слышно. Но вслед за добрыми вестями, как водится, шло неприятное: в октябре крестьяне волновались в Белоруссии, в Екатеринбургском уезде. Курс рубля в Европе продолжал падать. Началось во время войны и продолжалось, несмотря на все усилия, неотвратимо. Передавали облетевшие Петербург злобные слова Салтыкова: «Еще ничего, если за рубль дают в Европе полцены. А вот что, когда за рубль будут давать в Европе в морду?»

Слыша такие фразы, он с некоторым страхом изумлялся: и эти люди толкуют о конституции! Что же они будут писать и говорить т о г д а? Ведь злонравие и злоязычие захлестнут общество. И первыми будут сожраны как раз те, кто более всех сейчас хлопочет о представительном правлении и свободе печати, например Александр Агеевич: ему-то первому и дадут в морду за непрочность рубля! Только не там дадут, в Европе, а свои, домашние финансисты и правдолюбы. Высказал эту интересную мысль. Затем Гирс вручил давно обещанное — еще с тех времен, как он был посланником в Стокгольме. Наконец кто-то из доверенных людей Гирса сумел купить документ у наследников доктора Эрнста. Стоило немало денег.

Отпустив сановников, тут же с жадностью стал читать.

«Рецепт этот найден между бумагами доктора Эрнста в Швеции, умершего в 1873 году. Он жил 104 года и умер нечаянно, упал с лошади. Секрет этот хранился в его фамилии несколько веков, его дед умер 103 лет, мать жила 109 лет, отец 102 года. Они дожили до этих лет, употребляя поименованный эликсир каждый день утром и вечером по 7 или 8 капель в двойном количестве красного вина, чаю, бульону или жидкого тепловатого рассола. Состав его следующий:

7 унций лучшего лукрутанского алоэс
1/4 лота белой цитвари
1/4 лота генцианы или горчичного корня
1/4 лота лучшего шафрану
1/4 лота мелкого ревеню
1/4 лота белого трута, растущего на деревьях
1/4 лота настоящего венецианского териаку
1/4 лота русской бобровой струи.

Все это истереть в ступке или истолочь, просеять через частое сито как можно старательней, высыпать в бутылку из толстого стекла, влить в нее водки кубовой, пенной, а лучше водки, выгнатой из французского вина, и хорошенько завязать пузырем или мокрым пергаментом, а когда он высохнет, проколоть булавкой, чтоб он не лопнул от спертых газов. Потом поставить бутылку в тени и оставить ее так на 9 дней, слить и снова налить кварту такой же, взбалтывая утром и вечером...»

Дальше на нескольких страницах расписывались благие свойства эликсира, но читать сейчас не было терпения: хотелось скорее поделиться приобретением с Катей! В Биюк-Сарай отправился верхом, на Конкорде, одном из жеребцов, что подарил султан Абдул-Гамид. Сопровождал, как всегда, только один казак. На балконе виллы — небо к середине дня просветлело, вдруг дохнуло теплом — сначала играл с детьми, с Гого и с Оленькой, но девочка капризничала, Катя сказала, что она, должно быть, больна, увела ее, потом вслух читали «Эликсир». Гого слушал с необыкновенным вниманием. Удивительное дитя! Разве могло ему быть понятно стремление к долголетию, не умирать, не исчезать, как можно долее с этой земли — и зрелые люди не всегда понимают глубину этого вопроса,— но мальчик сидел и

слушал, не прерывая. Только появление француза, который приглашал к занятиям, заставило мальчика оторваться от слушанья и уйти с неохотой.

Когда он ушел, Катя заплакала. Было много причин, от которых могли явиться слезы, поэтому он не спрашивал. Последнее время, ближе к отъезду, Катя плакала часто. Их лучшие дни были здесь, в Биюк-Сарае. Даже в Ливадийском дворце, где могло быть счастье, уединение — императрица проводила лето в Киссингене, потом в Каннах, тяжело болея,— даже там не было так хорошо, как в этом маленьком доме, на веранде, увитой цветами, над морем.

К чему эликсир, долгая жизнь, если нет и не может быть полного счастья? Он успокаивал, обещал, объяснял: «При первой возможности...» Четырнадцать лет она слышит эти обещания! Скоро станет старухой, жизнь ей немила, она хочет умереть. А эти старые немки — трехжильные, переживут всех. Да, да, умереть, ей не нужно никакого эликсира долгой жизни, ибо нельзя жить без надежды, а ее надежды иссякли, силы кончились. В отчаянье она говорила неслыханные дерзости, но он не замечал, прощал. Пять лет назад, когда родилась Ольга, после некоторого колебания он издал секретный указ, узаконивший бедных детей: «Малолетним Георгию Александровичу и Ольге Александровне Юрьевским даруем мы права, присущие дворянству, и возводим в княжеское достоинство с титулом «светлейший». Через предков отца, князя Долгорукого, Катя примыкала к потомкам Рюрика, и одним из славных ее предков был князь Юрий, основатель Москвы. Указ для строжайшего тайного хранения был передан генералу Рылееву. И Катя была тогда счастлива, а теперь говорит, что хочет умереть.

Никто из женщин, кроме Кати, в его присутствии не осмеливался плакать, хотя многим, должно быть, он причинял страдания. Даже императрица, страдавшая больше других, из гордости не показывала вида. Катины слезы иногда действовали угнетающе, он раздражался, как-то слабел духом, но сейчас отчего-то был спокоен: тайная радость. Внезапное просветленье неба. Однако через час опять надуло туман с дождем, похолодало. Но Катя уже совершенно успокоилась. Она забывала о собственных слезах легко, и это было одно из изумительных свойств ее полудетской души. Лаской он умел утешить любое огорчение. Теперь она радовалась тому,

что отъезд назначен на субботу: на два дня позже, чем предполагалось.

— Я тебя умоляю, будь осторожен в дороге! Не выходи на станциях, как ты это любишь делать. Помни, что твой главный эликсир долгой жизни — твоя осторожность. Ты такой бесшабашный...

— Можешь быть за меня полностью спокойна. Я никогда не рассказывал о парижской гадалке? В Париже, в шестьдесят седьмом году... Двенадцать лет, это невероятно! Ты помнишь калитку на углу Габриэль и авеню Мариньи? Так вот, парижская гадалка, старая цыганка, предсказала, что я переживу семь злодейских аттентатов.

— Не говори таких страшных вещей.

— Отчего же? Будем радоваться! — Он засмеялся, глядя на побледневшую Катю.— Такой замечательный жизненный простор, еще четыре аттентата в запасе...

Вспомнилось: павильон «Бабигон» в Петергофе, жаркий июльский день, семнадцатилетняя Катенька с ледяными руками, и его собственное странное волнение, и весною этот кошмар, каракозовский аттентат. Потом Париж, Елисейский дворец, она проникала через калитку на улице Габриэль, после шестимесячной разлуки, и вдруг простое счастье разорвалось криками этих мерзких людей «Vive la Pologne!» и выстрелами поляка Березовского, когда он возвращался из Лоншана в одной карете с Наполеоном III. За что они хотели отнять у него жизнь? Именно тогда, когда он любил всех людей, ибо любовь к одной женщине есть любовь ко всем, к человечеству. В трагические минуты она была рядом, близко, и только с нею — единственным человеком — находил успокоение истерзанным нервам. И в нынешнем апреле, после аттентата выродка Соловьева, когда охватила такая смертная, безумнейшая тоска и он не знал куда деться и как спастись, вдруг понял, что спасение только от нее, в ней, с ней: сделав безотлагательное, назначив генерал-губернаторов и дав им полномочия, помчался в Ливадию, в Биюк-Сарай...

В субботу, семнадцатого, в половине третьего дня, император выехал коляской в Симферополь. Все время шел дождь. В Симферополь прибыли в глубоких потемках, часу в двенадцатом, тотчас отправились в Москву. На другой день поступили телеграммы: сын Александр, недавно вернувшийся из путешествия по Германии, болел рожею на ноге. Императрица сообщала о себе ску-

по. Но было очевидно, что улучшения нет. За окном тянулась сырая, темная степь без снега. Мелькали на черном просторе какие-то хижины, блеснула на горизонте излука Днепра.

Было холодно. Наверно, градус мороза. Выехали на телеге часов в десять утра. Ночью мерещилось, мнилось, тысячи мыслей, ужасное нетерпенье, рвался вскочить и мчаться хоть на рассвете, но раньше десяти было незачем и опасно. Яшка и Ваничка ночевали тут же, в хате, храпели без просыпа до утра, а Баска уехала накануне. Остановили лошадь на грунтовой дороге напротив оврага. Все было серо кругом, дул ветер, порывами сеялась водяная пыль, но в отдалении лил настоящий дождь: над горизонтом колыхались темно-серые завесы. Ваничка побежал с лопатой проверить провод. Яшка, возчик, похаживал позади телеги, осматривал, постукивал, потом стал возиться с колесом, сбивать чеку: будто зачем-то надо снять колесо.

До прохода поезда оставалось не более получаса.

Андрей сидел в телеге. И спираль Румкорфа была тут же, на дне телеги, покрытая дерюгой. Андрей чувствовал, что вдруг и окончательно успокоился. Сейчас появится поезд, приблизится, и в тот момент, когда вагоны пронесутся здесь, перед глазами, он сомкнет провода — вот тут, под камнем,— и все будет кончено. То, ради чего столько жизней, столько душевных сил, труда, риска. Какая простота! Сомкнул два тоненьких медных усика — и готово. Через несколько минут он будет убивать. И не только пожилого, усатого господина, но и всех, кто с ним рядом, старых генералов, министров, казаков, лейб-медиков, поваров, лакеев, любовницу, детей. Смерть одного, а значит — и пятнадцати, и двадцати восьми, и сорока трех человек не имеет значения, когда дело идет о жизни или смерти народа. Ведь и тот, кто сомкнет, примет смерть наравне с другими. В ту же минуту или на десять минут позже. Только смертью может быть исправлена эта жизнь. И только смерть, справедливейший суд, установленный природой, может взорвать нагромоздившиеся кругом неправду и зло. Ведь о чем идет речь, боже мой? О справедливости, более ни о чем. Дайте же справедливый мир, справедливый суд, справедливое распределение всего, всего. Народ может выносить какие угодно лишения, но не вытерпит беско-

нечной несправедливости. Ибо нет худшего грабежа. Что же вы натворили, что нагородили на земле, если такой человек, как Андрюшка Желябов, крестьянский сын, студент, мирный человек, любитель Лермонтова и Тараса Бульбы, через несколько минут будет убивать?

Ваничка Окладский между тем бежал, оскальзываясь, по мокрому склону оврага. Провод повсюду лежал хорошо, ничем не нарушен. Не добежав несколько шагов до насыпи, Ваничка, внезапно остановился и подумал: зачем же я тороплюсь? Тут с ним случилось странное. Сердце сильно колотилось, а ноги дальше не шли. Такое бывало во сне. Ноги вовсе не двигались и не держали его: хотелось упасть или хотя бы присесть на землю. С отчетливой ясностью вдруг представилось то, что скоро произойдет: гром взрыва, скрежет, падающие вагоны, вопли множества людей, обезумевших. И — они трое со своей телегой. Куда бежать, где скрыться в голой степи? Никогда Окладский не испытывал такого внезапного, ураганного страха. Он содрогался, его гнуло от озноба, ввинчивало в землю: не мог шагнуть ни дальше, к насыпи, ни назад, к телеге. Но почему же? Зачем же? Его тело, трепетавшее, лишенное ног, окровавленное и почти бездыханное, кричало диким, беззвучным криком, как кричат во сне: я моложе всех вас! Мне еще двадцать лет, зовут Ваничкой, потому что все любят, и жалеют, и хотят мне добра! Разве можно меня убивать? Я Ваничка! Меня нашли на улице, воспитывали у доктора Ивановского, я любил конфеты с цукатной начинкой по двадцать копеек фунт, я бегал, носил, передавал, чинил, возил, ни от чего не отказывался, потому что я рабочий человек, у меня золотые руки, а вы хотите меня убить. Ведь Жорж, и Родионыч, и Верочка Засулич говорили вам, что вы не правы? Зачем же вы, злодеи, делаете неправильно? Нужно сначала — народ, рабочих людей, забастовки, бунты. Нужно общество подготовить! Если перебежать через путь и остаться там, с той стороны, потом сказать, что никого и ничего не знаешь, они не признаются, им смерть, а он еще молодой. Говорят же вам, черти проклятые, упорные: от террора — вред, людям пагуба, нужно бросать, никуда это дело не годится!

И, выкрикивая все это с отчаянной силой, хотя и неслышно, он все-таки подошел к насыпи, к самой мине, и ударил острием лопаты в землю, в провод, потом под-

ровнял, утоптал и побежал назад к телеге. Провод повсюду был хорошо уложен и превосходно скрыт землей. Об этом и сказал Борису. Но то, что он сделал, наполняло его свободой и громадным облегчением. Очень скоро — почему-то раньше, чем думали — показался поезд.

Окладский крикнул весело:

— Жарь!

Андрей соединил провода. Секунда, другая, третья. Никакого взрыва. Поезд промчался.

Некоторое время молчали подавленно, потом стали рассуждать: отчего? Яшка и Ваничка спорили возбужденно, ругались, кричали, но Андрею эти выяснения казались праздным делом. Величайшая неудача, не было сил выяснять. Сказал только:

— Ребята, духом не падайте. Здесь не удалось, в другом месте удастся...

Хотелось сказать им про Москву, хоть как-то ободрить, но — сдержался. Ваничка между тем метался между насыпью и телегой, что-то включал, отключал, проверял то батарею, то спираль Румкорфа, но ясности не было. Кажется, Андрей неправильно соединил провода. И вспомнилось, как весною, когда брал у одесских моряков уроки минного дела, глушили рыбу шашками пироксилина, и однажды взрывом его сильно ушибло, кто-то — кажется, Пимка Семенюта — сказал: «Ты в практическую часть не вмешивайся, ты не исполнитель. С твоими нервами и технической неспособностью...»

Но было одно правило жизни, которое Андрей усвоил: после любого провала, несчастья огорчаться не более трех дней. Продав лошадь, телегу, мебель и объявив Бовенко, что до зимы устроить завода, как видно, не придется, а жить тут без дела не расчет, он покинул этот несчастливый городишко, запорошенный первым снегом: было 23 ноября. Ваничка застрял в Харькове, а Андрей отправился в Петербург. Из газет узнал, что 19 ноября под Москвой состоялся взрыв царского поезда, но и тут неуспех: с рельсов сошел «свитский поезд», где был багаж царя и располагался персонал канцелярии, а поезд с Александром благополучно проследовал в Москву. Отчего так случилось, понять из газет было нельзя. Какая цепь неудач! Промахи Соловьева, полный нуль под Александровском и громадный бессмысленный взрыв под Москвой. Опять газеты трещали о чудес-

ном избавлении. Однако было нечто, разгоравшееся все более, несмотря на неудачи: изумление общества и страх властей.

В Петербурге стояла зима. В маленьком доме на Николаевской улице к рассвету, когда выгорали печи, становилось холодно, дворники скребли тротуары, не давали спать. До полуночи при свечах и занавешенных окнах женщины клеили и надписывали конверты, рассылали по всей России воззвания по поводу взрыва 19 ноября. Александр Первый — Саша Квятковский — достал адресные книги разных городов, оттуда выбирали на авось и слали. Работа шла лихорадочная. И воззвание Андрею понравилось. Сухо, по-деловому: «От Исполнительного комитета».

Это было первое, что Андрей прочитал, приехав в Питер. Напечатано было накануне.

«19 ноября сего года под Москвою, на линии Московско-Курской ж. д. по постановлению Исполнительного комитета произведено покушение на жизнь Александра II посредством взрыва царского поезда. Попытка не удалась. Причины ошибки и неудачи мы не находим удобным публиковать в настоящее время.

Мы уверены, что наши агенты и вся наша партия не будут обескуражены неудачей, а почерпнут из настоящего случая только новую опытность, урок осмотрительности, а вместе с тем новую уверенность в свои силы и в возможность успешной борьбы.

Обращаясь ко всем честным русским гражданам, кому дорога свобода, кому святы народная воля и народные интересы, мы еще раз выставляем на вид, что Александр II является олицетворением деспотизма лицемерного, трусливо-кровожадного и всерастлевающего... Нет деревушки, которая не насчитывала бы нескольких мучеников, сосланных в Сибирь за отстаивание мирских интересов, за протест против администрации и кулачества. В интеллигенции — десятки тысяч человек нескончаемой вереницей тянутся в ссылку, в Сибирь, на каторгу, исключительно за служение народу, за дух свободы, за более высокий уровень гражданского развития. Этот гибельный процесс истребления всех независимых гражданских элементов упрощается наконец до виселицы. Александр II — главный представитель узурпации народного самодержавия, главный столп ре-

акции, главный виновник судебных убийств; четырнадцать казней тяготеют на его совести, сотни замученных и тысячи страдальцев вопиют об отмщении. Он заслуживает смертной казни за всю кровь, им пролитую, за все муки, им созданные.

Он заслуживает смертной казни. Но не с ним одним мы имеем дело. Наша цель — народная воля, народное благо. Наша задача — освободить народ и сделать его верховным распорядителем своих судеб. Если б Александр II сознал, какое страшное зло он причиняет России, как несправедливо и преступно созданное им угнетение, и, отказавшись от власти, передал ее Всенародному Учредительному Собранию, избранному свободно посредством всеобщей подачи голосов, снабженному инструкциями избирателей, — тогда только мы оставили бы в покое Александра II и простили бы ему все его преступления.

А до тех пор — борьба! Борьба непримиримая! — пока в нас есть хоть капля крови... Мы обращаемся ко всем русским гражданам... Нам нужна общая поддержка. Мы требуем и ждем ее от России.

С.-Петербург, 22 ноября 1879.

Петербургская Вольная типография».

Это отлично составленное (писал Лев, его слог!) и мгновенно напечатанное воззвание, которое уже полетело по России, вселяло бодрость: даже из пораженья можно извлечь силу. И сила будет прибывать. Типография работает, вольное слово звучит, значит, партия крепнет, жива! Так думал Андрей в первый день приезда в столицу, в тесной квартирке Марии Николаевны, где встретил друзей. И все же — скрытая горечь, растерянность чувствовались во всем. Преувеличенно рьяно занимались пустяками, клеили конверты, веселились без повода, говорили о несущественном. Вдруг вечером пришла Соня, худая, без улыбки, поглядела странно, как на чужого. И прошел, может быть, час, отпили чай, кто-то собрался уходить, Соня вышла в коридор провожать, и Андрей вышел, и Соня спросила с тихим укором:

— У вас-то что случилось?

Он пожал плечами.

— А у вас?

И она не могла по-настоящему объяснить. Почему-то

были сведения, что царский поезд пойдет вторым, и она дала знак Степану, тот сомкнул цепь, путь взорвало перед вторым, а первый проскочил. Жертв, к счастью, не было. Невинные жертвы — было б совсем ужасно. Кажется, перемена составов случилась под Харьковом, об этом не успели узнать. В этом-то беда: не успеваем узнавать, недоделываем, не учитываем подробностей. Что произошло под Александровском? Какая-нибудь дрянь, мелочь, ничтожная недоделка, а в результате — провал. Мы все еще кружок, а не партия. Нас губит любительщина, романтизм. То, о чем хлопочет Дворник — централизация и тайна,— по-прежнему наше слабое место.

Андрей говорил, раздражаясь против себя. Это были его подлинные мысли, мучившие, но на словах выходило поучительно и свысока, и одновременно: будто бы оправдывался. Все это — от чувства вины. Не мог задушить. А чувство вины — от проклятого, мелкого самолюбия. Почему-то неуспех других представлялся делом возможным и допустимым, а его собственная неудача — невыносимейший позор, катастрофа. Разумеется, все это кипело и жгло внутри, а снаружи — полное спокойствие и даже поучительный тон. Но какое терзанье: ничего не взорвалось! Полтора месяца работы, и какой работы, для этого полного ничего. Соня все понимала, смотрела сочувственно, с какой-то печальной насмешливостью.

— Нет, Борис, нет, нет! Беда у нас одна. Нас — мало...

Через три дня приехал из Москвы Дворник. Наконец встретились. Они были два равновеликих неудачника, два атамана-ротозея. Один проворонил одно, другой — другое. И все же Андрей, конечно, чувствовал себя гораздо виновнее. Ну что он мог поделать с собой? Дворник, как всегда, поразил хладнокровием и деловитостью. Выслушав рассказ Андрея, сразу спросил: куда дели неиспользованные мины? А как поступили с проводом? А спираль Румкорфа? Земляной бур? Затем сказал, что нужно создать комиссию по расследованию причин александровской неудачи. Ох, Дворник, ему бы министром! Никто не умел так блистательно распоряжаться, так четко и мгновенно принимать решения. Андрей почему-то успокоился. Комиссия — прекрасно. Нужно только дождаться главного техника Степана Ширяева, который появится вскоре.

Однако на этих же днях произошло событие, затмившее недавние неудачи: внезапный арест Квятковского и жившей с ним на квартире Жени Фигнер, сестры Верочки. Откуда сия напасть? Александр отличался большой осмотрительностью. Он вел сейчас очень важное — может быть, важнейшее из предприятий «Народной воли» — дело, связанное с Зимним дворцом, которое требовало полной тайны, сверхтайны. Все прочие дела, мелкие революционерские повседневности, которыми постоянно занимались народовольцы, он теперь отбросил и не мог провалиться нигде, а с тем, главным делом было, по-видимому, спокойно, так как из Зимнего никакой тревоги не просочилось. Могла где-то оступиться Женя, ее опыт невелик, и в Петербурге она появилась недавно. Все было неясно. И крайне грозно. Даже не в том гроза, что Комитет понес первую потерю и что погиб для борьбы один из лучших, храбрейших, а в том, что нависла опасность над тем, сверхтайным. Еще досада и в том, что пропала отличная квартира в Лештуковом переулке. Очень удобная, где происходило столько встреч, совещаний и просто дружеских чаепитий. В тот же день едва не погибли еще двое: Морозов и Оля Любатович. Утром к ним на квартиру, на Знаменскую, прибежала Перовская и сказала, что есть сведения (от партионного агента, служившего в Третьем отделении) о том, что у Квятковского должен быть обыск. Может быть, уже был! А у Александра на квартире — бог мой, чего только нет! Требовалось предупредить. Морозов помчался на Николаевскую улицу — это рядом, перебежать Невский — к Марии Николаевне Ошаниной, она ни разу не привлекалась, ничем не запятнана, ее можно послать в Лештуков переулок. Соня и Оля ждали, невероятно волнуясь. Воробей не возвращался долго. Оля Любатович, недавно ставшая его женой, хорошо знала редкостное Воробьево бесстрашие, но одновременно легкомыслие и рассеянность. Не выдержав ожидания, Оля сама побежала к Квятковскому. Со двора внимательно вглядывалась в окно, знака безопасности не видела, но был мороз, окна сильно замерзли, и она рискнула подняться. На звонок поспешно открыли: здоровенный городовой. «Я, кажется, ошиблась? Мне сказали, что здесь живет портниха...» — «Да, да, заходите, заходите, милости просим!» — городовой настойчиво приглашал. Удрать невозможно. Она зашла. В квартире был разгром, валялись бумаги, газе-

ты, куски проволоки, какие-то металлические предметы, каких Оля никогда у Александра не видела. Арест — это начало лавины, камнепад, один камень толкает другой, тот — третий, все грохочет, летит — однажды в Швейцарских Альпах, когда Оля была студенткой Цюрихского университета... Это она вспомнила потом, вечером, когда все обошлось, хохотали, шутили. А тут расхныкалась, как слабонервная дамочка, и, плача, говорила, что муж будет ее ругать. Наконец городовой повел в участок. Когда спускались по лестнице, столкнулись с Марией Николаевной, Оля молча посмотрела на нее, та поняла, прошла на этаж выше. В участке Оля долго путалась, рыдала, обнаруживала ужасную бестолковость, не открывала своего адреса (из страха перед ревнивым мужем), выигрывала время, чтобы Морозов успел узнать об ее аресте от Марии Николаевны и очистить квартиру. Вечером, когда прошло уже часов семь, она назвала наконец улицу и дом, поехали с околоточным. К Олиному изумлению, открыл Морозов. Квартира была чиста, как стекло. Околоточный все же оставил супругов — разыгравших мещанскую сценку в духе Островского — под домашним арестом вплоть до выяснения обстоятельств и под наблюдением городового, но городовому тут же, с морозцу, предложили чайку на кухне, а муж с женой, накинув, что было под рукой, летнее, вышли черным ходом.

Все это рассказывалось поздним вечером на квартире Марии Николаевны, куда пришел и Андрей. Двое спаслись, двое — там, в лапах. Поэтому веселье от рассказов Воробья и Оли было нерадостное. Теперь нужно остерегаться всем. Воробью и Оле непременно уж — затаиться, не показываться несколько дней никуда. «Залечь в камышах», как говорил Дворник. Лучшее место для этого — тайная типография, Саперный переулок, туда и отправили.

О расследовании александровской неудачи думать было некогда, к тому же Андрею поручалось дело, которое вел Квятковский. Он должен был стать связным между Комитетом и тем человеком, который проник в Зимний.

Наконец 1 декабря приехал Степан Ширяев. Его жена Аня Долгорукова, или Нина, как ее звал Степан, только что родила сына, была еще в родильном приюте, и Степан тотчас устремился туда. Пропадал там два дня. Вот уж не думали, что Степан, этот кремневый ниги-

лист, выучсник Чернышевского (вернувшись год назад из Европы, он даже некоторое время, как герой романа, выдавал себя за англичанина, некоего мистера Моррисона!), окажется таким страстным родителем и мужем. Ни первого, ни второго декабря он не был досягаем. Андрей разыскивал его везде. Степан был очень нужен.

Они познакомились летом. Андрей почуял в Степане то же прочное, негнущееся, что отличало их всех: силою Степан не уступал ни Дворнику, ни Семену, ни кому бы то ни было. И еще в нем была какая-то умная доброта, какая-то славность. По-английски и по-французски он говорил не хуже дворянских сынков, а ведь — из крестьян, мать поповна, отец вроде Андреева, то ли управляющий, то ли землемер. Да ведь и Дворника отец — землемер. Все они дети землемеров. Отцы колесили по степям, мерили и перемеривали эту землю, бескрайнюю, безурядную...

И вот сошлись втроем поздним вечером, почти ночью, третьего декабря — Андрей, Дворник и Степан — на Гончарной улице, в меблированных комнатах, где Степан поселился под фамилией Смирницкого. Андрей рассказывал об александровском деле, чертил план. Но иных технических подробностей объяснить не мог, это знал только Ваничка. Решили ждать Ваничку и тогда снова собраться. Ваничка отчего-то застрял в Харькове. Ну хорошо, отложили. Теперь уж все это принадлежит истории и представляет исторический интерес. Был морозный, метельный вечер, за окном валил снег, а в соседнем номере за стенкой гуляли купцы, шумели, плясали, мимо двери с топотом бегали коридорщики, что-то таскали без устали. Потом провели женщин, стали слышны женский смех, пенье.

Сидели вокруг стола, на котором самовар, закуска. Дворник рассказывал: как теперь точно известно, на квартире у Александра были три мины в разобранном виде и магнезиального динамита около двадцати фунтов. Всяких бумаг, воззваний, корректурных листов и экземпляров газеты «Народная воля» множество. Но главная беда — мины. Спастись, видимо, не удастся. Как же произошло? Как будто так: Женя Фигнер дала номер «Народной воли» знакомой курсистке, та показала своей знакомой, а та — приятелю, который вышел сукиным сыном и донес полиции. Черт бы с ним, дело возможное, не угадаешь, но вот что недопустимо: Женя назвалась этой курсистке той фамилией, под ко-

торой живет,— Побережская. Нельзя же такие вещи делать! Это же азбука, младенцу ясно, что — гроб, через адресный стол в два счета находят.

Дворник, как обычно, не просто рассказывал, а — с поучением. Андрей спросил, откуда известно, что случилось именно так. Оказывается, Женя успела через кого-то передать оттуда. Конечно, в отчаянье, убита. Что ж теперь рыдать и плакать? Надо было прежде соображать. Сашу погубили, это как пить дать!

Степан слушал, мрачнея, теребя бороду.

— Жаль и его и Женю...— сказал, помолчав.— Знаете, други, скажу вам честно: никогда не было страха погибнуть. И вдруг сейчас подумал — содрогнулся. Не хочу! Не желаю, не имею права. Как же ей без меня, с мальчишкой?

Андрей подумал: а ему как же? Андрюшке семь. Живет человек, живет женщина, которую любил, и она любила, родные, отринутые навсегда. Легко ли было? А — нужно, выхода нет, ради них же. И выпрямился злобно.

— А ты особенный, что ли?

— Почему?

— У нас родных людей нету? У меня сына нету, у Дворника — стариков в Путивле...

Дворник сказал:

— А я думаю: нам еще больней жить. У нас родных больше. И не просто родных, а ближайших, на жизнь и на смерть. И когда теряешь — вот Валерьяна потеряли, Лизогуба, теперь Сашу — это как из живого тела, это же кровь своя...

В дверь стучали. Степан подошел. В чуть приоткрытую дверь — Степан ногу поставил, чтоб не открывалось шире,— гудел голос, как видно, соседа, гуляки.

— Ваше степенство, дозвольте ублаготворить, так что премного обяжете...— Голос был невнятный, но крайне просительный. Кажется, приглашал на выпивку. Степан отказывался. Купец бубнил настойчиво, переходил на шепот, не отступал. Степан силился закрыть дверь. Наконец закрыл. Купец за дверью гаркнул зычно:

— Федька, дюжину! Дела-ай!

Беготня, топот, женщины хохотали, упало что-то и разбилось со звоном, стеклянное. Гости вывалились в коридор, мужские блажные голоса то ли пели, то ли орали хором, непонятно.

Степан замкнул дверь. Сидели минуту-другую, прислушивались. Пьяная ватага поволоклась из коридора назад, в комнату: вино там осталось, в коридоре только плясать. Стало немного тише. Женщина визжала пронзительно. Потом опять топотня, пляс. Дело подвигалось к большому скандалу: в коридоре послышались другие, непьяные разговоры, хлопали двери, кто-то надсадным голосом крикнул: «Околоточного позвать!»

Андрей усмехался.

— Ради этих пьяных харь и стараемся. Для них же...

— Не только,— сказал Дворник.

— Им дорогу торим, чертям чумазым. Всех передушат, и нас, и врагов наших... Они только силу набирают, только еще в нумерах да в полпивных бушуют, а как мы им свободу дадим? Они же из России полпивную сделают.

— Ну и лучше,— сказал Степан.— Полпивная-то лучше, чем тюрьма.

Прошло некоторое время, вдруг с ужасающим грохотом забарабанили в дверь. Дергали с такой силой, что дверь ходуном ходила, с потолка сыпалось. Степан сжимал кулаки, подходя к двери.

— Сейчас дядю успокою.

— Только тихо! — посоветовал Дворник.

— Покорнейше просим! — раздавались крики из-за двери.— Ваше степенство! Сделайте нам удовольствие! — Дверь трещала. Были еще какие-то вопли, дикие и невразумительные, но с оттенком мольбы. Кто-то прокричал в щель между створками дверей довольно внятно: — Мадамы про-сют!

Степан стоял в задумчивости, не зная, как поступить. Дворник сказал:

— Не открывай, ну их ко псам.

Не открыли, стихло, откатилось. Вновь тот же голос требовал позвать околоточного. Купцы продолжали бушевать, но не в коридоре, а в комнатах, что было несколько выносимей. Сколько же деньжищ кидают на дрянь, на ветер! А единственная на Россию вольная газета сообщает: получено от неизвестного лица 5 руб., от господина Б. 10 руб., от друга 3 руб. 50 коп. Скуповаты православные. Вся Россия глядит, какой бой начался, неравный, отчаянный. А помочь? Рублем хотя бы? С интересом глядят, радуются, злобствуют тишком, а все же — со стороны веселей. Вот как эти обыватели коридорные, ведь ни есть, ни спать невозможно, такой тара-

рам, а они — по щелям, как тараканы, на кого-то надеются. Один пищит: «Около-о-точного!» А чего околоточного? Взять этих дуроломов да скинуть с лестницы. Ух, твари постылые, рабье стадо! Неясно было, на кого Андрей в ярости: на гуляк орущих или на тех, по щелям...

Вдруг, когда раздались женские крики и стало похоже, что девок бьют, Андрей рванулся к дверям. Дворник схватил за руку.

— Ты что — с глузду съехал? Сейчас полиция явится...

Дворник рассказал: в Москве после покушения народ валит смотреть место взрыва и домик Сухоруковых, толпы несметные. Решили сделать среди народа подписку на сооружение часовни. Сколько же набрали? 153 рубля! Об этом даже в «Московских ведомостях» писали с возмущением. А возмущаться нечего, привыкнуть надо. Равнодушье неисцелимое: и к царям и к цареубийцам. Другого народа нет. Вот с этим, равнодушным, замороченным и надо делать дело, а они потом разберутся. «Народ жить хочет,— сказал Дворник,— и боится смерти, а мы смерти не должны бояться. Это разница между нами». Посидели до глубокой ночи, все обсудили, выпили весь чай, разошлись в тишине. Купцы угомонились. Обыватели спали. На Гончарной улице лежала крепкая зима. А на другой день ударила страшная весть: Степана Ширяева арестовали ночью.

ЕЩЕ ОДИН ЗАБЫТЫЙ ГОЛОС: СЫЦЯНКО А. И.

Прошло семнадцать лет, но я отлично помню тот день, 22 ноября семьдесят девятого года, холодный, с ветром, сырым снегом, когда я бежал через Николаевский сквер и вдруг наткнулся на Старосту. Я именно наткнулся: он неожиданно вышел из-за дерева. Он был бледней обычного, черная борода взъерошена, вид какой-то нездоровый, измятый. И когда, сняв перчатку, он протянул мне руку для рукопожатия, я почувствовал, что у него рука горячая, как у больного. Мы не виделись недели две. Я знал, что он уезжал куда-то. Тогда, в конце ноября, Харьков опустел, все разъехались кто куда.

— Саша, ты мне нужен,— сказал он после нескольких минут разговора. Мы разговаривали, конечно, о взрыве под Москвой, случившемся три дня назад.

В Харьков только что поступили московские газеты, об этом злосчастном взрыве тогда говорили все.— Кое-что спрятать. На несколько дней. Завтра в полдень зайду?

Фраза была вопросительная, но тон вопроса таков, будто ответа не ожидалось: это было требование, чтоб я сидел дома и ждал. Снова я почувствовал его горячую руку. На этот раз он совал ее для прощания. Он был уверен в том, что слова «ты мне нужен» достаточны для того, чтобы я, не вдаваясь в подробности, немедленно предоставил себя в его распоряжение. Но, боже мой, ведь так оно и было всегда! В первую секунду я испытал нечто похожее на мгновенный страх, но то был не страх, а бессознательное, самозащитное отталкивание от себя чего-то ненужного и неясного, с чем я не мог согласиться. Но и не согласиться не было сил. Все это началось и терзало и мучило меня давно. Главное, что мне хочется сказать: не страх. Никакого страха. Хотя я был тогда совсем молодым балбесом, восемнадцати лет, реалистом последнего класса, но жизнь так сложилась, что я пережил уже много разных потрясений, многим рисковал и на многое покусился. Поэтому то мгновенное отталкивание было вовсе не от боязни за свою судьбу — и не такое проделывал, и прятал! — а оттого, что сомневался и не мог до конца решить. Именно в те дни, в октябре, в ноябре, когда устраивались сходки, понаехали приезжие, и Гришка, и тот бородатый, Борис — теперь-то я знаю, что то был знаменитый Желябов, а тогда Борис и Борис, обыкновенный мужчина, на вид купец, приказчик, в поддевке, в сапогах, но златоуст необычайный, говорить умел часами,— именно тогда я стоял на грани, я чувствовал, что должен определиться, что-то переступить, ибо дошло до порога, но последней решимости не было. Гришка говорил резче и отчаянней всех. Но как раз он производил меньшее впечатление. Хотя я догадывался о его подвиге. В нем все было наружу, все трещало и прыскало наподобие фейерверка, слова «кровь», «месть», «казнь», «суд» так и сыпались, но истинную силу я чуял в Желябове и, честно признаюсь,— силу страшноватую. Однажды он говорил о воле. О том, что человек, обладающий волей, неуязвим. Волею можно победить смерть, даже самое природу, а не то что такие человеческие установления, как государства, правительства. Выходило какое-то обоготворение личной воли. Я спросил: нет ли тут высочайшего эгоизма? Он го-

ворил, что разумно направленная воля не может быть эгоистичной, ибо ее конечная цель — благо всех. Спустя столько лет не помню всего разговора в точности, но смысл такой, что-то в духе модных теорий, и особенно поразило одно замечание. По поводу отца. Дело в том, что больше всего меня мучили отношения с отцом. Я очень любил отца и жалел его. И вот я спросил Желябова, как старшего, как человека, к которому проникся какой-то странной почтительностью: как быть, если моя воля будет угрожать воле близких людей? И не просто угрожать, а смертельно? Ведь убивание бывает не только ножом, револьвером...

Сейчас-то все видишь ясно. Тогда ясности не было, но были предчувствия. А сейчас могу рассказать об отце и обо всех нас как о чужих людях: смотрю будто со стороны. Наш отец был прекрасный, добрый, простодушный, несчастный человек. Он был уроженец Витебской губернии, Осип Семенович Сыцянко, католик, принял православие и был женат на православной, нашей матери, которая рано умерла. Осталось нас четверо: отец, две дочери и я. Сестры были старше. В Харькове отец преподавал в университете, был доцентом на кафедре электротерапии и содержал электролечебное заведение, в нашем же доме. Жили дружно, счастливо, в доме всегда было полно молодежи, друзей моих сестер, студентов, моих товарищей. Отец старался, чтоб мы не чувствовали себя сиротами, без женской ласки: часто приезжала и подолгу гостила тетя Виктория, сестра отца, по мужу Польцгоф, с тремя сыновьями — Сашкой, Витькой и Васенькой, они были помладше, совсем юные оболтусы, такие же, как я, страстные охотники, ирокезы, мормоны, квартероны. Вообще, было шумно, славно! Лучшего и не было никогда ничего...

Отец, правда, был незадачлив. Весельчак, которому не везло. Постоянно в доме не хватало денег, а он затевал какие-то предприятия «пур аржан» [1]. Я будто слышу его небрежно-веселый голос: «Ну, это я делаю пур аржан!» Никаких «аржан» не получалось. То он организовывал какие-то особые платные лекции у нас дома, в лаборатории, то устраивал дешевую кухмистерскую для студентов, тоже в нашем доме. Она так и называлась «Кухмистерская Сыцянко». И то и другое прогорало. Лечебница тоже не пользовалась популярностью. К но-

---

[1] Ради денег *(фр.)*.

вым методам публика относилась настороженно. Появлялись люди безнадежно больные, но отец от отчаяния, а также от природной доброты и некоторого легкомыслия брался их лечить, что кончалось конфузом. В одну женщину он влюбился. Она казалась вполне здоровой, но был один пункт помешательства, один-единственный: она боялась часа, когда зажигаются фонари. Считала, что в этот час должна умереть. Отец влюбился в эту больную не на шутку. Мы были беспощадны. Когда мы поняли, что нам грозит, мы потребовали, чтобы он немедленно прекратил с нею встречи. Мы не смирились бы ни с одной. Вспоминаю все это сейчас и содрогаюсь от ненависти к себе, к сестрам. Какое злобное, детское себялюбие! Но главное зло — позже. Принес его я. Не желая того. Желая лишь одного: уничтожить все зло в мире, всю несправедливость... С Буцинским я познакомился в начале семьдесят девятого года. Занимался тогда химией вместе со студентами, готовился в университет. Буцинский называл себя «государственником». У нас был кружок, который все разрастался. Мы читали нелегальщину, рассуждали о социализме, мечтали, спорили. Было дикое возмущение, когда Кропоткин казацкими нагайками разгонял студентов. Отец пришел домой в гневе: «Это варварство! В цивилизованной стране!» Вдруг — Кропоткина убивают, прямо на улице. Никто толком не знал, чьих рук это дело. Таинственная социал-революционная партия. Наш кружок, может быть, и касался каким-то краем этих людей, но я не знал ничего определенного. Студенты ликовали. Отец был ошеломлен: «Все-таки, согласись, тоже варварство — таким путем доказывать правоту...» Начались аресты. Буцинский исчез из Харькова, передав мне на хранение печатный станок и груду запрещенной литературы.

Станок был неисправен. Я пытался его наладить. Однажды забыл запереть дверь в комнату, кузены зашли случайно и увидели. Они стали моими помощниками. Отец получил анонимное письмо, где говорилось, что я занимаюсь «распространением антиправительственных идей в народе» и что в нашем доме склад книг, газет и прокламаций. Верно, я читал кое-что вслух рабочим отцовской мастерской и лакею Никифору. Анонимный донос написал, возможно, студент Кржеменский, который был репетитором кузенов. Господи, какое все это было мальчишество! Кузены, видимо, по глупому бахвальству проговорились, репетитор — сам недавний мальчишка —

стал приставать к ним, ко мне из чистого любопытства, я не решился посвящать его в тайну, и тут же последовала месть.

Отец потребовал, чтоб я уничтожил книги, газеты, все. Он был раздражен, напуган, к тому же возмущен недавним покушением Соловьева. «Это безумие: считать, что виновен один человек! Какие жалкие глупцы! И это в то время, когда дела мои налаживаются, появились пациенты, мы на пороге удачи...»

Он полагал, что немедленно начнутся репрессии против всех, мало-мальски чем-то запятнанных. А себя после получения анонимного письма он считал как раз таковым. Я укладывал книги в сундучок, чтобы отвезти на дачу, верстах в семи от Харькова, и в это время в комнату зашел отец и увидел — моя оплошность! — печатный станок. Он побелел. «Это что?! Что за мерзость в нашем доме?!» В ярости схватил молоток, стал бить, ломать. Станок, над которым я трясся много бессонных ночей, был уничтожен в две минуты. «На! Получай! — рычал отец, нанося сокрушительные удары.— Миллю! Спенсеру! Берви какому-то Флеровскому! Черту в ступе!» Я испугался, потому что, бросив молоток, он схватился за сердце и едва не упал.

Сестры меня ругали и тоже просили, чтоб я поскорей все увез на хутор. Было много пачек газеты «Земля и воля», журнал «Вперед», прокламации, все я затолкал в железное ведро, а шрифт — в другое ведро, поменьше. Лето я с сестрами прожил на даче. Отец оставался в городе, не приезжал ни разу. В августе он опять ударился в панику и стал требовать возвращения книг, газет и шрифта с дачи, чтобы сжечь все это своими руками. Я привез. Разумеется, не все. Шрифт он расплавил сам в печи кабинета, бумаги сжег. Ему казалось, что дело кончено. Но с сентября начались наши сходки у Яшки Кузнецова, у Митрофана, а иногда у учителя Маныча, о чем отец не догадывался. Мы жили самостоятельной жизнью. Я твердо был убежден, что нынешний экономический и политический строй глубоко неудовлетворителен и долг каждого стараться его изменить. Каким образом? Действовать в народе. Я не стал ходить далеко и приступил к действиям среди близнаходящегося народа: рабочих отцовской мастерской, сторожа Данилы и лакея Никифора. Был в мастерской слесарь Ванюшка, мой ровесник, питерский, сметливый парень: он тоже скоро сделался знаменитостью, как и Желябов. На процессе

шестнадцати осенью восьмидесятого года (как раз через месяц после нашего процесса) этот Ванюшка прославился дерзкой фразой: «Я не нуждаюсь в смягчении моей участи, и если суд смягчит свой приговор относительно меня, я приму это как оскорбление». Подобного геройства я не мог предполагать в этом простоватом, необразованном малом, который если и отличался чем-то, так примерной услужливостью перед старшими, особенно перед «генералами», вроде Желябова и Колодкевича. Много лет спустя в иркутской ссылке я слышал разговоры насчет того, что Ванюшка пускался в какие-то откровенности с департаментом и посему отхлопотал себе ласку судьбы: вместо смертной казни бессрочную каторгу. Было то воистину или же болтовня — не знаю. Ведь говорили о многих. Фантазировали, гадали, предполагали, а то и врали незадорого. Делать-то нечего, ночи длинные, тоска...

Осенью, когда появились на наших сборищах Желябов, Гольденберг, Колодкевич, а потом еще какие-то важные террористы — забыл имена,— я догадывался, что эта компания нагрянула к нам неспроста. Не затем лишь, как объяснял Желябов, чтобы раскрыть нам, юным провинциальным вольнодумцам, суть происходящего в русском революционном движении. Тут дело касалось практики, а не теории. И я чуял, что были люди посвященные: например, Староста, тот же Ванюшка, другой рабочий по имени Николай. Вообще, Желябов, как я заметил, особенно благоволил к рабочим. Был ли я уязвлен тем, что в с е й т а й н ы мне не доверяют? Впрочем, не одному мне: и Яше Кузнецову, и Митрофану Блинову, Кашинцеву, Филиппову, нашему самому молодому, отчаянному Граньке Легкому. Да, конечно, был уязвлен и одновременно боялся и не хотел этого доверия. Боялся не за себя, а за отца, за всю нашу семью, настрадавшуюся после смерти матери. И вот тогда в разговоре спросил Желябова: а если гибель врага повлечет за собой гибель близкого, невинного человека? Он, подумавши, ответил: «А вы готовы принести себя в жертву ради будущего России?» Я сказал, что лично себя — готов. «Так вот это и есть жертва: ваши близкие. Это и есть — вы». Признаться, его ответ показался мне чудовищным софизмом. Но затем я подумал, что и Спаситель на подобный вопрос отвечал примерно так же. Просто я не был готов к непомерной муке. У меня недостало бы сил и мужества превозмочь такую боль. А ему казалось естест-

венным — тут-то и была страшноватость! — отдать в жертву гораздо больше себя.

В ноябре он исчез из Харькова, теперь-то я знаю куда. Он мелькнул на мгновенье в двадцатых числах, накануне моей встречи со Старостой. Я почти уверен, что мысль отдать все причиндалы неудачного александровского дела мне — принадлежала не Желябову, а Ванюшке Окладскому. Потому что Ванюшка работал у отца, знал о недостроенном флигеле, был хорошо знаком со мной, и как раз поэтому — зная, что я страшно боюсь подвести отца,— он не стал предлагать сам, я бы отказался, а подговорил Старосту. Петр Абрамович Теллалов, Староста, был тогда вождем всего нашего подполья. Его все уважали. У меня к тому времени возник взгляд: не противиться террору, но и не заниматься им, а заниматься своим делом, пропагандировать социализм среди рабочих. В начале нашего разговора Староста намекнул на то, что покушение, подобное московскому, было предпринято и где-то на юге, но не удалось. Меня осенило: наверно, есть связь между этим намеком и просьбою что-то спрятать! Я спросил:

— А что именно нужно спрятать?

— Какие-то кинжалы, из Полтавы прислали. Земляной бур, батарею, еще какую-то дрянь...

Он говорил небрежно и с некоторым удивлением смотрел на меня. Ему казалось странным, что я как бы над чем-то задумался. А я просто задумался над тем, что случится с бедным отцом, если все это вдруг раскроется...

— В чем дело? — спросил Староста.— Тебя что-то смущает? Ведь более удобного места, чем ваш недостроенный флигель, нет во всем городе.

— Конечно,— сказал я.

— Значит, завтра в полдень ты меня ждешь?

— Да,— сказал я.

Произнести слово «нет» я не мог, хотя все мое нутро, охваченное предчувствием, говорило: нет, нет, нет! На другой день он привез завернутые в тряпки бур, батарею, спираль Румкорфа, кинжалы, револьверы, провод. Кое-что я спрятал в печке недостроенного дома, кое-что в чулане. Через три дня явился с обыском жандармский капитан. Кажется, мальчишка, сын сапожника, из мастерской Якубовича в первом этаже нашего дома, случайно что-то обнаружил во флигеле и сказал отцу. А может быть, как-то иначе. Может, проговорился лакей Ники-

фор или кто-то другой. Никифор был загадочный человек, очень преданный отцу, но болезненный, истерик, и к тому же подверженный тайному дурному пороку. А Ванюшка Окладский, который спустя год откровенничал с властями в Петербурге, не мог разве слегка, мимолетно пооткровенничать с харьковскими чинами полиции? Ведь у него там были знакомцы. Еще летом, когда Ванюшка работал в отцовской мастерской, его таскали в полицию по делу некоего Коли, тоже нашего рабочего, застрелившегося случайно при починке револьвера. Полицейские знакомства не всегда кончаются безобидно. Отец уже тогда привлекал внимание: какая-то кухмистерская, лекции на дому, сборы, молодежь. Могли Ванюшку попытать, пощекотать и попросить кой о чем на будущее. Не грубо, прямиком, а так, полегоньку, перстами легкими, как сон. Нам в Сибири все эти кунштюки рассказывали. Бог знает, кто подал полиции сигнал! И все покатилось, все рухнуло, жизнь наша переломилась навсегда. Арестовали отца, меня, сестер, всех наших по очереди: Яшу, Митрофана, Граньку Легкого, Маныча, Данилова. Год нас терзали. Сначала держались бодро, потом стали выбалтывать. И даже кузенов притянули к следствию, мальчишек, запугали до слез, и они тоже выложили все, что знали. Кажется, и Никифор много помог следствию, и сторожиха на даче, где я прятал шрифт, и рабочие, которым я читал книжечки... Семнадцать лет! Сначала Верхоленский округ, потом Киренский, потом опять Верхоленский. Отец был оправдан, но не вынес горя и вскоре умер. Сестра Маша поехала за мной в Сибирь.

И вот я вернулся, выжил, сохранил зачем-то жизнь. Сейчас 1896 год. Мне кажется, все в России переменилось: другие дома, другие шляпы, другие писатели, другие газеты. В родном городе жить я не смог. Не узнаю людей, не понимаю, о чем они спорят, из-за чего хлопочут. Мои прежние товарищи, которые добились кое-каких чинов и положения, представляются мне ничтожными обывателями, с кем совершенно не о чем говорить, а я им кажусь, вероятно, одичалым неудачником. Поэтому я переехал в Воронеж. Иногда думаю: а что было бы, если б тогда, в Николаевском сквере, я ответил Старосте «нет»?

В Воронеже Александр Сыцянко примкнул к социалистам-революционерам, был арестован в 1897 году, пытан и мучим полковником Васильевым, который распространил лживую версию, будто Сыцянко выдает товарищей, нервы не выдержали, в феврале 1898 года Александр Сыцянко повесился в своей одиночной камере, как раз в тот день, когда его сестре Марии после долгих отказов разрешили с ним свидание, но он об этом не знал. Надзиратели подбросили в камеру Сыцянко записку, где арестованным давался совет остерегаться его. Мария Сыцянко вскоре была выслана административным порядком в Сибирь, бежала оттуда, снова выслана и умерла от случайной простуды за три месяца до Февральской революции. Почти все товарищи Александра Сыцянко по процессу восьмидесятого года давали откровенные показания, особенно отличались в этом Митрофан Блинов, Яков Кузнецов и юный атлет Евграф Легкий, который сделал попытку повеситься в тюрьме, не выдержав одиночного заключения. Этот Евграф Легкий за убийство надзирателя посредством отломанной от кровати железной ножки был казнен в Иркутске в 1882 году. В архиве на Пироговке находятся две толстые папки «Дела по обвинению доцента Харьковского университета И. С. Сыцянко и других», где на пожелтевших и никому уже в мире не нужных клочках бумаги рассказана вся эта история харьковских полузаговорщиков, полутеррористов, полуподростков, полустойких и полуслабых бойцов за лучший мир, начавшаяся 27 ноября 1879 года, в четвертом часу пополудни обыском в недостроенном доме доктора Сыцянко. В одной из папок, сразу вслед за показаниями Гольденберга, во многом погубившими Сыцянко, имеется конверт с надписью «Вложение». В конверте лежат образцы найденных в доме Сыцянко проволоки и спирали Румкорфа, завернутые в вату. Проволока основательная, хорошо изолированная. Нужен довольно сильный удар, чтобы разрубить ее острием лопаты. Это куски той проволоки и той спирали Румкорфа, которые применял под Александровском Желябов. Телега, «жарь!», проволока, чулан, вата, конверт, папка с толстыми тесемками, Пироговка, август, троллейбус в сторону Лужников...

ГЛАВА ПЯТАЯ

После ноябрьского покушения на царский поезд под Москвой всему миру стало очевидно, что в России началось небывалое единоборство: с одной стороны могущественнейшая власть, с другой какие-то невидимки, загадочные «люди из подполья». Ни аресты, ни казни ничуть не помогали власти. Не находилось концов. Было похоже, что арестовывают не тех и казнят не главных. Напоминало сказку про страшный своей колдовскою силой овсяный кисель: чем больше его едят, тем больше его становится. В лагере императора, по которому наносились прицельные, хотя пока еще не очень точные удары, зарождалось смятение: то возникало тягостное и почти паническое недоумение, незнание что делать и куда бежать, то разжигалась истерическая злобность. Либеральные бюрократы во главе с Валуевым схватились не на живот, а на смерть со своими врагами, сторонниками твердого самодержавия и лечения железом и кровью. Те всю вину за все несчастья возлагали на этих, а эти попросту называли тех изменниками. Все это не могло кончиться полюбовно.

Член Государственного Совета Победоносцев в письмах и устно внушал наследнику Александру Александровичу, что «все эти социалисты, кинжальщики и прочие не что иное, как собаки, спущенные с цепи. Они работают бессознательно не на себя, а для польского гнезда, которое рассчитало свой план очень ловко и может достигнуть его с помощью наших государственных людей...». В декабре, на исходе смутного года, когда еще не утихла дрожь после московского взрыва, Победоносцев писал наследнику так: «От всех здешних чиновных и ученых людей душа у меня наболела, точно в компании полоумных и исковерканных обезьян. Слышу отовсюду одно натверженное, лживое и проклятое слово: конституция... Повсюду в народе зреет такая мысль: лучше уж революция русская и безобразная смута, нежели конституция. Первую еще можно побороть вскоре и водворить порядок в земле, последняя есть яд для всего организма, разъедающий его постоянной ложью, которой русская душа не принимает... Народ убежден, что правительство состоит из изменников, которые держат слабого царя в своей власти. Все надежды на Вас! Валуев — главный зачинщик конституции...»

Надежды на то, что подобием конституции, представительным правлением, то есть введением делегатов от земств в Государственный Совет, можно как-то спасти дело и выровнять грозно шатающееся государство — неурожаи, голод, крестьянские волнения во многих губерниях, забастовки на фабриках, недовольство студентов, недовольство литераторов, удушаемых цензурой,— эти надежды питал не только Валуев, но и военный министр Милютин, и великий князь Константин Николаевич. Составлялись проекты, писались записки, делались представления царю, но царь отвечал одним: он колебался. За исключением тех минут, когда его охватывал гнев, царь пребывал в состоянии колебания. Таков был этот странный сентиментальный характер, неспособный к сокрушительным решениям, к сотворению истории, а умевший лишь подчиняться обстоятельствам. Долго колебался перед крестьянской реформой и решился лишь оттого, что обстоятельства, события, времена выдавили из него это решение; долго колебался перед воротами Царьграда, не зная, вступать ему в город или нет, перекладывал ответственность на главнокомандующего, и так и не вступил, за что Россия поплатилась берлинским унижением; и давно уже, в течение почти двух десятков лет, колебался и трепетал перед сфинксовой загадкой: решаться или нет на робкие конституционные проекты? Как военному человеку, ему казалось, что тут будет некое понижение в чине: вроде сейчас он полный генерал, а станет генерал-лейтенантом. Да и многие неглупые люди, вроде князя Урусова, министра Макова, советовали повременить. Зачем торопиться? В западных странах, во Франции например, учредили конституцию, а беспорядки и анархия лишь усилились, приняли чудовищный образ. Хотя, с другой стороны, одними мерами подавления... Словом, царь колебался и намерен был колебаться долго. Природою колебаний царя была его неизбывная подозрительность. Он не верил никому. Был подозрителен к старшему сыну Николаю, а после его смерти сделался подозрительным к Александру. О генерале Потапове, бывшем шефе жандармов, сказал однажды: «Я, кажется, не сделал ему ничего доброго. За что же он против меня?» Временами эта вечно тлеющая подозрительность вспыхивала с дикой, необузданной силой, и однажды в такую минуту он харкнул в лицо своему старому другу князю Вяземскому, ехавшему в карете и раздражившему царя по-

корным молчанием. Однако, когда князь стал молча стирать со щек следы неясного монаршего гнева, Александр вдруг кинулся к нему, стал обнимать и просить прощения. Сначала было гневно, подозрительно и несносно, потом стало стыдно и несносно, и все это в продолжение минуты. Иногда случалось наоборот. Сперва он простирал объятия и просил прощения, а потом плевал в лицо. Примерно то же произошло с реформами: сначала были праздничные лобызанья, а затем, очень скоро, вспыхнули разочарование и вражда. В памяти России этот царь останется с двумя ликами и двумя именами: Александр Освободитель и Александр Вешатель.

Вернувшись в столицу после московского потрясения, царь обнаружил не панику, а раздражительность. Недовольный тем, что Мирскому заменили смертную казнь бессрочной каторгой, он выместил раздражение на Гурко, петербургском генерал-губернаторе, заметив, что тот действовал «под влиянием баб и литераторов». Ни о каких конституционных проектах не могло быть и речи. Однако миновало несколько дней, царь успокоился, вернее, пришел в обычное свое колебательное состояние и вскоре опять обратился к брату Косте и к Валуеву по поводу их проектов.

Ах, беда была в том, что эти славные борцы за российский прогресс сами колебались не меньше главноколеблющегося! Один из истовейших реформаторов Милютин признавался в разговоре с другим реформатором, Абазой: нет, делегаты от земств не спасут дела, когда вся Россия на осадном положении. А главный либерал Валуев записывал в это же время, для себя самого, сокровенно: «Чувствуется, что почва зыблется, зданию угрожает падение». В нужный момент, на одном из первых, сверхтайных заседаний Особого совещания, когда обсуждался проект великого князя Константина Николаевича, Валуев неожиданно заявил: «Я желал бы знать, какую можно извлечь пользу из того, что скажет по законодательному проекту представитель какого-либо Царевококшайска или Козьмодемьянска?» Все были огорошены этим странным прыжком, этой внезапной переменой фронта, которую приписали личной неприязни Валуева к брату царя, не понимая того, что и тут проявилось бессознательное и необоримое, почти мистической силы, колебательное движение. Все колебались, все обнаруживали дрожание колен, и даже столп

охранительной партии, надежда Победоносцева наследник Александр Александрович, увы, не являл собою образец прочности.

Хотя вокруг Александра Александровича и группировались люди так называемой «партии Аничкова дворца», сторонники жесткой линии и враги всяческого попустительства, но они не столько находили опору в наследнике, сколько старались зарядить его своей бодростью, своими идеями... Наследник перенял от отца несамостоятельность характера, ибо чем больше человек колеблется, тем сильнее на него можно влиять. Кроме того, отношения с отцом были сложны и все более напрягались по мере того, как забирала власть (пока что над царем) княгиня Юрьевская.

И, однако, все сложности, неприязни и разномыслие меркли в этом году перед общей грозой и страшным для всех сверканием молнии: ужасными политическими убийствами. Жизнь непоправимо менялась. Страх становился такой же обыкновенностью Петербурга, как сырой климат. Нужно было привыкать. В апреле, после выстрела Соловьева, наследник записал в дневнике своим неряшливым почерком захудалого гимназиста: «Сегодня мне пришлось в первый раз выехать в коляске с конвоем! Не могу высказать, до чего это было грустно, тяжело и обидно! В нашем всегда мирном и тихом Петербурге ездить с казаками, как в военное время, просто ужасно, а нечего делать. Время положительно скверное, и если не взяться теперь серьезно и строго, то трудно будет поправить потом годами. Папа, слава богу, решился тоже ездить с конвоем и выезжает, как и я, с урядником на козлах и двумя верховыми казаками сбоку».

Привыкали к страху, привыкали к конвойным казакам, а потом к самим покушениям. В ноябре наследник записал вовсе кратко и даже как-то меланхолично: «22 ноября. Вернулся папа из Ливадии, пробыв два дня в Москве, где опять было покушение на его жизнь и взорван был путь под поездом ж. д., но, к счастью, не его поезд, а шедший сзади второй поезд. Просто ужас, что за милое время!»

Невозможность уступить, «пойти навстречу чаяньям русского общества» заключалась для царя еще и в том, что выходило, будто он оробел, поддался угрозам подпольных людишек. Для обыкновенной царской гордости

это было совсем уж insupportement[1]. Да и попросту, как для всякого мужчины, оскорбительно. Другой момент: если б хоть были найдены атаманы тайного комитета, обезврежены главные преступники! Чтоб была уверенность, что вся эта гадость пойдет на убыль, и — тогда с легким сердцем согласиться на некоторые уступки. Как с крестьянской реформой: чтоб была хоть какая-то видимость благотворения сверху, а не действие под напором низменных сил. Но, как назло, легкого сердца царю все не было. Атаманы оставались неуязвимы, главные супостаты неизловлены. До сих пор не найдены убийцы Мезенцева, не пойман стрелявший в Кропоткина, не обнаружена тайная типография, нагло распространявшая листки и газеты,— по точным сведениям, это адово гнездилище расположилось в столице, но полицейские балбесы бьются месяцами впустую! Не пригласить ли умелых людей из Англии? Ни одного человека не удалось поймать и на месте московского взрыва. В чем нельзя отказать преступникам, так это в удивительной ловкости и какой-то совершенно звериной, лисьей хитрости. Случайные люди, залетавшие в сети полиции, не спасали дела. Все это была мелюзга, плотвица. А щуки демонские, черт бы их взял, хохотали беззвучно в своих потаенных логовах.

И вдруг в середине декабря — прекрасная новость. Сообщение из Одессы: в руки властей попал убийца Кропоткина некий Гольденберг, сын купца. Пока что он признался агенту, специально подсаженному в камеру. Получено много подробностей и о московском взрыве. Расследование ведется с громаднейшей осторожностью и возрастающим успехом. Ухватились за конец клубка. 18 декабря одесский прокурор Добржинский, очень хвалимый Тотлебеном и, как видно, действительно не чета петербургским пустоплясам, примчался в Москву с ворохом драгоценнейших сведений, добытых от Гольденберга. Царь хладнокровно радовался: наконец-то! Началось, слава тебе господи! Настроение к рождеству заметно окрепло, и казалось, еще бы какая-нибудь небольшая удача — и можно снова повести разговор об уступках и чаяньях.

А Гришка тем временем, еще в конце ноября перевезенный из Елисаветграда в Одессу, в тюремный за-

---

[1] Невыносимо *(фр.)*.

мок, вел отчаянную борьбу с царскими палачами и сатрапами. На Гришку орал и топал ногами сам одесский властитель Тотлебен, ему грозил револьвером и обещал все гольденберговское отродье сгноить в Сибири начальник губернаторской канцелярии Панютин, очень злобный мужчина, ненавистник, злость из него так и прыскала, обрабатывали Гришку и другие господа, жандармский полковник Першин с помощниками, угрожали, пугали, орудовали кулаками, за волосы дергали, спать не давали, измучивали смертно, но Гришка не сдавался. Заставить Гришку заговорить? Ого, мало каши ели, господа! Не родился еще такой человек, который Гришку принудил бы заговорить насильно. Ничего не дознались, кроме того, что бедный отец подтвердил по фотографическому снимку: да, сын, Григорий Давидов Гольденберг, рожден в Бердичеве в 1855 году. А никаких дел папаша и знать не мог. Истерзанный, но гордый от того, что тюремщики бессильны сломить истинного революционера, возвращался Гришка в камеру, валился на койку, а то, если сил не было, прямо на пол, и тут единственной радостью были слова участия и восхищения друга, Федьки Курицына: «Гришуня, как ты? Живой? Не поддался сволочам? Я для тебя чай берегу, пей вот! Ах, скоты, негодяи, мерзавцы, протобестии...»

Федька ругался шепотом, боясь, что надзиратели услышат. Всего боялся, запуган, измочален тремя годами тюремной сидки: с семьдесят седьмого года он здесь, по делу о покушении на Гориновича. Гришка о нем и раньше слыхал от одесских товарищей. Был Федька весельчак, любитель музыки, пения, учился в Харьковском ветеринарном институте, а теперь сломлен, глаза провалились, голос дрожащий. Ночами не спал, Гришке жаловался: «Уморили меня, с ума схожу... Не выдержу больше... Поговори хоть со мной!» Гришка его жалел, разговаривал. Надзиратели, подкравшись тихо, слышали разговор, стучали кулаками, грозили карцером, одиночкой — ночами разговаривать нельзя,— тогда Гришка и Федька шептались чуть слышно.

Иногда Федька плакал, а иногда отчего-то веселился, как сумасшедший, начинал петь — днем, если вдруг солнце, камера освещалась — из разных опер, даже женскую арию из «Опричников»: «Соловушка в дубравушке звонко свищет...» Гришка очень его жалел. Такой голос чудный, и вот погиб, и человек погиб. Суд над Федькой и его товарищами Костюриным, Дробязгиным,

Витькой Малинкой, Майданским близился, вот-вот, со дня на день. Раздали уже обвинительный акт. Федька истощился и ослаб неимоверно, врач предписал ему больничную порцию и лечение бромом.

Вся Федькина радость была — разговоры с Гришкой. Ведь на три года оторван от жизни, от борьбы! Ничего не знал, ужасался, восторгался: и о покушениях на царя ничего подробно не знал, и об убийстве Кропоткина, и о новой партии террористов, которая образовалась и приступила к делам.

— Боже мой, а я здесь все эти годы! Руки связаны! — шептал Федька в отчаянье.— Ведь вы же замечательные дела творите...

А когда он узнал, что Гришка сам, собственною рукою казнил мерзавца и палача харьковских студентов Кропоткина, его изумлению, радости и преклонению перед Гришкой не было меры. Он только повторял, как счастлив, что оказался в одной камере с таким героическим человеком, как это ему важно, и нужно, и помогает жить и как прибавляет силы. Ну, рассказал Гришка и о московском подкопе, и об александровской мине, ведь и там и здесь Гришкино участие было не из последних, а даже, можно сказать, самое капитальное, так что во всей России вряд ли найдется сейчас человек, более Гришки Гольденберга прикосновенный к революционной кухне. Все самые горяченькие пироги пеклись при его участии. Эх-хе-хе, если б одесские дураки хоть на секунду предположили, какую птичку-невеличку они заполучили в сети! Очумели бы с радости. Только шиш узнают. Никакие пытки не заставят Гришку заговорить...

В начале декабря был суд над одесскими бунтарями, и прекрасные люди Дробязгин, Малинка и Майданский получили виселицу, Костюрину заменили смертную казнь каторгой. Федьке с учетом трех лет тюрьмы назначили административную высылку. Седьмого декабря троих повесили. Шепнул надзиратель. Федька страдал невыносимо: два дня лежал недвижно на койке, лицом в подушку, не хотел ни есть, ни пить. Гришка за него испугался. И опять единственным лечением для Федьки и последней радостью были разговоры ночью.

Тянулись дни, тюремщики от Гришки отстали, утомились, разуверились, таскали на допросы все реже, и днем он молчал, а ночами разговаривал. Федька готовился к выходу из тюрьмы, в ссылку. Администрация

еще не определила места ссылки. Гришка передавал Федьке последние поручения, ибо Федьку прежде ссылки должны были отправить в Харьков, а уж оттуда — в Сибирь. Где-где, а в Харькове у Гришки было полно друзей, домов, квартир, где могли помочь. И вот он снабжал Федьку, давал от души, щедро все, что знал, лучших и закадычнейших, на которых можно положиться, как на него, Гришку: «Во-первых, найти госпожу Заславскую, на Подольской улице, сказать «от Давида»... Во-вторых, Старосту, ему сказать, что с ним, с Гришкой, последний раз кутил... Приветы Митрофану Блинову, Володьке Жебуневу, Яшке Кузнецову, которому надо сказать, чтоб он от него, Гольденберга, отрекался и насчет той сходки, летней, многолюдной, не упоминал нигде... Сонечке Перовской, если она вернулась из Москвы в Харьков, передать горячий привет и лобзанья...»

В начале января Федька уехал. Прощались горько, Федька едва сдерживался, чтоб не разрыдаться. Была одна просьба, от всех арестантов: спеть на прощанье. И Федька запел тонким, высоким голосом, пронимая печалью, потому что три года в этих стенах не шуточки, жизнь обломилась, новая началась, а товарищи остаются.

Соловушка в дубравушке звонко свищет,
А девушка в теремочке слезно плачет...

Гришка слушал, стискивая пальцы. Федька наклонился к нему мокрым лицом: «Гришуня, умоляю: держись, не сдавайся!» — «Да, да, да, да,— кивал Гришка.— Скажи друзьям: да!» Через два дня, 15 января, Гришку вызвали на первый официальный допрос. Допрашивали полковник Першин и одесский прокурор Добржинский. Все было иначе. Никто не топал ногами, не размахивал револьвером, не жидюкал, не хватал за пейсы, отросшие за два месяца. Добржинский, белокурый полячишко, вел себя чрезвычайно предупредительно и даже как бы благожелательно, ничего особенно не расспрашивал, а *рассказывал сам*. По его словам выходило, будто следствию известно абсолютно все. Гришкины товарищи, захваченные недавно в разных местах, признаются и дают откровенные показания. Многие чистосердечно раскаиваются, многие пишут пространные и очень содержательные разъяснения, называя имена, даты, квартиры. Торопятся облегчить совесть, соревнуются

в откровенности, ибо все они молоды и еще надеются честным признанием улучшить свою судьбу, начать жить снова. Гришка слушал, потрясенный. Какие же товарищи? Кто именно? Ну, это не столь важно сейчас знать, суть не в персонах, а в том, что идет громадный, всероссийский процесс распада революционной партии.

И Добржинский опять рассказывал сам: о Липецком съезде, называл имена, клички, о собраниях в петербургских трактирах перед покушением Соловьева, о спорах по поводу орсиниевской бомбы и револьвера, потом о московском подкопе, о планах подкопа под Малой Садовой. Это последнее известие особенно удручило Гришку, подтвердив, что в руки фараонов попал кто-то из близких Комитету людей. Разговор о подкопе под Малой Садовой, по которой царь каждое воскресенье ездит на разводы в Инженерный замок, Гришка слышал мельком в Москве, то ли от Дворника, то ли еще от кого-то, но эта идея была сугубо секретная, высказанная бегло среди верных людей. Неужели, когда Гришка шептал Федьке, мог услышать надзиратель? Мог услышать что-то одно, отрывочное, но не всю же кучу сведений. Значит, верно, какие-то люди попались и выдают. И все же, когда Добржинский, навострив перо, приготовлялся записывать: «От вас, господин Гольденберг, мы ждем совсем небольших разъяснений», Гришка мотал головой: «Нет!»

Теперь было много трудней, что-то надорвалось, какие-то подпорки упали, и даже казалось, что нет смысла упорствовать и молчать, но Гришка, однако, еще долго, недели две, укрепляемый неясным предчувствием, продолжал все отрицать. Добржинский смеялся ему в лицо. Они знали такие подробности о Харькове, каких не могли знать петербургские главари: о Старосте, о Блинове и Кузнецове (эти двое, по словам Добржинского, уже арестованы и полностью сознались), об аптекаре Данилове, который тоже арестован.

Гришка решил, что выдает Митрофан Блинов. Этот парень всегда не нравился. Дворянский недоросток, слабогрудая тварь, ездил в Крым лечить малокровие. Думая о Блинове, приходил в ярость: он, он выдает, собака! Весь харьковский разгром — его рук дело. А остальное? А Москва, Петербург? Вдруг пришла мысль, очень страшная. Кто же мог знать так же много, почти столько же, сколько знает он, Гришка? Да ведь никто другой: только он сам. Он сам и есть. Он и в ы д а е т. Через

Федьку. Вот она, страшная, молниеносная мысль. Вспомнил: месяц с лишним назад, ночью, коридором мимо камеры вели Витьку Малинку, Дробязгина и Майданского, приговоренных к смерти. Витька успел крикнуть: «Товарищи, завтра нас казнят! Отомстите!» Крик так подействовал, разорвал душу, что в ту же ночь Гришка решил убить Панютина. Этот подлец, помощник Тотлебена, считался главным одесским палачом. Убить его собирались на воле, дело решенное, но зачем же, рассудил Гришка, гибнуть силе? Он-то уж все равно погиб. Обдумывал, как лучше сделать: во время допроса или же под каким-то предлогом заманить в камеру. Панютин им, Гришкой, очень интересовался и пришел бы, если придумать, как зазвать. И чем убить. Всю ночь советовался об этом с Федькой. Тот трусил, отговаривал. На другой день явились три жандарма и надели кандалы — на Гришку и на Федьку. Почему? С какой стати? Гришка очень тогда изумлялся и был возмущен. И несколько дней водили на допрос в кандалах, а потом кандалы сняли, допросы кончились. Так что же все это значит, боже ты мой? Ничего еще Гришка окончательно не решил, пока еще только мысль, только догадка, и вдруг улыбающийся пан Добржинский ошеломил новой ужасной вестью: в Петербурге захвачена знаменитая подпольная типография, та самая, что печатала прокламации и газету «Народная воля». Арестована ее редакция, было целое сражение, один из преступников застрелился.

И показывал фотографии: на одной узнал Буха, на другой еврея-наборщика, приехавшего недавно из Берлина, на третьей женщину знакомую, видел ее в Петербурге, имени не знал. И на одной фотографии был Александр Квятковский. Еще фотография: на полу человек, запрокинутое лицо, вздернутые усики, рот ямой. Самоубийца.

— Вы видите: сколько жертв! Сколько молодых жизней! — говорил Добржинский.— Когда же кончится кровавая жатва?

Гришка смотрел на доброе, строгое лицо Александра Первого и вспоминал, как год назад: трактиры, табачный дым, разговоры вполголоса, отчаянные, безумно-веселые, когда казалось, все решится через несколько дней. Мрачно-решительный Соловьев, заикающийся Дворник, молчун Кобылянский и они двое: Квятковский и Гришка. Да, еще шестой был — Зунд! Умница, хит-

рец... Вот уже и Квятковский схвачен. Никого нет. Кто же остался? Соловьев казнен, Кобылянский арестован в августе, Зунд — в октябре, в Публичке, в ноябре Гришка. Один Дворник, дай бог, еще на воле. И ничего не сделано, не решилось.

— Гибнут лучшие, цвет нации, надежда России... Ведь эти люди хотят России добра...— Кто это говорит? Чужим голосом — Гришкины мысли? Странно, горестный шепот и печальное кивание головой производит белокурый господин в вицмундире.— Хотят добра, а творят зло... Несчастное непонимание... Не понимают друг друга, в этом все зло...

И затем так же тихо, сочувственно:

— Господин Гольденберг, вы же прекрасно сознаете, что дело вовсе не в том, чтобы вы подтвердили: да, я убил Кропоткина. Это нам и без того известно. А дело в гораздо более существенном и великом.— Опять понизил до шепота и глазами враспор, глаза в глаза, то в один, то в другой.— Россию спасать надо! Драма происходит грандиозная. На глазах у целого света. А дела никому нет. Ведь нет дела, согласны?

— А когда же свету было до России дело? — сказал Гришка.

— Разумеется, разумеется, вы умный человек, господин Гольденберг, и понимаете мою идею. Кроме нас, русских, спасти нас некому. Должно быть достигнуто единственное: понимание! Власть должна понять молодежь, а молодежь — власть. Остановить эту вакханалию казней, смертей, злобы, взаимного недоверия. Вы думаете, наверху все гладко, единодушно? Вы думаете, там нет людей, которым претят...— зашептал едва слышно,— панютинские и чертковские расправы? Я знаю лиц, очень высокопоставленных, которые приходят в ярость, когда слышат о новых арестах и военных судах. Да что же за несчастная страна! Какие-то болгары, румыны имеют конституцию, финны уже семьдесят лет пользуются благами представительного правления, имея свой сейм, дарованный еще императором Александром Павловичем. И только мы, коренные русские...

— Но почему же эти лица, высокопоставленные...

— В этом и есть парадокс момента: «Почему же?» Да потому, что роковое разъединение! Умные люди наверху и трезвые люди внизу разобщены. Я и говорю, что сейчас главная задача: понимание. Выбить револь-

веры из рук фанатиков и вырвать веревки из рук правительственных палачей, господ Фроловых в генеральских эполетах. Такие честные и умные люди, как вы, господин Гольденберг, осознавшие свои заблуждения...

— Я вам этого не говорил! — крикнул Гришка.

— Ваши заблуждения состояли в том, что вы, так же как и я, стремились приостановить кровопролитие, но применяли для этого средства, открывшие еще большую кровь. Сейчас медлить нельзя! Россия гибнет, истекает кровью, лучшей, молодой кровью, силы уходят, надежды гаснут. Если не предпринять каких-то решительных мер... Имейте в виду, господин Гольденберг, у нас с вами разговор приватный. О нем знают лишь несколько лиц, имена которых называть преждевременно... Если вы станете пересказывать наш разговор некоторым другим лицам, вы принесете большой вред. Но я буду все отрицать, вы ничего не выгадаете. Так что я не советую болтать. Но советую хорошо подумать, все обсудить, взвесить, посмотреть с исторической высоты, ибо, может быть, именно вы — да, да, вы, господин Гольденберг,— сумеете оказать России неоценимую услугу. Вы спасете целое поколение, и, я бы присовокупил, благороднейшее поколение, русских людей.

— Интересно, каким же образом?

— Было сказано выше: необходимость понимания. Необходимость спокойной и полной ясности. Для того чтобы возникло доверие и возможность действовать сообща. В этом никто, как вы,— не будем скромничать, господин Гольденберг,— помочь России не сможет.

Потом были ночи бреда: Гришке представлялись ошеломительные картины. Он является, как мессия, как Иисус, сошедший с небес, он обращается к правительству и к революционерам, какое-то гигантское судилище, там судят всех: царей, министров, жандармов, террористов, сторонников мирной пропаганды, раввина Мишуриса, учителя латыни из Киево-Подольской классической прогимназии, который так больно рвал Гришку за ухо, приговаривая «pro memoria [1]», конвойных солдат в архангельской ссылке, однажды жестоко Гришку избивших, и кончается все величавым хоровым пением, все поют со слезами в глазах. Гришка просыпался, сердце колотилось, он садился на койке, охваченный

[1] На память *(лат.)*.

какой-то шумящей, истомной энергией. В секунды пробуждения с особенной отчетливостью понимал: да, да, его жребий, его судьба, он может спасти тысячи людей, остановить кровавый разгул, дать благо всем, всем. Но никто не должен догадываться о разговорах с Добржинским. Боялся, что надзиратели заметят его волнение. Снова ложился, накрывался, сна не было, шум в ушах, в мыслях не утихал, хотелось двигаться, бегать, выпить водки, все равно какой, хотя бы английской желудочной, держать речь...

Через три дня Гришка признался, что убил Кропоткина.

Декабрь для Андрея оказался месяцем небывалого напряжения. Петербургская подпольная жизнь не шла ни в какое сравнение ни с одесской, ни с харьковской или киевской. Множество людей, квартир, громадные планы, бесчисленное переплетение связей, предприятий, возможностей. В августе Андрей едва хлебнул петербургского житья-бытья, но тогда все только еще разворачивалось, еще шла свара и дележка, народовольцы и чернопередельцы поспешно отъединялись, а теперь одни уже действовали вовсю, а другие, по слухам, собирали чемоданы для бегства в Европу. С утра до вечера Андрей носился по городу, окованному зимой, то скользкому, то сырому, то утопающему в морозном тумане: встречи с людьми в трактирах, библиотеках, на улицах, рабочие окраины, Кронштадт, мастерская Кибальчича, где приготовлялся динамит, типография, редакция, встречи в условном месте с человеком, который под видом столяра проник в Зимний дворец и готовил там большое дело. Это был простой рабочий человек, замечательного бесстрашия, ума и притягательной силы: Степан Халтурин. Год назад Халтурин вместе с Обнорским организовал «Северный союз русских рабочих», более двух сотен человек входило в Союз, авторитет возрастал, выпускались прокламации, устраивались стачки, мощная стачка прогремела на Новой бумагопрядильне. Но в конце лета возникла возможность попасть во дворец под видом столяра. Халтурин советовался с Аней Якимовой. Он не принадлежал к народовольцам, держался независимо — оберегая несколько ревниво свою *рабочую особость* и самостоятельность, и весь Северный союз был проникнут этим на-

строением, принимали туда только рабочих,— но тут открывалась блестящая террористическая перспектива, и он решил посоветоваться со знатоками.

Из людей, причастных к народовольческому Комитету, был знаком хорошо с землячкой, вятской, Аней Якимовой. Та с кем-то его свела. Сказали: «Что ж, давай, давай. Заодно и царя прикончишь...» Так все это начиналось, не очень-то всерьез. В сентябре Халтурин с паспортом Батышкова поступил в столярную службу, в Зимний, поселился в подвале. Связь с ним поддерживал Квятковский. Дело было сугубо тайное, такой же степени тайности, как и служба Клеточникова в Третьем отделении. Но если Клеточников с первых же дней непрерывно, вот уже почти год, снабжал Комитет беспримерными по ценности сведениями, то работа Халтурина не давала никаких плодов, удачный исход ее казался фантастикой. Андрей помнил, как Баска однажды намекала в Александровске, что есть какой-то человек, который намерен проникнуть во дворец в качестве рабочего, человек смелый, решительный, но как-то не верилось в успех: дворец казался местом, где кишмя кишат жандармы. Кроме того, тогда, осенью, мало думали — если не сказать вовсе не думали — об этом предприятии, все старания были направлены на Александровск и на Москву. Если бы там удалось, дело во дворце само собой бы отпало. Но там не удалось, Квятковского арестовали, и невероятное, совершавшееся в глубочайшем секрете халтуринское дело — неизвестное почти никому — стало вдруг главной надеждой партии.

Андрею было любопытно познакомиться с Халтуриным. Много успел наслушаться о нем от Дворника, от Баски, от Андрея Преснякова: говорили, что очень начитан, упорный самоучка, хорошо знает социалистских писателей, французскую революцию и спорить с ним по этим делам трудновато. Как многие рабочие, совсем равнодушен к мужику, к общине, не понимает крестьянской сути русской революции и всей будущей русской государственности. Склоняется к западу, к немецким социалистам: там идеал. Но, кажется, разгром Союза в нынешнем году, аресты почти всех товарищей сильно этот идеал подорвали. Как будто понял, что стачками да кружками на немецкий манер эту громаду не свалишь. Вот ведь история! И крестьянские народолюбцы и пролетарьятчики, разуверившись и отчаявшись

в своих путях, пришли с разных сторон к одному: к террору.

Познакомил их Дворник, на квартире. Халтурин был высок ростом, с небольшой бородой, усами, мрачноватый взгляд, скупая, с вятским оканьем речь: казался старше своих двадцати трех. По виду он был обыкновенный петербургский мастеровой, даже, пожалуй, мастер, благополучный и хорошо зарабатывающий. На нем были высокие сапоги, длинное черное пальто и нескладная меховая шапка, тоже черная, которую он, войдя в квартиру, снял и зачем-то надел на левый кулак и, разговаривая, все время на кулаке покручивал. Вообще, в повадках была какая-то спокойная развязность.

Сразу стал расспрашивать об аресте Квятковского. Видно было, что огорчен очень, именно не взволнован, не напуган — огорчен. Между тем мог бы напугаться: у Александра Первого на руках остался план Зимнего, листок с рисунком, который сделал Степан и дал Квятковскому незадолго перед его арестом. На рисунке столовая, которую намечалось взорвать, была отмечена крестом. Надеялись, что Александр успел рисунок уничтожить, но ведь — кто знает? Пока что ничего в точности не известно. Степан продолжал спокойно жить в дворцовом подвале, спать на подушке с динамитом, а полиция, может быть, уже витала рядом и в любую секунду готовилась схватить.

Андрей не мог сдержать улыбки: с таким удовольствием смотрел на поразительного человека.

— Вот — Борис,— сказал Дворник.— Будешь теперь с ним. Место встреч назначайте новое.

Халтурин кивнул, поглядел на Андрея сурово-пристально, сощурив глаза.

— Вы, кажется, из студентов?

— Был студентом. Да ведь и вы где-то учились? Мне Баска рассказывала.

— Учился...— Халтурин усмехнулся, добавил нехотя: — В Вятском техническом. Это все пустота. Не нужное никому. Главное мое ученье не там было.

— Понятно,— сказал Андрей.— Оно у всех так.

Дворник быстро попрощался, сбежал. Как всегда, восемнадцать или двадцать пять дел на дню. Андрей и Степан остались в комнате одни, темным полднем, пили чай, разговаривали вполголоса — о сверхтайном. Степан сказал, что перетаскал во дворец уже примерно два с половиной пуда динамита, но этого мало. Толща там

громадная, нужно не меньше восьми пудов, чтоб уж наверняка. Стража теперь его признала, пропускает без осмотра. Вообще, неряшество и бестолочь во дворце страшные. Это, конечно, нам на руку, но все ж таки удивляешься вчуже: до чего безмозглый народ поставлен руководить! Среди дворцовой челяди — кражи, пьянки, безалаберщина, жандармы и управляющие, назначенные следить за работниками, только и делают, что воруют по мелочам да девок тискают. С жандармом, который наблюдает за работой столяров и живет там же, Степан свел хорошее знакомство и даже уверил дурака, что намерен взять за себя его дочь. Андрей слушал с восхищением. Дело представлялось все более реальным. Но кроме бумажки с планом, могущей попасть в руки полиции, волновало другое: не проговорится ли случайно кто-либо из рабочих, членов Союза, кто слышал о предложении поступить на работу во дворец? Ведь предложение было вначале сделано не Степану, а кому-то другому. Обсуждалось среди рабочих. Верные ли люди?

— Рабочий человек вернее всякого,— сказал Степан.— Если бы кто проболтался, я бы до декабря не дотянул. Да нет, об том не думайте!

— Значит, все-таки кто-то знает?

— Никто не знает ничего! — почти грубо отмахнулся Степан.— Ты запомнил, милый друг: среди рабочих изменников всегда меньше, чем среди интеллигенции. Там косточки хрупкие, легко ломаются, а у нас кость тугая, гнется, да не хрустит.

Эти разговоры были знакомы, слышал такое же от одесских ребят, от Васьки Меркулова, от Макара Тетерки, да и от Ванички, и у самого таилась под сердцем настороженность к интеллигенции и дворянским сынкам, но в словах Степана почуялось и другое: недоверие ко всему прочему народу, который не рабочие. А ведь Россия пока что страна сырая, крестьянская. Значит, что ж: недоверие к России?

— А Шарашкин, Никонов, которых казнили за предательство,— не рабочие? — спросил Андрей.

— Ну, мало ли кого назовешь! Да, может, и не рабочие, кто их ведает...— сердито отозвался Степан.

Знал отлично, что рабочие: Шарашкин, убитый Пресняковым, был мастером на Варшавской дороге, Никонов, убитый Ивичевичем в Ростове, тоже был истинный рабочий и истинный провокатор. Насчет убий-

ства Никонова даже листовку выпустили специальную, с печатью Исполнительного комитета. Андрею вспомнилась и другая история, рассказанная в Александровске Баской: о халтуринском приятеле и земляке Швецове, который жил со Степаном вместе и работал в одной столярной мастерской. Баска часто бывала в гостях у Халтурина, носила газеты, прокламации, а в августе передала заказ от только что организованной партии «Народная воля» — сделать ящик для шрифта. Степану отчего-то было не с руки, то ли некогда, он поручил заказ Швецову, а тот вздумал сделать дельце с Третьим отделением, подзаработать. Потребовал аванс, чуть ли не три или четыре тысячи рублей, а сам в виде аванса предал одну нелегальную, жившую с ним на квартире, ее тут же арестовали и выслали. Вся швецовская коммерция узналась на другой же день, от Клеточникова, так как сделка совершалась у Кириллова в присутствии Клеточникова. Баска рассказывала, как судили и рядили: что делать? Как ей себя вести со Швецовым? Обнаружить знание было нельзя, так как немедленно раскрылся бы Клеточников. Полиция очень рассчитывала на ящик: куда повезут? От ящика следовало под любым предлогом отделаться, но так, чтобы не вызвать подозрений. Этот подлец сколотил ящик очень быстро: Халтурин ни о чем не догадывался. Баска чуяла за собою непрестанную слежку. К счастью, ящик оказался из ярко-белых некрашеных досок и благодаря своей яркости — за версту видно! — благополучно отвергнут. Была длинная история — Андрей ее уже несколько позабыл — о том, как Швецов упорно приставал к Баске, зазывал ее на острова, в чайную, она отказывалась, наконец уговорились о встрече в Александровском сквере, где был шпионский пункт, она пришла под вуалью, туда же пришли шесть переодетых шпиков во главе с Кирилловым, и туда ж явились Дворник с Кибальчичем, чтобы поглядеть на Швецова. В общем, Баске удалось обмануть всех, запутать шпиков — не только шпиков, даже Дворник с Кибальчичем потеряли ее из вида! — и исчезнуть. Баска очень гордилась тем, что Дворник спустя несколько дней сказал ей: «Сударыня, вы гениально обрубили концы. Моя школа. Интересно, куда ты делась после той табачной лавки, как выйти из Александровского сквера направо?» Баска много дней не показывалась на улицах, и Швецов, потеряв надежду встретить ее и боясь взысканий со стороны Третьего отделения,

удрал на родину, в Вятскую губернию. Но там его, конечно, нашли, деньги отобрали и самого упекли куда-то. Он был настоящий предатель, за тридцать сребреников, но с каким-то мелким, местно-патриотическим изъяном,— Клеточников передавал по донесениям агентов швецовскую эпопею в подробностях — например, он обещал выдать всю революционную организацию поголовно за исключением двух земляков: Халтурина и Якимовой.

Якимова рассказывала об этом с гадливостью. Знал ли Степан? Андрей спросил:

— А твой бывший дружок Швецов — не рабочий?

— Нет! — быстро отвечал Халтурин.— Эта гнида так и не стал рабочим, хоть и терся тут... Как кулак истинный — за червонцы готов отца и мать...

— Тебя-то пожалел.

— Меня? Не знаю. Говорили, будто так. Только я-то не пожалею, рука не дрогнет...

И как довершение разговора, который клонился к неприятному, к тому, что рабочие, дескать, не всегда бывают так прекрасны, как хотелось бы, Халтурин произнес задиристо:

— А нешто рабочие виноваты, что Союз развалился? Сам знаешь отчего. Только-только у нас дело наладится — хлоп! — интеллигенция опять кого-то шарахнула, и опять обыски, аресты. Поневоле задумаешь: как бы одним разом покончить. Тут другого конца не видно.

В тот день еще много разговаривали: о всероссийской рабочей организации, о которой Халтурин, теперь отчаянный террорист-одиночка, продолжал упрямо мечтать, и о Северном союзе, растрепанном и почти уже погибшем, об Интернационале, о Марксе, о легальных и нелегальных, о том, что рабочий Союз должен строиться на легальности, тогда он может быть многолюдною силой, но легальные гибнут легко и быстро, ибо на дурном счету и полиция хватает их первыми. Потом Халтурин признался:

— А знаешь, Борис, отчего я решился на этот... как теперь ваши придумали говорить? На п р я н и к, что ли. Царя должен убить рабочий. То есть чисто народный человек. Понял почему? Потому, что царь народу изменил, а за измену — сам знаешь что. П р я н и к в глотку.

Потом встретились еще раза два. Андрей передавал Степану динамит в мешочках, тот подвешивал их на

пояс, носил в штанах. Под рождество виделись последний раз. Степан был бледней и сумрачней обычного, но так же спокоен, нетороплив. Сказал, что мучается головой: верно, от динамита, который в подушке, исходят нитроглицериновые испарения, и он за ночь надышится, встает как чумной. Андрей спрашивал: не достаточно ли? Нет, говорил, нужно еще. Направлялся в Пассаж: покупать невесте, дочери жандарма, подарок к рождеству. Перламутровое ожерелье заказано, китайской выделки, достать нигде невозможно, потому что модная вещь, барышни нарасхват берут.

Удалился степенно, пропал в толпе. А толпа на улицах — клокотанье, бег, рождественская толкотня, в лавках и магазинах народу невпроворот, иные купцы на волю вытащились, кричат, расхваливают под мелким снежком, внезапная оттепель, сырость, пахнет рассыпанной хвоей, горячим конским запахом, пороховым дымом детских хлопушек и праздником, окончанием поста...

Решили отпраздновать Новый год на одной из спокойных квартир. Всех томила жажда какого-то пусть краткого, веселья, согнать напряженность, освободиться на миг. Декабрь вышел тяжелый по всем статьям: и потому, что схвачены Квятковский, Ширяев и в один день с Ширяевым Сергей Мартыновский, хозяин «небесной канцелярии», со всем своим багажом, бланками, паспортами, печатями, и потому, что пришлось срочно съезжать со старых квартир, искать новые, а это всегда задача нелегкая, и еще потому, что декабрь оказался месяцем раздоров. Очень много и нешуточно спорили. Непримиримо столкнулись Тихомиров с Морозовым, и каждому из членов Комитета нужно было стать на чью-то сторону. В начале декабря Тигрыч сказал Андрею, чтобы тот зашел в Саперный и поговорил с Воробьем и с Ольгой внушительно.

— А то там назревает истерика.— И усмехался по-своему, подергивая краем губ.

В Саперном помещалась типография. Тайное тайных. Морозов и Ольга скрывались там, в безопаснейшем месте, после того, как квартира их рухнула. В эти дни готовился набор третьего номера «Народной воли» с программой, и вот как раз из-за программы разгорался сыр-бор. Морозов обвинял Тихомирова в том, что тот

исказил программу, принятую на Липецком съезде, склоняется к якобинству и чуть ли не к нечаевщине. Андрей считал это вздором. Не о том надо сейчас печься, не сюда направлять пыл и жар. Какая сию минуту может быть программа, кроме единственной? Видел бескровное лицо Халтурина, слышал его шепот побелевшими губами: «Еще рано... Не готово...»

— А ты с ними разговаривал?

— Я был там позавчера. Говорить невозможно.— Тигрыч махнул рукой.— Возбуждены, взвинчены, переполнены раздражением. Я узурпатор, Наполеон. Ольга кричала, что история мне этого не простит. Требуют срочного созыва Комитета...

— Ладно! — сказал Андрей.— Сегодня еду в Кронштадт, а завтра буду в Саперном.

Он уже привык к тому, что от него ждали помощи, обращались к нему как к судье и арбитру. Это получалось само собой. Почему-то считали, что именно он может поговорить внушительно. И даже Тигрыч, этот желчевик, скрытно самодовольный и насмешливый, как-то легко и сразу склонился перед Андреевым авторитетом. Черт их знает, что на них действовало! Может быть, то, что он не умел хитрить, говорил то, что думал. А может быть, иное. Ведь и все не умели хитрить. Хитрецов среди них нет. Но вот что! Есть свойство, очень важное, он им гордится, решающее свойство для деятеля: умение вырвать из гущи, из пестроты нечто главное и одно. Сегодня, в середине декабря 1879 года, этим главным был столяр в подвале Зимнего. Как же не понимать такой простоты? Сейчас все программы, теории, да и будущее каждого из них, и всей партии, и всей громадной российской махины зависят от того, удастся ли этому человеку, который лежит ночами на сундуке, задыхается от запахов нитроглицерина... И ни о чем другом Андрей не мог думать. Ночами не спал и пожирал мыслями, памятью, умом, всей силою воображения того, кто сейчас там, в подвале, на сундуке, тоже не спит и кашляет, кашляет.

В Кронштадте он затевал знакомства с морскими офицерами. Время для знакомств было прескверное. В Петербурге шли повальные обыски. Очумевшая после московского покушения полиция быстро догадалась, что взрыв на Курской дороге — «работа петербургская», и со всей яростью обрушилась на столицу. Хватали и обыскивали в театрах, на вокзалах, в мебли-

рованных комнатах: по случайному подозрению, по обрывкам фраз, по тому, что кто-то по рассеянности или близорукости не поклонился царской карете. Студентов обыскивали по землячествам: в первую неделю обшарили всех нижегородцев, затем вятичей, ярославцев. Было, как водится, много шуму, суматохи и дури. Дворник рассказывал про одного академика, лифляндца, шутника, который на вопрос пристава, нет ли у него взрывчатых веществ, отвечал «есть», вынул из кармана спички и стал зажигать их перед носом полицейского, сильно того перепугал. Кроме того, лифляндец, схватив какую-то бумажку, стал ее жевать и, отбиваясь от полицейских, угрожал проглотить. Силой отняли, оказалось — чепуха. На Гончарной в том же доме, где схватили Степана Ширяева и где были дешевые номера, арестовали разом семьдесят барышень «с Невского» вместе с ночевавшими у них отцами семейств, которых той же ночью развозили с городовыми по домам, в целях удостоверения личности. Была потеха! Но в разгар такой потехи, столпотворения, слез и полицейского безумия легко было попасть в капкан и самому опытному и вовсе не причастному человеку.

В Саперном прихода Андрея ждали. Гости бывали тут редко: может быть, один-два человека в неделю. Хозяевами считались Бух и Иванова, они иногда выходили на улицу, прислуга тоже, остальные сидели в квартире безвылазно. Остальные — два типографщика и Воробей с Ольгой. Вид у всех был болезненно-серый. Особенно поразил Андрея один из типографщиков, Лубкин: необычайно худой, бледный, безусый, он был похож на юного монашка, говорил тонким женским голосом. Звали его почему-то Птичкой. На Андрея набросились с расспросами. Особенно волновала судьба арестованных. Что слышно нового? Нет ли предательства? Андрей сказал, что о предательстве речи нет, говорят о неосторожности, о несоблюдении правил конспирации, но точных сведений ни у кого нет.

— Почему же дали себя арестовать? — спрашивала Соня Иванова.— Почему Александр не стрелял?

— Вероятно, не имел возможности.

— Торопился что-нибудь уничтожить, не было времени...

— Ведь знал, что ему грозит! — возбужденно говорила Иванова.— Я этого не понимаю. Нет, если придут за нами, мы не дадимся. Я первая буду стрелять!

— Думаю, он не хотел подвергать опасности Женю Фигнер,— сказал Морозов.— Если б ее не было рядом...

Молчавший все время Бух сказал:

— А меня беспокоит Мартыновский. Среди кучи бумаг, которые у него хранились, было что-то и нас касающееся. Но не могу вспомнить — что именно.

Бух был великий молчальник и если уж произносил слово — звучало значительно. Все задумались, стали вспоминать. Никто ничего не мог вспомнить.

Соня Иванова с дерзкой и безнадежной отчаянностью махнула рукой.

— Ах, как говорит один наш автор: vogue la galère![1] Будь что будет. Но я предупреждаю: я буду стрелять.

И она оглядела всех с какой-то мрачной торжественностью.

— Боже мой, Соня, о чем ты беспокоишься? Все будут стрелять,— сказал другой наборщик, Цукерман, пожимая плечами.— Почему бы нам не стрелять, если есть из чего?

Как Андрею хотелось сказать им, этим добровольным затворникам, каждую минуту ожидавшим нападения и гибели, о том, что нужно продержаться совсем немного, недели две, три, и произойдет величайшее событие, которое их освободит, взорвет их непосильную напряженность, их тюрьму! Но сказать невозможно. Единственное, чем он мог ободрить:

— Прошла неделя, и, слава богу, вы живы-здоровы. Будем надеяться...

— Неделя — не срок,— сказал Бух.

И он был прав. Коля Бух, сдержанный и бесстрастный, как герой Купера, был среди типографщиков самым опытным: издавал еще первую нелегальную газету «Начало». Говорили, что он фанатик своего дела. Без наборных касс, запаха краски для него жизни не существовало.

Был еще путь, и Андрей предложил:

— А переехать на другую квартиру?

— Легко сказать! — Иванова засмеялась.— Ты знаешь, что это для нас: переехать? Со всеми бебехами? Кроме того, другой такой квартиры не найдешь во всем Питере. Ведь она совершенно уникальна. Мы можем тут жить годами, и никто не заметит.

---

[1] Плыви, корабль! *(фр.)*

Но Андрей и сам мысленно возразил: переезжать сейчас значило затормозить выпуск газеты. Вот уж чего нельзя делать. Нет, они будут жить дальше, рисковать дальше и ждать нападения и гибели. Бух ушел в другую комнату, типографщики тоже ушли к себе, в глубь квартиры, заниматься делами, Соня с прислугой, простоватой на вид, но какой-то нервной, странно улыбавшейся девушкой, отправились с корзиной в лавку — Андрей застал их на лестнице, они задержались, чтоб с ним поговорить,— и в гостиной остались Морозов с Ольгой Любатович и Андрей; Воробей и Ольга, кажется, с нетерпением ждали этой минуты.

— Я не хотел при всех,— начал Воробей вполголоса.— И вообще не хотел бы! Но нет другого выхода. Мы с Олей, как два члена Исполнительного комитета, требуем срочного собрания Комитета для обсуждения вопроса о программе. Лев пользуется нашим бессилием, тем, что мы здесь, на карантине...

— А какая для него польза? — удивился Андрей.

— Польза в том, что он обегал всех членов Комитета со своим текстом, всех убедил, а у нас руки связаны! — Обычная Ольгина цыганская смуглота даже побледнела от гнева.— Чего же он хочет? Получить еще одно такое же письмо, как от Маши Крыловой? Он дождется, я напишу.

— Не нужно никаких писем, нужно общее собрание. Откровенный разговор,— говорил Воробей, делая успокоительные жесты в сторону своей горячей подруги. Но сам-то был спокоен ничуть не больше, руки его дрожали, худое лицо, блестящие глаза выражали крайнее волнение.

— Я очень хорошо помню письмо тети Маши,— говорила Ольга.— Оно меня тогда, летом, поразило. Как можно, думала я, в таком тоне писать товарищам? «Не хочу допускать той нравственной пытки, которой вы меня угощали... Слушайте, господа, несмотря на ваши старания, вам не удалось еще поселить во мне ни вражды, ни злобы к вам». Что-то в таком роде. И лучше, мол, не добивайтесь этого. Женщину довели до грани, до катастрофы. Я не понимала. Но теперь вижу, как это делается.

— Ольга, успокойся! Нужно собрание, поговорить всем начистоту...

— А газета будет ждать? — спросил Андрей.

— Да, да! Газета будет ждать! — крикнула Ольга.—

Потому что решаются слишком великие вопросы! Может быть — судьба России!

Письмо Крыловой Андрей читал в августе. Написано оно было раньше, в связи с расколом «Земли и воли», и по очень похожему поводу: Крылова была хозяйкою типографии и резко возражала против некоторых статей террористического направления, кстати, статей того же Морозова. Об этом Андрей и напомнил. Зачем ссылаться на Крылову, если она была недавней противницей? Тогда водораздел шел по линии террора, политических убийств, и дело пришло к полному размежеванию. Что же теперь? Камень преткновения: политический переворот, захват власти. Расширенный текст программы, предложенной Львом и самочинно поставленный им для набора в третий номер, есть, как считает Морозов, уклонение в сторону якобинства. В программе, принятой на Липецком съезде, не говорилось о том, что партия ставит целью захват власти. Целью было — дезорганизацией и террором вынудить правительство предоставить народу самому выразить свою волю. «Народная воля» есть нечто иное, чем воля кучки заговорщиков, стремящихся захватить власть! Все морозовские статьи, написанные в последнее время, Лев под разными предлогами отвергает, гнет свою линию очень упорно. Тут наверняка влияние Марии Николаевны, она неисправимая якобинка, закваска Заичневского в ней сильна. Неверие в силы народа и даже скрытое презрение к народу — вот что это значит. Мария Николаевна однажды призналась, что не любит русских крестьян за их покорство и тупость. Да и сам великий теоретик Лев не очень-то верит в народ, а стало быть, и в революцию, о чем он как-то на квартире Марии Николаевны даже прямо сказал. Ольга тогда очень удивилась: «Зачем же вы работаете в революционном кругу?» Он сказал: «Потому что здесь мои старые товарищи». Для него главное — товарищи, кружок, кучка со своим кодексом жизни и смерти. Неужели Борису не ясно, что надежды кучки на захват власти, во-первых — безнравственны, во-вторых — эгоистичны и, в-третьих, что главное, — неосуществимы? Если такова будет программа, тогда извольте изменить название: не «Народная воля», а какая-нибудь «Наша воля» или «Воля двухсот».

Воробей, говоря все это нервно, быстро, хотя попрежнему вполголоса, чтобы не привлекать внимание работавшего в соседней комнате Буха, вертел в руках

листки пробного набора передовой. Андрей знал эту передовую: ее сочинил Лев несколько дней назад и читал Андрею. О некоторых местах много спорили.

— Вот в этой статье, что у тебя в руках,— сказал Андрей,— есть места рискованные. Я сомневался: а нужно ли? Лев меня убедил, Дворник тоже. Там, где говорится о недостатке сочувствия. О том, что не только общество и народ остаются праздными зрителями борьбы, но даже...— Он взял у Морозова листок, нашел нужные строчки и дочитал: — «...но даже сами социалисты часто склонны взваливать этот страшный поединок на плечи одного Исполнительного комитета». Так? И дальше там примеры: в кружки рабочих-социалистов затесался шпион, рабочие жаловались, им сказали: «Что ж вы его не отправите на тот свет?» — «Да мы уж доводили об этом до Исполнительного комитета!» Замечательно! Как будто нельзя без помощи Комитета расправиться со шпионом. Такой же случай был с кружком студентов. Тоже обращались в Комитет. И Лев пишет: «Не может русский человек без начальства».

— Я хорошо все это знаю,— сказал Морозов.— К чему ты цитируешь?

— Эту передовую он написал отлично, тут спора нет,— сказала Ольга.

— Нет, спор был: я полагал, что мы обнаруживаем перед всеми свои язвы, слабость движения. Но меня убедили в том, что полезней об этом сказать открыто. Равнодушие и пассивность радикалов! Что же говорить о народе? Вы были бы правы, если бы у нас в запасе было лет двести, триста. История движется слишком медленно, надо ее подталкивать. Захват власти есть подталкиванье истории. Мы действуем от лица народа. И от лица народа ему же дадим конституцию и Земский собор.

— От лица народа! Нет ли тут самозванства?

— Нет, потому что мы от плоти народной. Мы — дети крестьян, землемеров, священников, фельдфебелей, дети бывших рабов, вольноотпущенников...

— Ой, Борис, до чего же любишь красно говорить! — Ольга поморщилась: — Тебе бы проповедником, а не революционером.

— А революция — это проповедь.

— Ну, хорошо, мы требуем общего собрания! — сказал Воробей с тем выражением капризного упрямства, которое сохранилось, видимо, с детских усадебных лет

и временами вдруг у него проскакивало. Он даже шлепнул ладонью по столу.— И второе, друзья: подыскивайте нам квартиру. Жить здесь далее в качестве тунеядцев, без дела и без пользы, невыносимо.

Квартиру и паспорта им вскоре нашли. Собрание состоялось, на сторону Воробья и Ольги стали немногие, в их числе Соня Перовская. Было наговорено много резкостей. Ольга считала, что причина их неудачи — сговор, организованный Тихомировым. В то время как они сидели в Саперном в заточении, он обрабатывал членов Комитета, в особенности недавно принятых, не бывших на липецком съезде Аню Корбу, Грачевского, а также Наталью Николаевну Оловенникову, сестру Марии Николаевны. Некоторые мелкие исправления в программе все-таки были сделаны, но суть ее осталась прежней — той, какую отстаивали Тигрыч, Дворник, Андрей. Целью ставилось — политический переворот, отъем власти у правительства и передача ее учредительному собранию.

Подталкивайте историю! Подгоняйте, подгоняйте ее, старую клячу! Нельзя было терять время на долгие разговоры. Номер «Народной воли» обязан выйти в срок: это как появление адмиральского флага на броненосце, означающее готовность к бою.

А через неделю, две или, в крайнем случае, три...

Все, кто знали подробности, жили этим ожиданием, а те, кто не знали, неясно догадывались, что готовится нечто небывалое. И вот в таком состоянии смутного нетерпения и ожидания чего-то, когда раздоры и несогласия отошли назад, о них забыли на время, встречали несколько человек новое десятилетие. Никто не надеялся увидеть его конец, даже середину, даже один только год целиком. А ведь все были так молоды! И поэтому — на круглом столе посредине комнаты поставили большую суповую чашу, наполненную вином и ромом, с кусками сахара, лимона и разными специями. Свечи были погашены, но когда зажгли ром, и возник одуряюще сладкий, спиртовой запах, и лица стоящих вокруг осветились багряным, дрожащим пламенем, Андрей вдруг почувствовал — он стоял вместе с Колодкевичем ближе всех к чаше,— что все эти лица, казавшиеся необыкновенно суровыми, все эти напряженные, направленные на пламя глаза объединяет нечто большее, чем любовь и ненависть, чем готовность умереть, чем даже идеи, которыми они живут. Это большее, это громадное,

спаявшее воедино несколько человек — среди неисчислимости России — было нельзя определить словами. Но Андрей чуял его кожей, как налетевший ветер, как нахлынувший внезапно ледяной жар, сердце его стучало, на глазах выступили слезы, кулаки сжимались, и, наверное, это же мгновенно и страстно передалось всем. Морозов вдруг выхватил из кармана кинжал и положил его на чашу, тут же Андрей положил свой кинжал накрест, кто-то еще, и Дворник, и другие, и Андрей запел гайдамацкую: «Гей, подивуйтесь, добрые люди». И подхватили все: «Шо на Украине повстало!» Когда жженка была готова, разливали в стаканы, чокались, обжигались, и вот пробило двенадцать. Все стали обниматься, целовались, рядом с Андреем была Соня Перовская. Когда он обнимал ее, чувствовал, как она дрожит. Она была как девочка, совсем маленькая, прижималась к нему в тесноте, твердость ее исчезла. Губы были холодные. Между ними ничего еще не было, но он знал, что будет. И — скоро, потому что жизни оставалось мало.

Потом кто-то предложил спиритическое гаданье с блюдцем. Со смехом стали готовить бумагу, написали буквы, сели вокруг стола. Первым вызвали дух императора Николая и задали вопрос: какой смертью умрет его сын? Блюдце долго невнятно кружило, понять ничего нельзя, вдруг получился ответ: от отравы. Какая чепуха! Все были разочарованы. Ведь известно, что умрет от другого. Андрей вдруг сказал:

— Я предлагаю — за рабочего человека!

Те, кто знали, чокались и пили с особым воодушевлением, а те, кто не знали, тоже радостно поддержали: да, да, за рабочего человека! За его удачу, конечно! За столом не было ни одного рабочего человека, но все понимали, что в конце-то концов они ничего не смогут и ничего не значат без него. Кто-то завел «Марсельезу», потом еще кто-то запел вполголоса стихи, положенные на музыку:

Я видел рабскую Россию перед святыней алтаря.
Гремя цепьми, склонивши выю, она молилась за царя...

Вышли в снеговую черноту. Какой-то человек, видимо здешний дворник, в тулупе, лежал поперек калитки. Андрей держал Соню за руку. Они шли быстрым шагом. Хрустела на морозе плотно утоптанная, твердая улица. Через час поднялись по железной лестнице на четвертый этаж, Соня открыла ключом дверь, вошли в

продолговатую, холодную комнату. Не зажигая огня, стали раздеваться. Потом Соня нашла свечу, осветила кровать с клетчатым пледом, жестяную миску на столе, кувшин и нож на тарелке. Отчего-то пахло керосином. И в этой комнате была любовь, не имевшая ни прошлого, ни будущего, ни надежд, ни рассвета. Очищенная от всего, она упала, как снег, и ее судьба была судьбой снега: исчезнуть.

Прошла половина января. В условленном месте Андрей встречался со Степаном, эти встречи становились все более тяжкими. Степан вел невыносимую жизнь. Было ясно, что долго не выдержит. Иногда он даже не хотел ни о чем разговаривать с Андреем, кивнет, буркнет сквозь зубы «Ни черта...» и пройдет, не останавливаясь, как мимо чужого. Андрей шел следом, догонял где-нибудь в городе, в людном месте, пристраивался, терпеливо сносил мрачное и злое Степаново раздражение и кое-что узнавал. В январе порядки во дворце изменились, введены строгости, делают внезапные обыски, что-то ищут, выстукивают стены. Прямо объявили прислуге, что у арестованного социалиста найден план дворца с отметкой крестом на столовой. Что это значит, никто не понимал, но ничего хорошего, конечно, не могло значить. Поэтому — строгости, обыски. Придумали для дворцовых служащих и всех работников какие-то медные бляшки, без них не впускают, не выпускают. Воруют кругом по-прежнему, и его, Степана, заставляют воровать, иначе — подозрительный человек. Так что: воруем помалу. Лачок воруем, кисти, инструментишко. (Степан постепенно разговаривался, раздражение и усталость спадали, он нервно веселел, рассказывал интересное.) Ведь он искусный полировщик, лучше его во дворце нету, как-то послали работать в царские покои, и вдруг — вошел Александр. Степан обмер от неожиданности. Потом корил себя за минуту растерянности: в руках был молоток, один удар, и готово. И не нужны эти громоздкие и страшные предстоящими многими жертвами приготовления. Еще был эпизод, о котором Степан рассказывал с волнением. Вдруг ночью в подвал, где спали, с громом и звоном врываются жандармы. Подъем! Запаляй свет! А у самих — фонари. Степан думал, что — конец, за ним. Оказалось: обыск. Но, как и все во дворце, обыск, к счастью, был

дурацким, бестолковым. Поворошили сверху, постучали шашками и унеслись с тем же громом и звоном. Ух, напугали! Когда он улыбался, лицо становилось совсем юным, но улыбался Степан редко.

А иногда разговаривал с Андреем грубо, задиристо, с каким-то злобным нетерпением. Андрей едва сдерживался, чтоб не ответить такой же грубостью. Он не прощал никому. Но тут усилием воли сминал самолюбие, терпел. Потому что — разве сравнить? Этот парень жил в чудовищном напряжении. Вся его нервность была от этого и от болезни, которая обострялась, он кашлял сильней. Споры возникали по одному поводу: мало динамита. Степан требовал больше, еще, еще, чтоб уж с д е л а т ь з а п о д л и ц о. Андрей считал, что достаточно, набралось около трех пудов, техники — Кибальчич, Исаев — полагали, что этого хватит.

— Лишний динамит — лишние жертвы,— говорил Андрей.— Этого нам не нужно. Партии нужен один царь.

— Один царь! Где я вам одного царя вылуплю? Скажут ересь! Поди попробуй! — Степан весь дрожал от нервности, чернел лицом.— Все равно будут жертвы. А вы как думаете? Будут, будут, человек пятьдесят, не менее, так и рассчитывайте. Ишь вы какие гладкие: одного царя!

Между подвалом и столовой был целый этаж, где помещалась кордегардия, жили солдаты расквартированной во дворце караульной роты. Кто-то из них непременно погибнет. Тут уж судьба распорядится: кто будет в тот миг нести службу, а кто отдыхать предсмертно в кордегардии. От мыслей об этих несчастных Андрей не мог отвязаться. Поэтому, не желая увеличения динамитного запаса, да и попросту сокращая риск — каждый день был величайшим риском,— Андрей торопил Степана. Динамит хранился теперь в сундуке, на котором Степан спал. Из-за сундука тоже была история. Столяры, печник и надзиратель удивлялись — зачем Степану нужна этакая несуразная громадина, стоившая порядочно денег. Степан объяснил: хочет во дворце разбогатеть. И верно, он зарабатывал неплохо, а к рождеству получил даже сто рублей награды. Изображая из себя тупого, жадного деревенщину, деньги не тратил попусту, не пропивал, не прожирал, а покупал вещи, набивал ими сундук, пряча под скарбом, на дне сундука, мину с динамитом. Андрей поражался нечело-

веческой выдержке: несмотря на все растущее напряжение, ежеминутный страх быть открытым, он продолжал упорствовать и копить динамит. Как истинный мастер, хотел уж сделать, так сделать: заподлицо.

Спорить с ним было совсем нельзя.

В одну из встреч сказал:

— Все, друг! Динамита больше не будет. Нету его, не сделано.

— Как же так не сделано?

— Ну, не сделано, не готово, у нас ведь не фабрика. А люди не машины. Тебе за глаза хватит — взрывай.

Степан, сощурив красные веки, смотрел недобро.

— Не машины? А я, видать, машина.— Он помолчал, обдумывая.— Взрывать недолго, только будет ли прок. А ежели нет — кто виноватый?

— Прок будет. Нельзя тянуть, искушать судьбу... Готовься взрывать, ясно? Дождешься, жандармы опять придут.

Напоминание о ночном обыске подействовало. Хватил тогда страху. Хмурясь, вздыхая с неудовольствием, наконец согласился: ладно, все готово, теперь будет ждать удобного дня и часа. Вот если бы еще хоть фунтов пять динамитцу, тогда бы уж совсем заподлицо. Андрей обещал в следующий раз принести пять фунтов, дьявол с ним. И — vogue la galère!

В середине января вышел третий номер «Народной воли»: тот самый, из-за которого ломались копья. Утром Дворник прибежал на квартиру Андрея с пачкой номеров.

— Эта бомба пострашней иного покушения! — Дворник рассыпал по столу веером свежие, пахнущие краской, журнальчики.— Все-таки молодцы Коля Бух с компанией. Гениально работают. Посмотрите, какая печать, какой набор! «Голос» не выходит с такой печатью, не говоря уже о «Ведомостях», хе-хе! А вы представляете, какие слова сегодня вечером будет говорить Александр Николаевич Александру Романовичу?

Да уж, Дрентельну достанется! Ярость там будет неописуемая: уже третий номер подлой газетки выходит не где-то в заграничных дебрях, недостижимых, а в самом Петербурге, и концов не сыскать.

У Андрея ночевал Кибальчич. Все трое схватили номера, стали с наслаждением щупать, шуршать, шелестеть, читать, хотя читали почти все раньше. День начинался весело. За чаем опять затеялся разговор о про-

грамме. Вот она, напечатана: открыто, ясно. Весь мир читай. «По основным своим убеждениям мы — социалисты и народники. Мы убеждены, что только на социалистических началах человечество может воплотить в своей жизни свободу, равенство, братство, обеспечить общее материальное благосостояние и полное всестороннее развитие личности, а стало быть, и прогресс...» И дальше, после нескольких мощных, кратких абзацев, рисующих нынешнее положение страны, идут пункты программы. «Ее мы будем пропагандировать до переворота, ее мы будем рекомендовать во время избирательной агитации, ее мы будем защищать в учредительном собрании».

Отлично помнили, и все же Дворник читал вслух:

— Постоянное народное представительство. Широкое областное самоуправление... Самостоятельность мира! Вот что важно! Вот чему я очень рад, что это у нас впереди, третьим пунктом. Самостоятельность мира как экономической и административной единицы. Так! Принадлежность земли народу. Пункт пятый: система мер, имеющих передать в руки рабочих все заводы и фабрики. Шестое: полная свобода совести, слова, печати... Седьмой: всеобщее избирательное право. Ну что ж, по-моему, превосходная программа! А? Как?

Дворник смотрел смеющимися глазами. Андрей с Кибальчичем согласились. Все были счастливы, что наконец это обнародовано и люди прочитают и поймут: партионцы «Народной воли» не просто террористы, разрушители, но люди твердых идеалов, знающие, чего хотят. Лучшей программы общественного жизнеустройства до сей поры, до отметки 1880 года, человечество еще не выработало. Да, да, бесспорно! Здесь весь сок тысячелетней мысли, страданий человеческих, опыт коммунистов древности, социалистов всех времен, фурьеристов, мечтателей, несчастных коммунаров Парижа, русских расколоучителей и новейших знатоков прибавочной стоимости и производственных отношений: все заключено в семи пунктах.

В этом же номере было письмо Гроньяра-Михайловского — о необходимости ввести закон наподобие американского о принадлежности земли земледельцу. И два материала Льва: передовая и статья «Кошачий концерт», замечательно отстегавшая российских борзописцев, с эпиграфом из Вальяна: «Общество имеет только одно обязательство относительно государей — преда-

вать их смерти». Все в этом номере дерзко, лихо, отчетливо! А Воробей подготовил только два раздела: хронику преследований и об агентах полиции, по сообщениям Клеточникова. С Воробьем надо как-то решать. Он нервничает по-прежнему и сказал Дворнику, что чувствует, что бесполезен в газете и пусть ему дадут другую работу.

Это было единственное, что удручало радостное утро: предстоящий разговор с Воробьем. Слишком их мало, чтобы трещины и разрывы не причиняли боль. Дворник условился о встрече в трактире на Лиговке в час дня.

Когда Андрей и Михайлов туда пришли, Воробей уже сидел в углу, отгороженном низкой деревянной оградкой и грязным куском парусины, что делало столик обособленным от остального зала. Низко нагнув лохматую голову, Воробей погрузился в газетный лист. Кажется, все трактирные газеты ворохом лежали на его столике. Дворник и Андрей начали наперебой расхваливать новый номер, Воробей слушал рассеянно, потом сказал:

— Вы говорите так, будто я автор и принимаю поздравления. Вы же знаете, что роль моя сведена к минимуму: хроника преследований и тетради Николая Васильевича, которые я получаю от тебя, Саша. Холодовский, Михаил Ефимович, лет тридцати восьми, роста среднего, лицо красноватое, нос неправильной формы, усы, заметны следы нетрезвой жизни. Жена его, слушательница акушерских курсов, молодая женщина, тоже шпионка... Да боже мой, с этакой литературой справится первый встречный!

— Ты написал отличную хронику,— сказал Андрей.— Не прибедняйся уж так.

Воробей поглядел на Андрея внимательно и, как показалось Андрею, насмешливо.

— Спасибо, Андрюша. Премного тебе благодарен. Но дело-то в том, что в трех номерах я сумел напечатать только одну по-настоящему серьезную статью: «По поводу казней», во втором номере. Остальное забраковано. Да, возникли разногласия, и серьезные. Что же мне делать? Хорошо, я уйду из редакции и отправлюсь с Ольгой ну хотя бы на юг. Работать среди молодежи вы мне разрешите?

— Нет,— сказал Дворник, помолчав.— Наверное, нет, Коля.

— Потому что ты ведь против программы,— сказал Андрей.— Против Земского собора. Что ж ты будешь говорить молодежи?

— Да, верно, верно...— Он кивал грустно.— Буду говорить то, что думаю. Что Земский собор — утопия, мечта, которая принесет вред, ибо отдаст власть другим поработителям, в других шляпах, с другими эполетами.

— А мы считаем, что собор выразит волю народа,— сказал Андрей.— Верим, что девять десятых его составят крестьяне, люди наших взглядов на землю.

— Наивность. Вам не останется иного выхода, кроме как декретировать ваши взгляды.

— Наше декретирование будет лишь оформлением бессознательного народного чувства.

— Декретирование — это великий риск. Централизация и декреты — вот где наша погибель.

— Не погибель, а единственная возможность победить.

— Ну, значит...— Воробей засмеялся и развел руками.

— Значит, ты не можешь, Коля, ехать на юг и работать там от имени партии.

Потом разговаривали о другом. Воробей был подавлен. Андрей жалел его, но иначе поступить было нельзя. Воробью подыскали наконец новую квартиру, и они с Ольгой собирались завтра переезжать. Вот об этом и разговаривали, и Дворник, как всегда, давал умнейшие советы.

А через три дня Дворник разбудил Андрея сообщением: типография провалилась! Он пошел в Саперный рано утром и, как делал обычно, прежде чем войти в парадное, на миг остановился на другой стороне улицы и поглядел на окна квартиры четвертого этажа: есть ли знак безопасности. Окна выходили в узкую щель, в торец соседнего дома. Расположение квартиры всегда так радовало обитателей! Хоть и свету мало, зато никто не заглядывает, перед носом кирпичная стена. Не то что не было знака безопасности, не было самих окон: выломаны «с мясом», с рамой. На земле валялись осколки. Главный сор и стекло подмели дворники, но кое-что осталось. Видно, окна выбивались наспех, в последнюю предарестную минуту, что-то выбрасывали, и — предупредить. Все это Дворник сумел оценить в секунду и прошел дальше. В доме наверняка была засада. Только к вечеру узнались подробности. Полиция пришла

ночью, с парадного хода. Из квартиры стали стрелять. Пристав Миллер вызвал отряд жандармов из казарм на Кирочной, начали правильную осаду, длилось долго, стреляли с обеих сторон. Птичка, молоденький, похожий на тонкошеего монашка, застрелился, остальных схватили. Кажется, храбрее всех вела себя и упорно отстреливалась Соня Иванова. Вот и конец. То, о чем старались не думать,— произошло.

Андрей еще днем, как только узнал от Дворника, побежал на новую квартиру к Воробьям и передал новость. На обоих подействовало сокрушительно. Опять чудом спаслись! Ольга, обычно несколько суховатая и резкая, не могла сдержать слез.

— Господи, как жалко! И Колю, и Соню, и всех! А бедный Птичка... Такой молчаливый... И никто о нем толком ничего не узнал.

Реакция Сони Перовской была мгновенной, в духе Перовской.

— Они в крепости? Надо продумать, нельзя ли попытаться спасти.

— Эти времена прошли,— сказал Андрей.— Когда-то пытались. Теперь — шиш. Они научены. Но есть, правда, возможность, на которую я надеюсь.

Да, в эту возможность верили. Громадный взрыв, всероссийское ошеломление, хаос, переворот. Тут могло быть спасение всех, кто сейчас в крепости. Но Соня сказала вдруг одну вещь — когда они остались вдвоем,— поразившую Андрея:

— И только Соня Иванова, наш милый Ванька, испытывает сейчас какую-то странную радость...

— Почему? — не понял Андрей.

— Без Саши Квятковского у нее не было жизни. И даже ребенок не радовал. Я знаю, я ее видела дважды после Сашиного ареста. Поэтому она шла на все, она отстреливалась, она готова была погибнуть...

— Но ведь с нею вместе погибло дело.

— Да. Но... Это очень глубоко женское, и ты, может быть, не поймешь...

— Пойму.

— Это даже не радость, а какая-то, наверно, бессознательная тяга: соединиться с ним. Понимаешь? — Он обнял ее.— Под одну крышу. Пускай даже это крыша крепости.

И каждый день теперь значил не только приближение казни тирана, но и — спасенье друзей. К концу месяца

Степан набрал все-таки динамита почти девять пудов. Теперь уж и Кибальчич, ученый взрывальщик, изучивший Зимний дворец по книгам и определивший нужный заряд математически, сказал: довольно. Андрей передал Степану шнур и трубку с особым, медленно горящим составом. На его горенье, как сказал Кибальчич, должно уйти двадцать минут.

— Успеешь за двадцать минут уйти? — допытывался Андрей.

— Успею! Как раз рихтих, аккурат, как немцы говорят.— Степан был возбужден и даже весел в последние дни. Теперь уж и он стремился к концу.— Я по часам смотрел. До Адмиралтейской площади, вот до тебя, где стоишь, ровно шестнадцать минут.

С тридцатого января каждый день ждали взрыва. Нужно было совпадение двух условий: чтобы царь находился в столовой и чтобы в эту минуту в подвале не было людей. Царь приходил обедать около шести, иногда чуть раньше, чуть позже. Андрей обязан был ежедневно дежурить на площади с четверти седьмого и ждать Степана. Начались дни последнего напряжения. Нужные условия никак не совпадали. Андрей замучился ждать, а на Степана было тяжко смотреть. Веселость его давно пропала. Он подходил мрачный, бурчал: «Нельзя было» или «Никак не готово», и Андрей не решался спрашивать: почему? Так длилось неделю, до пятого февраля.

Это был темный, метельный день. Говорили, что на дорогах заносы. На некоторых улицах не ходила конка.

Ждали приезда принца Александра Гессен-Дармштадтского, брата императрицы, и его сына Александра Баттенберга, нынешнего князя Болгарии. На шесть был назначен обед: семейный, в Желтом зале запасной половины дворца. Поезд из-за снежных заносов опоздал и пришел лишь в три четверти шестого. Придворные ждали карету принца со стороны Салтыковского подъезда, все крайне нервничали, государь не терпел опозданий, и, кроме того, ощущалось, что он как бы заранее раздражен и утомлен предстоящей встречей. К шурину государь относился холодно. Внезапно пришло известие, что принц по чьей-то оплошности прибыл к другому подъезду. Заведующий дворцом генерал-майор Дельсаль побежал на другую половину, какие-то мелкие церемонии нужно было срочно менять, возникала неловкость, ме-

рещилось ледяное, с застывшей, уничтожительной улыбкой лицо царя. Александр в своих покоях ждал прихода князя Голицына с известием о прибытии высоких гостей и действительно — чутье сановников не обманывало их — испытывал раздражение. Давно забытые сентиментальности сорокалетней поры: когда-то была юность, мечты, поездка в Европу с Кавелиным и Жуковским, двор в Дармштадте, и пятнадцатилетняя девочка, ошеломившая мгновенно, насмерть, небывалой романтической любовью в душе Бюргера, и ее брат Алекс, долговязый охотник, стрелок, собиратель монет. Девочка стала русской императрицей Марией Александровной, а ее брат — сначала стал кавалергардом русской службы, потом генерал-майором, потом служил австрийцам, неудачно воевал с пруссаками и кончил тем, с чего начал: величайшей чепухой, собиранием монет. Жалкий человек прислал несколько лет назад описание своего «Мюнценкабинетта», коллекции монет, изданное в трех томах в Граце. Этот захудалый немецкий род был случайно облагодетельствован: просто колесница истории по прихоти судьбы прокатилась через Дармштадт, и были юность, весна, спектакли в шлоссе, казачий мундир, пятнадцатилетняя свежесть. Теперь бывшая девочка, родившая ему восемь детей, лежала в своей спальне в образе безнадежно больной и довольно уродливой старухи. Ее мучили припадки удушья. Жизнь ее, полная многих радостей и дивных императорских удовольствий, подошла к концу. И сегодня на семейном обеде, как ни горестно, императрицы не будет. Ее брат и племянник сделают непроницаемо-кислые, гессенские лица, когда им сообщат об отсутствии императрицы. Теперь он знал, что томило: ожидание этой гессенской кислятины на физиономиях родственников. Словно некто виноват в болезни императрицы. Разумеется, все последние сплетни о Кате, о том, что во дворце скрыты ее тайные покои, сегодня же вечером будут им переданы. Мой бог! Хоть немного понять и разделить те страдания, ту великую тяжесть, что он принял на себя как отец миллионов русских людей, им не дано, это выше их кляйнштадтского разумения, но зато они будут полны безмолвной и напыщенной укоризны.

Чем долее задерживался приезд генерала от нумизматики, тем сильней росло раздражение Александра. Сияющая цветами и виньетками карточка обеденного меню казалась глупой. Устрицы? Окстейль и эстрагон?

Пирожки? Какая мерзость: пирожки! Пользуются его рассеянностью. Форель гатчинская. Шофруа из цыплят. Барашки. Бараний вкус Адлерберга. Мандариновый пунш. Пудинг Нессельроде. Меню всегда кажется глупым, когда к обеду опаздывают. Эту остроумную мысль он решил приберечь для застольной беседы: надо же как-то кольнуть эти толстые гессенские ляжки. И в ту минуту, когда он вдруг задумался о третьеводняшней записке Шувалова насчет борьбы с нигилизмом и о его предложении вызвать редакторов, в кабинете с шумной одышкой, слегка выпучивая глаза, появился Голицын и прокричал, как о светлом празднике:

— Его высочество принц Александр Гессенский прибыли со станции во дворец и ожидают ваше величество в малой фельдмаршальской зале!

Император направился навстречу гостю.

Спустя две минуты, когда дружная российско-немецкая familie[1] входила в столовую, взорвалась земля, померк свет, пронзил леденящий ужас, и император умер, но через секунду воскрес — в полной тьме, среди грома, криков людей и удушающей пыли. Император побежал по лестнице наверх, в комнаты княгини, полагая, что она погибла, но Катя, живая, бежала ему навстречу, крича: «Саша! Сашенька!», и они обнялись в темноте, как могли бы обняться в раю на другой миг после смерти.

Андрей расхаживал вдоль ограды Александровского сада, ожидая, как обычно, около двадцати минут седьмого появления со стороны дворца высокой фигуры Степана. Тот несколько запаздывал, и Андрея охватило волнение предчувствия. Вдруг увидел Степана. Тот шел своим обыкновенным, размашистым шагом, но без особой спешки, именно шел, а не бежал,— а Андрею казалось, что если произойдет, то Степан должен побежать, во всяком случае эти последние сотню шагов побежать, значит, опять, неудача, волнение сникло,— и, подойдя к Андрею вплотную, сказал очень спокойно: «Готово». Через полминуты раздался грохот взрыва. Они оба, уже направлявшиеся прочь от Дворцовой площади, остановились и оглянулись. Во дворце погас свет. Оттуда доносились крики. Какие-то люди бежали через площадь, которая вмиг стала темной, как ночью. Понять, что там

---

[1] Семья (*нем.*).

и как произошло, было сейчас невозможно. Ждать рискованно. Андрей повел Степана к ожидавшему извозчику, своему человеку, и — помчались.

В квартире, на Большой Подьяческой, где было приготовлено убежище, Степан спросил:

— Оружие есть? Я живой не дамся!

Оружия было достаточно. Аня Якимова, землячка, хлопотала вокруг самовара, ставила на стол закуски, но Степан отмахивался:

— Чай не хочу! Только пил! Ничего не хочу!

Его спокойствие, так поразившее Андрея, исчезло. Теперь он не мог ни сидеть, ни лежать и кружил, не останавливаясь, по комнате, рассказывал одно и то же: как протекали минуты перед взрывом. Как ему непременно нужно было помешать тому, чтоб зажгли лампу, а они, черти, все норовили зажечь. И тут еще печник, Аверьянов, зашел и спрашивает: «Чего вы впотьмах сидите?» Понять рассказ было трудно, и всех трясло дикое, пьяное возбуждение. И думали совсем о другом. Итак, этой медленной колымаге дан могучий толчок! Не иначе, перевернется! Завтра утром Россия вспрянет ото сна: новый император? Новое правительство? А может быть — республика? Земский собор?

Андрею не терпелось побежать в город, на улицы, чтобы узнать: что же там рухнуло, под обломками?

Степан же все твердил про какого-то печника Аверьянова, столяра Богданова, как они сидели с пяти часов в подвале, пили чай, и никак их, чертей, не прогнать было на вечернюю работу, а другой столяр, Разумовский, такая гнида, все хотел зажечь лампу, а Степан на него кричал, чтоб не трогал, потому что керосину мало, а если фитиль поднять, то лопнет стекло, а сам следил за часами, время было половина шестого, они все не уходили. Ведь о них, чертях, заботился. Наконец, Богданов ушел, печник Аверьянов ушел, а Разумовский хотел достать из шкафчика петли и замок для шкатулки, которую он делал, Степан опять на него закричал, и зажег огарок свечи, и тотчас же потушил. Потому что, если б горела лампа, еще бы дураки набежали, и тогда уж конец. В шесть часов семейный обед, с немецким принцем. Наконец около шести ушел Разумовский, но тут пришел еще какой-то и спрашивал: дома ли Петроцкий? Петроцкий, надзиратель, дома как раз не был...

Андрей побежал на тайную квартиру, где мог быть Михайлов. В Петербурге все шло чередом. Метель пре-

кратилась. Дворники сгребали снег, лавки торговали, в ресторанах играла музыка. Богатые кареты стояли перед театром.

Михайлов оказался на месте. Он знал о взрыве, но ничего — о результатах. В глубине комнаты, на диване сидел и курил в черной шерстяной фуфайке, в сапогах Андрей Пресняков. Они не виделись с Александровска.

Пресняков смотрел пристально своим недвижно-светлым, водянистым взглядом — не на Андрея, сквозь.

— Теперь я братишку устроить не смогу. Ты, Митрич, похлопочи,— сказал Пресняков.

— Непременно,— сказал Дворник.— Я записал.

— Ты через Грачевского. У него есть мастер знакомый, золотых дел...

— Не волнуйся! Устроим твоего братишку.— Кивнув на Преснякова, сказал Андрею: — Вчера казнил предателя Жаркова, Сашку саратовского. На невском льду. Так что будет теперь скрываться, как и Степан.

Это было идеей Дворника: одновременно со взрывом во дворце убить шпиона. Половина замысла удалась, шпион заколот. А что же с императором?

И только поздним вечером пришло известие от Кибальчича, который был связан с газетами: император и вся его семья живы. В нижнем этаже, в помещении кордегардии, погибло одиннадцать солдат и около пятидесяти ранено, в их числе несколько человек дворцовой прислуги.

Степана это известие сразило. Он на глазах помертвел, когда в полночь пришел Андрей и сказал. Силы оставили, повалился на пол и лежал, обхватив руками голову. Подняли, перенесли на кровать. Он стонал: «Ведь говорил же... Борису никогда не прощу...» Наутро Россия не воспрянула ото сна. Император остался прежний. В конке публика разговаривала о смягчении морозов, о заезжем медиуме, о рысистых бегах на Неве, где первой пришла кобыла Венгерка графа Адлерберга. Но в глазах людей горело жуткое, тайное любопытство: хотелось скорее выскочить из конки и к кому-то бежать, передавать, узнавать, советоваться, изумляться, восхищаться. И бедный граф Адлерберг, кобыла которого пришла первой!

ГЛАВА ШЕСТАЯ

Стали кругами расходиться слухи, разговоры, догадки и совершенно достоверные, из первых рук, известия. Например, о том, что все дворцы минированы и скоро начнут взлетать на воздух. Невский тоже минирован. Ждут сигнала не то из Варшавы, не то из Женевы, и, как сигнал придет, сразу — бух! Многие из городских обывателей, у кого была возможность, потянулись из проклятой столицы в деревню. Говорили, что дороги из Питера перекрыты. На вокзалах обыскивают. Ищут какого-то мужика с громадной черной бородой, но она у него фальшивая, иногда ходит вовсе без бороды, в золотых очках и в цилиндре, так что поймать невозможно. Мужик этот, который, конечно, вовсе и не мужик, работал в царском дворце главным надзирателем, поставленный туда от Третьего отделения, но всех обманул, и тех и этих, мину нафуганил и был таков. Все эти и многие иные подробности Андрей слышал в трактирах, на Сенной, в Гостином дворе. Но притекали и более существенные сведения.

Граф Адлерберг, как передавал Тигрыч от некоторых своих знакомых, легальных журналистов, сильно подорвал кредит тем, что отказывал Гурко в обыске дворца полицейскими силами. Не хотел, чтобы открылись тайные покои княгини Долгорукой. А между тем найденное у Квятковского «крокú» Зимнего с подозрительными отметками не давало покоя. Гурко вызывал Дельсаля, вызывал полицеймейстера Комарова, всем совал в нос загадочный рисунок, чуял солдатским чутьем, что тут скрыто мерзкое, но настоящей тревоги возбудить не смог. Обыск проделывала специальная дворцовая полиция, ротозеи, безответственная и наглая публика, и вот результат. Балканский герой лишился губернаторства. Но главная монаршья ярость обрушилась на Третье отделение. Было ясно, что участь этого учреждения решена. По некоторым сведениям, просочившимся из дворца, император, подавленный и растерянный, мучимый припадками астмы, проводил почти непрерывные совещания с ближайшими сановниками, министрами и вызванными в столицу генерал-губернаторами из других городов. Харьковский губернатор граф Лорис-Меликов проявил, как говорят, наибольшее хладнокровие и, в то время как прочие сановники, охваченные паникой, бормотали невразумительное, предложил программу: обеспе-

чить единство распорядительной власти. Создать учреждение с самыми широкими полномочиями и поставить во главе одного человека. Рассказывали, император встрепенулся, вышел вдруг из состояния мрачного оцепенения и, указывая на армянского графа, сказал: «Этим человеком будешь ты!» Так была создана Верховная распорядительная комиссия во главе с Лорис-Меликовым.

Странные дни! В партии царило уныние: гибель типографии, аресты лучших работников, неудача со взрывом. Но и во вражеском лагере было невесело. Если революционеры хозяйничают в царском дворце, как у себя дома, то — кто же хозяин в стране? Кто истинный император — Александр II или Исполнительный комитет?

Прошла неделя, другая, появились иностранные газеты с подробным описанием русских событий, с картинами паники и ужаса, охвативших петербургских вельмож, и сделалось очевидно, что унынию предаваться не следует. И Андрей сказал Степану, который все еще был тяжело удручен: неудача со взрывом дворца есть на самом-то деле величайшая и весь мир ошеломившая удача. Степану показали газеты. Он немного ободрился. На улицах слышались полные трепета разговоры о Комитете: в том смысле, что теперь, мол, для него нет ничего невозможного. И донесся из-за границы отклик Жоржа Плеханова, неуступчивого противника, в январе покинувшего Россию: «Остановить на себе зрачок мира — разве не значит уже победить?»

— Нет, не значит, далеко не значит,— говорил Андрей на заседании Комитета, пожалуй, единственный, не разделявший радости от того, что глава «Черного передела» склонил голову, изъявил восторг.— Потому что дело надобно довершить. А наш уважаемый Жорж в форме восторженного признания как бы призывает нас: остановитесь! Вы уже победили! Нет, господа, мы находимся лишь на пути к победе и останавливаться не должны.

А все же неисцелимая горечь: так долго, так кропотливо готовиться, превозмочь столько трудностей, проявить такую выдержку нечеловеческую...

Было решено начать подготовку к новому покушению на царя: в Одессе, куда царь заедет весной по дороге в Ливадию. В Одессу к Вере Фигнер направляли Саблина, немного позже к ним должны присоединиться Соня Перовская и техник Исаев. Все меньше делался

круг бойцов: одни гибли, другие уезжали. Незадолго перед взрывом уехали за границу Морозов и Ольга Любатович. Андрей их провожал. К Воробью он испытывал дружеские чувства, еще со времен Большого процесса. Поразило мужество, с каким этот юноша, на вид тщедушный, порвал со своей средой, богачами, аристократами. По-видимому, в характере была эта твердость: расставаться решительно. Что можно было сделать? Андрей уговаривал повременить, но — вяло, понимая безнадежность. Пойти им на уступки было нельзя, они же не соглашались на третьи роли. Воробей со смехом рассказывал, как Михайло предложил ему дело: вырезывать печати. Ничего себе «дело» для террориста! Интересно, кому пришла такая блестящая мысль? Андрей торопил: нужно было уехать до взрыва, а взрыв мог быть каждый день. Они успели.

В Кронштадте был дом, куда Андрея зазывали много раз в гости и, кажется, вполне искренне и хлебосольно: дом Сергея Дегаева, отставного артиллерийского офицера. С Дегаевым Андрей познакомился еще осенью через семью моряка Николая Суханова, а к Суханову он явился почти сразу по приезде из Александровска в Питер: сестра Суханова Ольга Евгеньевна Зотова была женою хорошего приятеля Андрея по Одессе и Крыму Коли Зотова. Так завертелось это знакомство, очень важное. Андрей еще в Одессе, год назад — всего год, а будто десять прошло, так переменилась жизнь, *его* жизнь! — понял, что без военных никуда не денешься, если думать о восстании всерьез. Без их опыта, дисциплины, оружия.

Тогда, в конце ноября, Николай Суханов еще не был таким готовым на все, убежденным революционером, каким стал теперь, к февралю. Тогда он был просто ожесточившийся, разочарованный в своей службе и в будущем человек. Он вернулся с Дальнего Востока, где служил офицером в сибирской флотилии. Служба длилась несколько лет. В последний год Суханов был назначен ревизором на одно из судов и сразу же столкнулся с чудовищным произволом и казнокрадством. В заграничном плавании командиры, старшие механики, а заодно и ревизоры привыкли наживать громадные состояния. С помощью ложных ведомостей и фальшивых справочных цен на уголь — при содействии консулов и подряд-

чиков, которые, разумеется, получали свой куш,— они легко загребали большие деньги. Суханов отказался подписывать фиктивную квитанцию. Командир корабля ему угрожал. Старшие механики обещали: камень на шею и за борт. Суханов упорствовал. Дело дошло до суда, на котором другие командиры, такие же прожиратели угля, стремились выгородить своего коллегу, но все же были вынуждены временно отстранить его от командования. Суханова же, придравшись к какой-то формальности, отставили от производства в следующий чин.

Он приехал в Питер, переполненный гневом, уязвленный, и в таком состоянии — говорил о своей службе на востоке только с проклятьями! — познакомился с Андреем. Было нетрудно объяснить, что гниль и воровство, цветущие в сибирской флотилии, есть лишь маленькая деталь общей картины разложения. Те же воровство, продажность, та же спайка худших людей, убиение лучших царят повсюду: в армии, в министерствах, в судах, в земских учреждениях. Мичман Луцкий, сербский доброволец, рассказывал о порядках в «Освободительной армии»: интенданты занимались дневным грабежом, и никакие протесты не помогали. Ничего нового. Об этом говорила вся Россия. Но чем помочь? Как переделать все это, чтобы порядочные люди могли порядочно жить? Суханов в Сибири познакомился с политическими ссыльными. Да и в юности, в морском училище, принадлежал к «китоловному обществу», имевшему туманные поползновения к революции или, во всяком случае, к переустройству мира на разумных началах.

Он был высок ростом, строен, белокур, с каким-то особым обаянием доброго, мягкого, но в чем-то непреклонного человека. И Андрей, кажется, понравился ему сразу. Это Андрея не удивляло. Он знал за собой: умел нравиться. Но — людям определенного склада. Зато были другие — и это тоже хорошо знал,— которые, ни о чем не догадываясь, сразу, на дух, не принимали его. Вокруг Суханова собирались, к нему тянулись.

Люди с обостренным чувством совести всегда группируют вокруг себя, невольно, по странным законам человеческого тяготения.

— Что будем делать? — спрашивал кто-нибудь из гостей, приходя с мороза, озябший, в теплую квартиру, где всегда ярко горели свечи, кто-то играл на рояле, кто-то разливал морской шотландский напиток и пахло сигарами.

— Как что? Писать конституцию! — говорил Суханов.

И приносил бумагу и карандаш. Все смеялись. Это была шутка, ставшая, впрочем, навязчивой. На бумаге записывались робберы. В один из первых вечеров, между вистом, напитками и молодым балагурством — среди гостей были две барышни, подруги Ольги Евгеньевны по консерватории,— разговор неожиданно затеялся всерьез. Моряки стали жаловаться на невзгоды офицерской жизни: притеснения командиров, оскорбительный тон, один стрелял в старшего по чину и попал на каторгу, другой, не выдержав, покончил самоубийством. Но главная беда: материальное положение. Даже необходимые расходы не покрываются жалованьем. Все четверо моряков, кто были в комнате, оказались в долгах. А как иначе жить? Простой ремонт одежды требует ежегодно рублей сто пятьдесят, двести, взять их офицеру негде. «Странная страна Россия!» — думал Андрей, слушая эти признания. Барышни ввиду позднего часа ушли, кто-то поехал провожать. Поразительная страна! Треть бюджета тратится на войско, становой хребет, на войске все держится, вот на этих, вышколенных с детства служаках, и если уж они недовольны... Кому же сладко в этой стране? Поэт был прав, мучаясь над загадкой. Понять сие немыслимо. Царю, кажется, тоже не велика радость жить, когда взрывают на дому и взорвут — теперь уж ясно — непременно.

Моряки заговорили о революционных делах. Представления были весьма смутные, ничуть не яснее обыкновенных обывательских, но эти дела и таинственные фигуры их, как видно, интересовали. Суханов, знакомя Андрея, намекнул на то, что Чернявский — так звался Андрей — имеет какое-то отношение к тем людям. Кто-то из офицеров спросил: «Чего же вообще эти господа хотят?» И Андрей прочитал тогда целую лекцию морякам, свою первую лекцию о сути социальных идей, о том, чего «эти господа хотят», его слушали со вниманием, но, как он заметил, без особого энтузиазма. Чего-то он не учел. Не нашел верного тона. Говорил о том, о чем привык говорить с рабочими, студентами: о необходимости сбросить «нравственный гнет и рабство». Но офицеры, несмотря на их недовольство, все же не чувствовали себя рабами. И еще другое. Суханов сказал Андрею, когда они остались вдвоем: «Вы их соблазняли лучшими видами на их личную жизнь. Это не совсем то,

что может воспламенить. Поймите, мы все, дворянского отродья, несколько романтичны. И хотя мы жалуемся, и ворчим, и сидим в долгах, но зажечь нас может одно: самопожертвование!»

Потом была другая сходка, на той же сухановской квартире. Андрей приехал с Колодкевичем. Суханов заранее пригласил гостей, объявив, что у него будут «очень хорошие люди». Пришло много моряков, человек пятнадцать. Теперь все произошло не так непроизвольно и как бы случайно, как в первый раз, а открыто, четко, по-военному. После нескольких минут общей пустой болтовни Суханов вдруг встал и, обращаясь ко всем, сказал:

— Господа, эта комната имеет две капитальные стены, две другие ведут в мою же квартиру. Мой вестовой — татарин, почти ни слова не понимает по-русски. А потому нескромных ушей нам бояться нечего, и мы можем приступить к делу.— И к Андрею: — Ну, Андрей, начинай!

За несколько недель они перешли на «ты», Суханов знал теперь настоящее имя Желябова. Но, как у всех военных, нелюбовь к конспирации была у него какая-то упорно-болезненная. Скрывать и мистифицировать не умел, не любил и, кажется, в глубине души считал делом непорядочным. По этому поводу уже были столкновения. И вот: звал то Борисом, то Андреем, а то Тарасом. Желябов поднялся и заговорил просто, как о деле самом обыкновенном и житейском.

— Ну что ж, господа, если вас интересует, как сказал Николай Евгеньевич, программа и деятельность нашей партии — извольте, я расскажу. Мы, террористы-революционеры, требуем следующего...

При словах «террористы-революционеры» в комнате наступило поистине могильное молчание и все уставились на Андрея с изумлением и, кажется, даже слегка оторопев. Он понял, что большинство моряков не ожидало таких категорических определений от «очень хороших людей». Один молоденький мичман сделал порывистое движение встать, но остался сидеть. Андрей валил все в открытую. Он испытывал тот особый, отчаянный подъем всех сил души, когда не задумываешься о последствиях, когда не разум и логика говорят за тебя, а — смелость и правда. О чем он говорил? О бедствиях России. И о том единственном пути, который был у русских людей, чтобы выжить и победить. Говорил о могу-

ществе партии, поставившей для себя девизом волю народа. О ее громадных возможностях, связях в обществе, отделениях в других городах, друзьях за границей, о бесколебательной уверенности в том, что очень скоро — невероятно скоро, даже не стоит говорить, как скоро, ибо могут не поверить,— все в России капитально переменится.

Наверно, было безумием говорить все это людям в военной форме, в большинстве незнакомым, которые смотрели на него в ошеломлении. Но Андрей не мог остановиться. Его «заносило», как бывало в юности, на одесских студенческих сходках, кончавшихся потасовками. А если начнут возражать, он станет говорить еще резче! Он скажет им, что высшее рабство есть служение тому строю, который считаешь несправедливым, и что все они, носящие мундиры русской службы, должны отвечать за прелести самодержавия, за высылки, рудники, за Чернышевского, за поляков... Но моряки не возражали. Слушали молча. По лицам было видно, как что-то у них внутри, в глазах, непреодолимо меняется. Андрей чувствовал: в них переливаются его одушевление и азарт. Это были совсем не те люди, что час назад пустословили, сыпали анекдотами и спорили о вокальных и иных достоинствах мадам Рейналь. Андрей ощущал привычную и сладкую власть. Он знал, что если крикнуть сейчас: «В ножи!», или «Взломать цейхгауз, забрать оружие!», или же «Поднять якоря и ввести корабли в Неву!», они встанут, как один, и пойдут за ним в сей же миг. Но еще через час, два, когда кончится сходка — исчезнет угар, остынет кровь, померкнут глаза, и они вернутся назад — даже не к мадам Рейналь, а к своим долгам, невестам, к бедным матерям в захолустных деревеньках и к страху потерять, лишиться, пропасть.

И только немногие из них как Коля Суханов, на щеках которого горят воспаленные пятна...

Нет, было несколько человек, кого Андрей зорким глазом приметил: Карабанович, живший на квартире Суханова, Завалишин, Серебряков, Юнг, молодой артиллерист Дегаев. На этих, кажется, можно рассчитывать. Когда начался общий разговор — о программе,— они с удивлением признавались, что не ожидали того, что революционеры требуют учредительного собрания и национализации земли. Полагали, как видно, что революционеры лишь разрушители. Милое дело! Нечто вроде разъяренных горилл.

— Если бы не пункт о терроре,— сказал один моряк,— я бы тотчас подписался под вашей программой.

И в тот вечер так думали, кажется, все.

Суханов был в восторге от речи Андрея, от впечатления, какое тот произвел на моряков, и в следующую встречу пообещал: набрать в Кронштадте, среди офицеров, триста человек в партию! Андрей его охладил. Если бы тридцать — было б великолепно. Многие ли из тех, что горячились в тот вечер и хотели подписаться под программой, искали с Сухановым встреч, ждали продолжения? Человека три. Четвертый под вопросом. Так Андрей и думал. Уловление душ — дело медлительное. Слова, даже самые пылкие, действуют на короткое расстояние, как слабосильные старые мушкеты, нужны — потрясения, взрывы.

После взрыва во дворце Андрей поехал в Кронштадт с Соней, Котом-Мурлыкой и Аней Корба. Была середина февраля. Метели не утихали. Поезд шел медленно, останавливался, путейские работники разгребали снег. А в Одессе теплынь, сухо, ходят без пальто, и Соня туда собиралась через несколько дней. Андрей и Кот-Мурлыка, недавние одесситы, вспоминали, шутили, давали советы. Колодкевич, черный, заросший густой бородой, с темно-синими, сверкающими глазами, рассказывал с акцентом смешные одесские истории и был похож на истинного еврея-корчемника. Смеялись, настроение было веселое. Сосед по вагону, чиновник в дорогой шубе, смотрел сурово: то ли не одобрял издевательства над акцентом, то ли решил, что едут действительно инородцы и ведут себя недопустимо развязно. А ехали в гости: к Сергею Дегаеву. Этот двадцатидвухлетний артиллерийский штабс-капитан, теперь в отставке, с осени горячо прилепился к Суханову и к его петербургским посетителям и, кажется, всерьез намеревался стать революционером. Андрей не был с ним вполне откровенен, Суханов располагал к откровенности больше, но мелкие дела Дегаеву поручались, и тот выполнял их всегда необыкновенно ретиво. Андрей велел ему закручивать связи с петербургскими артиллеристами и кружками студентов. Зимою Дегаев привез в Кронштадт из Харькова семью: мать, двух сестер, старшая из которых была замужем, и младшего брата. Ему очень хотелось познакомить домашних со своими новыми друзьями, перед которыми он, видимо, благоговел (однажды сказал Андрею, что если б увидел когда-нибудь Морозо-

ва, то непременно его расцеловал бы), и стал приглашать Андрея и других в гости. Было некстати, откладывалось, переносилось, Дегаев стал обижаться, а когда после взрыва в Зимнем Андрей встретил его на улице, Дегаев сухо и церемонно поклонился.

— Я вас поздравляю с мондиальным успехом! Разумеется, у вас нет времени посещать каких-то штабс-капитанов в отставке, которые пылают к вам бесполезным сочувствием.

Андрей что-то сказал в свое оправдание. Ему стало неловко. У Дегаева было какое-то мелкое, в ранних морщинах лицо, побелевшие губы сжаты в пучок.

— Если вы не желаете или вам некогда — скажите прямо. Иначе я должен расценить, что вы мой дом избегаете!

На слове «избегаете» было сделано ударение, и Андрей понял, что человек болезненно уязвлен. Зачем же отталкивать? Решили в первое свободное воскресенье поехать, тем более что у Андрея возникло дело к Суханову. Он полагал, что настало время побуждать моряков организоваться. Женщины с Колодкевичем пошли на квартиру Дегаева, Андрей сказал, что придет попозже.

Разговоры о революционной организации среди морских офицеров — не только для рассуждений, но и для дела — Андрей с Сухановым уже заводил. Тот соглашался, но все откладывал, говоря, что есть несколько пунктов, которые не всех устраивают. Централизация, строгая дисциплина — от нее устали на службе — и тайные убийства. Вообще — конспирация. Гораздо привлекательнее была бы открытая борьба, баррикады, восстание. Андрей узнавал свои сомнения полуторагодичной давности.

— Я преклоняюсь перед тем, что вы натворили во дворце,— шептал Суханов. Ольга Евгеньевна не слышала, разговаривая в соседней комнате с каким-то гостем.— Сам по себе акт изумительный. Но, во-первых, вы убили невинных людей. А во-вторых,— Суханов страдальчески сморщил лицо,— согласись, что тайное приготовление убийства отдает несколько Цезарем Борджиа...

— Позволь, ты говоришь о восстании, но каким образом ты надеешься его поднять?

— Этого я еще не знаю.

— А мы знаем. Если бы царь был взорван — была бы взорвана идея царской власти, данной богом, а в на-

роде, к сожалению, нет ничего крепче и долговечней этой идеи — и в результате возникшего хаоса могло начаться восстание.

Суханов молчал, обдумывая. Андрей знал: перемены в этом человеке будут происходить быстро. То же было и с ним. Из соседней комнаты вышли Ольга Евгеньевна с незнакомым Андрею моряком. Представили: барон Штромберг. Слышал о нем от Суханова. Худой, ясноглазый, с рыжеватой раздвоенной бородой, похожий на пастора, лейтенант только что прибыл с Дальнего Востока. Но успел уже кое-что прознать об Андрее.

Пожимая руку, сказал насмешливо:

— А у вас тут бог знает что! Какие-то взрывы, какие-то собрания недозволенные, споры о французской революции. Да вы с ума сошли? В то время как империя напрягает все силы для борьбы с исконными врагами, турками внутренними и внешними...— И неожиданно переменив тон на серьезный: — Надо писать устав и программу кружка.

Суханов и Андрей расхохотались.

— Набрался от каторжан крамолы — ужас! — Суханов шутливо толкнул Штромберга плечом.— Нет, господа, раньше осени затеваться нечего. С марта начинаем готовиться к плаванью, затем поход на полгода, вернемся к октябрю, и тогда...

«Можете и опоздать»,— подумал Андрей.

Осень казалась невероятной далью, дожить — задача. Штромберг рассказывал о сибирских делах, встречах с ссыльными поляками, интересно, но у Дегаева, наверное, нервничали, и там Соня, нужно было идти. Сестра Суханова, беременная, с больным лицом, идти не захотела, к тому же, как она сказала, «Сергей Петрович скучнейший господин, а с его дамами можно говорить только о шляпках». Суханов и Штромберг тоже остались дома. Настроение в этом доме — не только из-за тяжелой беременности Ольги Евгеньевны, но и из-за каких-то ее дурных предчувствий, страха за брата и полной неизвестности о судьбе мужа, который бедствовал где-то в Сибири,— было нерадостное. Они и Андрея отговаривали идти к Дегаевым.

— Дались вам эти гости. Что вы, чаю не видели? У них жидко заваривают, а мы дадим настоящего, английского,— шутила Ольга Евгеньевна.— Имейте в виду: мать Дегаева большая дура, хотя и гордится тем, что дочка писателя Полевого.

— Сергей человек неплохой, но суетный,— сказал Суханов.— Он меня утомляет.

Все так, но Дегаев сделал шаг: ушел молодым человеком в отставку, чтобы плотней заняться революционными делами. И его работа среди студентов и особенно среди петербургских артиллеристов была явно полезной. Но, правда, было что-то,— может быть, та самая суетность, какая-то нервическая, душевная неопределенность, которую Андрей чуял,— что мешало сойтись коротко. Было, конечно, загадкой: зачем так настойчиво зазывать? И обижаться, когда людям не до гостей? Но нужно было идти. Андрей собрался, Суханов вышел в коридор проводить.

— Когда ты будешь в следующий раз? Я позову людей.

— Вот что, Коля. Ты зовешь всех подряд. Эту манеру Запорожской Сечи надо оставить — иначе нарвемся. Мне уж и так от Колодкевича попало.

— Среди моих знакомых нет предателей! — покраснев, сказал Суханов.— И вообще, предательство не моряцкое дело. Я считаю: если хороший человек, пусть приходит и слушает. Не требовать же аттестата?

— Ты делишь людей на хороших и плохих, героев и предателей. Но между светом и тенью есть множество оттенков, верно же? Так вот, милый друг: мы гибнем от оттенков.

Было темно, девятый час вечера, аптека в доме, где жил Дегаев, с освещенной газом вывеской — ориентир — закрыта, фонарь не горел, и Андрей долго плутал переулками. Все здесь было гранитное, гулкое, мертвенное, сырое. Вломился в какую-то ночлежку, где человек двенадцать лежали вповалку на полу, старик молился под лампадой и кто-то, когда Андрей открыл дверь, вскрикнул: «Ай! Стой!» Потом попал в мастерскую, где при свете керосиновых ламп работали дети, что-то резали на низких длинных столах, пахло квасцами. Наконец добрался до квартиры Дегаева и сразу увидел Соню: она выбежала раньше хозяев в коридор открыть.

— Почему так долго?

— Там приехал Штромберг, разговаривали...

У Сони, как всегда, когда она нервничала, под глазами белело: вдруг пятнами исчезал ее румянец.

— Сергей говорит, тут вечерами облавы. Третьего дня все гостиницы и ночлежные дома перерыли.

— Ну как? — спросил он шепотом, обнимая ее.

— Скука смертная...— успела шепнуть, но тут в коридоре появился Дегаев в праздничном клетчатом сюртуке, в белой рубашке с пышным галстуком по последней моде, раскрасневшийся, в заметном подпитии.

Что-то напоминало давнее, одесское: у Андрея тяжело шевельнулось в груди. Мать Дегаева с видом напряженно-гостеприимной чиновницы, пироги, домашнее печенье, одна дегаевская сестра за фортепьяно, другая, старшая, в экстравагантном платье — такие видел в Одессе, у Олиных приятельниц — пела романс за романсом, с необыкновенным упорством, Золотая Рыбка, Ласточка, Шуберт. Потом она же читала из Шиллера и Крылова. Аня Корба и Соня, как знатоки-театралки, делали деликатные замечания. Младшая сестра, очень похожая на брата, с таким же мелким, незначительным лицом, маленькая, с короткими руками, в промежутках между пением и театром исполняла фортепьянные пьесы. Андрей не мог сосредоточиться. Так же было и тогда, когда пела Оля. Но ведь у Оли голос! Мысли Андрея были заняты моряками. Плаванье, пять месяцев, разбивает все планы. Но уйти в отставку, как Дегаев, нет смысла: надо быть на судах, среди матросов, потому что военные суда в день восстания могут оказаться решающей силой. Сейчас нужно привлекать офицеров. Землевольцы, чернопеределыцы тоже пытались проникнуть во флотскую среду, но работали с нижними чинами, это их слабость, там можно пропагандировать двести лет и все на том же месте. Такие люди, как Суханов, Штромберг, стоят целого экипажа. Они подымут и поведут. Наконец, из общего разговора стало ясно, что старшая сестра Дегаева, тоже некрасивая, но какого-то другого типа, большеносая, с самоуверенными манерами, задалась целью попасть на сцену. Переезд из Харькова в столицу был, кажется, проникнут этой мечтой. Нельзя ли как-то помочь? Ведь у вас, господа, такие громадные связи! Соня, улыбаясь озадаченно, пожимала плечами:

— Какие у нас особенные связи?

— Ну не говорите, не говорите! — Мать Дегаева, конфузясь и восторгаясь одновременно, махала на Соню рукой, шептала: — Мы знаем, какие! Но мы на это не претендуем, боже упаси...

— О чем вы?

— Маман, вы наседаете на гостей непозволительно,— сказал Дегаев.— Никаких таинственных связей у

наших друзей, разумеется, нет. Кое-что в газетах, в журналах, это пустяки.

Намеки на Тигрыча, который под псевдонимом Кольцова печатался в «Деле», и на Кибальчича, писавшего в «Слове». Было бы забавно, если б они взялись протежировать певице с большим носом. Мать тотчас сказала, что в литературном мире у нее самой достаточно связей — она как-никак дочь Николая Полевого, издателя «Московского телеграфа», и сестра Петра Полевого, профессора. Ее отца называли якобинцем. А дед, отец отца, был купцом, владел фаянсовым заводом в Иркутске, вышел из простого народа.

Слушая эти странные разговоры, угощаясь закусками и печеньем, Андрей думал: время потрачено впустую. Но зачем звали? Мать Дегаева радовалась гостям, кажется, вполне искренно, умильная и какая-то искательная улыбка не сходила с ее грузного, аляповатого лица замордованной вдовством и бедностью старой дамы. Младший брат Дегаева сидел насупленный и молчал. Сам же Сергей Петрович непрестанно проявлял суетность: бросался развлекать, что-то рассказывал, прерывался внезапно, приставал с угощением. Но у Андрея было ощущение, что Дегаев хочет улучить минуту и сказать важное. И верно, он такую минуту улучил и шепнул:

— Я очень рад, что выбрали время и зашли к нам. Мать страшно довольна. Давно не видел ее такой...

Когда в полной тьме вышли на улицу — ехать в Петербург поздно, решили идти ночевать к Суханову, в большую квартиру,— Андрей сказал Соне:

— Понял наконец, зачем нас так настойчиво звали и так прекрасно кормили. Мы же знаменитость, генералы. И в этой семейке, где постоянно чем-то гордятся: отцом, дядей, «Московским телеграфом», вокализами, теперь будут еще гордиться знаменитыми знакомствами — а? — Он засмеялся, довольный своей проницательностью и чем-то еще, многим, а Соня сжимала в темноте его руку.

— А мне ваш Сергей Дегаев не нравится,— вдруг произнесла Соня и прыснула, будто сказала какую-то неожиданную глупость, самой стало смешно.— И даже не знаю, почему. Не обращайте внимания. У меня бывает: чую, как собака, а объяснить не могу.

В Петербурге готовились к празднику: двадцатипятилетию царствования Александра. Приготовления шли нервно, суматошно, в сопровождении множества слухов,

страхов, надежд. Говорили, что к 19 февраля, дню юбилея, революционеры припасли грандиозный сюрприз. Царь не решался выйти из дворца даже в Казанский собор. Говорили, что Лорис готовит какие-то замечательные реформы. Близка эра невиданной либерализации. Крестьянам будет отдана вся земля, отменят цензуру, закроют Третье отделение. И возможен даже созыв Земского собора! Однако передавали и другое. Лорис будто бы сказал Суворину: «Не толкуйте, пожалуйста, о свободе и конституции. Я не призван дать ничего подобного, и не ставьте меня в ложное положение». Слухи о готовящемся восстании ходили упорные, и дворники советовали жильцам запасаться водой и свечами, ибо во время восстания будут взорваны водопроводы и газовые трубы.

Наконец обнаружились юбилейные блага: рабочие получили трехдневный праздник без вычета платы. По городу, иллюминованному флагами и огнями — обывателям предписывалось в каждое окно выставить две горящих свечи,— шатались толпы, слегка взбудораженные напитками, а возле дворца теснилось несколько тысяч народа, глазевшего на мундиры генералов, придворных, наряды дам, сверканье карет. За два дня до девятнадцатого Михайлов сказал Андрею, что возник человек, никому не известный, недавно приехал в Питер, который хочет испортить праздник: посягнуть на новоявленного диктатора. Не просит никакой помощи. Но, может быть, помощь дать? Собрались наскоро и решили: пусть действует a là Соловьев, на свой страх и риск. Были дни неясности, общество трепетало, смутно надеялось — куда Лорис повернет? — поэтому партии стоило выждать. Ведь назначение графа Лориса-Меликова, покорителя Карса, победителя ветлянской чумы, энергичного администратора и, по слухам, человека умеренных взглядов, скрытого либерала, означало в некотором смысле капитуляцию императора под натиском левых сил. Только что появилось обращение графа «К жителям столицы», вполне спокойное и с зарядом тайного либерализма — его вычитывали между строк,— где как будто главная надежда возлагалась на «поддержку общества». Все это уже было, было! И такие обращения, и такого рода возлаганья надежд. И, однако, неисправимые мечтатели о тихом прогрессе в салонах, гостиных, в редакционных комнатах и даже в присутственных местах жужжали о новых веяньях...

20 февраля, в два часа пополудни, молодой человек — как потом выяснилось, по имени Ипполит Млодецкий, мещанин города Слуцка,— встретил Лорис-Меликова возле его особняка, когда граф выходил из экипажа, и выстрелил. У подъезда стояли два часовых, тут же находились верховые казаки, конвоировавшие экипаж, и поблизости торчал городовой. Граф упал, но сразу вскочил, доблестно бросился на стрелявшего и повалил его. Казаки накинулись, схватили. Следствие закончилось в тот же вечер, а суд назначили на другой день. Все делалось энергично, по-деловому, в новом стиле. (Лорис сгоряча подумывал повесить мгновенно, без суда, как это принято на войне или, скажем, во время эпидемии чумы.) Петербург клокотал от восторга перед графом (сам бросился, повалил!), от негодования против террористов и какого-то мистического страха перед ними: несть им числа!

На Большой Подьяческой спорили всю ночь: как следовало поступить? Дворник, полагавший раньше, что партия должна была поддержать Млодецкого или хотя бы доставить ему средства спасения, теперь говорил: «Вот и неудача, оттого что не помогли». Андрей же считал, что исход лучший, какой можно было ожидать. Убивать было преждевременно, Лорис еще не показал свои зубы, но это случится непременно. Каждая казнь должна созреть. Надо открыто, в какой-нибудь прокламации, объяснить, что партия не имеет отношения, и для властей это будет еще страшней.

На другой день, 21-го, в Петербурге говорили только о Млодецком и о суде над ним. Исход был ясен: смертная казнь. Стало известно, что Млодецкий во время следствия вел себя вызывающе, отказался отвечать на вопросы и приговор — виселицу — встретил равнодушно. Вечером пришел Тигрыч и рассказал, что в журналах повсюду возбуждение, придают предстоящей казни фатальный характер и гадают, как она отразится на политике Лориса и чем ответят революционеры.

— Я заметил, что господа либералы очень бы хотели, чтоб мы ответили! — говорил Тигрыч, посмеиваясь.

— Ну да, они бы нам аплодировали в своих теплых клозетах,— сказал Андрей.

Отвечать решили словесно. На другой день, когда было уже объявлено о казни, Тигрыч опять принес известие, почерпнутое утром от каких-то газетчиков: писатель Гаршин, болгарский доброволец, явился чуть ли не

на рассвете домой к Лорис-Меликову и умолял его простить и помиловать Млодецкого. Диктатор будто бы что-то пообещал Гаршину — чей поступок сам по себе смехотворен, если не безумен! Но, кажется, высочайшее утверждение приговора уже произошло. Андрей стоял в толпе народа на Знаменской, когда Млодецкого везли из крепости на Семеновский плац, через весь город. Одной минуты, пока провозили мимо и Андрей вглядывался в проваленное, улыбающееся несколько застыло и высокомерно лицо Млодецкого — лицо уже неживое, свечной белизны,— было достаточно, чтобы все понять и увидеть. Внезапно увидел себя в этой выпрямленной фигуре, в этих взглядах, бросаемых отрешенно и презрительно сверху вниз, на толпу. Публика стояла в угрюмом оцепенении. Праздник был нарушен. Это никому не нравилось. И вообще, было непонятно: в кого стреляют, зачем? Графа только что назначили, он еще никак не определился, и почему-то стреляют. Видно, что-то кому-то ведомо. Неспроста делают. Женщина, стоявшая рядом, крестилась незаметно и шептала: «Господи, спаси люди твоя...»

И еще один человек, писатель Федор Достоевский, вдруг увидел себя — но не в будущем, скором или дальнем, а в прошлом, почти забытом, никогда не забываемом — в высокой фигуре Млодецкого этим же сырым февральским днем. Третьего дня, когда произошло покушение, но еще было о том неизвестно, явился в гости Суворин, и затеялся именно об этом, о покушениях, разговор. Ничего ведь не знали! Но ужас от дворцового взрыва еще не рассеялся. Недавно случился припадок, и было то чувство освобождения, покоя и возвращения к жизни, слаще которого ничего не бывает. Может быть, только мгновенье перед припадком: оно еще слаще, еще пронзительней, но это уж совсем блаженство, которое Магомет называл райским. И как всегда после припадка, было жарко, лицо заливало потом, и был вид человека только что из бани, с полка́.

Люди изумляются, видя его в таком распаренном состоянии. Суворин тоже изумился, пришлось объяснить: да, четверть часа назад. Аня была суха с ним — не любит, когда приходят, беспокоят сразу после припадков,— но, боже мой, как же не могут понять, что как раз в эти минуты он здоровей, счастливей и яснее умом, чем самый здоровый человек!

Суворин был приятен, как всегда приятны люди живые, меняющиеся. Человек должен меняться, куда-то двигаться, превращаться во что-то иное. Впрочем, то же и с обществом. И вот тогда, третьего дня, еще до прихода Суворина, когда набивал папиросы и обдумывал — почему все это продолжается, и нету конца? — возникла эта мысль. Дело в том, что общество уже не только равнодушно, но выработало какую-то особую, вывернутую наизнанку стыдливость в отношении террора, покушений и всей бесовщины. Ах, старое слово — бесовщина! Все стало гораздо запутанней и страшней. И не поймешь с налету, как казалось когда-то, девять лет назад.

— Представьте себе, Алексей Сергеевич,— стал рассказывать Суворину,— что мы с вами стоим у окон магазина Дациаро и смотрим картины. Около нас стоит человек, который притворяется, что смотрит. Он чего-то ждет и все оглядывается. Вдруг поспешно подходит к нему другой человек и говорит: «Сейчас Зимний дворец будет взорван. Я завел машину». Мы это слышим. Как бы мы с вами поступили? Пошли ли бы мы в Зимний дворец предупредить о взрыве или обратились ли к полиции, к городовому, чтоб он арестовал этих людей? Вы пошли бы?

Суворин сказал: нет, не пошел бы. В том-то и дело. Ведь это ужас. Это — преступление. Мы, может быть, могли бы предупредить. Вот набивал папиросы и думал, перебирал причины, по которым нужно было это сделать: причины серьезные, важнейшие, государственной значимости и христианского долга. И другие причины, которые не позволяли бы это сделать. Эти прямо ничтожные. Просто — боязнь прослыть доносчиком. Представлялось, как приду, как на меня посмотрят, станут расспрашивать, делать очные ставки, пожалуй, предложат награду, а то заподозрят в сообщничестве. Напечатают: Достоевский указал на преступников. Разве это мое дело? Это дело полиции. Она на это назначена, она за это деньги получает. Мне бы либералы не простили. Они измучили бы меня, довели бы до отчаянья. Разве это нормально? У нас все ненормально, оттого все это происходит, и никто не знает, как ему поступить не только в самых трудных обстоятельствах, но и в самых простых...

А вечером жена принесла эту новость: опять нападение террористов! Никто не убит, не ранен, но было покушение убить, злоумышленник схвачен. Какая-то

ужасная и непонятная тяжесть, когда сообщили: сегодня казнь, на Семеновской площади. Накануне читал в Коломенской женской гимназии, по просьбе Вейнберга. Отрывок из Карамазовых. Была такая радость, такое ликование души, понимающие лица, слезы, благодарность, не хотели отпускать, разговор о Христе, и где-то за всем этим неотступно: завтра отнимут жизнь. Там же, на той же площади. И не мог удержаться и, ничего не сказав, поехал, ибо тут была не только жажда памяти, но и необходимость увидеть, разделить и понять. Преступление и наказание есть поистине преступление и страдание. И еще истинней: страдание и страдание. Семеновский плац был так же уныл, безграничен, бел от снега, как тогда, в декабре, тридцать лет назад. Но снегу тогда было очень много, глубокого, и, когда велели выходить из карет, они выпрыгнули прямо в снег, на мороз, невероятный мороз, и все были в легком, весеннем, как их забрали в апреле. Алым углем в тумане тлело солнце. И так, по глубокому снегу, проваливаясь, пошли к середине площади, где стояло что-то деревянно-квадратное, обтянутое черным трауром. Но тогда никто из них не мог предположить, что сейчас будет смерть, не соображали, были как во сне и шли, как во сне, вдоль длинного каре войск, сомкнутых вокруг эшафота. Вдруг увидели столбы на эшафоте, потом долгая расстановка, шапки долой, мороз давил сердце, убивающий мороз, невозможно дождаться конца чтения, ноги подламывались, и вот слова: «всех смертной казни — расстрелянием». Было мертвое ошеломление, священник звал к исповеди, целовать крест, но никто не мог сделать ни шага...

Преступник был высок ростом, с матово-белым длинным узким лицом. Он кланялся на все стороны, прощаясь с народом. В его облике было какое-то нечеловеческое спокойствие, и это было страшно. Страшней всего. Потому что чуялось: человек того и хотел, оттого спокоен. К этому страданию — чтобы вот кланяться так в предсмертную минуту, на площади, на глазах у молчащей толпы — человек и стремился, и мучился своим скудным, темным разумом, и достиг. Из толпы крикнули что-то глумливое. Но зачем же годы труда, терзанья духа, вся задача жизни (разбитие анархизма), если человек находит в этом последний, высочайший покой? Алеша Карамазов пройдет монастырь и станет революционером. Нет, не в поисках анархического или какого-

то иного социального строя, а в поисках правды. В бегстве от того самого отрицателя — презирателя человечества,— который хлебы, башню Вавилонскую и рабскую совесть назовет счастьем. И Алешу непременно казнят. Будет так же стоять, белея лицом, и кланяться, и потом крикнет что-то толпе. Приговоренный крикнул, но из-за отдаления услышать было нельзя. Потом узналось, крикнул: «Я умираю за вас!» И было так больно, поразительно, потому что Алеша мог крикнуть именно эти слова.

Ее отъезд в Одессу был неминуем, уговоры не помогали, теперь он все ближе и ощутительней узнавал этот характер, не поддающийся чужой воле: делать себе самое больное! В Одессу отправлялись большие силы. Фигнер была там, готовила казнь Панютина, правителя губернаторской канцелярии, злобного цербера, на совести которого все одесские жестокости и расправы последних полутора лет. Вслед за Соней в Одессу должны были поехать Саблин, Гриша Исаев и Якимова. И в самой Одессе были верные люди, на которых можно положиться: Лео Златопольский, Тригони, кое-кто из рабочих. Комитет решил казнь Панютина отложить, готовить покушение на царя. Весною, по дороге в Ливадию, Александр мог проехать — была такая вероятность — через Одессу.

Но зачем непременно — Соня? Ведь они расставались. Теперь каждая разлука могла быть навсегда. И уже было сказано между ними, не известное никому, потому что было слабостью и касалось только их двоих: постараться до конца быть вместе. Постараться! Но в первую же минуту, когда возник разговор об одесском покушении на царя (снять лавочку под видом жены и мужа, затеять торговлю и оттуда, из лавочки, подвести мину под улицу, которой Александр поедет от вокзала к пароходной пристани), Соня сразу потребовала, чтоб в Одессу послали ее. И конечно, Комитет согласился, потому что с ролью простонародной бабенки, Сухоруковой, она справилась блестяще. Андрей мог бы быть отличным для нее напарником,— Соня, оправдываясь, говорила, что тотчас подумала о нем и лишь потом сообразила, что это невозможно,— но он не мог ехать в Одессу. Слишком хорошо его там знали. Итак, она назначалась главным ответственным лицом: Вера Фигнер и Баска придавались ей в помощь, Саблин, агент Комитета, назначался

«мужем», а Гришка Исаев отвечал за техническую, динамитную часть. Вот и все. Должны были прощаться. Может быть, навсегда.

·И он знал, что чем мучительней было для нее расставанье с ним — тем окончательней ее решение расстаться. Все самое трудное, самое мучительное должно доставаться ей. Больно? Значит — туда, в эту боль! Она рассказывала, как ушла когда-то из дома, не желая мириться со своеволием отца, который требовал, чтобы Соня перестала дружить с какой-то подругой, бедной девушкой. То был деспотизм в домашнем халате, убогий и отвратительный, который великолепно воспитывает силу и творит судьбу,— так и вышло с Соней, она покинула дом и сотворила судьбу. Но расставаться с матерью было первою мукой жизни.

Остановить ее было нельзя.

Чем жил Петербург, те несколько партионцев, которые были Петербургом? Спорами вокруг новой секретной инструкции «Подготовительная работа партии», составленной еще в январе Тигрычем с помощью Андрея и Дворника, поисками квартиры для типографии, освобождением Гартмана, свиданьями с Клеточниковым, сколачиванием рабочих и студенческих кружков: повседневностью! Это могли делать все. Так считала Соня. Но она, конечно, обязана была заняться чем-то исключительным и роковым. Ведь она освобождала Мышкина и Войнаральского, она хозяйничала в доме Сухоруковых и теперь мчалась в Одессу, ибо действия рока перемещались туда. Ее волновала судьба бывшего «супруга» по сухоруковскому домику, Льва Гартмана, Алхимика. И это немного задерживало отъезд. Гартмана в начале февраля арестовала французская полиция, не без помощи тайных русских агентов и русских денег. Царское правительство добивалось его выдачи. Партия прилагала все силы, чтобы этому помешать: составлялись воззвания, сочинялись письма президенту и французскому народу, погнали в Европу нарочного. Лавров во главе депутации ходил к председателю палаты депутатов Гамбетте, Гюго выступил с открытым письмом: «Вы не выдадите этого человека!» Гартмана не выдали. Его освободили в конце месяца, и он уехал в Англию.

Был шум на всю Европу. Алхимик сделался всесветной знаменитостью, а партия могла торжествовать: она спасла товарища, она победила — «жалкая кучка заговорщиков, подпольные людишки» — в состязании с могу-

щественной империей. За счет чего же? Это было загадочно. Стоило поломать голову. Две странные силы, небывалые прежде, возникли на европейской арене: одной силой обнаружило себя мировое общественное мнение, другой — русский терроризм, таинственный и всесильный. Если взрывают дворцы в Петербурге, то где гарантия, что эти дьяволы не доберутся до Елисейского дворца в Париже? Поджилочки-то небось дрогнули, когда вынырнуло из снежной дали и легло на стол письмо от «Народной воли»...

И Андрей теперь испытывал временами новое ощущение. На улице, в конке, толкаясь среди людей — но всегда один, без товарищей,— ловил себя на какой-то внезапной, горделивой, почти мальчишеской радости: «Ха-ха! А ведь сила громадная! Дрожите, милые!» Так он бежал, возбужденный, в середине марта на тайную квартиру, куда должен был прийти Клеточников.

А поздним вечером к Андрею прибежит Соня прощаться.

С Клеточниковым обычно вел дела Дворник, но сегодня Дворник занят. Андрей видел агента дважды, последний раз в январе. Агент был довольно спокоен, говорил тихим голосом, кашлял, вид болезненный. Андрея тогда поразило одно: ничего не записывал, все выкладывал по памяти. Как можно запоминать такие горы сведений? Даже высказал потом, когда Клеточников ушел, сомнения: неужели все так уж точно? Дворник сказал: все точно, это проверено.

Николай Васильевич ждал. И Андрей сразу увидел: агент сильно взволнован. Он даже как-то привскочил со стула, когда Андрей вошел. На столе стояли три чашки, из двух пили чай Николай Васильевич и Наталья Николаевна, третья пустая — приготовлена для Андрея. Но Наталья Николаевна тотчас взяла свою чашку и ушла в другую комнату. Хотя ее не так давно приняли в члены Комитета и она могла бы присутствовать при разговорах с агентом, но из деликатности всегда уходила. Иногда ее звали, иногда — нет. Клеточников был высшей тайной партии, доступ к которой имели два-три человека.

— Гольденберг выдает! — сказал Николай Васильевич.— Десятого марта Третье отделение получило телеграмму от полковника Першина, из Одессы: «Гольденберг решил сознаться во всех своих преступлениях, объяснить организацию террористической фракции, указать

всех известных ему членов ее» и так далее. По сему поводу среди наших рептилий огромное ликованье.

О том, что Гришка выдает, доносились неясные слухи из Одессы и из Харькова. Но, по-видимому, выдачи были смутные, незначительные, полувыдачи. Телеграмма Першина была грозной. Гришка знал много. Что же произошло? Человек неуравновешенный, вздорный, с самомнением, но — предать? Указать всех известных ему членов? Может быть, смертельно запуган? Но ведь он не трус.

Телеграммы от Першина идут почти каждый день. Дает подробные показания. Значит, будут готовить обширный процесс и завернут туда Степана, Квятковского, Буха, Зунда, всех, кого успели схватить.

— Одну телеграмму, сегодняшнюю, я все же переписал,— сказал Николай Васильевич.— Вопреки своему правилу. Потому что тут объяснение. Вот, от того же Першина.

Он разгладил пальцем на столе свернутый в трубочку листок тонкой бумаги.

— Не скрою от Вашего превосходительства, что меры, употребленные нами для убеждения Гольденберга к сознанию, не могут быть названы абсолютно нравственными. Но, истощив все другие средства, мы должны были прибегнуть к разным хитростям, при помощи которых у него сложилось убеждение, что дело террористов окончательно проиграно, и он, чтобы уменьшить число напрасных жертв, решился выдать всех, кого знает, отнюдь не щадя самого себя...» — Помолчав, Николай Васильевич заметил: — Миленькие хитрецы! — и читал дальше: — «Гольденберг дает нам свои показания под влиянием полной уверенности, что мы действуем в тех же видах, а вчера заявил, что если бы он хотя на минуту пожалел о своей откровенности, то на другой день мы не имели бы удовольствия с ним беседовать, намекая на самоубийство».

Следствие по Гришкиному делу вел Добржинский. А, Добржинский! Андрей помнил. Белокурый, вежливый, курил тонкие папироски, щурился, улыбался. Почему-то, узнав про Добржинского, Андрей пал духом: предчувствие говорило, что этот господин вывернет Гришку наизнанку.

И весь вечер, даже разговаривая о другом, Андрей неотрывно думал о Гришке, о том, что Гришка знает и чего, слава богу, может не знать — второго было гораздо

меньше, чем первого. Практически он знал все, кроме взрыва в Зимнем. Убийство Кропоткина, покушение Соловьева, съезды, раскол на две партии, Александровск, Харьков, Москва, Одесса: везде торчал Гришка.

Николай Васильевич медленно диктовал по памяти, а Андрей записывал: Якубович Александр Филиппович, кандидат СПб. университета... В 1876 году скрылся из Петербурга, замотавши пятнадцать тысяч доверенных ему денег. Жил в Париже, путешествовал по Америке, находясь в близких отношениях к русскому посольству... Имеет большое знакомство среди столичного и провинциального общества... Борода и усы темные, выражение глаз испуганное, нос большой, греческий... Янов, Александр Иванович, роста среднего, губы толстые...

Как только появится типография, все эти сведения будут преданы гласности. Шпионов нужно убивать: физически, как Пресняков, или же вот так, гласностью. Вечером пришла Соня, и он рассказал про Гришку. Ах, как надо поехать сейчас в Одессу! Ведь никто, как он, не знает темных одесских низов, подполья, контрабандистов. Можно бы найти ходы в тюремный замок, через уголовников, и попытаться заткнуть Гришке рот. Когда его перетащат в Петербург — будет поздно.

Соня слушала подавленно. Все это — мечты, в Одессу Андрея не пустят. Ну хорошо, есть люди, которые кое-чем помогут. Он дал несколько имен, адресов и — письмо к Ваське Меркулову, рабочему.

— Самое страшное — не гибель... Что говорить, все погибнем,— сказал Соня.— А вот такое превращение. Из бабочки в гусеницу...

Она не могла отделаться от мыслей о Гришке.

Ведь Гришка, кажется, был в нее влюблен: мимолетно, вздорно, как все, что творилось в пределах Гришкиных чувств. Дворник рассказывал, как однажды застал Гришку в полупьяном бреду, лепечущим какие-то признания Соне, и грубо его приструнил. Соня очень смеялась. Она жалела Гишку. И прощала ему многое за безрассудную храбрость, но опасность зрела уже тогда, ибо храбрость без рассудка может быть злом.

Соня сказала — гримаса брезгливости мелькнула на ее лице,— что Гришкой они заниматься не станут, потому что это помешает главному делу. И потом она сказала:

— Ты знаешь, кого я хочу увидеть в Одессе?

Он молчал, вдруг догадавшись.

— Нет,— сказал он,— не нужно их разыскивать.

— Но я хочу увидеть твоего сына!

— Не нужно.

— Только увидеть, и все.— Она глядела исподлобья, и он подумал, что с таким же непокорством она глядела на отца, когда тот что-то ей запрещал.

— Ну, как угодно,— сказал он.— Но мне об этом не рассказывай. Мне это неинтересно.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

Вот откуда все покатилось с того дня, 2 февраля, когда он признался насчет Кропоткина. Разумеется, они знали превосходно, и теперь уже он догадывался, что сам вручил им это знание через Федьку, сам себя сгубил, но ведь он мог запираться, все отрицать и, однако, признался и подписал. Ночью, в одну секунду, возникла ярчайшая мысль: да, признаться, подписать, но раскрыть на суде причины, для всего мира очевидные. Рассказать об избиении студентов Харьковского университета, о насилии над арестантами в Харьковской тюрьме. Мир содрогнется! И твердо заявил Добржинскому:

— Подпишу только в том случае, если дадут возможность обратиться с открытым призывом к русскому правительству.

— Что значит: с открытым призывом? — спросил Добржинский.— С каким именно?

— Призывом крайне простым. Прекратить братоубийственную войну, то есть террор — это первое. И дать конституцию — второе.

Добржинский как бы несколько смутился, побледнел, но затем подвинул лист бумаги и сказал:

— Пожалуйста, в конце вашего показания можете изложить. А мы передадим в Петербург.

Гришка так и сделал. Призыв к правительству удался на славу, не в тоне мольбы или увещевания, а в тоне резкого, благородного требования. Через три дня пришло известие о взрыве в Зимнем дворце. Добржинский был в ужасном волнении. Он кричал:

— Вы понимаете, господин Гольденберг, как сейчас нужны России ваши знания, ваша помощь!

Известие о взрыве Гришку оглушило. Он тоже кричал:

— Я требую доказательств! Мне нужны гарантии! Ни один волос не должен упасть!

Были дни недоумения и сумбура. Полковник Першин и Добржинский выглядели растерянными дураками. Ждали перемен. Гришке разрешили покупать в лавке вино. Разрешили свидание с матерью. Старуха плакала, целовала руки жандармам, умоляла Гришку смириться, признаться, пожалеть отца, и ей позволили несколько дней жить в Гришкиной камере. Ни одной ночи старуха не спала. Возбужденный вином, Гришка ходил по камере — не ходил, а бегал, иногда кричал, размахивая руками — и произносил громовые речи. «Господа судьи! Позвольте в кратких словах обрисовать картину, от которой спирается дыхание и кровь стынет в жилах...» Мать, забившись в угол, смотрела на Гришку глазами, полными слез. Наконец Добржинский объявил:

— Ваше обращение, господин Гольденберг, передано лицам власть предержащим. Имею вам конфидентно сообщить, что оно принято благоприятственно и с особым интересом. В Петербурге громадные перемены. Создана Верховная распорядительная комиссия, во главе граф Лорис-Меликов, известный своей умеренностью. Я же говорил, я предсказывал...— и тряс пальцем в радостном возбуждении,— что наверху не одно мракобесие, есть силы разумные. Теперь одна задача: им надо помочь! Потому что предстоит титаническая борьба...

Итак, новая петербургская власть во главе с Лорис-Меликовым ждала от него, Гришки Гольденберга, помощи. Теперь это было очевидно. Почти о том же умоляли Гришку мать и несчастный отец, письмо которого мать привезла: шестеро детей и приемная дочь киевского купца оказались в ссылках и в тюрьмах, семья разгромлена, молодые жизни загублены, старики на пороге одинокой смерти. Ради чего столько страданий? «Россия великая страна, пускай о ней заботятся русские юноши»,— говорила мать. «Судьба российской молодежи, а стало быть, судьба России сейчас в некотором смысле в ваших руках, господин Гольденберг!» — говорил Добржинский. Гришка попросил чернил и бумаги. Половину февраля и начало марта он беседовал с Добржинским, обсуждал, спорил, разъяснял — тот ничего не записывал, записывал сам Гришка, вечерами. 9 марта Гришка представил обширную рукопись, восемьдесят страниц, мелко исписанных — рассказ обо всех делах, начиная с дела Засулич. Затем написал на семидесяти четырех страницах

приложение: характеристику известных ему революционных деятелей, их взгляды, труды, заслуги, особенности характера и даже внешность, что помнил. А помнил он, как оказалось, очень много. Сам удивлялся. Вспомнил и описал сто сорок три человека! Да кто в России, кроме него, Гришки, мог бы похвалиться таким кругом знакомств в революционной среде? Всех этих людей нужно было спасти от неминуемых казней, от бессмысленного разрушения собственных жизней. Гришка писал о них, прекраснейших людях, любовно, восторженно. Желябова назвал «личностью необыкновенною и гениальною».

Добржинский сообщал, что работа Гришки высоко оценивается людьми, которые ведут титаническую борьбу, что Россия не забудет Гришке его заслуг и в скором времени он будет вызван в столицу для личного разговора. В начале апреля подтвердилось: требуют в Петербург! Спешно собрались. Добржинского требовали тоже. Единственное, что несколько озадачивало: отправляли Гришку, как невесть какого важного и опаснейшего преступника, в кандалах, под конвоем одиннадцати человек. Гришка обратился к полковнику Першину: я, мол, удивлен, и нельзя ли снять кандалы, на что Першин с неожиданной, злобной усмешкой ответил:

— Что ж удивляться? Вы убийца и обязаны быть в кандалах. Удивляется, хорош гусь!

Слава богу, этот мерзавец и солдафон оставался в Одессе, а с Гришкою поехал Добржинский. Прокурор объяснил — усиленный конвой придан в видах возможного нападения, отчаянные головы не дремлют, это естественно и не должно смущать. Ну, а кандалы — формальность. Не стоит обращать внимания. «И кроме того,— шептал Добржинский,— мы же с вами знаем, что не все разделяют наши взгляды. Все вытерпеть, все снести — ради великой цели...»

Гришка был согласен с умным человеком, готов был терпеть, но возникала тревога — а все ли поймут, как нужно? На душе было как-то нудно, в дороге не спал, мучился жаждой, страхами — ни нападений, ни смерти, ничего не боялся, а только того, что не поймут. И от этого страха отвязаться не мог. Четверо суток катили в Питер, тринадцатого апреля, в холодный, синий день — даром что весна — загремели по мостовой, запахло гарью по-петербургски, в щели мелькала солнечная пестрота, и Гришка, задрожав, чуял запах трактиров, жа-

ренья, немецких сигар, пива, всей этой навсегда отрезанной красоты, которой он дышал вместе с милыми товарищами еще год назад на этих улицах. Привезли в крепость, в Трубецкой бастион. Сняли кандалы, доставили собственные, отобранные при аресте вещи, арестантский халат заменили штатским платьем и — бумагу и перья.

Добржинский, с новым, холодным блеском в глазах, казенным тоном — будто стал здесь, в Питере, другим человеком, очень смешно, Гришка внутренне потешался над этой переменой бедного провинциала — объяснил, что времена пустой болтовни кончились, надо готовить формальные показания для суда.

— Который имеет быть когда? — поинтересовался Гришка.

— Это вам знать не нужно,— отрезал Добржинский.

Гришка, не сдержавшись, воскликнул:

— Я главная фигура суда, и мне знать не нужно? Да я требую, чтоб вы мне ясно сказали!

— Вы ничего требовать не можете,— тем же тоном ответил Добржинский.

У Гришки что-то двинулось и упало в глубине живота. Ах, в сущности, чепуха — разве важно, когда начнется суд? Нет смысла поднимать шум. Он прибыл сюда не для бесед с Добржинским — хватит, набеседовались,— а для переговоров с важным лицом. Может, даже с самим графом. Добржинский намекал. Стали разговаривать о том, как нужно записать, по правилам — годно для суда — сведения о людях. Добржинский диктовал, Гришка записывал. Работали долго. Камера была просторная, метров шесть в длину, метра три в ширину, изолированная — ни с одной из сторон, ни сверху, ни снизу не доносилось ни малейшего звука.

Когда кончили трудиться, Гришке померещилось, что Добржинский стал прежним, одесским: все может понять. И он строго погрозил прокурору пальцем.

— Но имейте в виду, господин Добржинский, если хоть один волос упадет с головы моих товарищей, я себе этого не прощу!

— Уж не знаю, как насчет волос, а то, что много голов слетит,— это верно.— И ушел, не прощаясь. Впрочем, всегда уходил так.

Гришка остолбенел от этих слов. Шутка, что ли? Дурацкая, неуместная. Он барабанил в дверь, звал, требовал. Добржинский не возвращался. И только на другой

день — а ночью-то каково! — прокурор явился, как ни в чем не бывало, ни сном ни духом, улыбающийся, и подтвердил, что сказанное давеча было шуткой. В среду состоится высокое посещение: его сиятельство граф Лорис-Меликов. Нужно продумать, как и что отвечать. Граф знаком с показаниями. В своей борьбе он, несомненно, будет опираться на них, но необходимы дополнительные сведения. Особо в связи с покушением Соловьева...

Граф был смуглый кавказец, с большими и пушистыми, черновато-седыми усами. Похож на кота. И разговор был кошачий, вкрадчивый, холодный. Запахнувшись в плащ, держась от Гришки в отдалении — разумеется, не от страха, а от брезгливости,— сидел не на стуле, а на краю железного котельного листа, вделанного в виде стола в стену, покачивал лакированным сапогом и, сверля Гришку неморгающим угольным взором, задавал вопросы. Гришка начал было о конституции.

— Граф! Убеждение государя в том, что без дарования конституции...

Лорис-Меликов прервал мягким движением руки.

— Сей материи мы коснемся в другой раз.

Гришке понравилось: голос, мягкое движение, и «в другой раз». Он согласился: «Как угодно, ваше сиятельство». Да есть ли хоть один политический арестант в России, к кому в камеру пришел бы запросто и сидел бы на столе, ногой качая, граф Лорис-Меликов? Не любопытства ради, а как истинный интересант. Гришка ему нужен, а не он, граф,— Гришке. И хотя гордость и ликование переполняли Гришку, он душил свою обычную скорострельную речь, заставлял себя говорить медленно, веско, сидел на железной кровати в небрежной позе, привалившись спиною к стене, ногу на ногу, и одной ногой в казенной, растоптанной туфле, без шнурков и без задника, тоже покачивал.

Говорили о предстоящем суде, на котором Гришке надлежало выступить. Нет, не свидетелем, не дай бог, объяснителем, пророком, Моисеем, который выведет заблудший народ из пустыни горестной к обетованной земле — к миру, успокоению.

— Мы с вами не коренные российские граждане,— говорил граф, сверля глазом,— тем выше наша ответственность. Сделать все мыслимое ради покоя этой страны. Каждый на своем посту.

— Но я бы хотел... еще раз... подчеркнуть...— Гриш-

кин голос слегка дрожал, паузы были внушительные,— мои товарищи должны быть в неприкосновенности... Это непременное условие.

— Вас не убедило то, что за три месяца никто из ваших товарищей-революционеров не пострадал?

— А казнь Розовского и Лозинского в Киеве?

Об этой казни, происшедшей в начале марта, Гришка слышал от надзирателя в Одессе.

Лорис-Меликов, улыбаясь в усы,— отчего его лицо стало еще более кошачьим,— сказал, разведя руками:

— Какие же это революционеры? Мальчишки, несмышленые дураки. Они потерпели от своей глупости. Я повторяю! — Он возвысил голос.— За время деятельности Верховной распорядительной комиссии никто из настоящих революционеров не пострадал. И не пострадает, если вы будете себя разумно вести. Вы, вы! Именно от вас сейчас зависит судьба ваших друзей.

Потом были расспросы о деле Соловьева, о съездах, обо всем, что Гришка изложил на полутораста страницах, но графу многое казалось недостаточно ясным. Он вникал в разные тонкости, удивлявшие Гришку. Например, о приготовлении динамита Гришка написал со слов уж не помнил кого, то ли Алхимика, то ли еще кого-то, что динамит делается из глицерина и магнезии. Теперь изволь точно сказать: в какой пропорции, какой глицерин и какая именно магнезия, черная или белая. Особо интересовали графа харьковские дела, где как раз в это время — полгода назад — он губернаторствовал, многих лиц, упоминаемых Гришкой, хорошо знал и подробно о них расспрашивал. И еще допытывался — откуда ведом факт, будто революционеры задумали напасть на государя посредством подкопа в столице, на улице Малой Садовой? Гришка и сам забыл. Оказывается, он дал такое сведение в конце декабря, в январе передали в Питер, а откуда это Гришке залетело в ум — теперь уж не знал. Видно, кто-то давно говорил, предполагалось, запомнилось, пустое, до дела не дошло.

— Молодежь должна себе уяснить, что страна сворачивает на новую колею. Если не будет понято — тогда катастрофа.

— Молодежь готова понять, граф!

— Открытое разъяснение. Если хотите — покаяние. И в результате — примирение всех сословий, успокоение, труд во имя счастья и процветания России. Не правда ли, таким видится суд?

— И возвращение сотен наших товарищей из тюрем и ссылок. Уничтожение централов, Третьего отделения...

— Все это — как результат суда. Суд, как прилюдное, всенародное — по русскому обычаю перед миром — разбирательство, должен разрубить этот гордиев узел, в который стянулись несчастные российские обстоятельства.

Когда Лорис-Меликов вместе с сопровождавшими его двумя важными господами,— один, кажется, был из Петербургской судебной палаты, а другой — седоусый полковник,— покинули камеру, прокурор Добржинский, до этого напряженно молчавший, с внезапным восторгом, хотя и очень тихо, стал стучать ладонью в ладонь, изображая аплодисменты.

— Браво, браво нам, господин Гольденберг! Мы победили! Можем поздравить друг друга! — И он действительно схватил Гришкину руку и стал трясти.— Вы понимаете, что это значит: первое доверенное лицо государя посещает вас в камере? Я не верил до последней минуты! Какой фурор! Все злопыхатели, интриганы, которые нам с вами рогатки ставят и волчьи ямы копают, теперь, слава создателю, заткнут уста...

Гришка и сам испытывал радостное волнение. Ведь то, к чему стремились, что единственное могло спасти Россию — взаимное понимание власти и молодежи,— кажется, только что произошло. На втором этаже, в камере для подследственных Трубецкого бастиона. Добржинский даже остался в камере, когда смотритель принес вечерний чай — две глиняные кружки и трехкопеечную французскую булку. Чай всегда носили в двух кружках.

— Принеси-ка еще булку! — приказал Добржинский смотрителю.

Видно, проголодался. Прихлебывая чай и жуя булку, достал левой рукой из кармана пакет, развернул его на котельном листе и разбросал веером фотографии. Пальцем указал на одну: кто? Гришка узнал Сашку, Александра Первого. Так и сказал: Квятковский. Смотритель пришел со второй булкой, и Гришка тоже стал рвать зубами хлеб, жевать жадно и хлебать чай.

На другой день Добржинский доложил Лорис-Меликову письмом:

«Гольденберг, как человек до крайности самолюбивый, был польщен посещением Вашего сиятельства и, видимо, еще больше стал убеждаться, что им интересуются... Подметив в Гольденберге болезненное самолю-

бие, я пользовался этой стороной его характера, внушая ему, что он рассматривается не как доносчик, а как человек, сознавший свои ошибки и желающий искупить их услугой обществу, раскрыв всю преступную организацию... Гольденберг уже начинает свыкаться с мыслью открыто, путем показания при дознании и на суде, сознаться и изобличить своих помощников. Он уже начинает заговаривать о том вступлении, которое сделает к своему показанию, и о той речи, которую произнесет на суде в защиту себя против упреков сообщников за сделанное им разоблачение».

То, что Гришка назвал Квятковского, показалось Добржинскому значительным поворотом дела, и он немедленно сообщил Лорис-Меликову, а тот — в докладе государю. Александр II сделал пометку на докладе: «Считаю это весьма важным открытием».

От Клеточникова пришло известие, что Гольденберг уже с середины апреля в Петербурге, в крепости. Дает обширные показания. Значит, одесситам не удалось ни обезвредить, ни припугнуть Иуду. В Одессе ничего не удалось, все кончилось конфузом: вовремя не узнали о приезде царя, не успели приготовиться. Одесских работников ждали со дня на день. А кто виноват? Несчастное безденежье, чтоб они провалились, проклятые деньги! После гибели Лизогуба с его громадным состоянием отпал главный источник средств. Не было денег, чтобы снять нужную квартиру, изобразить богача, приобрести новейшие аппараты, завербовать дорогостоящих шпионов, например из дворцовой челяди. Высчитывали по копейкам, выгадывали на своем жалком житье-бытье...

Андрей бежал на квартиру курсистки Даниловой, где, по сведениям, были накануне Пресняков с Окладским. Ваничка не так уж нужен, главное — Пресняков. Посоветоваться с «грозой шпионов» — нельзя ли как-то достать сукиного сына Гришку?

Пресняков последнее время всюду ходил с Окладским. Здоровенный, мрачный, угрюмо басящий Пресняков и малорослый, смешливый, вертлявый — но ловкий и быстрый во всякой работе чертенок — Ваничка Окладский. Где они жили постоянно, никто не знал. Кажется, жилья не было. Раза два вечеряли вместе в трактирах, и на улице, когда прощались, Пресняков говорил Окладскому:

— Ну, Ванюха, пойдем искать логово!

Да ведь и все так... Окладский вызывал нерадостные чувства. Ничего дурного, просто воспоминания: александровские хляби, крик «жарь!», неудача. Встречался с ним редко и к делам близко не привлекал.

Но сегодня оба были нужны, и Пресняков — крайне.

Аня Данилова, серьезная девица в пенсне, медичка и литераторша — писала какие-то рассказики из народного быта — саратовская подруга Степы Ширяева, встретила Андрея привычной конспиративной полуулыбкой.

— Я догадываюсь: вы не ко мне. Их нет.

— Будут?

— Трудно сказать. Вчера заходили. Подождете полчаса, если до восьми не придут, значит...

Андрей прошел в комнату. Данилова знала Андрея под именем Захара, считала его рабочим, близким к революционной партии, может быть, даже к ее верхушке, но подробнее — ничего. Как все политически воспаленные девицы радикального толка — Андрей узнал таких в Питере много,— Данилова несколько преувеличивала свою революционность. Она тут же, с места в карьер, затеяла острый разговор, даже в некотором роде с претензией: чего партия ждет? Почему наступила пауза? Почему нет ответа на казнь Розовского и Лозинского? Розовский совсем мальчик, казнен ни за что: нашли какой-то литографированный листок и список некрасовской поэмы «Пир на весь мир». А Лозинский погиб за одну прокламацию. И партия молчит!

— Вот у нас на курсах, когда профессор Трапп — тот самый, что приводил в чувство Соловьева, он читает у нас фармакологию — вздумал рассказать об этом случае, о том, как цианистый калий разложился и Соловьев не смог себя умертвить — знаете, что мы сделали?

— Что же?

— Все, не сговариваясь, встали и покинули аудиторию!

Было сказано очень гордо. Андрей едва подавил улыбку.

— Вы прекрасно поступили. Но, может быть, и партия не теряет времени даром?

— Теряет, теряет. В Александровске потеряли, в Одессе потеряли. Радикалы кипятятся попусту, но в чем-то правы. Уходит драгоценное время, мы ждем каких-то фантастических благ от Лорис-Меликова, но ведь ни черта не будет, умные люди это понимают.

— Пауза, я думаю, вызвана тем, что общество — ну, я имею в виду толпу, читающую газеты,— пока загипнотизировано обещаньями Лорис-Меликова. Но через полгода блеф обнаружится.

— И партия начнет действовать? — Ее глаза под стекляшками пенсне, добрые, близорукие, горели нетерпением.

Подумал: и эта милая женщина торопит убивать, взрывать, подталкивать историю. Что же такое: мода? Потребность души? Или же громадная, всеобщая невозможность жить по-прежнему?

Он усмехнулся.

— Два месяца нет покушений, никого не убивают — и уже скучно? Что за безобразие, да? — Все больше веселился.— Почему бездельничают? Совсем разленились в этом своем подполье!

— Вы пародируете одну мою знакомую,— сказала Данилова.— Я к таким идиоткам себя не отношу. Но правда вот в чем: да, мы привыкли к существованию этой силы. Скажу больше: мы ее мистифицируем. Как древние мистифицировали силы природы. Нечто неотвратимое, роковое. Летом должна быть гроза, блистать молния, гром должен поражать грешников. Вот и удивляешься: почему нет грозы? Я знаю многих, которые причастны к этим небесным явлениям,— знала Степана, знаю Преснякова, Ваню, вас, других,— но какая странность: отношусь к вам как к обыкновенным людям. Не могу поверить, что вы громовержцы!

— Мы и есть обыкновенные люди. Громовержцы — это другие.

— Ну-ну! — Она погрозила пальцем.— Не прибедняйтесь. О вас, Захар, я ничего не могу сказать, но о Преснякове знаю точно: он убивает шпионов. Одного из тех, кого он прикончил, я даже хорошо знала: Жаркова, наборщика. Ничтожный человечек, жалкий какой-то, нервный. В Саратове его звали «Суслик». И все же, когда представляю, как ражий Андрей Корнеевич где-то его сграбастал и стал душить, такого щуплого...

Тут доброжелательная болтунья понесла вовсе вздор: да, Жарков выдал типографию, смерть по заслугам, но само убивание, мольбы жертвы — Пресняков рассказывал, что тот даже не сопротивлялся,— представить невыносимо.

Вот они, наши радикалы: жаждут большой крови, а от малой падают в обморок. Почему-то особенно обо-

злил Пресняков. Расписывать свои подвиги перед курсистками: что может быть глупее?

И когда в девятом часу оба приятеля явились, Андрей был с ними сух. Пришла и подруга Даниловой, курсистка Макарова, сели пить чай, Окладский принес какие-то сласти, банку меда, колбасу — видимо, тут было принято ужинать в складчину, потому что никто его не благодарил, наоборот, девицы помыкали им, как прислугой.

— Ваня, самовар! Ваня, нарежь хлеб, только не поизвозчичьи!

Окладский все делал проворно, летал из комнат на кухню, из кухни на двор, выносил мусор, прочищал газовую горелку, балагурил, дурачился, а его здоровенный друг сидел на кушетке, ногу на ногу в смазных сапогах, и мрачно смолил папироску. Улучив минуту, Андрей сказал Окладскому:

— Завтра будь здесь, утром придет Дворник, ты ему нужен. Станок наладить.

— Будет сделано, ваше благоутробие! — выпучивая глаза и козыряя, выпалил Ваничка.

Подруга Даниловой хохотала. Ваничка ее потешал. Да, тут веселая компания, и он вроде бы пятый лишний. Пресняков тоже потешал, по-своему. У Даниловой оборвался шнурок от пенсне, Пресняков сделал из него петлю, накинул на шею и стал затягивать. Девицы с гневом на него набросились.

— Что вы делаете? Перестаньте сейчас же!

— А что? Привыкать надо,— был невозмутимый ответ.

Ваничка в восторге хохотал. Поговорить о деле не удавалось. Андрей сделал Преснякову знак, вышли.

— Слышь, тезка! Ты зря болтаешь о своих подвигах на Невском льду.

— Кому болтаю? Степан об Аннушке говорил как о родной сестре...

— И сестрам знать не нужно. Ну ладно, дело твое. Не маленький. Сам знаешь, ищут тебя днем с огнем.— Самолюбивый Пресняков побледнел от выговора, и Андрей положил ему руку на плечо.— Я тебя по другому делу ждал. Вот, от нашего агента. По твоему ведомству.

Протянул листок с фамилиями: Клеточников передал сведения о шпионах-рабочих. Преснякову, который знался только с рабочими, якшался с ними по трактирам

Петербургской стороны и Васильевского острова, иметь такую бумажку было необходимо. Схватил ее и при свече в коридорчике читал, скрипя зубами. Андрей спросил:

— Знакомые есть?

У Преснякова было свойство не отвечать сразу.

— Ну! Есть, что ли?

— Есть, вроде. Двое...— Опять пауза, скрипенье зубами, рассматривание бумажки. Тяжелый человек Андрей Корнеевич, все у него пудовое: кулаки, мысли, молчание.— Но я об них догадывался.

Аккуратно свернул бумажку тяжелыми пальцами, засунул куда-то за пазуху, тщательно.

— Еще к тебе, Корнеич, дело. Богородский не знаешь где? Богородского третий день не можем найти...

В квартире снимали две комнаты какие-то люди, в коридоре говорить не дело, спустились по черной лестнице вниз. Андрей рассказал недавно услышанное от Клеточникова: о Гольденберге, о том, что готовится процесс, где будут судить Степана, Квятковского, Зунда, вероятно и типографщиков, очень скоро, летом, и Гришка намерен выступить с большими разоблачениями. Как воспрепятствовать? Это сейчас первейшее дело. Заткнуть Гришке рот. Казнить его там, в Трубецком бастионе, теперь уж, верно, не удастся. Андрей произнес «верно», потому что глупо надеялся на то, что Пресняков, самый изобретательный и беспощадный из «громовержцев» — еще три года назад организовал особую группу для казни шпионов,— вдруг скажет: «Почему же не удастся?» Нет, Пресняков молчал, даже голову опустил, соглашаясь. Гришку там не достанешь. Напугать? Он не из пугливых. В этом деле есть какая-то тайна. Не просто предательство. Зная Гришку с его пузырящимися мозгами, можно догадаться, что тут возникла путаница, включилась в действие некая сила, невидимая со стороны. Словом, нужен Богородский: установить с Гришкой связь. Через Зунда, который там же, в Трубецком бастионе. Сначала пригрозить, трахнуть кулаком. Пускай он очухается. Потом открыть дураку глаза...

Пресняков сказал, что Богородский может быть на одной квартире на Васильевском, Двенадцатая линия. Они разговаривали во дворе. Был одиннадцатый час, но светло, как днем.

Пресняков стиснул руку Андрея, от порывистого, могучего пожатья вся Андреева злость на Преснякова — за

его хвастливость, пустомельные вечера с курсистками — исчезла. Этот парень сделает все: возможное и невозможное.

— Пойду попрощаюсь. И надо топать на Васильевский! — И он побежал к двери на черную лестницу.

«И чай пить не станет»,— подумал Андрей. Подождал две минуты, верно: Пресняков, грохоча сапогами, сбегал вниз.

После долгих поисков Дворник присмотрел квартиру на Подольской, где поставили новую типографию. Хозяевами назначили Кибальчича и Паню Ивановскую под фамилией супругов Агаческуловых, прислугою, под видом бедной родственницы,— Лилочку Терентьеву.

Андрей часто заходил на Подольскую, в дом одиннадцать: он был нужен там как помощник, советчик, дело налаживалось туго, станок скверно работал, первый номер «Листка Народной воли» никак не мог выйти, да и отношения между «супругами» и между «хозяином» и «прислугой» складывались негладко. До того, как сойтись на Подольской улице для совместного житья, женщины в глаза не видели Кибальчича, а между собою были едва знакомы. Дворник со смехом рассказывал, как он «сватал» Кибальчича, устроил «смотрины»: женщины приехали крайне взволнованные, нарядились, нафарфорились, желая не столько понравиться своему будущему сожителю, сколько понять, что он за человек. Еще бы, жить взаперти втроем много недель! Кибальчич же держался каким-то небрежным букой, едва цедил слова, куда-то торопился: женщины были обескуражены. Ну, ясно, Техника надо узнать, чтобы полюбить. Он слишком углублен в себя, в свои идеи, фантастически непрактичен, а со стороны может показаться: равнодушен, даже не очень умен. Вот это равнодушие и напугало.

Лилочка Терентьева, которую Андрей немного знал по Одессе, призналась в один из первых дней:

— Ваш Николай Иванович, может быть, добрый человек, но немножко... какой-то тупой.

Андрей расхохотался.

— Николай Иванович тупой? Ну, Лила! Да он один из блестящих умов России! — Говорил искренне, хотя, наверное, перехлестывал. Просто за последние месяцы близко сошелся с Кибальчичем и даже как-то увлекся

им.— Живи он не в такое гнилое время, он был бы Декартом, Ломоносовым!

— Возможно, но как господин Агаческулов он вовсе не образец: всегда молчит, всегда в своей скорлупе, в книгах, в бумагах...

Так было вначале, когда «семейство» еще только обосновывалось, теперь отношения стали лучше, и женщины, кажется, смирились с характером Кибальчича и лишь подшучивали над ним. Он был на редкость неловок в домашних делах, не умел ни поставить самовар, ни приготовить еды, в его комнате был постоянный хаос, женщин он туда не пускал, говоря, что растеряют его бумаги. Но теперь, в конце мая, главной заботой было не сглаживание отношений в «семье», а то, что станок работал худо. Настоящая печать — такая великолепная, чистая, какая выходила у типографщиков на Саперном,— никак не получалась.

Станок представлял собою тяжелую стальную раму с оцинкованным дном. Гранки с набором вдвигались в раму и укреплялись в ней туго с помощью винтов. Рама весила пуда три, и Паня с Лилой любили рассказывать о тринадцатом подвиге Геракла: Баранников однажды подъехал — они видели из окна — к дому на пролетке, в непривычной для него морской офицерской накидке, легко спрыгнул, легко прошел мимо каких-то стоявших у подъезда людей, поднялся быстро на третий этаж, а в квартире, покачнувшись, едва не рухнул. Оказывается, он пронес под тальмой эту самую трехпудовую раму. На шрифт, смазанный краской, набрасывался лист бумаги, по нему катали тяжелый, обтянутый сукном вал — и вся мудрость. Но черт знает почему набор получался пестрый, с проплешинами, в каких-то ужасных пятнах. И в чем дело — понять никто не мог. Ведь настоящих наборщиков не осталось. Подряд провалились три типографии: в Саперном, затем чернопередельская, выданная Жарковым, и затем еще одна, устроенная рабочими. Каждый раз гибли десятки людей, знающих дело. И вот: Паня, Лилочка и Коля Кибальчич, голова которого занята не типографией, а расчетами, высокой философией. Три дня возились со станком все, кому не лень, Андрей тоже. Даже Тигрыч давал советы и высказывал догадки, хотя в качестве механика он — как и Андрей, впрочем,— представлял нулевую величину. Но Тигрыч написал большую статью для «Листка», единственную, другого в «Листке» не было, и очень волновался: хотел,

чтоб радикалитет, как он выражался, поскорей со статьей познакомился. Все хотели того же. Тигрыч зло написал о Лорис-Меликове. Это было крайне нужно, полезно, чем скорей появится, тем полезней: промыть идеалистам мозги. И вообще, партия жива, пока жива печать, а тут молчание затянулось на пять месяцев — почти уже гробовое...

Но толку от всех стараний не было: набор выходил неудобочитаемый. И только в последний день мая, вечером, прибежав на Подольскую, Андрей увидел веселое, раскрасневшееся, как когда-то в Одессе, когда дурачились на Ланжероновской, лицо Лилочки Терентьевой.

— Ура! Поздравляйте нас! А мы — вас! — И она вдруг быстро обняла его и поцеловала. Поспешно втягивая его в квартиру, зашептала: — Набор идет замечательный. Еще лучше, чем в Саперном. Завтра с утра начинаем печатать.

— Кто же наладил станок?

У Лилочки блестели глаза, и она всегда улыбалась, когда смотрела на Андрея. Замечательно красивая русая коса. И вообще, замечательная девушка. Если бы не...

Она все еще держала его за руку и вдруг резко отпустила.

— С тех пор как Соня Перовская уехала в нашу милую Одессу,— сказала Лилочка,— вы стали со мной ужасно сухи. В чем дело?

— При чем тут Соня Перовская?

— Ну, просто так, я болтаю. Соня на всех действует немножко как дама-патронесса, а когда ее нет — можно чуть-чуть рассупониться, правда же? А то что за оказия: я на него бросаюсь, обнимаю, как наяда, целую горячо, а он стоит каменным и спрашивает: «Кто починил станок?»

И Лилочка, устав изображать обиду, расхохоталась и побежала по коридору. Милейшее существо! Удивительно, как на ней сохранился одесский загар. Все одесситы давно полиняли, а она по-прежнему смугла — щеки смуглы, руки смуглы, и только русые волосы поблекли.

— Все-таки кто починил станок? — крикнул ей вслед.

— Ваничка! Окладский!

В комнате сидели человек пять. Дворник и Тигрыч, не удостоив Андрея ни кивком, ни взглядом — так были увлечены,— спорили о каких-то строчках статьи, кажется, той самой, тихомировской. Кибальчич был на сторо-

не Дворника. Уговаривали снять особо ругательные слова.

— Не в этом же дело, Лев. Еще одна брань, еще один сукин сын — это никого не убедит...

— Ладно, соглашаюсь! Читай, как будет без этого...

Тигрыч чем хорош: не стоит насмерть. Поспорит, поспорит и, вняв разуму, соглашается.

— Итак, читаю с этого места,— сказал Дворник.— Тарас, садись, не засть света! Слушай внимательно, завтра идет в печать.— Андрей сел на кушетку рядом. Дворник, слегка запинаясь, но громко и внятно читал: — «Вместе с тем Лорис ловко эксплуатирует лакейское чувство разных газетчиков, милостиво допуская их до разговоров с собой: убытку ему никакого, а газетчики млеют и рады на стену лезть ради доброго барина. Отрывая от нас либеральную партию, Лорис намеревается то же сделать и относительно молодежи. Недавно вышедшее правительственное распоряжение сулит не только помилование, но даже полное возвращение прав ссыльным по студенческим историям. Со студенчеством Лорис заигрывает и лично, призывая к себе их представителей...»

— «Представителей» непременно в кавычках! — сказал Тигрыч.

— Да, в кавычках, далее: «...обещает всякие льготы. То же распоряжение, очевидно, имеет целью внести разделение в ряды самой радикальной партии, открывая возможность отступления всякому изменнику, всякому слабому духом. Нужно думать, что в скором времени Лорис разделит радикалов на более и менее опасные фракции и начнет покровительствовать более мирным революционерам.

Что ж, политика не глупа! Сомкнуть силы правительства, разделить и ослабить оппозицию, изолировать революцию и передушить всех врагов порознь — не дурно! И заметьте, что всех этих воробьев предполагается объегорить исключительно на мякине, не поступившись ничем».

— Насчет мякины — это прекрасно, Тигрыч! — сказала Ивановская.

— Дальше идет пассаж, который мы вычеркиваем. Так? — спросил Дворник.— Насчет гнусного лицемерия, собачьих мозгов и так далее. Ты согласен?

— Согласен, чиркай. Братцы, вы не представляете, как трудно нам, пишущим в легальной печати, находить

верный тон! Я вспомнил случай с Кривенко...— Тигрыч засмеялся.— Помните, он писал для нас статейку о Маковском циркуляре? В первом варианте ни черта не получалось, одна площадная ругань. Спрашиваем: Сергей Николаевич, что с вами? А я, говорит, когда почувствовал свободу от цензуры, так переполнился злобой к правительству, что не мог найти других выражений, кроме отборной брани!

— Ну хорошо, не отвлекай анекдотами, поехали дальше,— сказал Дворник.— Дальше все без изменений. А концовка теперь выглядит так: «Увенчается ли политика армянского дипломата успехом? Это, конечно, зависит от количества ума и гражданского чувства, какое окажется в наличности у российских людей. Политика Лориса вся построена в расчете на глупость и своекорыстность общества, молодежи, либералов, революционеров. Мы сильно надеемся на то, что расчет окажется неверным, что общество не проведешь одними обещаниями, что молодежь не подкупишь стипендиями и предоставлением карьеры, что революционеры сомкнутся теснее, чем когда-либо». Ну, и далее весь абзац как был. Сразу затем — Тарас, слушай, ты этого не знаешь, вчера получено! — пойдет письмо Шмидта, начальника Третьего отделения.

Письмо, которое прочел Дворник, было кратким посланием Шмидта начальнику одного из губернских жандармских управлений. По-видимому, распространялось секретно по всем губерниям. Смысл такой: в обществе ходят слухи о каких-то якобы намечающихся преобразованиях, об упразднении некоторых государственных учреждений (читай: Третьего отделения!), и господин Шмидт по поручению Лорис-Меликова спешит сообщить, что все это — измышления, не имеющие ничего общего с правительственными намерениями. Великолепно! «Листок» выходил хорошенькой бомбой, которая взорвет надежды некоторых тупоумных мечтателей, расплодившихся за последние месяцы бессчетно, как вороны.

Лила из соседней комнаты звала пить чай. Все были возбуждены, веселы: партия опять на коне и завтра подаст голос! За чаем Лила рассказывала, как проворно, толково Ваничка наладил станок. Дворник привел его в десять утра, а в четверть двенадцатого работа была закончена, и пошел отличный набор.

— Но должна вам сказать, Григорий,— она называла

Андрея по одесской привычке Григорием, впрочем, иногда и Тарасом, и Борисом,— этот ваш Ваничка занятный фрукт. Моя бабушка умела определять людей по носам. И вот таких, как Ваничка, остроносых, называла «Хитрый нос». Ух, он и каналья, этот Ваничка!

И опять, глядя на Андрея и как будто рассказывая ему одному, она улыбалась, и глаза ее блестели.

— Почему же каналья? — спросил Андрей.— Он, кстати, обладает профессией, чего нет ни у кого из нас...

— Ваничку не обижайте. Он мой воспитанник,— сказала Паня Ивановская. Все знали, что ее брат, доктор Василий Великий, нашел Ваничку лет восемь назад среди фабричных мальцов, взял в свою школу-коммуну, и с тех пор Окладский воспитывался среди революционеров как приемный сын.

— Воспитание ты ему дала не блестящее. Все норовил меня потискать,— сказала Лила, шутливо подмигивая,— тоже этак проворно, умело, как унтера тискают прислугу в сенях.

— Ой! Когда же это? — испугалась Паня.

— Знаем когда. Ты не заметила. Но я не об этом. Это как раз ничего, допустимо.

— Нет, это совершенно недопустимо! — возвысил голос Дворник.— Я ему уши надеру, сморчку.

— Да вы с ума сошли. Бог с вами! Господи, я еще доносчицей вышла. Человек нас выручил, исправил станок...

— За это ему спасибо, а за то — получит по сусалам.— Дворник показал кулак.

— Дворник, не смейте! Я на вас смертельно обижусь, если вы что-либо предпримете. Все это вздор. А вот что мне действительно не понравилось, так это его постоянное: «жарь!», «жарь!». Чайник ставит на стол: «жарь!» Станок запускает: «жарь!» Ведро с мусором попросила вынести, он возвращается, протягивает пустое ведро: «жарь!» Ну что за дурачок, скажите на милость?

Кибальчич вдруг заговорил — как у него это бывало, без всякой связи с предыдущим — о выкупе частных железных дорог государством в Пруссии, разговор об Окладском прекратился. Но Андрею история с «жарь» тоже не понравилась.

На улицу вышли поздно, втроем: Тигрыч, Дворник и Андрей. Правилом было втроем по возможности не шататься, Тигрыч быстро отпал, растолкал сонного «ваньку», поехал к себе на Литейный. И Катенька, наверно,

места не находила, нервничала. Дворника и Андрея никто не ждал. Они шли медленно, дышали белой ночью: похоже было на ранний сумеречный вечер, и только пустые улицы и темные окна домов говорили о полночи, о сне города. Дворник рассказывал, как днем встретился с Богородским — Пресняков вчера его отыскал — и передал задание насчет Гришки.

Богородский был сыном смотрителя Трубецкого бастиона полковника Богородского. Через него, сына, удавалось иногда сноситься с заключенными: он доставал для тюремной библиотеки книги, и в некоторых делались особые знаки, наколки иглой. Потом, на свиданиях, сообщалось, какую книгу взять. Зунделевичу надлежало взять роман Писемского «Взбаламученное море».

На другой день Андрей забрал пачку только что отпечатанных номеров «Листка Народной воли» и понес на квартиру Ани Корба: к вечеру все разлетится оттуда по рабочим и студенческим кружкам. Мог бы не брать на себя роль носильщика, послать кого угодно из новых друзей, хоть Коковского. Но тянуло самому: показать, изумить. Приехал на извозчике. Кожаная сумка, с какими ходят питерские мастеровые, держа в ней инструменты, была набита тяжелой бумажной кипой, а сверху насыпано чуток картофельной, черно-гнилой мелочи: Паня дала для маскировки.

Отворилась дверь, и по сияющим глазам Ани — в их наивной, хохлацкой открытости все отпечатывалось мгновенно — угадал какую-то радость. Нет, не «Листок», что-то другое, внезапное.

— Тарас, а знаешь...— запела Аня.

— Пока не знаю!

Из комнаты вышла Соня. И как тогда, осенью, когда встретились после двухмесячной разлуки, с одного взгляда на это лицо, обращенное только к нему, его лицо, почувствовал удар теплой волною в грудь. Она протянула руку, он пожал.

— Тарас, здравствуй. И опять ни с чем...

Тогда он обнял ее. Щеки были горячие, она похудела, стала совсем легкая, волосы и руки были влажные. Два часа, как с вокзала, только что приняла ванну. В коридоре почему-то никого не было. Они оказались одни. Она обнимала его очень сильно крепкими руками, прижималась к его груди, опустив голову, и он поцеловал ее

в макушку, в пшенично-блестящие, влажные, пахнущие мыльным детским запахом волосы, сразу все поняв: страданье, несчастье, любовь.

За ужином Соня рассказывала: как Верочка Фигнер раздобывала деньги, как покупали бурав, бакалейный товар для лавочки, как сняли помещение на Итальянской, мучились с буравом, почва глинистая, бурав двигался с громадными усилиями, как Саблин заболел, Грише Исаеву при взрыве запала оторвало три пальца и он угодил в больницу, остался в Одессе, Баска ходит за ним, Верочка тоже там, но из последних сил, просит ее сменить, разрешить вернуться в столицу. Приехали пока двое: она и Саблин, «супруги Прохоровские».

Андрей вдруг почуял, как шевельнулось едва ощутимое, неловкое — к Саблину. Было как-то внове. Он спросил:

— Жили-то дружно?

— Кто? — спросила Соня.

— Супруги Прохоровские.

— Конечно! А разве мыслимо жить с Колей недружно?

— Коля человек положительный, благородный, но может при случае уморить,— сказала Мария Николаевна, подняв предостерегающе палец.— Стихами, каламбурами. В особенности каламбурами. Было это?

— Было!

— О, это ужасно!

— А я привыкла, мне даже нравилось,— сказала Соня беспечно и, поглядев на Андрея, опять улыбнулась.— Его поэму «Малюта Скуратов» я слушала чуть ли не каждый вечер. Знаю теперь наизусть. И каламбуры, это верно, с утра до вечера. Коля, где полотенце? Вам нужно пол-отенца или целое отенце? Коля, деньги возьмите у Верочки. У каких Вер, какие очки? И в таком духе неистощимо...

Все хохотали, Андрей улыбался, вероятно, криво.

И все же Сонин рассказ был печален. Столько стараний, труда, риска, столько убито дней, и впустую: вовремя не получили известия. За тот короткий срок, что оставался до приезда царя, довести мину до нужной точки не удавалось. Засыпали колодец, продали, что могли, лавку оставили, разъехались. Глупость. Вечное наше недоумение: кто виноват? Сами виноваты. Нечего лезть в дыры, в провинцию, там все сложней, меньше людей, меньше сил. Казнить царя нужно в Петербурге, более

нигде. Потом Соня расспрашивала, ей рассказывали: про типографию на Подольской, про суд над Оболешевым и Адрианом Михайловым, бывший две недели назад, обоих к смертной казни, они сейчас в Трубецком бастионе, там же, где Гришка Гольденберг. Смертную казнь заменили: Адриану Михайлову и Оболешеву двадцать лет каторги. И кажется, как ни горько говорить, Адриан, кучер знаменитого Варвара, как-то постарался для этой милости...

Шли набережной вдвоем...

— Никогда не уеду от тебя,— сказала Соня.

Он сжимал ее руку. Странно: держать живую Соню за руку, идти рядом, а еще днем сегодня не знали, когда встретятся.

— Только с тобой вдвоем.

— Да,— сказал он.— Никогда больше.

— Это же чистое безумие! Сколько нам осталось?

Какой-то человек в длинной чуйке, покачиваясь, медленно шел навстречу, ночной бродяга или пьяница. Его лицо в утренне-ночном свете казалось белым, мертвым. И у них, верно, были такие же лица. Бродяга посмотрел долгим взглядом, щуря глаза, как слепец. Когда прошли несколько шагов, Андрей оглянулся: бродяга уходил.

— Осталась нам целая жизнь,— сказал Андрей.

— Иногда кажется, что я живу очень давно, что я уже старая, усталая бесконечно. А иногда: будто только все начинается. И страх как хочется жить! — Соня засмеялась.— И я ничего не помню. Прошлого как будто не было. Ехала сегодня с вокзала мимо нашего дома, отцовского, смотрела в окна и думала равнодушно: «Может быть, мама случайно здесь?» Маму я люблю, хотела бы ее увидеть. Но все остальное — исчезло, чужое. Ехала спокойно, как мимо чужого. А когда в Одессе сидела на Александровском сквере и ждала, что сейчас пройдет твой сын — я узнала очень сложным путем, что в тот день его поведут к портному заказывать морской костюмчик,— волновалась почему-то ужасно, сердце колотилось. Самой было смешно!

— Ну, как он? — спросил Андрей, помолчав.

— Он очень красивый. Такой крепкий, деревенский румянец. И знаешь, у него твоя походка: грудь выпячивает, голову держит высоко, уморительно похож!

— С кем он был?

— Он шел с какой-то пожилой дамой. Конечно, не мать... Оглянись!

Андрей оглянулся и увидел, что бродяга в чуйке идет за ними шагах в тридцати. Было подозрительно, решили остановиться. Бродяга тоже остановился и стал закуривать. Серные спички не вспыхивали, он бросал их в реку. Теперь было очевидно, что слежка. Какой-то из ночных шпионов, которые шляются по городу в поисках случайной работы.

— Вот тебе новые либеральные веяния,— сказал Андрей со злобой.— А шпионов и бутырей развелось вдвое больше...

Он взял Соню плотно под руку, как берут девиц на Невском, и быстрым солдатским шагом повлек Соню через мостовую к домам, и они нырнули в ворота.

Зунделевич получил книгу Писемского «Взбаламученное море», прочитал о Гришке и ахнул: теперь понятно, откуда следователь дознался о многом! Особенно подробны и ужасающе точны были знания следователя о соловьевском деле, о встречах в трактирах на Большой Садовой и в «Северном» на Офицерской, о том, кто что говорил, об отъезде Гришки в Харьков и о том, чем он, Зунделевич, перед этим Гришку снабдил. Прокламациями по поводу убийства Кропоткина и газетой «Земля и воля». Кто мог все это так досконально знать? Один Гришка, этот подлец, восторженный идиот. Раньше были только догадки, теперь же явился факт. И приказ: заставить замолчать. Потрясло и то, что Гришка — здесь, рядом, в Трубецком бастионе. На книге, которую Зунделевич сумел благодаря чистой случайности переправить в камеру на второй этаж, он написал чернильными точками: «Предателю смерть».

Гришку охватила паника. Он знал, что в Трубецком бастионе сидит Зунд, и стал просить с ним свидания.

Теперь он имел дело не только с Добржинским, но и с прокурором судебной палаты Плеве, наблюдавшим за дознанием. Плеве, господин суровый, хотя, по Гришкиным впечатлениям, понимающий и по взглядам близкий к Добржинскому, то есть к партии, ведущей титаническую борьбу, все же в свидании отказал. Но Гришка понял, что, если не увидит Зунда и не объяснится с ним, он просто не сможет жить. На той же книге, которую получил, он написал точками: «Друзья, не клеймите

меня, поверьте, я три раза отдавал вам и делу жизнь, верьте, что я тот же честный и искренний Гришка».

Отклика не было. Тогда Гришка схитрил: стал говорить, что, если ему разрешат свидание с Зунделевичем, он сумеет склонить того поступить точно так же, и это будет замечательно полезно для следствия, ибо Зунделевич — важная птица. Заодно обещал уговорить Людвига Кобылянского, своего напарника по делу Кропоткина, тоже сидевшего в крепости. Свидание разрешили. Гришка и Зунделевич встретились во время прогулки. Зунд был неузнаваемо худ, бледен, оброс черновато-рыжей бородой. Он смотрел на Гришку без всякого выражения, как на чужого, не двинулся с места, а взгляд был необыкновенно надменный, ледяной. Взгляд из дальнего прошлого Зунда, из виленского раввинского училища, где самые ученые талмудисты были преисполнены высокомерия от большого знания. Гришка бросился к Зунду и стал объясняться со всей скорострельностью, на какую был способен. Он говорил на жаргоне. Стоявший рядом надзиратель ничего не понимал. Гришка выпалил главное: все делается ради спасения России, остановить кровопролитие, прекратить, понять, примириться, и пусть его имя будет предано теперь проклятью, будущая Россия скажет ему спасибо.

— Ты сумасшедший,— сказал Зунд.— Тебя обманули, как последнего идиота. По твоим доносам будут нас убивать — и за это тебе спасибо? Ты предатель тысячу раз!

И, не став более слушать, Зунд ушел.

Началось предсмертное Гришкино безумие. Нет, он был в здравом уме и в твердой памяти, но при этом ощущал себя, как бы глядя со стороны, совершенно безумным. Он стал умолять Плеве, Добржинского и через них Лорис-Меликова поместить его в одну камеру с Зунделевичем. Плеве обещал ему — хотя это крайне трудно и недопустимо — добиться такого разрешения, требуя взамен все новых сведений. Он вытряхивал из Гришки последние крохи. И Гришка соглашался, отдавал, вспоминал, отчаянно напрягал память ради единственного: еще раз встретиться с Зундом и все ему объяснить. Вот о чем он мечтал. Выходя на прогулки во двор, бросал записки, нацарапанные на мундштуках папирос, надеясь, что хоть одна из записок дойдет до товарищей. Побросал их с десяток, все одного содержания: «Друзья мои, не клеймите и не позорьте меня именем предателя; если

я сделался жертвою обмана, то вы — жертвы моей глупости. Я — тот же ваш честный и всей душой вам преданный Гришка. Мыслью о вас и любовью к вам я живу 6 лет, живу и теперь...»

Отклика не было. Гришкино безумие было пониманием. Люди от этого и сходят с ума: когда вдруг понимают нечто о себе, чего прежде не понимали. Он потребовал бумагу и на первом листе написал: «Исповедь. Друзья, приятели, товарищи, знакомые и незнакомые честные люди всего мира...»

Это был рассказ о всей жизни, о великом обмане, предательстве, несчастье, и чем дольше и подробнее он писал, тем более успокаивался. Началось-то все с Федьки Курицына. «В силу своей доверчивости к людям, в силу сентиментального проклятого характера... Он мне говорил, что выйдет на свободу, и я, увлекшись любовью к товарищам и желая им передать мой привет, называл фамилии, и те были арестованы...»

Когда Гришка был в упоении работы над «Исповедью», его неожиданно вновь посетил Лорис-Меликов в сопровождении солидного господина: Добржинский потом объяснил, что это был управляющий Третьим отделением Шмидт. На этот раз Гришка не испытывал никакого волнения, ни малейшей гордости, разговаривая с графом. Речь шла о предстоящем суде. Лорис-Меликов сказал, что смертные приговоры неизбежны.

Гришка разговаривал с графом как в полусне. Он хотел одного: свидания с Зунделевичем. Пускай не в камере, не на целую ночь, пускай во дворе, на прогулке, на несколько минут, в присутствии кого угодно.

Граф объяснял, пронзая Гришку черным кавказским взором, что́ и как тот должен говорить на суде.

— Да, да! Буду, ваше сиятельство! Непременно! Буду!..— кивал Гришка, почти не слыша, не понимая.

Когда граф ушел, Гришка написал на его имя письмо с просьбой не делать ему никакого снисхождения на предстоящем процессе. Тек июнь, сна не было, Гришка работал. В начале июля «Исповедь» подошла к концу. И все подошло к концу: силы, желание жить. Разрешили свидание с Зунделевичем. Прокурор Добржинский стоял неподалеку и нагло прислушивался: как одессит, наверное, кое-что понимал в жаргоне.

Зунд был мягче, какая-то искра сочувствия мелькнула в его глазах. И не отнял руки, когда Гришка бросился с рукопожатием.

— Ко мне приходил Лорис-Меликов. Я совсем одурел...— бормотал Гришка, гримасничая.— Кому еще такая честь?

— Не одному тебе.

— Кому же еще?

— Адриану Михайлову. Лорис был у него в мае, знаю точно от верных людей. Адриан в сорок второй камере. Был смертник, сейчас каторжанин: значит, неспроста, товар за товар...

— Меня казнят вместе со всеми! — вспыхнул Гришка.— Я сам потребовал!

— Ты казнил десятки людей,— сказал Зунд.— Палач Фролов на сегодня — ты, Гриша Гольденберг.

Гришка стоял оцепенело, молчал. Когда Добржинский повернул свою выбритую, румяно-рыжую физиономию, привлеченный каким-то криком из окна, Гришка показал на него сжатым кулаком и шепнул:

— Вот кто меня погубил!

15 июля 1880 года был очень жаркий день, камера накалилась, стало невыносимо душно, жизнь истекла, Гришка сделал из полотенца петлю, другим концом привязал полотенце к крану рукомойника. На докладе с сообщением о Гришкином самоубийстве Александр II написал: «Очень жаль!» Революционеры узнали о случившемся на следующий день от Богородского и вздохнули с облегчением: казнь совершилась. На суде от злосчастного предателя останутся одни бумажки.

И ЕЩЕ ГОЛОС: ДРАГОМАНОВ М. П.

Я, Драгоманов Михаил Петрович, в начале лета 1880 года неожиданно получил в Женеве письмо от Андрея Желябова. Посланец, прибывший из Петербурга с письмом, несомненно принадлежал к новейшим российским нигилистам, к так называемой социально-революционной партии, которая успела за последний год прославить себя дерзкими и кровавыми подвигами. Мое отношение к революционерам этого толка известно. Нас разделяет многое: великорусский централизм, народнические иллюзии, макиавеллизм средств (вроде подложных манифестов Я. Стефановича, ограбления банков, казначейств и почт с убийствами сторожей) и, главное, возведение политических убийств в принцип борьбы. Еще в 1878

году я разобрал в «Листке Громады» террористическую прокламацию «Смерть за смерть», а в том году, когда явился гонец из Петербурга, выпустил брошюру «Терроризм и свобода». Тем более удивительно было получить послание от Андрея Желябова, которого я знал по старым временам как радикала, а затем как одного из руководителей — это были не достоверные знания, но очень авторитетные слухи,— одного из атаманов террористической партии.

И в то время как я усаживал гостя за стол, к окну, угощал его кофе, снабжал газетами и журналами, чтобы он не скучал, пока я стану читать,— но ему, как в первые часы всем приезжающим в этом городе, было не до газет, и он, высунувшись в окно, жадно смотрел на улицу, крыши, на блистание Роны вдали,— я вспоминал наши встречи с Желябовым. Их было две. Первая: осенью 1873 года в Киеве, на квартире моего старого знакомого, где пытались спеться и наладить единство действий радикалы и украинофилы. Из этой попытки не вышло ничего.

Вторая встреча произошла зимою 1875 года, на заседании комитета, который отправлял волонтеров в Герцеговину. Желябова не узнать: он был оживлен, разговаривал громко, повелительно, во всем чувствовалось напористое желание и умение действовать. Он был уже притянут тогда к Большому процессу, но оставался пока на воле. Кто был там еще? Двое сербов, трое украинцев, один поляк, интереснейший человек по фамилии Магер, и я, допущенный на собрание как представитель другого такого же комитета, сплошь украинского. Помню, как Желябов наседал на Магера: почему польская молодежь проявляет холодность к русскому социалистическому движению? Магер сказал, что для поляков слишком важен национально-политический вопрос, и они не могут сейчас, подобно русским, отдаться чисто экономическому, социальному направлению.

— Ну так ставьте свой национально-политический вопрос! — воскликнул Желябов с горячностью.

Затеялся спор, я подлил масла в огонь, сказав, что нужно сначала понять, что есть польская нация и что полякам следует добиваться не исторической, а этнографической Польши, Желябов меня поддержал, а Магер, прощаясь, сказал: «На все нужно, господа, время!» Когда он вышел, Желябов со злой усмешкой заметил:

— Вот они всегда так!

Эту его фразу и злое выражение лица я запомнил хорошо: он был раздражен тем, что поляки, даже такие радикальные, как Магер, не понимают, что историческая мечта о Правобережье ничуть не помогает кружению русского абсолютизма, а кроме того, по природе мышления он был крайне нетерпелив. Все решить махом, кардинально, поскорей. Мы опять с ним поспорили, на сей раз о социалистическом идеале, и я сказал, по обыкновению: це діло затяжне! Он свысока посмеивался, считая меня, конечно же, оппортунистом. Четыре с половиной года прошло. Я жил в Европе, он — там, в российских водоворотах, все более грозных, зловещих, и сам их, наверно, раскручивал, как гусляр Садко на дне моря. О чем же можно писать оттуда, с морского дна?

«Понедельник. 12 мая 1880 г.

Многоуважаемый Михаил Петрович!

Два раза пришлось нам встретиться, теперь приходится писать, и все при обстоятельствах крайне своеобразных. Помню первую встречу в 1873 году в Киеве, на квартире X. и У. Сидит кучка старых-престарых нигилистов за сапожным столом, сосредоточенно изучая ремесло. То знамение «движения в народ» для жизни честной, трудовой... Программа журнала «Вперед» прочтена и признана за желательное. Но какова-то действительность? — спрашивал себя каждый и спешил погрузиться в неведомое народное море. Да, славное было время!.. Наступила зима 1875/76 г. Тюрьмы переполнены народом; сотни жизней перебиты; но движение не унялось; только прием борьбы переменился и на смену пропаганде научного социализма, умудренные опытом, выдвинули бойцы на первый план агитацию словом и делом на почве народных требований. В то же время всколыхнулася украинская громада и, верная своему основному принципу народолюбства, замыслила целый ряд предприятий на пользу родной Украины. В эту зиму Вы приехали в... и мы повидались с Вами вторично... Много ли времени ушло, подумаешь, а сколько перемен!.. Взять хоть бы этот уголок... Я видел расцвет тамошней громады, ее живые начинания. Медленно, но непрерывно сливались там в одно два революционных потока — общерусский и украинский; не федерация, а единство было недалеко, и вдруг... все пошло прахом. Соблазнились старики выгодой легального положения, медлили покинуть насиженные гнезда, и погибли для

борьбы славные люди, погибли начинания. На месте их грубое насилие нагло праздновало победу. Но что смутило торжество злорадных, нагнало панику на них? Не совесть ли проснулась в гонителях беспощадных? То остатки народников-революционеров начали наступление, но уже по новому плану борьбы. Трусливые тираны инстинктивно познали, что слабое место их открыто, что власть и сама жизнь их — на кону. Как зверь, почувствовавший глубокую рану, стало правительство рвать и метать, не разбирая своих и чужих, а дамоклов меч по-прежнему недосягаем, грозно висит над его головой... Пришло раздумье на начальство: не поступиться ли? Правительству стало ясным положение его: все считают дни его сочтенными; нравственной поддержки ему ни от кого; только трусость, своекорыстие и неспособность к солидарному действию в одних да расхождение в понимании задач между другими удерживают правительство от падения. Своевременно уступить под благовидным предлогом — таково требование политики; но не того хочет властолюбивый старик и, по слухам, его сын. Отсюда двойственность, колебание во внутренней политике. В расчете лишить революцию поддержки Лорис родит упования; но, бессильный удовлетворить их, приведет лишь к пущему разочарованию. Какой удобный момент для подведения итогов! А между тем все молчат; молчат, когда активное участие к делу революции всего обязательнее, когда два, три толчка, при общей поддержке, и правительство рухнет. От общества, всегда дряблого, многого требовать нельзя; но русские революционеры, какой процент из них борется активно? Расхождение в понимании ближайших задач...

Неужто и Вы, Михаил Петрович, не признаете близких реальных выгод для народа от нашей борьбы? Этого не может быть: за нас Ваши литературные произведения, Ваша отзывчивость на живое дело, Ваша склонность найти практический исход. К сожалению, недосуг, а также расходы на неотложные дела мешали поездкам нашим с целями организационными и, в частности, для защиты своей программы. С провалом типографии мы лишились возможности разъяснять ее путем печати. Выходит в результате, что комментаторами ее вообще, а за границей чуть ли не исключительно являются лица, отрицающие ее вполне или в значительной мере. А нам крайне интересно было бы знать Ваше лич-

ное мнение о программе, и было бы очень хорошо, если Вы пришлете критику ее через ZZ, пока не будут установлены между нами непосредственные отношения, а может быть, и сотрудничество Ваше в «Народной воле». Это первое, о чем пишу я по поручению товарищей. Второе: Вы, конечно, согласитесь склонять общественное мнение Европы в нашу пользу, о чем подробно сообщит податель письма. Третье: Ваше положение, как представителя украинского революционного направления, как деятеля, известного в России, как революционера с исключительным прошлым, обязывает Вас, Михаил Петрович, принять деятельное участие в злобе дня родной страны. Ведь недаром же на Украине многие зовут Вас «батькой»! А что делают они? И кто повинен, кроме них? Нас, убежденных автономистов, винят в централизме... за Учредительное Собрание. Во-первых, не хотят понять, что Учредительное Собрание в наших глазах только ликвидационная комиссия, а во-вторых, можно ли в программу ближайших требований вносить такие, за которыми нет реальной поддержки, а есть исступленные враги? Где наши фении, Парнелль? Таково положение вещей, что исходишь от реальных интересов крестьянства, признаешь его экономическое освобождение за существеннейшее благо, а ставишь ближайшей задачей требования политические, видишь спасение в распадении империи на автономные части и требуешь Учредительного Собрания. Не велика заслуга перед отечеством аскета — хранителя общественного идеала. Мы, по крайней мере, предпочли быть мирянами.

Еще одна просьба к Вам, Михаил Петрович! Не согласитесь ли Вы быть хранителем нашего архива? Матерьял там весьма ценный для истории современного движения, а между тем он проваливается здесь чуть ли не периодически. Хранение это мы предлагаем Вам на следующих условиях: 1) право собственности на архив остается за нами; ни одна вещь оттуда не может быть отчуждена; 2) в отношении пользования матерьял будет поделен на две части, из коих одной можете пользоваться свободно; другая связана с живыми людьми и текущими делами; пользоваться ей Вы могли бы, получив в каждом частном случае наше согласие; 3) передать архив на хранение можете с нашего согласия; 4) узнавать нас (редакцию «Народной воли») по паролю, зашифрованному нами ключом, Вам известным...»

Ключ, о котором шла речь, был мне как раз неизвестен. Но это не имело значения. Письмо показалось мне произведением нервным, писанным спешно, страстно, в том особом желябовском, сбивчивом, разговорном стиле (он так и в Киеве выступал!), когда мысли перегоняют слова, когда много искренности, но много и противоречий и неясности. Тут были какие-то отдаленные раскаянья в прошлых спорах, и просьба о помощи, и желание примириться, и довольно грубая лесть (я — «революционер с исключительным прошлым»), и даже некоторая бесцеремонность («обязывает Вас, Михаил Петрович, принять деятельное участие...»). Ого, каким бы языком заговорили со мной, будь я в России! Впрочем, я тут же себя прервал: хорошо рассуждать о нервности и неряшливости письма, сидя здесь, на женевском балконе...

Заговорили о Лорис-Меликове. Я сказал, что написал статью «Соловья баснями не кормят» по поводу назначения графа российским диктатором и что считаю все его обещания пустой болтовней. Посланец Желябова со мной согласился. Но дальше стали говорить о том, что нас разделяет: политические убийства, партионная нравственность, чего я не могу понять, и самая страшная идея, которая лежит в деятельности террористической партии, идея личного произвола. Разве можно бороться с произволом помощью произвола? Я поиздевался и над названием: «социально-революционная партия». Все равно, что сказать «мебельно-топорный магазин». И наконец — о Парнелле и фениях.

— Напрасно Андрей Иванович называет меня Парнеллем,— сказал я.— И если он сокрушается о том, что у нас, украинских федералистов, нет «наших» фениев, то я этим обстоятельством вовсе не огорчен. Они заняты тою «топорной» работой, которая мне не по душе.

Гость из Петербурга оказался неожиданно уступчив и со многим соглашался. Он сказал, что Тарас (Желябов) не столько меня называет Парнеллем, сколько сам посматривает на сего ирландца как на образец. Он мечтает об учредительном собрании, где играл бы роль Парнелля: так же, как тот опирается на тайную силу фениев, так и он, Тарас, опирался бы на подпольное могущество своей партии. Верно ли это? Было похоже, что верно. Поговорить с Андреем Желябовым мне не удалось: он погиб через девять месяцев после того, как

я читал его письмо. Но все, что творилось накануне его гибели и несколько лет спустя — волна крови, виселиц и убийств, прокатившаяся по России, как и по Ирландии,— показало всем, что ирландские фении и русские народовольцы в чем-то смертельно похожи. Помните, как фении взрывали стену тюрьмы? А нападения на тюремные кареты? Убийство лорда Кавендиша и его секретаря Борка? А убийства судей? Расправы с предателями? Все это, как в России, сопровождалось, разумеется, виселицами и расстрелами, но общего восстания — на что надеялись отчаянные головы в Ирландии и в России — поднять не удавалось, не было ничего похожего. И сейчас, в восемьдесят девятом году, когда здесь, в Болгарии, я вспоминаю о русских несчастных фениях, до восстания далеко, как никогда. Они ничего не приблизили, но только отдалили.

Что я мог ответить посланцу из Петербурга? Я предчувствовал муки этих людей, видел их будущую святость, преклонялся перед обаянием их энергии, но сказать, что я с ними, не мог, ибо они не хотели понять главного: що це діло затяжне. Под деликатным предлогом я отказался склонять Европу в пользу «Народной воли» и взять на себя представительство. Посланец, кажется, был мало огорчен, и мы еще долго с ним беседовали о всякой всячине: где лучше поселиться, в какой лавке покупать вино, в какой табак, с кем из русских следует подружиться, а кого избегать. Потом пошли гулять, был чудесный вечер, и мы совершили длинную прогулку по бульвару, до Роны, через мост и затем по набережной до парка Мон Репо.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

22 мая скончалась императрица Мария Александровна. Это не было неожиданностью, императрица долго и безнадежно болела, но смерть случилась внезапно: не успели позвать детей. Царь находился в Царском Селе. Спустя полтора месяца Александр тайно обвенчался с княгиней Долгорукой. Об этом никто не знал, кроме самых преданных друзей: графа Адлерберга и генералов Рылеева и Баранова, последние двое были шаферами. Венчание происходило в уединенном зале Большого Царскосельского дворца, о чем не подозревали ни ка-

раульные офицеры, ни слуги, ни генерал Ребиндер, комендант дворца. Александр был в голубом мундире гвардейского гусара, Долгорукая в скромном суконном платье цвета беж.

Протоиерей, глядя остекленело на молодых, возгласил:

— Обручается раб божий, благоверный государь император Александр Николаевич с рабой божией Екатериной Михайловной.— Сказать «облобызайтесь» у протоиерея не хватило духу.

Через несколько дней Александр вызвал Лорис-Меликова. Доклад Лориса, очень серьезный, содержавший капитальные предложения, с которыми Александр успел познакомиться, был делом второстепенной важности, а первостепенной — извещение графа о том, что произошло 19 июля. Наследник, лечившийся ваннами в Гапсале, пребывал в неведении. Россия ни о чем не догадывалась. Двор будет поражен, когда спустя месяц княгиня Долгорукая — теперь светлейшая княгиня Юрьевская — отправится в Ливадию в одном поезде с царем! Умнейший совет в запутанной ситуации мог дать один человек: Михаил Тариэлович. Царь ждал его с нетерпением. Теперь уже и враги Лориса должны процедить сквозь зубы: «Ты победил, галилеянин!» В стране воцарилось спокойствие. Покушения, слава богу, вот уже полгода как прекратились, да и о других, мелких проделках злоумышленников не было слышно. Если к первому марта по всей империи находилось в производстве по государственным преступлениям 1087 дел, то нынче сократилось наполовину: всего 500. Сам факт вычитан из доклада Лориса. Число пересмотренных дел также значительно сократилось: 65. Замечательно! Можно сказать, что впервые за последние годы в этой области наведен порядок. Лорис уменьшил количество поднадзорных—несмотря на сопротивление Третьего отделения,— доказав, что нынешняя система не может удовлетворительно осуществлять надзор за слишком большим числом лиц, что ведет к увеличению побегов и укрывательств. Не расставлять пальцы как можно шире, чтобы схватить больше, а собрать их в кулак и держать крепче. Ради этой идеи Лорис добивается главного: объединения действий жандармерии, полиции и судебных органов. По его мнению, Верховная распорядительная комиссия выполнила свой урок, ее следует упразднить, так же как Третье отделение, а власть сосредоточить в

руках министерства внутренних дел. Браво! Смело! Недоброжелатели Лориса вновь станут говорить, что он заигрывает с обществом, ищет популярности, как говорили, когда он валил графа Толстого с поста министра народного просвещения, когда устраивал ревизию Третьего отделения или жаловал 2500 рублей студентам на оплату слушанья лекций. Говорить можно что угодно, но истина очевидна: впервые после кошмарных треволнений Россия задышала спокойно. И как ясна теперь глубина проницательности, поставившей к государственному рулю кавказского генерала!

Когда Лорис вошел, Александр заставил его поклясться, что сообщенное ему останется тайной. Затем объявил о своем новом браке. Лорис слушал с умнейшим, все понимающим, сочувственным и братским выражением лица.

— Михаил Тариэлович, ты больше, чем кто-либо, знаешь, что моя жизнь в опасности. Я могу быть убит завтра же. Если это, не дай бог, случится, не покидай дорогих мне людей. Я рассчитываю на тебя.

Лорис-Меликов преданно и в молчании, приличествующем минуте, склонил голову. Хитрец, он не хотел касаться словами этой нежной материи, где всякое движение могло ранить государя. Но Александру не терпелось выманить у умнейшего человека мнение: не о самом поступке, разумеется, а о том, что за сим последует.

— Признайся, ты несколько поражен?

— Благородство вашего величества не может поражать, оно беспредельно, а стало быть, всегда естественно.

— Но ты, как умный человек, Михаил Тариэлович, не можешь не знать,— заговорил Александр, слегка раздражаясь,— что не все обнаружат такое же хладнокровие, как ты, узнав о событии.

— А покорному дитяти все кстати! — ответил Лорис пословицей. Сейчас же его смуглое лицо как бы окаменело и напряглось.— Если говорить всерьез, ваше величество, то нынче как нельзя более удобный момент для проведения намеченных преобразований. Ибо одно впечатление ослабляет другое...

Заговорили о деле. Листая страницы доклада, скользя глазами по строчкам: «Я далек от мысли, что преступная деятельность социально-революционной партии прекратилась, а тем более не смею приписывать исключительно трудам комиссии...» — Александр думал не столь-

ко о том, что читал — он уже все это читал раньше и продумал,— сколько, с особенным покойным удовольствием, о Лорисе: «Светлая голова!» Министром внутренних дел предполагалось, разумеется, быть Лорису. Товарищами министра — Каханову и Черевину. Превосходные кандидаты, дельные люди, главная гарантия дельности: рекомендация Лориса. Функции Третьего отделения передать департаменту полиции. Благороднейший человек! Честное солдатское сердце! Отказаться от неограниченной власти, какую давала Верховная комиссия, перейти в ряд министров...

— А не кажется тебе, Михаил Тариэлович, что будешь несколько понижен в чине?

— Думаю о пользе дела, но не о чинах, ваше величество.

Хорошо сказано. Славный ответ. Кабы все на Руси думали о пользе дела — далеко бы наша страна продвинулась.

Вскоре приехал из Гапсаля наследник. Разговор был тяжел. Но наконец все позади, кончилось, забыто, и 17 августа Александр и княгиня Юрьевская с двумя старшими детьми отправились — к изумлению свиты, адъютантов и секретарей — одним поездом в Крым.

Утро 17 августа было ясно, холодновато. Намекало на осень. Андрей зябнул, он поднялся рано, ночью не спал, брел длинным Вознесенским проспектом, набережной Фонтанки и, не торопясь — заставляя себя не торопиться, потому что раньше известного срока появляться там, у моста, невозможно,— вышел на безлюдную, чисто метенную Гороховую. Царева улица! По Гороховой скачет царь из дворца на Царскосельский вокзал и с вокзала во дворец. Михайлов еще в начале лета приметил: улица замечательная. Особо замечательным показался старый арочный мост, каменный, что перебрасывал Гороховую через Екатерининский канал. Дворник срочно уезжал на юг, все по тем же делам: добывать деньги, завещанные Лизогубом. Приготовление мины под мостом поручили Желябову.

В июле катались на лодке, пели, дурачились, шутили с бабами, полоскавшими на плотах белье, и приглядывались к высоте арки, кладке стен, мерили дно. Глубина порядочная, веслом не достать. Тогда, в июле, на первой рекогносцировке были Баранников, Пресняков,

одесский малый Макар Тетерка, старый приятель, Грачевский и Андрей сам-пят. И еще Васька Меркулов, шестой, тоже одесский паренек, только что приехавший из Одессы вместе с Верой. Думали, гадали: куда закладывать динамит? Кладка каменная — страшная, циклопическая, без большой работы, сверленья и шума мину не заложить, а шуметь на Гороховой нельзя, кругом шпики рассыпаны. Андрей предложил: сядет под аркой с ящиком динамита, зацепится как-нибудь и взорвет с собой вместе. Предлагал просто, по-деловому и обсуждалось по-деловому: какой выигрыш для партии, какой проигрыш, какой риск? Техники Кибальчич и Гришка Исаев сказали, что гибель Андрея, конечно, неминуема, а вот погибнет ли царь, неясно. Вероятность небольшая. Кибальчич подсчитал: нужно пудов семь, не менее. Кто же такую глыбищу и в каком ящике удержит? Андрей взглянул на Соню: лицо как мертвое, а когда Кибальчич заговорил — вдруг зарозовело. Но ни слова не вымолвила, даже не посмотрела. Решено было опускать динамит на дно. Упаковать в гуттаперчевые подушки и — туда, под арку. Через несколько дней Пресняков, Тетерка и Андрей взяли лодку, погрузили на дно четыре гуттаперчевые подушки, укрыли рогожей и отправились на взморье, потом вошли в Фонтанку, проплыли вдоль набережной Галерного острова, день был жаркий, коломенские обыватели прятались от солнцепека под тень домов, вошли в Крюков канал и медленно повернули направо, в Екатерининский. Пресняков, полулежа на корме, отчего-то особенно веселился, насвистывал — на него непохоже, он ведь мрачен обычно,— перебранивался с бабенками на берегу, и все это отчетливо запомнилось: солнечный блеск, скрип весел, запах рогожи, веселое, худое лицо Преснякова. Вплыли под тень моста, Андрей быстро свалил за борт связанные проволокой подушки, конец провода держал в руке и, когда причалили к прачечной, Пресняков выпрыгнул из лодки на плот — поглядывал, нет ли бутырей [1] поблизости,— а Андрей прикреплял провод ко днищу плота.

Пресняков насвистывал: «Как на Шпалерной в трактирчике...»

Макар Тетерка был, как видно, сильно взволнован, почти не разговаривал, усердно греб и, глядя на Андрея, все морщил с какой-то напряженной, безмолвной

---

[1] Б у т ы р ь — городовой *(жарг.)*.

преданностью свое и без того сморщенное, рябое лицо. Макар — человек верный. Еще в Одессе Андрей это понял; он из бедной казацкой семьи, по профессии резчик по дереву, любит «художество», даже учился в Одессе в скульптурной мастерской. Но главная фанатическая любовь Макара: к будущему социализму, о котором он много книжек перечитал, к революции и даже, точнее сказать, к людям революции. Вот сказал бы ему Андрей тогда: прыгай, Макар Васильевич, в канал, а провод в зубах держи — и он бы, не думавши... И приезд его летом был как нельзя нужен. Людей-то убавляется. Запомнился Пресняков с его свистом, балагурством, потому что — последний раз виделись. Двадцать четвертого июля Андрея Корнеевича, «потрошителя шпионов», схватили на Среднем проспекте — выдал кто-то из рабочих, и уже есть подозрение, кто именно,— потому что полицейский был в партикулярном, помогали ему швейцар с дворником. Пресняков отстреливался, ранил двоих, одного смертельно — по сведениям Клеточникова, швейцар умер неделю назад в госпитале,— но все же беднягу Андрея одолели.

А в начале июля арестовали Ваничку Окладского. Уж вовсе странно: жил Ваничка по фальшивому виду на имя Ивана Петровича Сидоренко, жил очень смирно, расчетливо, ничем взбудоражить властей не мог. И вдруг — арест! Клеточникову пока что дознаться не удалось, но как будто дело связано с проверкой паспортов. Даже такой слух прошел: будто власти додумались паспорта всех без исключения приезжих подвергать проверке, то есть посылать запросы на места, где паспорта выданы. Слыша обо всех новомодных хитростях и кознях Лорис-Меликова, Андрей приходил в ярость: и этого сладкогласного фараона считают либералом! Преснякова и Ваничку жалко безмерно, главная сила была: свои люди среди рабочих, особенно Пресняков. Появились, правда, новые помощники: Макар с Васькой, Валентин Коковский, вновь возникли старые друзья — Андрей Франжоли, Мартын Ланганс, преданные бесконечно. Но такой железной руки, такой ясной беспощадности, как у Андрея Корнеевича... К этим неприятностям прибавлялись другие. Месяц назад докатилась наконец весть из Европы, ответ Драгоманова. Нет, не согласен шановний батько представлять «Народную волю» за границей. По причине дюже большой занятости научной работой и некрепкого здоровья. Предста-

вителем партии в Европе назначили Льва Гартмана. Конечно, не тот авторитет, не те возможности, связи, но выхода нет. Зато человек свойский. Обидно было за письмо к «батьке» — эва расшаркивался! Соня сразу сказала: не согласится. Причины предполагались разные: упорный федерализм Михайлы Петровича, известная русофобия, возраст, здоровье, характер...

Но Андрею мерещилась — ко всем другим причинам — одна ядовитейшая: момент неверия. Ведь все мимо, все невпопад. Из пяти выстрелов почти в упор ни разу не попадаем. Взрывом калечим свитский поезд, другим взрывом — кордегардию. И полное болотное оцепенение в ответ, даже круги не бегут: истинное болото.

Нужен, нужен, как воздух, как кислород, этот недостижимый мистический пряник! Иначе — гроб, все не имеет смысла. Превратиться в смехотворных неудачников, над которыми будет потешаться история.

А если пряник произойдет — все оправдается, переменится мгновенно, ибо этого жаждут, может быть, и бессознательно, повсюду, и трясина заколыхается, и Европа зашевелится, и Драгоманов спохватится: «Зачем же я не согласился таких людей поддержать?» Но поздно, дорогой Михайла Петрович, раньше надо было думать, а теперь — извиняйте, у нас другие планы.

Андрей, задумываясь о чем-то особенно неприятном, как ответ Драгоманова — даже письма не прислал, на словах! — не замечал того, что идет быстрее, чем нужно.

Нельзя было являться к Каменному мосту ранее половины восьмого. Остановился, поглядел, как праздный гуляка, по сторонам, побрел не спеша все той же набережной к Чернышеву мосту. Теперь начало подниматься волнение, и ни о чем больше думать не мог. Договорились с Макаром встретиться у Чернышева моста и оттуда идти назад к Каменному, к плотам. Сесть там и мыть картошку. Макар должен принести корзину с картошкой, а у Андрея — его рабочая, мастеровая сумка, где спрятана электрическая батарея. Решено было так: дело берут на себя двое, он и Макар. Соединить проводники с батареей должен Андрей.

Возле Чернышева моста Макара не видно.

Андрей прохаживался по набережной, стараясь не обнаруживать нетерпения и тревоги, возраставших с каждой минутой. Что случилось? Арестовали ночью, что ли? Половина восьмого, надо бежать сломя голову

к Каменному, иначе — конец. А вдруг Макар не понял и сразу пошел к Каменному? В Петербурге он недавно, заблудился, перепутал. Но если побежать сейчас туда, Макар явится к Чернышеву мосту, не увидит Андрея и растеряется. Андрей не знал, как поступить. Без двадцати восемь он бросился бежать к Каменному, наплевав на Макара с его картошкой — черт с ним, теперь уж не до маскировки! — и вдруг крик «Тарас!» остановил его.

Макар вывалился из-за угла с тяжеленной корзиной, от которой гнулся набок, держа ее в правой руке, левой махал Андрею. Подбежал, потный, взъерошенный.

— Ты что?..— Гнев сжимал горло.

— Часов-то нету... время... Перепутал...— бормотал Тетерка.

— Тетеря ты, а не Тетерка! — гаркнул Андрей.— Пошли!

Двинулись быстрым шагом, почти побежали по набережной. Макар задыхался, сопел, Андрей стискивал кулаки: бог мой, был бы здесь Пресняков! Да кто угодно: Степан, Дворник, хоть Ванька Окладский... Нету людей, нету, нету. Сам виноват, надо было брать Семена Грачевского, они вызывались. Вот и Каменный мост, горбатая арка. И по мосту скачет царь. Веселым, бешеным скоком летят кони, сверкает что-то лакированное, блестящее, черное, мелькнуло красное, башлыки казаков — проскакали, исчезли. В Крым, к теплому морю.

— Вот и все, братец мой,— сказал Андрей.— Протетерились...

Макар вдруг бросил корзину, закрыл руками лицо, сел на корточки. Плачет, что ли? Злоба и жалость переполняли Андрея, но не к нему, к этому плачущему, с мелким, сморщенным личиком недотепы, а — к себе, ко всем, кто так жаждал, и надеялся, и делал, что мог, не заботясь о жизни и смерти.

Спустя несколько дней подплыли на лодке под мост, поздней ночью — ночи стали темны,— и кошками пытались поднять гуттаперчевые подушки со дна, бились долго, ничего не вышло. Так и уплыли попусту. Андрей был мрачен: все не ладилось, рушилось, а время шло, люди гибли. Единственная радость: в конце лета вышел второй номер «Листка Народной воли» со статьей о

Лорисе. Написал Михайловский, зло: «Благодарная Россия изобразит графа в генерал-адъютантском мундире, но с волчьим ртом спереди и лисьим хвостом сзади». Разбор всей деятельности Лориса отменный. С треском даются либеральные обещания, а на деле: высылки, шпионство, в предварилке оскорблению подвергаются женщины, Малиновская сошла с ума... «Листок» вышел, прошумит, испортит графу и кое-кому настроение, вызовет мигрень, приступы грудной жабы — ну, а что дальше?

К сентябрю мысли Андрея — по-прежнему мрачные — приняли новое направление. Отовсюду приходили вести о голоде, бескормице, повальных болезнях. Голод может стать вернейшим помощником революции. Идея крестьянского восстания и раньше завораживала Андрея, он видел себя новым Пугачом, мечтал, но все казалось невыполнимым, народ был прибит к земле, сыр, неподвижен, и только теперь как будто начиналось движение — от несчастий, от голода! — и загоралась надежда. Андрей собирал сведения, узнавал, где мог, выспрашивал крестьян, мастеровых, торгашей на рынках, извозчиков, мелких чиновников и бродяг в трактирах. Картина российской жизни возникала страшноватая. Дворник, приехавший с юга, говорил, что в Екатеринославской губернии крестьяне во многих селах все побросали и разбрелись с семьями кто куда. На Самарщине голод. Саратов, Камышин, Царицын переполнены пришлым людом, ищут работы, но работы нет. На юге свирепствуют саранча и жучок, хлеба уничтожены, неимоверный падеж скотины. В Орловской губернии едят мякину, а в Пермской — голодная смерть среди татар...

Да тут еще болезни! Чиновник, хохол с Полтавщины, рассказал, что дифтерит душит без пощады, в деревнях мрут сотнями. Один студент из новых знакомых, Коля Рысаков, был каникулами на родине, где-то на севере — и там жучок, посевы поедены, людей мучит сибирская язва, а трупы зарывают халатно, сам видел, едва землей присыпают, чтоб комиссии глаза отвести. Когда же лучшее время для бунта? Все бунты на Руси — голодные да холерные. Бунтуют кое-где самочинно, когда уж сил нет терпеть: в западных краях, на Черниговщине, на Смоленщине, то бунт при межевых работах, то при описи крестьянского имущества, в Великолуцком уезде битва с целой военной командой, старшина застрелен, много раненых, пристава — кольем...

И Андрею с совершенной ясностью представлялось, что расколыхать это море — то ли мощным кличем, примером вожака, то ли п р я н и к о м, то ли новой какой-нибудь неудачной войной — и не остановишь, города с кремлями своротит, мосты снесет, затопит. В июньской книжке «Юридического вестника» в уголовной хронике открыто писано: деревня оголодала, обнищала, и оттуда покатилась по Руси вся эта голь перекатная, рвань немытая, беспаспортная, что толпится и гибнет на наших пристанях и ватагах. У диких зверей, сказано, есть норы и логовища, а у этого одичалого люда нет ничего. Им Сибирь не страшна, они туда стремятся. Голодный человек ничего не боится. Обобранные крестьяне, фабричный яростный люд — вот армия! Стать во главе, двинуть на Питер — затрещит империя.

— Покушения отложить на какое-то время... А? Как считаешь? — Еще ни с кем не советовался, никому не высказывал крамольной мысли, Соне первой.— Проклянут меня наши ортодоксы?

В октябре поселились вместе, по 1-й роте Измайловского полка. Квартира небольшая, две комнаты с кухней, но, что удобно: один выход на улицу, другой во двор, а со двора вход в табачную лавочку. Соня поселилась под фамилией Войновой, а он — ее брат, Слатвинский Николай Иванович. Что решать будем, госпожа Войнова, куда подадимся? Опять землю рыть, динамит варить или же по старому призыву — народ бунтовать? И Соня устала от неудач. Сказала, что готова с ним — на Волгу, на Дон, куда угодно, но Комитет, наверно, решит иначе.

Андрей потребовал срочного созыва Комитета.

На другой день оповестили всех, кто был в городе. Никто, кроме Сони, не догадывался, зачем понадобился срочный сбор, знали только: по просьбе Тараса. Андрей начал с того, что сказал кратко о положении в крестьянстве, мятежных настроениях, о том, что Россия близка, по его мнению, к восстанию, как никогда. Говорил властно, уверенно, расхаживал перед столом, а все сидели и слушали в напряженном молчании.

— Если сейчас остаться в стороне, не подхватить этих настроений, не откликнуться на них — то есть не помочь народу свергнуть власть, которая его душит,— русский народ нам этого не простит. Мы потеряем всякое значение в его глазах и никогда уже его не приобретем. Крестьянству надо внушить, что тот, кто самодер-

жавно правит страной, ответствен за жизнь и благосостояние населения,— отвечает головой, понимаете? — и отсюда право на восстание, коли правительство не может защитить народ от голода, вымирания. И еще вдобавок отказывается помочь народу средствами государственной жизни. Мы обязаны воспользоваться моментом истории. Воспользоваться неурожаем, голодухой, мором, жучком, саранчой, бескормицей, падежом скота. Все это нам на пользу, на благо, как ни горько говорить!

Речи Андрея обладали особым свойством: их не удавалось перебивать. Заставлял себя слушать. И вот сейчас: по лицам видел, что товарищи насторожены, сурово супятся, хотят возразить, но — молчат.

— Я сам отправлюсь в приволжские губернии и встану во главе крестьянского восстания. Я чувствую в себе силы: смогу. Правительство надо заставить признать права народа на безбедное существование. А будет упорствовать — долой, смести его! Знаю, вы поставите мне вопрос: а как быть с покушением? Отказаться от него? И я отвечу: нет, ни в коем случае. Но я прошу у вас отсрочки. Ибо именно сейчас, в октябре восьмидесятого года,— тот самый момент истории.

Первой, и очень решительно, высказалась Фигнер:

— Я против отсрочки!

Ее поддержали все подряд: Исаев, Баранников, Кибальчич, Тихомиров, Ошанина, Корба, Грачевский, даже Дворник... Говорили скупо, чувствовалась неловкость: «Я против... Я тоже против... И я...» Андрей смотрел на суровых товарищей, верных ему до последнего вздоха, и думал: «Трудно отказываться от того, чему в жертву отдана жизнь!» Он предполагал, что так и будет. Но должны правильно понять: это не усталость, не отчаянье от неудач, а весьма трезвое соображение и, если хотите, холодный расчет.

Верочка, когда возбуждалась, краснела пятнами, глаза расширялись, и непонятно было — то ли это гнев, то ли изумление.

— Как можно прервать сейчас то, ради чего потрачено столько сил, трудов? Ради чего погибли товарищи? Смысл нашей работы — как раз в непрерывности возмездия!

— Тарас, а ты уверен в том, что нас не схватят завтра, сегодня? — спросил Исаев.— Отсрочка — гибель.

Мы рискуем не выполнить то, что обязаны выполнить: казнить царя.

— Придут на наше место другие,— сказал Андрей.

— Не очень-то густо приходят. Мы больше теряем, чем находим. Нет, если не сделаем мы, никто не сделает!

Дворник сказал:

— Я, конечно, понимаю Тараса: мы должны расширять нашу деятельность в народе... Это верно, разумеется, и в таком с-смысле я с-согласен...— Дворник запинался сильней обычного и вообще был смущен.— Но говоря в целом: я тоже против отсрочки...

Соня, которая высказалась в поддержку Желябова, предложила вопрос баллотировать, но Андрей отказался: не имело смысла. Он подчинился. Вечером обсуждали с Соней всю эту историю, было чувство какой-то саднящей и несколько неожиданной обескураженности: неожиданной оттого, что уж больно единодушно отвергли. Понимал, что отвергнут, но — чтоб ни один не поддержал!

— А знаешь, Соня, еретическая мысль,— вдруг сказал Андрей.— Ведь в нашем Комитете я единственный — сын крестьянина.

— Почему же единственный?

— А, вот и ты не задумывалась! Как же: Дворник из дворян, ты из дворян, Семен из дворян, Марья Николаевна то же самое, Михайло сын фельдфебеля, Тигрыч — военного фельдшера, Кот-Мурлыка, Фигнер, Корба, Суханов — все из дворян, Баска, Кибальчич — дети священников... Ну, кто еще? Мартын Ланганс из немцев-колонистов, Богданович из дворян... Я один крестьянский сын. Больше нема.

— Если ты полагаешь...— заговорила Соня внезапно чопорным тоном, какой изредка прорезывался у нее и Андрея смешил,— что мы меньше думаем о народном благе, то это заблуждение. Для тебя непростительное.

И взгляд сделался почти высокомерным, «губернаторским». Он обнял Соню, засмеялся, уже успокоенный. Конечно, это шутка! Но ведь то, от чего отказались, придет само, никого не спросясь.

Он умел отреза́ть свои неудачи. Отбрасывать даже память о них. (Правда, память, совсем исчезнувшая, вдруг нечаянно воскресала.) Вернувшийся с юга Двор-

ник привез не только порядочную сумму денег, около двенадцати тысяч, собранных у жертвователей, но и чрезвычайно ценные сведения для документов. Эти документы, паспорта на имя крестьян Кобозевых, мужа и жены, предназначались для нового предприятия на Малой Садовой. (Баранников, гуляя однажды по улицам — а гулять он любил, одевался франтом, в цилиндре, с тросточкой,— обнаружил подходящее помещение на Малой Садовой, сдававшееся внаем. Решили затеять тут предприятие наподобие одесского, на Итальянской улице.) И вот часть денег, привезенных Михайловым, пошла на это дело, другая часть — на устройство типографии.

А в конце месяца, по слухам, должен был начаться суд. От него зависело многое. Как покажет себя Лорис? И сам царь? И есть ли действительно поворот во внутренней политике или же все — вздор, говорильня? Пожалуй, исход суда определял и царскую судьбу, о чем никто не догадывался. Царь и его генералы полагали, что подпольная партия стараниями Гришки Гольденберга обнажилась догола, одни схвачены, других схватят завтра, и долгое затишье подтверждало такой жизнерадостный взгляд, а люди Комитета, помнившие о приговоре царю, который они вынесли в августе прошлого года, лишь смутно чуяли — и никому не говорили о том,— что в исходе суда крылся роковой для царя смысл. Если проявит великодушие, не даст воли кровожадности — тогда, может быть, это будет воспринято как знак... А если станет мстить, тогда — казнь!

25 октября процесс начался. Объявлено было так: дело о дворянине Александре Квятковском, крестьянине Степане Ширяеве и других, преданных военному суду временно командующим войсками гвардии и петербургского военного округа по обвинению их в государственных преступлениях. Судилось шестнадцать человек: Квятковский, Ширяев, Пресняков, Окладский, Тихонов, типографщики Бух, Цукерман, Иванова, Грязнова, связанные с убийством Кропоткина Кобылянский, Булич, Зубковский, предатель Дриго (выдал Лизогуба), Мартыновский и сестра Верочки Евгения Фигнер, Зунделевич.

Через день стало известно, что Степан произнес прекрасную, полную достоинства речь о второстепенности террора для партии, о том, что главное, к чему стремятся народовольцы,— признание верховенства народа, со-

зыв Учредительного собрания. И другие держались неплохо. Это была первая — словесная — схватка народовольцев с правительством, и народовольцы, кажется, ее выигрывали. Некоторое дрожание проявляли люди, далекие от партии: Булич, Зубковский, нервная бабенка Грязнова. Почему к революционерам присовокупили предателя Дриго, было неясно. Но Квятковский, Степан Пресняков и даже молодые рабочие Окладский и Тихонов держались героями! И, конечно, Соня Иванова — «Ванька» — показала замечательное мужество. Впрочем, другого от нее не ждали.

И все же это были дни горя. Товарищи погибали, и спасти их было нельзя.

30 октября, накануне объявления приговора, Андрей пришел, как условились, на квартиру Михайлова, в дом Фредерикса в Орловский переулок. Было несколько неотложных дел. Михайлов показал письма, только что полученные из крепости тайным путем: одно от Ивановой, другое от Преснякова. Иванова передала некоторые материалы суда, защитительную речь Степана, а сама записка от нее была краткой: «...Относительно себя самой и других сообщу, если будет возможность, теперь же голова у меня совсем пуста, так что я даже ничего не могу сообразить. Трудные минуты приходится переживать, мои дорогие. Писать больше не могу. *Ваш Ванька*».

— Их распустили до приговора,— сказал Дворник.— Объявят завтра, в девять вечера. Вот письмо Преснякова.

Письмо было наспех, карандашом. На Преснякова навешивали больше, чем на других: убийство двух шпионов и еще убийство, при вооруженном сопротивлении, швейцара Степанова. Где ж тут спастись? Но Пресняков на что-то надеялся. Просил прислать денег, просил устроить братишку в ученики к мастеру. Просил в случае казни ответить как следует врагам, «только без пролития посторонней невинной крови». И в заключение так: «Не знаю, как я пойду на виселицу, желания особого жить нет, да и умирать, с другой стороны, не хочется, помилования просить не буду. Ну, затем прощаюсь со всеми товарищами обоих полов — обнимаю всех в последний раз. Живите, наслаждайтесь, наполняйте землю последователями и обладайте ею. *Андрей*».

И была еще маленькая записка, где говорилось о предателе Яшке Смирнове, выдавшем Андрея. «Смерть шпионам вообще, а рабочим в особенности... Прощайте, друзья, до встречи в будущей жизни».

Андрей усмехнулся: «в будущей жизни...» Хотелось сказать: а все же мало мы знаем друг друга!

В трактире на Лиговке ждал Клеточников.

Сегодня — день условленной встречи, но почему-то не в обычном месте, на квартире Натальи Николаевны. Дворник объяснил: Наталья Николаевна больна. А трактир — верный, как дом родной. По дороге на Лиговку Дворник выговаривал Андрею: наябедничал Валька Коковский. Да, было дело. Каюсь, виноват. Дней десять назад, еще до начала суда, Андрей с Коковским попали на сходку студентов. Настроение было — хуже некуда. Уже шли разговоры о суде, предрекали виселицы, и мысли Андрея были совсем не здесь, где шумела молодежь. Выступил он вяло, неудачно. Зато Валентин работал за двоих! С этим молодым парнем Андрей особо сблизился в последнее время, Валентин стал помощником во всех предприятиях с рабочими и в издании «Рабочей газеты». Вдруг в разгар споров отворяется дверь и появляется усатая рожа местного дворника. Валентин мгновенно перестроился и тем же громким голосом продолжал речь о каком-то фельетоне «Голоса». «Господа, что у вас тут за собрание?» Хозяин объяснил, что он сегодня именинник, пригласил гостей. Рожа пробубнила: «Как вам будет угодно, но я должен донести в участок. Нынче этого не дозволяется...» Ушел. Как быть? Единственный нелегальный среди всего общества — Андрей. Ему надо исчезать немедленно, потому что дворник приведет околоточного. И вот это-то — бежать сейчас же, как зайцу — представлялось Андрею невозможным. Понимал, что каждая секунда грозит гибелью, и не мог заставить себя подняться и уйти. Наоборот, вдруг возникло желание, какого не было минуту назад,— разговаривать, шутить, он оживился, стал рассказывать какую-то историю из одесской жизни. По лицам присутствующих видел, что люди изнывают от нетерпения, страха за него, всех охватывает безумное раздражение, но ничего не мог поделать с собой. Наконец Валентин схватил его пальто, набросил на плечи и крикнул, толкая к двери: «Да уходите же, черт возьми! Назло вы, что ли?» Ушел благополучно. Через несколько минут явился дворник с околоточным.

— Уж ты, наверно, смылся бы в тот же миг? — спросил Андрей.

— Разумеется,— сказал Михайлов.

— Поэтому ты великий революционер, а я — неисправимый дилетант. Впрочем, в одном я уверен: на эшафоте я буду держаться великолепно! — И Андрей шутливо стукнул приятеля по спине, дразня его. Дворник очень не любил шуток на эти темы.

Стал поучать Андрея: тот обязан был думать о других, кого мог скомпрометировать, если б его арестовали. Все верно, азбучно, не подлежит обсуждению, но бывают минуты затмения разума: он затмевается не безумием, нет, а какой-то яростной вспышкой самолюбия. Так невыносима эта вечная несвобода, эта ужасающая, ежеминутная подчиненность ничтожным обстоятельствам!

— Я этого не замечаю,— сухо сказал Михайлов.

Они шли под сильным дождем.

— Дождя тоже не замечаешь? — спросил Андрей.

— Нет,— ответил Дворник.

Пришлось побежать и спрятаться в подворотню. Дождь был холодный, тяжелый, почти уже и не дождь, а снег. Через полчаса добрались до Лиговки, вбежали в трактир, гудящий народом, в дым, в толкотню. Хозяин был немец, какой-то родственник Богдановича, человек услужливый и приятный. Повел по деревянной лестнице наверх, на второй этаж в особую, упрятанную в конце коридора, комнату. Николая Васильевича еще не было. Половой притащил снизу чай, закуску и бутылку легкого немецкого вина: от хозяина.

Пока ждали Клеточникова, Андрей рассказывал о Валентине. Парень замечательный, преданный, горит делом, и не в поэтическом смысле, а в истинном: болеет, сгорает. Все принимает близко к сердцу. Ведь Преснякова, его товарища, арестовали у него на глазах, и он видел, что — по знаку Яшки Смирнова, который считался пресняковским другом. Яшка себя спасал: ему грозила административная ссылка, и вот он от нее откупился. Валентин был потрясен: «Что же это за люди? Есть ли у них душа?»

И как раз во время разговора о Преснякове и Яшке вошел Клеточников. Андрей не видел его месяца четыре. Николай Васильевич подобрел, слегка округлился, у него был вид мелкого, довольного жизнью чиновника.

Он повесил мокрую шинель на вешалку, аккуратно

расправив плечи, на двух крючках, чтобы шинель сохла и не портилась, стряхнул воду с фуражки, положил ее бережно на стул, потом стал перчатки стягивать.

— Если не ошибаюсь, поминаете Андрея Корнеевича Преснякова? — От Клеточникова пахло, как обычно, приторными духами. Глядя на этого человека с маленькой жалкой бородкой, маленькими руками, с каким-то мягко-податливым взглядом из-под стекол в золотой оправе, Андрей всегда удивлялся: откуда что берется? — Так вот, могу сообщить, господа, если не знаете: сегодня утром Пресняков в последнем слове сказал, что признает свою солидарность с «Народной волей» и разделяет ее идеалы...

Андрей с Дворником вскинулись: откуда известно? Один из чиновников департамента был на суде, только что рассказал, полтора часа назад. Очень возмущался. Почти все, говорит, держались смело, нахально, не просили о снисхождении. Люди совершенно пропащие. Этот чиновник промышляет репортерством в какой-то газете, кое-что записал, а Николай Васильевич у него сдул.

— Знал, что вам будет интересно. Стиль, разумеется, наш, департаментский...— Николай Васильевич достал из кармана вицмундира листок, сложенный вчетверо и прищепленный с помощью маленькой шпильки к другому листку. Все было аккуратно расшпилено, развернуто, и Николай Васильевич стал читать: — Квятковский: длинная речь с попыткой оправдать свои злодейства. Заявил, что лучше смерть в борьбе, чем нравственное и физическое самоубийство. Степан Ширяев: Мы принадлежим к разным мирам, соглашение между которыми невозможно. Как член партии, я действовал в ее интересах и лишь от нее да от суда потомства жду себе оправдания. Говорил с особенным, наглым спокойствием. Иванова: неприятная внешность, фанатичка. Единственное желание, чтобы меня постигла та же участь, что и моих товарищей, хотя бы даже смертная казнь. Говорят, прижила ребенка от Квятковского. Хорошенькие нравы в этой среде... Ну, тут идет комментарий по сему поводу, малоинтересный... Мартыновский, Цукерман и Бух ничего не имели прибавить в свою защиту. Тихонов и Окладский: вызывающе дерзко. Тихонов выкрикивал неуместные слова, председатель суда его прерывал. Тихонов: Я знаю, мне и моим товарищам осталось несколько часов до смерти... Оклад-

ский: Я не прошу и не нуждаюсь в смягчении моей участи. Напротив, если суд смягчит свой приговор относительно меня, я приму это как оскорбление... Об остальных — ничего.

— Вот тебе и Ваничка Окладский,— сказал Дворник.— Мы привыкли: Ваничка, Ваничка. Сделай то, принеси это... А он — герой.

— Ваничка человек общественный,— сказал Андрей.— Как мир, так и он. Видит, что стоят насмерть, не гнутся, ну и он — чтоб не отстать.

Николай Васильевич бумажку передал Дворнику, а другую, со шпилькой, положил обратно в карман.

— Говорят, будет пять виселиц.

— Все тот же репортер?

— Да, он близок ко второму судье, полковнику Бабсту, чуть ли не родственник.

Затем Николай Васильевич назвал несколько шпионских фамилий и перешел к главному: он добыл наконец известный «Обзор социально-революционного движения в России», сделанный по заказу бывшего Третьего отделения и изданный секретно в небольшом количестве экземпляров. Долго Николай Васильевич раздобывал этот плод полицейского исследования, и вот — удалось. Сочинение примечательное. С помощью статистики автор, некто Мальшинский, опровергает многие предрассудки: о том, что революционеры в большинстве мальчишки, интеллигенты, инородцы и что вообще вся крамола вывезена из-за границы. Все это разбивается цифрами. Большинство преступников дает Ярославская губерния, затем Петербургская, Курская и так далее. Православные составляют громадное большинство, католики только двенадцать процентов, а процент евреев совпадает с процентом еврейского населения: четыре процента. И много другого, занимательного. Обзор надо, конечно, печатать в четвертом номере «Народной воли», который сейчас готовится, но тут загвоздка: как быть с автором? Ведь это тот самый Мальшинский...

— Тот самый, непременно,— кивал Николай Васильевич.— О ком весною предупреждал вас, Петр Иванович.

Клеточников, умница, золотой человек, еще в марте сообщил: в Европу посылают агента, будет издавать в Женеве якобы революционную, а на самом деле провокаторскую газетку «Вольное слово». Послали предупреждения Лаврову и Драгоманову. Лавров внял, а Дра-

гоманов заносчиво отозвался: мол, признает за собой право действовать по собственному усмотрению. Андрей тогда сильно разъярился: это было в конце лета, уже после того, как женевский «батька» отказался быть представителем партии. Ладно, не хочешь связывать себя с террористами, но не связывайся, черт побрал, с полицией! Вопрос таков: публикуя «Обзор» в «Народной воле», следует ли прямо назвать Мальшинского полицейским шпионом?

Сей ребус надлежало решать вместе с Тихомировым, Кибальчичем, Аней Корба. Андрей полагал, что называть шпионом не следует. На Драгоманова это уже не подействует, он мужчина упрямый и, как видно, страсть как хочет заполучить с в о й орган, а читателям «Народной воли» такое примечание не впрок: сразу возникнет недоверие к «Обзору». Ну ладно, будет решено редакцией. За «Обзор» спасибо великое. Что еще? Да, собственно, более ничего. Анекдоты. В департаменте несколько дней бушевала паника: из Саратова пришла телеграмма, что, по агентурным сведениям, на царя готовится покушение служащими Севастопольской дороги, руководитель Иван Какаин. Что за Иван Какаин? Явилось уточнение: Ванька Каин. Начался такой шурум-бурум, не приведи господь: всех Ванек Каинов повытаскивали из ночлежек. Откуда пошел слух? От кого? Человек тридцать похватали. Занимался всей этой ахинеей полковник Гусев. А вчерашним днем отправлена телеграмма в Ливадию — Николай Васильевич сам видел — о том, что получено сведение, будто злоумышленники во время обратного путешествия государя из Ливадии намерены пустить в Черном море миноноску, которая будет лавировать там в виде красивой лодки. Об этом сообщено Управлению морского министерства. Подписал сам барон Велио, директор департамента полиции. Ну не потеха ли?

Потеха, потеха. Три человека, сидевшие в тайной комнатке над трактиром «Плевна», знали, что потеха затеяна ими — страх, ожидание, фантастические планы, паника сотен людей, обязанных паниковать по службе, — и они могли бы смеяться, как смеются, сознавая свое могущество.

Но были мрачны. Ничто не веселило их.

Николай Васильевич рассказывал, кривя маленький рот в улыбке, а глаза под стеклами очков были темны, печальны. Завтра в девять объявят приговор. Андрей

заторопился: должен в одиннадцать встретить Соню на Вознесенском, так договорились. Куда в следующий раз Николаю Васильевичу прийти? Нужно подыскивать квартиру. Милая Наталья Николаевна, которая так полюбилась Николаю Васильевичу, кажется, окончательно сдалась. Тяжелейшее нервное напряжение: сидеть взаперти, никого не принимать, ни с кем не встречаться. А как было у нее чудесно: чай с домашним печеньем, булочки ароматные...

Голос Николая Васильевича слегка дрожал. Страннейший человек! Скрытность — как бы его природа. Ведь не печеньем же Наталья Николаевна привлекала, не из-за булочек печаль. А прикрывается всегда чем похуже: пустяками, булочками, интересом каким-нибудь мелкотравчатым. Еще скажет, что и в Третье отделение из-за денег пошел.

— Квартиру подберем, все наладится,— сказал Дворник.— Вы не огорчайтесь, Николай Васильевич.

— Да я, собственно, не так уж, Петр Иванович, огорчен. Попросту сказать, привык... И поговорить иногда...

— Найдем еще лучше квартиру,— сказал Андрей,— тоже чай будете пить, разговаривать. Все в наших силах.

— А к Наталье Николаевне... никогда уж?

— Никогда. Наталья Николаевна больна.

Пришла весть: Квятковского, Ширяева, Преснякова, Тихонова и Окладского — к виселице. Остальных к каторге разных сроков в рудниках, Зунделевича к бессрочной. И как узнали об этом страшном, жесточайшем, так решили сразу: не отвлекаться ничем, все прекратить, одна цель — рассчитаться с царем. Не желает уступать. Ну, коли так... И даже когда два дня спустя газеты сообщили, что Ширяеву, Тихонову и Окладскому царь заменил смертную казнь каторжными работами без сроку, его собственная казнь уже не могла отодвинуться, и история только выбирала свой день.

4 ноября в девятом часу утра перед строем войск Квятковский и Пресняков были повешены на левом фасе Иоанновского равелина Петропавловской крепости. Два с половиной года назад Квятковский на рысаке Варваре спас Преснякова от каторги, устроив ему побег из коломенской части, тогда была весна, середина апре-

ая, и жизнь открывалась перед ними, полная приключений, борьбы и счастливых побегов. Теперь они висели рядом, и люди, проходившие рано утром на Кронверкский проспект со стороны Большой Дворянской, видели возвышавшуюся на крепостной стене правее ворот виселицу и двух повешенных в саванах.

КЛИО-72

Ширяев очень скоро погиб в Алексеевском равелине, Кобылянский так же быстро угас в Шлиссельбургской крепости, Тихонов умер на Каре от чахотки, Цукерман покончил с собой в Якутской области. Через два года после взрыва в Зимнем дворце Степан Халтурин был казнен за покушение на военного прокурора Стрельникова. Некоторые вынесли все и прожили долгую жизнь, как, например, Иванова, Евгения Фигнер и Бух, умершие при Советской власти. Что касается Окладского, то судьба его сложилась так: спасая жизнь, он согласился сотрудничать с полицией в разоблачении своих бывших товарищей, за что и заслужил от царя бессрочную каторгу вместо петли. Заодно уж, чтобы не вызвать подозрений, такая же милость была оказана Ширяеву и Тихонову. Окладский стал предателем и провокатором, он выдал все, что знал, сгубил всех, кого смог. Он называл квартиры, даже ездил в полицейских каретах и показывал эти квартиры. Он опознавал арестованных. Его сажали в соседней комнате, он смотрел в глазок на людей, которых вводили, и говорил: такой-то. Его известность в революционных кругах была велика, особенно после геройских слов на процессе: «Если суд смягчит свой приговор относительно меня, я приму это как оскорбление!» Его подсаживали к нужным арестантам, он перестукивался, выспрашивал, узнавал. Иногда назывался чужим именем, например — Тихонова. Он опознал труп Гриневицкого. Он сгубил Колодкевича, Фриденсона, Клеточникова, Ивановскую, по всей вероятности Тригони и Желябова, и многих, многих. И после разгрома народовольцев он старался вовсю, сначала на Кавказе, потом снова в Петербурге. В течение тридцати семи лет получал жалованье от департамента полиции, которое все росло и достигло солидной суммы: сто пятьдесят рублей ежемесячно. По-

следний раз он получил жалованье в феврале семнадцатого. Он был печатно разоблачен лишь в 1918 году, когда открылись архивы. Где он находился и был ли жив вообще, никто тогда не знал. Шесть лет спустя он был неожиданно арестован в Ленинграде под фамилией Петровского. Это была странная оплошность чудовищного хитреца, пережившего трех царей и три революции. В Луге у него был пятикомнатный домик, конфискованный революцией. Он уехал с семьей в Саратов, жил в Сердобске, работал механиком в частном кинематографе, в 1922 году вернулся в Питер, а в 1923 году поступил на завод «Красная заря» начальником электротехнической мастерской. Электротехника кормила его всю жизнь: еще с мастерской доктора Сыцянко почти полвека назад. И вот, заполняя анкету, он зачем-то указал на принадлежность свою к партии «Народная воля» и на репрессии, которым подвергался царским правительством: двухлетнее заключение в Петропавловской крепости. Между тем среди рабочих ходили слухи, что Петровский был членом «Союза русского народа». Одно с другим не вязалось. Ленинградский Губотдел ОГПУ послал запрос в Политическую Секцию Единого Архивного Фонда, откуда вскоре пришло уведомление о том, что если интересующее ОГПУ лицо имеет перечисленные признаки, то это знаменитый провокатор «Народной воли» Окладский. Зачем же было сделано это сверхпредательство? Всю жизнь выдавать, выдавать, выдавать, и напоследок, когда уж никого не осталось — выдать себя! Дело простое: полагал, что уже все забыто, не докопаются, а бывшие революционеры имеют право на льготы. Почему же не воспользоваться? На допросе в здании губернского суда, хорошо знакомом Окладскому — здесь, у Цепного моста, помещалось раньше Третье отделение, куда его привезли в июле восьмидесятого года, а затем находился департамент полиции и Окладский, вольный человек, захаживал сюда для дружеских бесед с господином Дурново,— он энергично все отрицал, говорил, что носит фамилию Петровский с детства, что в конце семидесятых годов служил на Закавказской железной дороге и на заводе «Сименс и Гальске» и что о «Народной воле» написал в анкете, «так как это давало гарантию удержанию на службе». Лишь когда ему показали фотокарточки 1880 года и некоторые документы, он сознался, что он — Окладский. Впрочем, узнать его по карточке было нельзя. Ваничка

превратился в грузного, сивого, неопрятного старика, который медленно двигался, опираясь на палку, курил трубку и зорко, не по-стариковски глядел из-под нависших бровей. Взгляд стал неузнаваемым: пустым и жестким.

Таким взглядом он смотрел на публику со сцены Колонного зала в январе 1925 года, когда шел его процесс. В первом ряду белели головами несколько стариков и старух: ветераны «Народной воли». Среди них были сухонькая старушка Якимова и седой, бородатый Фроленко. Москва отмечала первую годовщину смерти Ленина. Газеты сообщали, где можно купить траурные флаги, печатали циркуляр: «О практических мероприятиях по поднятию производительности труда». В кинотеатрах шла «Розита» с Мэри Пикфорд. Театр МГСПС показывал пьесу молодого драматурга Шаповаленко «1881 год» о героях «Народной воли», и Якимова вместе с Фроленко должны были после процесса отправиться в театр смотреть спектакль и потом высказать свое мнение.

Якимова глядела на старика в кожаном истертом бушлате, в каких-то нищенских брюках и в громадных, с толстой подошвою, рабочих и, даже точнее сказать, пролетарских башмаках и думала: никогда этого старика не звали Ваничкой. Никогда он не бегал, быстрый и живой, как зайчик, в лавку за хлебом и керосином; когда жили в Александровске у Бовенко, Желябов говорил: «Одна нога здесь, другая там!», и он мчался. Тот Ваничка исчез бесследно, как многие. Как большинство. Как почти все. А этот старик, упорно глядящий в зал,— откуда он? Большевик Сольц, председатель суда, читал сердитым голосом обвинительное заключение:

— «Окладский, Иван Федорович, он же Иванов, он же Александров, он же Петровский, шестидесяти пяти лет, происходит из крестьян деревни Оклад Новоржевского уезда Псковской губернии, женатый, окончивший два класса городского училища, по профессии электромеханик, служивший до ареста на заводе «Красная заря» в должности механика для лабораторных изысканий, бывший член террористической организации партии «Народная воля», привлекавшийся по политическим делам к ответственности и судившийся в тысяча восемьсот восьмидесятом году Петербургским военно-окружным судом по «процессу шестнадцати», коим признанный виновным в покушении на жизнь Александра Вто-

рого, произведенном под г. Александровском, приговоренный к смертной казни через повешение, замененной бессрочными каторжными работами, ссылкой на поселение в местности Закавказского края и в тысяча восемьсот девяносто первом году освобожденный от дальнейшего наказания с возведением в звание сначала личного, а затем потомственного почетного гражданина, ныне к партиям не принадлежащий — обвиняется...»

Эксперты и свидетели спорили. Одни говорили, что падение произошло в ночь после объявления приговора, когда в камеру к смертнику пришел жандармский генерал Комаров. У жандармов того времени было в обычае посещать заключенных, для которых исчезла всякая надежда. Из них выдавливали последнее. Комаров намекнул на возможность помилования, и Окладский сразу кого-то выдал. Тогда Комаров распорядился перевести Окладского из Трубецкого бастиона в Екатерининскую куртину, и тот побежал босиком, на радостях забыв надеть носки. Другие полагали, что договор с властями наметился раньше, на первом допросе в июле, когда Окладского допрашивал Плеве. А некоторые подозревали, что связи с полицией были еще раньше, бог знает когда. Ведь эти связи богаты оттенками: кроме платных агентов были бесплатные, полуплатные, полуагенты, были агенты, которые не числились ни в каких списках, о них не знало начальство и, однако, их мелкие, едва видимые старания текли ручейками на полицейскую мельницу. Окладского таскали в полицию еще мальчишкой, когда ему было тринадцать лет. И если в человеке не заложено самое главное, что отличает его от зверья — умение ради мысли или ради чувства презреть смерть...

От страха смерти он превратился в пожирателя жизни: он глотал дни, годы, десятилетия, поедал их вместе с костями, высасывал сок, пожирал все, что попадало в эту пьяную похлебку, ради которой колотилось его сердце, сжимались пальцы и даже теперь, на краю могилы, вдруг сверкали — под вспышками магния — пустые нечеловеческие глаза. И седенькая старушка, давая свои показания, не смотрела в его сторону. Он получил десять лет лишения свободы. Второй раз в своей жизни сгинул, на этот раз навсегда.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

Нужны были фотографии героев процесса: сохранить для истории, посылать сочувствующим в другие города. За это взялся Михайлов. Казнь Квятковского и Преснякова — особенно любимого им старого друга Александра Первого — Дворник переживал как болезнь. Никто, как он, мучительно не ощущал долга товарищества. Любимая его притча: герой томится в турецкой неволе и ждет спасения от матери и отца, но те стары и слабы, ждет спасения от жены, но она беспомощна, его спасают друзья. Лишь друзья могут спасти! Однако никого из шестнадцати друзья не спасли. Единственное, что было в силах Михайлова, он сделал: в ночь после приговора написал письмо товарищам: «Братья! Пишу вам по поводу последнего акта вашей общественной деятельности. Сильные чувства волнуют меня. Мне хочется вылить всю свою душу в этом, может быть последнем, привете...» Длинное письмо, которое кончалось грозным обещанием, предсмертной радостью для тех, ожидавших конца: «Знайте, что ваша гибель не пройдет даром правительству, и если вы совершили удивительные факты, то суждено еще совершиться ужасным».

И вот — фотографии. Хотя бы уж фотографии. Разумеется, это непросто: государственные преступники известны многим полицейским агентам в лицо. Дошла записка «Ваньки» от второго ноября, она передавала просьбу Степана: переснять его карточки, которые находятся там-то, и передать его жене, брату Коле и землякам.

В один из последних дней ноября Андрей и Аня Корба работали на комитетской квартире. Было написано от Исполнительного комитета письмо к Карлу Марксу, и Аня, хорошо знавшая французский, делала перевод. Письмо было важное, на него возлагались надежды. Начиналось с обращения: «Гражданин!» Говорилось о громадном уважении к Марксу, о том, что «Капитал» стал ежедневным чтением интеллигентных людей. Далее говорилось, что Льву Гартману поручается организовать в Англии и в Америке доставку сведений о развитии общественной жизни в России, и была просьба к Марксу помочь Гартману в этой задаче. Конец письма был такой: «Твердо решившись разбить оковы рабства, мы уверены, что недалеко то время, когда

родина наша многострадальная займет в Европе место, достойное свободного народа». Пришел Дворник, тоже стал горячо помогать Ане в переводе — французский все знали понемногу, давали советы — и сказал, что Алхимик, Лев Гартман, должен непременно понравиться Марксу хотя бы по одному тому, что он Алхимик. Ведь Маркс давно уже назвал террористов — насмешливо, разумеется,— «алхимиками революции».

Дворник был необычно возбужден. Сильно заикаясь, он вдруг стал ругать каких-то студентов, Андрей не сразу понял, о ком речь. Потом сообразил, это были люди не самые близкие, но искренне сочувствующие. Так вот — проявили сверхосторожность, то есть трусость. Их просили заказать снимки карточек Квятковского и Преснякова в любой фотографии, они отказались, заявив прямо: да, боятся попасть в лапы полиции. Да что б им сделалось? Ничем не запятнаны, живут легально. Вольнодумцы домашние, черт бы их драл! Нечего их приваживать, гнать поганой метлой болтунов, прохвостов, попросили такую малость — и сразу полные штаны...

Дворник топтался на этих несчастных студентах подозрительно долго, и Андрей, потеряв терпение, спросил:

— Ну и чем дело кончилось?

— Пошел к Таубе и Александровскому на Невский и заказал.

— Ты заказал?! — крикнул Андрей.

— Я. А что было делать? Как видите, все благополучно, я жив и невредим. Очень уж меня разозлили.

— Милый, ты на себя не похож,— сказал Андрей.— Что с тобой происходит?

Аня побелела от испуга.

— Дворник, вы с ума сошли!

— Я с-с ума не сошел,— сказал Михайлов.— Я п-понимал, что рискую, но простите меня: ведь была единственная просьба Степана...

— Ворчишь на нас из-за всякой ерунды, а сам творишь безобразия. Когда будут готовы карточки?

Михайлов, несколько смущенный — обыкновенно он сам делал распеканции за малейшую халатность и неосторожность, а тут приходилось оправдываться,— объяснил, что карточки должны были быть готовы как раз сегодня, он туда заходил, но они не готовы. Андрей вовсе рассвирепел.

— Ах, ты заходил туда второй раз?
— Второй раз.
— На Невский? К Таубе и Александровскому?
— Ну да.
— Дворник, ты же понимаешь, что эта модная фотография не может быть обделена вниманием полиции. Какого же черта...

Дворник понимал прекрасно, кивал и поддакивал. Слава богу, все кончилось хорошо. Правда, был один загадочный и даже, пожалуй, неприятный момент. Когда Дворник протянул хозяину фотографии квитанцию — тот сидел за столом, рылся в ящике с бумагами, а за его спиной стояла женщина, по-видимому жена, такая рыжеволосая, носатая немка — и хозяин, порывшись, ответил: «Не готово, придите завтра», в это время рыжая женщина, посмотрев на Дворника в упор, провела рукою по шее. Что означало сие? То ли ее догадку о том, что это снимки казненных преступников, то ли секретное от мужа предупреждение: тебе, мол, самому петля? Рассказывая, Дворник сконфуженно посмеивался. Андрей сказал:

— Сей знак означает одно. Ходить тебе туда ни в коем случае нельзя.

О том же было сказано вечером, на заседании Комитета. Дворник согласился: нельзя так нельзя. А на другой день, двадцать восьмого ноября... Понять, как и почему это произошло, невозможно. Какая-то непостижимая, трагическая чепуха. Потом уж, спустя несколько дней, когда сопоставились некоторые свидетельства и были узнаны факты от подавленного горем Николая Васильевича, нарисовалась такая примерно картина. Дворника в тот день кто-то ждал в Гостином дворе, он шел, следовательно, Невским, проходил мимо злосчастного заведения «Таубе и Александровский» и... что его толкнуло туда? Какая-то минутная слабость, затмение духа или же совсем не свойственный ему фаталистический задор? Или, может быть — и скорей всего — простая мысль: «Если не я, то — кто же!» Он вошел в заведение, немец сказал: «Подождите айн момент»,— вышел в соседнюю комнату, Михайлов ждать не стал, побежал вниз, дорогу загораживал швейцар, оттолкнул его, вскочил на ходу в проходящую конку, за ним туда же вскочил переодетый в партикулярное платье околоточный Кононенко, выбежавший следом из фотографии. Михайлов спрыгнул на ходу, околоточный — за ним,

догнал, навалился, подбежали дворники, скрутили. Михайлов протестовал: «Вы будете отвечать за свои действия! Я — отставной поручик Константин Михайлович Поливанов!» — «Где вы живете?» — «Орловский переулок, дом два, квартира двадцать пять. Мою личность установит хозяйка квартиры!»

Почему так рвался на квартиру? По-видимому, надеялся, что путешествие по городу даст случайную возможность бежать, как уже бывало,— ведь ускользал из таких капканов! — а кроме того, необходимо было поставить на квартире «сигнал гибели», чтобы предупредить товарищей. Бежать не удалось. Но сигнал — книгу на подоконник, к стеклу — поставил. При обыске найдены: прокламации «от Исполнительного комитета», палка со скрытым в ней кинжалом, медный кастет, много фотографических снимков государственных преступников и динамит в двух жестянках. Очень скоро было узнано настоящее имя Михайлова. Николай Васильевич полагал, что его показали кому-то, хорошо его знавшему.

Эта ужасная догадка Николая Васильевича удручала более всего: значит, есть предатель? А ведь ничего странного. Партия разрастается, к ней примыкают все новые рабочие, студенческие кружки, а сейчас, когда вернулись из плаванья моряки, создается военная организация. Михайлов известен многим. Если есть Клеточников в департаменте полиции, то не столь уж невероятен полицейский Клеточников в партии. Кстати, сам Дворник об этом часто думал и говорил: «Кто-то возле нас должен быть. Не может не быть!»

Окладского подвели к глазку, вделанному в дверь, и он увидел Дворника в измятом, испачканном землею мундире поручика. Дворник был бледен, сидел спокойно на стуле и смотрел в окно. Рядом стоял жандармский офицер. Дело простое: поглядел секунду в глазок и сказал. В этот день Окладскому вместо обеда, который полагался по ссыльно-каторжному режиму, дали обед как для подследственного арестанта: борщ с мясом, жаркое из дичи и на сладкое апельсин.

Николай Васильевич вдруг закрывал ладонями глаза, качал головой и шептал:

— Как же без Петра Ивановича? Как нам теперь без Петра-то Ивановича?

Отнимал ладони, на глазах были слезы. Сидевшие в комнате молчали. Семен начал с внезапной яростью доказывать, как следовало поступить: нанять любого уличного мальчишку за пятиалтынный, дать ему квитанцию... Все вздор, пустое! Неужели не ясно, что судьба каждого окончится так же или как-то похоже? Андрей чувствовал, что от него ждут ясной твердости, какой обладал Дворник.

Он сказал Николаю Васильевичу твердо:

— Извольте успокоиться, Николай Васильевич. Мы сожалеем о нашем друге не менее вас, но жизнь продолжается и дела нас ждут.

— Да, разумеется... Это совершенно понятно...— Николай Васильевич поспешно надевал очки, но глаза его были слепы, слезы катились по щекам. Не стесняясь, он вытирал их ладонями.

— Успокойтесь, пожалуйста. Вот ваш новый Петр Иванович — рыцарь без страха и упрека.— Андрей показал на Баранникова.— Называйте его Семеном, а если хотите — Петром Ивановичем. Встречаться будете по тем же числам вот по сему адресу.

Николай Васильевич посмотрел на бумажку с адресом, покивал, потом взглянул на Баранникова, вдруг громко, как женщина, всхлипнул и опять снял очки. Было тягостно. Ждали, пока он совсем успокоится. Наконец успокоился, взял шляпу и пошел к двери. Баранников двинулся, чтоб проводить его по коридору, но Николай Васильевич неожиданно сел на стул.

— Плохо, плохо, плохо, плохо...— бормотал он, ни к кому не обращаясь, разговаривая с собой и глядя мимо всех в окно.— Совсем уж плохо... Это уж, можно сказать... Вы понимаете, что значит, когда человек совершенно один, как я? И еще работает в полиции.

— У вас родных нет? — спросил Андрей.

— Конечно, нет. Никого нет. Я один. И вот Петр Иванович иногда спросит: «Николай Васильевич, как ваша жизнь-то идет?» Я ему что-нибудь скажу...

— Я буду вашим другом, Николай Васильевич,— сказал Баранников.

— Да, конечно, я понимаю, благодарю вас...— Николай Васильевич низко опустил голову и, держа ее опущенной, кивал. Андрей смотрел на него с изумлением. Не подозревал, что Николай Васильевич может быть в таком состоянии: как будто слегка помешался.— Вы

все мои друзья, я знаю, благодарю, но я для вас чужой человек...

— Николай Васильевич, вы для нас самый близкий, самый драгоценный, самый нужный на этом свете человек,— сказал Андрей.

Колодкевич и Баранников тоже что-то сказали вместе. Николай Васильевич помахал шляпой.

— Все плохо, господа. Я очень огорчен, вы должны меня извинить...— Вдруг быстро встал и вышел.

Гибельность этой раны обнаружилась не вдруг. А вдруг была смертельная горечь, сиротское оцепенение: как же без Дворника? Соня говорила: «Он тебя жалел. Вот недавно, когда обсуждали, кто будет хозяином на Малой Садовой, он сказал: «Только не Тарас!» Тебя не было, ты ездил в Кронштадт».— «Что значит жалел? Вздор ты говоришь, матушка!» Ему это не понравилось, он не поверил. Но Соня упорствовала: «Нет, он тебя жалел. Он тебя берег для Учредительного собрания». Может, так и было. Одно ясно: такого друга в его жизни не будет. Но гибельность обнаруживалась, разумеется, не в личных страданиях, а в том, что страдало дело. Ну хорошо, Клеточникова возьмут Баранников с Колодкевичем, замечательные бойцы, однако один смел и удал до дерзости, другой не очень ловок в практических делах, вот и выходит, что двое могут быть слабей одного, такого, как хладнокровнейший, расчетливый храбрец Дворник. Так попасться! Глупо, несчастно! Теперь дело в том, чтобы Николай Васильевич проникся к Семену и Коту-Мурлыке таким же доверием, как к Дворнику. Дворник был единственный человек, связанный с литератором Зотовым Владимиром Рафаиловичем, который взялся хранить архив. В прошлом году кто-то из «своих» адвокатов свел Колю Морозова с этим Зотовым, а уезжая за границу, Морозов познакомил Зотова с Дворником. Там все донесения Клеточникова, печати для паспортов, разного рода документы, заметки. Как проникать к Зотову? Одна надежда: вернется Коля Морозов. Его вызывали, не специально по этому поводу, а просто потому, что нужны люди. Соня написала в Женеву, и Воробей, может быть, явится в январе. Далее: никто, кроме Дворника, не изучал так пристально врагов, Третье отделение, полицейскую кухню. Он знал всех видных чиновников и агентов по фамилиям, многих в лицо, следил за передвижениями по службе, собирал сведения об их жизни,

пристрастиях. Эти исчезнувшие, дорогие знания невосполнимы. Никто, кроме Дворника — после смерти Валериана — не был так удачлив в добывании денег. И наконец, никто, кроме Дворника, не мог быть Дворником — таким беспощадным, внимательным, многооким, недремлющим Аргусом, каким был Михайлов...

Днем не было времени на тоску, истязанье души, днем — беготня, напряжение, тяжесть револьвера в кармане, моряки в Кронштадте, рабочие по всему Питеру, студенты, типография, «Рабочая газета». А вечером, когда притаскивался домой, в Измайловский, едва волоча ноги, и Соня тоже разбита усталостью — ей целый день, бедняге, приходится быть на улице, она руководит группой, следящей за выездами царя,— то и дело внезапно вспоминался Дворник.

Соня рассказывала о дневных приключениях, а у него вырывалось:

— Дворник никогда бы так не сделал. Он бы — сначала в кухмистерскую, а потом, переждав две минуты...

— А помнишь, как он говорил: «Если партия мне прикажет мыть чашки, я буду мыть чашки»? (Это перед сном, когда он мыл посуду, а Соня стелила постель.)

Иногда он думал о Саше ночью, во сне. Просыпался от мысли о нем. Однажды, проснувшись так, ночью, он разбудил Соню, потому что мысль, пронзившая сон, была острой, больной. Обнимая Соню, сказал:

— Вдруг ужасно пожалел Сашу. Знаешь почему? Потому что не был счастлив, не любил, откладывал, откладывал... Он сказал как-то: «Судьба наградила меня деловым счастьем». Но вот — простым, человеческим... Говорил, что ему не нужно, что когда-нибудь, в другой жизни, появится женщина, и он будет ее очень сильно любить.

— Я была такой же, как он. Пока не встретила тебя...

Они обнимали друг друга, думая о Саше и о себе. О Саше с жалостью, разрывавшей сердце, о себе — спокойно, мудро и нежно. Все было так, как они хотели.

Любимые разговоры: о новых людях, пристававших к партии. Их становилось все больше. Это было хорошо, говорило о том, что партия притягивает, забирает за живое, но тут же крылась опасность: чем шире круг посвященных, тем вероятней провалы. Кронштадтские моряки во главе с Сухановым и Штромбергом наконец-то создали настоящую организацию, «Центральный

военный кружок», подчинявшийся Исполнительному комитету. Студенты образовали «Центральный университетский кружок», и если число военных в кружке насчитывало два-три десятка, то число молодежи, примыкавшей к Центральному университетскому, насчитывало сотни. Среди студентов были такие энергичные парни, как Папий Подбельский и Коган-Бернштейн. Андрей к ним присматривался: еще немного, несколько живых дел, и эти двое станут совсем близкими людьми. Члены Комитета? Ну, об этом говорить рано. Васька Меркулов и Сергей Дегаев, имеющие заслуги перед партией, уж вон как скулят оттого, что их не вводят в Комитет, и вообще, как им кажется, не оказывают полного доверия — а что поделаешь? Полное доверие — вещь чересчур серьезная, загадочная и странная. Оно не возникает арифметическим способом, с помощью большинства голосов. Вернее сказать, именно так и возникает, но то лишь видимость, а поистине — как-то иначе. Осеняет вдруг, как некая благодать. Бывает непонятно: один участвует во многих предприятиях, показал себя достойно, а все же нет нужды тащить его в Комитет, а другой еще мало себя проявил, но для всех почему-то ясно — человек необходимый, свой. Вот так внезапно почуялось, что свой — Тимофей Михайлов, рабочий-котельщик.

Чем-то напомнил Преснякова: такой же большой, тяжелорукий, молчун, со светло-угрюмым взглядом. И так же, как тот, известен рабочему Питеру отчаянной бесшабашностью: ничего не стоило шпиона приколоть или мастера ненавистного, живоглота, подстеречь в темном дворе и измолотить до полусмерти. Из молодого Тимохи — а парню всего-то двадцать один — вырастал поистине Андрей Корнеевич, истребитель шпионов.

Близким помощником во всех делах среди рабочих стал Валентин Коковский. С ним писали ночами главнейший труд, которым Андрей гордился: «Программу рабочих членов партии «Народная воля». С ним делали и «Рабочую газету»: первый номер вышел в середине декабря. Андрей написал передовую. Одни сказали: ничего, живо, в народном стиле, рабочий читатель поймет. Другие говорили, что много риторики. Тигрыч морщился: «Не твое это дело, Тарас, фельетоны строчить!»

Прав, наверно, старый бумагомарака. Пропади она совсем, эта несчастная журналистика, фельетонистика, казуистика, беллетристика. Его дело — мысли, идеи. Вот

«Программа рабочих членов» — это произведение! Тут есть над чем башку поломать. Тигрыч два часа читал, оторваться не мог, потом сказал:

— Сочинение, доложу вам...

Андрей знал: это то, что от него останется.

Умирают поступки, жесты, слова, фразы, единственное, что будет жить вечно, пока существует человечество,— идеи. Их немного. Они могут быть ошибочны. Но они несокрушимы, они будут возникать снова и снова, в разных обличьях, оставаясь самими собой. Ночью он разбудил Соню и потребовал, чтоб она слушала. Соня продрогла на улице, у нее был жар, глаза слипались, и она не могла повернуть голову от слабости. Через несколько минут он заметил, что она дремлет.

— Ты не слушаешь? Я читаю важнейший документ! Ничего серьезней мною не написано!

Соня, открыв глаза, силилась улыбнуться.

— Я теперь уличная баба, торговка, дворничиха... Единственное, на что я реагирую,— карета царя... Но прости меня, я готова, я слушаю!

И она выпрямилась и с напряженно-отчаянным видом приготовилась слушать, но он спохватился: мучить человека! С утра и до вечера Соня на ногах, на улице, в наблюдательном отряде. Читать будем завтра.

— Нет, сейчас,— протестовала Соня.— Я хочу сейчас.

Но через секунду она спала. А утром спешила на какую-то важную встречу, но он заставил ее прослушать: все, от начала до конца. Ему так нравилось читать это сочинение вслух. Потом, в декабре, читал его много раз в рабочих кружках. Программа делилась на шесть глав. Глава «А» начиналась так:

«Исторический опыт человечества, а также изучение и наблюдение жизни народов убедительно и ясно доказывают, что народы тогда только достигнут наибольшего счастья и силы, что люди тогда только станут братьями, будут свободны и равны, когда устроят свою жизнь согласно социалистическому учению, т. е. следующим образом:

1) Земля и орудия труда должны принадлежать всему народу, и всякий работник вправе ими пользоваться.

2) Работа производится не в одиночку, а сообща (общинами, артелями, ассоциациями).

3) Продукты общего труда должны делиться, по ре-

шению, между всеми работниками, по потребностям каждого.

4) Государственное устройство должно быть основано на союзном договоре всех общин.

5) Каждая община в своих внутренних делах вполне независима и свободна.

6) Каждый член общины вполне свободен в своих убеждениях и личной жизни; его свобода ограничивается только в тех случаях, где она переходит в насилие над другими членами своей или чужой общины.

Если народы перестроят свою жизнь так, как мы, социалисты-работники, этого желаем, то они станут действительно свободны и независимы, потому что не будет более ни господ, ни рабов. Каждый может тогда работать, не попадая в кабалу к помещику, фабриканту, хозяину, потому что этих тунеядцев не будет и в помине...

Работа общиною, артелью даст возможность широко пользоваться машинами и всеми изобретениями и открытиями, облегчающими труд, поэтому у работников, членов общины, производство всего нужного для жизни потребует гораздо меньше труда, и в их распоряжении останется много свободного времени и сил для развития своего ума и занятия наукою... Личная свобода человека, т. е. свобода мнений, исследований, всякой деятельности, снимет с человеческого ума оковы и даст ему полный простор.

Свобода общины, т. е. право ее вместе со всеми общинами и союзами вмешиваться в государственные дела и направлять их по общему желанию всех общин, не даст возникнуть государственному гнету, не допустит того, чтобы безнравственные люди забрали в свои руки страну, разоряли ее в качестве разных правителей и чиновников и подавляли свободу народа, как это делается теперь».

В главе «Б» говорилось о том, что народ темен, забит и не сознает тех принципов, на основе которых должна строиться новая российская жизнь. В главе «В» — помощником и союзником народа станет социально-революционная партия. В главе «Г» намечались те необходимые перемены, которых следовало добиваться в государственном строе и народной жизни:

«1) Царская власть в России заменяется народоправлением, т. е. правительство составляется из народ-

ных представителей (депутатов); сам народ их назначает и сменяет; выбирая, подробно указывает, чего они должны добиваться, и требует отчета в их деятельности.

2) Русское государство по характеру и условиям жизни населения делится на области, самостоятельные во внутренних своих делах, но связанные в один Общерусский Союз. Внутренние дела области ведаются Областным Управлением; дела же общегосударственные — Союзным Правительством.

3) Народы, насильственно присоединенные к русскому царству, вольны отделиться или остаться в общерусском союзе.

4) Общины (села, деревни, пригороды, заводские артели и пр.) решают свои дела на сходах и приводят их в исполнение через своих выборных должностных лиц — старост, сотских, писарей, управляющих, мастеров, конторщиков и пр.

5) Вся земля переходит в руки рабочего народа и считается народной собственностью...

6) Заводы и фабрики считаются народною собственностью и отдаются в пользование заводских и фабричных общин — доходы принадлежат этим общинам.

7) Народные представители издают законы и правила, указывая, как должны быть устроены фабрики и заводы, чтобы не вредить здоровью и жизни рабочих, определяя количество рабочих часов для мужчин, женщин, детей, и пр.

8) Право избирать представителей (депутатов) как в Союзное Правительство, так и в Областное Управление принадлежит всякому совершеннолетнему; точно так же всякий совершеннолетний может быть избран в Союзное Правительство и Областное Управление.

9) Все русские люди вправе держаться и переходить в какое угодно вероучение (религиозная свобода); вправе распространять устно или печатно какие угодно мысли или учения (свобода слова и печати); вправе собираться для обсуждения своих дел (свобода собраний); вправе составлять общества (общины, артели, союзы, ассоциации) для преследования каких угодно целей; вправе предлагать народу свои советы при избрании представителей и при всяком общественном деле (свобода избирательной агитации).

10) Образование народа во всех низших и высших школах даровое и доступное всем.

11) Теперешняя армия и вообще все войска заменяются местным народным ополчением...

12) Учреждается Государственный Русский Банк с отделениями в разных местах России для поддержки и устройства фабричных, заводских, земледельческих и вообще всяких промышленных и ученых общин, артелей и союзов...

Городским рабочим следует только помнить, что отдельно от крестьянства они всегда будут подавлены правительством, фабрикантами и кулаками, потому что главная народная сила не в них, а в крестьянстве. Если же они будут постоянно ставить себя рядом с крестьянством, склонять его к себе и доказывать, что вести дело следует заодно, общими усилиями, тогда весь рабочий народ станет несокрушимой силой».

И были еще две кратких главы: «Д» — о том, как составлять рабочие кружки, и «Е» — как поднимать и развивать восстание.

Андрей читал программу не во всех рабочих кружках, а только в так называемых кружках высшего разряда, где народ был грамотный и осведомленный хоть немного в социализме. Иерархия рабочих кружков определилась к зиме такая: в низших кружках, где занимались по пять-шесть человек, на квартире кого-нибудь из рабочих, шли уроки грамоты, арифметики, географии. В кружках второго разряда читались лекции по истории и социалистическим учениям. Андрей на этих занятиях рассказывал об Ирландии. И наконец, кружки высшего разряда, маленькие клубы заговорщиков, куда попадали люди подготовленные, настроенные твердо революционно: членами кружков были рабочие, руководителями — студенты или бывшие студенты. Тут действовали Подбельский, Коган-Бернштейн, или попросту Левка, Дубровин, Энгельгардт, а среди рабочих тот же Тимоха, Гаврилов, Беляев и другие. Раза три читал Андрей программу и всякий раз ощущал, как возникает волнение, взбудораженность, люди вдруг сознают, что они, жалчайшие обитатели трущоб, вовсе не пыль истории, а ее двигатели, ее пружины.

А ведь это главное: заставить человека поверить в то, что он может творить историю, перелопачивать мир!

Картина переустройства общества, нарисованная в программе, не вызывала возражений, зато недоумения и вопросы возникали в связи с последней главой, где говорилось о восстании. Тут было, пожалуй, самое сла-

бое, неразработанное место. И понятно, почему на него так кидались. Написать можно все, а поди-ка возьмись! Написали: «Одновременно нужно расстроить правительство, уничтожить крупных чиновников его (чем крупнее, тем лучше), как гражданских, так и военных». А те спрашивают: «Это как же, примерно, расстроить правительство?» Кабы было понятно и ведомо как, не писали бы, а давно уж расстроили. «Нужно перетянуть войско на сторону народа, распустить его и заменить народным ополчением...» Снова вопрос: «Каким же путем войско перетягивать? Уговором, либо силой, либо командиров подбить?» Дело неясное. Изо всего громадного российского войска перетянули пока что человек, может, тридцать: лейтенантиков кронштадтских да артиллеристов. Андрей соглашался: да, тут еще не все продумано. Но ведь главное в восстании — что? Начать! Навалимся, там разберемся. Толкануть барку в воду, она самоходом пойдет.

В кружках споры, шум, мировые проблемы, дерзкие социалистские мечты, а на комитетской квартире — толки все о том же: подкоп, динамит, четыре фунта, два аршина. Гриша Исаев, умница, один из самых начитанных, много рассказывавший об ирландских делах, теперь от всего отбился, ничего не читал и разговаривал только о приготовлении динамита. О том же единственно мог говорить Кибальчич. Динамитная горячка обуревала всех. Подкоп под Малой Садовой был делом решенным, а в Кишинев направлялась группа во главе с Фроленко для другого подкопа: для кражи из Кишиневского казначейства. И вот, когда встречались на квартирах Ани Корбы или Геси Гельфман или в большой типографии, где хозяйничал Грачевский, разговоры были однообразные:

— А как ты считаешь, сколько фунтов нужно...

— А какова предположительно окружность взрыва?

— Господа, проблема уличных жертв, от которой вы отмахиваетесь...

Кибальчич сказал Андрею: наши женщины более жестоки, чем мужчины. Он вывел это из каких-то расспросов его по поводу возможных жертв на Малой Садовой. Вздор, разумеется! Обычное для Коли непонимание женщин. То, что он принял за жестокость, есть чисто женские — страстность, совершенное отдание себя чему-то: идее, товариществу, динамиту. И подумать только, что эти женщины — Верочка, Соня — пол-

тора года назад были непрошибаемые пропагандистки! Вот как все переменилось на этом свете. Какие были споры о высоких материях с Михайловым, Квятковским, с Колей Морозовым, с Марией Николаевной, с ядовитым Тигрычем. Одних уж нет, а те далече. Мария Николаевна, отчаянная философка, ушла в практическую жизнь. Тигрыч — в семейную, отдалился, вот и свадьбу даже хочет устраивать.

Тигрыч еще раз читал «Программу рабочих членов», изучил внимательно, сказал:

— По-моему, дельно и неглупо. Но... чем мы сейчас занимаемся? Хотим взорвать царя. Хотим взорвать казначейство. Об этом ни слова: я имею в виду террор.

Был прав: дело не в конспирации, партия уже обнаружила себя многими террористическими актами, так что секрета нет. И достаточно шума было на процессе. Тигрыч подцепил за больное: непоследовательность, братцы! Или уж готовить армаду рабочих кружков, пролетарское войско по принципу Маркса, объединять его с крестьянством, или же — взрывать динамитом монархов. Если взрывать — то нужны ли кружки, вся эта муравьиная, кропотливейшая работа?

Наша задача — открыть ящик Пандоры, выпустить на волю ураганы и бури, которые сметут все, нам ненавистное. Взрыв монарха есть лишь приспособление, отмычка для того, чтобы сорвать крышку. Но это мы берем на себя — мы, социально-революционная партия! А рабочие и крестьяне вступят в дело потом: они будут исполнять роль бури.

Соня рассказывала: группа слежки за выездами царя, действовавшая уже почти полтора месяца, определила следующее. Обыкновенно он выезжает из дворца в половине второго, направляясь в Летний сад. По воскресеньям скачет на развод в Михайловский манеж — лошади несутся, как на пожар,— сопровождаемый конвоем из шести — восьми казаков. Казаки — рядом с каретой, прикрывают дверцу. В манеж скачет Малой Садовой, а возвращается часто другим путем, по Екатерининскому каналу.

— Поворот на Екатерининский канал очень удобен,— сказала Соня.— Тут кучер сдерживает лошадей, карета едет почти шагом. Я видела это раз десять, следила нарочно.

Андрей подсчитал: окончание ремонта, устройство магазина, рытье, закладка займут месяца полтора, от силы два. Где-то во второй половине февраля. Какой же день? Подсчитать нетрудно. Должно быть, воскресенье. Стало быть: пятнадцатое февраля либо двадцать второе. Либо — какое же следующее? — первое марта.

А все зависело теперь от того, насколько быстро будет сделан подкоп. Помещение уже куплено: воронежский купчина Евдоким Ермолаев Кобозев приобрел подвал в доме Менгдена, намереваясь открыть здесь торговлю сырами. Помещение было дрянное, нуждалось в ремонте, асфальтовый пол потрескался, заливало водой. Пока шел ремонт, купец жил в гостинице, являлся ежедневно, гнал, торопил. Купцом определили, по предложению Веры, ее приятеля по саратовскому поселению, честнейшего Юрия Богдановича. У того был вид истинно купеческий, рожа красная, борода лопатой, разговор шустрый, нрав веселый, находчивый — он и сплясать, и спеть, и враз дровишки наколет, как простой мужичок, хотя из дворян, псковский помещик. Лучшего Евдокима не придумать! А вот с купчихой, женой Евдокима, получилось затруднение. Сначала вызвалась Баска, ее назначили, но Соня запротестовала: хотелось самой.

Соня имела обыкновение все валить в открытую. На заседании Комитета сказала, что будет лучшая купчиха, чем Баска, хотя она и дворянского происхождения, а Баска — дочь сельского священника.

— Но я подхожу больше,— сказала Соня.— Поймите, я думаю сейчас о пользе дела. Баска, у тебя манеры не те, что нужно. И ты куришь папироски!

Баска сказала, что не будет курить папиросок. Возникла неловкость. Богданович, как деликатный человек и рыцарь, сказал, что ему крайне трудно выбрать жену: обе жены прелестны, очаровательны и исполнены многих достоинств. И запел басом из «Аскольдовой могилы». Засмеялись, решили отложить окончательный выбор на следующий день. Вечером Соня с горячностью убеждала Андрея, чтоб он отстоял ее кандидатуру. Андрей хмуро молчал, потом сказал:

— Нет! У тебя не должно быть преимуществ перед кем бы то ни было...

Комитет подтвердил: женою купца Кобозева Еленою Федоровой Кобозевой быть Ане Якимовой, Баске. 1 января 1881 года купец с женой вселились в отремон-

тированный подвал и приступили к торговле. Малая Садовая считалась улицей особого режима, по ней проезжал царь, поэтому полиция была внимательна ко всем жильцам и особенно к приезжим. Паспорт Кобозевых был не просто прописан в участке, но проверен посылкою запроса на место выписки, в Воронеж, откуда пришел положительный ответ: Евдоким Ермолаев Кобозев, мещанин города Воронежа, действительно получил документ в таком-то году. Итак, все устроилось, можно начинать. Начали в первую же ночь. Занавесили окно в комнате, оставили слабое освещение в окне магазина, где горела лампадка перед иконой Георгия Победоносца. Сняли деревянную обшивку. Открылась кирпичная, цементированная стена, которую надлежало пробивать. Взяли ломы. Первые удары нанесли два силача: Андрей и Семен...

А накануне праздновали на квартире у Геси Гельфман. Такой веселой кутерьмы, топота, плясок Андрей не помнил. Наверно, никогда в его жизни не было ничего шумней. Были и танцы, и трепак, и жженка, и «Гей, подивуйтесь», и «Звучит труба призывная», и соседи из нижней квартиры прибегали, стучали в дверь, пришлось достать револьверы, приготовиться, и, увидев перепуганные лица, радостно извинялись, обещали утихомириться.

— Простите студентов, господа, лекциями замученных. Когда ж и повеселиться, как не на Новый год?

Андрей плясал до изнеможения, хохотал до упаду, пел до хрипоты: в буквальном смысле лишился голоса, сипел — еще и морозу хватил, выскакивал с Семеном и Колей Саблиным во двор, в одних рубахах, боролись на снегу — Соня отпаивала горячим чаем. Но за всем этим шумом чуялась Андрею громадная тишина. Может быть, это была смертная тишина. Он смотрел на лица друзей, вдруг понимая, что видит их вместе в последний раз. Милые, незабвенные. Всех — запомнить, унести с собой, взять в свое сердце. Геся, маленькая, темнолицая, похожая на тех девочек, которых он когда-то учил русскому языку в Одессе, неслышно бегала из кухни в комнату, из комнаты в кухню, приносила, уносила, разливала, спрашивала, заботилась обо всех. Ах, эта великая доброта и великая сила маленьких женщин! Бородатый, бледный — ему нельзя много пить — Коля Ко-

лодкевич помогал Гесе. Богданович со своей рыжей лопатой, громогласием: весь вечер говорил «по-купецки», помирали со смеху. А Баска ему в ответ, вятской скороговоркой. Коля Саблин со своими каламбурами. Верочка, конечно, блистала: и красотой, и голосом, и платьем. Милая Верочка, ты всегда должна быть прекрасней всех... И когда в минуту тишины произнесли тост за друзей, за тех, кто в руках врагов, за дорогого Дворника, за Степана — он в Алексеевском равелине, получена весточка — и опять раздались стоны по поводу несчастной ошибки Дворника, его всех поразившей и совершенно непонятной неосторожности, Верочка вдруг прочитала стихи. Их все знали, читали когда-то, они были посвящены Николаю Гавриловичу, но — забыли, а теперь прозвучало как будто о Дворнике. И — обо всех.

Не говори: «Забыл он осторожность»,
«Он будет сам судьбы своей виной».
Не хуже нас он видит невозможность
Служить добру, не жертвуя собой.

Но любит он возвышенней и шире,
В его душе нет помыслов мирских,
Жить для себя возможно только в мире,
Но умереть возможно для других.

Так мыслит он, и смерть ему любезна,
Не скажет он, что жизнь ему нужна,
Не скажет он, что гибель бесполезна,
Его судьба давно ему ясна...

Его еще покамест не распяли,
Но час придет — он будет на кресте.
Его послал бог гнева и печали
Рабам земли напомнить о Христе.

Кто-то поправил тихо: «Царям земли». Да, да, да, служить добру, не жертвуя собой. Невозможность. В том-то и дело. Кто сидел опустив голову, кто — сжав кулаки, у Геси на глазах были слезы. «Ну, что ты?» — «Сашу так жалко...» А через короткое время, когда опять полилось вино, Кибальчич сел к роялю, застучали каблуками танцоры, и Богданович, продолжая неукоснительно свою роль, растолкал всех и под вальс стал плясать вприсядку, с уморительно-каменным, «кобозевским» лицом, он подумал о том, что счастье заключается в незнании тайны. Самой большой тайны жизни: когда и как эта жизнь прекратится. Вспомнил о пред-

сказаниях Казотта. На каком-то великосветском балу, накануне французской революции, Казотт вдруг прервал веселье и открыл гостям их судьбу: «Вас через год повесят... Вас выбросят из окна... Вы будете обезглавлены».

И была еще пирушка, через несколько дней после новогодней: Тихомиров устроил зачем-то — бог знает зачем, странный человек! — венчанье в церкви, потом пригласил человек шесть на ужин к Палкину. Андрей не бывал в ресторанах, наверно, с год. Да и никто не бывал. Все — по дешевым трактирам, кухмистерским. Соня не пошла, было какое-то недомоганье, а может, не очень хотела — с Тигрычем у нее до сих пор шероховатости, чего никто, впрочем, не замечал, кроме них двоих. Была Верочка, был Иванчин-Писарев, красивый малый, литератор, писавший в «Народной воле» и соединявший редакцию с Михайловским. И был сам Михайловский, которого Тигрыч просил быть шафером на свадьбе. Они прибыли из церкви, из полковой, на Царицыном Лугу, а Андрей приехал сразу к Палкину, едва отбоярившись от каких-то кронштадтских дел. С Михайловским был знаком раньше, но бегло, под чужим, разумеется, именем, и хотя Николай Константинович поздоровался с ним, как со старым знакомым, Андрей не был уверен в том, что маститый писатель имеет о нем ясное представление. Держался Михайловский очень дружественно и просто. Для начала он сообщил со смехом, что Лев Александрович заставил его впервые в жизни надеть фрак, который он взял напрокат. Потом вдруг нагнулся к Андрею и, со страшной озабоченностью округляя глаза, зашептал:

— Послушайте, надо непременно сбрить эту ужасную бороду!

— Почему же?

— Ваша борода — единственная в Питере. Я запомнил вас по бороде. Это какая-то скала, поросшая дремучим бором! Какой-то ночной Гефсиманский сад, в котором таится ваша погибель!

— Нет уж, я расстанусь с бородой, когда буду терять и голову,— сказал Андрей.

— Как знаете, сударь, как знаете...— вдруг перестав улыбаться, сухо сказал Михайловский. И сразу включился в разговор, который вели Тигрыч с Писаревым. Какие-то новые слухи о том, что Лорис будто бы гальванизирует проект представительного правления.

— Все кончится, как и прежде, одними разговорами...

— Посулили обещать!

— Отмена акцизного налога на соль — это максимум Лориса...

— Кстати, не такая дурная мера. Другое дело, газеты подняли неприличный трезвон...

— Это не мера, господа, а чепуха! Ничто их не спасет: ни отмена акциза, ни сабуровские благодеяния студентам...

Тигрыч, как и полагалось якобинцу, был за этим столом самым крайним. И все же, все же! Соня, проницательнейший ум, сказала однажды: «А Лев от нас тихо-тихо отплывает». Дело не в том, что он изменял свои взгляды, иначе писал статьи, он писал так же зло, беспощадно, как прежде, писал великолепно, но вот решил повенчаться, устроил свадьбу, Катя ждет ребенка: это и есть отплытие. Это делают, когда собираются жить. А они собираются умирать. Андрей слушал разговор умных людей, и ему было скучновато. Он думал о Соне, которая ждала дома. Думал о том, что у него мало времени в этом мире.

Верочка пошла танцевать кадриль с Писаревым, а Семен с Катей. Тигрыч смотрел на жену с испугом: она еле ходила, оставалось недели две до родов.

Михайловский подозвал лакея и заказал кофе и кюрасо. Андрею вдруг захотелось пощекотать «властителя дум», которого уважал безмерно, ценил его талант, готовность помогать, а статьи за подписью Гроньяра считал образцом революционной журналистики,— и, подсев к нему, напомнил о предсказанье Казотта.

— Николай Константинович, помните Лагарпа? Казотт предсказал: «Вы будете гильотинированы, вас разорвет толпа...» Ну, а что вы скажете о нашей милой компании? — Андрей обнял жестом уютный палкинский кабинет, где три пары танцевали кадриль и жуковидный тапер дергался и махал головой за роялем.— Сделайте предсказание!

Михайловский погладил бороду, кашлянул и как-то очень всерьез, с сознанием ответственности — хотя Андрей предлагал полушутливый тон — оглядел всех, кто был в кабинете. На Андрея он воззрился последним. Взгляд из-под стекол пенсне был суров.

— Не могу сказать о каждом в отдельности, но вся ваша компания прославится. Это я вам предсказываю.

И еще: когда-нибудь нынешнее время покажется удивительным! Самые опасные террористы разгуливали спокойно по городу, сидели у Палкина, танцевали кадриль, пили кюрасо.

Андрей, помолчав, сказал:

— Не знаю, как слава, а шум будет.

В конце обеда подали счет: пятьдесят рублей. У Верочки вытянулось лицо. Таких денег, кажется, ни у кого не было, и вообще это недопустимое мотовство. Но более всего недопустимо, чтобы платил «властитель дум». Николай Константинович уже достал портмоне, но Тигрыч вскочил: «Нет, нет! Плачу я!» Слава богу, мы бедны, но горды...

Денег не было. Касса почти пуста. Надеялись на поправку дел кишиневским подкопом, но дружина Фроленко вернулась ни с чем: рухнули громадные средства, труды. Каким-то образом обратили на себя внимание полиции, и пришлось срочно уезжать из гостиницы, откуда уже начали рыть.

Васька Меркулов, один из главных кишиневских «казнокопов», в чем-то винил Михайлу Фроленко, Таня Лебедева винила Ваську, Фриденсон сказал, что мало людей, не хватило сил: в подкопах надо работать непрерывно, в несколько смен. С деньгами стало настолько худо, что Андрей даже попросил денег у полунищего Рысакова, парня, которого Андрей еще мало знал и только лишь вовлекал в дело: Рысаков переходил на нелегальное положение, и Андрей обещал ему платить от партии такое же содержание, какое тот получал от конторы Громова и К^0, в которой служил отец Рысакова. Тридцать рублей ежемесячно. А пока что Андрей научил парня, чтоб тот потребовал в конторе содержание за три месяца вперед и дал хотя бы рублей пятьдесят в кассу партии.

Нет, все правильно, разумно — не пропадать же деньгам? Он становится нелегалом и лишается пособия. Но язва в том, что партия, которую мальчишка обязан считать могущественнейшей в мире, берет у него в долг пятьдесят рублей! И все это надо было пережить, перетерпеть, сжать зубы, не обращать внимания на недоумевающие взгляды. «Нам не так важны деньги, как важна форма символического участия».

И все же — борьба, лютая, на живот и на смерть: государство с миллионной казной и несколько человек, для которых важны пятьдесят рублей...

Рысаков и кое-кто из молодых, почуявших скудость сил, насторожились. Васька Меркулов стал наглеть. Васька был одним из старейших знакомцев Андрея, еще по Одессе. Солдатский сын, с детства без надзора, ничему путем не научившийся — не то столяр, не то резчик по дереву, не то разбитной одесский возчик, балагула,— Васька пристал к революционным делам как бы случайно, но цепко, вроде Ванички Окладского: он и то, и это, и пятое, и десятое. И всем знаком, всем он «Васька». Правда, в отличие от Ванички, у которого был отменный характер, Васька вспыльчив, капризен, легко надувается, всегда у него какие-то просьбы, жалобы, глупые обиды.

Едва приехал из Кишинева, сразу — жалоба:

— Иваныч, почему Верочка со мной знаться не желает? Ни в кофейную, ни в театр не ходит?

— Я не знаю, Василий. Наверно, недосуг. Ты уж у нее спроси.

— Спросишь! Она фыркнула и пошла. А почему никогда домой не пригласит? Я знаю, она теперь с Гришкой Исаевым, на новой квартире. Там у вас сборы, разговоры, чай пьете, а рабочего человека не очень-то привечаете...

— Если рабочий человек не член Комитета — нельзя.

— А что ж, если просто так, от сердца, работает, жизнь ставит на кон ежечасно...

— Вася, голубчик, пойми: эта квартира комитетская. Туда только члены Комитета допущены. Вера, может, и хотела бы тебя позвать, да не имеет права.

Махал рукою презрительно:

— Говорите только: рабочие, рабочие. А на деле-то не особо...

Всех приехавших из Кишинева сейчас же снарядили на работу на Малой Садовой: копать. А Ваську определили «молодцом» в сырную лавку. Но Богданович и Баска вскоре от него отказались: для «молодца» негоден, ростом невелик, ухватки какие-то не «молодецкие», все та же капризность. Вдруг с покупателями начинал говорить высокомерным тоном: «А вы не понукайте! Не запрягли!»

В подкопе работали только ночью. Все, кто были здоровы: Колодкевич, Баранников, Исаев, Саблин, Ланганс, Фроленко, Фриденсон, лейтенант Суханов, недавно принятый в члены Исполнительного комитета, Дегаев и Васька Меркулов. И — Андрей. Землю из подко-

па складывали в задней комнате, прикрывали на день сеном, каменным углем. Первые дни работа двигалась споро, наткнулись на железную водопроводную трубу, ее пришлось обойти, слегка изменив направление подземного хода, это было несложно, однако через несколько дней возникло другое препятствие: огромный деревянный водосток размером примерно аршин на аршин. Миновать его низом было нельзя, снизу поднимались подпочвенные воды, а обходить верхом рискованно: близка мостовая, мог случиться обвал. Суханов и Исаев, два главных специалиста по этим делам — их никто не выбирал, но так получилось само собой, Исаев оказался фантастическим энтузиастом копанья, а Суханов был сведущ в минной науке,— определили, что деревянная труба наполовину пуста. Решили ее прорезать, чтобы в дырку вставить бурав и затем проталкивать снаряды с динамитом. Как только водосток прорезали, подкоп наполнился ужасным зловонием. Дольше трех минут не выдерживал никто, даже Исаев, и это несмотря на то, что на нос и рот надевали респираторы с ватой, пропитанной марганцем. Но когда бурав был вставлен и прорезь тщательно заделана, зловоние прекратилось. Все пошло дальше спокойней, хотя медленней: работа с буравом требовала больших физических усилий. Боялись шуметь. Недалеко был пост городового, и Баска, наблюдавшая в окно, давала сигнал, когда фараон удалялся в конец улицы и когда приближался.

И так все это шло, двигалось, ладилось, хотя и с помехами, но непрерывно вперед, и Андрей всем существом, всей кожей своей, пропитанной земляной сыростью, чуял, что цель близка. И там, под землей, в адовой темноте, вдруг осеняла минута покоя: скоро конец! Скоро, скоро конец. Еще неделя, другая, день, два, и — конец.

Общественная квартира, о которой прослышал Васька Меркулов, снятая Верой и Гришей Исаевым для заседаний Комитета, находилась на Вознесенском проспекте. Три больших, неуютных комнаты, мало мебели, плохие печи, всегда холодно, и особенно холодно — на улице калил крещенский мороз — было в тот вечер, когда пришел заиндевевший Исаев и со странной улыбкой показал всем сидевшим за столом свернутую трубкой бумажку.

— Как думаете, господа: от кого письмо?

Только что был тяжкий, малоутешительный разговор о возможных попытках инсуррекции, ни о чем другом говорить не хотелось, и неясный розыгрыш Исаева остался без отклика. Андрей спросил хмуро:

— Ну?

— От Нечаева,— спокойно сказал Исаев и положил бумажку на стол.— Из равелина.

От Нечаева? Что за вздор! Разве он жив? Тот самый? Сергей Геннадиевич? Который вызвал такую бурю? Которого знали Герцен, Бакунин, Огарев, Маркс? Которого проклинали? Который был — монстр, чудовище, царский враг номер один? И, получив двадцатилетнюю каторгу, исчез бесследно лет восемь назад в каких-то безднах, казематах... Так вот, господа: Нечаев в Алексеевском равелине. Он жив, не сломлен, борется, полон грандиозных замыслов и шлет привет Исполнительному комитету. До ноября в равелине, кроме Нечаева, был всего лишь один узник, какой-то загадочный арестант, сошедший с ума, а в ноябре в равелин поместили Леона Мирского и затем Степана Ширяева, с которым Нечаеву удалось наладить связь. Степан переправил через верного Нечаеву конвойного солдата его письмо Исполнительному комитету на адрес Дубровина, своего гимназического приятеля. Того самого Евгения Дубровина, которого Андрей отлично знал по рабочим кружкам, студента-медика. А Дубровин передал нечаевское письмо Исаеву, своему товарищу по Медико-хирургической академии. Вот каким путем оно — здесь, на столе.

Письмо было поразительное по прямоте и деловому тону. Нечаев просил, впрочем и не просил, и не требовал, а предлагал Комитету принять меры к его освобождению. Не было ничего лишнего, никаких излияний, сантиментов, громких фраз, покаяний, самооправданий, намеков на прошлое — может, и не догадывался о том, какую ненависть вызывало его имя среди молодежи? Да ведь прошло десять лет с первого процесса, когда судили еще не его самого, а «нечаевцев». Но имя Нечаева прогремело впервые тогда. Просто и четко, в том стиле, в каком были писаны знаменитые прокламации «Народной расправы», Нечаев предлагал способы действовать. Солдаты конвойной стражи находятся под его влиянием. Многолетней работой среди них — что ж это была за работа! какие упорные, без устали разгово-

ры! — сумел их распропагандировать. До тонкости выведано все, что касается крепости: количество войск, оружия, число солдат и командиров, расположение помещений. Единственное, что нужно: помощь извне. Согласен ли Исполнительный комитет помочь Нечаеву?

А Андрею вспоминалась Одесса, лето после второго курса, ощущение силы, удачи, полная стипендия, июль, купанья и беготня по утрам в городскую библиотеку за «Правительственным вестником». Там печатался отчет о процессе. И все было слитно в то лето: ночи, девчонки, драки на набережной, а по утрам — странная, чем-то манившая, чем-то ужасавшая фигура учителя закона божия в приходском училище в Петербурге, ивановского мещанина Сергея Нечаева. Создал «организацию». Обманывал, врал, выдавал себя не за того, кто есть, никому не говорил правды, морочил голову эмигрантам, даже бедному Герцену перед смертью, вымогал у них деньги, брехал, мистифицировал, писал фальшивые записки, будто его везут в Петропавловку, распускал слухи, что бежал из крепости, выпрыгнув из окна уборной, оказывался внезапно за границей, убивал, связывал круговой порукой и кровью — и все ради того, чтобы до конца разрушить этот поганый строй!

Вспомнилось, как кто-то украл из библиотеки номер «Правительственного вестника», где печатался «Катехизис революционера», тогда это называлось «Общие правила организации» или что-то в этом роде, и читали вслух на квартире то ли Мишки Тригони, то ли Заславского. Точно не знали, кем написан «Катехизис», одни говорили, что самим Нечаевым, другие намекали на эмигрантов, на Бакунина. Сочинение это было найдено в бумагах нечаевцев. Какая была сеча, какой стоял крик! «Революционер — человек обреченный. У него нет ни своих интересов, ни дел, ни чувств, ни привязанностей... Он знает только одну науку, науку разрушения... Он презирает общественное мнение... Он презирает и ненавидит общественную нравственность... Все изнеживающие чувства родства, дружбы, любви, благодарности и даже самой чести должны быть задавлены единой холодной страстью революционного дела...»

Эти железные строчки, из-за которых было так много шума и брани, врубились в память. Ну как же! Говорилось: «Это провокация, устроенная нарочно, чтобы общество возненавидело молодежь!», «Нечаев маньяк!», «Нечаев смельчак! Он говорит то, о чем все боятся ска-

зать прямо!», «Подлец! Обольститель!». А знаменитое деление общества на шесть категорий?

«Все это поганое общество должно быть раздроблено на несколько категорий...» Поражал стиль сочинения, полный ярости и страстной злобы, проникавший в каждое слово. Он не писал: общество должно быть разбито или разделено на несколько категорий, а — раздроблено. Даже в словах спешил дробить проклятое общество. Да, да, все делилось на шесть категорий. Первая категория — неотлагаемо осужденные на смерть. Будет составлен список по степени зловредности каждого. При составлении списка надо руководствоваться не личными злодействами человека, не ненавистью, им возбуждаемою — это даже полезно для народного бунта, поэтому главных злодеев надо «лелеять», — а руководствоваться мерой пользы, которая произойдет от убийства для революционного дела. Во второй категории — особо зверские злодеи, которых для пользы дела убивать не сразу... Третья — высокопоставленные скоты, которых надо эксплуатировать, опутать, сбить с толку и, овладев их грязными тайнами, сделать своими рабами...

Десять лет прошло с тех пор, как читал «Правительственный вестник», а некоторые выражения, например — «овладев их грязными тайнами», изумившие тогда, помнились от слова до слова. Революция, это чистое, святое дело, и — тайны каких-то скотов? Копаться в чужой грязи? Делать кого-то рабами? Да ведь против грязи и рабства все затевается! В четвертой категории были, кажется, честолюбцы и либералы, которых тоже следовало шантажом прибрать к рукам... В пятой — революционные болтуны, доктринеры, которых тянуть и толкать к делу... И, наконец, шестая категория — вызывавшая в Одессе самые шумные споры — женщины. Они делились, кажется, на три разряда. Первые: бессмысленные, бездушные, которыми нужно пользоваться, как третьей и четвертой категориями мужчин; другие — горячие, преданные, но какие-то еще не вполне свои, их надо употреблять, как мужчин пятой категории; и, наконец, женщины совсем наши. На них следует смотреть как на драгоценнейшие сокровища наши, без которых нельзя обойтись.

Все это было ближе не к Карлу Моору, не к декабристам, не к благородному, твердому, как сталь, Рахметову, а к маленькой книжонке, выпущенной года за два перед тем: «Монарх» Макиавелли. Но главное, что от-

толкнуло многих, заключалось, конечно, не в словах, напоминавших книжонку, а в рассказах про грот, убийство, кирпич на шею. Заманили, набросились впятером. Николаев кричал: «Не меня, не меня!» Душили в темноте. Иванов искусал Нечаеву руки. Не возмездие за предательство, а сведение мелких счетов, и — порука кровью. Нужна была кровь, чтоб связать. Один из нечаевцев, говорят, предлагал, будучи в заключении, найти и убить Нечаева. Все его ненавидели. Ни один человек на суде не сказал о нем доброго слова, хотя некоторые изумлялись его особым свойствам: он умел не спать, обладал чудовищной работоспособностью, решительностью, доходящей до изуверства. Александровская, бранившая его на все лады, говорила: «Он убежден, что большинство людей, если ставить их в безвыходное положение, способно на храбрость и отвагу».

Вот это и было его задачей, целью, страстью: ставить людей в безвыходное положение. Через два года пришло известие: Нечаев арестован в Швейцарии и передан русскому правительству как уголовный преступник. Это уж подробно рассказывала Верочка, которая училась тогда в Цюрихе. Нечаев, оказывается, жил в Швейцарии, то у Огарева, то у агентов Мадзини, зарабатывал рисованием вывесок, был выдан каким-то провокатором, и русские студенты, хорошо помнившие нечаевское дело, не слишком ему сочувствовали и не сделали попыток отбить его у швейцарской полиции. В Петербурге был суд, Нечаев вел себя дерзко, с вызывающим непокорством, был приговорен к двадцати годам каторжных работ в рудниках, и, когда его выводили из зала, кричал: «Да здравствует Земский собор! Долой деспотизм!» После этого — сгинул. Были хождения в народ, разочарования, бунтари, троглодиты, «Земля и воля», выстрел Засулич, громкие, на весь мир прогремевшие дела и процессы, а Нечаев прозябал в неведомых тартарарах. И, судя по письму, не прозябал, а неуемно боролся с тюремщиками, боролся без надежды, в могильной безвестности и мраке, просто в силу своей натуры, для которой жить, дышать, тлеть означало — бороться. Он дал пощечину шефу жандармов Потапову, который пришел к нему с предложением оказать услуги полиции. От пощечины у генерала пошла кровь носом и изо рта. Нечаева избивали, увечили, надевали на него кандалы, два года держали в цепях, прикованным к стене. И на воле об этом никто не знал! Все вынес, перебо-

рол, пережил своего главного мучителя Мезенцева, и вот — не мольбы и не вопли о спасении, а спокойные, трезвые слова: «Если Исполнительный комитет сочтет возможным...»

Андрей вспомнил, как Феликс Волховский, давний друг — и привлекший спервоначалу как раз тем, что был нечаевцем, судился по процессу, и в Одессе жил под надзором,— рассказывал: «Сам худенький, безбородый, как мальчик, лицо серое, ногти обгрызены, а рот у него сводила судорога. И подумать только, что у этакой невзрачности — сила воли гигантская, гипнотическая!»

— О чем же тут думать? — сказала Вера.— Разумеется, мы должны сделать все, чтобы спасти его!

Андрей засмеялся.

— Верочка, я вспомнил, как яростно ты поносила его в Липецке. И я тебя охлаждал.

— Я и сейчас возмущаюсь его действиями. И ты прекрасно знаешь, Тарас, что для меня нет худшего ругательства, чем «нечаевщина». Но я преклоняюсь перед его подвигом и страданиями!

Баска, знавшая о Нечаеве много по рассказам своей подруги Липы Кутузовой-Кафиеро, бакунистки, тотчас поддержала Веру: да, да, конечно — помочь, но нельзя забывать, что он был осужден всеми, даже Бакуниным, который называл его иезуитом, абреком. А как он выманил у Огарева деньги, остатки Бахметьевского фонда? А как пытался обольстить некоторых наших знакомых? Чисто женское: все в кучу, важное и пустяки, и все одинаково ранит душу. Но Соня отличалась от всех. «Теперь это не имеет значения,— сказала она.— После того, что мы узнали».

— Это первое! — подхватил Андрей.— А второе: два, три года назад мы действительно были далеки от него и имели право возмущаться, а сейчас, дорогие друзья, мы заметно к нему приблизились.

— Как!

— Что ты говоришь?

— Доказательства! Такими обвинениями не бросаются!

— Господа, мы почти выполняем программу «Катехизиса». Там было сказано, что революционер должен проникнуть всюду, во все сословия, в барский дом, в военный мир, в литературу, в Третье отделение и даже в Зимний дворец. Я помню отлично, потому что это

место меня тогда поразило и показалось сказкой. Теперь мы знаем, что вовсе не сказка, все выполнено: мы проникли к военным, к литераторам, наш агент есть у Цепного моста и побывал в Зимнем дворце!

— Тарас, ты можешь убить человека? — спросила Вера.— Не предателя, не шпиона, не врага, а просто — потому что его смерть даст тебе некую власть?

— А для чего убивающему некая власть? А вдруг — для всеобщего блага? Вдруг — получить власть и с ее помощью навести на земле порядок? Ведь мы собираемся в одно из ближайших воскресений казнить царя, а он — не шпион, не предатель, не личный враг. Но мы надеемся этой казнью приобрести некую власть над историей, повернуть колесо российской фортуны. Убиваем ради блага России! В этом-то вся трагическая сложность: мечтаем о мирном процветании, а вынуждены убивать, стремимся к Земскому собору, чтоб убеждать словами, а сами готовим снаряды, чтоб убеждать динамитом.

— Позволь, ты сравниваешь разные вещи: убийство несчастного Иванова и царя...— Слабо сопротивлялась одна Вера. Мужчины молчали.

— Разные по размерам. Модель одна. Мы тоже начинали с бессмысленных убийств: какого-то Гориновича, какого-то дурака Гейкинга... А если бы Сергей Геннадиевич не был сейчас в равелине, он бы сидел с нами и руки у него были бы такие же черные, как у Гриши Исаева, от динамита.

Кто-то из мужчин сказал угрюмо:

— Ну, довольно теорий! У нас времени в обрез. Давайте решать: что делать, чтобы спасти его? Он нам нужен, людей-то нет.

Решили дело освобождения Нечаева и Ширяева возложить на военную организацию, руководство поручить Андрею и Суханову. Все шло чередом. Катился в сыром тумане не слишком морозный январь, все дальше углублялся подкоп, все больше земли нагромождалось в задней комнате, в пустых кадках, кучами на полу, прикрытыми рогожей и коксом. А в конце января внезапно повалились беды: 24-го арестовали Фриденсона, через день у него на квартире полицейской засадкой был схвачен Баранников, и в тот же день на квартире Семена арестовали Колодкевича, и 28 января самый страшный удар — засадою на квартире Колодкевича схвачен Николай Васильевич Клеточников. Лучшие люди партии

провалились в течение четырех дней! Что сие значило? Кто ворожил полиции в этих сокрушительных, без промаха, нападениях? Ведь не только же оплошность партионцев! Хотя и оплошность была. Привыкли к тому, что Дворник заботился о безопасности всех, а Клеточников заранее обо всем предупреждал. Но Дворника не было, а Клеточников наполовину утратил всесильность, ибо право обысков и арестов получило теперь и градоначальство, куда Клеточников не достигал. Вот и попадались дурным образом: одна засада за другой, какое-то дьяволово наваждение! Была ночь, когда Андрей и Соня не сомкнули глаз ни на минуту: гадали, пытались понять — откуда моровой ветер?

Соня требовала, чтоб Андрей прекратил безоглядно ходить по городу, толкаться в трактирах, встречаться со множеством людей, знакомых и незнакомых. Он обещал. Прекратит. Оставит только главное: рытье подкопа, равелин, метальщиков. Но видел, что — не сможет. Кто же, если не он? Людей становилось все меньше, катастрофически. И опять считали, считали: ну, кто остался? Исаев и Кибальчич, эти двое на динамите, Баска и Богданович в лавке, Геся, Соня, Вера, Аня Корба, Мария Николаевна, ее сестра, женщины сохранились, а мужчин — бойцов — почти нет. Тетерка, партионный извозчик, и Лев Златопольский арестованы в те же дни. Итак: Фроленко, Саблин, Суханов, Ланганс, больной Франжоли... И какие-то не вполне ясные новобранцы: Рысаков, Тимоха, Гриневицкий, Подбельский. Какого-то долговязого юнца прислала Аня.

Но все это уже не имело значения. Когда подсчитывали силы сочувствующих, выходило — человек пятьсот. Ни о какой инсуррекции думать нельзя. Но из этих-то пятисот десять человек для одного дела — найдутся?

И он сказал тогда в бессонную ночь:

— Знаешь, Соня: ничто нас не остановит. Даже если б мы сами пытались себя остановить.

Всю Владимирскую запрудила толпа, медленно двигавшаяся в сторону Невского. Перейти на другую сторону улицы не было никакой возможности. Андрей возвращался с Лиговки, где была встреча с Подбельским, на комитетскую квартиру и очень спешил. Впрочем, он спешил теперь каждый день. Он перестал спать. Иногда засыпал днем, внезапно, где-нибудь в комнате на стуле. Теперь была понятна изумлявшая всех способность Нечаева не спать: так же, как Андрей, он не мог

спать, и это было постоянное, естественное, неутихающее. Потому что надо было дожить. Толпа шла шагом, плотно, в странном молчании. Над головами колыхались лавровые и пальмовые венки. Что это было? Похороны, что ли? Да, конечно, он вспомнил: умер Достоевский. Третьего дня кто-то говорил, кажется Саблин. Достоевский жил в том же доме, где жили Семен с Марией Николаевной. Семен рассказывал: несколько раз видел его на лестнице, возле дома, и однажды даже разговаривал о чем-то, о птицах. Семен подкармливал крошками птиц в морозный день. И вот уже неделя прошла, как Семена нет. Марии Николаевне с ее замечательным везением, как обычно, удалось спастись, и сейчас она, слава богу, уехала из этой квартиры на Кузнечном, ибо сразу за тем там арестовали Колодкевича. Но как перейти на другую сторону улицы?

Толпа замедляла шаг, останавливалась. Андрей, поднявшись на ступеньки каменного крыльца, смотрел в сторону головы колонны, там высоко поднимали венки, какую-то черно-желтую хоругвь, и оттуда неслось пение хора. Был светлый, туманный, не по-зимнему теплый день. Шествие остановилось возле Владимирской церкви. Люди в толпе спрашивали: «Почему остановка?» Кто-то объяснял: «А как же, поют литию...» Было много бледных, угрюмых, заплаканных лиц, но много было и вовсе спокойных, даже довольных чем-то: как будто довольных тем, что удалось попасть и присутствовать. Колонну ограждала цепь студентов, державшихся за руки. Андрей решил пойти быстрее вперед, тротуаром и попытаться обойти шествие спереди, тем более что оно делало остановки, а хвост, наверное, был велик, его не обойдешь. Где быстрым шагом, а где протискиваясь между цепью студентов и стенами домов, он продвинулся далеко вперед, почти к самой голове и, приподнимаясь на цыпочки, уже мог видеть гроб, усыпанный цветами и окруженный вместе с несущими людьми громадной гирляндой листьев. На тротуаре стоял народ, глазевший на похороны и пытавшийся угадать, кого хоронят. Андрей слышал, как один говорил, что хоронят штатского генерала, второй сказал — учителя. И в другом месте Андрей услышал: «Учителя хоронят, который на каторге четыре года безвинно...» И это напоминание о каторге почему-то больно задело Андрея, и он подумал со злой радостью: «Подождите, скоро другие похороны будут!» Он сумел протолкаться в толпу, намереваясь пересечь

ее поперек. Тут были солидные люди в дорогих шубах, может быть, адвокаты, профессора, литераторы, было много женщин и молодежи. Все это двигалось, а вернее сказать, плыло в сторону Невского так слитно, нерасторжимо, что пробиваться сквозь эту объятую густой взволнованностью толпу было не то что трудно, а попросту немыслимо. Андрей понял, что совершил ошибку, сойдя с тротуара и углубившись внутрь шествия. Его несло вместе со всеми, шатало вместе со всеми, вдруг останавливало, и он стоял, обтиснутый со всех сторон, покачиваясь, потому что все вокруг покачивалось. Поневоле прислушивался к разговорам, и мысли его, занятые равелином, Нечаевым, арестами друзей, голодом в Оренбургской губернии, обращались к писателю, великому и враждебно-далекому, ненавистнику. Призывал к смирению и одновременно так страстно ненавидел. «Смирись, гордый человек, и прежде всего сломи свою гордость!» И вдруг так ясно, внезапно подумалось: а ведь ненависть у них к одному — к страданию. И поклонение тому же, и вера в силу искупительную — того же самого, страдания человеческого. Пострадать и спасти. И, значит, где-то в самой дальней дали, недоступной взгляду, есть точка соединения, куда стремятся они каждый по-своему: исчезновенье страдания. Только он-то хотел — смирением победить, через тысячелетия, но ведь никакого терпения не хватит! Нет у рода людского такого запаса терпения, нет и быть не может.

Толпа несла. Пробиться к левой стороне шествия и выйти на тротуар казалось почти невозможным. Он слышал тихие разговоры, вздохи, шарканье ног, всхлипыванья, испуганные голоса и даже стоны женщин и почти непрерывное, доносившееся и спереди и откуда-то сзади пение хоров. И все же это было единство, это был поток, кативший к единой, всем ведомой цели — в Лавру? На кладбище? Смирись, гордый человек, и теки вместе со всеми.

Но времени более не оставалось ни минуты.

И он нажал плечом, расшиб, растолкал и выскочил опрометью на тротуар. Через полчаса, в середине дня он был на Вознесенском.

Собралось человек семнадцать. Приехал Михаил Тригони, срочно вызванный из Одессы. Глядя с радостью на своего необыкновенно плечистого, могучего

друга, Андрей подумал: «Сегодня же его в сырную лавку! Вот из кого землекоп!» Опять говорили об инсуррекции, обсуждали, подсчитывали, и опять выходило то же: сил мало. Суханов сказал, что в лучшем случае можно поднять сотни две военных, считая моряков и артиллеристов. А по всем рабочим, студенческим кружкам, по всем городам — человек пятьсот. Так и они с Соней считали. Конечно, огромный рост могло дать удачное покушение. Тригони, как человек провинциальный и восторженный, восклицал:

— Черти соломенные, чего вы плачете? Пятьсот человек — это же армия! Наполеон начинал с нуля, а у нас — пятьсот!

— Господин адвокат, ваше дело копать землю,— сказал Андрей.— Сегодня же ночью — за лопату!

Тигрыч вяло махнул рукой.

— Какие пятьсот? Откуда? Выдаем желаемое за действительность...

И, конечно, Старик был по сути прав: истинных бойцов было не пятьсот, а пятьдесят. И даже, быть может — тридцать. А если еще точнее, то — вот эти семнадцать, что сидят в комнате. Эти пойдут до конца, на смерть, остальные будут помогать, горячо, пылко, могут вступить в драку, но вопрос жизни и смерти ими еще не решен.

Второе, что обсуждалось: как действовать с равелином? Андрей и Гриша Исаев прочитали последние нечаевские письма, которые тот передавал через верных ему караульных солдат на волю. В этих письмах было много здравого, но была и совершеннейшая фантастика. Нечаеву казалось уже недостаточным освобождение себя, Ширяева и третьего, безумного узника. Он предлагал теперь не больше не меньше как захватить в плен всю царскую семью в тот день, когда царь прибудет в Петропавловский собор на богослужение. План излагался подробно: его солдаты заранее займут все входы и выходы собора, поместятся на хорах, а Нечаев, заблаговременно освобожденный, появится внезапно в форме полковника, объявит Александра II низложенным, посадит его в камеру, а Александра III назовет императором. Одновременно будет захвачена вся крепость. Поражало одно: абсолютная уверенность в преданности своих солдат.

Одни смеялись, другие были изумлены, третьи высказывали догадку: а не тронулся ли Сергей Геннадие-

вич слегка? Тихомиров сказал, что занятное заключается в том, что, если б Нечаев взялся осуществлять свой план, он бы у него почти удался. Ведь у него все всегда почти удавалось! Нет, он нисколько не тронулся, это был обычный, ясный, нечаевский стиль. Он предлагал на выбор и два простых плана своего освобождения: один — через водосточную трубу, крышка которой находилась во дворике, где Нечаев гулял, а выход был в реку, невысоко над уровнем воды; второй — солдаты переоденут его и выведут за ворота, где будут ждать партионцы с пролеткой.

Суханов сказал, что если использовать водосток, то дело, вероятно, придется отложить до весны, когда сойдет лед. Но главная сложность была не в этом. Все смутно догадывались, Андрей сказал:

— Друзья мои, а ведь нам придется делать выбор: казнить царя или освобождать товарищей. Два таких предприятия рядом — немыслимо! Одно повредит другому.

Комитет решил: Желябову как можно скорей выяснить все возможные способы освобождения, имея в виду, что все-таки казнь царя — предпочтительнее для дела, для России. Как ни горько, а похоже на то. А что было делать? Ведь и в «Катехизисе» говорилось, что действия революционера должны руководиться мерою пользы, а не какими-либо сентиментальными соображениями.

Водосток был отвергнут. Слишком узка труба, большой риск задохнуться. План с переодеванием был бы хорош, если б не надо было его готовить и тратить по меньшей мере месяца полтора. Откладывать взрыв на Малой Садовой невозможно. Он намечен если не на пятнадцатое, то на двадцать второе. Значит, до взрыва — невозможно. А после?

Ночью работали в подкопе. Другую ночь тоже работали в подкопе. И третью ночь работали. Днем приходил домовладелец и спрашивал у Кобозевых, довольны ли они ремонтом, не трескается ли асфальтовый пол. Домовладелец проявлял обыкновенную хозяйскую прыть. Богданович басил, гремел, размахивал руками, пытаясь положение дел обрисовать на словах, в то время как домовладелец интересовался попросту зайти и взглянуть. И он чуть напирал на Богдановича, норовя сдвинуть его в сторону, что было трудно: тем более что в комнате лежала свеженарытая земля. Но тут вмеша-

лась Баска, своим бойким вятским говорком объявив, что в горнице белье развешано, а немного погодя могут зайтить и поглядеть чего нужно. И четвертую ночь работали в подкопе, который здорово продвинулся. И пятую ночь таскали землю. Андрей приходил домой под утро или днем, мылся, падал в постель. Сна не было. Иногда просто лежал без сил, с закрытыми глазами, иногда дремал несколько минут, вдруг что-то спрашивал у Сони. Ей казалось, что он разговаривает во сне. От него пахло землей. Он сам постоянно чувствовал этот запах от собственной кожи, от рук: запах сырости, погреба.

Вдруг, очнувшись, увидел, что Соня сидит на стуле рядом с постелью и смотрит на него. В ее глазах за последние дни появилось какое-то странное, умоляющее выражение. Некогда было задумываться, но — похоже на страх. У Сони страх? Совершенная невероятность. Иногда в дремоте ощущал жалость к ней, просыпался от этого ощущения, но сейчас же — лишь просыпался — все пропадало. И вот теперь, очнувшись, он какую-то секунду жил еще не угасшим, из сна, чувством острого сострадания к ней, тут же вскочил, спросил: который час? Половина первого. В час начинался годичный «акт» в университете, и он обещал непременно там быть. Вдруг Сонин голос:

— Прошу тебя не ходить.

— Что ты! — Он засмеялся.— Как же я могу?

Он обещал Папию, Льву Матвееву, всем остальным, что придет и увидит все это своими глазами. Вместе с Папием Подбельским писали прокламацию, печатали в типографии на Подольской — от имени «Центрального университетского кружка». И они знали, что он придет, будет в зале, все разыграется, как по нотам: сначала выступит Лева, потом Папий, потом Лева разбросает прокламации. Университетский «акт» бывает раз в году. Присутствие Андрея было для них важно. Оно придавало им сил.

— Тарас, я тебя никогда ни о чем не просила...

— Почему ж сегодня такой исключительный день?

— Потому что они — на твоих следах. Все эти аресты не случайны: неужели ты не видишь, что они подбираются к тебе?

Он видел. Но бунт в университете, если он состоится, это такая награда, ради которой стоит рискнуть.

— Ты уже не чужой в Петербурге... Тебя знают сотни людей... И ты идешь в этот Вавилон, где полно доносчиков и шпионов... Я знаю: будешь стоять на виду, будешь хохотать, размахивать своей бородой, еще и в драку влезешь, а драка будет наверняка...

Он сказал: да, наверно так и будет. Но отступить он не может. Если он не придет, если Папий и Лев не увидят его перед началом — все может сорваться. Рухнут все приготовления. Да и стоит ли так уж бояться риска? Ведь жизни все равно осталось немного.

— Я ненавижу эти твои разговоры!

Он молча одевался, зашнуровывал тяжелые, разбитые башмаки. Давно бы надо купить другие, и деньги есть. Только зачем? Соня злым голосом выговаривала:

— Ты не имеешь права! Твоя жизнь не принадлежит тебе одному... Комитет поручил тебе удар кинжалом... Как можно ставить под угрозу все предприятие?

Неожиданно Соня закрыла руками лицо, села на кровать и согнулась, сжалась. У нее была одна такая поза: вдруг превращалась в какого-то маленького зверька, сжималась клубком.

— Зачем, зачем, зачем? Мне стыдно...— Она шептала сквозь зубы.— Ведь я была счастливым человеком — ничего в жизни не боялась...

Он ее успокаивал, стоя на коленях возле кровати, обнимая ее.

— А теперь боюсь, боюсь — за тебя...

— Ты не бойся. Не надо. Помнишь, как говорил Дворник: «Человек, который победил страх смерти — всесилен, как бог».

— Какой же страх смерти? Говоришь чушь...

— Ну, страх моей смерти. Тоже чушь. Тоже надо преодолеть.

— Нет! Нет, нет, нет! Я хочу, чтоб мы жили с тобой долго. Хочу, чтоб мы были счастливы. Неужели нельзя? Ведь говорили: потом, когда сделаем дело, поселимся на хуторе, будем пахать землю и читать книги...

— Ну да. А какие книги?

Она посмотрела на него.

— Какие? «Тараса Бульбу»...

— Тебе не надоело?

— Сама, конечно, читать не стану, но когда ты читаешь, могу слушать без конца. Что еще? Лукьянова о Гайдамачине, Антоновича, Жорж Санд. И, конечно, наши «Самоохранительные записки...»

«Самоохранительные записки» — их излюбленное чтение вечерами, уморительная чепуха. Он видел: она успокаивалась. Надо было уходить. Не уходить, а — бежать. Левка Матвеев, он же Коган-Бернштейн, и Папий Подбельский ждали на улице в условленном месте.

А у Сони было предчувствие: сегодня непременно что-то случится, поэтому такая мольба к нему — не ходить. Сама же, между прочим, в два часа пополудни собирала свой наблюдательный отряд на Забалканском. Ее тоже знает пол-Петербурга.

— Так вот, Соня.— Взяв ее руки в свои, очень серьезно взглянул ей в глаза, из которых еще не исчезло прежнее, умоляющее.— У меня к тебе тоже есть просьба: не ходи, пожалуйста, сегодня на Забалканский. Ладно?

Соня усмехнулась. Поцеловал ее, схватил пальто, шапку, выбежал бодро, одеваясь на ходу, ощущая, как с каждой секундой вливаются силы. Подойдя к университету, сначала увидел приземистого Папия, курившего папироску, стоявшего в одиночестве, потом в толпе — долговязого, рыжего Левку, который что-то громко говорил студентам, заметил Андрея и сделал движение броситься к нему, но сдержал себя. «Очень нервен». Левка должен был прервать оратора криком, но следовало точно выбрать минуту. В толпе студентов Андрей разглядел и Суханова. Сделали вид, что не знают друг друга. К университетской годовщине министр просвещения Сабуров, эта хитрая лиса, достойный сатрап Лориса, приурочил отмену временных правил и восстановление университетского устава шестьдесят третьего года. Вот и надо было показать все лицемерие этой «уступки». Андрей поднялся на хоры. Запели стройно «Коль славен». Профессор Градовский читал отчет, довольно нудно; наличный состав, вольные слушатели, почетные члены, число стипендий увеличилось благодаря новым пожертвованиям со стороны таких-то господ. Назвали графа Менгдена, и Андрей вздрогнул: хозяин дома на Малой Садовой! Вспомнил, что сегодня он отдыхает, ночью работают Тригони, Исаев, Фроленко и кто-то еще. Долго старался сообразить, кто же четвертый, и это мешало слушать и наблюдать. Наконец вспомнил: Дегаев! Дегаев по-прежнему чем-то не нравился, хотя проявлял необычайное рвение. Но что было делать? Людей нет. Если понадобится, придется звать на помощь таких юнцов, как Левка и Папий. Впрочем, Лев-

ка отчаянно горяч и способен на что угодно, а Папий, этот уральский здоровячок, сын священника, может быть безусловно полезен. Одну штуку он проделывает гениально: приседает на одной ноге. Да, да, гимнаст. А гимнасты будут нужны в случае заварухи.

Вдруг с хоров кто-то заорал. Это был горловой бас Левки:

— Не уважили требований всех университетов!..

Он перебивал уже не Градовского, а Мартенса. Мартенс продолжал бубнить, как пономарь. Снова тот же бас:

— Оратор, молчать!

Сразу возник шум, возня, крики раздавались в разных местах, и внизу тоже. Андрей увидел: Папий в черном сюртуке, бледный необыкновенно, вышел из толпы, теснившейся на сцене позади стола, за которым сидели сановники, раздвинул стулья и, подойдя к Сабурову, дал ему пощечину. Многие не увидели, не поняли, зал был переполнен, народу тысячи четыре, но Андрей знал, что будет пощечина, поэтому следил внимательно, как следят в театре за сюжетом хорошо знакомой оперы. Сабуров сидел неподвижно вытянувшись, лицо его на глазах превращалось в маску. Папий исчез. Откуда-то посыпались листовки. Это Левкино дело. Тут пошло все стремительно: паника, крики: «Держи!» «Бей!», «Вот они!». Громадная толпа поднялась с мест, задвигалась, зашаталась. Начались драки, Андрей ввязываться не стал, быстро спустился большой лестницей вниз. Он видел, как Левка, под охраной своих приятелей — первокурсников, тоже благополучно проскочил на улицу. Куда делся Папий, Андрей не видел.

Через полчаса встретил обоих на конспиративной квартире Геси Гельфман и Саблина, на Троицкой. План удался во всех подробностях. Оба были возбуждены, обсуждали со смехом, перебивая друг друга, поведенье каких-то своих знакомых, схватку, возгласы, крики, выражение лиц сановников: еще долго не могли остыть от боевой горячки. И были счастливы! Андрею так хотелось посидеть с ними на переломе их жизни — сегодня они стали нелегалами, будут жить некоторое время здесь, у Геси, пока им не принесут паспорта, платье, деньги,— хотелось поболтать с ними, обнадежить, успокоить и поесть что-то вкусное, что готовила Геся, но обязан был уходить. Сегодня его ожидало еще одно дело, крайне тяжкое и секретное, о нем не догадывался

и не имел права знать ни один человек, кроме Гриши Исаева. Не знала даже Соня. Да уж Соня тем более! Жесточайшее нарушение постановления Комитета. Он брал этот грех на себя, ну и на Гришу тоже, потому что без Гриши ничего бы не состоялось.

Прибежал Саблин с пачкой газет, как всегда в бойком и балагурственном расположении духа, возмущался какими-то стихами из «Санкт-Петербургских ведомостей» на смерть Достоевского. Он был у Иванчина-Писарева, туда зашел Глеб Иванович Успенский, и они читали эти стихи и хохотали.

— Послушайте-ка: «Почий на лоне Авраама замечательный писатель, ты был за обиженных великий воздыхатель, за которых ты неустанно писал и ратовал, потому что сам за правду в изгнании живал...» А, каково? Чистый Лебядкин. Стихи капитана Лебядкина. Подписано: Максим Ковалев, крестьянин. Газетные ослы демонстрируют народное признание. Кстати, о народном признании: вот некоторая сумма в нашу кассу! — И он положил на стол несколько ассигнаций.

— Откуда же? — спросил Андрей.

— От Глеба Ивановича. Я не просил, он сам. Был шутейный разговор: интересно, мол, что сейчас задумывают террористы? Где соединят провода? Ну, и я важно сообщаю: я бы, говорю, избрал памятник Екатерины и под шлейфом ее устроил приспособления. Да вот беда — денег нет! Такое, говорю, оскудение в нашем кармане — вместо «Палкина» ходим в съестную лавочку, а крепкие напитки давно забыли. Да, говорю, с этой революцией всякое пьянство запустишь!

Папий и Левка во все глаза смотрели на шутника, который так запросто беседует со знаменитым писателем. Саблин не был знаком ни с Папием, ни с Левой, видел их на своей квартире впервые и тем не менее продолжал весело — и неосторожно, как отметил про себя Андрей,— болтать.

— И тут как раз Глебу Ивановичу доставляют гонорар от «Отечественных записок». На квартиру к Писареву почему-то. Ну и он всю сумму — мне! Пожалуйста! Это зачем, спрашиваю? Для проводов под шлейфом или для поддержания пьянства?

Папий с Левкой хохотали. Андрей сказал:

— Милый ты парень, Коля, но — болтун...

— Это я так: «от большого остроумия говорю глупости», как говорила моя матушка...

Хотелось сказать: «Когда-нибудь вляпаешься от большого остроумия», но промолчал. У Саблина на такие предостережения один ответ: «А мне не страшно. Я ведь живым не дамся». Надо было бежать, а Геся уже несла на стол горячие пирожки и чай. Ах, Коля Саблин, счастливец, зачем тебе ходить к «Палкину»? Гриша Исаев ждал в Пассаже. Андрей попрощался и, взяв пару пирожков, жуя на ходу, побежал. На улице стемнело. Уже зажглись фонари. Андрей шел быстрым шагом, почти бежал по привычке, и в мыслях мерещилось что-то легкое, какая-то слабая радость: что ж это было? Ах, да: деньги! От Глеба Ивановича. Нечаев в письмах корил: зачем печатаете в «Народной воле» такие ничтожные суммы пожертвований, два рубля, пять рублей, полтора рубля? Надо печатать: господин икс пожертвовал в фонд партии пятьсот рублей, господин игрек — тысячу двести. Надо преувеличивать, пугать, создавать видимость, приводить в трепет.

Но как этот человек, видящий только цель и только пользу, сможет понять то, что касается его собственной жизни?

Сегодня будет сделана попытка его увидеть. И сказать ему честно о решении Комитета. Очень трудно его увидеть. И не менее трудно — сказать. В Пассаже, на второй галерее, где была назначена встреча с Гришей, Андрей прохаживался перед входом в музей Лента, от нечего делать читая зазывные афиши: «Новость! Чудо нашего времени! Комическое поющее верхнее туловище еврея! Никогда не бывалые лучшие изобретения в механике!» Толпа двигалась бесперебойно: гимназисты, солдаты, молодые чиновники, девицы, заводские мастеровые в черных пальто, в цилиндрах с модными узкими полями. Для всех этих людей «Автомат-негр, играющий на флейте», или «Автомат-гусар, играющий на корнет-а-пистоне», или «Механическая танцующая пара», или «Трехголовый шведский соловей», или взрыв в Зимнем дворце, или казнь человека рано утром на Семеновской площади — чудеса примерно одинаковой силы и развлекательности. И Андрей знал это прекрасно и нисколько не сердился на толпу, со страстным любопытством стремившуюся в музей господина Лента. Где кроме всего прочего: пытки в воске и железе, галерея разных преступников, большая коллекция старых и новых орудий пытки, мечи, употребляемые при казни, и иные редкости.

В другое время Андрей непременно зашел бы посмотреть орудия пытки и мечи, употребляемые при казни,— такие вещи его неизменно интересовали, но он боялся покинуть галерею и пропустить Гришу. Вскоре Гриша возник из толпы, улыбающийся, с несколько отросшей — теперь уже и не французской, а полурусской — белокурой бородкой. Следом за Гришей шел высокого роста солдат. Гриша быстро познакомил Андрея с солдатом, назвав имя солдата невнятно, так что Андрей переспросил.

— Звать меня Добрый Человек,— сказал солдат.

— Так просто — Добрый Человек, и все тут? — усмехнулся Андрей.

— А смешного ничего нету.— Солдат нахмурился. Был он богатырского роста, глядел угрюмо.— Больше вам знать не положено, господин.

Гриша объяснил: Нечаев всем *своим* солдатам дал клички, двойные, одну для употребления в равелине, другую для города. Этого солдата зовут Добрый Человек и Аннушка. Он в равелине уже не служит, переведен в петербургскую местную команду. Сейчас проводит Андрея на квартиру одного обер-фейерверкера, где Андрею дадут солдатское платье, и другой человек поведет его к равелину. Гриша попрощался. Пошли с Добрым Человеком вдвоем. Солдат был на редкость молчалив и мрачен. На всякий вопрос Андрея он отвечал не сразу и с явной неохотой. В какой камере сейчас Нечаев? Пауза, потом мрачный ответ: «Да в пятой... В какой ему быть». Откуда равелинские солдаты родом? Тоже после изрядной паузы: вологодские да архангельские. И когда уж дошли почти до Малой Пушкарской, где жил обер-фейерверкер, Андрей решился спросить о Нечаеве: сильно ли его уважают?

Добрый Человек остановился и поглядел на Андрея, как бы чему-то дивясь.

— А попробуй не уважай.

— Что же так?

— Да он как глянет!..

Сделалось совсем темно. Андрею дали шинель, солдатскую шапку, и какой-то другой солдат по кличке Пила повел его в крепость. Откуда в Нечаеве эта сила? Что он делает с людьми, отчего так безропотно подчиняются? Пила был более разговорчив и успел рассказать, что «наш орел» — так они зовут его между собой — все про всех знает, про все домашнее, деревенское, не

хуже ведьмака. Сам-то в камере, а народом оттуда командует. Я, говорит, сказал, чтоб моя партия дворец взорвала? Так и вышло. Приказал в царя стрелять? Стреляли. А его и начальство равелинское боится, потому что его никакой мор не берет: два года кандалы таскал, мясо гнить стало, а он — живой, нетленный. Вот и боятся: потому что, не ровен час, прикажет — к ногтю. Ему наследник престола подчиняется. А царя, говорит, я все одно изведу, потому что он народную измену сделал. Какое-то темное облако наивности, страха, одновременно бесстрашия, фатализма и безоглядной доверчивости окружало этого загадочного человека. И тут был обман, и тут мистификация — ради великой пользы.

Когда на заседании Комитета Андрей заикнулся было о том, что мог бы попытаться поговорить с Нечаевым с глазу на глаз, хотя бы через решетку камеры — такая возможность есть, ведь он все равно должен осмотреть равелин в видах будущей попытки освобождения,— все стали ужасно на него орать. Не смеет и думать! Глупость! Абсурд! Преступный риск! Можно в письме объяснить сложность положения и невозможность откладывать покушение на царя. Кто-то предложил передать право выбора — казнь царя или освобождение — самим узникам, Нечаеву и Ширяеву, но это было тут же отвергнуто. На первом месте — казнь! Ради казни создана партия, погибли люди. Осматривать равелин, подступы к нему — пожалуйста, пытаться увидеть Нечаева — строжайше нельзя. По грозному тону товарищей Андрей угадывал страх не только за его жизнь, но и за исход дела: ведь ему, Андрею, в процедуре казни поручался окончательный акт. Если царя не взорвет мина, его взорвут метальщики; если чудо спасет и от метальщиков — Андрей довершит дело кинжалом.

И все же, понимая страх товарищей и степень риска, Андрей решился на эту попытку. Знать никому не нужно. Риск? Не больший, чем его обычный, постоянный, ежедневный, с которым он свыкся, как свыкаются с грыжей. По словам солдата Орехова, первого посланца Нечаева, осмотреть равелин с внешней стороны не представляло больших трудностей.

Было около восьми вечера, когда Андрей и Пила спустились со стороны Зоологического сада на лед Кронверкского пролива и двинулись к равелину. Крепость

темной глыбой высилась слева, а равелин казался низким и плоским островом. Солдаты, дежурившие у стен, были товарищами Пилы. Он окликнул кого-то, отозвались, и Андрей поднялся по деревянным мосткам и по лестнице — тут, наверное, летом полоскали белье — на невысокий берег. Нечаев в последнем письме прислал нарисованный им план равелина с указанием своей камеры. Равелин представлял собою треугольник. В нем было девятнадцать камер, но лишь пять из них имели окна на внешнюю сторону, остальные смотрели во двор и были недосягаемы. Камера Нечаева была из этих пяти. Она располагалась в той стороне треугольника, что находилась прямо против крепости, в углу, ближнем к проливу, а рядом с нею было нежилое помещение, цейхгауз. Теперь уже два солдата сопровождали Андрея. Возле первого же окна остановились. Окно было высоко, выше человеческого роста, но под ним стоял ящик, на который Андрей вскочил.

— Кто это? — донесся хриплый, очень явственный шепот из темноты.

— Желябов,— ответил Андрей.

— Ага, Желябов! Очень хорошо! Послушайте, Желябов, у меня есть важные идеи, я кое-что набросал нынешней ночью, зная, что вы придете...— В камере горел какой-то слабый светильник, может быть керосиновая лампа, но лицо человека, прижатое к решетке, было совершенно темно, ибо свет находился сзади. Андрей разглядел лишь, что человек очень худ, это было лицо юноши, почти мальчика.— Вы меня слышите? Хорошо слышите?

— Да, да! — ответил Андрей.

— Так вот, Желябов, вы пришли как раз вовремя. Я предлагаю срочно распространить следующий манифест: «По совету любезнейшей супруги нашей государыни императрицы, а также по совету князей, графов и так далее и по просьбе всего дворянства мы признали за благо...» Вы слышите меня? «...возвратить крестьян помещикам, увеличить срок солдатской службы, разорить все старообрядческие молельни...»

По-видимому, читал по-писаному. Другая бумага должна была быть разослана священникам от имени святейшего синода, где говорилось, что император заболел недугом умопомешательства, что надо молиться с алтарей о его исцелении, но никому не открывать этой государственной тайны. Потом еще какие-то манифес-

ты: к крестьянам, к русскому воинству, к гвардейским, гренадерским и армейским полкам, к коннице и к местным командам. Все читалось с необыкновенной, лихорадочной поспешностью, без пауз. Андрей слушал в ошеломлении. И мало-помалу — проходили секунды — чувствовал, как его одурманивает странная гипнотическая сила, проникавшая из зарешеченного окна. В какой-то миг вдруг показалось: гениальная идея! И не нужно казни царю. Вся Россия подымется. Однако через секунду сказал себе: вздор! Все это уже было и рухнуло: чигиринская затея, манифесты стефановичевские... Человек в камере был отрезан от мира. До него долетали лишь осколки событий. Он боролся в одиночку, фантазировал в одиночку. Как же ему сказать, что свобода и истинная жизнь — отодвигаются? На какой срок — неизвестно.

— Как вы пишете? — спросил Андрей.— Вам дают чернила?

— Нет, я пишу сажей, которую собираю в душнике. Сажу развожу в керосине,— последовал быстрый ответ.— Грозятся заделать душники, чтоб я не собирал сажи. Тогда буду писать кровью. Я уже пробовал, написал одно письмо кровью, ногтем.

— Нечаев, я осмотрел равелин,— сказал Андрей,— и нахожу, что попытку освобождения вас и Степана предпринять можно. В этом месяце мы обязаны казнить царя. Все приготовления уже сделаны. Я сообщаю вам высшую тайну для того, чтобы вы поняли. После казни царя будем освобождать вас, но, если начнем с вас, казнь царя может не состояться.

Было молчание. Андрей видел темную голову на фоне слабого дымного света. Услышал голос:

— Вы правильно решили. Мы будем ждать и желаем вам успеха.

Потом недолго поговорили о делах, о способах связи, о том, кто из солдат особенно надежен, кто нуждается в деньгах и кому надо подыскивать работу, и — попрощались. Андрей возвращался льдом пролива, охраняемый Пилою и еще каким-то солдатом, всю дорогу молчал, на душе было тяжко. Он будто ощутил гнет, внезапное отчаянье, что принес — тому, в пятую камеру. Но при этом было и облегчение. Потому что ложь есть тоска без исхода, а правда, даже самая ужасная, убивающая, где-то на самой своей вершине, недосягаемой, есть облегчение.

Арестанту из камеры номер пять оставалось ожидание. И — гордость силой своей души: он выбрал! Всем понятно, что его выбор означает смерть. Едва держась на ногах от усталости, Андрей пришел домой. Соня лежала на кровати с грелкой. Непонятно было, что у нее за болезнь: вдруг терзали мучительные боли в боку, вдруг пропадали. Идти к врачам не хотела, старалась не обращать внимания, не выдавать себя, но Андрей видел.

— Где ты был так долго? Приходила Аня, сказала, что ты был днем у Геси, потом куда-то исчез...

Она улыбалась, худо дело: значило, что у нее сильные боли. Он подошел ближе, нагнулся, увидел слезы в темных глазах.

— Я осматривал Алексеевский равелин. Лазил черт знает по каким откосам. Ну что ж — побег возможен, но надо долго готовить.

— Мне сказали, что в университете аресты, и до самого прихода Ани я ничего не знала и страх как себя изводила. Ну, и сразу началась боль. А теперь совсем хорошо и ничего не болит!

Он приготовил еду, принес от хозяйки самовар, и Соня стала рассказывать: наблюдатели проследили сегодня весь путь царя с минуты до минуты. Сегодня он ехал через Певческий мост, а в Михайловском дворце задержался дольше обычного. Обратно все так же: Екатерининским каналом и Мойкой.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

Ночи и дни стали — одно. Все перемешалось, слилось, одинаково пахло земляной сыростью, могилой. Дни недели перестали существовать, кроме единственного — воскресенья. Два воскресенья отлетели впустую: однажды еще не были готовы снаряды, в другой раз царь почему-то не выехал на развод.

И осталось для жизни еще одно воскресенье: первое мартовское. Теперь или никогда, потому что и сил больше не было. Странная ерунда преследовала Андрея: вдруг на несколько секунд он терял сознание. Эти мгновенные обмороки случались днем, на квартирах, во время разговора, но однажды было и на улице, в конке. Никто не замечал. Он не рассказывал. Боялся одного:

потерять сознание под землей. Собственно, тут не было потери сознания, было лишь секундное затмение и потом ощущение, будто приплываешь издалека. Но после двадцатого лезть под землю было не нужно, кротовая работа кончилась, и Исаев с Кибальчичем ждали субботы, чтоб заложить мину. Отряд метальщиков составился: Тимофей Михайлов, Рысаков, Гриневицкий и Емельянов. Эту дружину, которую назвали террористической, Андрей набирал постепенно, с января, присматривался к каждому, разговаривал подолгу, прощупывал на стойкость — да выбирать, правда, не приходилось. Самые стойкие были за решеткой.

Соня очень хвалила Гриневицкого. Сам Андрей был уверен в Михайлове: может, потому, что тот напоминал ему Преснякова. Рысаков был как-то смутен: то проявлял отчаянность, то заметно робел перед пустяками. На совещаниях был суетлив, нервозен, вдруг хохотал глупо, употребляя ученые слова вроде «индифферентный», «эксцентричный», «диапазон», «кафедральный социализм», да все не очень кстати. Емельянов, которого привела Аня Корба, хорошо знавшая его через Анненского, статистика и литератора, был совсем юнец. Но необыкновенного роста юнец на улице возвышался надо всеми на две головы, и Андрей за рост прозвал его «Сугубым». Все это была молодежь, еще не выработанная, не прочная, и, говоря по-серьезному, ей бы надо было повариться в революционном котле хотя бы год, другой. Но что делать, когда людей нет и ждать нельзя — не то что года, даже месяца?

По своей привычке во всем добираться до корней, выяснять происхождение, Андрей пытался понять — что двигало молодыми людьми? Какой волной прибило их к тайной квартире, где говорилось о снарядах, кинжалах и открыто о цареубийстве? Гриневицкий — поляк, тут дело понятней. Михайлов истинный пролетарий, работал на многих питерских заводах, входит в рабочую дружину. Рысаков? Бедность, одиночество, прозябанье. Родители далеко, близких нет. Тут — неясность. Книги, чтение? Желание вырваться из круга придавленности, нищеты? Про Емельянова и этого не скажешь. Сын псаломщика, воспитывался у дяди, русского дипломата в Константинополе, потом попал в семью либералов Анненских, и вот здесь, может быть: разговоры, книги, обыски и даже высылки хозяина дома....

А в общем-то волна, прибившая их,— дух времени, недовольство и тревога, царившие всюду.

В четверг на Тележной улице, в квартире Геси Гельфман и Саблина, только что нанятой — с прежней, в Троицком переулке, пришлось срочно съехать в середине февраля, обнаружилась слежка,— он собрал метальщиков, добровольцев, и Кибальчич объяснял им устройство снарядов. Самих снарядов еще не было, Гриша Исаев, Грачевский и Кибальчич трудились над ними в лихорадочной спешке. Но чтоб не терять времени зря, решили ознакомить добровольцев пока что с теорией. Кибальчич объяснял по чертежам. К следующему дню, к пятнице, техники обещали приготовить один пробный снаряд, который надлежало испытать где-нибудь в укромном месте, за городом. Кибальчич просил: чтоб не больше четырех человек. Иначе — подозрительная толпа. Математическое мышление Кибальчича всегда поражало: почему непременно не больше четырех? Почему не больше трех, пяти? Нет, категорически точно: не больше четырех. В его сознании сперва возникали цифры, потом понятия. Когда кто-то спросил, нельзя ли приготовить из гремучего студня снаряды для самозащиты, Кибальчич ответил: «Можно, если использовать по пять или шесть фунтов на каждый снаряд». Что это значило? Не очень охотно пояснил: «Снаряды будут маленькие».

И вот — ресторан Детроа, здесь условились встретиться, пообедать и ехать потом в укромное место. Всех этих молодцов еще надо кормить: они лишились заработка, стали нелегалами. Приехал Кибальчич и сказал, что снаряд не готов. Когда же? Завтра, в субботу. В девять утра за Смольным монастырем, перейти реку. Разошлись. Андрей поехал домой. Соня была дома. Они легли рядом на кровать и лежали обнявшись минут сорок. Соня говорила, что у нее ничего не болит, но он видел: болит. Сам чувствовал, что будет терять сознание, и боялся заснуть. Лежал с открытыми глазами. Соня спросила: «Куда же все-таки поедем?» Он сказал, что всякий кулик свое болото хвалит. Лучше Феодосийского уезда места нету. Можно еще в Брацлав Подольской губернии. Вдруг вспомнил деда: как прощались на бугре густым, синим утром, потом была долгая, в пылюке, дорога, жара, печаль. Воспоминания — сушь души. Отгонял их. Если что и вспоминалось — случайно, секундно. В половине пятого встали, оделись, вы-

шли на улицу. Взяли извозчика. На Большой Садовой, около Публичной библиотеки, остановились, отпустили извозчика и расстались: Соня где-то здесь встречалась с Аней Корба, а у Андрея было назначено несколько свиданий на Невском. На заснеженном тротуаре перед входом в Публичную сказали друг другу: «Ну, прощай!» — и Соня еще добавила, как обычно: «Будь осторожен». И это было — последний раз. На Большой Садовой какой-то тип привязался сзади, губастая сволочь, пришлось сделать несколько кругов — наука Дворника, уходить «кругами», не по прямой — прежде чем от него отделался. Человек из Москвы, ожидавший в кофейной, прождал лишние полчаса. Потом была встреча с равелинским связным, передавшим письмо от Нечаева. Тот проникся особым уважением к Андрею. На конверте стояло: «Тарасу в руки». А несколько дней назад Нечаев в письме требовал установления диктатуры в партии, на роль диктатора предлагал Андрея. Тогда очень смеялись. Тут же в трактире Андрей попытался разобрать письмо, написанное шифром. Какие-то сообщения о солдатах и советы, как с ними обходиться. Пила любит выпить, Дьякон всех умнее, преданнее, его сделать целовальником в небольшом кабачке. Главное, не оставляйте их без дела, в праздности: они непременно запьянствуют. Платите скромное жалованье, никак не более двадцати рублей, и делайте подарки за ловкость, но требуйте... Чего требовать, Андрей разобрать не успел, время вышло, надо бежать к Тригони. Письмо не слишком важное. Думать об устройстве солдат после побега, который неизвестно когда состоится, сейчас ни к чему. Тригони жил в меблированных комнатах г-жи Мессюро, на углу Невского и Караванной. Он должен был вернуться от Суханова. Поднявшись на второй этаж, Андрей увидел, что дверь номера, расположенного напротив номера «12», где жил Тригони, приоткрыта, и в щели что-то дернулось, блеснуло: будто человек, стоявший у самой приоткрытой двери, отпрянул.

Тригони сидел в жилете, напевал, читая газету и одновременно ковыряя в трубке. Настоящий «дядя», как Андрей привык называть Мишку с детских лет.

— Здравствуй, дядя. У тебя в коридоре, кажется, полиция.

Мишка вскочил со своей всегда поражавшей Андрея прыткостью: семь пудов богатырского веса поднял с кресла вмиг.

— Капитан? — спросил Мишка.

— Какой капитан?

— Напротив живет какой-то флотский капитан. Позавчера он мне стал подозрителен, был услужлив, приставал с разговорами. Я решил отсюда ретироваться.

— Подожди! — Андрей остановил Мишку, который двинулся к двери. — Ты куда?

— Попрошу самовар.

Он вышел. Андрей услышал его громкий голос:

— Катя, принесите самовар!

Затем топот ног, шум борьбы: Мишку куда-то тащили. В кармане был «смит-вессон» и в конверте письмо от Нечаева. Собаки шифр разберут. Уничтожать? Попытаться прорваться? Он вышел в коридор, видя, как Мишку, этакого слона, заталкивают в комнату напротив, там было человек шесть, но в ту секунду, когда Андрей вышел, коридор был пуст, и он быстро рванулся к лестнице. Кто-то сильно схватил его сзади за руки выше локтей, а внизу на лестнице стоял тот губастый, что пристал на Большой Садовой. Выхватить револьвер из кармана не удалось, вокруг стояли, держа его за руки, четверо.

— Дворянин Слатвинский? Николай Иванович? — Усатый жандарм глядел то в паспорт, который дал ему Андрей, то с суровостью — с какой-то даже нарочитой, театральной суровостью — на Андрея.

— Совершенно правильно. Что вам угодно?

Один из шпиков вынул из кармана Андрея «смит-вессон».

— Угодно получить сию вещицу, — сказал усатый, указывая на револьвер. — И кое-что еще. Прошу следовать за мной.

Спускались по лестнице. Горничная и двое жильцов, пожилой господин с дамой, стояли в вестибюле у лестницы и смотрели с отчетливым ужасом на лицах. Пожилой господин что-то шепнул даме по-французски. Перед домом стояли две кареты. В одну уже садился Мишка. Два конвойных солдата стояли по сторонам дверцы. Андрей сказал усатому:

— На улице вы бы меня не взяли...

Усатый побагровел, насупился еще суровей, но ничего не сказал и сделал жест, повелевая садиться в другую карету. Повезли в канцелярию градоначальства. И первый, кого Андрей там увидел, был светло-рыжий,

заметно раздобревший, но как-то поблекший цветом лица Добржинский.

— Желябов! — вскрикнул с искренней и такой знакомой одесской живостью прокурор.— Да это вы?

Спустя час в тех же каретах повезли в дом предварительного заключения. Въехали в ворота. Еще не было понятно, что это конец. Вдруг вспомнилось: из этих ворот вышел три года назад после Большого процесса, тоже зимой, и кругом был чужой город, лютый мороз, неясность, молодость и надежды.

На другой день, 28 февраля, в субботу, произошло следующее. Метальщики рано утром, в девять, встретились, как договорились, на углу Невского и Михайловской, сели в конку и поехали на окраину города испытывать снаряд. Выбрали пустынное место, и Тимофей Михайлов бросил банку с гремучей ртутью. Все взорвалось, как надо. Желябова не было, и метальщики удивлялись, куда он делся. Потом поехали на квартиру к Гесе, ждали Желябова там, но он не пришел. Геся сказала: «Значит, у него дела, он занят». А в квартире на Вознесенском уже знали, что Желябов и Тригони арестованы. Перовская ждала Андрея всю ночь, утро и день в необычайном волнении, и когда около двух часов пришел дворник Петушков, глупый и простодушный человек, сказал, что начальство требует справиться, все ли жильцы ночевали на квартирах, и спросил, дома ли ее братец Николай Иванович, она поняла, что — конец. Андрей схвачен, и там доискиваются его квартиры. Объяснив Петушкову, что братец ночевал, разумеется, дома, а сейчас на службе, Перовская взяла самое необходимое и вышла черной лестницей во двор, а оттуда через табачную лавочку на улицу. На Вознесенском был Суханов, и Перовская попросила его помочь ей очистить квартиру и вынести тяжести, нитроглицерин. Это было сделано тотчас.

В сырной лавке между тем тоже происходили события: неожиданно явилась санитарная комиссия во главе с генерал-майором, инженером Мровинским. В лавке находился Богданович.

Все последние дни тревога вокруг торговли Кобозевых сгущалась. Доносились разговоры о том, что дворники подслушали что-то крамольное, что соседние торговцы нечто заподозрили и донесли, что на днях шпио-

ны погнались за Сухановым, который вышел из лавки, и тому удалось спастись, взяв лихача. Все это значило, что сырная мистификация рухнет со дня на день.

Поэтому Богданович обомлел и сказал себе: «Ну, все!», когда увидел шествие во главе с господином в черной меховой шубе, генеральской фуражке, пристава и дворника. В магазине около задней стены был сделан деревянный короб, на котором помещались выложенные из бочки сыры. Мровинский постукал тростью по коробу и сказал, что крошки сыра могут падать в щели и там разлагаться. Щели нужно зашпаклевать. Умный совет! Богданович радостно благодарил, обещая тут же исполнить. В лавке стояли бочка и кадка, наполненные землей, лишь сверху прикрытой сырами. Мровинский спросил: «Это что же? Все сыр?» Богданович сказал: «Точно так, ваше превосходительство, все сыр!» Изображая образцового дурака, кричал и глаза выпучивал. Увидев на полу возле бочки сырость, Мровинский спросил: откуда? На масленой сметану разлили. Так, дальше, в жилую комнату. Тут была деревянная обшивка от пола до окна, которую снимали, когда лезли в подкоп, потом ставили обратно. Мровинский подошел к обшивке, постучал тростью, подергал рукой, но — слабо, лениво, так что обшивка не шелохнулась. У Богдановича сердце остановилось. «Это зачем тут?» Богданович прокричал, что сырость душит, от сырости. Подойдя к подоконнику, Мровинский сильно надавил на него сверху, испытывая прочность. Подоконник не дрогнул. Затем комиссия направилась в заднее помещение, выходившее во двор. Там были большие кучи земли, замаскированные сеном, углем, рогожей. Мровинский пнул одну кучу ногой.

После этого комиссия удалилась. Вскоре пришла Якимова. Богданович встретил ее сумасшедшей пляской и криками:

— Ему понравилась наша Мурка! Ура, ура, ура! Он влюбился в нашу кошку! Он все время поглядывал на нее, а когда уходил, нагнулся и погладил! Да здравствуют генералы, которые любят маленьких кошечек!

В три часа дня на квартире Фигнер: Перовская, Корба, Суханов, Грачевский, Фроленко и хозяева квартиры Фигнер с Исаевым. Перовская ходила из угла в угол. Просили: «Соня, сядь!» Она не слышала. Лицо ее стало внезапно старым, застывшим, вся она как-то согнулась.

Ни откладывать, ни отступать было теперь невозможно. Значит — завтра! Завтра, в воскресенье, в середине дня. Осталась одна ночь, чтобы доделать снаряды. Ни один из четырех еще не был готов! Соня говорила:

— Это должно быть непременно завтра, для того чтобы снять с тех, кто там — вам понятно? — как можно больше ответственности...

Всем было понятно. Она думала о нем каждую минуту. Вдруг замечали: отсутствует, не слышит. И в глазах — мука. Но через секунду снова: с непреклонной твердостью распоряженья, команды, мгновенные решения. Новая квартира Геси и Саблина на Тележной по некоторым признакам тоже небезопасна, значит, надо перенести все сюда, на Вознесенский. В первую очередь перетащить нитроглицерин и все технические приспособления для приготовления снарядов. А как поступить, если царь не поедет по Малой Садовой? Ответ на вопрос Перовской единогласный:

— Действовать одними снарядами!

Метальщиков, как и сигналистов, предупредить не успевали, но им со вчерашнего дня известно, что делать: в десять утра должны быть на Тележной. Перовская займет место Желябова. Они знают ее так же, как его. А о том, что он арестован, сообщать им не нужно.

— Я вам хочу повторить слова Тараса,— сказала Перовская и улыбнулась.— Он сказал недавно: «Теперь уже ничто нас не остановит. Даже если б мы сами хотели себя остановить».

Гришу Исаева она отправила в лавку Кобозевых: закладывать мину. В пять вечера Суханов, Кибальчич и Грачевский начали работу, имея в виду работать всю ночь и приготовить к утру четыре снаряда. Перовская и Фигнер им помогали, делая самое несложное: отливали грузы, обрезывали жестяные банки из-под керосина, служившие оболочками снарядов, наполняли их гремучим студнем. Все остальные ушли, чтоб не мешать. Ночь напролет пылал камин и горели лампы. Женщины не устояли и свалились в пятом часу утра — Перовская легла сама, зная, что ей понадобятся силы,— а когда проснулись в восемь, два снаряда уже были готовы окончательно, а два других почти готовы, оставалось наполнить жестянки студнем. С двумя снарядами в узле Соня поехала извозчиком на Тележную, следом за ней отправился Суханов. А через короткое время два других снаряда понес туда Кибальчич.

Утром пришли метальщики. Перовская призналась им, что Желябов арестован. Признание вырвалось внезапно, помимо воли, оттого что думала о Желябове каждую минуту. Кто-то из метальщиков сказал: «А здесь будет стоять Захар!», и она не выдержала и сказала. Метальщики смутились. Было видно, что тут не только испуг за себя, страх за дело, но и истинное сострадание, и она посмотрела на них с любовью. Вдруг увидела, какие они молодые. Гриневицкий был красив, с темной бородкой, усталым взглядом. Он сказал, что ночь не спал, сочинял письмо — «на всякий случай» — и хотел бы ей прочитать или чтоб она сама прочитала, если есть желание. Она сказала, что желание есть, непременно прочитает, но за спешными разговорами забыла и вспомнила, когда он уже ушел. Рысаков курил папиросы. Тимофей Михайлов выглядел спокойнее всех, но сжимал кулаки. Долговязый Емельянов щурился и странно улыбался большим ртом. Лицо у него — совершенно мальчишеское.

Перовская объяснила каждому, где кто должен стоять и какие будут сигналы. Про Малую Садовую сказала: «Его там будут ждать», и они подумали, что там будут стоять такие же метальщики, как они. Взяв с Гесиного стола какой-то конверт, рисовала план: здесь Малая Садовая, Итальянская, Манеж, здесь Екатерининский канал, надо стоять здесь, здесь и здесь, отсюда будет сигнал платком, здесь крест, казнь. Глядя на юношей, пожиравших ее глазами, слухом и колотящимся сердцем, Перовская думала: эти мальчики остались взамен героев. Выбора нет. Потому что никто уже не может остановить. Да, четверо юнцов — бледный, исусистый Гриневицкий, всегда молчащий Михайлов, скуластый, с серым, в угрях, лицом голодного семинариста Рысаков, огромный и хилый, с детской головкой Емельянов — взяли эту заботу на себя: одним ударом повернуть Россию в другую сторону.

Императора страстно занимали две задачи: возможность коронования княгини Юрьевской и проект Лориса о выборных людях. Две задачи, казалось бы столь далекие друг от друга, на самом деле крепчайше переплелись и объединились, имея одних врагов. Партия Аничкова дворца, цесаревич и близкие к нему лица вроде Победоносцева ненавидели Юрьевскую точно

так же, как конституцию. А сама Юрьевская и те, кто склонялись под ее крыло, были конституционалистами единственно для того, чтоб насолить своим врагам. Впрочем, Лорис понимал необходимость уступок. Хотя бы таких мизерных, какие намечались проектом. Это были даже не уступки, а некий милостивый, символический жест: «Мы уступаем!» Предлагалось вот что: в общую комиссию, которая должна подготовить ряд законопроектов по результатам организованных Лорисом сенаторских ревизий, включить наряду с сановниками выборных лиц от губернии, где существовало земство, а также от некоторых значительных городов. Рассмотренные комиссией законопроекты должны быть внесены в Государственный совет, а в его состав предполагалось ввести — с правом совещательного голоса — также нескольких представителей от общественных учреждений, «обнаруживших особые познания, опытность и выдающиеся способности».

Вот эта тень реформы даже не самих законов, а только лишь порядка подготовки законов почему-то приняла в петербургских светских и полусветских кругах, питающихся слухами,— смеху достойно! — название конституции Лорис-Меликова. Одни возлагали на эту конституцию непомерные надежды, другие трепетали ее, третьи злобствовали, и даже германский император Вильгельм был встревожен и просил племянника сделать все, чтобы сохранить власть за правительством. Как будто речь шла о каком-либо ущербе самодержавию!

За последний год Александр все прочнее доверял Лорису. Что ж, граф доказал: в стране, по-видимому, наступило успокоение (мелкие деревенские бунты не в счет), авторитет власти повысился, нигилисты притихли, и в то же время твердая рука департамента вылавливала их бесперебойно, одного за другим.

Вот и в субботу Лорис принес радостное известие: арестован вождь террористов Желябов. Александр так взволновался этой новостью, что тотчас поспешил наверх рассказать княгине. Однако Лорис, как всегда, умел не только воспламенять, но и охлаждать тут же: сказал, что по некоторым признакам злоумышленники способны на отчаянный акт и ехать в Михайловский манеж на развод не следует. Александр протестовал: когда же, мой бог, кончится этот карантин? Ведь все главари схвачены. Это известно доподлинно бла-

годаря указаниям Окладского. Злодейская партия раздавлена. Кого бояться? Два развода уже были отменены...

И опять вспомнили гадалку в Париже, предсказавшую, что он переживет семь покушений.

— Я пережил пока только шесть. Еще одно есть в запасе!

Вечером в гостиной княгини, играя в ералаш, Александр случайно задел рукой и сбросил со стола свою фотографическую карточку. Она упала на ковер. Этот пустяк как-то внезапно и тяжело расстроил императора, сразу вспомнившего о других дурных знамениях последних дней: накануне видели в небе звезду необыкновенно яркую, с двумя хвостами, одним вверх, другим вниз, а недели полторы назад Александр стал замечать каждое утро убитых голубей на своем окне. Оказалось, огромный хищник — то ли коршун, то ли орел — поселился на крыше Зимнего дворца, и все попытки его убить были напрасны в течение нескольких дней. Наконец, поставили капкан, и птица попала в него, но все же смогла взлететь, таща капкан за собой, и упала на Дворцовой площади. Чучело исполинского коршуна должно быть помещено в кунсткамере. История с птицей была настолько нелепа, что Александр даже не рассказывал княгине, щадя ее. Было и другое неприятное: вновь страшный сон с кровавым полумесяцем. Сон этот давно являлся царю, и лет пять назад русский посол в Константинополе запрашивал турецкого волшебника Али-Эффенди. Волшебник объяснил так: между Россией и Турцией будет война, и в кару за нее аллах пошлет царю убийц из его же народа.

Все вспомнилось разом от упавшей на ковер фотографической карточки, охота продолжать игру пропала. Княгиня, все прочитав по его помрачневшему лицу, просила не ездить на развод завтра. Другая партнерша по ералашу, придворная дама, тоже стала умолять его не ездить в манеж, и это его раздражило, потому что теперь все считали своим долгом руководить им и заботиться о его безопасности.

Утром 1 марта Александр встал, как обычно, в девятом часу. Долго гулял с Юрьевской по залам дворца, разговаривал о лорис-меликовском проекте, который вчера уже стал государственной реформой, сегодня будет подписан, а завтра, в понедельник, опубликован в виде указа. Вчера Лорис явился на прием совершенно

больным, и Александр послал к нему скорохода справиться о болезни. В случае, если граф по-прежнему нездоров, было велено передать, что государь заедет к нему сам. Документ должен быть подписан сегодня — и гора с плеч! Через четверть часа Лорис приехал. Держался он браво, по-военному, но вид был нехорош, лицо землистое, в глазах краснота. Александр знал по рассказам, что граф болеет крайне мучительно не только для себя, но и для врачей: не дает себя осматривать, требует, чтоб лечили по его рассказам о болях и ощущениях, даже не разрешает ставить градусник под мышку. А все же никуда не денешься: азиат! Граф твердо отвел разговор о болезни и после того, как документ был подписан, сообщил, что на Малой Садовой осмотрена одна подозрительная лавка, но ничего не найдено. Вокруг этой Малой Садовой уже более года шли разговоры, еще с прошлой зимы, когда Тотлебен сообщил из Одессы о каких-то слухах, переданных Гольденбергом. Но вот — ничего же не находят. Лорис, однако, вновь настойчиво просил не ехать на развод. И Александр, уже было решивший с утра поехать, опять заколебался.

Погрузившись в привычное для себя колебательное состояние, Александр смутно слушал рассказ Лориса о каких-то тонких ходах Валуева и кознях известных лиц, оснащенный, как всегда, красочными русскими поговорками, вроде «тара бара, крута гора» или «аль у сокола крылья связаны, аль пути ему все заказаны?». И когда Лорис ушел и доложили о приезде великой княгини Александры Иосифовны, жены брата Константина, он почти совсем победил колебания и решил не ехать. Великая княгиня, узнав, что он не едет, огорчилась: сегодня на параде в манеже впервые участвовал ее сын Дмитрий.

Тогда он внезапно решил: поехать!

И так как очень хотелось поехать, это решение его обрадовало, и он, вдруг повеселев, быстро поднялся к княгине и сказал, что подписал указ о выборных людях и что из Михайловского дворца, от великой княгини Екатерины Михайловны, которую он посетит после развода, прибудет прямо домой не позже половины третьего. И потом весь день они проведут вместе, до обеда у великого князя Владимира. Княгиня просила его не ехать по Малой Садовой.

— Скажи Фролу, чтоб ехал по Екатерининскому,—

просила она напоследок.— По Екатерининскому, слышишь?

Караул внизу проорал свое оглушительно-ретивое: «Здравия желаем, ваше императорское величество!» Полицмейстер Дворжицкий стоял у кареты. Его собственные сани, на которых он с двумя полицейскими чинами должен следовать за каретой царя, находились тут же, под навесом закрытой галереи. Эта галерея у царского подъезда была сделана недавно с особой целью: чтобы злоумышленники не могли видеть приготовлений к выезду. Кучер Фрол Сергеев умел с места переводить орловских на рысь.

Полицмейстер полковник Дворжицкий, состоявший при особе царя, зорко выглядывал из саней своих людей: только что он самолично проехал весь царский путь от дворца до манежа, расставив наряды полиции и конных жандармов. Впервые за много месяцев Дворжицкий чувствовал себя покойно в теплых полицмейстерских санях. Всему приходит конец. И безумию тоже. В девять утра сегодня он был вызван к градоначальнику Федорову в числе других полицмейстеров и приставов столицы, где услышал подтверждение слуха, разнесшегося еще вчера: о том, что арестован главарь анархистов Желябов. Ба, ба, тот самый, кого давно и безуспешно искали! Осталось схватить двух, трех человек — и с крамолой будет покончено. Федоров, человек глупый и суетливый, Дворжицкий его терпеть не мог, высокопарно торжествовал, рисуя себя чуть ли не главным искоренителем крамолы.

— Я пригласил вас сюда, господа, чтобы объявить вам душевную благодарность. Всем русское спасибо, господа!

Развод 1 марта был от лейб-гвардии Саперного батальона. Громобойный бас манежного глашатая прокричал о приезде императора. Раздалась команда: «Смирно!» Ворота распахнулись, и Александр в мундире саперного батальона въехал верхом в манеж, сопровождаемый свитой. Доехавши до середины манежа, император повернул лошадь к батальону и сделал знак рукой. Оркестр заиграл гимн. Две минуты длилось «ура!».

Саперы два раза прошли перед царем. Было замечено, что после парада Александр несравненно долее, чем с другими, разговаривал с французским послом генералом Шанзи.

После парада Александр отправился в Михайловский дворец к любимой кузине Екатерине Михайловне, у которой пил чай. В четверть третьего снова сел в карету и поехал во дворец. По Инженерной улице царский кортеж стремительно промчался до набережной. Казаки галопом сопровождали карету. Повернули вдоль Екатерининского канала. Набережная была пустынна, мальчик волок по снегу корзину, шел навстречу офицер, какой-то молодой человек без шапки, со свертком в руке стоял на тротуаре и, когда карета поравнялась с ним, вдруг бросил сверток под ноги лошадям.

Это был Рысаков, который оказался первым в ряду метальщиков, вовсе не желая того: просто Тимофей Михайлов дрогнул и в последнюю минуту не занял назначенного ему места. Утром в кондитерской договаривались, где кому стоять. Блондинка, руководившая делом — Рысаков не знал, что ее зовут Перовской, про себя называл «блондинкой»,— велела им распределить места между собой, кому с кем удобней, по принципу дружбы. Чтоб более близкие друзья стояли рядом. Но никакой дружбы между ними не было. Слишком недавно узнали друг друга. Все делалось поспешно и в то же время как-то вязко, будто сквозь сон, будто под влиянием какой-то диктующей воли. Рысакову казалось, что и блондинка, при всей ее необыкновенной властности и силе соображения, действовала не сама от себя, а от имени этой громадной подавляющей воли. В кондитерской никто ничего не ел, кроме Котика: под этой кличкой Рысаков знал Гриневицкого. Было сказано: «Я махну платком, и это значит: вам идти на Екатерининский». Он шел с Котиком по Михайловской улице и увидел, как блондинка сморкается в белый платок, и тогда они сразу пошли на Екатерининскую. Но Тимофея Михайлова не было. Они стояли на набережной вдвоем, в нескольких шагах друг от друга. И со стороны Манежа приближалась долгоногая — за версту видать — каланча Емельянова.

Блондинка уже находилась на другой стороне канала. Она махнула белым. И это значило: рысаки вывернулись из-за угла и с громом, цоканьем черной сверкающей бурей покатились на...

По мистическому совпадению Рысаков оправдал свою фамилию, но не более того: он казнил р ы с а-

ков. Царь вышел невредимый из кареты. Дым рассеялся. Кричал смертельно раненный мальчик, что волок корзину по снегу. На Рысакова набросились, свалили. Подошел царь. Кто-то больно выламывал руки.

— Кто таков?

— Мещанин Глазов...

— Хорош! — сказал царь, и лицо его показалось Рысакову белым, взбухшим, как тесто.

Кричали вокруг: «Ваше величество! Немедленно! Только назад! Скорей во дворец! Слава богу, государь не ранен!» Еще слава ли богу? Крутили руки. Давило шею, как железом. Царь сделал несколько шагов в ту сторону, где стоял Гриневицкий, и — с громом треснул воздух, окутало дымом. Через минуту царя тащили к саням, стоявшим за разбитой каретой. Народу стало очень много. Все ужасно кричали.

Гриневицкий, взорвавший себя вместе с царем, был доставлен в придворный госпиталь конюшенного ведомства, где и умер спустя восемь часов. На короткое время перед смертью он пришел в сознание и на вопрос о своем имени и звании ответил: «Не знаю». Царь скончался через час двадцать минут во дворце. Только несколько человек, знавших о предсказании гадалки, вдруг сообразили, что парижская ведьма права: царь благополучно пережил седьмое покушение, бомбу Рысакова, убившую двух казаков, мальчика и лошадей, и погиб от восьмого. Но это, разумеется, было вздором и случайностью. Однако один человек, вовсе не оракул, твердо знал, что произойдет в воскресенье, и, расхаживая в третьем часу пополудни по загончику двора дома предварительного заключения — было время послеобеденной прогулки,— прислушивался к звукам, доносившимся из города, надеясь услышать взрыв. Он не услышал, да и не мог услышать. Все равно он упорно и страстно прислушивался. Просто ни на что иное в эти минуты, в третьем часу пополудни, не было способно его существо.

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

Первым показанием Андрея в день ареста, в пятницу 27 февраля, после того как прокурор Добржинский воскликнул радостно: «Желябов, это вы?», была следующая краткая собственноручная запись:

«Зовут меня Андрей Иванович Желябов, от роду — 30 лет, вероисповедание... (тут он не написал ничего), крестьянин Таврической губернии, Феодосийского уезда, села Николаевки; служу для освобождения родины; из родных имею отца, мать, сестер, брата (Александру, Марию, Ольгу, Михаила); все они живут в том же Феодосийском уезде; женат, имею сына; где находится семейство, не знаю; полагаю, у тестя моего Яхненко, в Тираспольском уезде, Херсонской губ. Был судим по процессу 193 и оправдан. Жил на средства из фонда для освобождения народа. Жил под многими именами; называть их считаю неуместным. Признаю свою принадлежность к партии Народная воля. Признаю, что организовал александровское покушение и смыкал батарею, т. е. покушение взорвать императорский поезд 17 ноября 1879 года под г. Александровском, где жил тогда под фамилией Черемисова. Настоящей квартиры моей в Петербурге, а равно и знакомых назвать не желаю. При задержании меня взят при мне заряженный револьвер системы Смит и Вессона и несколько патронов, а также в запечатанном конверте два листа, написанные шифром, открыть который, понятно, не желаю. Всему зачеркнутому прошу верить. Взят также ключ.

Андрей Желябов».

Две ночи он замечательно спал, впервые за долгое время.

Третью ночь, с первого на второе марта, спать не пришлось. Подняли внезапно среди ночи, часов около двух, велели одеться и повезли к Цепному мосту, в департамент полиции. Думал спокойно: «В «комиссию», что ли? Пытать?» Давно ходили слухи, что в «комиссии» бывшего Третьего отделения происходят истязания: будто бы проваливается кусок паркета и над человеком, провалившимся наполовину, совершается экзекуция. Говорили, будто Каракозова пытали. Делается втайне. А зачем же еще с р е д и н о ч и? С мыслями о возможных пытках Андрей свыкся давно. Споров об этом было много, большинство считало, что пыток все же нет, времена изменились, некоторая законность существует, но Андрей задавал себе вопрос: а что им делать, если попадется в руки такой господин, как я? Ведь ни словечка не скажу. Правда, и под пыткой не скажу. Но они-то, дураки, не знают.

Вот о чем он думал, качаясь в могильно-темной карете и с трудом отделываясь от сна. В комнате, куда ввели, сидел за столом старый генерал, смотревший не мигая и очень пристально, весь сморщившись от пристальности, на входящего в дверь Андрея. Был генерал похож сморщенной мордочкой на комнатную собачку, из таких маленьких, противных. В комнате находились еще два чина, один жандарм, другой из судейских, а четвертый был знакомый, но уже безо всякой радости на лице, а наоборот, с окаменелой физиономией — Добржинский.

Привели какую-то бабу, она посмотрела на Андрея и, покачав головой, сказала:

— Нет, вроде не тот...

Баба показалась знакомой. Потом уж сообразил, что это хозяйка квартиры, которую снимал Рысаков и где Андрей у него бывал. А через минуту вошел сам Рысаков. Но в каком виде! Был бледен невероятно, под глазом громадный кровоподтек, взгляд померкший. Пожали друг другу руки. Андрей понял: били. За что? Где? Вдруг догадка: толпа, как Соловьева...

— Знаете сего субъекта? — спросил генерал.

Андрей сказал, что знает. Под какой фамилией? Ответил, потому что понял: им известно. Но уже страшно мучило любопытство, он уже догадывался по измордованному Рысакову, по застылым, смертельным лицам чинов о том, что нечто произошло! Спросил у прокурора палаты — потом узнал, что фамилия прокурора Плеве,— что случилось, отчего будят в два часа. Прокурор после молчания, длившегося секунды две, во время коих он грознел лицом и как-то напыживался, объявил:

— Совершено покушение на священную жизнь почившего в бозе государя императора.

Так! Кончено. Ему хотелось расхохотаться, и он улыбнулся, глядя на окружавшие его злобные лица. Рысакова увели. Что же там делается? В городе, в стране? Что в университете? В Кронштадте? Страна, разумеется, молчит, пока еще не прочухала, не поняла, а в столице, может быть,— началось. И что с Соней? Всё — бури, проносившиеся мгновенно, безответно. Его что-то спрашивали. Ах, так: что он знает о злодеянии?

— Господа, сие не злодеяние, а величайшее благодеяние для освобождения народа и большой праздник для революционной партии...

— Прекратить! — крикнул, хлопнув по столу ладонью, генерал.— Прекратить пропагаторство! Докладывайте факты!

— Я говорю, как умею. Так вот, цель партии осуществилась. Со времени казни Квятковского и Преснякова дни императора были сочтены. За ним следили даже тогда, когда он ездил по институтам. Могу сказать, что не принял участия в покушении только потому, что лишен свободы, но нравственно — полностью сочувствую этому революционному подвигу.

Что-то спрашивали о форме снарядов, о составе взрывчатого вещества, он подробно объяснял. С удовольствием говорил об этом. Как выбиралось место действия? О, вопрос сложный! Место действия выбирается в зависимости от привычек объекта, а привычки выясняются путем длительного и регулярного наблюдения за объектом...

— Прекратить! — кричал генерал.

А его вновь терзало желание расхохотаться, но он сдерживал себя, лишь улыбался. Жандармский подполковник глядел на него как бы в ошеломлении. Генерал хлопал ладонью и кричал. Допрос длился несколько часов. Потом генерал и прокурор Плеве ушли, а Добржинский с жандармским подполковником повели Андрея лестницей вниз, в подвальный этаж, и длинным коридором без дверей, по-видимому подземным ходом, прошли в помещение, где было холодно, как на дворе, поднялись вновь этажом выше и остановились у двери. Добржинский сказал:

— Сейчас увидите человека, хорошо вам известного.

Открылась дверь. Два жандарма, как видно дремавшие на лавке, вскочили и вытянулись. В глубине помещения на столе лежал покойник. Стол был специальный, для покойников. С того краю, что ближе к стене, на столе было сделано валиком возвышение, отчего голова оказывалась приподнятой и ее было хорошо видно. Покойник был Игнатий Гриневицкий. Он казался значительно старше, белое лицо имело странное выражение: какой-то презрительности или скуки. В жизни у него не было такого выражения.

Андрей сказал, что не желает давать никаких объяснений относительно мертвого тела. Все были измочалены бессонной ночью. Добржинский и жандармский подполковник не приставали к Андрею и более не расспрашивали ни о чем, записали кратко в протокол и повели

тем же путем назад. Привезли в предварилку. Оставшись один в камере, он лег на койку, блин подушки сунул под голову и стал думать.

Одновременно с радостью возникало что-то другое. Вдруг он стал думать о себе. Партия победила, но какое дьявольское, проклятое невезенье! Его собственное невезенье. К которому он приговорен. Все, за что бы ни брался, оканчивалось неудачей: конфуз под Александровском, неудача в Зимнем, неудача под Каменным мостом, и вот теперь, когда все было подготовлено для последнего удара, судьба вырывает его из дела — накануне... И жалкий Коля Рысаков, с его сырыми гимназическими мозгами, у которого все перемешано, револьверы, робеспьеры, девочки с Невского и которого одновременно с желанием перевернуть мир одолевает желание съесть большой бутерброд с колбасой, запивая чашкой кофе,— этот юнец будет представлять партию! Кому нужен такой процесс? Бессмыслица, ерунда. Процесс важнее бомбы. Если бомба не сможет расшевелить гнилое болото, тогда — процесс, речи, открытый бой на всю Россию!

Он потребовал бумаги, чернил. И вот что он написал на имя прокурора судебной палаты:

«Если новый государь, получив скипетр из рук революции, намерен держаться в отношении цареубийц старой системы; если Рысакова намерены — казнить, было бы вопиющей несправедливостью сохранять жизнь мне, многократно покушавшемуся на жизнь Александра II и не принявшему физического участия в умерщвлении его лишь по глупой случайности. Я требую приобщения себя к делу 1-го марта и, если нужно, сделаю уличающие меня разоблачения. Прошу дать ход моему заявлению.

Андрей Желябов.

2 марта 1881 г. Д. пр. закл.

P. S. Меня беспокоит опасение, что правительство поставит внешнюю законность выше внутренней справедливости, украся корону нового монарха трупом юного героя лишь по недостатку формальных улик против меня, ветерана революции. Я протестую против такого исхода всеми силами души моей и требую для себя справедливости. Только трусостью правительства можно было бы объяснить о д н у виселицу, а не д в е.

Андрей Желябов».

Получив заявление, следственные власти были так поражены его содержанием, что составили особый протокол осмотра этого документа, подписанный жандармским майором Беком, товарищем прокурора судебной палаты Муравьевым, будущим обвинителем на процессе, и двумя понятыми. Андрей же почувствовал огромное облегчение. Теперь было все, как надо. Одно огорчало: мысль о Соне. Для нее это страшный удар, ведь она, конечно, надеется на его спасение, строит, наверно, какие-нибудь сумасшедшие планы, а после такого письма — какое же спасение? Тут виселица. Очень скорая. Может, через неделю, а может, и через два дня. Соня будет сокрушена, убита, товарищи станут восхищаться, а некоторые добрые друзья — есть и такие — скажут: «А все же Тарас любит эффекты!» Но суть в том, что иначе поступить невозможно.

Все, что происходило с ним за последний год, было единственно возможным. Никаких других путей не существовало. Он катился по желобу, как дождевая вода в бочке. А для Сони вот что: ведь она любит его так же сильно, как гордится им. И это ей останется: гордиться. В ночь на третье марта он опять замечательно крепко спал.

Третьего марта мальчишки-газетчики орали на улицах: «Новые телеграммы о злодейском покушении!» И Соня, куда-то бежавшая с Аркашей Тырковым по Невскому, купила телеграмму и прочитала. Было сказано: «Недавно арестованный Андрей Желябов заявил, что он организатор дела 1 марта». Аркаша Тырков, милый юноша, студент, тайно влюбленный в Перовскую, тоже прочитал, и некоторое время шли молча. Соня держала телеграмму в руке. Раза три разворачивала ее и читала. Аркаша спросил:

— Зачем же он так сделал?

— Верно, нужно было,— ответила она.

Нет, надежды не рухнули, силы не покидали ее. Начиналась последняя неделя ее свободы: неделя великого облегчения и одновременно отчаянья. Отчаянья — оттого, что была с ним в разлуке, облегчения — оттого, что пропал всякий страх и все стало ясно.

Нужно было одно — с ним соединиться каким угодно способом. Про нее говорили: «Соня потеряла голову». Никто не понимал, что именно в эту неделю она была

изобретательной, гениальной и спокойной, как никогда. Хотя всем казалось, что она мечется и сходит с ума. Кругом все сыпалось, валилось, гибло. Ночью 3 марта полиция пришла в квартиру на Тележной, Геся открыла, тут же была арестована, а Коля Саблин, не желая даваться живым, застрелился. На квартире осталась полицейская засада, и через несколько часов в эту засаду попал Тимофей Михайлов. Дворник спросил его: «Вам куда?» Михайлов наобум назвал квартиру двенадцать, какой на лестнице не было. Чины полиции, дежурившие за дверью, тотчас вышли и пригласили Михайлова зайти в квартиру. Михайлов кинулся бежать, отстреливался, тяжело ранил двух полицейских, но был схвачен. В городе шли повальные обыски. На улицах хватали подозрительных, очкастых, длинноволосых. Были случаи избиения толпой. И в эти дни Соня почти постоянно была на улицах, рыскала по городу, встречалась со множеством людей, иногда еле знакомых, пытаясь найти хоть какие-то, пускай фантастические пути к спасению Андрея. Она искала способы проникнуть в Окружной суд, где должно было слушаться дело, и присматривала свободную квартиру на Пантелеймоновской, около департамента полиции, надеясь организовать нападение, когда Андрея будут вывозить на суд. Договаривалась с военными. Ничего не удавалось, не устраивалось. А провал квартиры на Тележной, случившийся сразу после убийства царя, означал, что выдает кто-то из только что схваченных и бывших на этой квартире. Думали не долго: Рысаков! Поэтому Богдановичу и Баске приказали не терять ни мгновения и, не дожидаясь очищения мины от динамитного заряда, бросить магазин и выехать из Петербурга.

В эти дни о людях, ждавших суда и казни, неотступно думал писатель граф Лев Толстой. С того ростепельного утра, когда встретил на непроезжем от талого снега шоссе мальчишку-итальянца, шарманщика с птицами, который рассказал, что царь убит бомбой, ни о чем другом думать не мог: только об этих безумцах и предстоящей казни. Постепенно возникало то иссушающее душу, хорошо ведомое состояние мучительства одной мысли, которое само собой никогда не проходило, а должно было непременно найти исход в каком-то действии, и он уже догадывался — в каком. Наконец, за

утренним кофе признался Алексееву, учителю старших детей, что мучается желанием написать письмо сыну убитого и попросить о помиловании убийц. Алексеев, бывший нигилист, фурьерист, поддержал горячо: «Главное то, что вы этим письмом снимете с себя в вашем сознании вину участия вашего в казни». Софья Андреевна услышала, вбежала в гостиную и в гневе накинулась на Алексеева: «Василий Иванович, да что же вы говорите?! Если бы здесь был не Лев Николаевич, который в ваших советах не нуждается, а мой сын или дочь, то я тотчас же приказала бы вам убираться вон!» — «Слушаю, уйду...» Был соблазн сказать резкое.

И уже твердо знал, что напишет.

И вот смутным часом перед вечером, свечей не зажигали, сидел на кожаном диване внизу — только что пообедавши — и думал о том же. Вдруг вспомнил, как ребенком видел, как вели мужика наказывать. Запомнилось детское недоумение: я ли глуп и дурен, что не понимаю — зачем, или же они, взрослые? И уверился, что взрослые правы и твердо знают — зачем. А они-то, бедные, и не знали!

Болезнь зашла глубоко, и доктора отчаялись, испробовав все средства: и сильные, решительные, и переставали давать сильные, а давать свободу отправлениям болезни, надеясь, что болезнь сама источит себя из организма. Но облегчения не было, болезнь разгоралась. Что же осталось? Испробовать еще средство, о котором врачи не знают,— средство странное. Убивая, уничтожая их — нельзя бороться с ними. Не важно их число, а важны их мысли. Для того чтобы бороться с ними, надо бороться духовно. Их идеал есть общий достаток, равенство, свобода. Чтобы бороться с ними, надо поставить против них идеал такой, который был бы выше их идеала, включал бы в себя их идеал. Французы, англичане, немцы борются с ними, и так же безуспешно. Есть только один идеал, один путь, которым уничтожится зло. Блеснуть, как молнией, с высоты трона примером величайшего милосердия! И тысячи, тысячи поймут! Миллионы поймут. Сын простил убийц своего отца. Но только как убедить? Теперь все должно решиться, судьба России на столетье вперед. И, думая так, задремал незаметно на кожаном диване и увидел площадь, черный помост, приготовления к казни, но казнят не этих безумных, а его самого выводят в балахоне на черные доски, палач приготовляет петлю, рядом

стоят Александр III и судьи, и вдруг все переменяется, и вместо палача он сам держит петлю и собирается казнить.

Проснулся в ужасе, с помертвелым сердцем. И тогда же пошел и сел писать.

«Я, ничтожный, не призванный и слабый, плохой человек, пишу русскому императору и советую ему, что ему делать в самых сложных, трудных обстоятельствах, которые когда-либо бывали...»

Письмо вышло на многих страницах.

В конце написал так: «Они скажут: выпустить всех, и будет резня, потому что немного выпустить, то бывают малые беспорядки, много выпустить — бывают большие беспорядки. Они рассуждают так, говоря о революционерах как о каких-то бандитах, шайке, которая собралась, и когда ее переловить, то она кончится. Но дело совсем не так; не число важно, не то, чтобы уничтожить или выслать их побольше, а то, чтобы уничтожить их закваску, дать другую закваску. Что такое революционеры? Это люди, которые ненавидят существующий порядок вещей, находят его дурным и имеют в виду основы для будущего порядка вещей, который будет лучше... Есть только один идеал, который можно противопоставить им: тот, из которого они выходят, не понимая его и кощунствуя над ним, тот, который включает их идеал — идеал любви, прощения и воздаяния добра за зло».

После некоторых переделок письмо было послано Страхову с просьбой передать недавно назначенному обер-прокурором Синода Победоносцеву, а того просить передать царю. Знали, что нет для царя человека более чтимого, чем Победоносцев, многолетний, со времен юности, наставник и собеседник. А кроме того, Алексеев вспомнил, как лет шесть назад Победоносцев помог вызволить из тюрьмы алексеевского друга, «богочеловека» Маликова. Толстой направил Победоносцеву записку о том, что знает его как христианина и оттого смело обращается к нему с важной и трудной просьбой.

Бывший правовед жил в эти дни предчувствием громадной перемены в своей судьбе. И мысли его были совсем иные. Только что он отправил царю письмо: «Если будут вам петь прежние сирены о том, что надо успокоиться, надо продолжать в либеральном направлении,— о, ради бога, не верьте... Злодеи, погубившие родителя

вашего, не удовлетворятся никакой уступкой и только рассвирепеют. Их можно унять, злое семя вырвать только борьбой с ними на живот и на смерть, железом и кровью». Следом за тем спешно направил царю другое письмо с чрезвычайно важными советами: «Ради бога, примите во внимание нижеследующее:

1. Когда вы собираетесь ко сну, извольте запирать за собою двери — не только в спальне, но и во всех следующих комнатах, вплоть до выходной. Доверенный человек должен внимательно смотреть за замками и наблюдать, чтобы внутренние задвижки у створчатых дверей были задвинуты.

2. Непременно наблюдать каждый вечер, перед сном, целы ли проводники звонков. Их легко можно подрезать.

3. Наблюдать каждый вечер, осматривая под мебелью, все ли в порядке.

4. Один из ваших адъютантов должен бы был ночевать вблизи от вас, в этих же комнатах.

5. Все ли надежны люди, состоящие при вашем величестве? Если бы кто-нибудь был хоть немного сомнителен, можно найти предлог удалить его».

И вдруг является Страхов с письмом Толстого. Победоносцев, тут же прочитав, отказался передать письмо царю. Вероятно, оно ошеломило его и показалось чудовищным. А Толстого ужаснул отказ Победоносцева. «Дай бог, чтобы он не отвечал мне,— писал он Страхову,— и чтобы мне не было искушения выразить ему мой ужас и отвращение перед ним». И далее в том же письме: «Не могу писать о постороннем, пока не решено то страшное дело, которое висит над всеми ними». Однако дело быстро приближалось к решению. Ветра над Россией переменились круто.

Толстой еще пытался действовать и передать письмо царю другими путями, и Победоносцев, по-видимому, об этом узнал. Да тут поразил столицу философ Владимир Соловьев: в публичной лекции двадцать восьмого марта, уже во время суда, он внезапно заговорил о предстоящем приговоре и призвал царя «простить безоружных», чем вызвал смятение и восторг в зале. И тогда Победоносцев написал отчаянное, последнее в этом месяце письмо царю о том, что в ход пущена мысль, которая приводит его в ужас. «Уже распространяется между русскими людьми страх, что могут представить вашему величеству извращенные мысли и убе-

дить вас в помиловании преступников. Может ли это случиться? Нет, нет, и тысячу раз нет — этого быть не может, чтобы вы перед лицом всего народа русского в такую минуту простили убийц отца вашего, русского государя, за кровь которого вся земля (кроме немногих, ослабевших умом и сердцем) требует мщения и громко ропщет, что оно замедляется... В эту минуту все жаждут возмездия. Тот из этих злодеев, кто избежит смерти, будет тотчас же строить новые ковы. Ради бога, ваше величество, да не проникнет в сердце вам голос лести и мечтательности».

Александр III написал сверху: «Будьте покойны, с подобными предложениями ко мне не посмеют прийти никто, и что все шестеро будут повешены, за что я ручаюсь».

ГОЛОС РЫСАКОВА Н. И.

А почему я должен был бросать первый? Такого уговора не было. Произошло трагическое недоразумение. Я, как самый молодой, обязан был стоять как бы в запасе, третьим или четвертым нумером, и держать снаряд на всякий случай, но Михайлов струсил или, может быть, схитрил, нумера перепутались, и — вот так случилось. Блондинка махнула платком, я и бросил. Если говорить конфиденциально, то я, как самый молодой и незрелый, не обязан был стоять на этом нумере, и Желябов никогда бы меня туда не поставил. Но его арестовали. А без Желябова у них все пошло вкривь и вкось. Желябов держал всех в узде, он из каждого умел веревки вить.

Вот и из меня — свил веревку. Наверно, ту самую, о которой рассказывал господин Добржинский,— в первый день. Рассказывал, как это делают. Уж он-то знает, видел. Господин Добржинский, по-видимому, очень умный и незлой человек, никогда не сердится, не кричит, разговаривает спокойным тоном и угощает папиросками и, что главное — к человеку относится сочувственно. Ну вот видит, к примеру, что я молод, неопытен, он и объясняет мне, как и что. Ставят на скамейку. Накидывают белое, вроде балахона или какого-то савана. А потом уж, когда ты в саване, на голову петлю, спускают ее до шеи и слегка натягивают, но не чересчур, не до

хрипа. Веревка, говорит, не очень толстая, он смотрел, руками щупал. Потому что, если толстая, петля сразу не затянется, а тут в том и хитрость, чтоб — сразу, в одну секунду. Делается, конечно, из пеньки, вытрепанной и прочесанной на гребне, а толщина измеряется по числу шнуров: есть двухшнуровые, четырехшнуровые, шестишнуровые. И русская, говорит, пеньковая веревка хорошо ценится и идет за границу. Все это господин Добржинский рассказал мне в первый же день, и без всякой злобы.

И я тоже стал ему рассказывать все, что знал, с первого же дня, потому что — смерть-то страшна! Ох страшна, страшна. Непереносимо страшна. Ведь совсем не жил, ни чуточки, ничего хорошего не видал: один голод, бедность, пустота. Мне девятнадцать, родители мои мещане, отец заведует лесопильным заводом в Вытегорском уезде Олонецкой губернии. Учился я в уездном училище, потом в Череповецкой реальной школе, там был учитель Васильев, нигилист из ссыльных. Что я видел в детстве и в отрочестве? Только нужду, одну нужду. Нужду родителей, нужду крестьян, рабочих. Помню, как после 6-го класса проживал на каникулах с отцом в поселке Ковжинская Запань, там была масса рабочих, около 300 человек, плотящих лес — работа ужасно тяжелая,— и я сознательно, можно сказать, научно отнесся к их экономическому положению. Тогда уже я читал книги Васильчикова, изучал германскую конституцию и книгу Шерра «Комедия всемирной истории». В 1878 году поступил в горный институт и ввиду крайней бедности получал от администрации денежную помощь. Познакомился с Ширяевым. Был близок с одной женщиной, которая была близка с Ширяевым, ее вскоре арестовали после его ареста, и меня тоже тогда притащили в полицию.

Но что я мог рассказать, какие тайны раскрыть? Одно я знал основательно, одну тайну постиг: тайну голода. Я голодал, если можно так выразиться, по всем статьям. Меня терзал обыкновенный голод по куску мяса, и голод по лишнему рублю, чтобы зайти в лавку и купить башмаки, и голод по людям, голод по женщинам. Всего я жаждал, во всем был несыт и несчастлив. Мне нужна была хоть какая-нибудь женщина. Хотя бы старая, дурная. Нужны были друзья, которые могли бы меня понять и обещали бы мне другую жизнь, без одиночества и без бедности. Человек, ни на что не имею-

щий права, я познакомился с социалистами и увидел, что они носят свое право в кармане: в дуле револьвера. Желябов перевернул мою жизнь. Вдруг я увидел, что этот человек, такой же нищий, одинокий, неустроенный и бездомный, как я, однако — могуч и почти всесилен!

Желябов говорил как-то особенно увлекательно, уничтожая всякую возможность отнестись к нему критически и в то же время составить себе определенное понятие о сказанном. Оставалось впечатление чего-то блестящего, но и только. Но это «только» обладало громадной силой, может быть, гипнотической. Желябов убедил меня в том, что террор есть неизбежность в социалистическом движении. Если правительство, говорил он, из своих интересов делает поправку в законе божием «не убий», то партия ради блага народа имеет на это бóльшее нравственное право. После каникул, когда я ездил к отцу и видел бедствия народа, болезни, массовую гибель от сибирской язвы, голод и прочее, и был сильно огорчен виденным, Желябов умело воспользовался моим настроением. Я вступил в террористическую группу. Мне было очень нелегко. Я не мог побороть инстинктивного отвращения к крови. Прошу обратить внимание на то, что есть большая разница в способах совершения убийства. Задушить руками возможно, смакуя мучения жертвы, точно так же, как вонзить кинжал, как именно этот цинизм проявился в словах Перовской 1 марта. Выстрел требует уже меньше нравственного напряжения. Бросить снаряд и не видеть его действия можно уже почти без мужественной, сердечной боли. Но если убийство выходит за рамки обыкновенных преступлений, если результатом его будет истинное, социалистическое благо — например, лучшая жизнь крестьян и рабочих — тогда нравственных мучений может не быть совсем. Я не считал покушение даже убийством, ни разу не рисовались моему воображению кровь и страдания раненых, покушение представлялось мне каким-то светлым фактом, переносящим общество в новую жизнь. До чего этот человек меня одурманил! Нет! я не сразу, не сразу стал рассказывать все. Конечно, я наговорил много в первый день, раскрыл квартиру на Тележной, назвал убитого Котиком и Михаилом, рассказал о Перовской и Желябове, но о многом умалчивал, кое-что путал нарочно. Про Перовскую, например, сказал, что она брюнетка. А ведь она блондинка, очень яркая. Только на другой день я назвал ее блондинкой.

Про Желябова говорил, что у него русая, французская бородка, хотя у него темная большая борода, за что его и прозвали Бородачом, Папашей. Я путал, бессознательно стараясь принести пользу им. Но в первую ночь... Я увидел свою смерть — на четырехшнуровой веревке, о которой говорил господин Добржинский,— так ясно, что стал задыхаться, хрипеть, я думал, что не доживу до утра.

Почему я должен умереть только оттого, что произошла нечаянность, нумера перепутались и я оказался на первом нумере? Я думал: ведь не я же стал виновником смерти государя. От моей бомбы он, слава богу, остался жив. Дайте же хоть немного пожить, хотя бы четыре года. До двадцати трех лет. Хотя бы два годика! Это так ничтожно, несущественно, а для меня так огромно — два года. Я совсем не жил, едва прикоснулся к жизни. Два годика, а потом согласен — добровольно в петлю, и еще скажу спасибо. Великое спасибо за два года счастья, потому что жизнь — вот счастье. Мудрецы-то ломают голову: «В чем счастье?» А оно в такой простоте. И со второго марта я стал говорить все, что знал. Господин Добржинский вытряхнул меня до нитки, вывернул наизнанку; я был как солдатская добыча, по которой прошелся полк. От меня осталась оболочка. А все нутро со всеми мыслями, словами, надеждами, памятью я отдал господину Добржинскому. Но и эта оболочка, оставшаяся от меня, была мне дорога бесконечно, я хотел ее сохранить. Все равно — как. Теперь уж, когда осталась одна оболочка, мне было решительно все равно.

Господин Унковский, мой адвокат, указал на триппер, которым я был болен, как на средство, могущее смягчить мою участь. Я понимал, что могу быть скандализован, но согласился. Эту болезнь я получил осенью, она была в слабой форме и мало меня тревожила, но адвокат настоял, чтобы меня подвергли медицинскому осмотру, и двадцатого марта это сделали. Я знал, что выгляжу ужасно, как мертвец. На лице появились синебагровые пятна. Врачи не могли понять, откуда эти пятна, и предполагали разное. Я-то знал откуда: от страха смерти. Когда мне делали очную ставку с Аркадием, тот от меня отшатнулся, а за несколько часов перед тем меня свели с Перовской, и я понял, что в первую секунду она меня не узнала. Но врачи, эта бездушная сволочь, заключили так: «никакого нервного

заболевания нет, расстройства умственных способностей тоже нет, а что касается хронического уретрита, то эта болезнь никакого дурного влияния на психическую сферу не имела». Я старался изо всех сил, отвечая на вопросы господина Добржинского, и, если в первые два дня мне было важно его обещание, как благородного человека, что мои откровенности с указанием лиц и адресов не будут занесены в протокол,— и верно, не заносились, зато записывались мои пространнейшие рассуждения о социализме, рабочей организации, экономическом перевороте, и Добржинский никогда не прерывал, наоборот, слушал с искренним и горячим интересом,— то вскоре эта важность для меня пропала. Я понял, что кроме этих протоколов составляются другие, и рано или поздно все узнается, а кроме того, какое значение имело теперь, что обо мне скажут и подумают? Ведь речь шла не о скромности и бесстыдстве, а о жизни и смерти.

И когда меня вызвали на допрос 11 марта и предъявили Софью Перовскую, я тотчас сказал, что это та самая блондинка, которая руководила нами в воскресенье первого марта и чертила на конверте план. Она же принесла снаряды в узле. Перовская глядела своими маленькими синими глазками с такой ненавистью, что я изумлялся: почему я не смущен, почему голос мой не дрожит? Да потому что все из меня вытряхнулось. А то наружное, что осталось, не обладало способностью ни дрожать, ни смущаться.

Потом я признал Аркадия Тыркова, Елизавету Оловенникову, Кибальчича, потом по карточке признал Веру Фигнер, назвал всех рабочих по фамилиям, какие помнил, из тех, кто болтались в рабочих кружках. А знаете, что такое ночные допросы? Когда не дают спать, и чуть ты задремлешь на стуле, повалишься на бок, тебя толкают грубо: «Не спать! Отвечать на вопросы!» Они обещали мне жизнь. До самого конца я верил обещанию, и когда на суде услышал «подвергнуть смертной казни через повешение», все равно продолжал верить. Мне казалось, что это объявляется для других, а мне потом будет сказано особо. Ничего не было сказано. Зато все из меня выдавили до капли. Даже за пять минут до казни Добржинский из меня что-то выпытывал. А я все верил. И уж саван надели, петлю накинули, а я еще верю, что мне сейчас будет пощада объявлена: палач из-под меня скамейку вышибает, а я за скамейку ногами цепляюсь, он ругается, слышу, как ругается,

бьет ногой по скамейке, а я цепляюсь, цепляюсь, цепляюсь, потому что надеюсь до последней секундочки...

Вот когда первого марта набросились на меня военные, публика, прижали к панели, кто-то кричал: «Дайте нам его, мы его разорвем!» — и потом вдруг новый взрыв, ужасная паника, все попадали, а я говорю им: «Не бойтесь умирать, все равно когда-никогда». И не было в ту минуту на земле человека, который бы меньше меня боялся смерти. О вы, люди милые, дорогие, что будете жить через сто лет, неужто вы не почуете, как воет моя душа, погубившая себя навеки?

КЛИО-72

Громадная российская льдина не раскололась, не треснула и даже не дрогнула. Впрочем, что-то сдвинулось в ледяной толще, в глубине, но обнаружилось это десятилетия спустя. А в ту весну лишь несколько недель страха: вот все неприятное, что испытала петербургская власть. Носились вздорные слухи. Ждали новых покушений. Стало известно дерзкое письмо Исполнительного комитета новому царю с требованием всеобщей политической амнистии и созыва представителей от всего народа. Советчики молодого царя предлагали объявить Петербург на военном положении и съехать с проклятого места в Москву. Душою всех действий правительства в марте 1881 года был страх: нерешительность с коронацией, откладыванье суда над цареубийцами, колебания вокруг уже подписанного покойным государем проекта и, наконец, окончательное убиение лорис-меликовского детища. Могущество самого графа таяло с каждым днем. Вместо него вблизи российского трона вырастал новый демон: Победоносцев.

А между тем партия, вселявшая почти мистический ужас, на самом деле была без сил. Людей не оставалось совсем. 10 марта на Невском арестовали Перовскую: ее узнала в лицо хозяйка мелочной лавки, где Перовская покупала провизию. Через четыре дня были арестованы члены наблюдательного отряда Аркадий Тырков и Елизавета Оловенникова. 17 марта схвачен Кибальчич. Его арестовали при выходе из библиотеки-читальни отставного генерала Комарова, которую часто посещали рево-

люционеры. Полиция приспособила ее для своих нужд. Было устроено особое помещение для агента, который мог в щелку наблюдать за посетителями читальни и вылавливать нужных людей. Этим агентом был Окладский. После ареста Кибальчича на его квартире арестовали Фроленко, затем в течение десяти дней в руки полиции попали Подбельский, Арончик, Исаев. С помощью предателей Меркулова, а затем Дегаева Исполнительный комитет был окончательно разгромлен. Тихомиров, прозванный Тигрычем, уехал вскоре за границу, издавал там революционное издание «Вестник Народной воли», но через шесть лет подал царю прошение с выражением полного раскаянья. Он стал искренним монархистом, редактировал «Московские ведомости» и умер в 1923 году. Четыре долгожителя пережили все невзгоды, двадцатилетнее заключение в Шлиссельбургской крепости и умерли в глубочайшей старости: Морозов, Вера Фигнер, Якимова и Фроленко. До старости дожили и умерли при Советской власти Аня Корба и Софья Иванова. Остальные народовольцы погибли очень скоро на эшафотах и в казематах. Моряк Суханов был казнен в Кронштадте в присутствии матросских команд. Баранников, Колодкевич, Ланганс и Тетерка не долго выдержали Алексеевский равелин и сгорели кто от цинги, кто от чахотки. Клеточников уморил себя голодовкой, протестуя против убивающего режима равелина, Арончик обезумел и заживо сгнил в своей камере, в Шлиссельбурге. Исаев погиб от чахотки, предавшись перед смертью богу. Грачевский в отчаянной борьбе с тюремщиками сжег себя, облив керосином из лампы. Смерть Ширяева и Лилочки Терентьевой была странной: они дико кричали перед смертью и вдруг падали бездыханными. Ходили слухи, что им давали яды, чтобы выведать какие-то сведения. Александр Михайлов, прозванный Дворником, прожил в Алексеевском равелине два года без десяти дней. Его умерщвляли в изолированной камере, в отдельном коридоре, без соседей. Товарищи Михайлова по «процессу двадцати», так же, как и он, приговоренные к вечной каторге, пользовались последней отрадой: перестукивались друг с другом. Михайлов же умер в полном и совершеннейшем одиночестве, и никому не известно, что он чувствовал и о чем думал в предсмертные месяцы.

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

Теперь он желал одного: чтобы скорее суд.

На допросах, производимых жандармскими офицерами и судебным следователем Книримом, отвечал скупо, небрежно. Кой черт тратить порох в пустых комнатах наедине с чернильницей и восковой чиновничьей рожей? Поговорим на суде. И хотелось их напугать. На допросе четвертого марта сказал, что, когда в январе он бросил клич среди боевых дружин насчет цареубийства, вызвались сорок семь добровольцев. Вместе с майором Беком в тот день допрашивал прокурор Муравьев, который даже вздрогнул и слегка побледнел, услышав о сорока семи. Тогда же Андрей старательно умалял свое значение: «мне выпала честь организовать нападение... мне было поручено...» Вполне могло быть поручено кому-либо другому из агентов. Ведь он лишь агент Комитета, да и то — третьей степени. Умаление было нужно вовсе не для...— да о чем речь? вервие обеспечено! — а для того, чтобы создалось впечатление, будто главная сила осталась в неуязвимости на воле. Пугать, пугать. Вспоминал, усмехаясь, Нечаева. Бедному Сергею Геннадиевичу, как видно, не удастся переменить судьбу. К концу третьей недели, когда уже стали известны обвинительный акт и то, что судить будет Особое присутствие правительствующего сената, внезапно среди ночи — а сна опять не было, как раньше — пришла мысль. Зачем ждать начала суда? Нанести удар первому. Правило драчунов.

Накануне суда, 25 марта, он послал первоприсутствующему такое заявление:

«Принимая во внимание: в о - п е р в ы х, что действия наши, отданные царским указом на рассмотрение Особого присутствия сената, направлены исключительно против правительства и лишь ему одному в ущерб, что правительство, как сторона пострадавшая, должна быть признана заинтересованной в этом деле стороной и не может быть судьей в своем собственном деле; что особое присутствие, как состоящее из правительственных чиновников, обязано действовать в интересах своего правительства, руководствуясь при этом не указаниями совести, а правительственными распоряжениями, произвольно именуемыми законами,— дело наше неподсудно Особому присутствию сената;

в о - в т о р ы х, действия наши должны быть рассмат-

риваемы как одно из проявлений той открытой, всеми признанной борьбы, которую русская социально-революционная партия много лет ведет за права народа и права человека против русского правительства, насильственно завладевшего властью и насильственно удерживающего ее в своих руках по сей день;

единственным судьей в деле этой борьбы между социально-революционной партией и правительством может быть лишь весь русский народ через непосредственное голосование или, что ближе, в лице своих законных представителей в Учредительном собрании, правильно избранном;

и, в-третьих, так как эта форма суда (Учредительное собрание) в отношении нас лично неосуществима, так как суд присяжных в значительной степени представляет собою общественную совесть и не связан в действиях своих присягой на верную службу одной из заинтересованных в деле сторон;

на основании вышеизложенного я заявляю о неподсудности нашего дела Особому присутствию правительствующего сената и требую суда присяжных в глубокой уверенности, что суд общественной совести не только вынесет нам оправдательный приговор, как Вере Засулич, но и выразит нам признательность отечества за деятельность особенно полезную. 1881 г. 25 марта. *Андрей Желябов.* Петропавловск, крепость».

Было ясно, что судилище пойдет так, как его наметили власти, но важно ставить им препятствия. Заявление будут обсуждать, читать вслух, может быть, оно попадет в печать. Ночью не спал, мучило нетерпение: скорее бы свет, утро! Начало суда назначалось на одиннадцать. Ходил по камере и думал: как говорить? От защитника отказался. Будет защищать себя сам. Впрочем, не себя! В том-то и суть, потому-то и отказался, что защищать не себя, а — дело. Какой же защитник сможет лучше его? В середине ночи зашелестел замок и тихо вошел с фонарем тот самый жандармский офицер, который привел его сюда из дома предварительного заключения. Андрей знал фамилию: Соколов. Приземистый, коренастый, с каким-то поразительно застылым, как будто заспиртованным лицом. Таких глаз, как у этого тюремщика, Андрей у обыкновенных людей не видел: глаза были самой неживой, самой неподвижной частью лица.

Наставив на Андрея свои выпуклые, нечеловеческой ледяной светлоты буркалы, Соколов тихо сказал:

— Бегать по камере об этот час нельзя. Лягте и отдыхайте.

— Я не бегаю, я хожу. Имею на это право.

— Нет, бегаете. Ишо следи за вами: либо голову расшибете с наскоку.

— Не дождетесь. Еще чего. Голова мне завтра понадобится.

Тюремщик не уходил. Андрей глядел в его глаза: нет, жизнь в них тлела, но какая-то своя, ужасная, может быть, жизнь земноводных или тритонов. Подумал, усмехаясь: а может, это посланец о т т у д а? И там все такие, с глазами тритонов?

— Лягте и не бежите,— сказал Соколов.— Иначе переведу в другую камеру, там не разбегаешься.

Тюремщик вышел так же бесшумно, как вошел. Прошелестел замок. Шторка над глазком поднялась, и Андрей опять увидел выпуклое, ледяное око, наблюдавшее пристально. Вспомнились слова Жоржа: «Остановить на себе зрачок мира — разве это не значит победить?» Вот он, зрачок, который остановился и смотрит. Пока шторка не опустится. Андрей сел на койку. Ходить не хотелось. Он подумал о том, что, когда жизни остается мало, возникает страстная жажда, хочется жить: но в прошлом. И он стал вспоминать то, чего не вспоминал годами: каменный дом гимназии в Керчи, лица, разговоры, голоса, пыльную акацию, закатное багровое небо.

Было солнечно, сверкал весенний день, встретились в большом коридоре, и он успел тронуть Соню за руку, но жандарм сильным ударом отбросил его руку назад. Он увидал, что Соня очень худа. Все были худы, желтолицы, с бескровными губами. Спокойней всех выглядел Кибальчич. Он улыбнулся Андрею и, когда сгрудились на несколько секунд перед дверьми в зал заседания и очутились рядом, сказал быстро:

— Я работал над проектом летательного аппарата.

— Коля, ты гений! — Андрей даже засмеялся в изумлении.— В камере?

— Да, это мои старые мысли, но все не было времени. А тут — совершенно ничто не мешало...

Кибальчича потянули вперед. Стали входить, выстроившись цепочкой: между каждым из них шел жандарм. Крепко пахло начищенными сапогами. Привели и посадили так: первого Рысакова, рядом с ним Михай-

лова, за ним Гесю, потом Колю, Соню и его последним. Но удачей было то, что с Соней оказались рядом. Когда сели, она наклонилась и шепнула:

— Мое единственное было желание: чтоб мы — рядом... Как хорошо, правда?

— Хорошо.— Он кивнул.

Как будто кто-то сильной рукой сжал сердце: он увидел, как Соня улыбнулась. Первоприсутствующий сенатор Фукс и члены суда, аксельбанты, мундиры, ленты, фраки, ордена, золотое шитье, седые головы, скрип, шарканье, откашливание по случаю студеного ясного утра: вошли почти одновременно с обвиняемыми из другого входа и стали рассаживаться. Если б отец вдруг очутился здесь и увидел эту гору мундирного золота, эти важные лица в бакенбардах и то, что они все смотрели на него, Андрюшку Желябова! Не было никакого страха, хотя все это было приготовление к смерти. Люди, сидевшие перед ним, были палачами. Они желали скорее убить его и товарищей. Ради скорой их смерти тщательно наряжались утром, причесывались, долго смотрели на себя в зеркало, плотно завтракали и радовались тому, что их смерть наступит не сразу, а через четыре, пять дней, так что удовольствие будет длиться. Но он думал о них, об их вурдалачьем любопытстве без всякой злобы. И смерть его не пугала. Материя вечна! Молекулы, составляющие его существо, просто перейдут в другое состояние, вот и все. Но не исчезнут. Исчезновения быть не может. Первоприсутствующий сенатор Фукс о чем-то просил обер-секретаря, тот стал читать какое-то предложение министра юстиции — ага, формальность, почему дело отнесено к ведению Особого присутствия сената. Простое убивание не годится, все должно сопровождаться бумагами.

— Я получил документ...

— Прежде объясните суду ваше звание, имя и фамилию,— перебил Фукс.

— Крестьянин Таврической губернии, Феодосийского уезда, села Николаевки Андрей Иванов Желябов...— Голос звучал хорошо. Вообще было полное спокойствие. Вокруг совершеннейшая глубокая тишина, и лица в зале глядели на него с пожирающим интересом. Нет, никакой злобы к ним. Вдруг: начало июня, большой зал гимназии, директор, учителя, старичок протоиерей Бершадский, толстый Кондопуло, и в таком же прочном молчании все смотрели на него и ждали. И тогда после

бессонных ночей, возбуждения было такое же внезапное спокойствие. Все повторяется, все уже было, испытано, только тогда речь шла о громадной неизведанности, о медали, праве на чин четырнадцатого класса, а теперь о хорошо известном: о смерти.

— Я двадцать пятого числа подал в Особое присутствие из крепости заявление о неподсудности моего дела Особому присутствию сената как суду коронному...

Фукс кивал.

— Сейчас я разрешу ваши сомнения. Господин обер-секретарь, прочтите определение присутствия, состоявшегося в распорядительном заседании сегодня.

Обер-секретарь прочитал нечто громоздкое, составленное из пунктов, статей, параграфов и нумеров, из чего следовало: заявление Желябова оставить без последствий, о чем ему и объявить.

— Я этим объяснением удовлетворен.

Да, удовлетворен, ибо сказал вслух о главном, и это занесено в протокол, слышали в зале, где не только сановники, но и много корреспондентов газет. Есть даже художники, вон один чиркает в альбоме. Первое маленькое сражение выиграно!

— Теперь приглашаю вас ответить на мои вопросы.— Фукс тоже понял, что несколько потеснен, отчего выражение его лица сделалось еще более непреклонным, а голос бесстрастным. Выглядит стариком, хотя не стар, лет сорока пяти: лысина, пенсне, сивая борода. Директор гимназии господин Падрен де Карнэ тоже любил напускать на себя вид бесстрастного ревнителя справедливости: хотя ты сын крестьянина, а он дворянин, я осуждаю его, а не тебя, но и ты понесешь соответствующее наказание.— Сколько вам лет?

— Тридцать.

— Веры православной?

— Крещен в православии, но православие отрицаю, хотя сущность учения Иисуса Христа признаю... Я признаю, что вера без дела мертва есть и что всякий истинный христианин должен бороться за правду, за права угнетенных и слабых и если нужно, то за них и пострадать: такова моя вера.

В зале задвигались, заскрипели, пробежал ропот. Кажется, это значило: возмущение. Фукс продолжал с той же казенной бесстрастностью:

— Где проживали в последнее время и чем занимались?

Жил там-то, служил делу освобождения народа. Единственное занятие, которому много лет он служит всем своим существом. Опять задвигались, шум: не понравилось! Господа, надо привыкать, так будет все три дня. Нравиться здесь вам ничего не должно. Затем заговорил прокурор Муравьев: из той породы молодых людей, кого зовут осанистыми и представительными. Требовал, чтоб читались показания Гольденберга. Андрей же потребовал, чтоб вызвали в качестве свидетелей Семена и Колю Колодкевича, дело обреченное, не вызовут, но все равно, уж хорошо то, что удалились совещаться. Соня шепотом рассказала: было свидание с мамой, Лорис, оказывается, вызывал ее, просил воздействовать, но мать, умница, сказала, что давно уже потеряла на дочь влияние. А что на воле? Что в городе? Мать не знает. Она далека от всего этого. И разговаривать было невозможно: жандарм сидел впритык, колени в колени, и слушал. Вот, попросила маму прислать для суда это платье и белый воротничок.

Прокурор Муравьев сверлил Андрея и Соню взглядом, на Фукса смотрел осуждающе: как видно, недоволен тем, что разговаривают, а первоприсутствующий не прерывает.

— Кольку Муравьева я знаю с детства,— шептала Соня.— Когда отец был вице-губернатором в Пскове, мы жили с их семьей по соседству. Он приходил в наш сад играть.

Вернулись члены присутствия. И началось чтение обвинительного акта. Все было известно, изучено. Он думал: кто остался из старых учителей в гимназии? Кто будет читать отчеты о процессе и ужасаться? Тригони рассказывал, что имена окончивших с медалью выбиты золотыми буквами на доске. Что же им делать, беднягам? Они не понимают, что исчезновение невозможно. Даже если уничтожить всю мраморную доску с именами. Свидетели рассказывали о последних словах и жестах царя, о «холодно, холодно», и о «во дворец, там умереть», и о «Кулебякин, ты ранен?», и о том, как наклонился к умирающему мальчику, в зале всхлипывали, вытирали слезы. Потом показывали о Рысакове, о Кобозеве, говорили эксперты. На третий день говорил Муравьев, был театрален, подробен, стремительно делал карьеру, и когда сказал, что из кровавого тумана выступают мрачные облики цареубийц, Андрей захохотал своим пушечным, пугавшим женщин хохотом, и Му-

равьев, приосанившись, крикнул: «Когда люди плачут, Желябовы смеются!», и все было решено и не имело смысла, но был какой-то громадный, отдаленный смысл, поэтому Андрей много раз брал слово, рассказывал, откуда и почему пришли к убийству царя. Мы не анархисты, а государственники, мы признаем, что государственность неизбежно должна существовать, поскольку будут существовать общие интересы. Но мы критикуем существующий экономический строй, вот в чем дело. Фукс: Я должен вас остановить. Пользуясь правом возражать против обвинения, вы излагаете теоретические воззрения.

— Нет, я лишь поддерживаю слышанное от прокурора: то, что событие 1 марта нужно рассматривать как событие историческое. Если вы, господа судьи, взглянете в отчеты о политических процессах, в эту открытую книгу бытия, то увидите, что русские народолюбцы не всегда действовали метательными снарядами, что в нашей деятельности была юность, розовая, мечтательная, и если она прошла, то не мы тому виною. Фукс: Подсудимый, вы выходите из тех рамок, которые я указал. Говорите только о своем отношении к делу.— Я возвращаюсь. Итак, мы, переиспытав разные способы действовать на пользу народа, в начале семидесятых годов избрали одно из средств: положение рабочего человека... мирную пропаганду социалистических идей... Движение совершенно бескровное, отвергавшее насилие, не революционное, а мирное — было подавлено. Целью моей жизни было служить общему благу. Долгое время я работал для этой цели путем мирным и только затем был вынужден перейти к насилию. Я сказал бы так: от террористической деятельности я, например, отказался бы, если бы изменились внешние условия.

— Более ничего не имеете сказать в свою защиту? — Нет, в защиту свою более ничего.

Соня все время глядела на него, пока он говорил. В три часа ночи Особое присутствие возвратилось из совещательной комнаты, были прочитаны вопросы, снова все исчезли надолго и в шесть часов двадцать минут утра возникли опять: к смертной казни через повешение.

Позорные колесницы оказались обыкновенными телегами, только гораздо выше. Скамейка, на которой сидеть, была сажени на две от мостовой. Выглядело нелепо, впрочем, как все остальное: серые штаны колом, чер-

ный арестантский армяк, черная шапка без козырька. Был седьмой час, разбудили в шесть, дали чаю, а сейчас был ледяной рассветный двор, лошади постукивали подковами, и у Рысакова, которому велели первому садиться на телегу, ноги не слушались, гнулись, весь он был какой-то гнутый, помогал себе руками. Андрей все время, когда можно было, смотрел на Соню, а она на него. Такого взгляда, как у нее теперь, он никогда не видел. Вот и он влез на высокую телегу и сел рядом с Рысаковым на скамью, спиною к лошадям. Подошел человек громадного роста, с разлапистой бородой, с лицом серым, как из серого, измытого дождями камня, и в этом сером сверкали маленькие, как у медведя, голубые глаза. На человеке была синяя поддевка, черные широкие брюки. Он сразу сильно рванул Андреевы руки назад, было мгновенное желание сопротивляться, но тут же: зачем? Догадался, что человек — палач. Знаменитый Фролов, душегуб из московской тюрьмы, которого возят по разным городам для казней. Помогали ему два мужика. Сначала ремнями прикрутили к скамейке руки, потом туловище, потом ноги, так что двинуться ни в какую сторону было нельзя. Все трое перешли ко второй колеснице и стали прикручивать к скамейке Кибальчича, Михайлова и Соню. Он все это видел хорошо, потому что сидел к ним лицом. Геси не было, казнь над нею из-за ее беременности постановили отложить. Он слышал, как у Сони, когда ей прикручивали руки ремнями, вырвалось: «Больно!», и кто-то сказал, то ли палач, то ли стоявший рядом жандармский офицер: «Ничего, еще больней будет». Но все это неслось мимо сознания, ибо он рвался за ворота, скорее увидеть улицы, толпу, лица людей, встретить их взгляды, голоса. Все его существо напрягалось от последней, безумной жажды. Надели на грудь доску с надписью «цареубийца». Сердце колотилось. Скорей, скорей! Он увидит, поймет. Никакой награды, никакого прощания с этой землей: только глаза людей. Наконец, выкатились, тяжело переваливаясь, за железные ворота, колеса скрипели, вокруг двигались войска, а день прояснялся. В воздухе была сырость, запах весны, горами на панели лежал сколотый лед.

Народ, толпившийся все гуще, стоял молча. Было много сонных, каких-то утренних лиц, некоторые зевали, некоторые глядели с угрюмым любопытством. Там что-то кричали. Грозили кулаками.

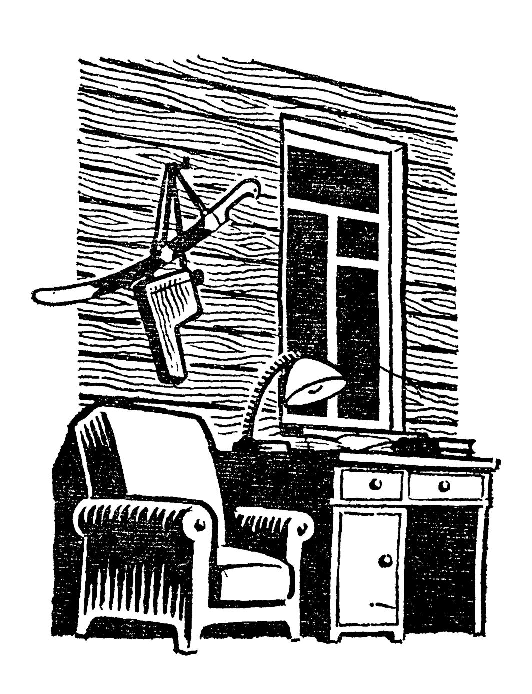
На второй колеснице Михайлов силился встать, как бы выпрыгнуть из ремней, — Андрей видел его могучую спину, напряженно выгибавшуюся, — и непрерывно что-то кричал толпе. Расслышать из-за барабанного боя было нельзя. Вдруг Андрей увидел, как молодая женщина, стоявшая на цоколе фонаря и державшаяся за фонарь рукой, другой рукой сделала робкий приветственный взмах; в тот же миг ее стащили вниз, мелькнуло в толпе лицо, пропало. Было похоже, что бьют. Когда въехали на плац, небо совсем очистилось, сверкало голубизной, и от земли восходил одурманивающий, как в детстве, запах талого снега и луж.

1973

СТАРИК



РОМАН



В июле пришло письмо: «Дорогой Павел! Пишу тебе наугад, на редакцию журнала, где прочитала твою заметку про С. К., к сожалению, с опозданием на пять лет и совершенно случайно. Недавно была в Бердянске у приятельницы и там среди старых журналов, которые мы собрались сдавать ребятишкам как макулатуру, наткнулась на этот журнал, номер 3 за 1968 год, с твоей заметкой и маленьким портретом С. К. Ты не представляешь, дорогой Павел, что я испытала в ту минуту. Ведь я совершенно ничего не знала, я не знала, что ты жив, что С. К. теперь считается чуть ли не героем гражданской войны. Ты, может быть, меня забыл, но я тебя отлично помню и навсегда сохранила к тебе теплое чувство, нас так много связывает. Я, Ася Игумнова, твоя соседка по Васильевскому острову, по Пятнадцатой линии, а ты, Павлик, очень дружил с Владимиром, он жил в нашей семье, мой двоюродный брат, его зарубили красновцы зимой девятнадцатого года в станице Михайлинской. Я едва выжила. Ты, наверное, помнишь. Меня спас Сергей Кириллович. Ты был писарем или ординарцем в ревкоме, где командовал какой-то твой родственник, а я была машинисткой в штабе корпуса Сергея Кирилловича. Мне было тогда восемнадцать, тебе столько же или немного меньше. Я помню, что мы все трое — ты, я и Владимир — ходили в пригодинскую школу в один класс, у меня был еще старший брат Алексей, студент, он воевал на стороне корниловцев, а я очень мучилась, не знала, как мне быть. Владимир был моим первым мужем. Мама прокляла его и меня после того, как Алексей был убит. Потом я стала женой Сергея Кирилловича Мигулина, очень его любила, он вернул мне жизнь, но это длилось всего несколько месяцев, и в мае случилась известная тебе трагедия. Милый Павел, в моей жизни было много страданий, но я сейчас не стану тебе писать, потому что не знаю, получишь ли

ты письмо, жив ли ты и здоров и захочешь ли со мной переписываться. Я бы очень хотела тебя увидеть под конец жизни, никого не осталось от тех времен, братья погибли, отец умер в Ростове от тифа. А мама с сестрой Варей и Вариным мужем уехали в двадцать первом году в Болгарию, потом во Францию. О них ничего не знаю. Я счастлива, что с такого замечательного человека, как С. К., теперь снято позорное клеймо, которому я никогда не верила. Мне ничего не сообщали, потому что никто не знает, что я была его женой и родила от него сына. Даже мои родные не знали. Не понимаю, отчего я тебе так откровенно пишу? Твоя заметка меня расстроила. Я все годы была как каменная. Не понимаю, почему написал именно ты. Неужели никого нет? Я давно не Игумнова, не Мигулина, я Нестеренко, по мужу, Нестеренко Георгию Федоровичу, с 1924 года, когда вышла за него замуж. Георгий Федорович был военным инженером, мы без конца ездили по стране, были на Дальнем Востоке, в Монголии, он погиб в Ленинграде, в блокаду. Сына моего любил, как родного. Сын умер три года назад от болезни крови. Я живу недалеко от Москвы, в поселке городского типа Клюквино, здесь большой институт, где мой внук работает. И его мать работает здесь же. Ехать из Москвы несложно: поездом до Серпухова, потом минут сорок автобусом. Я бы мечтала тебя увидеть, дорогой Павел! Когда-то не могла тебя видеть. Но это было недолго. Дай бог, чтоб ты был жив и здоров. Иногда по ночам — особенно в последнее время, когда стала старухой,— вижу во сне нашу улицу на Васильевском острове, наш трехэтажный дом с граненым выступом, где было что-то вроде чердака и где мы прятались иногда от взрослых. На жизнь я не жалуюсь, хотя было много тяжелого. Павел, ответь, пускай двумя строчками. Обнимаю тебя. Твой старый друг Ася. Анна Константиновна Нестеренко.

P. S. Мне семьдесят три года, я совершенно седая, тощая и, конечно, больная. Хожу с трудом, но по дому делаю всю работу, потому что найти помощницу очень трудно. Посылаю на всякий случай фотографию внука и его жены Светланы, которая выглядит здесь гораздо наивнее и юнее, чем на самом деле. Они женаты полтора года. Павел, я навсегда запомнила, что ты был первый, кто подошел ко мне тогда, в Михайлинской, запомнила твои слова, твое лицо — все думали, что я без сознания, но я видела и слышала, только ничего не чув-

ствовала, конечно. Павел, прости меня, старуху, и откликнись».

Павел Евграфович вертел фотографию, смотрел на пучеглазого молодого человека с бородкой, не видя, не понимая, а лишь ощущая, что нахлынуло наподобие сердечного приступа — беспокойство, озноб, удушливая и теснящая грудь память из глубочайших глубин — и от этого некоторый страх. Бывало, ночью уговаривал себя в мыслях: «Успокойся, тебе уже лучше, значительно лучше, боль проходит, проходит». И проходило. Так и теперь: «Ничего особенного, обыкновенное письмо, волноваться не следует. Подумаешь, не виделись пятьдесят пять лет!»

Асю Игумнову вспомнил сразу. И Пятнадцатую линию, дом с граненым выступом, ворота из железных прутьев. Вдруг обрадовался — пойти рассказать детям! Ведь интересно — через пятьдесят пять лет. Но тотчас сообразил, что рассказывать нельзя, потому что поругались. Вчера тяжело и обидно ругались, опять натолкнулся на непонимание, нет, не то — все понимают, но делают вопреки пониманию. Того хуже, недомыслие. Недочувствие. Как будто других кровей. Рассказывать неохота ни Руське, ни Вере, ни свояченице, никому. Была бы Галя жива.

Он взял письмо, еще раз прочитал, опять заколотилось сердце, и — поскорее в ящик стола поглубже, под бумаги. Вчера затеялся гнусный практический разговор. И странно: Вера и Руська, такие разные, спорящие всегда обо всем, тут мгновенно сошлись. И с какой злобой набрасывались, какие аргументы беспощадные выдвигали. Вера сказала: «Надоело наше вечное блаженное нищенство. Почему мы должны жить хуже всех, теснее всех, жалчее всех?» Руська грозил и пальцем тряс: «Имей в виду, на твоей совести будет грех. Ты о душевном покое думаешь, а не о внуках. А ведь им жить, не нам с тобой». Что-то о старческом эгоизме, несправедливое, отвратительное. Такой дурак, такой безжалостный. Нет, простить нельзя. Вчера рукой махнул и ушел, потому что говорить бесполезно. Ошибка, ошибка! Не вчера было, а позавчера. Вчера пустой день. Ни с кем не разговаривал, сидел наверху, в комнатке над верандой, временно свободной, потому что свояченица уехала в Москву получать пенсию и показаться врачам, и составлял ответ Гроздову П. Ф., жителю Майкопа, который в длинном безграмотном письме утверждал

архиглупость — будто станица Кашкинская взята в январе 1920 года, хотя всем ведомо, что это произошло в феврале, а именно 3 февраля. Письмо переслали из Совета ветеранов. Отвечать было трудно, мучился, подбирал слова, а голова-то неспокойная и сердце болит из-за дураков, самые простые слова пропадали. Вера поднималась, стучала сердито и с этаким вызовом: «В чем дело? Почему ты не отзываешься? Нарочно нас нервируешь? Иди чай пить». Вот еще вздор — нарочно их нервировать. Как будто не знают, что он недослышит.

А все оттого, что не согласился исполнять их приказ: поговорить с председателем правления насчет этого несчастного домика Аграфены Лукиничны. Но ведь не мог, не мог, окончательно и бесповоротно н е м о г. Как бы он мог? Против Полины Карловны? Против памяти Гали? Им кажется, если матери нет в живых, значит, и совести ее нет. И все с нуля начинается. Ан нет, совесть Гали существует, еще не исчезла, пока он в этом мире есть. Исчезнет, конечно, и скоро, тогда делайте что хотите.

Накаляясь обидой и вдруг забыв про письмо от Аси, Павел Евграфович спустился ветхой лесенкой вниз, намереваясь взять на кухне судки, чтобы идти в санаторий. Было несколько рановато. Обеды отпускали с двенадцати. Но он любил идти не спеша, посиживать на берегу на скамейках и приходить на кухню первым, чтоб не томиться в очереди. Очередь тут была совсем не та, что в городе в «Диете» или в продовольственном. Все только чем-то хвалились или на что-то жаловались. Павел Евграфович взял чисто вымытые судки, лежавшие в разобранном виде на окне, на солнцепеке для просушки — все-таки Валентина молодец, ссоры не ссоры, а она свое дело знает,— собрал их, взял бидончик для молока и вышел на веранду, где было много народа.

По случаю воскресенья все съехались: Руська, Вера со своим Николаем Эрастовичем, какая-то их знакомая, коротышка в сарафанчике, появившаяся вечером накануне, ну и Гарик, его друг Петька, и Виктор был тут же, и Валентина шныряла туда-сюда — с веранды на кухню, из кухни на веранду. Кто уже позавтракал, кто допивал чай, а Гарик с Петькой на краю стола, сдвинув в сторону посуду, играли в шахматы. Павел Евграфович привык к тому, что его не ждали с едой, да и вообще никто никого не ждал, все шло враздробь. Валентина

кормила своих, то есть Руслана и Гарика. Верочка питалась вроде бы самостоятельно с Николаем Эрастовичем, когда тот приезжал, а если его не было, то вроде бы со свояченицей, теткой Любой. Мюда и Виктор, которые прикатывали частенько, хотя их никто не звал, питались вроде бы с Верочкой, всегда привозили ей сласти. Ну, а Павел Евграфович обедал то с теми, то с другими, а то и один — тем, что приносил из санатория. Но иногда все садились за большой стол вместе и получалась вовсе неразбериха. Хотя в прежние времена так и было — вместе. При жизни Гали.

А умерла Галя — будто выпала чека, колеса болтаются вразнотык, вот-вот и ось полетит... Пускай! Павел Евграфович не имел ни сил, ни охоты приводить телегу в порядок, да и не приведешь теперь. Глухо, будто сквозь слой воды, доходили до его сознания голоса и зовы детей, внуков, в жизни которых что-то происходило, но Павел Евграфович не прислушивался. Кое-чего он совсем не знал, кое о чем догадывался: например, о том, что у Руслана опять появилась женщина, Валентина страдает, может быть, разойдутся, и о том, что Верочка чем-то больна и нужно, чтобы она оставила работу и начала лечиться. А чем больна Верочка, Павел Евграфович не знал, боялся узнавать и не понимал, что́ бы он стал делать, узнав, потому что всем этим занималась Галя. Вот и теперь — собрались на веранде, толкутся, шумят, спорят, а о чем? Наверно, о какой-нибудь ерунде, по телевизору посмотрели. Тот актер хорош, этот нехорош — вот и спор. И могут этак полдня языками молоть, даром что воскресенье. Нет, прислушался и разобрал: о чем-то будто другом. Об Иване Грозном, что ли. На историческую тему. Да им все едино, лишь бы гром, спор, лишь бы свое «я» показать.

Особенно злой спорщик, конечно, Руслан, и всегда он то с сестрой схлестывается, то с занудливым Николаем Эрастовичем, которого не поймешь: поистине святоша, а значит, вырос, да ума не вынес или же притворяется, зачем-то хитрит. Этот Эрастович не очень-то Павлу Евграфовичу нравился, даже не потому, что у Верочки с ним счастья нет и, видать, не будет — семь лет дело тянется, все на той же точке,— а потому, что мужик какой-то мороченый, непонятный. Как будто образованный человек, с Верочкой в институте, а насчет Библии, икон, церковных праздников и тому подобной муры рассуждает, как богомольный старец.

— Папа, ты хочешь есть? Ты еще не завтракал? — спросила Вера, бросив на отца разгоряченный, но совершенно пустой, невидящий взгляд.

Павел Евграфович, не отвечая, а только рукой показав: «Не беспокойся и не мешай разговору!» — сел к столу, придвинул к себе блюдце с чашкой. Верно, чайку захотелось. За столом между тем кипела баталия: Николай Эрастович частым, гнусливым говором сыпал свое, Вера ему, конечно, подпевала в большом возбуждении — и все насчет Ивана Грозного, как же их проняло! — а Руслан за что-то их ужасно корил, и пальцем в них тыкал, и гремел оглушающим, митинговым голосом, напомнившим старые времена. Впрочем, всегда орал в споре. То, что раньше называлось: брал на глотку. Павел Евграфович давно зарекся с ним спорить. Ну его к богу в рай. Только давление поднимать.

— Времена были адские, жестокие, поглядите на Европу, на мир... А религиозные войны во Франции? Избиение гугенотов? А что творили испанцы в Америке?

— Оправдываете изувера! Садиста, черта! Сексуального маньяка! — орал Руслан, вскидываясь из-за стола и норовя своей здоровенной размахивающей рукой приблизиться к лицу Николая Эрастовича; видно было, что пито уже с утра.— Времена, времена! Какие, к черту? Возрождение, Микеланджело, Лютер...

— Братцы, мы отклонились от темы. Мы говорили о Достоевском...— пропищала коротышка в сарафанчике.

— Нельзя же помнить лишь зло — казни, изуверства... Ваш Белинский называл его необыкновенным человеком...

— Белинский ваш! Заберите его себе!

— А расширение границ? Казань, Астрахань?

— Да не нужны мне даром! Что мне это расширение границ? На крови да на утопленниках?

— Карла никто не называет злодеем, хотя Варфоломеевская ночь и Новгород — почти одно время, а русский царь — это уж, конечно, страшилище.

— Братцы, мы подошли к царю Ивану от «все дозволено». Но «все дозволено» — если нет бога...

— Царь Иван сделал бесконечно много для России! — тонким голосом прокричал Николай Эрастович. Его лицо стало каменным и темным от прилива крови. И чего так разволновались из-за царя? Вот и Руслан

вспылил, побагровел и ручищу вознес, будто приготовился предать анафеме.

— Молчать! Вам кол по истории, товарищ кандидат наук! Царь Иван разорвал Россию надвое и развратил всех: одних сделал палачами, других жертвами... Ах, да что говорить! Когда напал Девлет-Гирей и надо было... надо было...— Тут Руслан вдруг поник, опустился на стул и слабым, задушенным голосом закончил: — Опричники, сволочи, и воевать-то не умели... Откуда им?.. И сам сбежал, царь называется... Отдал нас на поругание, спалили Москву поганые...— Еще что-то бубнил невнятное, вытирая ладонью щеки, бороду. Ну, конечно, слезы. Когда выпивал, становился безобразно слезлив.

Павел Евграфович смотрел на сына с тоской и тайной брезгливостью. Одно хорошо: Галя не видит. Пять лет назад, когда Галя еще была с ними, он этак не выкамаривал. Вдруг Руслан вскочил и опрометью, будто его срочно позвали, бросился в комнаты. Внутри дома что-то грохнуло с треском. Это он дверью лупанул. Вера вздрогнула. Гарик, игравший в шахматы, сказал: «Во папа дает!» А Валентина спокойно продолжала убирать посуду, будто ничего не слышала. И Павел Евграфович подумал о ней с горечью и сердито, это была не его горечь, а Галина, которую он вдруг почувствовал: нет, подумал, не бережет, не любит, и значит, не годится. Ей главное — удержать. Хоть пьяного, инвалида, какого угодно развалюху, лишь бы с ней. Вот и допускает до такого свинства, еще и сама способствует, потому что человек, лишенный воли, никуда не уйдет. Это она понимает, хитрая женщина. А что можно сделать? Галя могла бы, а он нет, не умеет. Никогда не умел. Теперь уже все на излете. Уже и детей жизнь на излете. Но за этим привычным и грустным, что было тенью его мыслей в последние годы, невнятно теплилось что-то, какой-то нечаянный, издалека, согрев. Не сразу догадался, что это письмо от Аси. Захотелось тихо уйти, чтобы подумать наедине, вспомнить подробно и хорошо, и он сделал движение — наклонился корпусом вперед, чтобы встать со стула,— но Вера остановила:

— Папа, я тебя забыла познакомить с моей приятельницей, Инной Александровной. Она юрист, работает в юридической консультации. Кстати, может дать ряд полезных советов... без очереди и бесплатно...

— Нет, буду брать гонорар вашим чудесным воздухом! — Коротышка в сарафанчике улыбалась и глубоко вздыхала, глаза прикрыв, изображая необыкновенное удовольствие.— Воздух у вас совершенно божественный.

Павел Евграфович безо всякой задней мысли, просто так, из любви отмечать смешное подумал: воздух воздухом, а торта третий кусок ломает. Да, конечно. Воздух что надо. Очень рады. Юридическая наука шагнула вперед, а он между тем стоял у ее истоков, участвовал в судебном процессе пятьдесят лет назад. Хотел было начать рассказывать о процессе над Мигулиным, очень драматичном и бурном, для молодежи поучительно, но почувствовал после первой же фразы: «Осенью девятнадцатого года, когда Мамонтов прорвал наш фронт на юге...» — что особого интереса ни у кого нет, Валентина ушла, Вера и Николай Эрастович стали о чем-то шептаться, а воротившийся было Руслан смотрел пустым взором, и умолк внезапно. Ни к чему все это. Метать бисер. Обойдутся без рассказа о Мигулине. А ведь интереснейшая фигура! Дураки, ей-богу, что не хотят о нем ничего знать. И он опять задумался о письме, об Асе и представил себе, с каким страстным вниманием — даже увидел мысленно, с каким лицом,— стала бы его слушать Галя.

Коротышка в сарафанчике что-то объясняла Вере про дом Аграфены Лукиничны. И как не надоест? Слушать скука. Павел Евграфович опять наладился встать и пойти, но Руслан остановил его и даже рукой нажал на плечо, заставляя сесть.

— Ты послушай, послушай, тебе полезно.— И, обращаясь к юристке: — Понимаете, на что напирают? На то, что восемь лет снимали у Аграфены, ремонтировали... А те раньше всех подали заявление...

— Но и у вас свои плюсы. Во-первых, вы самые старые жители кооператива... Во-вторых, разрослась семья...

Теперь все говорили разом. Юристка, важно хмуря чело, чеканила очень громко и авторитетно. Голос у нее обнаружился — как рожок. Павел Евграфович заметил, что нынче в старости — глупость, конечно! — стал бояться людей с громкими голосами. Сначала хотел было вступить в разговор и объяснить юристке суть. Почему он против затеи с домом? Потому что Полина Карловна — друг Гали и Галя сюда их всех заманила восемь лет назад. Была б жива Галя, о таком споре и помыс-

лить нельзя. Но дети считают: раз мамы нет, значит, можно. Да и Полине недалеко до мамы. Обо всем этом говорено было до крика.

Поэтому ну их к богу в рай.

— Я сказал, ни с кем разговаривать не стану! — Павел Евграфович, угрюмо супясь, стал выползать из-за стола, опираясь о палку и клоня туловище вперед.

— Да ради бога, папа! Как хочешь... Обойдемся...

Вдогонку был голос Николая Эрастовича:

— Кстати, насчет царя Ивана Васильевича... Вот вы, Руслан Палыч, на царя кидаетесь, а сами что ж? Тоже стремитесь расширять территорию и не считаете зазорным...

Шум, смех, звон посуды — никто не заметил ухода Павла Евграфовича, вечное с утра до ночи чаепитие продолжалось. Гнусливая дробь Эрастовича, голосок Веры и буханье Русланова баса остались за спиной. И чуть только Павел Евграфович спустился с крыльца на землю — крыльцо высокое, для Павла Евграфовича это всегда задача,— тут же стал думать о письме Аси. Перечитывать его решил позже, после похода в санаторий. Когда сделает дело. После обеда. Пройти надо было немалый путь, километра полтора по асфальтовой дороге через весь поселок; можно идти и речкой, там дольше, зато есть скамейки и возможны краткие остановки с отдыхом. День затевался такой же, как предыдущие, жара несусветная. Черный пес Арапка, обычно сопровождавший Павла Евграфовича в путешествии, сегодня идти отказался: разморенный жарой, лежал в тени веранды и не двигался, хотя услышал знакомое звяканье.

— Не пойдешь? — спросил Павел Евграфович. Пес едва шевельнул хвостом, но даже морды, опущенной на лапы, не поднял. Тысячи молодых с музыкой, с шарами, в купальниках валили навстречу с троллейбусного круга на пляжи. Никого и ничего не замечал Павел Евграфович, думал о письме, и что-то вдруг недодуманное, не дочитанное до конца неприятно стало свербить. Чепуха какая-то. Чушь ничтожная, фразочка: «Не понимаю, почему написал именно ты». Отчего же не понимает? Глупо не понимать. Да и все письмо какое-то, прости господи, немного, что ли, старушечье, глуповатое.

Дни мои все более переливаются в память. И жизнь превращается в нечто странное, двойное: есть одна, всамделишная, и другая, призрачная, изделие памяти, и

они существуют рядом. Как в испорченном телевизоре двойное изображение. И вот задумываюсь: что же есть память? Благо или мука? Для чего нам дана? После смерти Гали казалось, что нет лютее страдания, чем страдание памяти, хотел уйти вслед за ней или превратиться в животное, лишь бы не вспоминать, хотел уехать в другой город, к какому-нибудь товарищу, такому же старику, как я, чтобы не мешать детям в их жизни и чтобы они не терзали меня вечным напоминанием, но товарищей не осталось, ехать не к кому и некуда, и я решил, что память назначена нам как негасимый, опаляющий нас самосуд или, лучше сказать, самоказнь, но через какое-то время, может, года через четыре или лет через пять я почувствовал, что в страданиях памяти есть отрада, Галя оставалась со мной, ее неисчезновение продолжало приносить боль, но я радовался этой боли. Тогда подумал, память — это отплата за самое дорогое, что отнимают у человека. Памятью природа расквитывается с нами за смерть. Тут и есть наше бедное бессмертие. Я не знал, была ли жива Ася, моя соученица по пригодинской школе, подруга по Южному фронту, ее не было ни вблизи, ни вдали, нигде, ее засыпало и похоронило время, как рудокопа хоронит обвал в шахте, и теперь как мне спасать ее? Она еще жива, еще дышит спустя пятьдесят пять лет где-то под горючими сланцами, под глыбами матерой руды, в непроглядных, без воздуха катакомбах...

Она еще дышит. Но мне кажется, умерла. Первое, что вижу, вбежав в дом: неподвижная белизна на полу, груда чего-то белого, круглого. Ранний рассвет, сумеречная тьма, и я не могу понять, что на полу голый человек. Совершенно нагая женщина. Не сразу вижу, что это снеговое, застывшее странным горбом, вовсе не белое; оно грязное, в кровоподтеках, ссадинах. Но в темноте ничего, кроме белизны, и, когда притрагиваюсь рукой, холод. Подымаю женщину, кричу, зову, не откликается, несу ее на руках и пока еще не догадываюсь, к о г о н е с у. Потому что лицо запрокинуто, мертвое лицо. От тела женщины — запах сивухи. В какую-то секунду показалось, что смертельно пьяна. И очень тяжелая. Но потом вдруг — еще держу на руках, не знаю, куда нести и зачем,— страшная догадка, и понимаю внезапно, к т о у м е н я н а р у к а х. Все, все понимаю

мгновенно, весь ужас того, что произошло ночью и что теперь, спустя пятьдесят пять лет, кажется гораздо большим ужасом, чем казалось тогда. Были дни омертвения чувств. Слишком много смертей, насилий, сокрушающего напряжения, изо дня в день. Понимаю умом, что ужас, но понимание не леденит кровь, не подгибает колени, какие-то трезвые мысли в голове: «Достать спирт. Сначала согреть, если жива. Убили ребенка». И при этом удивление, тоже умственное: впервые в жизни держу на руках нагую женщину. И кого? Страшная мысль, еще страшнее первой, но ведь все перевернуто и искажено — мне восемнадцать лет, а я уже столько видел и столько познал. Ничего не видел, ничего не познал. Все это бредовое, секундное подавлено умственным ужасом, и вот колени мои действительно подгибаются от непомерной тяжести, и поверх всего злобное, ослепляющее: «Стрелять их всех, как волков!»

Тут вбегают люди, мигулинские штабные, сам Мигулин в рыжей бурке, хрипящий от бега, расталкивает каких-то забежавших вперед. И Шура с ними. Мигулин выхватывает у меня из рук мою ношу, вырывает грубо, властно, бурку на пол, заворачивает в нее. Тогда впервые догадываюсь — по его лицу, по свирепым движениям... Бедный Володя! Но Володи нет. Той же ночью.

Зажгли свет. Навсегда запомнил, как возвращается жизнь: не глазами, не стоном, а икотой...

Это февраль девятнадцатого, станица Михайлинская. Северный Дон. Мигулин двумя кавдивизиями гонит красновцев на юг. Фронт в двухстах верстах южнее. А в Михайлинскую Мигулин прискакал с четырьмя сотнями, прознав о банде Филиппова. Опоздал на несколько часов. И мы бы с Шурой, не заночуй мы в Соленом, лежали бы теперь на снегу в темной крови. Володя и восемнадцать ревкомовцев, среди них четверо латышей из 4-го латышского полка и трое питерских рабочих, остальные местные, лежат на дворе друг на дружке, внакидку, уже застыли, руки-ноги вразброс. Все босые. Заиндевели мертвые лица, заиндевели голые, залубеневшие ноги и темна кровь пятнами на снегу. Тошнотный на морозе запах крови. Налет был в полночь. Зарублены все, кто находился в ревкоме. А там как раз сидели допоздна, спорили яростно — нас с Шурой хоть и не было, но знаем, споры шли всю неделю,— как быть с заложниками. Под замком сидели человек семьдесят. Филиппов освободил всех. Ревкомовцам скрутили руки,

вытащили во двор и — по всем правилам казачьей рубки...

Женщина рассказывает: длилось минут десять, было слышно, вой стоял нечеловеческий. И старого казака Мокеича, семьдесят восемь лет, зарубили ни за что, спехом, просто за то, что сидел в ревкомовской избе, дремал. И мальчонку тринадцати лет, сына одного питерского, тот его повсюду таскал с собой. Так и лежит, вижу, рядом с отцом, обхватил отцову босую ногу. Сапоги содраны со всех. Вот Володя — зажимает рукой перерубленное горло. Рот открыт и перекошен уродливо, отчего Володя на себя не похож, но в глазах застыло его, Володино, отчаянное, заледеневшее навсегда изумление... «Как же можно невинных людей без суда, без следствия казнить?» Говорят, «рубачами» — теми, кто рубил ревкомовцев,— вызвались быть заложники, кого Филиппов освободил. Не знали они, как Володя насмерть за них стоял, какой бой принял, как Шигонцев, Бычин и другие ревкомовцы его потрошили и клеймили, называли меньшевиком, «трухлявым интеллигентом», а Шигонцев сказал, что не будь Володя «молокососом», он бы его предал суду, как в Ростове в восемнадцатом предал суду Егора, каторжанина и старого друга, за то, что тот распустил меньшевистские нюни. А теперь с перерубленным горлом, и изумление в мертвых глазах. Я всегда чуял драму, кровь и внезапность в его судьбе. «Не понимаю, хоть убейте, как можно без суда, без разбора, лишь за принадлежность к казачьему сословию...» — «А вот из-за таких, как ты, революция гибнет!» — «Из-за таких, как ты».— «Нет, из-за таких, как ты!»

Два свойства были ему присущи: изумление и упрямство. Он и к большевикам-то примкнул, внезапно изумившись идее. Я любил их обоих: его и Асю. Детство прошло с ними. Вот он лежит с перерубленным горлом, а Асю унесли в теплый дом, она будет жить, Мигулин возьмет ее к себе, она станет его женой.

А потом вот что: спустя год, Ростов, дом на Садовой, какая-то нелепая, холодная, полутемная зала нежилого вида, стекла выбиты, кое-как закрыты фанерой, а на улице мороз, небывалый для здешних мест, и я стою перед дверью в соседнюю комнату, откуда должна появиться Ася. Там что-то греется, оттуда тянет дымом. Вместо Аси выходит Елена Федоровна. Я столько раз бывал у них дома в Питере, пил чай в гостиной, где

чугунный рыцарь держал лампу на бронзовых подвесках, ел самодельное мороженое, пахнущее молоком, и Елена Федоровна говорила мне: Павлик. Она в пальто, голова закутана чем-то белым, наподобие чалмы. Узнать ее почти нельзя. Взгляд полон такого холода, что я отшатываюсь. Она не приглашает войти, не говорит «Здравствуй, Павлик!», смотрит злобными, в воспаленных веках глазами, то ли она больна, то ли плачет и произносит твердо: «Оставьте дочь в покое. Не измывайтесь над ней». Она давным-давно говорила мне «ты». Хочет затворить дверь. Но я успеваю вставить ногу между створками и кричу: «Ася!» Мне наплевать. Я все забыл. Кто такая Елена Федоровна? От меня все отскакивает: слезы, ненависть и то, что меня не называют больше Павликом и говорят мне «вы». Мне надо увидеть Асю, и, глядя поверх чалмы, я кричу громче: «Ася! Ты здесь?» Незнакомый голос отвечает из глубины дома: «Да!» Мне показалось, голос мужчины.

Я должен сообщить ей, что прошлой ночью в Богаевке арестован Мигулин вместе со всем штабом. Ася приподнимается на подушке, вытягивает шею, голова ее обрита после тифа, в каком-то цыплячьем пуху, в глазах смятение. «Что в Богаевке? Ничего не случилось?» На моей роже все написано. Но язык не поворачивается, и я лгу: «Ничего, тебе приветы, беспокоятся о твоем здоровье... Вот!» Вынимаю из сумки яйца, шматок сала. «И никакого письма? Как же так? Неужели ничего не написал?» Вот этого я не ожидал. Продолжаю врать: у него не было свободной минуты. И вообще ничего не было под рукой, ни бумаги, ни карандаша. «Что ты говоришь! — Она смотрит на меня со страхом и сожалением.— Павлик, что случилось? Я же знаю, он всегда ходит с полевой книжкой, такая желтенькая глянцевитая, издательства «Воин...» Что делать? Бормочу, бормочу. Ей нельзя ничего знать. Она ужасно плоха, и мать стоит в дверях и целится в меня щелевидными, набухшими глазками, вот-вот спустит курок. Но меня это совершенно не трогает. Я боюсь, что мать догадывается и, может, даже рада тому, что случилось, тем более молчу. Продолжаю вранье. Потом мне это не простится так же, как то, что в Балашове я был назначен секретарем суда.

Она не понимала, что я всегда делал то, что мог. Я делал лучшее из того, что мог. Я делал самое лучшее из того, что было в моих силах. И практически я пер-

вый, когда появилась возможность, начал борьбу за реабилитацию. Да и в ту пору, пятьдесят лет назад, я делал, как секретарь суда, все, что мог. Я устраивал его встречи с адвокатом. А ее последнее свидание с ним? После этого она удивляется: «Не понимаю, почему написал именно ты».

Как странно, что я ее так долго любил. Она не понимала меня. И я, догадываясь о непонимании, мучаясь им, так долго не мог от нее освободиться. Даже в те времена, когда возникла Галя, в первые несколько лет, мы жили в Новороссийске, и я не мог забыть навсегда... Никогда не мог уйти от нее сам. И тогда, в Ростове, морозным февралем, когда все было сказано, все наврано и совершенно нечего было делать в той квартире, где тосковали о другом человеке, где ее мать меня ненавидела, я не мог заставить себя подняться и уйти.

Жгучая жалость к некрасивой, худой, с цыплячьим пухом на голове, со смертельным страхом — не за меня, за другого — в глазах, смотревших пронзительно и пусто, как смотрят на почтальона, на телеграфный столб, наполняет тяжестью и приковывает к земле. Я, как шахматная фигура со свинцом в ногах, не могу оторваться. Мне кажется, что-то еще будет сказано, что-то произойдет. А они чересчур хорошо воспитаны, чтобы меня прогнать, Елена Федоровна приносит чайник, мы пьем горячую бурду непонятного вкуса. Шматок сала немного смягчил Елену Федоровну.

Но начинается спор, не могло быть без спора, сначала рассказ со слезами, о том, как умирал отец Аси Константин Иванович, в этой же квартире, в ноябре, как погиб старший Асин брат Алексей во время отступления добровольцев, как они бедствуют, нечем жить, все продано, Асина старшая сестра Варя зарабатывает тем, что дежурит у сыпнотифозных, а ее муж, литератор, сотрудничал в «Донской волне», теперь без всяких средств и не может получить абсолютно никакой работы, потому что относится к дворянскому классу паразитов, ему так и было объявлено в одной конторе: «Вы, как паразит трудящихся масс, получите самую тяжелую физическую работу. И скажите спасибо». Он бы сказал «спасибо», но и физической работы нет. На что же его толкают? Что он должен делать? Как жить? И какой он паразит, если с юных лет жил своим трудом, у него не было ни поместий, ни капиталов? Одна слава, что дворянин...

Вспоминаю, что сама Елена Федоровна может быть с полным правом отнесена к паразитам: у нее акции, ценные бумаги. Впрочем, сейчас, наверное, все пропало. Оттого и озлобление. Мама, видя мою привязанность к дому Игумновых, не раз говорила: «Ты все-таки не забывай, что Игумновы — типичные буржуа. Она очень богатая дама, а он из обслуживающего персонала». Богатая дама пьет бурду из жестяной кружки и сидит дома в шубе. Мне ее жаль, но не потому, что она все потеряла, голодает, а потому, что — мать Аси. Стараюсь говорить с нею спокойно и веско. Ведь ни один общественный переворот не проходит без потрясений. Наивно предполагать, что имущие классы отдадут позиции без боя. А времена Робеспьера? Почитайте виконта де Брока. Любимое чтение мое и Шигонцева. Шигонцев приучил: чуть что — обращаться к истории.

«Но революция произошла три года назад!»

Приходится объяснять простые вещи: революция продолжается. Пока есть враги, революция будет продолжаться: «А враги у вас будут всегда!» Эта женщина слепа в своей ненависти. Она пострадала. Я понимаю. Но с человеком непримиримым разговаривать тяжко. Мне бы немедленно уйти, самое время, просто необходимо, но я, как глупая собака, привязанная к месту, не распоряжаюсь собой. Нет ничего долговечней и обманней детских любовей. Ну, что в ней было? Что осталось от девочки, когда-то поразившей насмерть? После всего, что с нею стряслось, что стряслось со мной, после Володи, после Мигулина, который годился в отцы... А на Садовой, хорошо помню, она ведь истинная уродка. И я ощущаю ее невероятную любовь к другому, о ком она думает, не видя меня, не слыша моих споров с матерью. Ей и говорить трудно, она молчит, слабо улыбается, иногда машет рукой на мать, протестуя, но мысли ее далеко и она чует несчастье...

А мы с Еленой Федоровной уже ругаемся вовсю, пошли резкости, употребляются слова «уголовники», «убийцы», «преступление». Елена Федоровна злорадно смеется. «Я столько наговорила, теперь можете меня арестовать. Предать суду трибунала. Так это называется? Ведь вы комиссар, Павел? Вы имеете право арестовать меня тут же, на месте?» — «Я не комиссар, Елена Федоровна».— «Нет, вы комиссар. Вы стопроцентный комиссар, я вижу по вашему лицу, по тужурке. У вас ко-

миссарская тужурка».— «Мама! — кричит Ася.— Он не комиссар!» Потом вдруг появляются Варя и ее муж, которого я вижу впервые. Они говорят, что в городе стрельба. Какие-то части добровольцев прорвались к предместьям, идет настоящий бой.

И правда, часа два уже слышны выстрелы, буханье орудий, но никто не обращает внимания. Все привыкли к этой музыке. Елена Федоровна с видом веселой безнадежности машет рукой. «Ах, все равно ваш верх! Отобьетесь...» — это мне и Асе.

Но Варя взволнованно возражает: «Нет, мама, что-то серьезное. На Садовой строят баррикаду. Господи, дай-то бог». Она крестится устало и похожа на монашку в своем длинном сером платье, закрытом до горла. Варя неприятная, фальшивая, она мне никогда не нравилась. Елена Федоровна знакомит: «Викентий Васильевич, литератор, ныне безработный по причине неудачной родословной... Павел, наш петербургский друг, ныне комиссар... Кстати, может помочь... Большие связи в комитетах... Не правда ли, Павел?»

Опять язвительности. Жалкие, бессильные. Муж Вари немногим старше меня, он бледен, худ, как и я, но всем обликом говорит о том, что другого мира, другого возраста, все другое. Бородка, усы, голос тихий, взор легкий, немужской, отлетающий, пух какой-то, а не взор. «Благодарю, не беспокойтесь,— говорит тихим голосом.— Я совершенно доволен своим положением».— «Да как же вы довольны? — восклицает Елена Федоровна.— Вам хлеб не на что купить! У вас башмаков нет!» — «Нам с Варей достаточно. Я ни о чем не прошу. Человек, умевший услышать внутренний голос, не нуждается в том...» — далее странный лепет, похожий на бред, на проповедь религиозника, толстовца, о каком-то Обществе Истинной Свободы в память Льва Толстого, о делании добра, о курсах свободно-религиозных знаний, где он только что читал лекцию, и еще, бог ты мой, о каком-то вновь созданном «Бюро защиты противников насилия»...

«Но вы обивали пороги советских учреждений? И вам было отказано? — выкрикивает Елена Федоровна, глядя на зятя гневно.— Или уж и это хотите отрицать?»

«Да, обивал пороги. Но делал это для вас».— «Ах д е л а л и д о б р о для меня? Что вы сегодня ели, несчастный человек?» Странная личность объясняет: на

курсах в качестве гонорара дали тарелку перловой каши и чашку кофе.

Между тем стрельба усилилась. Снаряд грохнул рядом, лопнуло и посыпалось со звоном стекло в соседней комнате. Теперь уж мне и подавно надо бежать, но я медлю. Представить себе не могу такую дикость — деникинцы в городе. Ведь фронт далеко. И положение Деникина незавидное. Куда ему пускаться в авантюры? Однако пустился, рискнул, генерал Гнилорыбов, прорвав фронт, достиг ростовских окраин и завязал бой в городе. Я ничего не знаю, поэтому спокоен. Стрельба — уничтожают какую-нибудь банду. Происходит ежедневно. Артиллерийские залпы немного настораживают, но не настолько, чтобы я тут же бросился на улицу.

«Господи, господи...— шепчет Варя, стоя у окна, мелко, быстро крестясь.— Хоть бы, хоть бы, хоть бы...» Елена Федоровна приказывает: «Варвара, отойди!» Все взвинчены, теперь очевидно — самый настоящий бой. Битва за город. На улице кричат. Внезапно озаряется небо, желто-розовый свет наполняет комнату — горит соседний дом. Нам дома не видно, но зарево полыхает рядом. И слышно, как трещит дерево, что-то глухо ударяется о землю, кричат люди. Запах гари вползает в комнату. Вдруг Варя кричит: «Я вижу русское знамя! Несут русское знамя!»

Все подбегают к окну, я подхожу к Асе, чтобы проститься. И она, схватив мои пальцы горячей рукой, шепотом спрашивает: «Павлик, скажи правду, с Сергеем Кирилловичем беда? Он погиб? Фронт прорван?» Я не знаю, что случилось вчера и позавчера. Утром третьего дня на линии, которую занимает корпус, было полное спокойствие. Деникин мог пробить фронт южнее. «Но с ним беда! Я чувствую. Я вижу! Что-нибудь из-за убийства Шигонцева?»

И я мгновенно колеблюсь: может, все-таки надо сказать? Ее мать, умеющая соображать быстро, говорит: «Придут добровольцы и узнают, что здесь жена Мигулина. Что они с нами со всеми сделают, как вы думаете?» — «Господи, да пусть делают что хотят!» — Варя внезапно начинает рыдать.

Ни сказать, ни решить что-либо, ни уйти не успеваю. В комнате появляются совершенно неожиданно, как в театре, будто впрыгивают из-за кулис, три человека: офицер и два солдата. Офицер бросается к Елене Федоровне, объятия, слезы. Какой-то старый знако-

мый. Тут же рассказывает — кажется, для того и прибежал — о том, как погиб Алексей. Солдаты подходят к окну, один хладнокровно, мощным ударом вышибает прикладом раму, рама летит на улицу, внизу звон, солдаты устраиваются на подоконнике и открывают стрельбу. Но стреляют недолго. Непонятно, что они там видят — улица полна дыма. В тужурке у меня «смит-вессон», я спокоен. Держу руку в кармане. Вот это отчетливо и замечательно помню: я спокоен. Не знаю, почему. Может, потому, что тут Ася. Мы вместе: она и я.

Офицер смотрит на меня сначала беглым, потом все более внимательным взглядом. Он небрит, желтолиц, желтоватые белки воспаленных глаз. Его взгляд меняется в течение двух секунд. Насторожила кожаная, «комиссарская» тужурка и, наверное, что-то еще: может быть, то, что в моем лице нет ни радости, ни волнения. Елена Федоровна и Варя плачут, обняв друг друга.

«С кем имею честь?» — спрашивает офицер, не вставая со стула, но всем телом, глазами и рукою, сжимающей эфес шашки, подавшись ко мне. Я вижу внезапно засиявшие очи поборника Истинной Свободы. Викентий Васильевич не может скрыть сладострастной улыбки. Но мать Аси говорит сквозь слезы: «Это Павлик, наш друг...»

Через два дня деникинцев вышибают из города. Когда это было? В феврале. Стояли морозы. Утром я шел через Темерник и видел трупы, побелевшие от ночного мороза. В конце февраля двадцатого года.

Шигонцева убили в январе. Нашли зарубленным, с простреленной головой в балке неподалеку от станицы, где стоял штаб корпуса. После Новочеркасска начались неудачи, топтались на Маныче в бесплодных попытках закрепиться на левобережье, время упущено, все злое, враждебное Мигулину зашевелилось в эту паузу, и вдруг — Шигонцев зарублен. Он появился недавно. Третье появление Шигонцева. В первый раз январь восемнадцатого в Питере после долгих мытарств, после Сибири, Австралии, Дальнего Востока. Затем на Дону в девятнадцатом, теперь третья встреча. И всякий раз он другой. Теперь он нервный, желчный, больной, кашляет постоянно. «Тебе лечиться надо,— говорит Мигу-

лин миролюбиво.— Ты гнилой ужасно, ты дохлый насквозь. Куда тебе на фронт?»

Но Мигулин редко миролюбив, чаще напряжен, подозрителен, груб. В первый миг, увидев Шигонцева с ординарцем во дворе штаба, узнав его и слегка опешив — телеграмма от РВС фронта о назначении комиссара пришла накануне, но Мигулин не связал фамилию Шигонцева с тем человеком, с которым жестоко лаялся в девятнадцатом году, в пору лютования «Стального отряда»,— а кроме того, придя в ярость от неловко напыщенного, отнюдь не казачьего вида Шигонцева, который сидел на коне мешком, кривясь набок, Мигулин прохрипел насмешливо: «А, наше почтение! Старые знакомые!» По черной бороде, угольному взору из-под мохнатых бровей принял Шигонцева за нерусского. И весь первый день полон скрытых насмешек, ехидства, на что Мигулин горазд. Слышу я и бешеную, гневную ругань, но не в присутствии Шигонцева, а при своих, в штабе: «Зачем же такое делают? Нарочно, что ли? Хотят меня извести?»

Суть в том, что давние счеты. По девятнадцатому году. А может, того давнее. И, конечно, Мигулин оскорблен: прислан человек, бывший некогда неуступчивым и злобным противником. Я так и не смог узнать, было это сделано намеренно или же простая корявость, спешка. Потом, когда между Мигулиным и Реввоенсоветом вскипела резкая телеграфная брань, отступать тем было негоже. И они уперлись. «Реввоенсовет не видит причин замены комиссара. Вопрос не подлежит дальнейшему обсуждению». Что-то в этом духе, крайне обидное принял наш телеграфист Петя Гайлит. К тому времени воздух сух и трещит, насыщенный электричеством.

Помню всполошной крик казака на рассвете: «Комиссара вбилы!» Мгновенно догадываюсь, и мгновенно мысль: «Это убили Мигулина». На улице наталкиваюсь на Асю, она бежит куда-то простоволосая, неизвестно куда, в минутном безумии, бежать некуда. Мигулин ночевал тогда верстах в шести, на Дурной Поляне, на хуторе — все подробности ночи помню досконально, они стали роковыми,— и Ася, набежав на меня в потемках, падает прямо мне в руки, будто только и бежит за тем. «Ты понимаешь, что это значит?» Я понимаю. Крепко держу ее, она трясется, хотя в теплой дохе внакидку, от холода ли трясется, от ужаса — я отчетливо помню, что и я начинаю дрожать...

Да ведь был стариком! Сорок семь. А ей девятнадцать. Сорок семь, бог ты мой, возраст изумительной и счастливой зрелости казался мафусаиловым, потому что самому почти девятнадцать. Это почти — пытка. Во все времена. И особенно в детстве. В те сумерки, когда я обнимал ее на январском рассвете, дрожащую, с потемневшим лицом, обугленную ударом молнии, я испытывал острейшее ощущение, столь сильное, что дотянулось до сего дня, озноб души: жалость к ней, страх за нее. Это и было, называемое любовью. Но никогда не говорил о ней. Все запуталось. И я не помню, что испытал в ту секунду, когда возникла мысль: это убили Мигулина.

...Первая военная осень, туман, Петербург, после уроков идем всем классом в госпиталь на 22-й линии, нам четырнадцать лет — ей исполнилось, а мне еще нет, скоро исполнится, но недостаточно скоро, я мучаюсь, мне кажется, что все мои беды происходят от этого «почти», она со мною небрежна, плохо слушает, убегает из класса, когда я прихожу к Володе, и все от проклятой нехватки месяцев: она не может быть внимательна к тринадцатилетнему мальчику в то время, когда к ней пристают пятнадцатилетние. Нет, мне надо поскорее с нею сравняться, пускай ненадолго, на какие-нибудь полгода, но зато уж эти полгода будут мои. Мы идем нашей невзрачной Пятнадцатой линией, мимо лавок, серых домов, и я страдаю от ее равнодушия. Она разговаривает со всеми, смотрит на кого угодно, на собак, на идущих навстречу маленьких гимназистов, но не на меня. Хотя я рядом, ее рука в перчатке иногда бесчувственно задевает мою руку. Мне не трудно пристроиться к ней поближе, потому что всем известно, что я товарищ Володи, а они брат с сестрой. Правда, двоюродные. Но живут в одном доме, в одной квартире, Володя в семье Игумновых как сын. Его мать в Камышине, отец за границей, непонятно где, о нем не говорят, может, он оставил Володину мать, сестру Елены Федоровны, а может, какой-то анархист, беглец, помню сказанное о нем вскользь: «Без царя в голове». Моя тяга к Володе — не просто дружба, но и вот это общее, о чем никогда не говорим с ним. Безотцовщина. Ведь и у меня где-то отец. И у него с мамой что-то произошло. И мне порой становилась до чертиков ясна жизнь Володи в доме Игумновых — в доме милом, куда я любил ходить, где было суматошливо, толкотно, шумно, уютно, доброжелательно,

где подтрунивали друг над другом, где придумывали для собственного услаждения разные веселые занятия, игры «в монетку» или «в слова» или вдруг от мала до велика увлекались лепкой, ходили с перепачканными руками, полы в комнатах заляпывались, пахло сырым гипсом, все друг с другом страстно соревновались, устраивался домашний конкурс, и Константин Иванович приглашал судьей знаменитого скульптора, который лучшей работой признавал какую-нибудь чепуху, слепленную прислугой Милдой — в доме, где все было почти родное, почти собственное, где так добры к Володе были почти отец и почти мать. Он, как и я, страдал от почти. Володя и Ася были необыкновенно дружны. Если с Варей Ася нередко ссорилась из-за всякой безделицы, как это бывает между сестрами, иногда до легких потасовок, с очень злобным выражением лиц, я видел однажды, как они били друг друга веерами — не сильно, но вдохновенно,— а со старшим братом Алексеем была и вовсе далека, то с Володей ее связывала непостижимо глубокая дружба. Мне казалось, тут нет ничего запредельного. Дружба двух очень хороших людей. В жизни такая редкость! Я верил этому долго и был спокоен. Гораздо больше меня тревожил солдат Губанов. Все начинает выскакивать из памяти, когда приступаешь к раскопкам, и оказывается, ничего не пропало. Память — склад ненужных вещей, чулан, где до поры, пока не выкинут окончательно, хранятся пыльные корзины, набитые старой обувью, чемоданы с отбитыми ручками, какие-то тряпки, зонты, стекляшки, альбомы, куски проволоки, одинокая перчатка и пыль, пыль, густая, вялая, пыль времени. Вот сохранилась фамилия солдата, мелькнувшего на пороге жизни. Легко раненный под Сувалками солдат Губанов. Он покоится, как алмаз, в невообразимой пыли.

Уже не первый раз мы идем в госпиталь на 22-й линии. У нас своя палата на пятом этаже. В мешках несем подарки: яблоки, конфеты, папиросы, четвертку чаю, бумагу и карандаши. Как только появляемся в коридоре на пятом этаже, солдат Губанов кричит радостно: «Посвятители пришли!» Никак не может запомнить, что мы не посвятители, а посетители. «Эй, беленькая! Анюта! Родимая! — горланит Губанов.— Поди сюда, дочка!» И нахально сгребает Асю длинными руками, тянет к себе, сажает на колени, как настоящий отец. Что ж удивительного? Она самая улыбчивая, самая красивая. Вся

такая плотная, ладная, спелая, белобрысая, не похожа на бледных питерских барышень, она — как девчонка с мызы, чухоночка, дочь молочницы. С белыми ресницами. Красота Аси представляется мне такой же несомненностью, как, к примеру, ценность первых английских марок с королевой Викторией. И, конечно, люди эту красоту видят и на нее посягают. Я не могу оградить, потому что не имею права. С чего бы? Да и дурного солдат Губанов не делает, я лишь чувствую — и все чувствуют — в его повадках какую-то гадость.

Солдат Губанов читает вслух сочинение, которое писал несколько дней с помощью Аси: «Сражение под Сувалками». Мы задумали издать журнал, каждый должен помочь одному раненому написать воспоминание. У меня тоже есть подопечный, но он туг, неразговорчив, не желает ничего вспоминать, бормочет угрюмо: «Какой интерес описывать, когда по живому бьют?» Зато Губанов, проворный и исполнительный, написал почти самостоятельно несколько страниц. Одной рукой переворачивает страницы, читая, другой держит Асю у себя на коленях. Я вижу, что ей неловко, стыдно, она уже не маленькая девочка, она барышня, из тех, о которых говорят «в теле», и теперь она делает деликатные попытки освободиться от руки солдата Губанова, но ничего не выходит. Губанов поймал ее и держит крепко. На первых страницах описывается бой, ранение, как он добежал до своего окопа, там был штабс-капитан, который спросил жалким голосом: «Ранен, брат?» и «Где твой бинт?» и другие подробности. Я смотрю на Асю, думая напряженно: как ей помочь? Что бы такое сказать солдату Губанову? Он герой, и Ася не хочет его обидеть. Но, хоть и герой, он скотина. Я его ненавижу. Дальше он читает, как раненых привезли в Петроград, как все ему в Петрограде понравилось: трамвай, госпиталь, сестрицы, мягкие тюфяки, белая простыня, хорошие утиральники. «Очень, очень хорошо принимали. Утром сестрицы приходят и здравствуются. Еще напоминаю, нас хорошо вымыли в бане. Когда вымоешься, сейчас надевали чистые рубахи, и кальсоны, и носки». Мне кажется, что все это глупо и не годится для нашего журнала. Но все слушают, раненые тоже слушают. Губанов продолжает читать и правой рукой, которой обхватил Асю, поглаживает и похлопывает ее, как будто она его собственность. «А девятого октября нас посетил какой-то человек из правления книжного склада в ы с о-

чайшего утверждения,— читает Губанов, делая особое ударение на последних словах,— и дарил нас псалтырями и евангелиями...»

И вдруг Володя подходит к Губанову, сидящему на койке с Асей на коленях, и молча отгибает его руку, держащую Асю. И Ася, освобожденная, вскакивает и отбегает от своего истязателя. А солдат Губанов, будто и не заметил ничего, продолжает читать. Володя поразил: есть минуты, когда не нужны слова, нужно просто подойти и действовать.

Володя поражает меня часто. Его поступки невозможно предвидеть. А та история с крысой, взволновавшая школу. Была замечательная школа совместного обучения, мне повезло, лучшая на Васильевском острове да, наверное, в целом Питере, ее называли пригодинской по имени Николая Аполлоновича Пригоды, основателя, директора, энтузиаста, поклонника Томаса Мора и Кампанеллы, он преподавал историю, его жена Ольга Витальевна — биологию. Странные люди! Им ничего не было нужно, ничто их не занимало в жизни, кроме школы и учеников. Школьные советы, введенные после февраля семнадцатого, в пригодинской существовали много раньше. Все решалось голосованием. Ольга Витальевна просила принести крысу, надо было разрезать, учиться анатомии. Кто-то обещал поймать, долго не удавалось, наконец принесли. Вся школа знала, что в этот день в нашем классе будут резать крысу, живую, мальчик принес ее в клетке и почему-то сказал, что ее зовут Феня. Он сам и вызвался резать. Внезапно на урок приходит депутация из старшего класса, во главе Володя.

«Мы не хотим, чтобы в нашей школе убивали живое существо. Нам жалко Феню». Одни кричат — жалко! Другие — резать! Начинается страшный спор. Помню, Ольга Витальевна этот спор еще более разжигает. Заявление о том, что крысу зовут Феней, оказывается роковым. Крыса перестает быть просто крысой, она становится индивидуальностью. К ней присматриваются. Она ведет себя, как Феня. На собрании произносятся пылкие речи и, забыв о крысе, которая скромно ждет решения своей участи, рассуждают о науке, об истории, о гильотине, о Парижской коммуне. «Великие цели требуют жертв! Но жертвы на это не согласны! А вы спросите у крысы! А вы пользуетесь ее немотой, если бы она могла говорить, она бы ответила!» Наконец решаем голосовать. Голосует не только наш класс, крысиный

вопрос взбудоражил всю школу. Крыса помилована. Володя торжественно выносит клетку во двор и в присутствии всех выпускает несостоявшуюся жертву науки на свободу. Волнующая минута! Особенно возбуждена Ольга Витальевна, да и мы догадываемся, что дело касается не крысы, а чего-то более важного. Немного омрачает настроение финал: наша Феня, оказавшись на воле, сбита с толку и зазевалась, и ее тут же хватает какой-то пробегающий по двору кот...

Зима в Сиверской, сухой снег летит облачком с сосен, финские сани несутся вскачь под уклон, поворачиваясь полозьями, отчего надо крепко держать рукоятку, а на веранде дачи Матисена, лесника, развешаны гирляндою разноцветные ледяные бочонки... Мы живем третью зиму у Матисенов. Недалеко от нас живут Игумновы. У них свой дом. Ася соскальзывает на повороте с сиденья финских саней, кажется, они называются «потткури», слетает с «потткурей» головою в сугроб, я барахтаюсь в снегу на другой стороне. Обледенелая дорога блестит фарфоровым блеском. Асина красная шапка отлетела далеко, а ее замечательно толстая красная фуфайка в бело-черных полосах — куплена в шведском магазине для спорта, называется «sweater» — вся в снегу, и Ася хохочет как сумасшедшая... Ее смех меня иногда пугает. Мне кажется, она смеется для кого-то, зачем-то... А ледяные бочонки делают так: в чашки наливают подкрашенную воду, опускают веревочку... Отец Аси Константин Иванович купил автомобиль, но зимой в Сиверскую приезжать опасно, однажды он застрял, вытаскивали лошадьми. В окрестностях Сиверской — так рассказывают — бродит шайка некоего Грибова, дезертира, его ловят несколько месяцев, не могут поймать. Какая же это зима? Рождественские каникулы, мама работает уже не в статистическом управлении, а в издательстве корректором, надо ездить в Питер за работой, привозить тяжелые пачки, и я хожу на станцию ее встречать. Еще и потому, что «Грибов шалит». Никто этого Грибова живьем не видел, но рассказывают о нем всякие ужасные небылицы. Особенно, говорят, Грибов ненавидит фараонов, финансовых служащих и лифляндских помещиков. Эти три разряда людей ему крепко насолили в жизни, он поклялся им мстить. Грабит богатые дачи, а бедных не трогает. В ту зиму я с упое-

нием читаю тоненькие книжонки про Ника Картера и Джона Вильсона и представляю себя одним из них — в схватке с Грибовым...

Но вот сталкиваюсь с ним лицом к лицу. Происходит это под вечер на лесной горе, куда мы вчетвером — я, Володя, Ася и недавно вернувшийся из Сибири мамин брат Шура — приехали кататься на лыжах. Шура! Тогда я к нему еще присматриваюсь. Он меня занимает. Александр Пименович, или Шура, как зовет его мама, человек нестарый, лет тридцати, но весь какой-то закопченный, обугленный, с пятнами и шрамами на лице, голова у него бритая, седая, и очки в стальной оправе. Мама говорит, что он изменился. Они не виделись много лет. Шура — революционер, но какой именно и чем прославился, неизвестно, спрашивать нельзя, эти правила я хорошо знаю. У нас в доме иногда появляются таинственные личности, и я учен, как с ними себя вести. Все же кое-что мне не терпится у мамы выпытать. Какая у Шуры профессия? Революционер. Я понимаю, но профессия какая-нибудь есть? Профессиональный революционер. А до того, как стал революционером? Был им всегда. Сколько мама его помнит. Учился в церковноприходской школе, мальчишкой, и уже тогда... Постепенно узнаю: дружинник в первую революцию, ссылки, побеги, убийство караульного, каторга. В Питер Шура приехал не как Александр Пименович и не как Данилов, а как Иван Спиридонович Самойленко, и это меня не удивляет. Мама тоже носит чужую фамилию и чужое имя. Все считают, что она Анастасия Федоровна Меркс, мещанка города Ревеля, а она Ирина Пименовна Данилова, по мужу Летунова, крестьянка Новгородской губернии.

Стоим на горе и собираемся катиться вниз, Ася трусит, хохочет, отказывается, говорит, что снимет лыжи и будет спускаться пешком, мы ее подзадориваем, и вдруг трое в полушубках появляются из-за сосен.

«Здравствуйте, господа лыжники, не пугайтесь,— говорит один.— Я Грибов». Они тоже на лыжах. Незаметно подкрались. Мы ошеломлены. Я смотрю на Грибова: ничего страшного в его облике нет, молодой, в темной бородке, очень краснолицый, на нем меховая шапка с опущенными ушами, с козырьком, в каких ходят финны. Смотрит Грибов довольно добродушно и даже будто улыбается. «А, Грибов! — говорит Шура.— Здравствуй, брат...» Я слышу скрип палок, шорох лыж, оглядыва-

юсь — Володя несется вниз. Вот хлопнул лыжами, подскочив на трамплине, вот промчался между сосен, повернул направо, замелькал в чаще, исчез. «Лихо!» — говорит Грибов, а один из его спутников свистит по-разбойничьи.

Шура подходит к Грибову, они тихо о чем-то разговаривают. Потом трое прощаются и уходят, а мы идем домой. На поляне ставим дощечку в виде мишени — Шура стреляет из браунинга. Дает пострелять мне и Асе. У Шуры неважное зрение — ухудшилось в тюрьме после побоев,— и он долго, тщательно целится.

Гильзы с шипением погружаются в снег. Я их собираю зачем-то, они теплые. Наступают сумерки, стрелять больше нельзя. Мы идем домой, стараясь не говорить и не думать о Володе. То, что с ним случилось,— катастрофа. «Неужели струсил?» — спрашивает Ася шепотом. Ничего не могу понять. В ее голосе изумление, но еще более мы изумлены тем, что произошло на наших глазах: Шура и Грибов разговаривали как два добрых знакомых. Очень хочется разузнать у Шуры про Грибова, но я молчу, помня завет матери: в о п р о с о в н е з а д а ю т. Спустя три года, когда мы с Шурой мотаемся в вагоне по России, проводим целые ночи вдвоем, я узнаю: через Грибова добывали оружие. Вскоре Грибов погиб, убитый стражниками на границе.

Приходим на дачу Игумновых в полной темноте. Нас с Шурой оставляют ужинать. Какой вкуснейший, горячий, спасительный чай! Как тепло и уютно на этой даче, пахнет сигарою Константина Ивановича, горящими свечами, гудят печи, потрескивает дерево... Володя сидит за столом, понурив голову. Я его понимаю. Вообще-то, думаю я, надо обладать порядочной выдержкой, чтобы после того, ч т о о н о т к о л о л, сидеть тут и пить чай, хотя бы и с таким каменным выражением лица. Чаепитие длится мирно, Константин Иванович расспрашивает Шуру о Сибири, но осторожно, не давая понять, что знает, чтó Шура в Сибири делал, речь идет о промыслах, нравах населения, говорят о войне, о старце, о том, что Германия истощена, об эпидемиях, шпионах, взятках, участившихся грабежах и насилиях, о чем Константин Иванович, как юрист, знает доподлинно. Внезапно Ася весело и беспечно — я-то уверен, что без умысла, вот именно беспечно, по глуповатой доброте — говорит Володе: «Жалко, Володя, что ты убежал, разбойник-то оказался очень милый!» Какой раз-

бойник? Кто убежал? Начинаются расспросы, мы кое-как, умалчивая о главном, рассказываем про Грибова, Володя вдруг вскакивает с пылающим лицом — он краснел почему-то верхом лица, лбом и глазами — и выбегает из комнаты.

«Что произошло?» — спрашивает Елена Федоровна шепотом.

«Вот так же унесся стремглав... Когда появился Грибов...»

«Ах, струсил?» — В глазах Алексея огонек злорадного удивления. Ася смотрит испуганно. Она огорчена, не знает, как быть: пойти за Володей или защищать его здесь? Я высказываю предположение: стоял на спуске, на очень раскатанной лыжне, одного движения достаточно, чтобы скользнуть вниз и там уж без остановок. Но почему не вернулся? С Грибовым разговаривали четверть часа, не меньше. Господа, да что такое, в сущности, трусость? Мгновенное затемнение сознания. Тут, если хотите, повод для невменения. Я порываюсь пойти за Володей, но Елена Федоровна говорит: не надо.

«С юридической точки зрения,— говорит Константин Иванович,— трусость почитается настолько свойственной человеку... Как писал Таганцев, нельзя наказывать за то...» — «Но проявление трусости в военных условиях?» — «О да, уклонение от опасности признается уголовнонаказуемым...» А Шура говорит: у каждого человека бывают секунды прожигающего насквозь, помрачающего разум страха. Мгновение — и он уже покатился с горы, не мог остановиться, не мог вернуться, не мог смотреть нам в лицо, не мог жить. Нельзя все в мире определять законами и параграфами. Нет, можно. Более того — нужно. В этом залог прочности мира. Гнилое общество вы называете прочным миром? Оно гнило как раз оттого, что законы мало что определяют. Они чересчур слабы. Черт возьми, да все валится у нас на глазах! Этот храм рассыпается, а вы говорите о каких-то законах! Только законы могут его спасти. В таком случае, мир делится на две категории: то, что подсудно и что неподсудно. Куда вы денете все остальное? Ничего остального нет. Ну как же, хотя бы суд собственной совести. Ведь момент трусости может быть пожизненной казнью. Объясню на примере, говорит Константин Иванович, великую силу законов. Вот, скажем, Володя струсил. В острый момент, когда вы столкнулись в лесу с преступниками, он сбежал. Слава богу, кончи-

лось благополучно, преступники не нанесли вам вреда. Но коли бы произошло несчастье...

На этих словах появляется Володя в пальто, в шапке. Может быть, все слышал. Никогда не забуду его лица: какое-то серое папье-маше с остановившимся взором. Ни на кого не глядя, произносит в пространство: «Уезжаю в город, прошу никого не следовать за мной. Если кто-нибудь увяжется, я буду стрелять...» — и показывает пистолет.

Спустя несколько минут, когда прошло ошеломление, мы бросаемся за ним. Но в саду и на дороге полный мрак. Он исчезает. На станции его тоже нет. Через четыре дня пришла телеграмма из Камышина, от матери. Но эти четыре дня...

У каждого было. И у меня тоже. Миг страха, не физического, не страха смерти, а вот именно миг помрачения ума и надлом души. Миг уступки. А может быть, миг самопознания? Но после этого человек говорит: один раз я был слаб перед вами, но больше не уступлю никогда. В двадцать восьмом году. Нет, в тридцать пятом. Галя сказала: «Я тебя бесконечно жалею. Это не ты сказал, это я сказала, наши дети сказали». Ей казалось, все делалось ради них. Помрачение ума — ради них. Теперь Гали нет. А дети — есть они или нет? Петр, который отрекся во дворе Киафы, не имел детей; зато потом заслужил свое имя Петрос, что значит «камень», то есть «твердый».

И Володя много раз после того полудетского страха, или, будем говорить, мига слабости поражает редким присутствием духа в роковые минуты. А летом семнадцатого на Лиговке? Случайно и дико вляпались с ним в какое-то монархическое сборище. Зашли в аптеку, я спросил рицинового масла, аптекарь, ни слова не говоря, тащит нас в заднюю комнату, распахивает дверь в коридоре и, толкая в спину, шепчет: «По лестнице вниз! Скорее, уже началось!» В подвале человек сорок, внимательно слушают осанистого господина, который сыплет какими-то цифрами, именами, говорит возбужденно и то и дело со злобой: «эти предатели», «иуды русского народа», «так называемое правительство». Если бы просто спросить касторки, нам бы дали коробочку, и мы бы спокойно ушли. «Рициновое масло» оказалось паролем. Такая кровавая чепуха могла быть только в те дни.

Корнилов еще не выступил, но какие-то люди знали и ждали. Нас чуть не застрелили в подвале, Володя разбил лампу, и мы скрылись в потемках...

А первые дни — март, пьяная весна, тысячные толпы на мокрых, в раскисшем снегу петроградских проспектах, блуждание от зари до зари втроем: Володя, Ася и я... И полная свобода от всего, от всех! В школу можно не ходить, там сплошные митинги, выборы, обсуждение «школьной конституции», Николай Аполлонович вместо лекции о великих реформах рассказывает о французской революции, и в конце урока мы разучиваем «Марсельезу» на французском языке, и у Николая Аполлоновича на глазах слезы. Мама проводит дни неведомо где, то в издательстве, где печатают всякие списки, программы, платформы, то в Таврическом, то ездит к морякам, я ее совсем не вижу и часто ночую не дома, потому что мама не приходит домой, а у Игумновых, в Володиной комнате на топчане. Там очень удобно. Всю ночь с Володей разговариваем или играем в шахматы. И Ася рядом, за стеной! Но тут-то и мука.

Вдруг утром бежит в халате по коридору и вскрикивает рассеянно: «Ой, Павлик! Я и забыла...» Постоянно забывает, что я здесь. Но я не забываю про нее ни на минуту. Странные отношения в этом доме: все дружны и, однако, немного равнодушны друг к другу. Вечерами вдруг разбредаются кто куда. Но могут и собраться вместе, и страшно веселиться, шутить, дурачиться. Константин Иванович слегка поддразнивает Елену Федоровну, Алексей поддразнивает Володю и Асю. Ася закрылась в ванной, Володя мнется в коридорчике, ожидая, когда ванная освободится, вдруг Алексей нагло стучит в дверь и даже приоткрывает, говоря: «Родному брату можно, а ты, двоюродный, изволь подождать». Вижу, как Володя темнеет лицом. Он единственный в доме, кто не очень расположен к шуткам. Все воспринимает слишком, с болью, всерьез. Константин Иванович и Елена Федоровна, да и Ася с Варей и Алексей относятся к тому, что происходит в городе, не то что иронически, но как-то полушутливо, полупугливо, а в общем-то, как к большой игре. О да! Добрые, недалекие... А я живу как во сне. Все вокруг меня — шумный, обволакивающий, затягивающий куда-то сон. Асе уже шестнадцать лет, а мне еще только пятнадцать, и она отрывается все дальше, все безнадежней. Вот ее приглашает товарищ Алексея, студент, на какой-то вечер «поэзо-тан-

ца» в клуб «Ланселот» на Знаменской, нас с Володей туда не берут, вот какой-то юнкер катает ее в отцовском автомобиле... Но это, кажется, летом... А в марте ничего, кроме бесконечного бега, толпы, перестрелок, новостей ужаса и восторга. Все орлы на решетках дворца обмотаны красной материей. Повсюду красные флаги. На крепости тоже красный флаг. У департамента полиции горят бумаги, улица усыпана пеплом. В доме Игумновых организован домовый комитет, чтобы осмотреть все квартиры, чердаки, не прячутся ли городовые. Константин Иванович выбран председателем. Он ходит с большим красным бантом. Игра, игра! И наш Шура теперь большой человек — комиссар рабочих депутатов на Васильевском острове. Его никто не называет Шурой, он — Иван Спиридонович Самойленко, мученик царской каторги. В конце марта похороны жертв революции, невероятная жижа и грязь, улицы не убираются, каждый день огромные толпы месят грязь, разбрызгивают, превращают в лужи сырой снег, мы идем в длинной процессии к Марсову полю, на Нижегородской присоединяется какой-то завод, потом фельдшерская школа, меньшевики, украинцы, пожарные, какой-то запасной полк, гробы, обмотанные красной материей, выплывают из Военно-медицинской академии; идем дальше, по Литейному мосту, мимо сгоревшей «предварилки», красные и черные флаги вывешены на домах, на Невском стоим часа два, отовсюду поют «Вечную память» и «Вы жертвою пали...» Какой-то человек в черном пальто вскакивает на гранитный цоколь парадного крыльца и, обхватив одной рукою фонарь, а другой сорвав с головы шляпу и размахивая ею, кричит: «Друзья! Мы должны пропустить Петроградский район! Проявляйте выдержку и имейте терпение, друзья! Сегодня день великой скорби и великой свободы... Нет страны в мире, друзья, более свободной, чем Россия сегодня...» И еще что-то рваное, отчаянно громкое, медленно поворачиваясь всем своим черным, гнутым телом, и я вижу обугленное, в седом бобрике, в сверкающих сталью очках лицо Шуры.

Мигулин вырвал Асино тело из моих рук так властно, с грубой поспешностью, будто отнимал *свое*, я догадываюсь об этом позже. И весь этот внезапный рейд для спасения ревкома, хотя и неуспешный... Почему не

выслать четыре сотни под командой кого угодно? Поскакал сам. Я увидел искаженное горчайшей мукой лицо старика — темные подглазья, впавшие, в черно-седой щетине щеки и в страдальческом ужасе стиснутые морщины лба... Когда Шигонцев подошел и со злорадной, почти безумной улыбкой спросил: «Как же теперь полагаете, защитник казачества? Чья была правда?» — Мигулин отшатнулся, поглядел долго, тяжелым взглядом, но того, каторжного, взглядом не устрашить, и ответил: «Моя правда. Зверье и среди нас есть...» А Володя — на снегу с перерубленным горлом.

...Потом, в апреле — уже после Финляндского вокзала, встречи Ленина, у дворца Кшесинской, куда меня протащил Шура,— уже в тепле, в весне мы с Володей и Асей болтаемся по городу и заняты делом: собираем на Совет рабочих депутатов. Часа за три собрали шесть рублей. Ходим, пока держат ноги, на улицах все та же сумятица, неразбериха, жутковатая качка толпы, митинги, драки, стрельба. Вижу, по Невскому идут вооруженные рабочие завода Парвиайнена со знаменем «Долой Временное правительство!». Им навстречу с Литейного сползает демонстрация студентов, офицеров, каких-то хорошо одетых дам, несут знамя «Да здравствует Милюков и Временное правительство!». С крыши бросают камни. Непонятно, в кого. Две демонстрации вязнут друг в друге, вскрикивают женщины, свалка, падают, бегут, с треском рвется знамя, ломают древко. На Мойке какой-то господин, стоя в открытом автомобиле, ораторствует, выбрасывая правую руку с белым манжетом, будто деньги в толпу кидает. «Америка!.. Объявила!.. Тевтонам!..» Кричат «ура», один звероватый, в папахе, проталкиваясь к автомобилю, вытягивая руки, борясь сразу со всеми, хрипит: «Дай сюда эту гниду! Я его гузном... на проволоку...»

И еще слышу, двое разговаривают, стоя у стены дома. Один вполголоса: «Эти толпы на улицах напоминают знаете что? Точно кишки вывалились из распоротого живота. Не оклемается Россия от этого ножа...» — «Господь с вами!» — «Вот увидите. Это смертельно. Но что приятно...— тихий смешок,— я умираю, и России конец, одним махом... Так что и умирать не жаль...» Посмотрел — старик с белой окладистой боро-

дой, в шляпе, надвинутой низко на глаза. Так и остается со мной, навсегда.

В потемках приплетаемся в игумновский дом. С утра и до вечера я с ними, с Володей и Асей, не могу отлепиться. Все-таки болван! Иногда замечаю, как, стиснутые толпой, Володя и Ася прижимаются друг к другу, как Володя обнимает ее, стараясь оградить от толчков, и единственное, что мне приходит в голову: счастливый, может обнимать ее, как брат! И в тот вечер: надо бы пойти домой, уже находились, наговорились, дай отдохнуть от себя, но Ася предлагает, скорей всего машинально, зайти попить чаю. «Павлик, зайдем?» Голос звучит рассеянно, она устала, Володя зевает, да и я устал неимоверно, однако волочуть вслед за нею в парадное... Нет сил отказаться. Как я, наверное, надоел!

Вскоре приходит Алексей. На его лице запекшаяся кровь, тужурка разорвана. Возбужденно, невнятно рассказывает о каких-то стычках, о том, как избили Кирика Насонова, гнались за ним. Вдруг увидел кружку, с которой мы носились по городу, собирая на Совет. «Это еще что за дрянь? (Володе). И ты этим занимаешься? Ничтожество! Бездарность!» И даже замахнулся ударить. Почему же бездарность? Не к месту и глупо. Впервые вижу, как между братьями закипает ссора, стремительно и зло. Алексей внезапно обрушивается на Володиного отца, своего дядю, называет его почему-то болтуном, непонятна связь, я понимаю лишь, что вырывается наружу скрытное, накопившееся. Ты смеешь так о моем отце? А ты, если живешь в доме, изволь подчиняться правилам этого дома! Каким правилам? Нашим! Тут и Варя, и Елена Федоровна — и никому не до шуток... Потому что на улице толпа, а у Алексея лицо в крови. Ася бросается на защиту Володи. Немедленно извинись! О каких *наших* правилах ты говоришь? Да, говорю, потому что до этого дошло — людей убивают. Полчаса назад, на моих глазах... Кирика Насонова...

Кирика Насонова все хорошо знают. Он племянник Николая Аполлоновича Пригоды, студент Межевого института. Но дело не в Кирике. Все начинают спорить друг с другом, а я в стороне. Меня будто нет в комнате. Хотя вся свара из-за меня. Мама просила помочь в сборах, ведь я хочу вступить в партию, мечтаю об этом, но тормозит возраст, хотя я уже почти имею право — опять *почти*! — и Володя с Асей от нечего делать, по

дружбе взялись мне помогать. Но ни Володя, ни Ася не держали кружки в руке, они просто ходили со мной.

И опять Володя внезапно, опрометью шарахается из комнаты в середине разговора, оборвав собственную фразу на полуслове, и Елена Федоровна в его отсутствие пытается смягчить Алексея и всех примирить, Константин Иванович рассуждает о двойственности приказа номер один — с одной стороны, с другой стороны, а в целом ответит опыт истории, придите за справкой через четыреста лет, при этом с аппетитом поедается кусок пирога с визигой, достать которую было чудом, доступным лишь гению Елены Федоровны,— а я думаю о том, что мне тоже, пожалуй, пора покидать сей дом. Ведь они не обращаются ко мне с укоризнами только потому, что хорошо воспитаны. Но их молчание со мной, непринятие меня в орбиту спора и есть укоризна. Льдина, на которой так долго стояли вместе, где-то треснула, и теперь две половины медленно разъезжаются. Мама об этом догадывалась раньше. «Тебя там не подкалывают, у Игумновых, тем, что твой дядя комиссар района? Они люди хорошие, но до предела. Не забывай все же, что они буржуа». Нет, не подкалывают. Я не чувствую. Но я ведь не чувствую многого.

Опять, как когда-то зимой в Сиверской, Володя рвется уехать, но теперь его хватают, задерживают, Варя и Ася отнимают чемодан, Елена Федоровна умоляет чуть ли не со слезами: «Дети мои, заклинаю, что бы ни случилось в городе, в мире, вы должны оставаться друзьями. И ты, Володя, и ты, Павлик, и вы, дети, подайте друг другу руки немедленно...»

Алексей не может сразу, сию секунду подать руку — он занят своей раной. Ася промыла ее, залила йодом, он должен придерживать пальцами ватку, вид у него страдающий, но непреклонный — нет, он не может в один миг забыть Кирика Насонова... Люди шли совершенно мирно, без оружия, откуда-то вывалились какие-то со знаменем... Начались оскорбления, угрозы... И лишь за то, что он крикнул: «Предатели! На немецкие деньги!..» Тут уж я не выдерживаю: не надо кричать подлое. Нет, кричать можно все, дорогой Павлик. Ради этого сделали революцию, упразднили цензуру. А вот сапогами по голове — нельзя. Все норовили, скоты, когда уж сбили с ног, опрокинули, сапогами по голове... лежачего...

Кирик Насонов умер в больнице через несколько дней. Но мы этого не знаем. Константин Иванович неожиданно принимает мою сторону. Вот гибкий адвокатский ум! Вижу и его: рябоватый полный блондин, всегда чему-то неопределенно улыбается, сочные, влажные губы в кружке светло-рыжих усов и коротенькой бородки постоянно подрагивают, приготовляясь то ли засмеяться, то ли сказать что-то юмористическое, губы — самое живое на его лице, живее глаз, отчего все лицо приобретает выражение несколько дамское. Вот так, улыбаясь и крупными белыми пальцами шевеля в воздухе перед собой, рассуждает: «Но не будем гневить бога. Кирика безумно жаль, он пострадал вследствие неосторожности, однако тем не менее Россия — счастливая страна. Величайшая революция произошла практически бескровно, жертв ничтожно мало. Почитайте Олара, что творилось в эпоху французской революции...»

Елена Федоровна его горячо поддерживает: «Да, да, мальчики, почитайте Олара!» Она целует Володю, обнимает сына, улыбается мягкой счастливой улыбкой мне. Эта женщина всегда счастлива. Она лучится здоровьем, сияет румянцем, добротой, аппетитом к жизни, бриллиантовая брошь сверкает, как страшный, искусственный глаз, на ее пышной груди...

С балтийским матросом Ганюшкиным продаю в Думе газету «Правда». Берем в редакции экземпляров по пятьсот, вечером отвозим деньги. Да еще хлеб добывать — в хвосте часа полтора... Да потом в городскую управу за номером для велосипеда или куда-нибудь на Голодай насчет дров, по ордеру, через Совет, и тоже повсюду хвосты... Голодное, странное, небывалое время! Все возможно, и ничего не понять. Шура то исчезает, ходит с наклеенными усами, под чужим именем, даже не Самойленко, а кто-то другой, то опять командует на Васильевском острове — организует милицию, покупает оружие. Константин Иванович то восхваляет правительство, то поносит последними словами. Он в комиссии по раскрытию тайных сотрудников охранки. Упоен, взвинчен, непрерывные звонки, визиты. Улыбчивость пропала, белыми пальцами больше не шевелит, все только рубит прямой ладонью. Вечером сообщает загадочно: «Если б вы знали, господа, какая щука оказалась в нашем неводе!» Кто же? Кто? Папа, скажи! Нет, нет, не приставайте, други. У нас гласность, но не до такой степени. Узнаете из газет. Про одного сообщил:

жилец из бельэтажа, банковский служащий, известный в Петрограде игрок на скачках. Володя вечером подстерег его сына-гимназиста и избил.

Шура говорит: «Недолго им этой забавой тешиться. Лета не доживут. Разгонят их...»

И правда, в середине лета Константин Иванович пал духом, клянет правительство почем зря. «Дураки! Прохвосты! Хотят выиграть великую войну, а не могут победить в мелком домашнем сражении!» Комиссия распущена. Никто из доносчиков по-настоящему не наказан. Автомобиль Константина Ивановича, в котором тот гордо выезжал по утрам, конфискован для военных нужд. Старую дачу в Сиверской кто-то поджег, сгорела дотла со всей мебелью, книгами. Константин Иванович пытается подать в суд, получить страховку, но где там! Никому ни до чего, август, слухи о страшном, о предстоящей резне, мести казаков, одни радуются, другие в панике, все возбуждены, множество людей покидают Питер. Слух такой: будто Керенский телеграфно объявил Корнилова арестованным, а Корнилов точно так же по телеграфу объявил арестованным Керенского. Корпус Крымова идет на Питер. В эти дни я рядом с Ганюшкиным. Не отстаю ни на шаг. С ним ничего не страшно — ни генерал Крымов, ни «дикая дивизия», которая тоже, говорят, идет усмирять столицу.

О Савва Ганюшкин, потрясший навсегда! Как же он выпал из жизни, куда делся потом? Савва Ганюшкин — недавний матрос, хриплый, площадной крикун, читатель газет и лютый кулачный боец на уличных сходках. Он легко вонзается в любой спор, встревает в драку с кем попало, хоть с солдатами, хоть с кадетами, и, что удивительно, всегда его верх. Одного, двух уложит разом, остальные бегут прочь. Потому что чуют, сила у Саввы непомерная. Поехали с ним в Морской корпус слушать Ленина еще весной, билеты достал Шура, народу набилось видимо-невидимо, тысяч пять, висят даже на лестницах для гимнастики, какие-то умники стали ломать дверь из коридора, беспорядок, Савва беспорядка не любит, и я вижу, как он их вышибает: повернулся к ним медвежьей спиной, руками в косяки вперся и выдавил всех, как поршнем. Ну, Савва! Ах, Савва... Как же можно забыть о нем?

Зимой, когда умерла мама, Савва говорит: «А я мечтал, заживем с тобой, парень, одним домом...» Это он мне.

Я молчу, будто так и надо, будто обо всем знаю. А ведь ни о чем не догадывался. Для меня как бомба разорвалась. Только вдалеке, запоздало, беззвучно. Неслись, летели куда-то — мама ничего о моей жизни, я о ее...

В конце лета — корниловская паника в разгаре — кто-то принес листок Военной лиги «На страже». Призыв помогать мятежникам всеми силами. Разбросано во множестве на Большом проспекте. Нагло стоит типография — 16-я линия, дом 5. Я бегу к Шуре в районный Совет, тот дает красногвардейцев, Савву командиром, идем по адресу. И первый, кто стоит на пороге, когда распахнули дверь, Алешка Игумнов! Глядит на меня оторопело, вдруг хохочет. «Это ты? Какая прелесть! Какая причуда судьбы!» Савва легчайшей лапой сдвигает его в сторону, как занавеску, ныряет в комнату. В глубине квартиры какие-то люди встречают нас холодно, разговаривают высокомерно. «Поступаете опрометчиво, молодые люди. Через два дня здесь будет генерал Крымов. А мы вас всех запомним, до единого...» Через два дня сообщение: генерал Крымов застрелился.

Он спрашивает: «А почему вы, Павел Евграфович, так упорно занимаетесь судьбой Мигулина? Вы не родственник его? Какой-нибудь далекий? Со стороны жены, возможно?» Нет, говорю, не родственник. «В чем же дело?» Да ни в чем. Просто добиваюсь, и все. Вам непременно дело нужно. А вот у меня никакого дела нет, кроме того, что сердце болит. «Мы о том и беспокоимся, Павел Евграфович, что у вас сердце больное. Годы ваши не малые, а вы в Ростов приезжаете в третий раз, силы тратите, время. Удивляемся вашей настойчивости. Сколько вам лет, Павел Евграфович?» Отвечаю. А я, говорю, удивляюсь тому, что есть люди, которым совершенно не интересна история своего народа. Им что так, что эдак, что то, что это — все едино. Какой-то старичок, чахлый, надрывный, вскакивает со стула. «Тогда объясните, зачем вы неправду защищаете? Хорошо, пускай он успешный военачальник, с Красновым и Деникиным воевал, почетным оружием награжден, все так, но зачем из него революционера делать? Зачем такую ложь допускать?» Глаза у старичка горят, кулачки вес-

нушчатые, сжимаются, но я спокойно отвечаю: неправды никогда не защищал и защищать не стану. И если что говорю, значит, имею факты. «Нету фактов! — трясется стричок. — Он трудовик был! Народный социалист! Я с его братом Атаманское училище заканчивал и хорошо это гнездо знаю. Они все были мракобесы, большевикам служили из-под палки...» Вот этого не понимаю: черные да белые, мракобесы да ангелы. И никого посередке. А посередке-то все. И от мрака, и от бесов, и от ангелов в каждом... Кто я такой в августе семнадцатого? Сейчас, вспоминая, не могу ни понять, ни представить себе отчетливо. Конечно, и мать, и дядя Шура, и какие-то новые друзья... Общий хмель... Но ведь достаточно было в январе, когда умерла мама, тронуться чуть в сторону, куда звал отец, или еще куда-то, куда приглашали старики Пригоды, или, может быть, позвала бы с собой Ася, не знаю, кем бы я был теперь. Ничтожная малость, подобно легкому повороту стрелки, бросает локомотив с одного пути на другой, и вместо Ростова вы попадаете в Варшаву. Я был мальчишка, опьяненный могучим временем. Нет, не хочу врать, как другие старики, путь подсказан потоком — радостно быть в потоке — и случаем, и чутьем, но вовсе не суровой математической волей. Пусть не врут! С каждым могло быть иначе. Бог ты мой, зачем я вступаю в спор? У других стариков было, наверное, по-другому. Не следует никого обижать. Я был мальчишка, одинокий, мечтательный, живущий уличной жизнью и к тому же влюбленный без памяти... Человек, который отнял у меня Асю, едва не погиб тридцатого августа семнадцатого года в станице Усть-Медведицкой. Его едва не зарубил сотник Степан Герасимов.

Неужели революционеры лишь те, кто еле слышными, но живыми голосами могут о себе рассказать, доказать? А те, кто рвались, ярились, задыхались в кровавой пене, исчезали бесследно, погибали в дыму, в чаду, в неизвестности... Перед глазами: станичный сбор, многотысячная лава картузов, папах, окна распахнуты, мальчишки на крышах, и в светлом генеральском кителе смуглый, зноем испитой Каледин. Пылюга, жара. Меня там нет, но я вижу, слышу. Хриповатый, обреченный, высокий голос: «Наша программа известна всем — нам, казакам, не по пути с социалистами, мы пойдем с партией народной свободы...» Два месяца назад на Войсковом круге Каледин избран донским атаманом. В дни

мятежа Каледин шлет временным ультиматум: если откажутся от соглашения с Корниловым, то он, Каледин, с помощью казаков отрежет Москву от юга России. Временные распорядились атамана арестовать. Но Каледин не знает об этом, прискакал в Усть-Медведицкую «поднимать Дон».

Не знает и того, что творится под Питером: полки рвутся не в столицу, а по домам. Какую же силу надо иметь, чтобы после стольких лет сечи наново «поднять Дон»? Нет такой силы у смуглого старого генерала, который выкрикивает, напрягая шею, что-то всем ведомое, давно слыханное, пустое. Выборные старики стучат в ладони, орут «Верна!», но фронтовики матюкаются и свистят. Мигулин хочет продраться к трибуне, его не пускают. Мигулин — войсковой старшина, помощник командира 33-го Донского полка. И все же казаки проталкивают его, помогают плечами, пробивают ему путь. Говорит речь. Выступать он любит. Я слышал не раз. Спустя два года, летом девятнадцатого, когда он формирует Особый Донской корпус и мы мотаемся в эшелоне от станции к станции, он, чуть где остановка, высовывается из окна, кличет людей и открывает митинг. Умеет сразу, не мешкая и не петляя, зацепить какую-то такую жилу, что толпа содрогнется и загудит...

«Граждане станичники! Что для казаков главное было, есть и будет...— и, выждав паузу, насладившись общим секундным томлением, громоподобно и с размахом руки, будто гранату в толпу: — Воля, казаки! Давно уже, лет двести, этой сласти у казаков нет, но любят о ней погутарить, языками ее помусолить. Воля, воля... Какая там воля, когда казаки — всякой бочке затычка? Где шум, бунт, туда их гонят, как пожарных огонь заливать. И воли не спрашивают. Революция этой лживой «воле» конец положила. Довольно из казаков делать всероссийского черта! Хотим мирной жизни, покоя и труда на своей земле. Долой контрреволюционных генералов!» — вот что бросает сидящим в зале Мигулин. Повскакали с мест, орут, кулаками трясут. Окна битком набитого помещения открыты, и толпа, теснящаяся на майдане, услышав шум и крики, начинает грозно бурлить. Вот-вот раздробят двери, ворвутся в зал. Мигулин пытается говорить дальше, но разъяренные старики и калединцы стаскивают его с трибуны, кулачный бой... Внезапно из толпы выскакивает сотник Степан Герасимов — фамилия врезалась, хотя читал о Степане Ге-

расимове позже, когда рылся в архивах, в «Усть-Медведицкой газете» за 1917 год и вспомнил при этом, что в комендантском взводе при штабе 8-й армии служил Матвей Герасимов, тоже из казаков-северян, так что, возможно, родня тому, горячему,— и кричит Мигулину: «Извиняйся перед атаманом, не то голову прочь!» И шашкою замахнулся. Мигулин — наган из кобуры, дулом ему в лоб. «Бросай шашку!» Так стоят мгновение, замерев, сверля друг друга ненавистливыми взглядами, потом какой-то казак вырывает шашку у Герасимова и, сломав ее, выбрасывает в окно. Каледин между тем исчезает через черный ход.

Потом Мигулин выходит на площадь. Во время его речи перед гудящей толпой к крыльцу протискиваются писаря с телеграммой от военного министра Верховского: Каледина арестовать как соучастника мятежа. Мигулин крикнул группу верных себе фронтовых казаков, кинулись искать атамана, но того след простыл. Ускакал в Новочеркасск. Развело казаков — пока еще не кровью, а словами кровавыми. Как быть? Податься к кому?

Отца я почти забыл. Еще тогда забыл, когда он был жив. Последний раз он приезжал в Питер из Баку, потом он переселился в Гельсингфорс — в 1912 году. Помню, темная курчавая борода, очки, длинные мягкие руки, постоянное ковырянье с трубкой и все какие-то шуточки над мамой. Он инженер. Мама его жалеет. Говорит о нем как о постороннем добром человеке. «Беда в том, что он робок. Нет, не трус, физически он смел, но робок в мыслях». Расстались они много лет назад. Не знаю точно, почему. Кажется, причины тут были идейные. В студенческие годы он тоже бунтовал, протестовал, был сослан на год куда-то на север, но потом ушел в свою инженерию. И вот сидит в громадной холодной комнате, пьет чай, согревает пальцы стаканом и разговаривает вполголоса с Шурой. О чем? Мама тяжело больна. У нее воспаление легких после инфлюэнцы. Она может умереть. Кто-то сообщил отцу в Гельсингфорс, и он приехал.

Январь восемнадцатого. Только что объявили: хлебный паек уменьшен с трех восьмушек фунта до четверти. Я провел три часа на улице, сначала стоял за керосином, потом за хлебом. Воды нет. Трамваи не ходят. О чем говорят отец и Шура? Они шепчутся. Мама с

утра без сознания, она не услышит. Они шепчутся, чтоб не услышал я, но некоторые фразы долетают. «Теперь, после декрета... Независимая страна...» — «Пусть решает сам...» — «Я думаю, она была бы за такое решение...»

Чувствую, что говорят обо мне. Отец — далекий, благополучный человек. Стал грузен, обрил бороду, оставив чуть заметный клинышек под губой, как у Луначарского. Привез корзину съестных припасов, лекарство — уротропин, которое в Питере трудно достать, и большую бутылку молока. Мама ничего не ест и не пьет. Лежит с закрытыми глазами, иногда лепечет что-то бессвязное.

Шура, поглядев на меня как-то странно и холодно, сощуриваясь, как он смотрел на новых людей, оценивая, на что они годятся, говорит: «Отец предлагает тебе уехать с ним в Гельсингфорс. Как ты на это предложение?» Никак. Куда я могу теперь уехать. «Не теперь, не сегодня и не завтра,— шепчет отец.— Я говорю о ближайшем времени, в принципе». У отца прекрасный теплый костюм из серого сукна в клетку, шерстяные носки и ботинки на толстой подошве, он сидит, положив ногу на ногу, покачивая ботинком. Взгляд у отца добрый. Такой проницательный и сочувственный сквозь очки, какой бывает у посторонних людей, исполненных добрых чувств. Они с Шурой говорят так, будто мамы нет. А мама вдруг разлепила глаза, но не может посмотреть ни на меня, ни на брата, ни на моего отца, глаза ее устремлены на наш музейный, в лепнине, закопченный буржуйкою потолок, и явственно произносит: «От Шуры никуда не надо...»

Я и так знаю. Мы наклоняемся к ней, хотим дать то, другое, но она опять не видит, не слышит. Потом приходит Савва с винтовкой, в лентах, с двумя кобурами на поясе, и с ним бородатенький старичок, доктор, необычайно малого роста, как гномик. Савва привез его на автомобиле. Этот автомобиль должен отвезти Шуру в Таврический дворец, где открывается съезд Советов. Гномик осматривает маму, ничего не спрашивает, только хмыкает, покряхтывает, откашливается, как будто тоже болен или только что плотно поел, а мы четверо стоим вокруг и глядим на него — он перестает быть гномиком, вырастает на наших глазах. Его лицо становится грубым, тяжелым, мы видим тяжелый, грушею нос, окаменевшие скулы.

«Это может произойти через час. Может — но-

чью...» — говорит доктор. Он стоит возле кровати, держа саквояжик двумя руками, отставив ногу и глядя на нас свысока и очень зорко, будто определяя, сколько осталось жить каждому.

Под окном автомобильный гудок. Шуру вызывают. Он должен ехать на съезд. Он колеблется. Савва его отпускает: «Езжайте, Александр Пименович! Я с Ириной побуду». Да кто такой Савва? Простой матрос. Чужой человек. Шура хмуро молчит, не слышит. Он презирает чужие советы. Шура привык все решать сам: быстро, твердо и окончательно.

Гномик исчез. Снова гудок автомобиля внизу.

Долгим взглядом смотрит Шура на сестру, лежащую совершенно недвижно, с закрытыми глазами, и вдруг опять она поражает нас: медленно приподнялась рука и опустилась. Мама шепчет: «Шура, иди...» Шура уходит. Автомобиль затрещал, зафыркал, уехал. И тогда между Саввой и отцом возникает злой разговор, они как бы кричат друг на друга, но шепотом. Началось с того, что отец, мрачно усмехаясь, бормочет что-то как бы сам с собой: «Да, теперь очевидно... Таких людей победить нельзя...» — «Каких людей?» — «Таких, как брат Иры. Мне это стало сейчас совершенно ясно. И надеяться не на что...» — «Что вы желаете сказать про Александра Пименовича?» Я прошу их говорить тише или уйти в другую комнату. Опять мама подымает руку и шепчет: «Пусть здесь...» Они говорят, шепчутся, спорят до сипоты, Савва мог бы застрелить или арестовать отца, потому что тот говорит оскорбительное — я удивляюсь, ничего не боится, а мама говорила, что он трус,— называет матросов бандитами, не Савву, а тех, кто убил Шингарева и Кокошкина. Матросы убили их в Мариинской больнице. «За анархистов не отвечаю,— шепчет Савва.— Сам бы их удавил».— «Нет, отвечаете за все. За всех и за все. И за то, что Ирина умирает, отвечаете...» Отец закрыл ладонями лицо, согнулся. Так стоит, согнувшись, длинный, я вижу лысину в венчике темных волос, лысина качается, громкий утробный звук раздается из-под ладоней, закрывающих лицо. Быстрыми шагами отец уходит из комнаты в коридор и оттуда куда-то дальше, на кухню. И Савва уходит за ним. А я остаюсь с мамой. Ничего сделать нельзя. Можно убить миллион человек, свергнуть царя, устроить великую революцию, взорвать динамитом полсвета, но нельзя спасти одного человека.

Вот о чем думаю. Человека, который умирает, спасти нельзя. Потом в моей жизни много этого. Оно как бы вплетается в жизнь, перемешивается с жизнью, образуя какую-то странную, не имеющую имени смесь, некое сверхъестественное целое, жизне-смерть. Все годы — накопление смертей, вбирание их в кровь, в ткань. Не говорю о душе, никогда не знал, что сие, и теперь не знаю. Сосуды мертвеют не от холестерина, а оттого, что смерть постоянно малыми дозами проникает в тебя. Уход мамы был первым. Уход Гали — наверное, последний. И тогда и теперь меня покидает единственный человек. Но между двумя смертями — между временем, когда я еще не успел стать собой, и временем, когда перестал быть собой, во всяком случае, в глазах других, потому что никто не знает, что ты остался тем же, и надо играть роль до конца, притворяясь, что действительно изменился, о чем кричит твоя внешность, докладывает твоя походка и свидетельствуют слабые силы, но это ложь,— между двумя смертями пролегла долгая жизнь, в течение которой меняешься не ты сам, а твое отношение к целому, не имеющему названия, к жизнесмерти. В юности ощущаешь так, теперь совсем иначе. Как я пылок, порывист, легкомыслен в январе восемнадцатого, несмотря на все свое горе! Испуг и жалость — вот что меня душит. Испуг перед тайной, которая отверзлась, я оказался перед нею в одиночестве, и жалость к маме: она не увидит того, что произойдет в прекрасном, переразгромленном, переотстроенном мире, и не увидит того, что произойдет со мной. Ведь она так любила меня. При этом лютая жажда жить, познавать, понимать, участвовать! И нет того, что возникнет потом — каждая смерть поселяется в тебе. Чем дальше, тем эта тяжесть грознее. Когда умирает Галя, груз становится так тяжел, что это уже почти конец.

Отец держится твердо, будто заледенел на кладбищенском морозе, не шевельнется, не сморгнет, никого не видит, не отвечает, но вдруг подламываются ноги, грохается на колени, меховая шапка отлетела, головой в снег... Потом провожаем его на Финляндский вокзал. Савва простил отцу все, тоже поехал провожать. Савва убеждает отца: «А ты в Гельсингфорсе не теряйся, затевай заваруху! Человек ты наш, умственный пролетарий, тебя самого буржуи корячат!» Отец вздыхает: «Не так это просто...» — «Да ты начинай, примкни!» Отец говорит, что приедет в феврале снова и тогда решим,

как быть: я к нему или он к нам. Но решать-то нечего. Он хороший чужой человек. В феврале он не приезжает, потому что в конце января там без его помощи затевается «заваруха» — сначала красногвардейцы, потом немцы, все там завертелось, отрезалось, получил какую-то открытку, когда вернулся с Урала, и потом исчезло навеки. Столько людей исчезло. Наступает великий круговорот: людей, испытаний, надежд, убивания во имя истины. Но мы не догадываемся, что нам предстоит. Нам кажется, стоит разгромить калединцев, рассеять банды Дутова на востоке — и революция победит во всей стране. Победа близка! Оренбург уже взят нами в январе! Дело двух-трех месяцев...

Так думаю не только я, но и Шура, и многие. Шура работает в Коллегии по организации Красной Армии. Я помогаю: перепечатываю на больших глянцевых листах ведомости. Называются бумаги так: «Информационный лист. Движение организации Красной Армии по России». Что, где, сколько, какие трудности... Помню, почти везде: нужны деньги, агитаторы, литература... Нужны два, три миллиона рублей... Вначале похоже на какую-то бумажную игру. И нас, играющих в эту игру в помещении Коллегии, немного. Потом оттуда выходит непобедимая сила.

Старики ни черта не помнят, путают, врут, им верить нельзя. Неужто и я? И мне? Ведь отлично помню, Мигулин коренаст, плечист, среднего роста. Руки необыкновенно сильны. Руки не кавалериста, а кузнеца. Партию новых сапог привезли снабженцы. Мигулин на снабженцев за что-то в большом гневе. Схватил сапог и разодрал руками по шву. «Вот какую гниль, собаки, привозите!» После него никто не мог, как ни пыхтели, ни один сапог разорвать. Сапоги были нормальные. Года четыре назад в Ростове в музее разговариваю со стариками, смотрю фотографии. Все Мигулина хорошо помнят. Один старик говорит: «Я был мальчишкой. Видел его в Ростове. Он был худощавый, стройный, как юноша. Лет тридцати...» Другой старик возражает: «Нет, ему сорок пять лет, когда он погиб». Третий старик, низкоросленький, говорит: «Он был небольшой. С меня ростом». И ведь каждый считает, что только он знает истину. Еще один там же, в Ростове, допрашивал с пристрастием: «А ты скажи, коли ты его видел, какая у него самая отличительная черта? В его внешности?» Я был в затруднении. Он сказал с торжеством: «Самая

отличительная — левый глаз прищуривался в минуты волнения!» Про глаз совершенно ничего не помню. Вполне возможно, что врет.

А Каледин застрелился, кажется, в начале восемнадцатого. Чуть ли не в январе. Это значило: конец, полное отчаяние. Донские станицы объявляли о признании советской власти. Пожара на Дону могло не быть.

Прощание с Володей, выпал первый снег. Несколько дней после Октябрьского восстания. Я поехал в «Электрическое общество 1886 года» платить за все лето, мама почему-то не хотела, но Шура дал деньги и велел поехать и заплатить, на обратном пути у дома столкнулся с Володей. Он показывает телеграмму: «Заболела приезжай срочно». Потом оказалось, что мать просто вызывала его, испугавшись событий. Билеты на поезд достать немыслимо. Все рвутся из Питера. Володя ждет меня целый час: хочет, чтоб я поговорил с Шурой, чтоб тот достал. Пока Шуры нет, мы сидим с Володей в большой комнате — хозяева смылись, теперь вся квартира принадлежит нам — и при свечах роемся в громадной библиотеке. Хозяином квартиры был управляющий Трубочного завода. Я видел его несколько раз. Неприятный тип. Маме говорил «мадам». И всегда что-нибудь колкое: «Мадам, не обидитесь, если сделаю замечание, отнюдь не политического характера, вашему другу-матросу... Ради бога, не обижайтесь... Дайте деликатно понять, что не следует в туалете садиться орлом. Туалет — вещь хрупкая, а матрос весит пудов семь». У мамы после разговора с ним белеет лицо. Но она сдерживается. Внезапно управляющий со всей семьей собрался и уехал, не сказав куда. Даже записки не оставили. Просто мы пришли домой очень поздно, около полуночи, и удивились — дверь на лестничную площадку распахнута, внутри тоже все раскрыто, на полу бумаги, обрывки газет, веревок, как после грабежа. Теперь сидим, листаем чужие книги, есть много ценных и замечательных.

Володя говорит: нужно два билета до Камышина, с ним поедет земляк, студент. Но врать Володя не умеет. Вижу отчетливо: врет. Не смотрит в глаза, нервничает, то и дело подбегает к окну,— ему кажется, что подъехал автомобиль. Электричество не горит. На улице мрак.

Если высунуться из окна, можно увидеть вдалеке костер на Большом проспекте. Я спрашиваю: «Что с тобой происходит? Ведь ты врешь».— «Вру».— «А зачем?» Пожимает плечами: «Да черт меня знает... Я еду с Асей».

Вот и все. Забытая боль.

Володя начинает бурно, торопясь, рассказывать: сомнения, колебания, мучительные подробности... Я спрашиваю: «Ты читал статью о масонах в последнем номере «Былого»? Не хочу его слушать. Не хочу ничего знать. Внезапно стук в дверь. Шура подъезжает на автомобиле, шофер всегда сигналит в клаксон у подъезда, а мама звонит в особый звонок. «Кто?» Мужской голос отвечает не сразу: «Здесь живет Александр Пименович Данилов?»

Входит некто в полушубке, меховой шапке-ушанке, охотничьих сапогах, но при этом темные очки, иссохшее остроносое лицо, в руке не соответствующий полушубку дорожный баул иностранного облика.

«Шигонцев Леонтий Викторович»,— представляется некто, сняв меховую шапку, обнажив странно узкий, вытянутый кверху череп. Этот череп поражает сразу. В нем какие-то вмятины над висками, которые суживают его еще сильнее. Человек со странным черепом, похожим на плохо испеченный хлеб, сыграл заметную роль в моей жизни, и тогда, и в девятнадцатом, и отбросил тень на годы вперед. Поэтому хорошо помню первое появление. Сразу догадываюсь, что человек, называющий Шуру Александром Пименовичем Даниловым, должен знать его давно, может, по каторге или по ссылке. Такие люди возникают часто. Особенно много нагрянуло весной, жили у нас по неделям, но этот что-то припозднился. Откуда он?

«Из Австралии»,— говорит Шигонцев. Все верно, Шуру знает по тобольской каторге. Потом перевели в Горный Зерентуй, потом в ссылку, оттуда бежал, попал в Австралию, вернулся два месяца назад во Владивосток. И только теперь, второй день — в Питере. «Еще никого не видел, ничего не знаю, первым делом бросаюсь искать Александра. Ведь как мечтали в тобольских п а л я х, чтобы, когда случится революция, быть вместе в Питере. И долги свои стребовать». Какие долги? «Всякие! Все! Весь мир у нас в долгу!» Шигонцев широко разводит руки, будто обнимая и стискивая воображаемый мир или, может быть, очень большую женщину, потрясает руками, улыбается, подмигивает, все как-

то неестественно бурно и откровенно, я вижу, как сверкают под очками маленькие темно-грифельные глаза, в них лукавый задор. И любит в разговоре оскаливаться, как бы от страсти, от нетерпения, тяжело дыша, показывая стиснутые зубы. Никогда не видел такого темпераментного, несколько комичного революционера. Все прежние, бывавшие в нашем доме, были люди степенные, молчальники. А этот не закрывает рта всю ночь. Приходят Шура, мама, садимся пить чай, Володя просит Шуру насчет билетов, тот куда-то звонит, распоряжается, мама рассказывает о последних новостях — Духонин смещен, Главковерхом назначен прапорщик Крыленко, двенадцатого будут выборы в Учредительное собрание,— и все это переплетается или, лучше сказать, сопровождается неумолчным говором Шигонцева.

Он говорит даже тогда, когда его не слушают. Похоже, он изжаждался и по возможности молоть языком... Бог ты мой, о чем только не рассказывает! О бегстве из Сибири, о духоборах, о тайных курильнях опиума, о коварстве меньшевиков, о плаванье по морю, об Австралии, о жизни коммуной, о своих подругах, которые не захотели возвращаться в Россию, о том, что человечество погибнет, если не изменит психический строй, не откажется от чувств, от эмоций... Шура называет своего приятеля шутя Граф Монте-Кристо.

Но потом все поворачивается такой стороной, что не до шуток. Правда, происходит не сразу. Года через полтора. А тогда, в ноябре семнадцатого, разговоры, веселье, вспоминают друзей, кто исчез, кто перекрасился, многие очутились в Питере, включились в борьбу, Егор Самсонов, например, возглавил путиловскую милицию, теперь верховодит в Красной гвардии. «Егорка жив? — кричит Шигонцев.— Он здесь? Ого, значит, наша восьмая камера у российского штурвала. Так и быть должно!» Егор прославился на каторге стихами и избиением доносчиков. Я его знаю. Он приземистый, мрачноватый, в пенсне. У всех почему-то худо с глазами. Шигонцев с возбуждением, будто выпил вина — хотя ничего, кроме чая, не пито,— рвется тотчас бежать искать Егора. Но это невозможно. Тогда они начинают вдвоем, вперебивку, вспоминая, читать стихи Егора о каторге.

«Звонок подымет нас в ноябрьской мутной рани, и свет чадящих ламп...» — выкрикивает Шигонцев и замолкает, забыл. «Сметет обрывки грез»,— подсказывает Шура. «И окрик бешеный, и град площадной бра-

ни...» — продолжает Шигонцев, и вместе: «Пора вставать! Эй, подымайся, пес!»

У Шигонцева из-под очков ползет влага. Вытирает щеки дрожащими пальцами. Придется человечеству погибать — от чувств спасения нет.

«Вы, упрямцы, умевшие все снести без мольбы и проклятий, обнажавшие молча на плахе клейменые плечи... Вы уйдете отсюда, как гонцы и предтечи все отвергнувшей и на все покусившейся братии...» Знали бы, что случится через три месяца: в Ростове, куда Егор ворвется со своим петроградским отрядом, Шигонцев будет обвинять его в мягкосердечии и требовать предания суду трибунала. А сейчас плачет от невозможности увидеть Егора немедля, сию минуту. И еще рассказывает в тот вечер какие-то студенческие истории: кружки, изгнание, разговор с приват-доцентом, администратором, сволочью, от него зависела судьба, унизительное стояние на ковре, жуковидный инородец за громадным столом, лакей мерзко стоит в дверях, бормотанье, мольба — пожалеть мать. Единственно ради чего: мать не переживет нового исключения. Ледяным тоном: «Зачем же перекладываете заботу о матери на нас? Вот и заботились бы о ней своевременно». Мать не пережила. Долго ждал сладкой минуты, лелеял в австралийских снах приход в тот самый кабинет с ковром — дай бог, чтобы не реквизировали, чтоб сидел за тем же столом, царапал что-нибудь жучьей лапкой,— и взять за подбородок: «А помнишь, скот?..»

И, кажется, достиг, настиг. Не в кабинете, правда, и не в том особняке на набережной, со швейцаром и лакеями, а на Финляндском вокзале — выковырял его из купе, из чемоданов, еще бы час, и поминай как звали. В декабре Шигонцев потрошил укрывателей ценностей и много в том преуспел. На улице раздается стрельба. Очень холодно в комнатах. Тянется мглистая стреляющая ночь, в ее чреве — враги, опасности, заговоры, неизвестность, оплывают свечи, гудят, и курят, и хлебают чай два каторжанина, Володя ушел, мама дремлет, а я слушаю, зеваю, мечтаю, догадываюсь. Перевернулось все в России, понеслось, полетело... В середине ночи, когда все укладываются — квартира громадная, каждому по комнате,— мама заходит к Шуре, спрашивает тихо: «Ты как считаешь, Леонтий умный?» А я все слышу, потому что открыта дверь. Шура, помолчав: «Не столько умный, сколько горячий. Я бы сказал, кипя-

щий...» — «А я бы сказала: много пены»,— говорит мама. Оба смеются. Бесконечно понимают и любят друг друга.

А за завтраком мама рассказывает, что Шигонцев на рассвете ломился к ней в комнату, требовал, чтоб отворила. С совершенно ясной целью. «На него похоже,— говорит Шура.— Что ты ему ответила, дураку?» — «Он не дурак. Просто вот такой человек. Я даже не знаю, на кого он похож. На героев Чернышевского, что ли? На Нечаева, может быть, как описывает Засулич? Таких людей я знаю... Я говорю: Леонтий Викторович, ведь вы призываете человечество побеждать в себе эмоции. А он отвечает: об эмоциях, Ирина, тут нет речи. А? Каково?» Мне это кажется возмутительным, но Шура и мама смеются. Шура говорит: «Врать никогда не умел, это его достоинство...— И добавляет всерьез: — Впрочем, врать порой необходимо — для дела...»

Трещащий храп летит из соседней комнаты.

Шура вспоминает, морщит обугленный лоб, улыбается: был бич восьмой камеры Тобольского централа. Неповторимые люди! Похожих на земле нет, время пережгло их дотла...

Ася прижимается к Володиному плечу, слезы текут по жалкому, потерянному лицу, никогда не видел ее такой. Елена Федоровна сидит напротив и, даже не ответив на мое «здравствуйте», так поглощена минутой, выговаривает едва слышно: «Наша настоятельная просьба... Когда святейший синод даст разрешение на брак...» Константин Иванович маячит в дверях, заходить в купе не желает, да и некуда, теснота, едут кроме Володи и Аси еще человек шесть, сидят на лавках вплотную, как в трамвае, Константин Иванович поминутно изгибается и извиняется, пропуская прущую по коридору толпу с поклажей. И куда прут? Где все поместятся? «Леночка, не волнуйся! Леночка, у меня есть рука в синоде, есть ход к Василию Карповичу...» Он разговаривает с нею, как с больной. Не возражает ни в чем, соглашается, поддакивает всякому бреду, какой она несет. Может, она и правда слегка тронулась. Какой, к чертям собачьим, синод? Какое разрешение на брак? Никто не спрашивает никаких разрешений. Девять человек набиваются в купе, где должны ехать четверо. Синод, вероятно, уже уничтожен декретом. Не имеет

значения. Мне горько, ошеломительно, от меня скрывали, я прощаюсь с ними навсегда. Но не имеет ровно никакого значения. А Володино лицо — невольная улыбка и глаза, в них жадное, всепожирающее счастье...

Больше года не слышу, не знаю о них ничего. Утянуло в воронку, и исчезли. Все без них: поездка с Шурой на юг, экспедиция Наркомвоена, потом чехи, Урал, Третья армия, отступление, Пермь, я стал другим человеком, видел смерть, хоронил друзей. И только в феврале 1919 года, когда Шуру после ранения послали на Южный фронт, вернее, в тыл Южного фронта, в освобожденные районы, и мы оказались на Северном Дону, я слышу от кого-то про Володю, будто он вместе с Асей, женой, при штабе Мигулина, в Девятой армии. Не могу поверить. Да тот ли Володя? Тот самый, камышинский, питерский, по фамилии Секачев. Такой высокий, курчавый, с румянцем, лет ему не более двадцати, а то и меньше, и ей столько же. Он в пулеметной команде при штабе, а она машинисткой. Приказы печатает и разные воззвания, листовки, даже стихи, которые Мигулин сочиняет и разбрасывает тысячами. Мы эти мигулинские творения находим повсюду на его следах. «Братья-казаки Каргинского полка! Пора опомниться! Пора поставить винтовки в козлы и побеседовать не языком этих винтовок, а человеческим языком...»

Но как Володя и Ася очутились в штабе красных войск? И не просто в штабе, а в сердцевине самой победоносной и знаменитой в ту пору армии? Мигулин ломит на юг. Небывалый успех. Почти вся Донщина освобождена, красновская армия развалилась, катится к Новочеркасску, падение донской столицы — дело дней... А я-то подумывал, что Володя и Ася чахнут где-нибудь в Екатеринодаре, а то, может, махнули в Болгарию, Турцию... Но увидеть их не могу. Они на юге, мы с Шурой — в станице Михайлинской, в ревтрибунале округа. Между нами сотни верст.

О Мигулине мы знаем по разговорам. Говорят о нем повсюду и все, и — разное. Кроме того, что он самый видный красный казак — после гибели Подтелкова и Кривошлыкова, недавней смерти Ковалева крупней нету,— кроме того, что войсковой старшина, искусный военачальник, казаками северных округов уважаем без-

мерно, атаманами ненавидим люто и Красновым припечатан как «Иуда донской земли», кроме этого, общеизвестного, на нас обрушиваются во множестве слухи, выдумки, байки и просто подробности жизни, ибо мы попали в его края. Родной хутор Мигулина в десяти верстах. Каков он? Шут его поймет, фигура странная, зыбкая, то мерещится в ней одно, то брезжит другое. Называет себя не без гордости старым революционером. В своих пылких воззваниях, писанных в провинциальном, гимназическом стиле, очень искренне и шумливо, которые тискает на чем попало — на обоях, на оберточной конфетной бумаге, повторяет то и дело: «Я, как опытный революционер...», «Мне, как старому борцу с царским режимом...» И, кажется, тут не просто слова. Но иные люди, вроде председателя Михайлинского ревкома Бычина, говорят, что брешет, никаким революционером не был, а просто горлопанил на сходах. Да однажды ездил на казенный счет в Питер, отвозил в Думу какие-то писульки, пустое дело.

Меня этот тип занимает. И не только тем, что Володя и Ася где-то там, поблизости. И не тем, что газеты трубят о нем: герой, победитель донской контрреволюции, непобедимый, неуязвимый. Красновцы целыми полками перебегают к нему. И вдруг столь же внезапно его покидают... Один раненый казак рассказывает: Мигулин отпускает пленных казаков по домам. Чтоб «пущали пропаганду». Но от ревкома другие сведения: пленных освобождает потому, что не может победить в себе сочувствия к брату-казаку. В первую очередь он казак, а потом уж революционер. Мигулин ведет двойную игру! Так поговаривают в ревкомах, в штабах, в трибуналах. На чем основано? И опять зыбкость, туман, невнятица... О какой же игре речь, когда он на Донце?

Один кудлатый седоватый молодой человек, издающий газетку политотдела, недоучившийся студент Наум Орлик говорит: он опасен тем, что скрытый сепаратист. Хочет сделать из Дона что-то вроде Финляндии. Это тщательно скрывается, но люди, знающие его по прошлым годам, утверждают доподлинно: сепаратист. Хотя клянется сейчас в верности большевикам, но все помнят прежние симпатии: он был трудовиком, затем народным социалистом. В Питере был близок к донским депутатам. «А если хочешь точнее: он истинный донской националист! Со всеми милыми качествами. И к тому

же,— Орлик встряхивает кулаком, будто печать ставит в воздухе,— с эсеровской начинкой!»

Спорить с Орликом трудно. Он все знает заранее, ни в чем не сомневается. Люди для него — вроде химических соединений, которые он мгновенно, как опытный химик, разлагает на элементы. Такой-то наполовину марксист, на четверть неокантианец и на четверть махист. Такой-то большевик лишь на десять процентов, снаружи, а нутро меньшевистское. «А ты,— говорит мне,— стихийный, неустойчивый большевик. В тебе сильна либеральщина. Ты на две трети наш, а на треть — гнилой интеллигент». Черт его знает, откуда он это берет! Может, оттого, что я спорю с ним и с другими ревкомовцами насчет расстрелов и реквизиций.

А мне кажется, что главный предмет спора с Орликом, всех споров со всеми — Мигулин. Если понять или хотя бы решить для себя, что он такое, станет ясно многое.

Несмотря на наши споры и даже ругань, я с Орликом дружу. Я его уважаю. Мне кажется, что он мой товарищ, хотя он старше на десять лет и участвовал как дружинник в революции пятого года, побывал в ссылке, мучился, бедствовал, левая рука у него перебита шашкой, не действует. В енисейской ссылке он перечитал уйму книг и знает в сто раз больше меня. И в двадцать раз больше Шуры. Ведь Шура не очень много читал. И все же Шуре я доверяю больше. «Сначала собрать факты,— говорит Шура,— а потом делать выводы. Наум, как всегда, торопится».

Шура — человек кропотливый, основательный. Любитель статистики.

А факты такие: Мигулину теперь сорок шесть. Если он и революционер, то действительно старый. Но, говорят, еще крепок, силен и в походе, и в скачках, в рубке, во всех казацких занятиях ловок. Все подтверждают и другое — образованный, книгочей, грамотней его не сыскать, сначала учился в церковноприходской, потом в гимназии, в Новочеркасском юнкерском, и все своим горбом, натужливыми стараниями, помочь некому, он из бедняков, и, когда выбирали, кого посылать в Петербург, в Думу, с приговором станичного сбора насчет призывников, выбрали его. Потому что выступил на сборе зажигательно. Девятьсот шестой год. Он только что вернулся с полком из Маньчжурии, заслужил там четыре ордена и повышение в чине — стал подъеса-

улом. А в родной станице на сборе сразу врезался в стычку с начальством. Дело касалось больного и травленого в казачьей душе — того, что называлось «содействие войск гражданским властям». Как раз в ту пору правительство решило усилить «внутренние» войска и призвать казаков второй и третьей очередей да еще тех, кто вернулся с японской. Мало им казачьих частей в гарнизонах! Глупо думать, что нагаечная служба всем по нутру. Стали повсюду на сборах протестовать. Мой хозяин в Михайлинской вспоминает: молодые орали смело, старики пытались вразумлять, но без особого пыла. Мигулин поехал в Питер с наказом от станичников, чтоб вторую и третью очереди не тянули, а на обратном пути внезапный арест, гауптвахта в Новочеркасске, лишение офицерского звания и отчисление из войска... Ну как, считать ли это событие революционным актом? По мне, так непременно. Для казачьего офицера такое выступление против властей — дело неслыханное. А уж для личной судьбы тут подлинно революционный зигзаг — все сломано, карьера рухнула, служба потеряна...

Потом работа в земельном отделе в Ростове, потом начало войны, призыв в войско, 33-й казачий полк... Бои, награды, кажется, и георгиевское оружие... Февраль... Когда мы с Володей и Асей бегаем по питерским улицам, собирая на Совет, Мигулин рвет глотку на митингах то в полку, то в родной станице. Сколотил трудовиков, возглавил. Его — кандидатом в Учредительное собрание. О да! Удивляться не следует, люди в наши дни кидаются туда-сюда шало, нежданно, как в угаре. Еще недавно какой-нибудь военспец костерил солдат и звал в бой «до победного», а нынче кричит большевистские лозунги. А другой вчера в нашем штабе сидел, чертил схемы, распоряжался, а сегодня у добровольцев французские сигаретки курит. Вроде Всеволодова и Носовича, бывших спецов, ныне каинов...

Полковники! Страшный сон комиссаров. Как заглянуть в чужую душу? Как угадать, честно ли, по искреннему порыву, по глубокому ли размышлению решили спороть погоны и нахлобучить шлемы со звездой или же тут дьявольский, дальний расчет? А времени для того, чтобы изучать и приглядываться, нет.

Ведь и Мигулин — войсковой старшина, подполковник.

Никто не говорит прямо, что Мигулин может по-

вернуть штыки — да и странно говорить, когда Девятая армия, в авангарде которой Мигулин, мощно таранит белых! — но в разговорах ревкомовцев, уполномоченных, трибунальцев из местных одно устойчивое: недоверие. Или, может быть, чтобы уж совсем точно: неполное доверие. Таранить-то он таранит, очистил почти весь Дон, но зачем ему это нужно, вот закавыка. Что-то в этом роде, невыговариваемое, глухое, но невероятно прочное, не победимое ничем, я чую во всех разговорах о Мигулине. «Поимейте в виду,— говорит Бычин,— Мигулин что большевиков, что беляков любит одинаково: как собака палку!»

Я бы, может, и поверил Бычину, он местный, михайлинский, хотя не казак, а иногородный, его отец служил в работниках у богатого казака, сам Колька рыбачил на Азове, вернулся большевиком и сразу выбился в красные атаманы — председателем ревкома. Голова у Бычина, как стог, книзу шире, лицо бурое, глаза щелками, голубые, в свинцовых белках, а волосы льняные, младенческие. Кулаки у Бычина пудовые, носит он их, как гири. Я бы поверил ему, если б не Слабосердов. Учитель Слабосердов. Человек в возрасте, под пятьдесят — теперь подумать, какой возраст! — жене столько же, у них два сына, меня чуть старше, бывшие студенты, нигде не служат, не работают, не поймешь, чем занимаются. Мы-то с Шурой откуда знаем? Борьба кипит злая, без пощады. Кто промахнулся, тому пулю в лоб. Так и быть должно в период классовых битв. Всех богатеев, монархистов, связанных с красновцами, человек сорок по списку Бычина, мы задержали сразу, а Слабосердовых взять повода нет — никакие не богачи, не контрреволюционеры, а наоборот, с прежней властью бывали стычки.

Однако Бычин настаивает. Нам-то с Шурой откуда знать? Мы одно знаем: промахнешься — пулю в лоб.

«Старика нам даром не нужно,— объясняет Бычин,— пущай живет, гнида лысая, а молодцов — под залог. От них революции вред». Шура колеблется. Бычин так: сказал — все! Мужик тяжелый, ни с кем не считается, никакого спору не терпит, Шура говорит, что таких долдонов он на каторге встречал, сперва, говорит, их побаиваются, а потом лупят скопом до полусмерти, но, однако, время лютое, враги вокруг, и тяжелые мужики нужны. Каждый день: то ревкомовца зарубили, то кого подстрелили, то отряд, высланный произве-

сти реквизицию, натолкнулся на пулеметы и приходится разворачивать настоящий бой. Все зыбко, неспокойно, запутано — оно и радость, ликование газет, победные клики на митингах и какая-то тайная лихорадка, предчувствие потрясений. Потому что ходим по краю. Шуре многое не по нраву из того, что делается на Дону. Он ругается иной раз до крика, до безобразнейших оскорблений с местными ревкомовцами, с Бычиным, Гайлитом, со своими трибунальскими, с людьми из Донревкома, от чьего имени вдруг нагрянул в Михайлинскую наш приятель Леонтий Шигонцев.

Вспоминать смех, какую глупость творили: лампасы носить запрещено, казаком называться нельзя, даже слово «станица» упразднили, надо говорить «волость». Будто в словах и лампасах дело! Вздумали за три месяца перестругать народ. Бог ты мой, вот дров наломано в ту весну! И все от какого-то спеха, страха, от безумной нутряной лихорадки — закрепить, перестроить разом, навсегда, навеки! — потому что полки прошли, дивизии проскакали, а почва живая, колышется... Конечно, были среди них враги истинные, ненавистники лютые, были богатеи, несокрушимые в злобе, их не переделать, не примирить, только огнем... Но нельзя же под один гребень всех...

Бычин говорит: «А я всему их гадскому племени не верю! Потому что нас завсегда душили. За людей не считали. Мужик и мужик, лепешка коровья. У них для нас доброго слова нет...» — «Никому не веришь?» — «Никому!» — «Неужто все таковы?» — «Все волки; только одни зубы кажут, а другие морду к земле гнут, так что не видать».

Шура объясняет терпеливо: казак казаку рознь, в южных округах, к примеру, средний казачий надел двадцать — двадцать пять десятин, а на севере — две, четыре десятины... Как же равнять?.. То же насчет казачьих прав и привилегий: в низовьях они имеют значение, а на севере почти бесполезны... Возьмите хоть права на рыбную ловлю, на недра... Юг всегда жил в ущерб северу... Марксизм учит: бытие определяет сознание. А бытие тут отнюдь не равное...

...Бычин все знает про марксизм, согласно кивает головой, похожей на стог, но в глазах, белых, неподкупных, свинец.

«Верно, бывает и голытьба, и рвань. Только знаешь, Александр Пименович, когда моего брата чуть не уби-

ли, кнутами засекли — он и досе инвалид,— там не одни богачи, там и рвань была, зверствовали не хуже». А секли брата, оказывается, «по молодому делу, учителеву дочку в саду помял». «Выходит, за дело?» — «Как за дело, Александр Пименович? Он по любви, жениться хотел, а они — ты, мол, хам и думать не моги... Обидно! Мы казаки, белая кость, а ты гужеед, скотина, тебе навоз копать. Они хотя учителя, но буржуи чистой воды. У них два работника постоянно. Американская косилка, лошадей табун, табунщик есть, калмык. Дом самолучший, на каменном фундаменте, в два этажа. И еще в Ельце дом — его, учителя. А здешний-то достался в приданое, она дочка Творогова, станичного атамана. Так что семья известная. От них вред для революции очень большой». Было давно, лет пять назад, сыновья учителя тогда еще были гимназисты, а теперь под замком в съезжей. Бычин до них добрался. Ему видней, он здешних знает. И вот, когда сыновей взяли, суток двое они в подвале сидят, является к нам Слабосердов, лобастый такой бородач, одетый по-городскому, в длинном черном пальто с меховым воротником, в шляпе и в сапогах грязных — упала оттепель, грязь невпролаз.

Сидим в комнате — Шура, Бычин, его помощник Яшка Гайлит, брат Петьки, еще человека три,— обсуждаем новость, приказ Донревкома, присланный телеграфом. Насчет реквизиции конской упряжи с телегами. И Орлик тут. Приказ — бомба. Не знаем, как приступить. Получен вчера, держим в секрете, но слухи непонятным образом просочились и ползут по станице, как огонь по сухой траве. И это страшней всего. Если уж бить, так сразу. Один ревкомовец сообщает, какие-то казаки гнали ночью коней с порожними телегами в степь, сам видел. Хотел остановить, кричал, в ответ стрельба, ускакали. Так и не узнал, кто. Разумеется, было б верней навалиться тотчас, как получена телеграмма, то есть позавчера, пока народ не прочухал и не прознал, внезапность в таких делах нужней всего. Но возник тормоз — Шура мнется, кое-кто из местных казаков-ревкомовцев тоже кряхтит, а Бычин и Гайлит гнут свое: исполнять немедленно. Спорим, орем. Исполнять тотчас нельзя вот почему: красноармейский отряд в разгоне, по просьбе ревкома станицы Старосельской послан туда, казаки волнуются из-за комиссара-австрийца, который дóнял нелепыми распоряжениями, а начинать без отряда немыслимо. Шура отправил в Донрев-

ком телеграмму: «Прошу отменить приказ реквизиции конской упряжи телег обстановка неблагоприятная»,— на что последовал быстрый ответ: «Обсуждение приказов не входит выполняйте».

У нас девять штыков. Охрана тюрьмы и трибунальский конвой. Если пойдет гладко, можно обойтись девятью, а если не гладко? Утром прискакал нарочный из Старосельской с сообщением, что отряд задерживается, комиссар-австриец убит, отряд подвергся бандитскому нападению, бандиты разгромлены, в станице тихо, но необходимы меры возмездия. Вот отчего задержка. Февраль девятнадцатого. Темные ночи, ветра, непроглядность, озноб...

Входит учитель Слабосердов.

Бычин вскакивает. «Кто пустил?» — «Да ваш караульный спит...» Караульный, старый казачишко Мокеич — вскоре зарубили филипповцы,— дремлет на крыльце. Чего ж не дремать? Все измотаны, изломаны ночами без сна. Бычинский стог — лицо — похудел, опал, в обвод глаз синяками круги. Машет на учителя руками, выгоняя его, как муху, в дверь: «Нет, нету, нету, нету время на разговоры! Потом зайдешь!» Но Слабосердов проходит к лавке, садится. «Потом нельзя. Будет поздно». Яшка Гайлит подошел к нему, строго: «Идите отсюда сейчас!» Учитель снял шляпу, зажмурился, качает головой. Я вижу, лицо в поту и губы дрожат. И говорю, что нельзя прогонять человека. Орлик тоже: «Пускай скажет, зачем пришел!» Бычин и Шура всегда немного как бы толкаются плечами на заседаниях, как бы скрытно соперничают и мерятся властью. Бычин — председатель ревкома и член окружного трибунала, а Шура — председатель трибунала и член ревкома. Но Бычин хотя и надувается, как павлин, а все же понимает разумом: Шура ему неровня, он в партии полтора года, а Шура — пятнадцать лет. Разница! Поэтому то криклив, задирист и хочет глупо надавить, заставить сделать посвоему, а то вдруг — прорывается разумение — почтителен, искателен даже. И теперь почему-то с почтительностью: «Александр Пименович, как считаешь, допустим гражданина до разговора? Или пущай завтра зайдет? Да это Слабосердов, учитель, на дочке атамана Творогова женатый. Его сыны в залоге сидят, как враждебный элемент».

«Говорите,— обращается Шура к учителю, только кратко. Времени крайне мало».

Бычин грозит пальцем: «И насчет сынов не проси! Разговор конченый».

Слабосердов будто бы спокойно — а пальцы дрожат, мнут старую шляпу — заводит длинную ахинею насчет казачества, его истории, происхождения, нравов, обычаев... Шура глядит на учителя пристально, лицо Бычина наливается бурой краской, ему кажется, что его дурачат. Вдруг выпаливает: «Ты чего плетешь?» И Наум Орлик добавляет: нет времени слушать лекции по истории. В другой раз, на досуге, после победы мировой революции. Но Слабосердов вдруг твердо: «Однако, граждане, вы решаете исторические вопросы. Так что историю вспомнить не грех».

«Куда клоните?» — хмурится Шура.

«Клоню к тому, что в станице гудят. Будто есть приказ реквизировать повозки, седла, конскую упряжь — все казацкое богатство, без которого жизни нет. Вы хоть понимаете, что это будет? Он вам скорее жену отдаст, чем седла и упряжь».— «Все отдаст, что революция потребует»,— говорит Орлик. «А не отдаст — во!»— Бычин подносит к лицу Слабосердова кулак, похожий на гирю. Учитель не замечает кулака, не слышит того, что говорит Орлик.

«Я пришел, граждане, предупредить... Надо слишком мало знать казачество, чтобы полагать, что можно бесконечно на него жать: сначала контрибуцию на богатые дворы в пользу какого-то отряда, которого никто не звал, свалился на нас невесть откуда... Потом реквизиция хлеба, фуража...»

«Отряд, который занимался тут контрибуциями, был анархистский,— говорит Шура.— Советская власть не имеет к нему отношения».

«Да что вы с ним балы разводите! — кричит заместитель Бычина по ревкому, черный, с плоским, калмыцкого типа лицом Усмарь.— Обнаружился, гад! В расход его!»

Но Шура: нет, пускай доскажет. Учитель говорит: если вправду есть такой приказ и начнут его выполнять, в станице будет бунт. Не пустая угроза, а реальная. Он, Слабосердов, пришел не пугать, не грозить, пришел не от какого-то комитета, а от себя самого — всю жизнь он собирает материалы по истории казачества, пишет книгу, знает казаков хорошо и смеет думать, что не ошибается и сейчас. Дошло до края. События разразятся трагические. И уж тем более, если ра-

выграются взаимное озлобление и месть — если жертвами падут заложники... «Да вы сознаете, что происходит в России? — спрашивает Шура.— Или мы мировую буржуазию в бараний рог, или она нас. А вы допотопными понятиями живете: «трагические события», «месть», «озлобление». Тут смертный классовый бой, понятно вам?»

«Я теории Маркса не отрицаю, гражданин Данилов, я с нею знаком, даже увлекался в какой-то мере, но согласитесь, теория — одно, практика — другое. Чувство мести, к сожалению, может примешиваться, как ни прискорбно...»

Странное впечатление: бессмысленной нелепой деликатности и чего-то твердого, негнущегося, какого-то несуразного торчка. Сразу вижу, не жилец. Ничего не понимает. И его не понимает никто.

«Не слухайте его! Пошел отсюда, ворона! Раскаркался!» Это Усмарь. Он озлоблен против учителя больше других, даже больше Бычина. Федя Усмарь — из казаков-середняков, смуглый, корявый, отчетливо помню плоское, блином лицо, всегда прищуренные глаза, не видно, куда глядит... Вскоре открылось — агент белых. По его указке деникинцы, захватив Михайлинскую, вырубили всех, кто помогал ревкому. А Бычин — балда. Оттого и погиб.

Усмарь показывает учителю наган. «За провокацию знаешь что? Ведь ты провокатор!» — «Не боюсь вас, граждане...» Вдруг силы покидают учителя, шляпа выскальзывает из рук. Слабым голосом старик говорит: «Но невинных людей зачем же? За что моим детям такая казнь?.. Я вас умоляю, гражданин Данилов, не поступайте необдуманно...» По лицу Слабосердова текут слезы. Они сами по себе, а лицо грубо, мертво застыло.

«Ах, вона? Боится восстания, потому что сынов расстреляем, как заложников?» Слабосердов молчит. Да и так ясно. Пришел ради них. Однако остановить ничего нельзя, приказ должен быть выполнен.

В разбитое окно летит ветер, пахнущий сладко и гнило: землей, далью, теплом. Февраль девятнадцатого. Девятая армия бьется лбом в Северский Донец, но, кажется, силы и напор на излете. Мы чуем эту лихорадку. Казаки угадывают ее в воздухе, в котором что-то надломилось, поплыло, как кусок льда в талой воде. В Старосельскую посылают затемно гонца. Тот возвращается

к вечеру другого дня с неясными сведениями: в станице тихо, глухо, шесть человек, обвиненных в убийстве комиссара, расстреляны, человек двадцать взяты заложниками, но командир отряда матрос Чевгун не спешит покидать станицу. Передал Шуре через гонца всего три слова: «Достаточно малой искры». И в этот предгрозовой воздух, в обманную тишь сваливаются внезапно сначала Володя и Ася, а спустя день Шигонцев.

Не виделись год и три месяца, огрубели, ожесточели неузнаваемо, а внутри все то же, та же единственность, та же теплота до боли. Ведь, казалось, должно было вылететь, забыться и отпасть навсегда — таким вихрем разметало. Нет, ничего, никуда. И в первую секунду, в первый час было как будто совершенно все равно, отсутствовало то, что она с ним, и уже не просто подруга, а жена, они даже говорили одними фразами, один начинал, другой договаривал, слишком часто бросали друг на друга взгляды, беглые и необязательные, но исполненные привычного внимания, машинального ощупывания — так ли? здесь ли? — и это вовсе тоже не задевало, а было как бы усилением той теплоты памяти, вдруг нахлынувшей, потому что они двое были нерасторжимость, одно. Это потом началась, и быстро — мука...

Как попали к Мигулину? Все тот же случай, поток, зацепило, поволокло. Из-за отца Володи, внезапно возникшего. Тот был с кем-то дружен из мигулинского штаба и еще весной восемнадцатого, когда Мигулин сколачивал первые отряды в донецких степях, пристал к нему. Отец Володи погиб в бронепоезде, взорванном гайдамаками. Так и вышло: отец каким-то краем прибился к Мигулину, Володя — к отцу, а уж Ася — с ним. Разломилась семья, как спелый подсолнух. А что с родителями? Бог знает, то ли в Ростове, то ли в Новочеркасске, а может, укатили дальше на юг. Какой-то пленный рассказал, будто приват-доцент Игумнов подвизается вроде бы в Осваге среди деникинских агитаторов в Ростове. Скоро Ростов будет взят, и тогда... Что тогда? Ася об этом не думает, у нее другая забота — ждет ребенка. А Володя ни о чем говорить не может — только о Мигулине, страстно, нетерпеливо. Сообщает секретно: «В Реввоенсовете фронта его терпеть не могут. Хотя и побеждает, а все чужак... Да и сам Троцкий кривится, когда слышит фамилию... И как доказать, что он наш?»

Да сам-то Володя наш?

Еще недавно так же горячо, как теперь о Мигулине, рассуждал о крестьянской общине, мечтал о Поволжье, жить простой жизнью, с друзьями. Ведь тогда, в ноябре, когда он и Ася бежали из голодного Питера, и мысли не было у обоих сражаться за революцию. Повернуло их время, загребло в быстроток, понесло...

Чудно́й Володя: в долгополой кавалерийской шинели, в фуражке со звездой, с коробкой маузера, болтающейся на животе небрежно и лихо, как носят анархисты, весь облик новый, а в глазах прежнее юношеское одушевление, неизбытое изумление перед жизнью.

«Нет, ты подумай, какой умнейший тактик, как замечательно знает людей, и своих казаков и белых, и какой счастливчик, везун! А это свойство необходимейшее, это часть таланта. Из каких капканов выскакивал! Из каких передряг выкручивался живым!»

И совсем другая Ася. Я спрашиваю, когда остаемся вдвоем, спрашиваю глупо: «Как ты живешь?»

«Как все... Прожила день и жива, значит, хорошо».

«А с Володей как? Хорошо у вас?»

Тоже глупо, малодушно, но не могу себя одолеть. Ася, подумав, отвечает: «Добрее Володи человека не знаю. И смелее, честнее...— Еще подумала.— Ему без меня жизни нет».

О Мигулине, про которого Володя трещит с упоением, она не говорит ни слова. Будто не слышит. И это задевает — слегка — мое внимание. Не знаю до сих пор, было ли между ними что-нибудь уже тогда или лишь намечалось. Да время такое, что для намеков не оставалось минут. Может, и ребенок, которого она ждала, был Мигулина? Ни на что не оставалось минут. Только на дело, на борьбу, на выбор мгновенных решений. И почти сразу, чуть ли не через два дня после того, как появились Володя и Ася, в Михайлинскую нагрянул Стальной отряд Донревкома: человек сорок красноармейцев, среди них несколько матросов, латышей, неведомо откуда взявшихся китайцев, грозная и непреклонная сила, во главе которой стоят двое — Шигонцев и Браславский.

Шигонцев представляет Донревком, Браславский — Гражданупр Южного фронта. Эти организации — суть власть на Дону, в освобожденных районах. И сразу дают понять, что они власть. Они-то и есть. Истинная, стальная. Именем революции. Все, что делалось нами,

трибуналом округа и Михайлинским ревкомом, который возглавляет стогообразный Бычин, объявлено жалким, гнилым головотяпством. Едва ли не преступлением! Главный спор — вокруг директивы, присланной недавно в засургученном пакете с нарочным. Шигонцев и Шура встречаются не как два старых приятеля-каторжанина, которым есть что вспомнить, а как спорщики, когда-то оборвавшие яростный спор — и теперь с того же места... О да! Это начиналось год назад. В феврале восемнадцатого. Шигонцев вернулся после взятия Ростова и гневно передавал, как Егор Самсонов — третий друг, каторжанский поэт — неожиданно выступил в Совдепе против расстрелов и преследования буржуазии, о чем вопили тогда ростовские меньшевики и обыватели. Потом приехал в Питер Егор, снятый со всех постов, едва не расстрелянный сам. И Леонтий не пытался его спасать. Спасли путиловские рабочие, красногвардейцы...

«Я ж тебе говорил!»

«А почему потеряли Ростов? Почему не удалось организовать защиты?»

«Ростов потеряли из-за проклятой немчуры. Не занимайся демагогией». Шигонцев грозит Шуре пальцем, качает нелепо вытянутой, со вмятинами на висках головой.

Я вспоминаю эту голову, поразившую когда-то в Питере. Теперь она выбрита, изжелта-серая после тифа. Шигонцев за год почернел, похудел, стал жестче и не так болтлив — у него пропал голос, он сипит. Едва слышно, страстным сипением поносит немецкий пролетариат, который всегда запаздывает: с революцией задержались на год, теперь волынят в Баварии, хотя Эйснер убит, надо воспользоваться...

«По сути, речь о том,— он тычет в Шуру пальцем,— как удержать наши завоевания. Неужто история ничему не учит? — И, как всегда, переполнен цитатами и примерами из французской революции.— Постановление Конвента гласило — на развалинах Лиона воздвигнуть колонну с надписью: «Лион протестовал против свободы, Лиона больше не существует». Если казачество выступает врагом, оно будет уничтожено, как Лион, и на развалинах Донской области мы напишем: «Казачество протестовало против революции, казачества больше не существует!» Кстати, прекрасная мысль: заселить область крестьянами Воронежской, Тульской и других губерний...»

«А почему вы так боитесь пули?» — спрашивает Браславский Шуру.

Шура ничего не боится. Каторга научила. Нет в мире ничего, достойного страха. Он болен. Он катастрофически заболевает, чего пока не знает никто, свалится к вечеру, сейчас у него жар, горит лицо. Он говорит, что дело не в страхе пули, а в страхе перед восстанием в тылу красных войск. Браславский спрашивает: сколько человек расстреляно трибуналом за три недели? Браславский — маленький, краснолицый, с надутыми щеками обиженного мальчика, возраст непонятен, то ли мой ровесник, то ли, может быть, лет сорока. На нем широкая и нескладно длинная, не по росту кожаная роба, кожаные автомобильные штаны. Взгляд странный: какой-то сонный, стоячий. Что он там видит из-под нависших век? О чем думает? И в то же время цепкое, клейкое, неотступно всевидящее в этом взгляде. Шура отвечает: «Одиннадцать».

Глаза Браславского — как две улитки в раковине красно опухших век. Раковина сжалась, улитки втягиваются вглубь. «Вы знакомы с директивой?» Шура: знаком. Смысл директивы: «расказачивание», преследование всех, кто имел какое-либо отношение к борьбе с советской властью, расстрел всякого, у кого обнаружится оружие. Шура, прочитав, сказал: «Ошибка, если не хуже! Будем раскаиваться. Но будет поздно». Какие уж там седла, повозки. Это грозный вызов казакам.

Теперь Шура говорит спокойно: знаком.

«Вы знаете,— говорит Браславский,— что я могу предать вас суду как саботажников?»

Бычин бубнит, струхнув: «Товарищ, у нас же все сделано, все наготове, люди дожидаются в залоге, я товарищу Данилову какой раз поднимал вопрос...»

Удивительно, такой здоровенный, могучий, с бугристыми кулаками и, чуть на него надавил этот маленький, с сонными глазками, сейчас же отрекается и выдает!

Все нападают на Шуру. Если б были своевременно истреблены контрреволюционеры в Старосельской, там не погиб бы товарищ Франц, австрийский коммунист, и не возникло бы такое положение, как теперь. Шура пытается возразить: бывает непросто разобрать, кто контрреволюционер, а кто нет, кто на сорок процентов поддерживает революцию, на сорок пять сомневается, а на пятнадцать страшится... Тут он пародирует Орлика...

Каждый случай должен тщательно проверяться, ведь дело идет о судьбе людей... Но Шигонцев и Браславский в два голоса: дело идет о судьбе революции! Вы знаете, для чего учрежден революционный суд? Для наказания врагов народа, а не для сомнений и разбирательств. Дантон сказал во время суда над Людовиком: «Мы не станем его судить, мы его убьем!» А «Закон о подозрениях», принятый Конвентом? Подозрительными считались те из бывших дворян, кто не проявлял непрестанной преданности революции. Не надо бояться крови! Молоко служит пропитанием для детей, а кровь есть пища для детей свободы, говорил депутат Жюльен...

Для Бычина цитаты, которыми сыплет Шигонцев, все равно что треск сучьев в лесу.

«Вот кого под корень! — трясет бумагой.— Антоновы, Семибратовы, Кухарновы, Дудаковы, они свойственники того Дудакова, учителя Слабосердова в первый черед как атаманского зятя, а он на воле гуляет, хотя я товарищу Данилову какой раз говорю...»

На Слабосердове запоролись. Шура не хочет давать согласия. Непонятно, почему. Видел он учителя только раз, спорил с ним, разговаривал сердито, а уперся — ни в какую. Лицо его в пятнах, пылает зноем, глаза блестят в провалах глазниц. И рукой показывает: воды, воды! Я таскаю ему воду в глиняной кружке.

Наум Орлик кричит: «Да ты болен! У тебя жар, наверное, под сорок!»

«Нет, нет. Я здоров. Я хочу сказать следующее: директиву считаю плодом незрелого размышления. Я буду писать в ЦК, Ильичу...»

Браславский молчит, глядя на Шуру. Минутная пауза. Браславский соображает, как поступить. Как-никак он тут главный по чину — представитель РВС фронта. Медленно подняв руку с маленькими гнутыми пальчиками — то ли разрешительный жест, то ли приветствие войскам на параде,— Браславский произносит устало: «Да пишите сколько угодно! Ваше право заниматься теориями. Вы бывший студент? А я рабочий, я кожемяка, не учен теориям, я обязан выполнять директивы...— рука сжимается в кулачок и с неожиданной силой грохает по столу так, что глиняная кружка подпрыгнула и покатилась.— По этому хутору я пройду Карфагеном!»

Эта фраза настолько изумительна, что, не сдержавшись, я делаю замечание: «Пройти Карфагеном нельзя... Можно разрушить, как был разрушен Карфа-

ген...» Стоячий взор из-под тяжелых век замер на мне. Раздельно и твердо: «По этому хутору я пройду Карфагеном! — И, помолчав мгновение, оглядев всех, внезапным выкриком: — Понятно я говорю?!»

Потом Шигонцев объясняет секретно: Браславский сильно пострадал от казаков, его семью вырезали в екатеринославском погроме в 1905 году. Мать убили, сестер насиловали... Да ведь не казаки убивали и насиловали, а местные? Казаки, говорит, помогали. Шигонцев сообщает почти с радостью: «Лучшего мужика на эту должность и придумать нельзя!»

Если бы Шура не заболел и не свалился тем же вечером без сознания, могла быть сеча между своими... Ведь он вызвал Чевгуна и отдал приказ: трибунальский отряд поставить на защиту тюрьмы, заложников не выдавать. Расстрелы начинаются в Старосельской, откуда Чевгун вернулся. Казни контрреволюционеров. Возмездие за убийство коммунистов... За товарища Франца... В нашей Михайлинской пока тихо, заложников не трогают, караул Чевгуна сидит на крылечке тюрьмы, бестревожно лузгает семечки, но лишь потому, что Стальной отряд идет Карфагеном по Старосельской. Мне кажется, и Бычин ошарашен таким свирепым усердием... Бог ты мой, да разве свиреп кожемяка с сонными глазками? Разве свиреп тот казак, кого мы поймали в плавнях и расстреляли на месте за то, что в нем заподозрили убийцу Наума Орлика? Наума нашли в соседнем хуторе, Соленом, связанным, исколотым штыком, безглазым и, самое ужасное, живым... Разве свирепы казаки, захватившие Богучар и десятерых красноармейцев закопавшие в землю со словами: «Вот вам земля и воля, как вы хотели»? И разве свирепы станичники Казанской и Мешковской, которые заманили в ловушку Заамурско-Тираспольский отряд, отступавший весной восемнадцатого с Украины и в смертельной усталости, не подозревая худого, расположившийся на ночлег в казачьих хатах? Часть отряда, состоявшая из китайцев, была расстреляна во время сна, остальных раздели догола и заперли в сараях. Станичный попик в Мешковской служил по этому случаю благодарственный молебен и требовал всех запертых в сараях антихристов сжечь живьем. И разве так уж свирепы казаки Вешенской, которые той же весной единым махом в приступе революционной лихости перебили своих офицеров и объявили себя сторонниками новой власти? И разве свирепы четыре из-

мученных питерских мастеровых, один венгерец, едва понимающий по-русски, и три латвийских мужика, почти позабывшие родину, какой год убивающие сперва немцев, потом гайдамаков, а потом ради великой идеи — врагов революции, вот они, враги, бородатые, со зверской ненавистью в очах, босые, в исподних рубахах, один кричит, потрясая кулаками, другой бухнулся на колени, воют бабы за тыном. И каторжанин, битый и поротый, в тридцать лет старик, сипит, надрывая безнадежные легкие: «По врагам революции — пли!»

Свиреп год, свиреп час над Россией... Вулканической лавой течет, затопляя, погребая огнем, свирепое время...

Когда течешь в лаве, не замечаешь жара. И как увидеть время, если ты в нем? Прошли годы, прошла жизнь, начинаешь разбираться: как да что, почему было то и это... Редко кто видел и понимал все это издали, умом и глазами другого времени. Такой Шура. Теперь мне ясно. Тогда я сомневался, как многие. Он один в истинном ужасе от «директивы», которую я не мог прочитать, хранилась в тайне, через два месяца отменили, но зло вышло громадное. Прочитал спустя пятьдесят лет. Когда почти уже ни для кого не страх, не боль... Примерно вот что: 1) массовый террор против казачьих верхов; 2) конфисковать хлеб, заставить ссыпать все излишки; 3) организовать переселение крестьян из северных губерний в Донскую область; 4) уравнять пришлых иногородних с казаками; 5) провести полное разоружение; 6) выдавать оружие только надежным элементам из иногородних; 7) вооруженные отряды оставлять в казачьих станицах впредь до установления порядка; 8) всем комиссарам, назначенным в казачьи поселки, проявлять максимальную твердость... Бог ты мой, и как мало людей ужаснулись и крикнули! Потому что лава слепит глаза. Нечем дышать в багряной мгле. Пылает земля, не только наша, везде и всюду: во Франции и Англии революционные забастовки, в Германии почти укрепилась советская власть, Румыния и Бессарабия в огне крестьянских бунтов... Как же иначе, как не штыком и пулей доканывать контру? Ведь почти всю доконали. Но тут и была ошибка, роковой просчет — что видел Шура, о чем бормотал в бреду,— будто победа уже в руках. Будто Краснову и Деникину после зимнего натиска не подняться... И я не ужаснулся, не крик-

нул! И мне красная пена застилает глаза. Я вижу Орлика, залитого кровью, глаза выбиты, а губы шепчут бессвязное... За что убили Наума Орлика, который никогда никому не сделал зла? Он был человек размышления, до всего допытывался умом. Мы разговаривали о том, как нужно после победы преобразовать обучение в университетах... Поехал один, без охраны, повез пачку политотдельской газетки — пропагандировать, внушать... Глумились над полумертвым... Все мужики из того хутора ночью сбежали в степь... На другой день Браславский приказом от РВС фронта разгоняет ревком, назначает новых людей, нового председателя, всех пришлых, Бычина опрокидывает в рядовые — за мягкость. И так как Шура в тифу, без памяти, едва не помирает, председателем трибунала назначаюсь я. Не хотел. Отказывался как мог. Разговор был крутой, с угрозами, он доказывал, что я не имею права. Нет, не хотел. Ни за что не хотел. Совсем не мое: приговоры, казни. Я говорил: «Для этого нужны особые люди. Такие, как Шура. Закаленные каторгой». Он сказал: «Ничего подобного! Нужны люди, умеющие написать протокол. Людей нет. Ты единственный. Это твой долг...» Матрос Чевгун: «Оставайся, браток, на этом посту. А то посадят злодея...»

Чевгуна тоже рубили филипповцы. Один из всех оказался недорублен, откачали, выжил. Куда-то исчез той же весной. Потом тридцать второй? Ну да, Урал, Тургаяш ГРЭС. Только что приказом Кржижановского я назначен главным инженером эксплуатации Тургаяша. Работы пропасть. Приезжает Галя с ребятами, живем в деревенском доме, кругом тайга. Что же там было? Что мучило? Из трех очередей Тургаяша первая очередь (два турбогенератора по 3000 киловатт) закончена в двадцать третьем. Вторую очередь — с двумя турбогенераторами ЛМЗ по 10 000 киловатт — закончили как раз перед моим появлением. Котлы уже вошли в эксплуатацию, а турбогенераторы — тут-то и есть вражья сила! — хотя и отличались превосходным расходом пара, но страдали огромными дефектами в регулировке. Все время на грани разноса. Вот уж намучились! А третья очередь еще только готовилась. Котлы на цепных решетках. Но дело не в решетках — хотя их не было, завод еще не изготовил,— а в том, что котлы шириной в 10 мет-

ров трудно обслуживать шуровкой, да попросту невозможно. А шуровка необходима для тургаяшских углей. Но что же, рапорт в Москву! Цепные решетки заменить пылесжиганием. Москва обижается. Присылают комиссию. Согласились со мной, получаем новое оборудование, топку заказываем английской фирме «Комбасшен»... И вдруг спустя месяц срочно вызывают в Москву. Зачем? За каким лешим? «В Москве объяснят. Поезжайте!» Уполномоченный что-то знает, остальные пожимают плечами. Галя страшно волнуется. Это был ее минус: в роковые минуты не умела успокаивать, всем видом, страхом, волнением еще сильней поддавала жару. Даже вскинулась с детьми — Руська тогда болел — ехать со мной в Москву, насилу отговорил.

Но таинственность вызова — после того, что я оказался абсолютно прав с заменой решеток,— меня и вправду встревожила. Вдруг в поезде проясняется. Купил газету, и там черным по белому: «Вредительство под крылом «Комбасшен». Обвиняют меня и инженера Сулимовского. Не по Тургаяшской электростанции, а по прежней, по Златоусту. Все уже будто бы «сознались» в своих «преступлениях». Власти сочли возможным покарать главных виновников, а технических исполнителей — меня и Сулимовского — не наказывать. Все это — на целой газетной полосе, посвященной делу «Комбасшен». Ночь в поезде я, конечно, не сплю. Какая-то дичь. Если я вредитель, почему не арестован? Если невиновен, какое право имеют писать обо мне как о преступнике? Оказывается, идет какой-то процесс, а я, обвиняемый, узнаю о нем из газет. Поезд приходит утром. Куда же я бегу в первую очередь? К Шуре? Ну, Шура, конечно, самый близкий, ближайший, но он уже не у дел, отодвинут, на пенсии. От него только совет... Ему звонок из гостиницы. Он все понял, объяснять не надо, газеты читает. «Иди сейчас же к Алешке Чевгуну!» И дал адрес, а Чевгун работал тогда в прокуратуре. Это я знал. Но не видел его тринадцать лет. Для себя решил так — резко протестовать, написать заявление в ОГПУ и сегодня же отнести на Лубянку. Если враг — берите и судите! Чевгун живет в громадном доме возле Каменного моста. Часов восемь утра. Принимает меня в кабинете — не могу сказать, чтоб уж очень радостно, как-то тихо, приветливо, настороженно, все вместе. Показываю заявление, он читает и вдруг — подскочил в кресле. «Да ты что, с глузду съехал?! Пропадешь

ни за понюх табаку! И ни я, ни Шурка тебя не вытащим. Никуда не ходи и никаких заявлений не подавай!» Мудрый был совет.

Бред у Шуры однообразный — замкнулся на Слабосердове. То кричит страшным голосом: «А я вам Слабосердова не отдам! Молчать! Слабосердова оставьте в покое!» То начинает умолять кого-то: «Друзья, христомбогом прошу... Нельзя же так, ну нельзя же убивать... Не убивайте, заклинаю вас, Слабосердова...», то лепечет невнятное. Болеет странно, превращается в другого человека, ведь это почти комический вывих ума: твердить одно имя, когда гибнут десятки, сотни. Но вот он приходит в себя и спрашивает, глядя ясно и трезво на Леонтия и на меня — мы двое возле койки,— спрашивает едва слышно, но требовательно: «Что с учителем Слабосердовым?» Леонтий отвечает: ничего с ним особенного. То, что быть должно, то и есть. «Что же?» Вопрос, говорит, снят. Такого вопроса больше нет. Шура берет свои стеклышки в стальной оправе, насовывает на нос, глядит на Леонтия, на меня и закрывает глаза. Леонтий шепчет: «Опять бред...»

«Нет,— говорит Шура,— это у вас бред. А я все понимаю хорошо». И правда, голос звучит ясно. Так что же было бредом тогда? Бред — невнятица, тьма, то, что клокочет в глубине глубин. Багровый туман, помутняющий разум. «Это вы бредите, а не я»,— говорит Шура. Из-под стеклышек по щекам ползут слезы. Никогда не видел у Шуры слез. Их не было никогда. Шура шепчет: «Почему же не видите, несчастные дураки, того, что будет завтра? Уткнулись лбами в сегодня. А все страдания наши — ради другого, ради завтрашнего... Ах, дураки, дураки...» Мы рады: слава богу, кризис прошел! Шура поправляется. Он не бредит, он *все понимает хорошо*.

В том злосчастном марте, который наступил в разгар болезни Шуры, его бреда, в разгар бреда других, потому что я тоже страдал из-за Слабосердова — в том злосчастном марте все спуталось, слиплось, как старые кровяные бинты на ране, и я бессилен разъять, отделить одно от другого. Старые раны не трогать. Когда появился Мигулин? Что там делали Володя и Ася? Когда был расстрелян Браславский? И почему Леонтий остался жив? Не трогать, не трогать. Невозможно всю эту боль

перебинтовывать вновь. Ничего не получится. Не надо. Забыто. Кровяные бинты закоченели, превратились в камень, в каменный уголь. Это пласты, которые надо вырубать отбойным молотком. Непроглядная, сплошная чернота, и где-то там внутри Ася. Она жива! Все это в марте, в оттепель, на Северском Донце ледоход, белые взорвали мосты при отступлении, и бригада Мигулина топчется на правобережье. Наступление захлебнулось. Но не только из-за оттепели, нет, нет! Не в оттепели причина. В ночь с одиннадцатого на двенадцатое в одной станице началось, и — как пожар... То, о чем предупреждал Шура. А раньше Шуры — учитель Слабосердов. Да мы все предчувствовали, ждали со дня на день, томилось в воздухе, в ознобе. Была какая-то глухота. Мы ждали: еще раньше, чем здесь, чем эти мелкие, районные неприятности, взорвется мир. Все революционеры, все рабочие земного шара воспрянут как один. Ну, а как же иначе? Что же иное застилало нам очи? Тут наша боль, наше оправдание. Мне восемнадцать лет, в моих руках жизнь сотен мужиков, которых я боюсь, и женщин, которых не знаю, и стариков, которых не понимаю. А Шура не успел отослать свой гнев в ЦК, отправил позже, когда выкарабкался из тифа, когда все уже бушевало, север горел. Когда было поздно. Бог ты мой, отчего же поздно? Ведь только девятнадцатый год! Поздно, станицы поднимались, весь тыл полыхал, пришлось снимать части с фронта. Браславский отдал приказ: «Выкопать общую могилу для заложников». Казаки тою же ночью разбежались. Копать некому. Не старикам же и бабам. Я, грешным делом, думаю: в своем ли он уме? И в своем ли уме я? Ведь от такой работы ежедневной свихнешься в два счета. Нет, дело не в том, что свихнешься, а в том, что какое-то омертвение. Становишься бесчувственным, как мешок с песком. Тебя колют иглой в живое тело, а тебе ничего — игла буравит песок. То, о чем Шигонцев мечтал: ноль эмоций. Высшее состояние, которого надо достичь. Февраль девятнадцатого. Начало марта. Сырой весенний ветер разносит крики, запахи, дым, стрельбу, вой. У меня в руках список: один за то, что был с красновцами, другой за то, что там свояки, третий не хотел отдавать коня, у четвертого нашли винтовку, пятый спекулировал, шестой ругал власть, седьмой — бывший юнкер, восьмой — родственник попа... Шигонцев твердит: «Вандея! Вандея! Республика победила только потому, что не знала по-

щады». Я должен все это подписать махом. Какая разница: восемнадцать человек Бычина или сто пятьдесят Браславского? Люди ужасаются цифрам. Как будто арифметика имеет значение. Так внушает Шигонцев. «Человек должен решать в принципе: способен ли великому результату отдать себя целиком, всю свою человеческую требуху!» Я бы сказал: способен ли подвергнуть себя омертвению? То есть в чем-то себя убивать? Но потом выясняется: неправда. Арифметика имеет значение. Все это так непоправимо слиплось, переплелось: то, что я читал, и что рассказывали, и что обрывочно сохранилось, и что вообразилось, и что было на самом деле. Что же на самом деле? Володя и Ася — на соседнем хуторе, там формируется запасной полк. Мигулин шлет разъяренные телеграммы, требует смещения ревкома, назначения другого окружного комиссара. Грозит приехать сам, разогнать ревком пулеметами, всех засудить, перестрелять. Называет Браславского, Шигонцева и нового предревкома лжекоммунистами. Да как он может приехать? Война телеграмм. Браславский отвечает грубостью. «Он меня не назначал! Я ему не подчиняюсь!» Не испытывают страха перед Мигулиным, потому что чуют: он не пользуется доверием. Володя ненавидит Браславского. Да и со мной враждебен. «На твоем месте я бы пустил себе пулю в лоб». Это он мне в присутствии Аси, у меня дома. Я просто советуюсь с ним, как с другом, что мне делать. Советуюсь доверительно, а он отвечает со злобой. В нем всегда была театральщина, какой-то непереваренный Шиллер. Ася гораздо умней. Она глядит на меня скорбно, сочувственно, не вступает в спор и, помню, шепнула мне тихо: «Ты пропал...» Но я не хочу пропадать! Я вижу Орлика: мертвого, исколотого и — живого. Я ощущаю ожесточение казаков, их неуступчивость, недоброту, отчаянье. Теперь-то ясно: наши ошибки с дьявольской энергией и силой использовали враги революции. Но тогда ощущал одно: настали роковые дни — начало марта. Володя и Ася не знают о той ночи, когда я побежал к Браславскому. К Шигонцеву бежать бесполезно. У того искусственные мозги. Побежал к Браславскому. Состояние было такое, когда я был способен на все — застрелить его, застрелить себя.

А самое главное, в ту мартовскую ночь директива была уже отменена центром, но мы не знали! Впрочем, Донревком знал, однако не торопился оповещать. Как я

мог забыть о тóй ночи? Сырая, гнилая, в красных всполохах далекой грозы. Я был мальчишка, глуп, смел и дрожал, как в лихорадке. Я знал одно: *этой ночью должно решиться*. Он «пойдет Карфагеном» дальше, все дальше и дальше, цифры не имеют значения, это дорога без конца. У ворот на корточках, поставив винтовки между колен, сидели китайцы. На крыльце спал пулеметчик. В крайнем окне огонь. Значит, не спит! Мучается перед рассветом. Как же не мучиться? И ворохнулась надежда: а вдруг уговорю? Мордочка у него за последние дни сделалась густо-красная, вишневая, щеки еще больше надулись, поглядишь и скажешь: то ли вина напился, то ли больной смертельно. *Все должно было решиться до рассвета*. Толкнул дверь. Сидит один на стуле, галифе подвернул, ноги в горячей воде мочит, в тазу. И кипяток из чайника подливает. Это меня поразило! «Матвей, ты что? Ты здоров?» Никогда не видел, чтобы люди сами себя кипятком пытали. Как убивают людей, как рубят, расстреливают — видел. А как ноги парят — нет.

«Видно, кровь меня распирает и в голову бьет,— сказал.— Пиявки достать нужно, да где их взять?» Аптекарь из Старосельской оказался врагом, нет его. В расходе. Ординарец свежий чайник подтаскивает. Я смотрю, ноги у него совсем розовые, вареные, а он еще подливает. Воля нечеловеческая. «И как ты терпишь?» — «Терплю обыкновенно. Еще хуже, бывает, печет, а терплю». Я ему тут же, не могу, не подписываю, отказываюсь. Делайте что хотите. Пускай меня под расстрел. «Мышление у тебя не пролетарское,— сказал он.— Дальше пупка не видишь. Садись рядом лучше, почитай мне газету». А у него к вечеру зрение портилось. Иногда заседание проводит, речь говорит, а веки сами собой затворяются. У меня буквы прыгают, язык не поворачивается читать, потому что в голове стук — конец пришел! Нету выхода. Не могу я этот кипяток выносить. *Или его или себя кончать — до рассвета!* Все равно конец. Она сказала мне: «Ты пропал». Но про ту ночь никто ничего не знал. Ни один человек. Даже Гале никогда не рассказывал. И даже сам, кажется, забыл, забыл полностью и наглухо. Не померещилось ли? Нет. Было. Вытягиваю из кармана револьвер, щелкаю предохранителем. И не знаю еще в ту секунду помрачительную: в кого? Вот именно так и было. Совершенно не знаю. Только еще буду решать в другую

секунду... Он на меня взглянул, дернул щекой, ротик маленький, пунцовый, отвалил в изумлении, чайник в одну сторону, в другую, на пол, лежит, не дышит... Нет, не умер тогда... Через полтора месяца. Вместе с ним расстреляли еще пятерых. Весь Стальной отряд раскидали кого куда — кого в тюрьму, кого на фронты, на север, под Царицын. Судила их чрезвычайная комиссия от Реввоенсовета фронта во главе с товарищем Майзелем. Который потом в Цветмете работал. А почему Шигонцева не тронули? Это необъяснимо. Позабылось. Кто-то выручил. Помню, как он скрипел легкими, тощий, исчерневший лицом, плевался кровью, а взгляд все такой же пылающий, сатанинский: «Почему погиб Мотька Браславский, золотой мужик? Потому что казаки взбунтовались. А почему взбунтовались? Да потому, что недожег, недовырубил... Сам виноват, слепой черт!» Но дело-то вот в чем: когда восстание началось, Мигулина внезапно отзывают с Южного фронта в Серпухов, в полевой штаб РККА. Оттуда бросают еще дальше на запад, в Белорусско-Литовскую армию. За каким лешим? Как раз в то время, когда Деникин наступает, когда Мигулин всего нужней Дону...

Павел Евграфович измучился ходьбой и зноем, обедать не захотел, пришел в свою комнату, лег. Лежал долго. Никто не заходил к нему. Так прошло часа четыре. Иногда дремал. Очнувшись от дремоты, слышал голоса, доносившиеся с веранды, а однажды Гарик бежал с кем-то по скрипучей, усыпанной битым кирпичом дорожке под окном и прокричал на бегу, задыхаясь, странную фразу: «А ты ей отплатил сторицей?» Эта фраза почему-то задела Павла Евграфовича, он стал думать о ней с волнением, пытался вникнуть в ее смысл, в эту малую искру души внука, что пролетела случайно внизу под окном, трепыхаясь, как бабочка, в естественной наготе неся что-то важное, какую-то суть, сокровенность, и пропала в тишине жаркого дня: стал думать о том, как меняются поколения, о женщинах, о мести, о благодарности, о том, что любовь никак не связана с пониманием. И даже с пониманием того, что все они свиньи. Галя десять раз зашла бы и спросила: «Ну как ты? Что ты? Обедать не хочешь? Лекарство не дать?» Внук говорил, вероятно, об Аленке, внучке Полины. Там что-то происходило. Какие-то страдания. Бог ты

мой, что ж удивительного? Как раз тот возраст, в каком был Павел Евграфович в пору школьных мучений — шестьдесят лет назад в Питере — из-за Аси. Мучительнице следовало отплатить за что-то сторицей. Но вот загадка: была отплата местью? Или благодарностью? Оттого и волновался Павел Евграфович, что казалось почему-то необходимым разгадать тайну фразы, крикнутой впопыхах, ибо это имело отношение к его собственной жизни, подошедшей к концу. Если истинным смыслом была месть — одно, если же благодарность — совсем другое. С огорчением он все более склонялся к тому, что, пожалуй, месть, пускай детская, пустяковая, но все же месть, теперь это вроде модно: ты — мне, я — тебе, ты — меня, я — тебя. Во всех видах. Вдруг на лесоповале в Усть-Камне один сивобородый, старенький спросил шепотом, так ли Павла Евграфовича фамилия. Услышав подтверждение, засиял беззубо, поклонился до земли и вытащил из кармана завернутый в тряпочку осколок пожелтевшего кускового сахара: «Примите благодарность через двадцать лет! От бывшего попа-расстриги, которого от казни спасли. Станицу Михайлинскую помните? Девятнадцатый год?» И рассказал занятное. Кто-то из отцов церкви писал, будто чувство благодарности есть проявление божества. Оттого оно редко. Неблагодарность куда чаще встречается. «Я не тому радуюсь, что вас могу отдарить благом, а тому, что сам счастлив — сию минуту с богом говорю».

Вот что вспомнилось от внуковой беготни, крика случайного, и тут стук в дверь, вошла Вера.

— Папа, ты не проголодался? К тебе тетя Полина...

С Полиною было так: первые года два после смерти Гали видеть ее не мог, разговаривать невыносимо, все напоминало, кровоточило. Все, все: долгоносое, сморщенное, черноглазое лицо Полинино, ее южный «хакающий» говорок, похожий на говор Гали — землячки, елизаветградские,— ее картавость, манера шутить. Хотя, конечно, Галя шутила тоньше, остроумнее. Юмор был замечательный. Да и вообще какое сравнение? Галя умная, глубокая женщина, а Полина все-таки не очень умна. Потом-то он с нею примирился, с тем, что она п р о д о л ж а л а с у щ е с т в о в а т ь, когда Гали уже не было. А спустя некоторое время снова полюбил ее, поражался ее неутомимости, жалел ее и старался помочь, встречаясь с нею на шоссе, когда старушка пле-

лась, нагруженная хозяйственным скарбом, волоча тележку на колесиках, похожая на дряхлого, медленного жука, и ненавидел ее дочь, ее зятя и внучку — страстно, как можно ненавидеть врагов — за то, что допускали подобное безобразие. С зятем были резкие стычки. Сделал раза два справедливые замечания — как же так, милые друзья, у вас автомобиль, а бабка все таскает на себе с круга? — на что последовала какая-то грубость. И он зарекся пытаться что-либо исправлять в этой семье, но, когда встречал Полину с поклажей, всегда отнимал тележку, брал сумку. Хотя врачи больше трех килограммов поднимать не велели. Да он на врачей рукой махнул.

Полина что-то объясняла вполголоса, таинственное, черные глаза круглились, морщинистый рот кривился набок. Как же она постарела, бедная! Истинная старуха. А вот Галя старухой так и не стала.

— Чего ты шепчешь? — сказал он, раздражаясь.— Говори обыкновенно. Ты же знаешь, я не люблю секретов...

Раздражился не оттого, что секреты, а оттого, что недослышал. Каждый раз напоминай. А ведь неприятно. Все равно что милостыню просить: помогите старику, говорите громче! Полина, конечно, хорошая баба, любила Галю искренне, Галя любила ее, а Галя просто так, за здорово живешь, дружбой никого не дарила, но Галя, такая непреклонная со всеми, была терпима к своим. Она прощала подруге недалекость ума. Вскоре после Галиной смерти та явилась в гости в каком-то странном ярком наряде, напудренная, с накрашенными губами. На что она рассчитывала? Что это был за ход? Павел Евграфович испытал такой прилив раздражения, что процедил сквозь зубы: «Пожалуйста, запомни, никогда не приходи ко мне с накрашенными губами!»

Продолжала говорить шепотом, но громким и напряженным, как в театре, и глаза еще более круглились: о какой-то справке, каком-то свидетельстве, переселении, вселении. Ах, все то же — домик Аграфены Лукиничны. Сурово сказал, что этим делом заниматься не станет. Ни с той, ни с другой стороны. Свой кооперативный пай давно уступил Руслану, на собраниях не присутствует, права голоса не имеет, так что разбирайтесь сами.

— Паша, я тебя ни о чем не прошу,— только дай мне справку.

— Я не контора, чтоб давать справки. У меня печати нет.

— Паша, не шути. Я прошу. Речь идет о моей... Ну, если хочешь более точно,— бугристый, со многими ямочками подбородок задергался, рот еще более съехал набок в неловкой усмешке,— не обо всей жизни, а о самом конце. О последнем кончике! — И показала двумя пальцами, какую чуточку ей осталось жить. Это был юмор. Но неуместный. Если бы Галя захотела сострить на такую тему, она придумала бы что-нибудь удивительное!

— Что за справка тебе нужна?

— Я ж говорю: справка о том, что я занималась революционной работой.

— Какой работой ты занималась?

— Ну как же, в девятнадцатом году сидела в деникинской контрразведке. Ты забыл? Тебе Галка рассказывала сто раз. И Галка сидела.

— Мать, тебе было четырнадцать лет. Галке было тринадцать.— Он засмеялся. Говорить о Гале было приятно.— О какой революционной работе может идти речь, бог ты мой?

— Паша, мы были сознательные девочки, мы очень любили революцию...— Тут она замолола в своем обычном болтливом стиле, якобы полушутя, якобы остроумно, а на самом деле вздор. Закончила неожиданно и без промаха: — Была бы Галка жива, она бы сделала такую справку в два счета! Ничего не нужно, просто написать, что знаешь со слов покойной жены, что Полина Карловна преследовалась деникинской контрразведкой, ну, за революционные действия...

— А какие действия, прости, пожалуйста?

— Мы разбрасывали на базаре листовки от имени «Лиги независимых учащихся». Нас потащили в участок, держали шесть дней. Могли сделать с нами что угодно: избить, изнасиловать, расстрелять, они были полные хозяева...

Недалекость из нее так и перла. Кому могла помочь подобная справка? Правление кооператива, где сидят люди циничные, равнодушные, только похихикает над ними обоими. Да и вправду смешно. Полина сказала, что справка нужна для другого. Хочет устроиться в Дом ветеранов. Какой-то особенный Дом ветеранов в Успенском, под Москвой, Павел Евграфович о нем слышал.

Это известие настолько ошеломило, что он умолк, пораженный. Дом ветеранов — тайный ужас Павла Ев-

графовича. В бредовых снах, в ночных мыслях, из рассказов других рисовалось ему последнее обиталище, где главною пыткою было то, что вокруг чужая старость, никого и ничего, кроме чужой старости, мучительнейшее для стариков. Разве там может быть счастье — услышать под окном загадочный крик внука: «А ты ей отплатил сторицей?» И чем более в рассказах о богадельне расписывались садики, коврики, библиотеки, телевизоры, тем сильнее сжималось холодом сердце Павла Евграфовича — роскошь этих домов напоминала магометанский рай. Расстаться с детьми, внуками значило расстаться с последним, что оставалось от Гали. Но, слава богу, ему это не грозило. Ошеломило то, что Полина говорит о Доме спокойно.

— Что за глупость! — сказал сердито.— Сегодня же поговорю с Зинкой, поговорю с твоим зятем. Что они, рехнулись?

— Они не знают. Я еще не сказала.

— Зачем ты это придумала?

— Ну как зачем, Паша...— Полина запнулась как бы в затруднении: говорить или нет? Худые, жилистые руки прачки, таскальщицы сумок сделали недоумевающий разворот ладонями наружу и в стороны.— Я им не нужна, Паша.

— Не мели вздор! Глупость! Выкинь из головы! — закричал он.

— Нет, Паша, чистая правда. Была нужна, когда Алена была маленькая, а сейчас не особенно. Сейчас в некотором смысле даже обуза... Они собираются в Мексику на три года, Алену хотят отдать в интернат. Да разве вообще-то мы им нужны?

Павел Евграфович молчал. Все это ему не нравилось. Во-первых, что за «мы»? Зачем равнять? Люди совершенно разные, находятся в разном положении, и равнять нельзя. Во-вторых, доля правды в глупых словах все же была, и тут крылось главное неприятное. И еще — решение Полины требовало мужества, наличия которого у бедной старушки он не предполагал и почувствовал себя задетым и даже как бы униженным. Единственное, что нашелся сказать:

— Зачем, в таком случае, претендуют на дом Аграфены?

— А я не знаю. Я в их дела не путаюсь. Паша, прошу, несколько слов...

Он сел к столу, надел очки, вырвал из тетради ли-

сток клетчатой бумаги, написал. Полина сложила вчетверо, сунула под пояс и, чмокнув Павла Евграфовича в щеку, вышла. Однако через минуту воротилась и шепотом, вновь округляя со значительностью глаза — старая гимназическая повадка, неуместная для старушки, пора бы отстать,— произнесла:

— Только прошу тебя, Пашута, ничего своим не рассказывай!

Павел Евграфович посидел немного за столом, размышляя над странностями Полины — зачем-то чмокнула в щеку, назвала Пашутой, чего делать не следовало, так называла его одна Галя, опять бестактность от недалекого ума,— но затем, махнув мысленно на все это рукой, углубился в письмо Гроздова и в свой ответ. Работа подвигалась плохо. Несколько раз заглядывали то Вера, то Руслан, звали обедать, отвлекали вопросами, он прогонял, сердился. Жара не спадала, и мучил неприятный запах из сада — вроде курицу палили или жгли мусор. Скорее всего, опять безобразничал сосед Скандаков. Завел моду сжигать всякую дрянь в железном баке, отчего гадкий запах тянулся по соседним участкам, и никак пресечь это хулиганство было нельзя — и так стыдили, и на правление вызывали, и Павел Евграфович письмо посылал в его организацию, все бесполезно. Он, нахалюга, говорил: «А я за направление ветра не отвечаю!» Так промаявшись около часу и написав всего четыре фразы, правда очень содержательных, Павел Евграфович отправился на веранду обедать. Жара всех сморила, разметала. Мюда лежала на раскладушке с мокрым полотенцем на голове. Руслан босой, в трусах сидел в углу веранды за столиком и что-то правил, согнувшись, в своих чертежах на синей бумаге. Валентина подала свекольник и тарелку с кашей и куриной котлетой — то, что принес из санатория. Аппетита не было.

Сноха расхаживала тоже босая и полуголая, под ситцевым халатом внакидку алел купальник, живот с пупком открыт для всеобщего обозрения — пожалуйста, любуйся, кто хочет! — и не уходила с веранды, будто ожидая чего-то от Павла Евграфовича. Еду похвалить? Да не ее заслуги, еда казенная. Однако чувствовалось, что не уходит не зря. И все чего-то ждали, какого-то разговора. Вот и Вера явилась, видно, спала, лицо красное, отекшее. Бог ты мой, и она в бюстгальтере, в полотняных штанишках — ну это уж никуда с ее ногами.

Руслан спросил: зачем Полина Карловна приходила? Вот чего ждут, из-за чего волнение. Даже Мюда, убитая жарой, повернула голову, чтоб лучше слышать, и сдвинула с лица полотенце. Павел Евграфович сказал: ничего особенного, поговорили, вспомнили старое, она как-никак с мамой училась в гимназии. Единственный человек, кто знал маму дольше, чем он. Он с двадцать второго года, Полина — с пятнадцатого. Казалось, такой серьезный и душевный настрой должен отвлечь от практических мыслей — не часто говорили о маме, жалея друг друга, и, если уж он заговорил, полагалось заинтересоваться: что же вспомнила старая подруга? О чем они говорили, покинутые старики? — но Руслан неумолимо допытывался: насчет дома? Неужто ничего? Абсолютно ни слова? Ничего. Ее это не интересует. Сказала, что в их дела, то есть в дела Зины и Кандаурова, не вмешивается. Значит, какой-то был разговор о доме?

— Был, был! — оборвал Павел Евграфович, раздражаясь.— Только о другом...

Объяснять, о *каком*, разумеется, не стал. Ишь, допрашивают! Хотят его словить. Не выйдет, голубчики, не узнаете. Неожиданно вырвалось:

— Еще сказала: никому, говорит, мы с тобой не нужны...

Но эта фраза получилась у него вроде шутки, и Руслан засмеялся.

— Ну не-ет! Это уж извини! Ты нам нужен, ты все-таки должен, папа, с Приходько поговорить...

Павел Евграфович ничего не сказал, ушел.

Опять вспомнилось письмо от Гали и потянуло прочесть. Бог ты мой, почему от Гали? Не от Гали, а от Аси. Он испугался. Как-то странно и легко перепуталось. Собственно, произошло потому, что и то письмо и другое — немыслимая вещь. Но если одно явилось... Вдруг представил себе, дрогнувши сердцем, что в самом деле получает *письмо от Гали*. Ну, в обыкновенном конверте, темно-синем, авиа. Разумеется, авиа. Как же иначе? Положили в почтовый ящик вместе с газетами. Обратного адреса нет. Впрочем, что-то написано. Одно слово: там. Ведь никто ничего не знает, поэтому «там». А еще: ни адреса, ни обратного, ни единого слова, пустота, и конверта нет. Без конверта листок, на котором сверху видна начальная фраза: «Паша, дорогой, не трави себя пустяками, пусть делают как хотят, Полину и меня ты не обидишь...»

Он остановился на деревянной лестнице и смотрел в круглое окно; вечернее знойное солнце плавилось на стволах. Он подумал: если Полине все равно, то и Гале все равно, и ему все равно. Можно поговорить с Приходько. Теперь не имеет значения. Плохо то, что ни о чем не хотят думать, ни о чем вспоминать. Поговорить с Приходько. Какая-то нить соединяет двух женщин, Галю и Асю, которые никогда не видели друг друга, не знали друг о друге. Гале он не рассказывал про Асю. Галя была ревнива. Она могла бы не ревновать к той женщине, потому что они из разных молекул, из разного вещества: в то время, когда была Ася, Гали не существовало в мире, потом, когда возникла Галя, Ася перестала существовать, а потом Галя исчезла и тут вновь появилась — как бы из другой материи — Ася... Одна принадлежала ему всей плотью, всем существом, другая была воздухом, недостижимостью. Теперь поменялись местами: Галя недостижима, а Ася — доехать до Серпухова, там автобусом...

И к вечеру жара не слабела. Как в Сальских степях в двадцать первом году. Тоже дул ветер, приносивший не прохладу, а жар. На веранде пахло лекарствами. Женщины пили капли на валерьяне. Руслан, Николай Эрастович и двое гостей, обычно приходившие по субботам, седой моложавый толстяк Лалецкий и учитель физкультуры Графчик, играли за большим столом в преферанс. Теперь уж ни чаю попить, ни посидеть под абажуром. На кухне за крохотным, с фанерной крышкой столиком приютились Верочка, Мюда и Виктор, пили чай.

У Верочки были красные глаза: то ли от жары, то ли плакала.

— Папа, дело почти решенное,— зашептала она.— Домик получит Кандауров. Лалецкий сказал... Ну, конечно, у него связи огромные, взял письмо из министерства, Приходько звонили откуда-то... Тетю Полину я люблю, но Кандауров — сволочь...

Павел Евграфович пожимал плечами: что поделаешь, сволочь так сволочь. Не хотелось показывать своего полнейшего равнодушия при виде ее слез, но не мог себя пересилить. Чепуха все это. Яйца выеденного не стоит.

— Какие там еще претенденты?

— Там трое. Да все отпали. Остались только мы да Кандауров, да еще Митя из совхоза, Аграфены Лукиничны дальний-предальний родственник. Ну, это г не в

счет, пьяница, попрошайка. Ты его видел, он тут часто околачивается, предлагает то железо, то стекло, то плитку какую-нибудь — все ворованное, конечно... Лалецкий сказал, получит Кандауров. Это точно.

— Верочка, милая,— сказал Павел Евграфович,— ну, почему такое отчаяние? Что случилось? Жили мы тридцать лет без этого домика и дальше будем жить. Вы будете жить. Мне-то не понадобится.

Верочка смотрела исподлобья. Взяла его горячей рукою, потянула из кухни в комнату, закрыла дверь. Как в детстве — посекретничать.

— Папа, ты знаешь, как все сложно с Николаем Эрастовичем... Человек он странный, больной... Часто днем ему надо прилечь, а где он тут может? Он говорит: если б хоть свой угол, хоть маленькая верандочка...

— Ну и?.. Что дальше?

— Он говорит: больше нет сил. На птичьих правах. Была бы хоть какая веранда. Понимаешь, он на пределе...

— Кого он больше любит, тебя или веранду?

— Нельзя так...

Круглое Верочкино лицо с подстриженной по-девчоночьи челкой, мятое, нездоровое лицо немолодой женщины, сморщилось, губы задрожали, Верочка повернулась и ушла из комнаты. Павел Евграфович стоял в нерешительности. Было жаль ее. Но он не знал, что надо сделать, чтоб ей стало лучше. Веранда не поможет. Он вышел из комнаты, подошел к Верочке, которая терла тряпкой кухонный столик, глядя в окно, и обнял ее.

— Нельзя так, нельзя, нельзя... Тем более к твоим близким, которые тебя любят...— шептала дочь.

— Ну что сделать для тебя? — Он поцеловал ее в темя.

— Не знаю, что ты можешь. Поговори с Приходько. А вдруг... Я не знаю... Попробуй...

У Верочки редкое качество: мгновенно обижается, но так же мгновенно и полностью забывает обиду. Для кого-нибудь была бы замечательная жена, как хотела иметь детей, да теперь поздно, года вышли, а тот заставлял делать аборты. Два раза при Гале делала, а уж без Гали, никому не известно сколько. Ах ты, бог ты мой, ничего в их делах не поймешь... Он бы, к примеру, на месте Верочки не смог прожить с этим Эрастовичем и трех дней, прогнал бы к лешему, а она живет, терпит.

Павел Евграфович вернулся на веранду, посидел у раскрытого настежь окна. Никакого облегчения в воздухе не чувствовалось, хотя было уже часов восемь, совершенно стемнело. Картежники вполголоса переговаривались. Павел Евграфович ничего в картах не понимал, не желал понимать. Так и прошла жизнь — без карт. И осталось — с юности — презрительное к ним предубеждение, как к занятию мещанскому, буржуазному.

Из сада, тихо ступая по деревянной лестнице крыльца — всегда ходил неслышно, разговаривал тихо,— поднялся Виктор. Подошел к Павлу Евграфовичу и сел рядом на пол.

— Дед, хотел тебя спросить,— вполголоса заговорил он.— А что она рассказывала про бабушку?

— Что Полина рассказывала? — Павел Евграфович обрадовался.— Я тебе расскажу! Сейчас вспомню. Очень интересно рассказывала... Ах, да, вот что: когда им было по тринадцать лет, твоей бабушке и Полине, они занимались революционной деятельностью и даже попали в деникинскую тюрьму в Елизаветграде... Совсем девчонки... Их там запугивали, пытали... но они никого не выдали...

Никто на веранде, кроме Виктора, не слушал, что говорит Павел Евграфович. Картежники переговаривались о своем. Вдруг Руслан сказал:

— Папа, ты меня извини, но надо как-то с Валентином Осиповичем... Ты уж соберись, хотя, я знаю, удовольствие небольшое...

— Я поговорю,— сказал Павел Евграфович.— Постараюсь.

— Нет, ты уж не тяни. На следующей неделе будет правление, а в конце месяца общее собрание.

— Не в конце месяца, а в первое воскресенье сентября,— сказал Лалецкий.— Да все бесполезно. Дом пойдет Кандаурову; так же точно, как то, что вы сейчас сидите без трех...

Лалецкий захохотал. Опять заговорили непонятно, зашлепали картами. Потом Руслан сказал:

— Братцы, вы недооцениваете общественность. Ведь вы же будете голосовать п р о т и в К а н д а у р о в а?

— Пожалуй,— сказал Лалецкий.

— Что касается меня,— сказал Графчик,— то я его вычеркну жирным карандашом. Подобные типы мне противопоказаны.

— А что в нем плохого? — спросил Павел Евграфович.

— Мне трудно объяснить, Павел Евграфович. Вот вас, например, я глубоко уважаю. Когда я прихожу к вам в гости, когда разговариваю с вами, с вашим сыном, я как-то успокаиваюсь душой и сердцем, я как-то расслабляюсь, понимаете?

— Красиво говорит, собака,— сказал Руслан.

— А когда вижу этого типа, у меня повышается сахар в крови.

— Там еще один претендент прорезался,— сказал Лалецкий.— Некий Изварин. Жил тут до войны. Приходько его зачем-то тащит... Непонятно зачем, все равно дом пойдет Кандаурову...

— Почему непонятно? Очень понятно...

— Играйте, маэстро! Бросайте карточку!

— Очень даже понятно — хочет Кандаурова подоить пожирней. Ведь чем больше претендентов, тем, сами понимаете...

— Изварин? Санька? — вскрикнул Руслан.— Неужто он еще существует?

Они могли болтать, шлепая картами, целый вечер и всю ночь. Павел Евграфович сказал, что пойдет в сад, подышит воздухом: пришло в голову сейчас же, не откладывая, отправиться к Приходько, чтоб неприятнейший разговор не висел над душой. Но объявлять об этом не хотелось. Взял палку, стал спускаться с крыльца. В саду было черно, душно. Обычный сладковатый запах флоксов и табаков — в августе вечерами тут пахло мощно — теперь почти не чувствовался. Все иссохло, исчахло, перетлело. Над чернотою деревьев в блеклом ночном небе, серебристом от звезд, стояла красная луна. Нащупывая палкой тропу, Павел Евграфович выбрался из гущи кустов и молодых липок на дорогу, которая вела в глубь участка. Они догадываются, что разговор с Приходько неприятен, но никто не знает почему. Таких людей, которые могли бы знать, не осталось. Галя знала. Она с ним не здоровалась. Никогда не здоровалась ни с ним, ни с его женой, хотя жена конечно же ни при чем, но Галя была непреклонна. Она говорила: «Ты как хочешь, можешь с ним здороваться, пить чай, разговаривать о международном положении, дело твое, а я его на дух не принимаю. Он для меня был и остается белой вошью. Потому что кто моего мужа раз обидел, тот мой враг на всю жизнь». Вот такая она была! Павел

Евграфович остановился, упершись палкою в камень, смотрел в небо, и на глазах его проступили слезы. Она бы не позволила идти к Приходько. «Ты будешь эту вошь о чем-то просить? И он будет куражиться над тобой и чувствовать себя твоим благодетелем?» А ради детей, Галя, которым что-то нужно? Они живут по-прежнему плохо, в тесноте, в неуюте, в душевных неустройствах, живут не так, как хочется, а так, как живется. Они несчастливы, Галя. Ничего не изменилось за эти пять лет. «Ты думаешь, они станут счастливее от лишней комнаты и веранды?» Ну нет, конечно. Счастье от чего-то другого. Непонятно, от чего. Счастье — это то, что было у нас. Но что можно сделать? Нет ни сил, ни ума, ни возможностей, ничего. Вот только этот домик, две комнаты с верандой... Пускай уж... Если им кажется, что... Когда живешь долго, происходят странные встречи, несуразные столкновения. Будто кто-то намеренно все это сочинил. Есть свои неудобства — жить долго. Кто мог соткать такую причудливую, вдаль и вширь раскинутую сеть обстоятельств, причин, совпадений, тончайших нитей и паутинок, чтобы в двадцать пятом году Павел Евграфович трудился в комиссии по чистке в Бауманском районе Москвы и голосовал за исключение работника Горпромхоза Приходько, скрывшего пребывание в юнкерском училище и некоторые свои действия в Киеве, и вот теперь, спустя почти полсотни лет, от бывшего юнкера зависело, будут ли осчастливлены дети? Какая нелепейшая, чудовищная чепуха, если подумать всерьез! А если не думать, ничего особенного. Заурядная чепуха.

Павел Евграфович и не помнил о мелком врунишке, который барахтался как мог, чтобы перекрутиться в суровой жизни, таких немало, жалеть некогда, запомнить невозможно, да и ничего ужасного с ним тогда не случилось, и спустя лет шесть, когда встретились на собрании пайщиков дачного кооператива, Павел Евграфович увидел полного, осанистого блондина в чесучовой толстовке, в дорогих туфлях, директора фабрики и не узнал его. Не узнавал долго. В ту пору работал на Урале, в Москве был наездами. Не узнал бы никогда, если бы тот сам однажды вполне дружелюбно, полушутливо не сообщил: «А знаете, дорогой сосед, что вы меня из партии турнули во время оно?» — «Да ну?» — «Ей-богу...» И на том конец. Хе-хе, ха-ха. Все уладилось, устроилось, перемешалось, упрочилось. По вечерам приветствовали

друг друга, приподнимая полотняные фуражки и шляпы из соломки. Потом годы прошли, разлука невольная, вернулся перед войной, жить в Москве нельзя, дачный дом стал единственным прибежищем, Галя трепетала, боялась, что увидят, разгадают, он мотался в Муром, из Мурома, прописка была там. И опять встреча, невнятный разговор, о том о сем, о детях, о войне. В Европе шла война, у нас — накануне. Тот вдруг напомнил: «А не забыли, как меня в двадцать пятом году из партии гнали?» — «Забыл», — признался Павел Евграфович. «А я нет. Всегда буду помнить». И ушел с улыбкой. Через день нагрянули с проверкой, и понеслось, завертелось... Галя убеждена, что — он. Кто знает. Может, и он. В точности неизвестно. Ничем не кончилось, не успело кончиться, потому что рухнул июнь, Павел Евграфович ушел в ополчение и всю войну — солдатом. Два ранения одолел. В Польше в сорок четвертом в разрушенном фольварке ночью наткнулся на Руслана. Ночевали танкисты. Вот была встреча! И еще годы прошли, заново все уладилось, переменилось, упрочилось. Дачные домики просели, подгнили, железо проржавело, зато возле домиков появились баллоны с газом, зелень в саду разрослась пышно. Опять встречи то там, то сям, на дорожках, на чужих верандах, раскланиваются, бормочут по пустякам. А то дочка, неряшливая жирная баба, забежит бесцеремонно: «У вас нет лишней лампочки нам одолжить? Мы в понедельник отдадим!» Галя никогда ничего не давала. А он давал. Ему казалось, все прошлое провалилось куда-то в яму, в прорубь, нечего поминать. Но доходило до смехотворного: однажды к тому явились пионеры целой ватагой, он их в садике принимал, рассказывал о гражданской войне. Бог ты мой, что же мог рассказать бедный юнкерок, недощипанный? Иной раз заберет ретивое пойти взять за галстук: «Зачем же ты, такой-сякой, немазаный, людям голову морочишь?» А там думаешь: ну его к лешему... Прошло, проехало... Обманул всех, перекрутился, ну и черт с тобой... Вот только просить у него ничего не надо.

Дорога поднялась на взгорок, где стояла скамейка; тут, под соснами, всегда кто-нибудь сидел душными вечерами. И сейчас, проходя мимо, Павел Евграфович заметил недвижную в углу скамейки фигуру. Как показалось, женщина. Светлело платье. Окликнул: кто? Женщина ответила не сразу:

— Я, Павел Евграфович...

Узнал голос Валентины. Сел рядом с охотой — оттягивался неприятный визит. Валентина курила. Он терпеть не мог табачного дыма в доме, заставлял куряк уходить в сад. Но она ушла очень уж далеко. Тянула носом, будто у нее насморк. Он подумал: что-то неладно.

— Вы что? Плохое настроение?

— Да...

— А в чем дело? — Какой-то голос твердил: «Не надо, не надо в это влезать».— Что у вас случилось?

— Да ничего у меня не случилось. Ничего, Павел Евграфович...— Она медлила, вздохнула.— Ничего... Ваш сын меня не любит.

— Да что вы! Может, вы ошибаетесь? — Тот же голос сказал: «Не ошибается».

— Зачем же, скажите, он первую жену постоянно приглашает на дачу? И Виктора? Мюда хорошая женщина, и Витя мне нравится, но он их вовсе не любит. Это не то, что не может без них жить... Он зовет их только для меня... Против меня... Чтобы я помнила и знала... Чтобы постоянно была унижена...

«А она неглупая»,— подумал с удивлением. Валентина сморкалась. Теперь стало очевидно, дело плохо. Он не умел разговаривать с плачущими женщинами. Галя никогда не плакала. Галя была, конечно, необыкновенная. Не плакала в Златоусте, когда чуть было не расстались и она решила уехать и сказала об этом. Когда появилась та смуглая, из медпункта. Был мутный, тяжелый месяц, три месяца, какой-то хмель, вздор. Потом все рассеялось. Не плакала даже тогда, когда расставались не по своей воле. Ну что можно сказать Валентине?

— Вы знаете, Валя, мне кажется,— начал он осторожно,— вы вот в чем не правы: вы ему разрешаете пить...

— Ах, при чем тут?..

Она закрыла лицо ладонями, всхлипывала громко. Дыхание прерывалось, она хотела что-то сказать и не могла.

— Я уж не знаю, что ему разрешать... чтобы он... Я все разрешила... Пускай!.. Ну и что?

— Вот и не надо.

— Я знаю, у него был роман с этой толстой дурой...

— С кем? — спросил Павел Евграфович, но сам себя пресек: — Впрочем, неинтересно, знать не хочу. Я в ваши дела влезать не смею, и не надо... Единственное, что

попробую — насчет домика Аграфены Лукиничны... Поговорю с Приходько...

— Да кому нужен этот домик? Для какого черта? — с внезапной злобой сквозь слезы отозвалась Валентина.— Чтоб он туда баб водил? И еще к Приходько идти просить! Замечательно!

«Тоже ненавидит Приходько»,— подумал Павел Евграфович.

Посидев немного и сказав что-то бессмысленно-успокоительное, пошел дальше. Все было запутано. Одни хотят получить домик, другие не хотят, ничего не поймешь. Валентину сделалось жаль, но ненадолго. Чего ее жалеть? Она молодая, здоровая. На даче Приходько на открытой незастекленной веранде горел свет. Две старухи пили чай, или, может быть, играли в карты, или просто разговаривали, сидя в плетеных креслах у столика, покрытого длинной, до пола, скатертью. Мозглявая собачонка с визгом выскочила, отколыхнув скатерть, из-под стола, залаяла на Павла Евграфовича и не пускала войти, но он и не собирался входить, а через деревянный барьерчик поздоровался и силился понять, что ему отвечают. Из-за лая собачонки не было слышно. Одна из старух, с высокой седой прической, жена Приходько, улыбалась ему, что-то говоря, и делала белой полной рукой жесты, но не приглашающие, как бы прогоняющие в глубь сада: туда, туда! Так продолжалось минуту: старуха что-то кричала и махала рукой, собачонка лаяла, а он не мог понять и стоял просителем перед деревянным барьерчиком, увитым диким виноградом. Дача Приходько славилась диким виноградом. Стоять было невыносимо, но и входить нельзя. Какая-то глупость. Наконец в то мгновение, когда собачка замолкла, он расслышал крик:

— Будет через неделю! Он в Ленинграде!

Павел Евграфович закивал с облегчением.

Все мучились от жары, все спрашивали друг у друга: «Как самочувствие? Как вы переносите эту Африку?» Олег Васильевич Кандауров отвечал сдержанно: «Переношу неплохо. Самочувствие ничего». На самом деле самочувствие было отличное, никаких неудобств и перебоев в работе организма не ощущалось. Все шло, текло, двигалось, действовало, сокращалось и напрягалось регулярно, как всегда. «Давление у вас как у кос-

монавта!» — сказала врач, проводившая диспансеризацию. Незнакомая молодая женщина, Ангелина Федоровна. Впрочем, Олег Васильевич никого из врачей не знал, в поликлинику приходил редко, только за документами. «Для вашего возраста это великолепно».— «Для какого возраста, Ангелина Федоровна, милая? Мне сорок пять лет! Разве это возраст?» — «Ну, все-таки уже не мальчик». «Нет, мальчик! Я мальчик, Ангелина Федоровна». И Олег Васильевич встал на руки и прислонился вытянутыми вверх ногами в носках к стене. Одно из простых йоговских упражнений. Делал каждое утро. Ангелина Федоровна смеялась: «Мальчик, мальчик! Хватит, Олег Васильевич! Спускайтесь!» Стоя на руках и глядя на Ангелину Федоровну снизу, он увидел красивые голые ноги выше колен и подумал, что ни на что уже нет времени. «А ну-ка послушайте сейчас пульс. После физической нагрузки». Протянул руку. Она взяла пальцами запястье. А у самой, бедной, глаза красные, и сосет валидол. Пульс был, разумеется, чуть выше обычного, но, в общем, ровный. «Ну что ж, для Мексики вполне годитесь!» Он не удержался и пошутил: «А что вы называете Мексикой, Ангелина Федоровна, а?» Она улыбнулась, покачала головой укоризненно, записывая в карточку...

Но это только врачам и тем более молодым женщинам Олег Васильевич говорил всю правду. Знакомым же, которые спрашивали, как самочувствие и как он переносит Африку, отвечал «неплохо» и «ничего», хотя должен был бы отвечать «переношу прекрасно» и «самочувствие замечательное». Но было правило: никогда не говорить людям без нужды ничего, что могло бы хоть слегка огорчить. Сообщение о том, что прекрасно и замечательно, в то время когда все задыхаются и погибают, было бы огорчительно. Он даже отвечал иногда так: «Самочувствие ничего, но голова все же побаливает». Или: «Ничего, но мотор немного барахлит». Однако и в разговорах с начальством Олег Васильевич не позволял себе лгать и говорил чистую правду: здоровье стальное. Тут уж было непременное условие. Если болен и мотор барахлит — сиди дома, отдыхай. В пятницу прошел диспансеризацию, но сдать на анализы не успел, в понедельник и вторник был занят с раннего утра, смог поехать в поликлинику только в среду, этот день оказался самый ужасный — термометр в тени показывал тридцать четыре. Одной

женщине, сидевшей, как и он, в очереди в лабораторию, стало дурно, ее уложили на диван, отпаивали лекарствами. Он думал: «Ее бы в Мексику не оформили». Смотрел на нее с сочувствием.

По коридору бежала, цокая каблучками, Ангелина Федоровна, остановилась на миг. «Ну как? Все хорошо?» — «Все замечательно, но у меня к вам колоссальная просьба: нельзя ли в виде исключения получить справку сегодня? А? У меня абсолютно нет никакого времени завтра! Ангелина, не будьте бюрократкой, ведь вы добрый, милый, всепонимающий, отзывчивый человек...— Он схватил влажные пальчики, стискивал, заглядывал в глаза, помня, что для всякой просьбы нужен напор, страсть. Вялым или высокомерным тоном ничего добиться нельзя. Нужно унижаться, барахтаться в пыли, ошеломлять почти любовным натиском, обезоруживать юмором.— Да и к тому же, если совсем честно...— зашептал: — Здоровье-то стальное...» — «Здоровье стальное,— сказала она, улыбаясь.— Но без анализов не имею права. Приходите завтра с утра. Или послезавтра, когда хотите. Не могу, понимаете? При всем желании. Мне нагорит. Ведь вы мальчик, вы легки на подъем. И у вас машина. Вчера видела, как садились в шикарную синюю «Волгу». И будет еще одна счастливая возможность побыть с доктором наедине в медкабинете. Пока!» Она помахала пальчиками и побежала дальше. Крикнул вслед: «Что привезти из Мексики?» Ответила, не оглядываясь: «Кактус!»

Он все-таки огорчился микроскопической неудачей — надеялся выцыганить справку сегодня — и обдумывал, как построить завтрашний день. Ни черта не получалось. Завтра надо быть на даче, пробивать дом, разговаривать с людьми, а сегодня тысячи дел и в пять — Светлана. Пора сказать. Она собирается в Прибалтику, а когда вернется, его уж, возможно, не будет. Так что прощаться, прощаться. В общей форме, разумеется, говорил, она знает о предполагаемом, но конкретно... Все дело в том, что невероятно долго т я н у л а с ь р е з и н а. То так, то эдак, то да, то нет. То через полгода, то через год, то вообще отпало, распаковывайте чемоданы. А потом вдруг решения, штемпеля и визы свалились сразу — собираться немедля. Насилу отбил месяц, чтобы как-то все утрясти. Ведь ничего не сделано! Хлопоты с домом только вначале. Обговорить со всеми. Никаких случайностей. Это дело уникальное и требует юве-

лирной работы — может рухнуть из-за одного какого-нибудь дурака. Четыре претендента! А сколько в этом огородном царстве, называемом дачный кооператив «Буревестник» — почему «Буревестник»? Какой «Буревестник»? Что за идиотское самообольщение кипело тут сорок лет назад? — сколько замухрышек и дермачей ненавидит его лишь за то, что он ездит в «Волге» и временами живет за границей? Как эти сморчки будут голосовать на общем собрании? Что взбредет в их вздорные, завистливые головки? Если бы он мог каждому сморчку подарить по дубленке... Или хотя бы по рубашке от Пьера Кардена... И, однако, раскрой платья сделан гениально. Самое ответственное! Разговор Петра Калиновича с Приходько, письмо от Н. А., звонок Максименкова. Остальное должно быть делом техники. Но д о л ж н о б ы т ь. В теории. А на деле все упирается в людей. В неуправляемых замухрышек. Как поведет себя Аглая Никоновна Таранникова? Как поступит Лалецкий? Как будет голосовать Графчик? Этот персонаж беспокоил особенно. Неизвестно почему он относился к Олегу Васильевичу недоброжелательно, никогда с ним не разговаривал, лишь бросал издали презрительные взгляды. Да и черт бы с ним — подумаешь, учитель физкультуры! Жалкая тля! — однако в этом царстве тля была видной фигурой — председатель ревизионной комиссии. Какими-то хитростями и уловками надул себе авторитет. С Графчиком считались. «Графчик сказал...», «Графчик обещал...» Олег Васильевич встречался с ним по утрам на речке, где Графчик делал пробежку и примитивную школьную гимнастику, а Олег Васильевич занимался йогой, стоял на голове, тоже бегал, но по-особому, с особым дыханием. Иногда сталкивались на тропе нос к носу, и Олег Васильевич, как воспитанный человек, всегда кивал или глазами приветствовал: «Мол, с добрым утром, Анатолий Захарович!» — а тот бежал мимо в своем тряпичном тренировочном костюмчике, которым давно пора полы подтирать на кухне, и в рваненьких кедах и не видел, не замечал, а то еще и физиономию откидывал этак высокомерно. Я, дескать, Графчик, а вы кто такой? Олег Васильевич стал отвечать тем же — игнорировал. Не вникая в детали. Он-то ему даром не нужен. Но затем, когда все понадобились — а уж тем более такой важный винт, как председатель ревизионки,— наплевал на самолюбие, опять стал здороваться и кивать по утрам. Графчик немного оттаял

и если не произносил ничего громко и внятно в ответ, то делал горлом глотательное движение, отчего голова как бы кивала, а на губах появлялся намек на гримасу, означавшую одновременно и некоторую брезгливость и вроде бы «доброе утро!». Бывало, Олег Васильевич обгонял Графчика на своей «Волге», тот шел утром на троллейбусный круг пешком. Иногда, впрочем, пилил до школы на велосипеде. Школа недалеко, на бульваре Карбышева. Однажды, когда тот трюхал под дождиком на шоссе, завернувшись в плащ-болонью, подняв капюшон, Олег Васильевич притормозил и распахнул дверцу: «Коллега, прошу!» Но Графчик: «Нет, нет, увольте, спасибо! Я пешком». И дверцу сам захлопнул поспешно. С этой публикой всего можно ждать. Но одно Олег Васильевич знал твердо, это было давнишним, с юности, принципом: хочешь чего добиться — напрягай все силы, все средства, все возможности, все, все, все... до упора! Вот так когда-то, приехав в Москву мальчишкой, протаранил себе путь в институт. Так добился когда-то Зинаиды. Так победил в сложнейшей и запутаннейшей борьбе за Мексику хитроумного Осипяна. Так добьет дом Аграфены. До упора — в этом суть. И в большом, и в малом, везде, всегда, каждый день, каждую минуту...

Вновь зацокали каблучки — Ангелина Федоровна возвращалась из глубины коридора. Олег Васильевич напрягся, кровь застучала в висках.

Вскочил со стула, подхватил пробегающую мимо докторицу за локоток.

— Ангелина Федоровна, бесценная, дорогая, умоляю, будьте же мне поистине ангелом...— залопотал бессвязно, пылко, шагая с Ангелиной Федоровной в ногу, прижимая влажный горячий локоть к своему боку.— Поймите всю чудовищность положения... Завтра утром встречаю делегацию, днем вызывает министр... Послезавтра должен быть вне Москвы... А отдел кадров требует проклятую справку сегодня! Ну что вам стоит? Давайте договоримся. Я человек слова. Как говорили испанцы в старину, gentil hombre[1]. Вы даете справку, так? Если хоть что-то, хоть малейшее вас насторожит, я, клянусь честью, привожу ее завтра назад. Пожалуйста! — Вынул из бумажника визитную карточку.— Звоните по этому телефону в любой час, утром, вечером,

---

[1] Благородный человек *(исп.)*.

среди ночи... Идет? По рукам? Имейте в виду, вы спасете человека!

Стояли перед дверью в кабинет. Ангелина Федоровна смотрела, улыбаясь, но не так весело, как раньше, а, скорее, задумчиво и головой качала.

— Чудовищность положения вижу в одном — вы чудовищно настырны, Олег Васильевич.

— А что прикажете делать? У меня нет выхода. Да и здоровье стальное, Ангелина Федоровна, чего там...

— Стальное, стальное...— Она кивала, отмыкая дверь.— Заходите, страшный человек. Особенно для женщин. Умеете уговаривать.

Вошла в кабинет. Он следом, испытывая мелкую, секундную радость. Все же золотой принцип, спасительный: до упора!

К пяти приехал на Пушкинскую, к кафе «Лира». Светланы не было. Сидеть и ждать в раскаленной машине было тяжко, он прошел в тень дома, присел на низкий узенький цоколь у стены. Было похоже, будто сидит на корточках. Будто он уличный бродяга где-нибудь в Сайде или Тетуане. В час сиесты. На нем драная маечка с надписью «yes», джинсы с бахромой, какие-нибудь из мусорного бака сандалеты на грязных ногах, истинный скандинавский «клошар», забредший в это арабское захолустье неведомо зачем... Прежде чем сесть, постелил газету и старался не прислоняться белой рубашкой к стене... Светлана придет не раньше, чем в четверть шестого. Неистребимая школьная привычка: мальчиков надо испытывать. Давно нет мальчиков, некого испытывать, самой бы, дай бог, унести ноги, но привычка осталась. Он не сердился на нее, потому что сегодня ей будет больно. Ровно год назад она появилась, тоже было жаркое лето, но не адское, как теперь, практикантка, испанистка, умненькая, сообразительная, все делала быстро: разговаривала, бегала по лестницам, печатала на машинке с латинским шрифтом, выполняла всякие поручения, какие он давал как начальник отдела. И во всем остальном. Необыкновенная быстрота. Однажды приготовила обеда за восемнадцать минут! Комнату Игоря, этот сарай, эту затхлую, месяцами не проветриваемую хазу, привела в порядок буквально за полчаса. Но это было, кажется, не в первое посещение, а во второе или третье, в сентябре. И в первое посещение поразила скорость: только вышел в коридор, чтобы защелкнуть замок на «собачку», воротился — она уже под

простыней, свернулась калачиком, с головой накрылась... Все тряпки веером по ковру... В течение пяти секунд... Думалось, все будет не совсем так, как вышло потом. Думалось: легко, быстро, бестревожно, воздушно, как началось. А вышло: угар, мучительство. Разница в двадцать два года — могла быть дочкой,— тут и высота безумнейшая, от которой дыхание пресекалось, голова кру́гом, тут и пропасть без дна. И была минута лютой зимой, в декабре, когда все вдруг затрещало, покривилось, полопалось, вот-вот рухнет, как старый дом от подземного толчка... Но гнулись балки, скрипела кровля, черепицы битой насыпалось, а дом все ж таки устоял... Потом весной были муки, Таллин, разрывы, доктора, анализы на мышей и все кошмары, что сопровождают любовь, и казалось, что навсегда прочь... В ней много такого, чему он не устает поражаться. Она была девушкой. Но удивительной, гораздо более искушенной и умелой, чем иные зрелые женщины. Она его любила и любит, как никто никогда не любил, и, однако, он ощущал преграду, преодолеть которую было нелегко. Нет, не юность, не капризы, не вспыльчивость, не наивная деспотичность, а нечто такое, что имело отношение к нему самому. Этой преградой был он сам. Его собственное зеркальное отражение, которое он угадывал в ней и временами пугался: вдруг поистине судьба столкнула с дочерью, как в известном романе Фриша? Впрочем, никакой дочери быть не могло. Реальность в другом — они слеплены из одной глины. Первая женщина, в которой он угадал себя. И это пугало.

Появилась из-за угла стремительно, летела к нему, обгоняя прохожих, но не потому, что чувствовала себя виноватой — опоздала на двадцать минут,— и не потому, что очень уж торопилась его увидеть, к нему прильнуть, просто в силу привычки. Вот так же стремглав мчалась по утрам в офис. Предки были, вероятно, какие-нибудь скороходы при дворе русских бояр. Или татарских мурз. Татарская кровь несомненна: смугла, черноволоса, темные глаза чуть враскос и узкая, жестковатая складка губ, выдающая восток. Она-то родилась в Москве, коренная москвичка, но отец откуда-то с юга. Подлетела, тяжело дыша, не извинилась, не сказала ни «здравствуй» ни «¡ Hola!» [1], оглядела зорко, прижмуриваясь, и спросила:

---

[1] Привет! *(исп.)*

— Постригся?

— Да.— Не виделись двенадцать дней. Он взял за плечи, придвинул и поцеловал то место, которое любил целовать: над ключицей. И сразу его обнял запах родного потного тела.— Куда пойдем обедать? Сюда? В «Асторию»? Может, в ВТО?

— Никуда.

— Почему?

— Так. Не хочется.

Он посмотрел настороженно. Словцо «так» ни к чему. Просто «не хочется» — понятно. Из-за жары. У него самого абсолютно нет аппетита. Но «так»? Спросил, все ли у нее в порядке. Нет ли каких неприятностей на работе, дома, с родителями, с сестрой. Тяжело болела сестра. В прошлом месяце доставал для нее французское лекарство. Нет, все в порядке. Сестре лучше. Родители, слава богу, на даче. Он подумал, что-то почуяла. Как собаки чуют близость землетрясения, так женщины чуют разрыв. Когда нет еще никаких признаков.

— Поедем? — спросил он, взяв ее за руку.

Сели в машину, поехали. Она сидела рядом и все время трещала веером, обмахиваясь. Иногда подносила веер к его щеке и немного обмахивала его: бесполезно, но приятно. Квартира Игоря была у черта на рогах, в одном из дальних кварталов Юго-Запада. Они привыкли к этой дали, обычно по дороге болтали, рассказывали друг другу всякие новости, что случилось за время краткой разлуки, но сейчас разговор не ладился: она молчала, а он не мог придумать подходящей темы, потому что все, чем он жил теперь, было «табу». Пока она не знала об отъезде, он не мог передать всего своего клокотания: по поводу того, сего, бюрократизма, идиотизма, трудностей, мелочей, от которых задыхаешься. Хотя бы сегодняшняя история со справкой! Чего стоило уговорить! А как быть с машиной? А с квартирой? Устройство дочки на лето и на зимние каникулы? Если не удастся получить дом, все вырастет в проблему. Новые хозяева не захотят сдавать, это наверняка. Надо вырывать дом зубами. Все это, мучившее и терзавшее его в последние дни, непригодно для разговора со Светланой, и он бубнил что-то тупое насчет жары, климата, мудрости стариков, беспомощности ученых. Решил так: сказать сегодня все, но перед расставанием. Это и практически верно, потому что, если сказать

сразу, свидание может тут же прерваться. Будет глупо. Въехали на холмы Юго-Запада. На пустынных улицах громадами стояли какие-то необжитые, голые, слепящие солнцем дома. Тротуары выметены зноем, не видно людей.

— Я весь мокрый,— сказал Олег Васильевич.— Сразу, как приедем, примем душ.

Она не отозвалась. Опять насторожился. В жаркие дни обычно начинали с душа. Да и не в жаркие иногда тоже. Им очень нравилось. У Игоря была царская ванная, все замечательно оборудовано, со всякими новейшими приспособлениями, которые он вывез из ФРГ. Был даже телефон в особой маленькой нише, вделанной в стену: если станет дурно, успеете дотянуться до телефона и вызвать «03». Он спросил несколько нетерпеливо:

— Ты будешь принимать душ?

Вопрос означал другое, задавать его не следовало. Обнаружилась слабость. Но нервы-то не железные.

— Где? — спросила она.— В машине?

И прыснула, как девчонка. Немного отлегло. Но, когда приехали в невероятно душную Игореву квартиру — по глупости в прошлый раз не зашторили окна, обе комнаты напекло, воздух был, как в парилке, градусов под тридцать,— она отказалась лезть под душ, сославшись на недомогание. Могла быть хитрость. Что-то с нею происходило. Вода из холодного крана шла теплая. Значит, земля прожарилась до уровня, где идут водопроводные трубы. «Что будет с яровыми? Ведь все погорит!» — думал он мыслями Полины Карловны, которая любит рассуждать о видах на урожай. Воспоминание о теще вызвало волну беспокойства — ей поручалась Аленка. Дочь их-то не слушала, как будет слушать бабку? Возраст колючий, взрывоопасный. «Честно говоря, мы не имеем права,— говорила Зина,— уезжать именно теперь. Ведь мама как воспитательница никуда не годится. Она чересчур добра». Обычные для Зины благие, ничего не значащие рассуждения. Прекрасно знала, что все равно уедут. Выхода не было. Не отдавать же в интернат. Так размышлял Олег Васильевич, намыливая самые потные места, не испытывая облегчения, ибо вода не приносила прохлады. Когда вышел босиком в комнату, шагая по циновкам — у Игоря повсюду циновки, правда, пыльные,— Светлана сидела в той же позе, простыня не расстелена, но в ком-

нате стало посвежей: два японских вентилятора жужжали вовсю. Он спросил: почему она сидит задумчивая, как Лорелея? В чем дело? Qué pasa? [1] Сказала, что ничего нельзя. Ну хорошо, просто так полежим. Отдохнем. Поговорим о жизни. Она не сразу, без охоты вытащила из ящика простыню, бросила к изголовью подушки, от которых поднялась пыль, и у Светланы на миг брезгливо сморщилось лицо, что́ его вдруг разозлило, и он чуть было не сказал: «Вместо того чтоб кривиться, взяла бы как-нибудь вынесла во двор и выбила», — но промолчал. Учить жизни было некогда. Вовремя не научил.

И вдруг стало страстно, смертно жаль девочку, с которой расставался навсегда. Он гладил нежную кожу, целовал шею, лопатку, хрупкую линию позвонков, ничего не говоря, не было слов. Она лежала рядом не совсем в том виде, в каком бы ему хотелось. Но теперь, когда наплыла приступом помутившая разум жалость, ничего не было нужно, только обнимать, гладить, прощаться. И так прошло несколько минут, потом он заговорил. О чем? Господи, о чем... Не о том, о чем бы надо было... О том, что его нудило, что его жало, гнуло, обо всей этой ерунде, этой дряни... Председатель кооператива Приходько старый маразматик, хитрец, прощелыга, но он нашел к нему ход, и тот обещал... Есть там какой-то Горобцов, который стоит первым в очереди, не на этот именно дом, а вообще на первый освободившийся пай и теперь претендует, но с ним совладать нетрудно, потому что у того нет никаких заслуг перед кооперативом. А у Олега Васильевича есть. Выбил телефоны. Приволок рубероид для конторы. Год назад через Моссовет, через Максименкова, добился того, что на реке отгородили участок для «Буревестника» с купальней и небольшим причалом для лодок. Хрен бы замухрышки чего-нибудь добились без него! Черта в ступе! Да и весь этот трухлявый кооператив давно бы уж снесли, сколько лет собираются, хотят строить пансионат, если бы он через того же Максименкова... Из-за одной благодарности должны бы дать ему дом. И не просто дать, а подарить. Ведь столько в него вложено за семь лет, такие силы убуханы. Самая неприятная личность и опаснейший соперник — некий Летунов Руслан Павлович. Все летуновское гнездо. Они там вросли кор-

[1] В чем дело? *(исп.)*

нями. Вот с кем трудно бороться, потому что во всяком обществе, во всякой компании существует легенда... Старик Летунов — такая легенда там. Он ветеран, участник, видел Ленина, пострадал, помыкался. Попробуйте не уважить! Он тут же письмо, тут же все заслуги, рубцы и шрамы на стол. Но дед еще ничего, с дедом можно сговориться, он из той породы полувымерших обалдуев, кому ничего не надо, кроме воспоминаний, принципов и уважения... Врут, конечно, надо, надо! Всем надо. Не отказывается ведь от положенного «спецобеда», каждый день гуляет с судками в санаторий... И тем не менее игра: нам ничего не надо. Тут еще, впрочем, биология. Старикам, что им, собственно, надо? Койка, одеяльце да горшочек. Лежать да вспоминать. Но там страшный тип сын — вырвет из глотки. Руслан Павлович. Хам, алкоголик... Ходит по дачам, просит по трояку, по пятерке в долг, опохмелиться... И как совести хватает? Ведь инженер, с высшим образованием... Скотина... И сестра у него чокнутая, истинная замухрышка. Детей наплодили. Там у них не поймешь кто, целый караван-сарай. Таким бы вообще запретил размножаться. Какая от них порода! Вот от него бы со Светой, а? Этот Руслан повадился было к Зинаиде, то какое-то чтение приносил дефицитное, то записи в кассетах, он еще меломан вдобавок, а то просто стучит утром в окошко: «Зиночка, нет ли чего на донышке?» И, когда Олег Васильевич вышел как-то на веранду вместо жены и спросил сухо, что за мода будить людей спозаранку, тот, нахал, отвечает невинно: «Дорогой сосед, да ведь добрее вашей жены человека нет! Куда пойти горемыкам?» Пришлось его немного...

Тут Олег Васильевич замолк, спохватившись, что рассказывать о том, как он своротил полупьяного Руслана с крыльца, не следовало: могло напомнить прошлогоднюю историю с женихом Светланы, когда тот набросился на них возле ресторана «Пекин». И там и здесь был применен один прием карате, действующий безотказно. Мальчик упал как подкошенный, портфель туда, очки сюда, голова запрокинулась. Она закричала: «Ты его убил!» Объяснил: ничего страшного, обыкновенный болевой прием. Она кричала и плакала. Через пять минут жених пришел в себя, но встать не мог, она осталась. Он уехал. На другой день прибежала, сказав, что с тем все кончено, потому что он назвал ее нехорошим сло-

вом. Такое не прощается. Господи, сколько с ней уже пережито!

— Ты понимаешь, в чем ужас? — говорил он, продолжая ее поглаживать. Поглаживал нежно и все более упорно, желание жалеть постепенно угасало, уступая место другому. Она сопротивлялась. Сопротивление было в том, что она оставалась бестрепетна, безжеланна, ничего не хотела, ни на что не отзывалась, а иногда твердой рукой отгибала его пальцы, проявлявшие нетерпеливость.— Ужас в том, что человек завистлив... По своей сути... Я думаю, что зависть — один из элементов инстинкта борьбы за существование. Заложено в генах. Замухрышки мне дико завидуют! И будут меня гробить. Человек на пятьдесят процентов состоит из зависти... Ну, у одних больше, у других меньше. У тебя меньше... По-моему, ты не очень завистлива? А, Светочка? Ты завидуешь?

Она сказала в стену:

— Завидую женщинам, которым мужчины не лгут.

Как тот удар карате — мгновенная боль и потеря сознания. Прошло три или четыре секунды, прежде чем он произнес:

— Таких женщин нет.

— Есть...

Он обнял ее изо всех сил, прижал, притискивал к себе все сильнее.

— Ты знаешь?

— Знаю. Пусти, больно. Не надо лгать. Все, что ты болтал сегодня, было ложью. Мне за тебя стыдно.

— Светлана, но что можно сделать? Ведь это моя жизнь, моя работа...— Он разжал руки, и она отодвинулась к стене.— Я бегаю, как бильярдный шар в зеленом загоне. Моя дорога — в лузу. Больше некуда. Или за борт.

— Ну нет.— Она усмехнулась.— За борт ты не выпрыгнешь. А помнишь, что ты говорил? Что хочешь все переменить, все сначала, все заново. Были безумно смелые планы...

— Светочка, я человек казенный... У Гёте где-то сказано: «Ты думаешь, что ты двигаешь? Но — тобою двигают».

— Не болтай...

Наступила пауза. Он чувствовал, что она плачет. Выкурил сигарету. Вдруг она спросила спокойным голосом:

— Знаешь что? Вот ответь честно. Есть какие-то блага, которыми ты наслаждаешься или стремишься наслаждаться... Ну, скажем, есть женщина — я. Ведь ты мною наслаждался, правда? Есть семья, которая тоже доставляет наслаждение, другого рода. Есть дом Аграфены, о котором ты мечтаешь как об источнике наслаждений... Есть Мексика, которой ты добивался, я знаю, и добился, совершил невозможное, овладел ею, как неприступной женщиной... И есть другое ответственное кресло тут, в Москве, которое сулит еще более высокие наслаждения, о них ты грезишь... И вот скажи: если выбирать из этого всего одно, что бы ты выбрал?

— Странная викторина. Зачем тебе?

— Просто чтобы знать. Как жить. Ведь ты мой учитель жизни, скажи напоследок: что уступать? Что после чего? Женщина, семья, имение, путешествие, власть... Что ты хочешь больше всего?

Она повернулась и смотрела на него с непросохшими слезами на глазах, но с поистине ученическим любопытством. А он смотрел на нее с тоской. Потом обнял медленной и неотклонимой, стальной рукой, придвинул ближе, плотней, еще плотней — она послушно придвигалась, потому что ждала от него ответа,— и выдохнул губами в губы:

— Хочу все...

Когда солнце ушло, день смерк, он добился того, чего хотел, ибо, как всегда, настаивал до упора, и была отчаянная, долгая, горчайшая сладость, какая может быть лишь накануне вечной разлуки. Потом, когда стало темно, как ночью, пошли в ванную, под душ, он мыл губкой любимое тело, с которым расставался навеки, говорил: «Pónte el pie aquí» [1],— брал ее ногу за колено и ставил ступнею на борт, она подчинялась, обнимал ее, целовал мокрое лицо, не ощущая губами слез, лилась вода, они стояли до изнеможения под душем, лилась и лилась, стояли, лилась, стояли, лилась, лилась, лилась из последних сил.

Часов в одиннадцать повез ее в Староконюшенный. Заехал во двор. Тут была душная, мглистая, отнимавшая дыхание тьма. Не было выхода из духоты. Все окна темных квартир открыты, слышались голоса, люди не спали. Кто-то сидел на скамейке, кто-то лежал на траве, на одеяле. Нельзя было тут задерживаться, надо прощаться

---

[1] «Поставь ногу сюда» *(исп.)*.

окончательно. Да уж прощались. Много раз прощались. Он спросил: может, ей надо в чем-то помочь? С кем-то поговорить? По делу. Весь август он еще здесь. Она долго молчала, потом: если уж так, надо поговорить с Шелудяковым... Там нужен человек в Марокко. Ей абсолютно все равно: хоть в Марокко, хоть в Замбию, на полюс, куда угодно. Лучше в Марокко, с испанским языком. Он сказал, что с Шелудяковым поговорить просто. Старый приятель.

И конец. Рванулась через ограду, через кусты, понеслась не оглядываясь; стукнула на другой стороне скверика дверь...

Он мчался ночным шоссе — сердце немного покалывало, проклятая духота, даже его прижало, да и милейшая Ангелина права, уже не мальчик — и думал то о Светлане с грустью, то о том, что лететь надо через Париж, побыть там дня три. На дачу приехал в полночь. Сразу поразило: не спят, на веранде горит свет. Бабка, Зинаида и Аленка сидят за столом, и никто не вышел на крыльцо, хотя слышали, что въехала машина...

— Что у вас случилось?

— Ничего не случилось. У нас все в порядке,— сказала Полина Карловна, улыбаясь с выражением несколько сконфуженным и плутовским, отчего было ясно, что, безусловно, *случилось*. И старуха тому виной.

— Мама хочет уйти от нас в дом для престарелых. То есть в богадельню,— сказала Зина.

— Нет, Зиночка, не в богадельню, а в Дом ветеранов революции! — Полина Карловна подняла палец.— Существенная разница.

— Ах, мама, какая разница... Одинаково ужасно, одинаково оскорбительно для всех нас...

— Почему же, Зиночка? Это почетное место. Вы должны быть рады, что мать хорошо устроена. Дай бог, чтоб удалось. Еще ничего неизвестно. Я еще только собираю бумаги.

Удар был такой силы, что Олег Васильевич как будто качнулся и припал спиной к косяку двери, чтобы стоять прочней. Старуха, разумеется, комедиантка. Зачем ей это нужно? Ни за чем, показать себя. Свою домашнюю незаменимость. Может, удастся уговорить, и все рассеется, как кошмар? Главное — деликатность и просительность, как в разговоре с милиционером, который грозит проколоть талон. Но все же сволочь.

— Полина Карловна, милая, мы прожили вместе

худо-бедно пятнадцать лет... Неужели мы заслужили вот это? Ведь обида смертельная. И, кроме того, вы нас убиваете. Именно теперь, когда надо уезжать, вы делаете такое заявление, то есть попросту говоря...— нервы сдавали, не мог выдержать правильно взятого униженного тона и закончил с закипающей яростью: — Вы режете нас без ножа! Поступаете, как худший враг!

Старуха пожала плечами.

— Понимаю, понимаю. Я все очень хорошо понимаю, Олег, и мы как раз об этом говорили весь вечер с Зиночкой: как поступить? Что можно сделать? Но брать на себя ответственность за дом, за Алену я не могу. Нет сил, я слишком стара.

Было сказано с таким спокойствием, что Олег Васильевич понял — бесполезно. Он знал редкостное упорство старухи, во всем — например, как резать лук, так или так,— знал, что никогда ничего нельзя доказать, чужое мнение летит мимо, не достигая слуха, и теперь молчал, онемев и размышляя. Вдруг вспомнил: Зина однажды намекала на то, что у матери кто-то есть. Некий друг престарелого возраста, какой-то артист. Ах, вот что? В богадельню к другу? С внучкой оставаться стара, а для стариковских шашней непристойных годится. Так и вертелось на языке, влепить бы прямым текстом, но сдержался. Нет, нет, пороть горячку не будем. Этот козырь выложим напоследок. Надо выспаться. Надо со свежей головой.

Аленка сидела мрачная, набычившись, за столом и что-то черкала карандашом на бумаге, низко склонив очкастую голову. По линии упорства это существо было на втором месте после бабки. Очевидно, они уже тут поссорились, и Аленка дулась. Олег Васильевич смотрел на некрасивую девочку с досадой, с сожалением, мгновенно превратившимся в боль. Каково ей будет? Интернат? Что ж, как другие. Как многие. Завтра, завтра. Со свежей головой. Зина спросила:

— Где ты был так поздно? Я звонила домой, звонила Леониду Васильевичу...

В глазах зажглось живое, острое любопытство. Он вдруг заорал:

— Да какая разница, где я был?! Разве это должно сейчас волновать? Тут катастрофа, кошмар, все планы к черту, жизнь к черту! А ей главное: где был да почему поздно...— махнул рукой и ушел от глупых людей в сад, где под яблоней стояла его кровать.

Вдруг позвонили: «Могу ли поговорить с Саней Извариным? Простите, что называю вас Саней. Вы зрелый муж, но для меня Саня, как сорок лет назад, когда вы обрывали китайские яблочки в моем саду, вас гонял, напускал на вас Джека — помните Джека, бульдога? — и жаловался вашему отцу...» Старик частил что-то лопочущим, полузадушенным хрипотцой, но чрезвычайно бодрым голосом, понять, что ему нужно, было нельзя, фамилия ничего не говорила: какой-то Приходько. «Извините, у вас ко мне дело, товарищ Приходько?» — «Да, причем срочное. Нам надо увидеться».— «Срочное?» — «Да, крайне. Cito, как пишут на рецептах врачи. Имейте в виду, Саня, для вас разговор будет, безусловно, интересен... Я тут недалеко... Буквально на четверть часа...»

Александр Мартынович собирался в больницу, навестить жену. Он сказал: не позже двенадцати. Старичок возник через десять минут. И лишь только Александр Мартынович увидел голый шишковатый череп, корабельный нос, улыбающийся несколько льстиво и хитровато большой, растянутый рот, вмиг вспомнил: никакой не Приходько, а тот дядька по кличке Пузо или Рубильник, что жил в дальнем, к огородам, доме, у него было двое детей, парень Славка и девчонка Зоя. Славка ровесник. Одно лето дружили. О! Славка был знаменит вот чем: любил закручивать уши. Чаще всего закручивал свои собственные уши, теребил их, складывал конвертиком, засовывал мочку в ушное отверстие и сидел так, разговаривая или играя в карты, с закрученными ушами, успокоенный и довольный, но вдруг начинал волноваться и ему не терпелось закрутить уши или хотя бы одно ухо кому-нибудь другому, Жорику, Руське, Скорпиону или ему, Саньке Изварину, и он принимался канючить: «Дай мне, пожалуйста, твое ухо! Дай ухо! Дай, дай, дай!» А Жорику просто мог приказать: «Давай сюда ухо, сопля голландская!» Жорик покорно подставлял голову, и Славка принимался, мурлыча, закручивать тоненькое, как лист, смуглое Жориково ухо. В самом деле: Славка Приходько. Была веранда, увитая диким виноградом. Славкин отец — вот этот старик, улыбающийся большим ртом? — сделал маме какую-то гадость. Она почему-то велела с ним не здороваться, на их веранду не ходить. Но дружить со Славкой во дворе разрешала. Все утратило краски, пережглось, пересохло, исчезло. Почему старик не умер? Зачем появился?

— И у вас, Саня, есть определенные шансы — я не скажу, что большие — на получение сторожки... Ведь вы жили там лет двенадцать, не так ли? Года, примерно, с двадцать шестого... Помню вашего папу хорошо... Я удивляюсь, ни разу не поднимали вопрос и вообще сгинули куда-то, пропали... А у вас есть моральное право.

— Есть,— согласился Александр Мартынович.— Скажите, как ваш сын? Слава?

— Славик не вернулся с войны. Погиб на Северном Кавказе в сорок втором году. А мы с женой и Зоечкой жили в эвакуации в Чувашии...— быстро пролопотал старик. Так быстро, будто хочет поскорее избавиться от этих слов, которые произнес.— Ну что же, Саня? Напишите заявление, я вам попробую помочь.

Александр Мартынович молчал и думал, скрытно волнуясь. У него сердце стучало. То, что обрушилось столь внезапно и странно, было похоже на давние сны — они мучили всю первую половину жизни,— сны о несбыточном прошлом... После войны раза два попадал в Соколиный Бор случайно — прошло уже лет двадцать с тех пор — и нарочно сворачивал в лес до Четвертой линии, чтобы не видеть забора, сосен и крыш. Все это истлело. Вдруг померещилось, будто к нему, уже седому, больному, похоронившему всех, похоронившему сына, является некий загадочный, лысый, с пугающим носом старик, может быть, волшебник, а может быть, черт, и предлагает за что-то вернуть детство, вернуть те времена, когда все были живы, когда он бегал босой по каменистой дорожке, когда солнце горячей смолой горело на сосновых стволах... Но за что же? Что ему надо?

— Вы знаете, это как-то неожиданно...— бормотал Александр Мартынович.— Я должен подумать... Я еду в больницу. Моя жена больна...

Потом ехал в троллейбусе долго и делал усилия, чтобы не вспоминать. Но вспоминалось само собой. Это было гиблое место, вот в чем дело. Поэтому так страшно туда возвращаться.

Это было гиблое место, хотя на вид ничего особенного: сосны, сирень, заборы, старые дачки, обрывистый берег реки со скамейками, которые каждые два года отодвигались дальше от воды, потому что песчаный берег обваливался, и дорога, укатанная грубым, в мелкой

гальке гудроном; гудрон уложили в середине тридцатых годов, и то не до конца, а лишь до поворота на Четвертую линию, или, как говорили прежде, вероятно, еще до революции, на Четвертую п р о с е к у, ибо некогда тут был истинный бор, его следовало п р о с е к а т ь, но уже лет сорок назад с обеих сторон линии, или просеки — или Große Allee, как называла эту нырявшую меж холмами лесную дорогу коричневогубая морщинистая Мария Адольфовна, лицом напоминавшая свалявшийся старый чулок, но бесконечно добрый, мягкий и какой-то удивительно домашний чулок; куда она делась потом, после того лета, когда она с плачем уходила навсегда из Саниной жизни? — с обеих сторон Большой аллеи простирались участки новых громадных дач, и сосны, огороженные заборами, теперь скрипели под ветром и сочились смоляным духом в жару для кого-то персонально, вроде как музыканты, приглашенные играть на свадьбу. Ах, впрочем, все равно хорошо! Музыку можно слушать, стоя на улице. Воздух над соснами, над заборами и просекой был ошеломительно чист, и чистота была такой силы, что могла опрокинуть неосторожного человека, попавшего в этот воздух прямо из города, из набитого битком автобуса. Так бывало и в то лето с Саней: будто взрослый, он мотался по разным учреждениям, приемным, стоял в очередях и только к вечеру прикатывал в Бор и глотал, захлебывался... Он ощущал сладость воздуха и горечь предчувствий... Да, да, это было гиблое место. Вернее сказать, проклятое место. Несмотря на все его прелести. Потому что тут странным образом гибли люди: некоторые тонули в реке во время ночных купаний, других сражала внезапная болезнь, а кое-кто сводил счеты с жизнью на чердаках своих дач.

Мария Адольфовна шептала: «O, jetzt muß ich mich auf den Weg machen...»[1] — и в десятый раз что-то перекладывала, упаковывала, садилась на диван, пила валерьянку. И опять: «O, jetzt muß ich...» Ее книжки в старинных, с золотым тиснением переплетах пахли сухими духами «саше». У нее была восьмигранная деревянная рамочка, на которой Мария Адольфовна плела красивые салфетки двух цветов и научила плести такие салфетки Саню, его двоюродную сестру Женю и Женину мать, тетю Киру.

---

[1] «О, я должна теперь собираться в дорогу...» *(нем.)*

«O, jetzt muß ich mich...» — шептала Мария Адольфовна, не двигаясь с места. Мать Сани смотрела на старушку с жалостью и вытирала глаза. Но, в общем, жалеть Марию Адольфовну не стоило. Она возвращалась в Москву, в свою комнатку на Арбате, напротив кинотеатра «Арс», где кипела интересная городская жизнь. Правда, Мария Адольфовна была совершенно одинока, не любила кино и редко выходила на улицу.

«Мария Адольфовна, милая, вам не надо никуда торопиться,— говорила мать Сани.— Вы прекрасно можете переночевать...»

«Нет, нет! Зачем? Я понимаю, я для вас чужой человек...»

«Вы совсем не чужой для нас человек, Мария Адольфовна, но поймите, у меня теперь не будет средств вам платить. Вот и все. Тут нет никаких тайн».

«Ach, Gott...» — Мария Адольфовна кивала, сморкалась, ее рука, державшая платок, была крупная, с узловатыми пальцами, как у мужчины, в больших венах. У Марии Адольфовны не было сил уйти. Мать Сани мучилась.

Потом Мария Адольфовна сказала, что не надо ничего платить, она будет заниматься бесплатно. Но мать не могла согласиться. Нет, это неудобно. Так нельзя. Она поцеловала старушку, сказала, что та очень хороший человек, что за три года они подружились и теперь как будто близкие люди, но жизнь переменилась и прежнего быть не может. Мать сказала: «Нам, наверно, и с дачей придется расстаться». Саня стоял в углу комнаты, задумчиво слушая разговор и глядя на женщин. Слова матери о том, что с дачей придется расстаться, больно задели, он почувствовал страх перед неизбежностью. Не просто уехать, а расстаться. И мать говорила о таких ужасных вещах спокойным тоном. Мария Адольфовна вдруг обняла мать и сказала с упреком:

«Почему вы не хотите, чтобы я немножко помогала вам? Ach, Gott...— Она прошептала: — Я сердита на вашу Киру».

«Нет, нет, спасибо,— сказала мать.— У меня есть сын, он поможет. Спасибо вам, дорогая Мария Адольфовна. А на Киру вы не сердитесь. Просто у Бориса Александровича срочная командировка, и он их забрал с собою».

Саня знал, что это не совсем так. Тут мама хитрила, скрывая правду. Дело в том, что тетя Кира, сестра ма-

тери, ее муж Борис и дочка Женя приезжали на дачу часто и жили подолгу. У отца была шутка на этот счет: «Только клопомором!» А возникла шутка так: однажды отец получил неожиданный отпуск, решил пожить на даче, но с матерью и Саней, без родственников. Как отделаться от Бориса и Киры? Придумали так: будто надо делать дезинфекцию дачи от клопов, все должны уехать в Москву. Клопов и правда было немало. Борис и Кира уехали. А отец и мать остались. Хотя и с клопами, но друг с другом наедине, и с Саней, разумеется. Так и пошло: «Только клопомором!» И вот два дня назад явился неожиданно Борис и сказал, что тетя Кира и Женя должны уехать немедленно, в тот же вечер, потому что опаздывают. Тетя Кира плакала и что-то объясняла Саниной матери. Саня догадался: причина не в том, что куда-то опаздывают, а в том, что больше не хотят жить в Бору. Не хочет Борис. Тетя Кира, может, осталась бы, но боялась ссориться с Борисом. А мать на них не обижалась и говорила: «У них нет выхода».

Теперь и Мария Адольфовна уехала. На даче стало пусто, тихо. Мать была днем на работе, и он ходил один по комнатам, валялся с книжкой то на одной кровати, то на другой, делал что хотел, все кругом было доступно и голо, безжизненно. В конце лета Мария Адольфовна возникла однажды вновь, приехала будто бы погулять в Бор, терзающие минуты. Мария Адольфовна опять слезилась, совала какие-то конфетки, потом исчезла навеки. Мать Сани спустя год решила навестить ее, от старушки не было ни слуху ни духу, боялись, что умерла, но мать нашла ее живой и здоровой на бульваре с детьми. Мария Адольфовна обрадовалась и вытирала узловатыми мужскими пальцами глаза. Отведя мать в сторону, она сообщила шепотом, как величайшую тайну: «Мне сказали es ist besser, Ich sehe Sie никогда больше!»[1] Этот простой мотив исчезновения, столь хорошо знакомый, мать почему-то никак не связывала с Марией Адольфовной. Ей казалось, что та слишком стара и одинока для подобной осмотрительности. Но старушка хотела бестревожно и в полном согласии с существующими законами водить малышей по Гоголевскому бульвару, покрикивая на отстающих, одергивая убегав-

---

[1] Мне сказали: это лучше, я ее не увижу никогда больше! *(нем.)*

ших вперед: «Запомни, Сережа: der Esel geht immer voran!»[1] Эта «ослиная» мудрость была почти единственным, что запомнилось Сане из поучений Марии Адольфовны, пусть ей пухом будет земля. Осмотрительность и слезы не смогли задобрить судьбу, над планетою грохотали, сшибаясь, гигантские силы, и судьбы миллионов старушек были лишь искрами, высекавшимися на миг: летом сорок первого Мария Адольфовна отбыла из Москвы на восток. И, конечно, умерла скоро, ибо была на пороге последнего исчезновения. Впрочем, неведомо! Может, умерла и не скоро, а может, жива до сей поры, ей девяносто семь лет, и она все еще плетет вечерами на своей восьмигранной рамке шерстяные салфетки...

С отъездом тети Киры и Бориса, с уходом Марии Адольфовны начался отлом людей. Мать догадывалась, что так будет, и торопилась — самой, первой, никого не терзая. Она всем находила оправдания. Эти больны, те слабодушны, у того слишком большая семья, у этого чересчур ответственная работа. И когда приходили соседи с неприятными разговорами, вроде занудливой Эльзы Петровны или крикливой грубиянки Аграфены, жены дачного коменданта и дворника Василия Кузьмича, все звали ее Гранькой, с попреками и руганью из-за какой-нибудь ерунды, из-за белья, огорода или из-за того, что Саня помял велосипедом клумбу, а на самом деле от желания слегка укусить, пощекотать нервы и насладиться — раньше не позволяли себе вот так приходить и скандалить,— мать и для них находила слова оправдания.

«Эльзу можно пожалеть,— говорила она Сане.— С тех пор как умер Ян Янович, характер у нее испортился. А Граня, бедная, уж очень завистлива, особенно завидует тем, у кого дети...»

Впрочем, мать не всегда была доброй, иногда скажет вдруг что-нибудь ядовитое или необыкновенно остроумное: «А у Эльзы лицо — как заспиртованный желудок. Правда, похоже?»

Саня хохотал. Уж мать скажет так скажет! Правда, правда! Такой симпатичный, заспиртованный желудочек. С маленькими усиками. Но, пожалуй, не человечий желудок, а коровий. Ни о чем, кроме травы и огорода, она говорить не умеет. И он, кстати, не заезжал в ее

---

[1] Осел всегда идет впереди! *(нем.)*

сад, это дело рук — или, вернее, ног — Руськи или Скорпиона...

Граня и Василий Кузьмич жили в подвале большого дома. Перед Кузьмичом все немного заискивали и даже слегка его побаивались, хотя он был человек тихий, неразговорчивый, добродушный, усатый, вина не пил, табак не курил, а все только ходил по участку с метлой да с граблями, жег мусор и всегда ремонтировал колодец. Ремонт заключался в том, что он нанимал работяг из деревни Татарово и они садились вокруг колодца на корточки и курили. Заискивали перед Кузьмичом вот почему: он был самый прочный и долговременный, остальные жили тут как бы на птичьих правах. То жили, то не жили, то шумели ордой, то заколачивали окна и двери, то появлялись, то исчезали, возникали другие, все путалось и менялось, а Граня и Кузьмич пребывали вечно на своем месте — в подвале, — в любое время года, в зимнюю стужу и в непролазную осеннюю мокрядь.

Когда-то на участке, где расположились пять кооперативных дач, стоял помещичий дом, сожженный в революцию, чуть ли не летом семнадцатого, так что в поджоге были повинны не новые власти, а лихие заречные мужики, порешившие дело самосудом. Фамилия помещицы сохранилась в памяти молочниц, дровоколов, старух, таскавших по дачам грибы да ягоду: Корзинкина. Эта Корзинкина, от которой не осталось и следа, кроме красивых, из белого камня, с остроугольным верхом, похожих на кладбищенские ворот, сжечь которые не представлялось возможности, и каменистой, в древнем цементе дорожки, щербатой и чрезвычайно опасной для велосипедистов, где Саня часто падал и расшибал колени, легендарная Корзинкина представлялась воображению Сани отчетливо: тучная, с большим брылястым лицом, в черном пальто, длинном и расширяющемся книзу, как колокол, иногда ее отрывало какой-то сверхъестественной силой от земли и она летала над домами, над соснами в снопах искр, как гоголевская ведьма.

Кроме кладбищенских ворот от бывшего имения осталось вот что: деревянный домик вблизи въезда, где жил сторож. Избушку пощадили огнем лишь потому, вероятно, что она принадлежала трудящемуся человеку, который, впрочем, сгинул вместе с хозяевами. Это была аккуратно сложенная из крупных бревен изба на

каменном фундаменте, с высоким крыльцом, с верандочкой, двумя комнатами и кухней. В 1926 году, когда несколько московских интеллигентов пролетарского происхождения облюбовали горелую пустошь для дачного кооператива под названием «Буревестник» (тогда же возник другой кооператив, «Сокол», разросшийся впоследствии в громадный район Москвы с собственной станцией метро), сторожка была там единственным жильем. Никто не позарился на нее, и в сторожке поселился работник Рабкрина Мартын Иванович Изварин с женой и сыном. А уже через год на участке выросли дачи: сначала громоздкая, двухэтажная, с четырьмя верандами и мансардой, где поселилось несколько семей, там жил первый Санин приятель, заступник, обидчик, драчун с татаровскими «мужиками» и открыватель гнусных тайн жизни Руська Летунов со своей плаксивой сестричкой Верой, и там же в мансарде жила рыжеволосая Мюда, названная так в честь Международного юношеского дня; затем появились две дачи поменьше, в одной жил знаменитый профессор, гулявший по участку в шелковом халате и в тюбетейке, к нему приезжала черная машина «роллс-ройс» с маленьким окошечком в крыше для проветривания, и сын профессора Скорпион приглашал кататься до автобусного круга и обратно; в другой даче жила Маркиза, обожавшая собак и кошек и ненавидевшая детей; и наконец, вырос отдельный двухэтажный дом, называвшийся почему-то «коттедж», где на одной стороне жил Славка Приходько, на другой горлопанила многошумная семья Бурмина, старого лектора и пропагандиста. Отец Сани знал Бурмина по Восточному фронту, но в Соколином Бору они общались мало, а когда встречались во дворе, разговаривали шутливо. Отец считал Бурмина человеком глупым (Саня слышал, как он говорил: «Этот дурак Семен»), а к его военным подвигам и даже к ордену относился иронически. Зато Руськиного отца Летунова уважал, называл толковым мужиком. Помнится, говорил матери: «Единственный, кто поступил дельно, Паша Летунов — после войны закончил институт, стал инженером, не то что мы, балаболы...» Отец Руськи приезжал в Бор редко, иногда не бывал месяцами — работал на севере, на Урале,— и Руськина мать, тетя Галя, хорошая женщина, уезжала надолго к нему, Руська и Вера оставались в одиночестве, потому что малахольная тетка, к ним приставленная, то ли прислуга, то ли родственница, была не в счет... Да

и тетка пропадала неделями в Москве, так что Руська и Вера — совсем одни... В их квартире затевались игры, выдумки, турниры, карты, черт знает что. На веранде опускались парусиновые занавеси, начинался тарарам, сверху в пол стучали палкой... И то, что Руська назвал: Большой театр... Тьма, стыдное, задавленное в памяти, погребенное... Хотел стать великим артистом, великим писателем, но первое, что сотворил — в восьмилетнем возрасте,— была великая глупость... Родители орали друг на друга, лупили детей, не пускали на двор. Да Руська ли виноват? То был стыд всех. И в первую очередь взрослых дураков, которые бросали детей на теток, мчались кто на курорты, кто на собрания, а иные, вроде козлобородого Бурмина, возомнили себя сокрушителями старых норм, созидателями новых. Ну, конечно, ведь началось с бурминских причуд, казавшихся глупостью и потехой! Бурмин, его жена, сестры жены и мужья сестер были поклонники «нагого тела» и общества «долой стыд» и часто расхаживали возле своей дачи, в садике, а то и на общественном огороде, где вечерами собиралось много людей, в непотребном виде, то есть в чем мать родила. Дачники возмущались, профессор хотел писать в Моссовет, а мать Сани смеялась, говоря, что это иллюстрация к сказке про голого короля. Однажды она поссорилась с отцом, который запрещал ходить на огород, когда там «шуты гороховые». Отец Сани очень злобствовал на Бурмина из-за этого «долой стыд». А остальные смеялись. Бурмин был тощ, высок, в очках, напоминал скорее Дон Кихота, чем Аполлона, да и бурминские женщины не блистали красотой. Правда, были замечательно загорелые. И все яркие, соломенные блондинки. Самая маленькая соломенная блондинка — Майя, ровесница и подруга. Исчезло лицо, забыт голос, но пожизненно веет каким-то дуновением тепла от имени: Майя. Может ли быть любовь в травяном, мотыльковом возрасте? У Сани была. Он был влюблен в волосы. Когда видел среди зелени мелькание сияющей золотой головы, чувствовал испуг и радость, и будто силы покидали его: хотелось упасть и лежать недвижно, как жук, притворявшийся мертвым. Майя была не похожа на Бурминых: медленно разговаривала, задумчиво смотрела и никогда не гуляла по садику голышом, как другие Бурмины.

Он запомнил чувство отвращения и страха, когда впервые увидел взрослых голых людей. Бурмин тогда

где-то преподавал, что именно и где, неизвестно, писал какие-то статьи по вопросам воспитания, просвещения, истории, о чем старший Изварин отзывался непочтительно, употребляя слово «брехня». Загадочно, какие лекции мог читать Бурмин? За ним числилось два класса церковноприходской школы, остальное он добрал в ссылках с помощью книг и друзей. Во время гражданской войны был фигурой, но затем как-то отжат, отодвинут, занимался чепуховиной — тем самым балабольством, о котором презрительно говорил Санин отец, вроде педологии, воспитания детей в коммунах, поклонения солнцу. Нудизм, но с какой-то передовой начинкой. Кончилось все однажды скандальным криком. Но была ли то глупость, как полагал отец? Был ли истинно глуп этот сын землемера с козлиной бородкой, кого выметнула на гребень чудовищной силы волна? Теперь, спустя три с лишним десятилетия, то, что казалось аксиомой — глупость Бурмина,— представляется сомнительным. Ведь он единственный среди интеллигентов, основавших «Буревестник», пробурил насквозь эти годы, набитые раскаленными угольями и полыхавшие жаром, и вынырнул безувечно из огня в прохладу глубокой старости и новых времен. Говорят, умер недавно. Жив еще, кажется, Руськин отец, но этот хлебнул, этого обожгло, тут уж не глупость выручила, а судьба.

Про старика Летунова рассказал Руслан, с которым встретились случайно на улице лет несколько назад: бывший приятель стал невероятно важен, солиден, толстомяс, с пышной седой шевелюрой, как провинциальный актер. Старший инженер на каком-то заводике. А остальные старики? Смыло, унесло, утопило, угрохало... Саня лишь догадывался, ибо десятилетиями не бывал там, ничего знать не хотел, сторонился людей и с Русланом разговорился только потому, что тот хвать за ворот и завопил: «Санька! Ты живой, черт?»

А тогда в комнатах, занавешенных шторами — неужто забыл? — седой толстомясый мальчик кого шепотом, кого силой заставлял снимать трусики, маечки, и ничего особенного, то же самое, что делали взрослые Бурмины в своем садике, никого не стесняясь — разгуливать голышом, прыгать, валяться, бороться... Называлось: Большой театр... Сын землемера отвечал бушевавшим дачникам: «Дети должны все видеть, все знать! Не будьте лицемерами и ханжами!» Саня с содроганием видел зо-

лотое тельце, летавшее из комнаты в комнату, бессмысленно трепеща, как летают бабочки... «Лишь мещане боятся прекрасного нагого тела! — гремел, наливаясь краской и тряся кулаком, Бурмин.— Буржуи под лицемерной одеждой скрывают грязную душу!» Потом были избиения, шлепки, ремни, крик матери Сани: «Мартын Иванович заявит в Рабкрин! Если эта гадость не прекратится!» И навсегда, навсегда: загорелое, бесстыдное, запретное, горевшее в золотом луче, который проникал в щель... А в конце лета — еще до того, как река стала судоходной, мутной от мазута, когда на обоих берегах еще желтели отмели и кое-где реку переходили вброд,— Саня услышал вой женщины. Страшный и низкий, как пароходный гудок. Мать Майи бежала по берегу и выла, вдруг упала, несколько человек бросилось к ней. Возле воды сгрудилась толпа. Мальчишки слетали с откоса, делая громадные прыжки, торопясь к толпе. Саня тоже подбежал и увидел Майю, такую же, как всегда, только с закрытыми глазами, и волосы лежали на ее лице, как трава...

Даль, даль — до всего, до детства, до книжного безумия, до пароходов, до потока, до отлома людей... До крика Руськи, упавшего от удара железной трубы. Кидали кусок водопроводной трубы — кто дальше. У Сани железяка вырвалась из руки, полетела вбок и ударила Руську по ноге, ниже колена. Лежал полтора месяца в гипсе. Руськина мать, тетя Галя, не упрекнула ни словом! Но кто-то на собрании — чуть ли не тот же носатый старик — выразился так: «Отец вредил на службе, а сынок вредит в своем кругу, калечит детей». И мать не выдержала, расплакалась, раскричалась на собрании, тетя Галя привела ее под руку домой, ухаживала за нею, как за больной, и мать на другой день сказала: не ходить к тому старику на веранду и с ним не здороваться. «Ты никогда не видел подлецов, Саня? Теперь будешь знать. Этот лысый человек — подлец». Он спросил: а со Славкой играть можно? «Со Славкой можно,— сказала мать.— Сын за отца не отвечает».

Однажды днем пришла Аграфена и спросила, можно ли посмотреть подпол и сараюшку. Санина мать сказала, что, конечно, можно, потом вдруг удивилась: «А зачем смотреть, Граня?» Аграфена уже отворила воротца под верандой, запиравшиеся гвоздем, и собиралась нырнуть в потемки, чтобы лезть в подпол, но остановилась на полпути.

«Да как зачем, Клавдия Алексеевна? Ведь ваше помещение нам отходит. А не глядемши брать...»

«То есть как это — вам отходит? Кто сказал?»

«А сказали... Я почем знаю...— Аграфена смотрела на мать с обидой и недоумением.— Кому же вы хотите, чтоб отошла? Люди на вас трудятся, какой год в подвале живут, там знаете, какие сырости, попробуйте поживите...»

«Я полноправный член кооператива! — закричала мать таким голосом, что Саня испугался.— Вы не смеете! Пока я жива! Уходите, Граня, заприте сарай и больше со вздором ко мне не являйтесь!»

Аграфена ушла, ворча: «Люди в подвале, а им хоть бы что, господа...» Но все было кончено. Мать знала об этом, Саня догадывался. В конце лета мать устроила день Саниного рождения. Ей хотелось, чтоб было, как раньше, как в прошлые годы. Она не понимала, что Саня все понимает и ее старания не нужны. Вполне мог обойтись без этого праздника, ничуть он не страдал. Конечно, от нового альбома и прозрачных пакетиков с марками французских колоний не хотел бы отказываться, а от пирога, от цветов, от конфет... Из ребят пришли только Руська с Верой и рыжая Мюда. Кажется, Мюда стала потом, лет через десять, женою Руськи. Такое доброе, губастое, толстощекое существо, а Вера немного тяготила, потому что — он чувствовал — он ей нравился. И это был последний август с пирогом, с флоксами, с вечерним гуляньем по берегу. Мама очень старалась, чтоб все было как всегда. Был невероятно холодный вечер, необычный для августа, даже для конца. Вечер был, как в октябре. Никто не купался. На противоположном берегу, низком, заливном, едва видном в сумерках, кто-то жег костер, и отражение костра светилось в стылой воде длинным желтым отблеском, как свеча...

Зимой мамы не стало. Обвалилась и рухнула прежняя жизнь, как обваливается песчаный берег — с тихим шумом и вдруг. Началось другое: другая школа, другие ребята, другие кровати, другой город, непохожий на город, деревянные тротуары, деревянные дома... В лютый мороз привезли станки, укоренялся военный завод из Москвы... Зачем возвращаться и откапывать то, что засыпано песком? Берег рухнул. Вместе с соснами, скамейками, дорожками, усыпанными мелким седым песком, белой пылью, шишками, окурками, хвоей, обрывками автобусных билетов, презервативами, шпильками,

копейками, выпавшими из карманов тех, кто обнимался здесь когда-то теплыми вечерами. Все полетело вниз под напором воды.

...Александр Мартынович сидел возле кровати жены в нестерпимо душной, раскаленной зноем палате, держал ее руку в своей, что-то рассказывал и думал: «Говорить не буду, зачем? Все равно невозможно. Она могла бы, а я нет». Был совсем спокоен, только одно занимало: зачем старик появился спустя тридцать пять лет? Так прямо и спросил, когда тот, как условились, позвонил вечером другого дня.

— Э-э...— услышал протяжное блеяние, затем кашель, затем вздох и вновь бодрый лопочущий голос: — На это ответить довольно сложно или, может быть, слишком просто, но ведь вы не поверите. Очень жаль, что отказываетесь. Впрочем, вы правы, выиграть дом нелегко, тут много pro и contra, вы правы, дорогой Саня, что удаляетесь от хлопот...

— А вы помните,— спросил Александр Мартынович,— моя мама, царство ей небесное, как-то назвала вас подлецом?

Наступила пауза. Александр Мартынович успел за эти четыре или пять секунд подумать о том, что жизнь — такая система, где все загадочным образом и по какому-то высшему плану закольцовано, ничто не существует отдельно, в клочках, все тянется и тянется, переплетаясь одно с другим, не исчезая совсем, и поэтому домик на курьих ножках, предмет вожделения и ночных слез, непременно должен был появиться и вот появился: как пропавший некогда любимый щенок в виде унылой, полудохлой собаки. Старик прошелестел едва слышно:

— Вы ничего не поняли в жизни, Саня.— И повесил трубку.

...Наутро разъехались все, кроме Руслана, который уже с неделю торчал на даче: то ли в отпуске, то ли взял работу домой, то ли заведение такое халтурное, что посещать не нужно, а денежки платят. Не разбери поймешь, выяснять бесполезно, толком все равно не ответят. И что у них за манера вечно иронизировать! Надо всем, к месту и не к месту шутовство. Ах, какие мы умные. Завтракали вдвоем. Солнце палило. Руслан был босой и голый, в одних трусах, мрачен, небрит, пил крепчайший чай, курил и молчал.

Из сада тянуло горелым. Угрюмое молчание томило, и Павел Евграфович, не сдержавшись, спросил:

— Ты почему, позволь узнать, сегодня не на работе?

Руслан поставил пустую чашку на стол, вытер пальцами, сложив их щепотью, рот — так же, щепотью, вытирала рот Галя,— посидел, покачался на стуле, будто не слыша, затем взял заварочный чайник, глотнул раза два из носика. И лишь после того ответил:

— А что, отразится на мировой революции?

Поделом, не нарывайся, старый пень. Павел Евграфович сказал мирно:

— Ты бы, Руся, поговорил, опять он мусор в железном баке сжигает, хулиган.

— Кто?

— Да Скандаков. Слышишь, какую вонь напустил?

— Скандаков! — Руслан хмыкнул.— Скандаков помер днями. Его самого сожгли. Инфаркт миокарда. А знаешь, отчего гарь? Леса горят за Москвой. Торф горит. Как в летописи: и бысть в то лето сушь великая... Помнишь? Какая была сушь тыщу лет назад?

— Помню.— Павел Евграфович, помолчав, спросил: — Скажи, отчего ты с отцом разговариваешь всегда в дурацком, шутовском тоне?

— Ась? — Руслан приставил ладонь к уху.— Чегось?

— Ну вот, пожалуйста... Ах, бог ты мой, все понятно...— Павел Евграфович заторопился встать, чтоб уйти, но Руслан неожиданно взял его за руку, потянул вниз и силою посадил на стул, как мальчика. Часто, наглец, пользовался преимуществом в силе.

— Хотел, кстати, тебя спросить. Как, по-твоему, всегда ли прав коллективный разум? И всегда ли не прав одиночка?

— Видишь ли... Как тебе сказать? — Павел Евграфович обрадовался, что сын задал серьезный вопрос, захотелось ответить обстоятельно и умно. Он напрягся, собрал мысли.— Пожалуй, готового рецепта я тебе не дам. Каждый случай надо обсуждать во всех связях, в противоречиях, диалектически... Тебя какой аспект интересует?

— Да меня свой интересует. Личный. Понимаешь, какая петрушка: надо работу менять. Выживают меня с завода.

— Что ты говоришь! — испугался Павел Евграфович.

— Страшного ничего нет. Работу я найду моментально. Но вот это заедает: а вдруг они правы, сволочи?

Они говорят, что я такой человек, что со мной работать невозможно. Я, мол, высокомерный, грубый, такой-сякой, эгоистичный. Не желаю учитывать интересы других. Восстановил против себя сотрудников. И говорят люди, от которых я просто не ожидал. Как обухом по голове. Ну, в общем, настоящая травля, и положение сейчас таково, что оставаться нельзя... Вот, папаша, какие пироги... Но дело не в том! Я за эту шарашку не держусь. Меня другое убивает: если все говорят, что я плох, может, я действительно плох? Может, действительно такая скотина?

— Нет, Русик. Нет, нет. И не думай даже! — заговорил Павел Евграфович горячо, почувствовав внезапную жалость к сыну, почти как сорок лет назад.— У тебя, конечно, есть недостатки, у кого их нет. Но работать с тобой можно. И жить с тобой можно. По-моему, наоборот, эгоизма в тебе мало, ты мало заботишься о себе.

— Ну вот. А они считают иначе. Я уж не знаю, что о себе думать. Это ведь неприятно, когда тебе говорят: вы плохой человек. Когда говорят «вы плохой работник, плохой инженер», черт с ним, пускай, а вот «плохой человек» — неприятно.

— Ты вовсе не плохой человек. Но, конечно...— тут Павел Евграфович запнулся, потому что хотел было сказать, что к недостаткам Руслана относятся некоторая разболтанность, легкомыслие, неуважительная манера речи, что может не нравиться сослуживцам, однако счел правильным не уточнять. Он погладил сына по седой голове и сказал: — По сути, ты человек добрый и хороший. Живешь как-то не так, как мне хотелось бы, да что поделаешь.

Они помолчали. Руслан мычал неопределенно, качаясь на стуле, глядя в сад.

— А что плохого в моей жизни? — спросил он.

— Плохого? Ничего. Да и хорошего нет. Дома у тебя нет. Тепла нет.

— А! — Руслан хмыкнул, как бы говоря: «Ишь чего захотел». Потом вздохнув, согласился — прав, отец, прав, прав... Нету ни того, ни сего, ни пятого, ни десятого... И синей «Волги» нет, как у того хлыща.— Он показал кивком: на дорожке, за деревьями, медленно разворачивалась кандауровская «Волга».— И как это меня угораздило, чтоб ничего не было? Когда у всех все есть? Куда-то не в Москву попер, в обратную сторону. В совхоз, что ли. Значит, так надо. Зря бензин жечь не

станет. Ах ты, боже мой, и чего я суечусь? Ведь все практически сделано, картина нарисована, осталась какая-то мелочь, ерунда, детальки... Ну и шут с ними... Между прочим, я дня через два уматываю. На борьбу с пожарами. Куда-то в район Егорьевска. Записывали добровольцев. «Кто, рыцарь ли знатный иль латник простой?..»

— Ты записался? — вскрикнул Павел Евграфович, испугавшись не на шутку.— Зачем? С ума сошел! Пускай молодые едут, а тебе пятьдесят лет, у тебя сердце, дурак ты, ей-богу...

— Пустяки, сердце нормальное. А сидеть в конторе, видеть их рожи — тошно! За себя не ручаюсь — или скажу чего, или врежу кому... Зафитилю одному, будете потом передачи носить... Лучше уж на фронте борьбы с огнем, спасать леса — наше богатство...

Павел Евграфович смотрел на сына сокрушенно, с недоумением: неужто пятьдесят? Какой-то невыросший, недозревший, бузотер, гуляка, шатун. Волосы седые, одевается, как инженер, а разговор босяцкий. Грозит отцу пальцем насмешливо, покровительственно, будто он отец, а Павел Евграфович — сын.

— Я тебя зна-аю, голубчик! Воспользуешься моим отсутствием, будешь манкировать тем, что обещал... С Приходько поговори непременно, слышишь?

Олег Васильевич с утра поехал в совхоз разыскивать Митю по прозвищу Жализо или Кривой, а также Жучковский, по деревеньке Жучково, откуда Митя был родом, но где жить не удавалось: то тащило в Москву на стройку, то лепился к совхозу, то к дачникам в сторожа, то вербовался с ребятами на Кубань, в хорошие места. А Жализо оттого, что являлся обычно с каким-нибудь торговым запросом, чаще всего заговорщицки тихо спрашивал: «Жализо не надоть?» Олег Васильевич знал Митю хорошо, считал хитрованом, шельмой, не верил ни одному его слову, ни одному обещанию, но полагал, что ссориться с ним не надо, хитрован он *нужный*, шельма *полезная*, хотя ссорился и ругался не раз, прогонял в сердцах, клялся, что не одолжит больше ни рубля, но тот спустя время опять подкатывал с каким-нибудь гнусным предложением, заманчивым товаром, вроде огородных леек или цементных плит для дорожки, и Олег Васильевич, махнув рукой на обиды, вновь вступал с ним в презренные отношения, одалживал рубли и пил с ним водку на веранде. Однако эти

устоявшиеся виды общения относились к Мите прежнему, привычному, кого можно было приголубить, облагодетельствовать, а можно в любой момент и послать куда подальше, к Мите — доставале, ловкачу, работяге, прихлебателю и собутыльнику, но отнюдь не к тому Мите, в кого он превратился теперь. Ведь он стал соперником! Опасность, правда, невелика, пожалуй, сомнительна, не прямой родственник Аграфены, а племянник, но ведь чем черт не шутит? Добрые люди и любезные соседи непременно что-нибудь поднесут, какую-нибудь плюху. В новом качестве Митя появлялся лишь дважды: на похоронах и на другой день после похорон, когда пригнал с двумя дружками грузовую машину и хотел, не мешкая, погрузить всю Аграфенину рухлядь — шкаф, кровать, телевизор, швейную машину — и быть таковым. Была б дома одна Полина Карловна, операция удалась бы спокойно. Но Зина вызвала кого-то из членов правления, бухгалтера Таисию, которые спросили: на каком основании? Права наследования надо доказать. Митя орал, дружки его распаляли, все трое были чуть-чуть хмельны — в том чудесном душевном настрое, когда вот-вот ожидается большая гулянка, а тут гулянку отнимали если и не навсегда, то перекладывали на неопределенное время, чего вытерпеть было нельзя. Они ярились до темноты, Таисия бегала за милицией. Таисия — человек верный. Там вложено немало. Но это не зря, это как в швейцарском банке, не пропадет, еще даст проценты. Таисия орала и материлась не хуже мужиков. А жена Мити — совсем неподходящая для него, миловидная женщина, и как она живет с этим чучелом? — не вылезала из кабины и только стонала жалобно: «Мить, да ну их... Мить, поедем...» Отстояли. С помощью милиционера Валеры, который прискакал на своей тарахтелке. Потом Митя пропал надолго. Уезжал куда-то с бригадой. И вот неделю назад возник опять. Полина Карловна услышала, как кто-то гремит тачкой. Вышла на крыльцо, увидела Митю, который вез по уложенной плитами дорожке железную Аграфенину тачку, очень удобную, в которой Аграфена таскала землю, удобрения, кирпичи, палые листья. «Митя,— сказала Полина Карловна,— зачем же ты берешь без разрешения? Ведь это не твоя вещь».— «А и не ваша тоже!» — отрезал Митя. И ушел с тачкой, не оглянувшись.

Но это пустяки. Митя не страшил Олега Васильевича. Главное, не поддаваться на наглость. Вспомнилось,

как лет восемь назад, в первое лето здешней жизни, когда еще не были ни с кем знакомы, жили одни — Аграфена была в больнице, постоянно где-то лечилась, исследовалась, наблюдалась, скучнейшая баба, и все разговоры с нею были о болезнях и медицине,— пришел кособокий мужичок в пиджаке с чужого плеча, кепка на носу, один глаз сощурен, отчего и кличка Кривой, и спросил, не нужно ли стекло. Держал под мышкой два больших куска стекла, обернутых в тряпку. Олег Васильевич сказал, что не нужно. Тот настаивал, чтоб взяли, что хозяйка, родная его тетка, наказывала и вот он принес. От мужичка пахло спиртным, и Олег Васильевич его прогнал. Среди ночи всех разбудил грохот и звон. Выбежали из комнаты, увидели, что стеклянная сторона веранды, обращенная к забору, выбита и лежит на полу в осколках. На полу же нашли громадный булыжник. Кто-то кинул с дороги. И сомнений не было кто. На другой день наглец явился как ни в чем не бывало и опять канючил: может, возьмете стекло? Может, надоть? Мне ж наказали, я за его деньги платил. Олег Васильевич пожаловался: какие-то негодяи бросили через забор камень, стекло теперь кстати. У Мити в кармане оказались гвоздики с молотком и стеклорез, он тут же принялся за работу и через час все прекрасно восстановил. «Спасибо, спасибо,— говорил Олег Васильевич, пожимая Мите руку.— И будь здоров! Заходи, брат».— «А шашнадцать рублей? — изумился Митя.— Как договорились?» — «Чего-о? — зарычал Олег Васильевич и, схватив стальными пальцами тощий Митин загривок, сжал его с такой силой, что Митя скорчился и присел.— Я тебе покажу, как камнями швыряться! Я тебя на три года упеку, падла! Я тебе пасть порву, сучий пóтрох! Катись отсюда, пока жив!» И Митя подлинно покатился, ибо Олег Васильевич толкнул его хорошо: тот упал на колени, потом на бок, перевернулся, вскочил и убежал ошеломленный. С тех пор отношения наладились. Аграфена племянника не любила и боялась: часто, когда Митя приходил, запиралась в своей комнате и велела говорить, что ее нет. Он выпрашивал у нее деньги, был настойчив, злобен, у нее не хватало воли отказать.

Олег Васильевич отыскал Митю в мастерских, в медницком уголке, где Митя деревянным молотком обстукивал на оправке жестяной желоб. По тому усердию, с каким Митя орудовал — с его плеч, со щек струился пот,

рот был открыт, глаза глянули шало и бессмысленно, в первый миг не узнав,— было очевидно, что выполняется срочный, негосударственный заказ, что клиент не ждет, да и Митя торопится.

— Ну? Чего? — Оторвался от оправки и молотка неохотно. Вышли на двор, сели в тенечке. На Митиной голой груди был вытатуирован орел, ниже шла надпись: «Наша жизнь, как детская сорочка...» Вторая строчка пропадала в складке живота. Но Олег Васильевич хорошо ее знал. Он спросил, стараясь говорить как можно легче и благодушней, хотя предчувствие подсказывало, что все будет тяжело и плохо и Митя стал какой-то другой.

— Как будем жить-то, а? Хитрый Митрий?

— Вы когда нынче в Москву съезжаете? В сентябре или раньше? — вместо ответа спросил Митя.

Олег Васильевич усмехнулся, достал пачку «Филипп Моррис» и щелчком выбил сигарету. Протянул Мите, но тот — тоже новость! — покачал презрительно головой и вытащил из кармана штанов мятую, мусорного вида пачку «Дуката». Половину изломанной дукатины он вставил в мундштучок и закурил важно.

— Надеешься? — спросил Олег Васильевич.— Зря! Надеяться тебе не на что. Ты не прямой наследник, ты племянник, а племянники по закону не наследуют. Это говорю тебе точно. Можешь мне поверить. Так что дело твое, Митрий,— табак.

— Но! — сказал Митя и, склонив низко голову, сощурив глаз, посмотрел на Олега Васильевича очень хитро.— А на хрен ты ко мне припер?

— Это я сейчас объясню. Но сначала ты должен уразуметь, что никаких прав у тебя нет. Абсолютно, совершенно никаких прав. То, что называется: пустые хлопоты.

— Но! — повторил Митя более издевательским тоном, склонив голову ниже и еще хитрее сощурив глаз.— А иждивенец? Ежели который на иждивении?

— Это ты, что ли, на иждивении? У Аграфены? Ну, Митька, не смеши! Хо-хо! Тебе голову морочат, а ты веришь, балда. Кто такую ересь сказал?

— Умные люди сказали. И поумней тебя есть, не думай. Анатолий Захарыч сказал, Графчиков. Он мужик мировой, все объяснил правильно.

— Поцелуй своего Графчикова, знаешь куда? — озлился Олег Васильевич.— Чего он тебя путает, гад?

Никакой ты не иждивенец. Она тебя не кормила и не поила, Гранька. Она тебя зрить не могла! Ты для нее был как чума. Под кровать от тебя пряталась.

— А деньги давала всю дорогу.

— На водку!

— А кто знает?

— Да все знают! Ты пьянь знаменитая. Все подтвердят.

— А вот и дурак, что так думаешь,— спокойно сказал Митя.— Никто не будет, потому сам знаешь... они тебя не обожают, Василич. А Графчиков, Анатолий Захарыч, сказал: я, говорит, подтвержу, что Граня тебе на харчи давала и на квартиру. Ты, говорит, не беспокойся.

— Глупости все это. Какой ты иждивенец, когда у тебя жена есть? Она тебя кормить должна, а не тетка.

— А хрена не хошь? Клавка — не жена, а так, приблудная. Мы не расписанные.

— Ну хорошо, но ведь ты работаешь, ты специалист, жестянщик, кровельщик, черта в ступе, сам себя можешь обеспечить. Такие орлы, как ты, на иждивении — это смешно!

— Не смешно, друг, когда здоровья нет. Месяц работаю, два на больничном. У меня сердце никуда. Печенка плохая. Печенка совсем не годится. Я капли пью, понял? Так что ты, Василич, не сопротивляйся. Твоя кличка — отвались, понял?

Олег Васильевич помолчал размышляя. Затем сказал:

— Ладно! Все это болтовня, трата времени... Сейчас я расскажу, зачем я приехал. Только не тут. Мне тут не нравится.— Олег Васильевич брезгливо оглядел двор мастерских, в котором действительно было мало красивого: ржавые станки, оси, прицеп без колес, ящики, мусор.— Поедем на развилку, посидим в покое, поговорим всерьез.

На Митином лице отпечатался секундный отчаянный зигзаг борьбы, происходившей в душе, затем он, ни слова не сказав, ушел в помещение, вернулся и сделал рукою быстрый победный жест, какой делают футболисты, забивая гол, и что означало: поехали! Через полчаса сидели под белым тентом за столиком в павильончике «Отдых», взяли три бутылки румынского кислого, ничего другого не было, пачку вафель и несколько кон-

феток — Олег Васильевич заметил, что скромное угощение Мите понравилось, хотя ни одной вафли и ни одной конфетки он не взял — и вели вполголоса беседу. Олег Васильевич объяснил напрямую: дело сложное, может, и выиграешь, может, и нет, скорее всего, нет, потому что старшие козыри на руках у него, Олега Васильевича. То-то, то-то и вдобавок то-то. Так что не тратьте, кума, силы, спущайтеся на дно. Взяли еще две бутылки. Домик, куда приходилось бегать, оказался недалеко, перепрыгивали через загородку. Митя не пьянел, а трезвел. Вопрос для него становился ясен: будешь биться, судиться, тягаться и ничего не высудишь, только время испортишь, а тут отступное. Живые деньги. Сто рублей. Или ни шиша, или сто — что лучше? Но Митя, конечно, не будь дурак, над этой суммой посмеялся и предложил свою — пятьсот. Стали торговаться. Длилось долго, шумели, горячились, обливаясь потом, наконец — сто семьдесят.

— Только, Василич, слышь? — Митя строго грозил пальцем.— Деньги щас! А то ты любишь: через неделю, в понедельник, в хренодельник...

— Деньги вот. Сто рублей. Семьдесят получишь после общего собрания, в тот же день. А теперь нарисуй тут.

Митя, морща лоб, разглядывал бумагу, где Олег Васильевич с помощью машинки «Триумф» изобразил лаконичный Митин отказ от посягательств на дом Аграфены. Покряхтел, попотел, попосматривал на Олега Васильевича с выражением внезапно пришедшей на ум мысли, которую вот-вот выскажет и поставит в тупик, но так и не высказал и подписал. Было четыре часа. Весь день ушел на Митьку — и его пришлось сверлить д о у п о р а, ничего просто не дается, все надо выбивать, пробивать! — и многие спешные дела, которые он намечал на сегодня, пропали. От кислого вина и адского зноя Олег Васильевич отяжелел, разморился, в голове был шум, хотелось нырнуть в реку и сидеть в воде, не вылезая, до вечера, но два часа, что оставались в запасе до закрытия контор, погнали его в Москву. И кое-что он успел. Вечером после душа сидел на балконе городской квартиры в плетеном кресле — в трикотажных трусах, в резиновых пляжных сандалетах, как на взморье — и, испытывая наслаждение покоем, тенью, чувством удачи и ощущением п р а в и л ь н о с т и в с е й с в о е й ж и з н и д о у п о р а, отмечал карандашом в записной книжке

сделанные дела. Вычеркнул из списка: «Митя», «Внешпосылторг», жэк, «Очередные тома» и «Потапов». Потапов — зашифрованное имя Светланы. Прощание с Потаповым состоялось. И это дело — как ни горько, как ни рвет сердце — доведено до конца, должно быть вычеркнуто. Впрочем... Она уезжает завтра. А сегодня? Вечер пустой. Он колебался некоторое время, жалея ее и не очень одобряя себя, но затем подумал, что отказ от сегодняшнего вечера был бы изменой принципу, ибо сегодняшний вечер, накануне ее отъезда, это и был упор, и, быстро поднявшись с кресла, направился в комнату к телефону. Номер Светланы не отвечал. Он позвонил дважды и ждал долго.

И, как только положил трубку, раздался звонок.

Знакомый мелодичный голос сказал:

— Олег Васильевич? Наконец-то! Я вам звонила сегодня, вас не было. Ангелина Федоровна.

— Да, да! — сказал он, не сразу сообразив, кто это. — Ах, Ангелина Федоровна! Слушаю вас.

— Ничего особенного, Олег Васильевич, просто хотела вас попросить приехать завтра и привезти повторно мочу. Вы могли бы?

Легкий мгновенный холод в глубине живота был ответом на эти слова, раньше, чем Олег Васильевич успел что-либо подумать. Он спросил глупо:

— А зачем?

— Мы просим иногда делать повторно, в некоторых случаях. Когда мы в чем-либо сомневаемся и хотим быть уверены.

— Вы знаете, Ангелина Федоровна, завтра я никак не могу. Я встречаю делегацию в Шереметьеве, — соврал Олег Васильевич, бессознательно обороняясь.

— Пожалуйста, можно послезавтра, — согласилась Ангелина Федоровна. — Приходите послезавтра утром.

Чугун давил, леса горели, Москва гибла в удушье, задыхалась от сизой, пепельной, бурой, красноватой, черной — в разные часы дня разного цвета — мглы, заполнявшей улицы и дома медленно текущим, стелящимся, как туман или как ядовитый газ, облаком, запах гари проникал всюду, спастись было нельзя, обмелели озера, река обнажила камни, едва сочилась вода из кранов, птицы не пели; жизнь подошла к концу на этой планете, убиваемой солнцем. Вечером рассказывали всякие

ужасы. Вера видела, как человек упал на улице. Будто в замедленной киносъемке: несколько шагов топтался на месте, высоко вскидывая колени, потом голова запрокинулась и он рухнул. А в метро женщина потеряла сознание. «Вечерняя Москва» полна траурных объявлений. Бродячих собак расстреливают. Один старик сказал, что жара простоит до конца октября, потом станет легче. Свояченица твердила об атомных испытаниях, которые будто бы — вздор, разумеется — испортили климат. Свояченица раздражала Павла Евграфовича своей «хорошестью», выставкой своих добродетелей и вместе с тем глупостью.

Никто не отрицал ее заслуг. Все помнили. Галя говорила: «Никогда не забуду, что Люба сделала для нас. Если б не Люба, дети пропали бы». Правда, три года, по сороковой, пока они отсутствовали — а он-то еще дольше, ушел на войну,— Люба была с детьми, тащила, оберегала, вместе с Галей везла в эвакуацию, в Лысьву, оттуда Руслана провожала на фронт. Она и дачу в Соколином Бору спасла. За все спасибо. А глупость в чем? Нет, не в том, что радио не слушает, газетами не интересуется, несет околесную за столом, а в том, что мнит — втайне,— будто может в чем-то сравниться с Галей. Полноте, Любочка! Хоть вы и моложе сестры на пять лет, но ни статями, ни лицом и уж конечно ни глазами сравниться с Галей не можете, даже не старайтесь, не говоря уж про ум. А человек вы хороший. Добрый, порядочный. Хороший, хороший человек, безусловно, общеизвестно. Все знакомые и родственники говорят: «Какая Люба хорошая!» А некоторые прибавляют: «Ведь она, можно сказать, жизнью пожертвовала ради сестры». Ну не совсем так. Хотя в чем-то да. В тридцать седьмом Любе было двадцать девять, ей сделал предложение один железнодорожник, она отказала, потому что взяла на себя ношу — племянников. Все знаем, помним, ценим, не забудем ни за что, а вот ходить в открытом сарафане, как будто вам двадцать лет, с голой спиной, усыпанной старческими веснушками, негоже, Любочка...

Врачи сказали свояченице что-то благоприятное, и она вернулась из Москвы ободренная, помолодевшая, привезла клубники. Сидели на веранде, ели клубнику; пили чай. Стеклянные фрамуги и дверь в сад держали закрытыми, чтобы не проникала гарь. Помогало слабо. Горький и страшный запах все равно чуялся. Кто-то

приходил на веранду, кто-то уходил, постоянно кричали: «Дверь, дверь! Закрывайте дверь!» В отсутствие Руслана — он уехал в Егорьевск в качестве пожарного, очередное безумство, но дело, видно, нешуточное, горят торфяники, их гасить крайне трудно, почва прогорает до большой глубины — Николай Эрастович взял на себя роль главного мужчины, развлекателя общества и рассказывал новости о пожарах. Собственно, то были не новости, а рассуждения по поводу. Насчет алтайского старика, который будто бы еще два года назад предсказал нынешнюю засуху. И вообще о предсказаниях, прогнозах, пророчествах.

— Говорят, с этим дедом совершенно серьезно советуется Министерство сельского хозяйства. И он дает точнейшие рекомендации. Ни разу не ошибся...

Свояченица охала в изумлении — экая клуша, готова тут же поверить чепухе,— Вера, конечно, глядела на благоверного с обожанием, да и остальные, кто сидел за столом, Мюда с Виктором и Валентина, слушали трепача с жадным интересом. А он такую молол чушь! Наука якобы показала свое бессилие в области предсказаний, ни черта не сбывается, все мимо, все не туда, даже такой пустяк не могут предугадать, как погода на неделю вперед, а что ж говорить о более существенном... Не могут, не могут, силенок не хватает, из тех кубиков, какие у них в руках, это здание не построить. Нужно что-то другое. Что ж, позвольте узнать? Другой подход ко всему. Виктор робко спросил: почему Министерство сельского хозяйства не может допытаться у деда, какие у него методы предсказаний? Николай Эрастович ухмылялся, руками разводил.

— А что он может сказать? Сам не понимает, какие методы...

— Наверно, просто не хочет,— предположила Валентина.— Зачем ему свои секреты открывать?

— Нет, не в том дело. Не может.

— Почему?

— Ну, как бы вам...— Николай Эрастович, колеблясь, глядел на Веру, советуясь глазами: говорить, не говорить? Затем произнес: — Понимаете ли, дело в том, что сей алтайский старец не сам говорит.

— А! — сказал Виктор.— Понятно.

— Что понятно? — не выдержал Павел Евграфович.— Не ври, Витька! Чушь понять невозможно.

Настала пауза. Николай Эрастович не стал возра-

жать, будто не слышал Павла Евграфовича, остальные тоже будто не слышали, и в тишине сделался различим стук серых ночных бабочек в стекла веранды. Но свояченица, разумеется, не могла успокоиться и оставить тему без продолжения. Сконфуженным шепотом спросила:

— Николай Эрастович, дорогой, вы уж простите старую дуру, но я все же не совсем поняла. Что значит — не сам говорит?

Тот опять ухмыльнулся, пожал плечами.

— Да ничего особенного не значит. Если не понятно, то и не надо понимать...— Сделал великодушный жест: живите, мол, дальше, я разрешаю.— Тем более что объяснять долго.

— Долго? — удивилась Люба.— Как долго?

— Очень долго. Всю жизнь.

— Вы просто смеетесь надо мной... Витя, что ты понял? Объясни тетке, пожалуйста.

Виктор, напряженно хмурясь, собирался с мыслями и словами. Хотел добросовестно объяснить. Но слова и мысли не находились. Тогда его мать, бедная Мюда — Павел Евграфович всегда почему-то ее жалел, хотя жалеть не за что — пришла на помощь:

— Ты, наверно, имел в виду, что старик делает свои предсказания в состоянии транса? Как бы во сне?

— Не золотите пилюлю,— сказал Павел Евграфович.— Любовь Давыдовна, тебе хотят внушить, что устами старца говорит господь. Вот и вся тайна. Николай Эрастович — человек религиозный, а мы с тобой нет. Поэтому мы никогда не поймем его, а он нас.

— Правда? Да что вы! — Свояченица изобразила еще большее изумление, будто услышала новость, хотя говорили и спорили на эту тему не раз.— Неужто вы, Николай Эрастович, ученый человек, верите в бога? Да никогда в жизни! Ни за что не соглашусь! Глупости говорят!

У Николая Эрастовича задергались губы, заалела щека, минуту он сидел, глядя перед собой, на блюдо с клубникой, затем молча встал и ушел с веранды в дом.

Верочка зашептала в смятении:

— Люба, почему ты такая бестактная?..

— Да что я сказала? Я просто поражена...

— Ничего не поражена, ты давно об этом знаешь, не прикидывайся. Нехорошо вы делаете, вы оба — и ты и

отец,— все время даете понять... Надо уважать других, другие взгляды... Нельзя же вот так лезть в душу...

— Да души-то нет! — крикнул Павел Евграфович и стукнул палкою в пол.

Верочка поднялась со всей поспешностью, на какую было способно отяжелевшее, грузное тело, глядя на отца в безумном ошеломлении, будто услышала нечто такое, отчего у нее отнялся язык, и вслед за благоверным покинула веранду. Валентина собрала грязную посуду, тоже ушла. Виктор побежал в сад, Павел Евграфович остался на веранде вдвоем со свояченицей, говорить с которой было не о чем.

— Вере надо лечить щитовидку,— сказала свояченица.

Павел Евграфович не ответил. Она его раздражала. Все раздражали. Не смотрел в ее сторону и не слушал, что она бормочет. В черном стекле отражались абажур, скатерть и сгорбленная, с белым хохлом, запавшим в плечи, фигура старика за столом. Потом свояченица ушла, он посидел немного один, дверь отворилась, и вышел Николай Эрастович с горящей папиросой — значит, собрался идти в сад, в доме курить не разрешалось. Но Николай Эрастович уходить не спешил, стоял на веранде, выпуская табачный дым — что было наглостью,— и произнес негромко:

— Вас хорошо отблагодарили за верную службу...

Павел Евграфович почувствовал, как внутри у него все задрожало от ненависти — непонятно какой, то ли то была ненависть его к Николаю Эрастовичу, то ли передалась ненависть Николая Эрастовича к нему,— и сказал едва слышно, пропавшим голосом:

— Я никому *не служил* и не ждал никакой *благодарности*...

Николай Эрастович, попыхивая дымом, вышел на крыльцо. Вскоре из комнаты появилась Верочка и, проходя мимо, не глядя на отца, сказала:

— Русик просил напомнить насчет Приходько.

— Его нету,— сказал Павел Евграфович ей вслед.

— Приехал. Я видела утром.

Павел Евграфович продолжал сидеть один за столом, глядя на свое отражение в черном стекле. Нет, сегодня уж никуда — болят ноги. И в голове шум. Давление поднялось. К себе пойти? Вроде бы рано. Читать — глаза не годятся, спать — не заснешь, промаешься часов до трех впотьмах, лучше уж на веранде, где люди бы-

вают. Тут светло, горит лампа под абажуром. Так просидел долго. Люди бывали — проходили из сада в дом, из дома в сад, жаловались на что-то, вздыхали, разговаривали между собой, исчезали за дверью,— он не обращал на них внимания. Смотрел в сторону, занятый мыслями. Хотя мыслей особых не было, потому что голова устала. Потом сделалась глубокая ночная тишина и застучали легкие лапы по ступеням, заскреблись в дверь, вошел Арапка, конфузясь, прося извинения за поздний час, пригибая морду к полу и хвостом метя. Деликатнейший пес! Павел Евграфович обрадовался и пошел, стараясь не скрипеть, не шаркать — все уже легли, кто в доме, кто в саду,— искать что-нибудь для пса на кухне...

Такая же душная ночь в том августе: девятнадцатый год, какой-то хутор, название забыто. Запах юности — полынь. Никогда больше не проникала в тебя так сильно эта горечь — полынь. Прискакал нарочный с телеграфным сообщением, да никто и не спит в ту ночь. Какой сон! Прорыв Мамонтова оледенил нас, как град. На стыке VIII и IX армий, верстах в ста к западу. Он рвется не в нашу сторону, а на север, будто бы далеко, но весь фронт затрепетал, как едва зашитая рана. Захвачены Тамбов и Козлов. И вдруг ночной гонец с телеграммой: корпус Мигулина двинулся из Саранска на фронт! Нарушив все приказы. Самовольное выступление. Предательство? Повернул штыки? Соединяться с Деникиным? *То, о чем предупреждали, случилось?*

Отчетливый ночной ужас в степи, где гарь трав и запах полыни. Первое: неужели она с ним? Все дальше отрывается от меня Ася, за все более необозримые рубежи. Теперь уже за гранью, куда не достать, только штыком и смертью. Не надо лгать себе. Первая мысль именно такова: штыком и смертью. И даже секундная радость, миг надежды, ибо есть путь, потому что сразу *поверил*. Какие-то люди из политотдела фронта, какой-то раненый командир, пытавшийся пробраться в Козлов, буян и крикун, все мы, отрезанные мамонтовским движением от штаба Южфронта, который был в Козлове, а теперь неведомо где, отлетел на север, все мы, кроме Шуры, мгновенно приняли новость на веру. Приказом Южфронта Мигулин назван предателем и

объявлен вне закона. С нами ночует какой-то молодой попик. Нет, не попик, семинарист. Хуторянин пригрел его из жалости. Семинарист — помешанный, все время тихо смеется и плачет, бормоча что-то. Никто не замечает его, не слышит бормотания. Он, как птица, что-то курлычет в углу. Вдруг подходит ко мне, присаживается рядом на корточки — он долговяз, тощ — и говорит со значительностью и печалью, грозя мне пальцем:

— Ты пойми, имя сей звезде — полынь... И вода стала, как полынь, и люди помирают от горечи...

Поразили слова: звезда — полынь. Не знал, что это из библейского текста, объяснили после, и, как ни странно, объяснил один из работников политотдела, грамотный мужик, а тогда подумал, что бред, чушь. Он вот отчего — всю его семью порешили. Где-то на юге. Но не может понять, кто порешил: то ли белые, то ли григорьевцы, то ли какая-нибудь Маруська Никифорова. Этих марусек развелось видимо-невидимо, в каждом бандитском отряде своя, но настоящую Маруську Никифорову видел я в мае восемнадцатого, под Ростовом. В белой черкеске с газырями. Попик бормочет несуразно: «Саранча пожрала... Жабы нечистые...» И вот сидим ночью, рассуждаем, гудим, смолим махру, и тут телеграмма. Сергея Кирилловича — вне закона. Мигулина, героя, старого бойца революции, может застрелить всякий. Раненый командир бушует яростней всех: изменник! Шкура! Недаром о нем молва шла! Не выдержал, волчья пасть! Да я б его моментом, не думавши...

Все потрясены и воют, орут, костят, матерят Мигулина. Один Шура, как всегда, холодноват.

— Подождите, узнаем подробности.

— Какие подробности? Все очевидно! Выбрал время исключительно тонко: ни раньше, ни позже, именно теперь, когда Мамонтов прорвал фронт...

— Сговорились заранее!

— Гад! Полковник!

— А вы знаете, не могу поверить...

— Не верите телеграмме?

— Нет, телеграмме верю. И верю тому, что он выступил. Но не знаю, зачем.

— Да вы верите тому, что Южфронт объявил его вне закона?

— Верю, потому что есть люди, которые этого хотели.

— Непонятно, какие вам нужны доказательства? Когда он поставит вас к стенке и скомандует взводу «пли!», вы все будете сомневаться...

Раненый командир трясет маузером.

— Моя б воля, я б его, контру, суку... Без разговору! — И от полноты чувств палит в небо. Злоба против Мигулина адская. Все взвинчены, нервны, хотят немедленно что-то делать, куда-то двигаться, пробиваться, то ли к Борисоглебску, то ли в Саранск. И тут разыгрывается молниеносная история, в общем-то, незначительная, не имеющая влияния на ход войны и на судьбу людей — кроме судьбы одного человека, которая, впрочем, к той ночи безнадежно определилась,— но в мою память история вонзилась, как нож. Случайная смерть бродяги в урагане войны... Зачем он бросился на человека с маузером, стал кричать, бесноваться? Взрыв безумия, приступ болезни. Кричал: «Зверь! Пропади! Сгинь!» — хватал раненого за руку, причиняя боль, и тот — тоже в минутном безумии — разрядил в семинариста маузер. Шура тут же приказал арестовать. Не помню, что с ним сделали. Повезли в Саранск под конвоем, а дальше? Не помню, не помню. Дальше охота на Мигулина, который уходил лесами на запад...

Когда слишком долго чего-то боятся, это страшное происходит. Но что же на самом деле? В первую минуту поверил, затем возникли сомнения, затем то укреплялась вера, то добавлялись сомнения. Долгая жизнь и бесконечное разбирательство, и вот теперь, стариком — «мусорным стариком», как сказала однажды Вера, сердясь не на отца, на другого старика, который ей насолил,— жаркой ночью в Бору, когда жизнь кончена, ничего не надо, таблетки от бессонницы не помогают, да и к чему они, близок сон, которого не избежать, ответь себе: зачем он так сделал? Не нужны статьи, увековечивание памяти, улица в городе Серафимовиче, не нужна громадная правда, нужна маленькая истина, не во всеуслышанье, а по секрету: зачем?

Вот папка в залоснившемся картоне с наклеенным в верхнем углу желтым прямоугольником кальки с надписью: «Все о С. К. Мигулине». Листки, тетрадки, письма, копии документов — все собранное за годы. Еще раз. Почему бы не теперь? Почему не во втором часу ночи? Ведь сна нет. Глаза беречь глупо, скоро они не понадобятся.

Назад, назад! На несколько месяцев. Для того чтобы понять, что случилось. Разорвалось сердце. Но до того — глухая, мучающая боль... Мы расстались с ним в марте. Его перевели в Серпухов, потом в Смоленск, в Белорусско-Литовскую армию, что было нелепой ссылкой, ибо армия не вела тогда операций. Помощник командующего бездействующей армией. И это в пору, когда на Дону все горит, трещит, наступает Деникин, бушует казачье восстание — вырвали с поля боя и закинули куда-то в лопухи, в тишину и покой! Корпус Хвесина, созданный для борьбы с повстанцами, провалил дело, растерялся, отступил. В июне опять вспомнили о Мигулине. Вот телеграмма члена РВС Южфронта Сокольского Председателю РВС Республики: «Козлов 10 июня. Деникинский отряд в составе, по-видимому, трех конных полков прорвался Казанскую. Опасность переброски восстания Хоперский, Усть-Медведицкий округа значительно увеличилась. Задача экспедиционных войск теперь, когда фронт на юге открыт, поставлена: занять левый берег Дона от Богучара до Усть-Медведицы, предупредить восстание северных округах. Хвесин обнаружил беспомощное состояние. Решительно предлагаю срочно назначить командиром корпуса Мигулина, бывшего начдивом 23. Имя Мигулина обеспечит нейтралитет и поддержку северных округов, если не поздно. Прошу немедленно ответить Козлов. Командюж всецело согласен. Сокольский».

На другой день Председатель РВС передал по прямому проводу: «Москва. Склянскому. Сокольский настаивает назначении Мигулина командиром Экспедиционного корпуса. Не возражаю. Снеситесь Серпуховом. Положительном случае вызвать Мигулина немедленно. 11 июня 1919 г. Пред РВС Троцкий».

Те же люди, которые *убирали* и *закидывали в лопухи*! Главком Вацетис с назначением согласился. Мигулин получил приказ и в тот же день — какой день, в тот же час! — полетел на Дон. Комиссаром корпуса назначен Шура, и я конечно же еду с ним.

Еще выписка из архива: «Приказ РВС Южфронта. Экспедиционный корпус переименовать в Особый. Подчиняется непосредственно Южфронту. Командэкскор т. Хвесин освобождается от командования с разрешением по сдаче должности воспользоваться личным отпуском по болезни с оставлением в резерве комсостава Южфронта. Командующим Особым корпусом назнача-

ется тов. Мигулин на правах командарма. Тов. Мигулину немедленно вступить в командование корпусом, приняв командование от т. Хвесина. О приеме и сдаче донести».

Конец июня, свежее лето, дожди, тепло... Едем на бронепоезде в Бутурлиновку, где штаб корпуса. В вагоне встречаю Асю. Всего четыре месяца разлуки, и какая перемена! У меня, лишь только увидел, порыв броситься, обнять, расцеловать, родной человек, роднее нету, один Шура, но прохладная улыбка и кивок головы удерживают. Трясу ей руку.

— Аська, как я рад! Отчего такая худая? Такая скуластая? Он на тебе пушки возит?

Усмехается сухо.

— Была бы рада возить. Да пушек не даете.

Все новое: шуток не понимает, взгляд какой-то сторожкий, опасающийся. Чего? Как бы не проявил старой дружбы? Не обнял, не подурачился? Весь первый день, да и после, по приезде, старается не быть со мной долго. Мигулин тоже похудел, высох, борода черная клоком, взор горящий, движения поспешные, голос резкий, разговаривает криком, на надрыве, чуть что, затевает митинг, собирает кружком казаков и глушит речью — человек одержимый. Сейчас одна страсть: создать корпус, армию, возглавить, спасти революцию! И, не мысля ни о чем другом, не замечая ничего, успевает, однако, зорким оком следить за Асей — тут ли она, с кем? Эти его взгляды, наивно ищущие, секундно озабоченные, в разгар спора или речи — он ораторствует перед мобилизованными казаками, идет мобилизация в северных округах, вялая, неуспешная, но с появлением Мигулина дело налаживается, его знают, ему верят, он казачья знаменитость и гордость,— эти откровенные взгляды почти старого человека меня поражают. Он любит! Не может без нее! И она, она... Несколько удивленный переменой, которая с нею случилась — а чего дураку удивляться? — спрашиваю, улучив минуту:

— Почему ты со мной, как с чужим? Что произошло?

— Ничего...— Улыбнулась по-старому, мягко, но сейчас же посмурнела опять.— Я не знаю, как ты относишься к Сергею Кирилловичу.

— Ах, дело в этом?

— Да.

— Делишь людей по такому принципу?

— По такому.

— Все ясно, но ты меня извини...— Я ошарашен, слова не подыскиваются, бормочу: — Как-то странно, на тебя непохоже. Я тебя узнать не могу.

— А это понятно. Меня прежней давно нет. Та девочка умерла,— говорит Ася неумолимо. Да Ася ли это? Смотрю на нее, похолодев.— Ты, наверно, присутствовал при моей смерти. Я никогда не встречала людей, как Сергей Кириллович, и жизнь у меня теперь другая. Он необыкновенный, понимаешь? Не как все. Не как мы с тобой. Оттого я и изменилась, что рядом с ним. И, конечно, у него враги, недоброжелатели, завистники, просто негодяи, которые хотели бы, чтоб его не было...

— Надеюсь, меня не относишь к этой категории?

— К этой нет. Но я, Павлик, скажу честно, не чувствую твоего истинного... У меня есть чутье, как у собаки, и вот не чую...

Потом разговорилась понемногу, рассказывает о мытарствах в Серпухове, в Козлове, о поездке в Москву, куда вызывали в штаб РККА и где высшее начальство обещало работу; формировать кавдивизию из казаков освобожденных округов. Сергей Кириллович согласился, но все почему-то заглохло и кончилось тем, что послали в Смоленск... Какая тоска, какое унижение, он себе места не находил. Жить не хотел. Она страшно трусила за него, ведь был на грани самоубийства. Представить себе: человек горячий, отважный, полный яростных сил обречен на покой. А на Дону кипит сеча! Да как вынести? Он с ума сходил. Покой — хуже тюрьмы... В чем же тут дело? Кто тормозит? Кто его враг?

Она допрашивает напряженно, всматривается страстно, хочет понять, узнать — для него. Вся эта исповедь — для него. Не могу помочь. Сам толком не понимаю. Есть застарелое недоверие, но откуда? Рассуждать об этом с нею опасно, потому что вижу, тут все воспалено, болит.

— Аська, я не думаю, чтоб были прямые враги. Тут какой-то предрассудок, какая-то тупая боязнь...

— Кого? Чья?

— Ей-богу, не знаю. Может, есть такие люди в Донбюро, может, в РВС фронта...

Некоторых прямых врагов знаю: Купцов, Хуторянский, Симкин. Да и она должна знать, а он-то на-

верняка. Называть фамилии нет смысла. Вероятно, и в Реввоенсовете Республики имеются если не прямые, практические, то теоретические, то есть идейные враги, не исключая председателя. По каким-то вопросам никогда не договорятся. Например, о казачьем самоуправлении. Ведь он был народным социалистом, теоретики всегда будут помнить. Как Наум Орлик: «Пятьдесят процентов стихийного бунтарства, тридцать процентов еще чего-то и пять процентов марксизма...»

Ася продолжает жадно выпытывать:

— Ты говоришь про РВС Южного. А Сокольский? Ведь он за нас! Он настаивал, чтоб Сергей Кириллович получил корпус.

Как же объяснить, что люди в этих условиях — смертной битвы — действуют не под влиянием чувств, симпатий или антипатий, а под воздействием мощных и высших сил, можно назвать их историческими, можно роковыми. Что значит: за нас? (Бог ты мой, почему же нас? Так быстро? Так окончательно?) Не в нас дело, а в том, что Дон погибает, нужно его спасать. Тут отчаяние... Риск велик, но и какой-то шанс. У Сокольского мозги поживей, а у Купцова и Хуторянского мышление заскорузлое, вот и разница. Но обольщаться, будто бы он за нас, не стоит. Всего этого говорить нельзя. Я киваю: да, да, разумеется, Сокольский настаивал, слал телеграммы. (А что было делать?) Мое истинное понимание: тут огромная путаница! Я запутался. Одно понимание соединилось с другим, они напластовались, нагромоздились друг на друга, впаялись в течение лет друг в друга. Теперь, спустя жизнь, неясно: так ли я думал тогда? Так ли понимал? Все понимания перемешались. Нет, летом девятнадцатого было что-то иное. Оттого и разговаривал с Асей, опасливо недоговаривая, что во мне тоже сидела частица зла, которое потом растерзало его,— недоверие. Ну, может, ничтожная, едва видимая частица... Немногие были от этой мути избавлены. Ах, все это сегодняшнее, сегодняшнее! Спустя жизнь! А тогда — то, да не то... Тогда... Весна девятнадцатого: наступает Деникин, полыхает восстание... Мигулина отзывают в Москву, в Смоленск... Тогда: акт недоверия есть как бы подтверждение правоты недоверия, и не надо никаких доказательств. Убрали — значит, есть повод. Оставлять Мигулина на Дону во время казачьего бунта? Пустить козла в огород? Не понимая того, что он сделал бы все, что мог, жизнь бы положил,

чтобы остановить, погасить... Потому что все было отдано этому... Другой жизни не было... Его беда — все орал напрямик. И отстаивал с пеной у рта, с шашкой наголо. Даже то, в чем разбирался худо. Он орал о народном представительстве. Орал о максимализме. Орал об анархо-коммунистах. Он орал на митингах о том, что не все комиссары отважны и благородны, попадаются трусы. Орал о том, что не все бедняки — добрые люди, есть злодеи и душегубы. И еще орал о том, что хочет создать на Дону народную крепкую власть, настоящую советскую власть, как указывают товарищ Ленин и товарищ Калинин, без генералов и помещиков, с большевиками во главе, но без комиссаров.

И от этого ораньях иных брала оторопь. Другие чесали в затылке. А некоторые говорили: «Ну хорошо, пускай, но мы дадим ему войско...» И еще вот что: полководческое тщеславие. Весной девятнадцатого в России бурлят полководческие знаменитости — наши, белые, зеленые, черные... Командир полка, бывший унтер Маслюк, не может спокойно слышать имени Мигулина. Губы сжимаются, желваки на широких скулах ходят, и шрам поперек лба — след австрийского тесака — белеет. Ничего дурного не говорит Маслюк о Мигулине, потому что никаких слов о Мигулине — ни добрых, ни злых — язык Маслюка выговорить не может. И дело не в том, как думают, что Мигулин — донской казак, а Маслюк — крестьянин воронежский, и не в том, что один унтер, а другой подполковник, а в том, что чужая слава холодит горло, как нож...

Но я не говорю Асе про Маслюка, хотя он-то и есть недруг, потому что не догадываюсь. Все это понимается не сразу. Разговор наш закончился радостным шепотом, счастливым сиянием в глазах:

— Он стал неузнаваем! Совсем другой человек... Господи, как я рада, что нам дали корпус! — И вдруг опять озабоченно: — А как твой Шура относится к Сергею Кирилловичу?

Я говорю: он его уважает.

Но то, что начиналось так хорошо... Первые несколько дней... О да, хорошо, бойко, ходко, напористо! Мобилизация, обучение, стрельбы, митинги, речи, сочинение ночами и печатание Асей под диктовку на «ундервуде» горластых, зажигательных листовок, которые он подписывает «Гражданин станицы Михайлинской, казак Области войска Донского С. К. Мигулин». Вот лист с

нашлепанными на одной стороне фиолетовыми квадратиками для обертки конфет Бутурлиновской конфетной фабрики, на другой стороне с воззванием: «К беженцам Донской области». Его стиль: «Граждане казаки и крестьяне! В прошлом году многих из вас красновская контрреволюционная волна заставила оставить родные степи и хаты. Много пришлось пережить и выстрадать... Если одолеет генерал Деникин, спасения никому нет. Сколько ни катись, сколько ни уходи, а где-нибудь да ждет тебя стена, где прикончат тебя кадетские банды... Но если одолеем мы... Итак, граждане изгнанники, все ко мне!.. Бойтесь, если мертвые услышат и встанут, а вы будете спать! Бойтесь, если цепи рабства уже над вашими головами!» И концовка сочинения, конечно же, замечательная: «Да здравствует социальная революция! Да здравствует чистая правда!»

Ася рассказывает секретно — и просит, чтоб я не передавал, Мигулин не хочет, чтоб знали — о том, что деникинцы покарали его семью, захватив Михайлинскую. Истязали мать, расстреляли отца и брата. Жена Мигулина, с которой он расстался перед войной, бежала с дочерьми, спаслась. А его старший сын погиб на германском фронте. Спалили хату, двор — беженцы рассказали — и на пепелище поставили столб с надписью: «Отсюда выродился змей, иуда донской Мигулин». Гордость не позволяет, чтоб сочувствовали и жалели. Но ведь эта расправа — залог того, что не предаст, не перекинется!

— Почему просит никому не рассказывать?

— Павлик, он странный... Он такой чудной, бесхитростный...

Помню это слово, меня изумившее: бесхитростный. Наверное, вот что: не умеющий, не желающий извлекать для себя пользу ни из чего. Он и ей не рассказывал долго. А потом, рассказав, предупредил: «Все сгорело вот тут, и никто не касайся». И правда странный. Как-то стоим с Асей возле штабного вагона, разговариваем. Ася жмется к вагону, боится отойти на тридцать шагов, ей не велено удаляться, потому что (потому ли?) может каждую минуту понадобиться, отстукать какой-нибудь приказ или воззвание. Я, споря с нею, говорю:

— Ася, пойми...— и тут показывается Мигулин, смотрит диким, исподлобным взглядом.

— Вам, молодой человек, надлежит называть мою

жену Анной Константиновной.— И грубым криком: — Шоб никаких Ась, понятно?

Это происходит, однако, в пору, когда он накален, взбудоражен и спокойным тоном разговаривать не может. Южфронт не дает помощи. Опять то же самое: мигулинский корпус — будто бы не родной! Опять пасынок среди любимых детей. Впрочем, одно название — корпус... В конце июня Мигулин и Шура шлют телеграмму в штаб Южфронта: «Приняв командование Особым корпусом и ознакомившись с обстановкой, боевым составом и состоянием частей, доношу, что бои идут в чрезвычайно тяжелых условиях ввиду громадного фронта и слабого состава частей (в некоторых полках не более 80 штыков)... Многие части из-за недостаточной обученности и сколоченности отличаются неустойчивостью (Первый коммунистический полк в ночь с девятнадцатого на двадцатое разбежался), казачьи сотни, пройдя свою станицу, переходят на сторону противника (Федосеевская и Усть-бузулукская сотни)... При таком положении, когда части измучены долгим периодом боев, понесли тяжелые потери и лишились в упорных жестоких боях большого числа командного состава и комиссаров, нравственная упругость их весьма невелика и ими можно пользоваться лишь как легкой завесой, за которой необходимо приступить к срочному формированию и обучению новых частей. Выполнение же каких-либо активных заданий с этими войсками без соответствующей передышки невозможно. По последнему донесению начдива 2, в бригадах осталось не более 150 штыков в каждой. Начособкор Мигулин. Член РВС Данилов».

В этой телеграмме заметны следы Шуриного сочинения. «Нравственная упругость» — от Шуры. Зато вот листы, переписанные с документа в тяжелое время, шесть лет назад — Галя умирала, и сам чуть не умер от пытки горем, только в архиве и спасался,— громаднейшая телеграмма Мигулина в Москву и в РВС фронта. Как радовался — сквозь муку — тому, что нашел! Один старичок подсказал, сообщил шифры, фонд, опись. Хороший старичок, независтливый, хотя в том же времени ковырялся. Теперь уж и старичка нет, и Гали...

«24 июня 19 ч. ст. Анна.

Назначая меня комкор Особого, РВС Южфронта заявил, что этот бывший экскор силен, что в нем до пятнадцати тысяч штыков, в числе коих до пяти тысяч кур-

сантов, и что это одна из боевых единиц фронта. Если такие же сведения даны вам, то я считаю революционным долгом донести о полном противоречии этих сведений с истинным положением вещей. Я нахожу это недопустимым, ибо, считая информационные данные как нечто положительное, мы закрываем благодаря им глаза на действительную опасность и, убаюканные, не принимаем своевременно мер, а если принимаем, то слишком поздно. Я стоял и стою не за келейное строительство социальной жизни, не по узкопартийной программе, а за строительство гласное, за строительство, в котором народ принимал бы живое участие. Я тут буржуазии и кулацких элементов не имею в виду. Только такое строительство вызовет симпатии крестьянской толщи и части истинной интеллигенции. Докладываю, что особкор имеет около трех тысяч штыков на протяжении 145 верст по фронту. Части измотаны и изнурены. Кроме трех курсов, остальные курсанты оказались ниже критики, и их осталось от громких тысяч жалкие сотни и десятки. Коммунистический полк разбежался; в нем были люди, не умевшие зарядить винтовку. Особкор может играть роль завесы. Положение особкора спасается сейчас только тем, что вывезены мобилизованные казаки из Хоперского округа. Расчет генерала Деникина на этот округ полностью не оправдался. Как только белогвардейщина исправит этот пробел, особкор, как завеса, будет прорван. Не только на Дону деятельность некоторых ревкомов, особотделов, трибуналов и некоторых комиссаров вызвала поголовное восстание, но это восстание грозит разлиться широкою волною в крестьянских селах по лицу всей республики. Если сказать, что на народных митингах в селах Новая Чигла, Верхо-Тишанка и других открыто раздавались голоса «давай царя», то будет понятным настроение толщи крестьянской, дающей такой большой процент дезертиров, образующих отряды зеленых. Восстание в Иловатке на реке Терсе и пока глухое, но сильное брожение в большинстве уездов Саратовской губернии грозит полным крахом делу социальной революции. Я человек беспартийный, но слишком много отдал сил и здоровья в борьбе за социальную революцию, чтобы равнодушно смотреть, как генерал Деникин будет топтать красное знамя труда. Устремляя мысленный взор вперед и видя гибель социальной революции, ибо ничто не настраивает на оптимизм, а пессимист я редко ошибающийся, счи-

таю необходимым рекомендовать такие меры в экстренном порядке: первое — усилить особкор свежей дивизией, второе — перебросить в его состав 23-ю дивизию как основу... или же назначить меня командармом девять... созыва народного представительства... передал в РВС фронта много заявлений станичников... а когда крестьянин пожаловался, его убили. Сами увидите, кто истинный коммунист, кто шкурник...» Что-то путаное, злое, отчаянное, трудно разобрать в три часа ночи, голова устала, но, когда приехал с этим текстом домой — страшно обрадованный! — и тут же, сев возле Галиной кровати, стал читать вслух, Галя вдруг перебила, спросив: «Паша, это кому-нибудь интересно сейчас?» Удивительно непохоже на Галю. Ей всегда интересно. И если теперь неинтересно, значит, кончается ее жизнь.

Я объясняю: то, истинное, что создавалось в те дни, во что мы так яростно верили, неминуемо дотянулось до дня сегодняшнего, отразилось, преломилось, стало светом и воздухом, чего люди не замечают, о чем не догадываются. Дети не понимают. Но мы-то знаем. Ведь так? Мы-то видим это отражение, это преломление ясно. Поэтому так важно теперь, через полвека, понять причину гибели Мигулина. Люди погибают не от пули, болезни или несчастного случая, а потому, что сталкиваются величайшие силы и летит искрами смерть. Она смотрит долгим взглядом, небывало долгим, темным, глубинным — это прощание, навсегда запомнил лицо, щекой на подушке, упавшее, бескровное, в изморози близкой разлуки, и только взгляд бесконечно страстный, пронзительный,— и спрашивает: «А почему погибаю я?» Тихий шепот и намек на улыбку означают, что можно не отвечать. Это вопрос просто так. Себе или никому. Говорю сердито: «Ты не погибаешь! Не мели, пожалуйста, ерунды!» Привычные слова лжи, а сам думаю: они потом никогда не поймут, как мы все это смогли вынести... какие силы нас разрывали... Мигулин погиб оттого, что в роковую пору сшиблись в небесах и дали разряд колоссальной мощи два потока тепла и прохлады, два облака величиной с континент — веры и неверия,— и умчало его, унесло ураганным ветром, в котором перемешались холод и тепло, вера и неверие, от смещения всегда бывает гроза и ливень проливается на землю. Таким же ливнем кончится этот нещадный зной. И я насладжусь прохладой, если доживу. Мы с Га-

лей стоим в беседке, куда прибежали, спасаясь от дождя — тяжелый ливень лупит в крытую толем крышу. Белыми водяными шарами колышется туман в саду. «Обязательно поговорить! В саду в два часа».

Ливень, беседка, мокрое платье, испуганное Галино лицо — из какого-то гимназического далека. Тут назначались свидания. Ножичком вырезаны имена...

— Что случилось?

— Павлик, я опять боюсь за него! Он страшно ругался с Логачевым, с Хариным... Грозил кого-то убить...

Бог ты мой, я холодею от ужаса. Моя Галя в страхе за кого-то — не за меня! Плачет из-за чужого. Немеющими губами спрашиваю.

— Ты так его любишь? — Это странно: будто бы знаю, кого его, и в то же время не могу понять. Безумно напрягаюсь, стараясь догадаться, кто этот человек, который так хорошо знаком.

— Разве не видишь? Без него жить не могу.

Вдруг: не Галя, а Ася. Это Ася в беседке! В саду дома уездного воинского начальника. Она меня вызвала запиской. Это уж после возвращения Мигулина из второй, июльской поездки в Москву, после разговора в ЦК, в Казачьем отделе, вернулся ободренный и полный сил — Особый корпус, созданный против повстанцев, теперь утратил значение, фронт перекатился на север, Деникин захватил Донщину, Царицын, Харьков. Теперь воевать не с повстанцами, а с Деникиным! Мигулин формирует новый корпус — Донской казачий. Мы стоим в Саранске. Формирование идет потрясающе медленно. А Шура получил новое назначение: в Реввоенсовет Девятой армии. Вот отчего Ася в испуге.

— Ведь он единственный человек, с кем Сергей Кириллович может разговаривать! Хотя и с ним спорит... Но остальных на дух не принимает. Остальные — враги.

— Так уж и враги?

— Враги! — В глазах Аси непреклонность и гнев, мигулинский гнев. Шепчет: — Нарочно шлют нам... из северных округов... про них известно, они там безобразничали... Он их видеть не может! Ненавидит хуже Деникина!

— Куда шлют?

— Да все наши политкомы оттуда... Хоперские...

Сборы накануне отъезда. Разговор с Шурой в хозяйской комнате, где запах чабреца, сундуки, иконы. Хо-

зяин сочувственно расспрашивает: куда отступили? Где фронт? Почему мировой пролетариат дремлет, не чухается? Будто бы озадачен, но по роже — бритой, ухмыляющейся — видно, что рад. Вдруг сообщает шепотом:

— Я вам, граждане коммунисты, скажу откровенно, отчего у вас война неудалая: генералов у вас нет. Книжники да конторщики по штабам, а в главном штабе — Левка очкастый. Разве он против генерала сообразит?

Шуре неохота покидать несчастный мигулинский корпус, но и оставаться дольше мочи нет. Верно, верно шипит кулачина: генералов нет. А если есть кто, мы их, как грузди, маринуем. Глупость невероятная. Любимое Шурино: глупость невероятная. Потому что все усилия Шуры сдвинуть дело, все его телеграммы, вся брань с деятелями Южфронта — устно и по прямому проводу — не дают результата. Как сказано: и хочется, и колется. В июне хочется, в июле колется, потом то так, то этак. Оттого Шура зол, что никому втолковать не может: «Поверьте до конца!» И на Мигулина сердит потому, что тот бешенствует и себе вредит: прогнал, едва не кулаками, чрезвычайного представителя Южфронта, который приехал проверять работу политотдела.

Входят Логачев и Харин, политкомы, совсем молодые, Логачеву года двадцать три, Харин чуть старше. Логачев — из Новочеркасска, студент, Харин — ростовский, рабочий, котельщик. Оба проводили реквизиции в северных округах в феврале и марте, прославились как твердые, неустрашимые исполнители — их называют «хоперские коммунисты»,— и у Мигулина, конечно, с ними вражда.

— Значит, бросаете нас, Александр Пименович? — Бледно улыбается маленький востроносый Логачев. Смотрит, как всегда, высокомерно, откинув голову.— А не похож ли ваш отъезд на бегство известных тварей с корабля?

— Я человек служивый. Приказ...— мрачно, без обиды объясняет Шура.

— А по сути? По внутреннему чувству как?

Они молодые. То их захлестывает задор, то охватывает страх. Мигулин в приступах ярости грозит их застрелить. А они угрожают арестом, расстрелом ему. Как же работать вместе? Никакая работа не движется. Корпус гниет в бездействии. А Деникин тем временем

готовится рвать фронт, и через несколько дней встык между армиями вонзится конница Мамонтова.

— По внутреннему чувству я вас, ребята, жалею. Не хочу оставлять на съедение комкору. Он вас доест...

— А может, мы его? Вражину? — прищуривается тяжелорукий котельщик.

— Он не вражина. Он революционер, но крестьянский, то есть мелкобуржуазный. И для нас человек ценный, потому что враг наших врагов. Ясно? Пока вы эту истину не усвоите, будет вам худо и опасно...

Шура все так хорошо понимает, но сил и терпения работать с замечательным революционером нет. Троцкий написал на одной из первых мигулинских телеграмм: «Донская учредиловщина и левая эсеровщина». Так и осталось, вроде несмываемой красно-сургучной печати. Наум Орлик! Тоже любил определять состав и навешивать сигнатурки. Аптекарский подход к человечеству — точнее сказать, к человеку — длился десятилетиями, нет ничего удобней готовых формул, но теперь все смешалось. Склянки побились, растворы и кислоты слились. Теперь я многого не понимаю. Временами ни черта. Особо таинственными кажутся мне люди молодые и толпа среднего возраста. Кое-что угадываю в стариках. Старики ближе. На стариков я мог бы не хуже Орлика понавешивать сигнатурки, а вот молодые ставят в тупик. Такая каша, такая муть! Тут бы и Наум запутался, тут бы и он запросил пардона. «О, много, много мы во всем этом виноваты! Дон был заброшен, предоставлен самому себе, чтобы потом захлебнуться в собственной крови...» Что я читаю? Бог ты мой, это же письмо в ЦИК. То, что Мигулин говорил Владимиру Ильичу во время их встречи в июле. «Окраины Дона в марте—апреле подвергались разгулу провокаторов, влившихся в огромном числе в тогдашние красногвардейские ряды. Эта тяжелая драма фронтового казачества будет когда-нибудь освещена беспристрастной историей. Среди сотен расстрелянных, сосланных казаков были невинные. Революция сделала такие углубления, что бедный ум станичника бессилен разобраться в совершающихся событиях... Ему непонятна вызываемая голодом страны, происходящая теперь на Дону реквизиция скота и хлеба... Я глубоко убежден в том, что казачество не так контрреволюционно, как на него смотрят... Кто бы что бы про меня ни лгал, что бы ни клеветал, я торжественно заявляю перед лицом пролетариата, что делу

его не изменял и не изменю. Прошу одного — понять меня как беспартийного, но стоящего на страже революции с 1906 года...» Дальше хорошо помню. Владимир Ильич будто бы сказал — со слов кого-то из членов Казачьего отдела, — что «такие люди нам нужны. Необходимо умело их использовать». И Калинин, с тех же слов, отнесся сочувственно, лишь выразил опасение, как бы Мигулин от критики отдельных недостойных коммунистов не пошел бы против партии.

Бог ты мой, как все это немыслимо объяснить одним словом! Но каждый раз пытаются. Пытались при жизни Мигулина, выкрикивая такие слова, как «изменник» и «предатель», пытаются и теперь, крича «ленинец» и «революционер». Объяснилось бы просто и одним словом — не сидел бы среди ночи, вороша бумажки... Хотя спасибо бумажкам, еще ночь обломал... Третий час. Нету сна и в помине. И голова будто ясная. Опять все хорошо соображаю и обо всем думаю. Вот читаю про Мигулина, мучаюсь догадками, а позади всего мысль: как там Руська в горящих лесах? Не заболел ли? Парень безалаберный, глупый — в своей жизни, для себя глупый, — непременно что-нибудь натворит...

Еще письмо, позднее, длинное, кипящее, ошеломляющее: «...на безумие, которое только теперь открылось перед моими глазами, я не пойду и всеми силами, что еще есть во мне, буду бороться против линии расказачивания. Я сторонник того, чтобы, не трогая крестьянство с его бытовым и религиозным укладом, не нарушая его привычек, увести его к лучшей и светлой жизни личным примером, показом, а не громкими, трескучими фразами доморощенных коммунистов, у которых на губах еще не обсохло молоко и большинство которых не может отличить пшеницы от ячменя, хотя и с большим апломбом во время митингов поучает крестьянина ведению сельского хозяйства... (Не меня ли имеет в виду? Каждый раз, читая это место, думаю — меня. Тоже молол на митингах что-то насчет того, что разобьем Деникина, успеем к уборке...) Я хочу остаться искренним работником народа, искренним защитником его чаяний на землю и волю и, прибегая к последнему средству, снимаю с себя всякую клевету лжекоммунистов... Тот же обнаруженный дьявольский план расказачивания заставляет меня повторить заявления на митингах, которые я делал. 1. Я — беспартийный. 2. Буду до конца идти с партией большевиков, как шел до сих

пор. 3. Всякое вмешательство лжекоммунистов в боевую и воспитательную сферу командного состава считаю недопустимым. 4. Требую именем революции и от имени измученного казачества прекратить... И все негодяи, что искусственно создавали возбуждение в населении с целью придирки для истребления, должны быть немедленно арестованы, преданы суду... Я борюсь с тем злом, какое чинят отдельные агенты власти, т. е. за то, что говорилось недавно представителем ВЦИК буквально так: «Комиссаров, вносящих разруху и развал в деревню, мы будем самым решительным образом убирать, а крестьянам предложим избрать тех, кого они найдут нужным и полезным...» Я знаю, что зло, которое я раскрываю, является для партии неприемлемым полностью... Но почему же люди, которые стараются указать на зло и открыто борются с ним, преследуются вплоть до расстрела. Возможно, после этого письма и меня ждет такая же участь...»

Те, кому было адресовано, вовремя не прочли. Все могло быть иначе. Но другие люди прочли. Главным злом оказалась искренность. Еще бы, сам на себя наклепал! Тут комкор начинает метаться. Людей ему не дают. Просит направлять в корпус пойманных дезертиров — отказывают. Предлагает провести мобилизацию крестьян — нет. В начале августа подал заявление в партию — политотдел во главе с Логачевым, Хариным своего комкора в партию не принял. Вот где беда: не было рядом истинных комиссаров! Таких, как Фурманов рядом с Чапаевым. Таких, о ком на Восьмом съезде сказано: «...рука об руку с лучшими элементами командного состава в короткий срок создали боеспособную армию». Ленин не знал всех подробностей, но понимал суть беды. Письмо Гусеву! В сентябре девятнадцатого! «Надо лучших, *энергичнейших* комиссаров послать на юг, а не сонных тетерь...» В пятьдесят первом томе... Должна быть закладка... Вот. Вот! Письмо члену РВСР Гусеву... Сергею Ивановичу... «...на деле у нас застой — почти развал... С Мамонтовым застой. Видимо, опоздание за опозданием. Опоздали войска, шедшие с севера на Воронеж. Опоздали с перекидкой 21-й дивизии на юг. Опоздали с автопулеметами. Опоздали со связью... С формированием тоже опаздываем. Пропускаем осень — а Деникин утроит силы, получит и танки и пр. и пр. Так нельзя. Надо *сонный* темп работы переделать в живой».

Ведь об этом Мигулин кричал летом! Ведь это его корпус формировался ужасающе — сонным темпом!

Ни Шуры, ни меня в эту пору в Саранске уже нет. Мы в Козлове. Все узнаем позже по пристрастным, недостоверным рассказам.

Вот из доклада Казымбетова, гонца из Москвы, из Казачьего отдела. Казымбетов пробыл в корпусе несколько дней: «Как личность тов. Мигулин в настоящее время пользуется огромной популярностью на Южном фронте, как красном, так и белом... Его имя окружено ореолом честности и глубокой преданности делу Социальной революции и интересам трудящегося народа... Мигулин является единственным лицом, на которое смотрит с доверием и надеждой, как на избавителя от генеральско-помещичьего гнета и контрреволюции, казачество. Его нужно умело использовать для революции, несмотря на его открытые и подчас резкие выражения по адресу «лжекоммунистов»...» Дальше, дальше!.. «Итак, первопричина недоверия — это вообще его популярность...» Дальше. О настроениях в корпусе... Вот! «Корпус не сформирован и еле формируется. Красноармейцы вооружены против политработников, политработники вооружены против тов. Мигулина. Мигулин негодует на то, что ему, истинному борцу за Социальную революцию, потерявшему здоровье на фронте, не только не доверяют, но даже стараются вырывать ему могилу, посылая на него неосновательные, по его мнению, доносы, вследствие чего Мигулин производит впечатление затравленного и отчаявшегося человека. В последнее время тов. Мигулин, боясь ареста или покушения, держит около себя непосредственную охрану. Политработники боятся Мигулина. Красноармейцы в возбужденном состоянии и каждую минуту готовы к вооруженной защите Мигулина от «покушения» на него. Мигулин, по моему мнению, не похож на Григорьева и далек от авантюры, но «григорьевщина» подготавливается искусственно. Мигулин может быть вынужден на отчаянный жест...»

Темная ростовская глухомань, домишки, заборы, морозная ночь, мелькание свечей за теплыми окнами, рождество празднуют, никто о нас не догадывается. Грохаемся в какой-то проулок, вышибаем калитку. Где догадаться — мы за день рванули восемьдесят верст! Влетели

со стороны Нахичевани. Как на пир Балтасара. Возле дома, из окна которого свет, голоса, стоит офицер в башлыке, в длинной шинели, обнимает женщину, запрокинул страстно, изгибает, клонит, сейчас уронит в снег, а она в платье, простоволосая. Дверь в дом распахнута, видно, только что выскочили оттуда, из тепла, на мороз. А я смотрю с крыльца и вижу: это Мигулин и Ася. «Не сметь!» — кричу. Он дернулся к кобуре, отпрянул от Аси, и я шашкою сверху, как с коня, коротким страшным ударом; хрипнуло что-то, как арбуз под ножом. Только и успел: «А...» Павел Евграфович просыпается от кошмарного видения и долго не может успокоить сердце. Руки дрожат, все внутри колотится, во рту сухо. Бог ты мой, угораздило такой ужас и нелепость — главное, нелепость! — во сне увидеть. Что за черт? Откуда сие? Это вот что врубилось: освобождение Ростова, как упали на них громом среди ясного неба. Под рождество, накануне двадцатого года. И был какой-то дом, двор, музыка из окна, стрельба вдоль улицы, и офицер с девушкой целуются. Боец его тут же, в момент порешил. Тот вздумал шум поднять. А молчал бы — был бы жив. Вбежали в дом, там все наготове: стол накрыт, вина, закуски, женщины кричат, граммофон играет...

...Наконец в середине августа пришел от Аси ответ в толстом конверте, где оказалась вложенной согнутая пополам ученическая тетрадка, мелко исписанная. Павел Евграфович прочитал: «Дорогой Павел! Я была бесконечно рада получить от тебя письмо, из которого узнала, что ты жив и здоров, живешь с детьми и внуками, что твоя жизнь сложилась, в общем, благоприятно, если не считать потери близкого человека, но в нашем возрасте редко кто таких потерь избежал, а я это горе испытала трижды. Так что понимаю тебя и очень сочувствую, дорогой Павел. Задержалась с ответом потому, что хотела получше вспомнить и записать как можно подробней, как ты просил. Вот что сохранила память.

Ты спрашиваешь: что происходило после вашего, твоего дяди и твоего, отъезда из корпуса? Разумеется, ты досконально знать не мог. А слухи ходили самые разные и ужасные. Мне кажется, их нарочно распространяли враги Сергея Кирилловича. Конечно, он мог в за-

пальчивости назвать какого-нибудь струсившего работника нехорошим словом, за что мне всегда бывало стыдно, и я его ругала. Но ведь он был бешеный! Он и коммунистов мог ругать сгоряча, хотя врагов коммунизма ненавидел люто и воевал против них всю жизнь. Мне кажется, роковой удар нанесли в августе, когда он подал в партию, а его не приняли. Его собственный политотдел отказал. Не помню сейчас фамилий этих людей, кроме одной — Логачев. Сергей Кириллович повторял ее часто, всегда с неприязнью и презрительно, иногда с угрозой: «Этот сопляк у меня дочикается!» Был еще какой-то, большого роста, черный, лохматый, еще другой, пожилой, сухощавый, по-моему, латыш, по-русски говорил плохо. Но особенно ненавидел Сергей Кириллович нескольких своих земляков, из Усть-Медведицкого округа, которые раньше были в ревкомах и вели неправильную линию, с чем Сергей Кириллович не соглашался, с ними спорил. Он всегда спорил из-за казачества... Вокруг казачества было много тогда разговоров, одни за, другие против, сейчас не очень-то помню суть разногласий, помню лишь, что С. К. нервничал, называл кого-то балбесами и негодяями, говорил, что негодяи погубят революцию. Он считал, что нарочно присылают людей, которые ему неприятны и враждебны, у них задание: за ним следить и его контролировать. Называл их — между своими, конечно — попками, надзирателями, то есть грубо. Вообще атмосфера в корпусе была неспокойная. В особенности когда уехал Данилов, твой дядя. Теперь вспомнила его фамилию: Данилов. Между ними была ссора. Не помню, из-за чего. Кажется, из-за какой-то комиссии, которую прислали из штаба фронта. Сергей Кириллович говорил: «Проверяльщиков шлют, а пополнений прислать не могут, сколько ни прошу».

Он был очень огорчен несправедливым отношением. Конечно, я не историк и не политический работник, не могу делать окончательных оценок, но как человек, наблюдавший его близко в те недели, хочу сказать: он был предан революции и советской власти, а его некоторые толкали стать врагом. Хотя он критиковал недостатки и поведение работников. Этого отрицать нельзя. Помню, придет в вагон вечером, ординарца Ивана отошлет куда-нибудь и ходит, как тигр, молчит, только стонет, как от боли. «Сережа,— спрашиваю,— что случилось?» — «Ах, рассказывать неохота...— Потом начнет

вдруг кричать: — Деникин наступает! А меня держат в заточении. Я на фронт рвусь! Я их заставлю дать распоряжение!» Когда Данилов уехал, он пришел крайне подавленный и сказал: «Если у каторжного терпячка лопнула, то мне что же остается — пулю в лоб?»

Был убит вашим отъездом. Ну, что дальше? Бесконечные совещания со штабными, с командирами происходили всю ночь. Обстановка накаленная. Одни совещаются, других не пускают. Помню, Сергей Кириллович напряженно работал, писал какую-то программу, я ее печатала, но сейчас совсем не помню, что это было. Потом, на суде, она, кажется, фигурировала в качестве улики против него, будто бы он заранее замышлял предательство, но это неправда. Он писал что-то отвлеченное, свои рассуждения на историческую тему. Он очень любил заниматься философией, рассуждать, спорить, хотя не имел настоящего образования, но иных умных людей ставил в тупик. Какие-то телеграммы шли в Южфронт, в Реввоенсовет Республики, оттуда ответы, и все неблагоприятные, и, наконец, я чувствую, он приходит к решению. Ведь Деникин наступал очень успешно. Вести шли тревожные. Он не мог выдержать. Человек с другим характером, более рассудительный, мог бы себя преодолеть, а Сергей Кириллович взорвался. Я его не защищаю, Павел, я просто плачу, плачу, вспоминая, как он прибегал ко мне и проклинал кого-то и спрашивал: «Ну что мне делать? Скажи, посоветуй!» Понимал, конечно, что ничего посоветовать не могу, просто было отчаяние. Что делать? Я сама как в бреду. Только любила его тогда и жалела безумно.

Вдруг он мне говорит: «Ты должна уехать немедленно!» Почему? Так надо. Ничего не объясняет. Я догадалась. «Ты выступаешь на фронт? Тогда я с тобой!» Мы проспорили всю ночь. Брать с собой ни за что не хотел, но и ехать было некуда. Мама и папа, сестра Варя находились на юге, в Ростове или Екатеринодаре, я точно не знала, во всяком случае, за чертой фронта. Была у нас еще одна родственница, тетя Агния, сестра папы, которая жила в Смоленске, но ехать к ней я наотрез отказалась. Она была чужой человек, замужем за поляком, сама приняла католичество, дело не в этом, я не могла покинуть Сергея Кирилловича. Тогда он стал уговаривать поехать к его сестре, в Воронежскую губернию, однако было неизвестно, кто сейчас в тех местах: наши или белые. Итак, ехать, к счастью, было некуда,

и я с ним осталась. Все стало разворачиваться стремительно. Помню, он написал воззвание. Его помощник Коровин говорил, что чересчур резко, просил смягчить. Опять они спорили и ругались долго, работники политотдела требовали, чтобы Сергей Кириллович убрал каких-то своих командиров и предал их суду, он не соглашался. Помню еще, его друг Миша Богданов застрелился. Этот факт подействовал очень тяжело. Сергей Кириллович как-то вдруг пал духом и будто отказался от мысли выступить самовольно. Но тут получился разговор по прямому проводу с одним из вождей Южного фронта, может быть, с Янсоном... Я точно не помню. Разговор помню очень хорошо, потому что происходил при мне и Сергей Кириллович потом подробно пересказывал. Этот разговор и повлиял: полетел, как первый камень с горы, а за ним обрушилась целая лавина.

Конечно, то, что Сергей Кириллович надумал, может быть, безрассудно, а может быть, нет, я своего мужа судить не берусь, знаю только, что он был честный человек, говорил, что нет выхода. Все это, хотя обсуждалось за закрытыми дверьми и в кругу самых близких и доверенных, стало, конечно, известно в штабе фронта. Потому что нашлись люди, которые донесли. Сергей Кириллович был лишен нужной хитрости, он многим напрасно доверял. Например, командира полка Юрганова считал верным другом, а тот вел себя хуже всех и даже оправдывался на суде, почему он Сергея Кирилловича не застрелил, такой мерзавец. Даже врал, будто где-то стрелял в него, но не попал, отмаливал себе прощение, все равно не помогло. Но я отвлеклась.

Янсон спросил: верно ли, что собираетесь выступить на фронт без ведома командования? Сергей Кириллович твердым голосом объяснил положение. Помню такие фразы: «Вокруг меня атмосфера, в которой я задыхаюсь... Я согласен влиться с сотней преданных мне людей в родную дивизию». Он имел в виду 23-ю дивизию, от командования которой был отстранен в марте. Там начдивом стал его друг Маликов. Вообще говорил сначала спокойно и рассудительно, даже на него непохоже. Янсон сказал, что приказывает от имени Реввоенсовета не отправлять ни одной части без разрешения.

Сергей Кириллович сказал: «Тогда уезжаю один. Жить здесь дольше не могу, меня жестоко оскорбляют!»

Янсон потребовал, чтобы Сергей Кириллович приехал в Пензу. Штаб фронта был тогда в Пензе. Между прочим, помню, сказал: «Приезжайте, сообща обдумаем. Тут сейчас командующий фронтом и товарищ Данилов». Но Сергей Кириллович прямо ответил, что боится за свою безопасность и без конвоя не поедет. Янсон убеждал, что бояться нечего, потом согласился на конвой. Сергей Кириллович потребовал 150 человек. Хорошо, берите 150 человек и приезжайте немедленно. Помню и последние слова Сергея Кирилловича, когда спокойствие изменило ему, он стоял бледный, пот стекал по лицу, был к тому же очень жаркий день, и кричал в трубку, а я стояла перед ним, он все время смотрел на меня, но меня не видел, кричал: «Прошу поставить в известность 23-ю дивизию о том, что вызываюсь в Пензу, чтоб она знала, если что случится! Я вам, товарищ Янсон, как человеку, которому верю, поручаю себя!»

Мне это показалось наивным. Но вообще я была в ужасе. Я чувствовала, что надвигается страшное. Он положил трубку аппарата и сказал: «Все!» Потом спросил, как он, по моему мнению, разговаривал. Я сказала, что очень хорошо и твердо. Он был доволен. Именно это хотел знать: достойно ли? Потом начались его муки, колебания, которые длились целые сутки. То решал выступать, то отменял решение. Кстати, на него подействовало вот что: Янсон сказал, что в Пензе Данилов. Хотя он с твоим дядей тоже ругался (а с кем не ругался?), но он его уважал, у меня это ощущение сохранилось, поэтому скрытно переживал, когда его перевели от нас. Он чувствовал, что без него станет хуже, так и вышло. Говорил, что был бы «рябой» в политотделе, его бы в партию приняли, а молодые злыдни вознамерились погубить. Звал он дядю почему-то «рябой». Совсем не помню лица, помню только: что-то коренастое, прочное, голова бритая. И вот рассуждал со мной: «Если Данилов в Пензе, почему не подошел к телефону и не сказал несколько слов?» Ему это показалось не случайным. Он подумал, что Данилов не берет на себя ответственность звать его в Пензу, потому что не уверен за других. Не знаю, что было на самом деле и почему Данилов не захотел с ним говорить. Ведь Янсон звонил дважды, на следующий день тоже, когда Сергей Кириллович уже издал приказ о выступлении. Оба разговаривали теперь грубо и зло, и Янсон грозил объявить

Сергея Кирилловича вне закона, а тот его сильно изругал. Но накануне, после первого разговора по прямому проводу, было так: кто-то подбросил в вагон записку в конверте, я нашла на полу и прочитала. Всего одна строчка крупными печатными буквами: «В Пензу не езжайте. Арестуют и убьют». Тут я стала лихорадочно соображать: что мне делать? Сказать ли ему? Почему-то сразу подумала на одного человека из штаба, который мне не нравился. Он постоянно настраивал Сергея Кирилловича против политотдельских и за то, чтобы выступить, и вообще вел неприятные разговоры. А меня однажды схватил в потемках, будто бы обознавшись, спутав с одной женщиной, хотя прекрасно видел, что это я, и, когда я вырвалась и сказала: «А вы не боитесь комкора? Ведь если узнает, он вас на месте зарубит»,— он усмехнулся нехорошо и говорит: «Еще неизвестно, кто кого раньше зарубит!» Мне это очень не понравилось. Я подумала, что этот человек может сделать Сергею Кирилловичу зло. Павел, извини меня. Я пишу чересчур подробно и не могу остановиться, все подряд вспоминается, все новое и новое, одно цепляется за другое, ты пойми, я издавна старалась об этом забыть, еще с тех пор, когда Сергей Кириллович был объявлен врагом, никому ничего не рассказывала и тем более не писала. И сама поражена, сколько всего осталось в памяти. Ведь прошло больше пятидесяти лет. Нет, наша память человеческая — поистине чудо природы.

Словом, я стою с запиской в руках и думаю: как поступить? Честно говоря, я не хотела его самовольного похода на фронт, и не из каких-то соображений высшего порядка, революции, дисциплины, что было мне чуждо, я не сильна в политике, а просто боялась за него: чувствовала, что рвется под пули, умереть, погибнуть, лишь бы не прозябать. Смерть его ничуть не пугала, а меня смерть — его смерть — пугала очень. Я такой человек, всегда волнуюсь за близких. Мне хотелось, чтобы поехал в Пензу, чтобы все как-то уладилось, усмирилось. Я не верила, что Мигулина могут арестовать, и уж совсем вздор — убить! Слишком знаменито было это имя. Вдруг он вошел в вагон, не вошел, а ворвался, впрыгнул прямо одним прыжком, как юноша — он был вообще очень быстр и скор, не по возрасту,— увидел записку, спросил: «Что это?» — и вырвал из моих рук. Он был очень ревнивый. Я сказала тому человеку правду: если бы Мигулин увидел, как тот пытался меня по-

тискать, как конюх девку впотьмах, он бы его просто убил. Он прочел записку, усмехнулся, порвал. К той минуте было решено не ехать в Пензу, но записка повернула дело: ему вдруг стало стыдно меня. Гордость была задета. Он подумал, что я могу расценить его отказ поехать в Пензу на переговоры как то, что он испугался сказанного в записке. Он тут же приказал идти на станцию и договариваться насчет вагонов. Нужно было много вагонов, людских и конских, целый состав. Вскоре прискакал близкий ему человек, командир пулеметной команды, и сказал, что начальник станции Саранск сказал, что вагонов нет. Когда будут, неизвестно. Может дать паровоз и один вагон, больше ничего. Мигулин понял это так: они хитрят, желая, чтобы он выехал без конвоя. Тогда он разозлился и стал кричать: «С ними нельзя договариваться! Они не выполняют обещаний!» Все опять перевернулось в другую сторону.

Он приказал собрать казаков на митинг. Все въезды и выезды из города были закрыты. Каких-то работников он велел арестовать и держать их в виде заложников. На митинге прочитал воззвание, в котором, хорошо помню, был призыв идти на фронт и бить Деникина, спасать революцию, а также бить, как он выражался, «лжекоммунистов». Это было вроде всенародного обсуждения, он советовался с бойцами, как быть. Было страшное напряжение, крики и даже стрельба в воздух. Я стояла позади трибуны и не могла успокоиться, все время дрожала, боялась, что кто-нибудь выстрелит в него из толпы. А говорить он умел с огромным вдохновением, я таких ораторов никогда не слышала. Между прочим, выступали люди, которые отговаривали красноармейцев идти за Сергеем Кирилловичем, угрожали им и ругали Сергея Кирилловича открыто, говоря, что он вне закона, и я еще удивлялась их смелости. Потому что основная масса была против них. Но Сергей Кириллович разрешал говорить всем, только сам нервничал, перебивал и кричал возражения, а того черного, лохматого вдруг прогнал с трибуны, закричав: «Я не позволю агитировать своих бойцов!» Потом этого политотдельца арестовали бойцы из комендантской сотни. Он кричал: «Можете меня расстрелять, Мигулин, но я называю вас изменником!» Сергей Кириллович сказал, что никого расстреливать не будет, потому что против смертной казни. Помню еще спор вокруг каких-то денег, взятых

из казначейства. Один командир по фамилии Забей-Борода обвинял Коровина в том, что тот взял деньги. Сергей Кириллович мне потом объяснил, что деньги действительно были взяты, чтобы платить жалованье бойцам, и за лошадь платили отдельно. Сергей Кириллович был вообще к деньгам равнодушен, счету им не знал. Еще на митинге, помню, обращался к бойцам с вопросом: «Смотрите, готовы ли вы выступать?» Отвечали: «Готовы!» «Бывает,— говорит,— такая птица лебедь, вот я вроде нее, пою свою лебединую песню. Поняли вы меня?» Поняли, кричат. Готовы? Готовы!

Ну и на другой день выступили. Всего с нами ушли несколько тысяч человек, может быть, четыре или пять тысяч, но через несколько дней, когда стал известен приказ Янсона, где Сергей Кириллович объявлен мятежником и приказывалось доставить его в штаб живым или мертвым, многие испугались и наш отряд поредел вдвое. Были небольшие сражения, перестрелки. Настроение все время падало. Какая-то тревога, обреченность чувствовались у всех. Сергей Кириллович мечтал скорее выйти к линии фронта и вступить в сражение с Деникиным, разгромить мамонтовцев, но все это были, конечно, мечты.

Опять пытался со мной расстаться, посадил в бричку, выделил трех бойцов и велел двигаться на север, но я сказала, что себя застрелю, если он меня прогонит. У меня был револьвер. Опять не удалось ему от меня отделаться, чему, надо сказать, он был рад. Не помню всех подробностей похода, который длился недели три, шли лесами, глухими дорогами, ночевали в лесу, отряд наш таял. Когда комбриг Скворцов остановил нас и велел сложить оружие, оставалось человек пятьсот, не больше. Мы могли бы сражаться, могли погибнуть, Скворцов был настроен очень решительно, но Сергей Кириллович отдал приказ — сопротивления не оказывать, оружие сдать. Этот ужасный день запомнила до последней кровинки. Был ужасен не тем, что мы оказались в плену у своих, не будучи врагами, я этого как следует не понимала, я лишь чувствовала сердцем, что ему ужасно — сокрушена надежда, ничего не смог доказать. Смерти он никогда не боялся. Он был подавлен тем, что ничего не смог доказать. И очень злобно, унижающе вел себя один командир полка, Маслюк. Он подъехал на лошади, ухмыляясь необычайно надменно, спесиво, как плохой актер, и спросил: «Где работники

политотдела? Живы?» Сергей Кириллович сказал: да, живы. Махнул рукою назад. Везли двух политотдельцев как заложников. Сергей Кириллович сидел в бричке. Маслюк побагровел и рявкнул: «Встать, когда со мной разговариваешь, гад!» И замахнулся ударить. Сергей Кириллович дернулся, я испугалась, но Сергей Кириллович сдержал себя и сказал спокойно: «Ты, Ванька, не свисти. А играй «барыню»... Почему он сказал «играй «барыню», я даже не знаю. Но я очень хорошо это запомнила.

И такое у него было презрение, у Сергея Кирилловича! Не знаю, что потом с этим Маслюком стало. Кажется, тоже погиб. Не забуду его надутое лицо, как он смотрел на Сергея Кирилловича сверху вниз и с наслаждением произнес: гад! Он требовал расстрелять Сергея Кирилловича и нескольких командиров, право расстрела на месте у них было, и он хотел им воспользоваться, наседал на комбрига Скворцова. Сергей Кириллович вел себя спокойно. Я не могла удержаться от слез, он меня успокаивал и говорил, что я должна сделать после его смерти, как распорядиться его наследством. Боже мой, наследство! У него ничего не было. Человек дожил почти до пятидесяти лет и не имел ни дома, ни денег, никаких ценностей, ничего, кроме пары сапог, казачьих шароваров с лампасами, коня и оружия. Теперь не было и того, что имеет самый бедный неимущий казак: земельного пая. Зато были какие-то бумаги, записи, он ими дорожил и просил передать кому-то в Москве, я забыла кому. По-моему, это были его мысли о казачьем самоуправлении и вообще об устройстве Донской области. Потом это все пропало. Я никогда себе не прощу. Когда ехала из Балашова в Москву, у меня украли чемодан с вещами, там были эти бумаги. Тогда никого не расстреляли, в расположении части Скворцова оказался один крупный военный чин, из самых главных, не помню, кто именно, видела его две секунды, когда он садился в автомобиль: небольшого роста, во френче, черная бородка, пенсне, вид штатский. Тогда, конечно, я знала, кто это был, а теперь забыла. Он распорядился отправить в Балашов, там судить военным судом. Это было сделано не из великодушия, а потому, что сразу решили, что громкий процесс важней, чем наспех расстрелять в лесу.

Тогда же меня от него отделили, и я увидела его лишь через три недели, после объявления приговора,

когда дали свидание. Как проходил суд, тебе известно. Ты пишешь в своей заметке, что осужденные после объявления приговора всю ночь пели революционные песни. Может быть, так, я не знаю, но я кое-что слышала, потому что простояла ночь под стеною тюрьмы и до меня доносились обрывки песен, я слышала казачьи песни. «Ах ты, батюшка, славный тихий Дон...» и «Разве можно удержать сокола в неволе?». Эта последняя песня была любимой Сергея Кирилловича, он пел ее часто. Правда, особым голосом не обладал и слухом тоже.

Павел, ты спрашиваешь, отчего я в письме высказала удивление тем, что именно ты написал заметку о Сергее Кирилловиче. Это неправильно. Небольшое удивление, правда, есть, но оно не главное чувство, которое я испытала, прочитав заметку, а главное — огромная радость и огромная благодарность тебе за то, что ты вспомнил дорогое имя. А небольшое удивление лишь оттого, что ты был в составе секретариата суда в Балашове в 1919 году. Помню, ты не смог помочь мне встретиться с адвокатом в первый день заседания, сказав, что поздно. Вообще, мне кажется, Павел, ты тогда как-то верил в виновность Сергея Кирилловича. Я тебя не обвиняю, тогда большинство верило. Люди находились в угаре войны, многое видели совсем не так, как теперь, когда можно спокойно все оценить.

Павел, я устала от этого письма и все время боюсь, что что-то сказать не успела. Какой-то страх, что самое важное, самое ценное о Сергее Кирилловиче написать забыла. Вчера вызывала врача и целый день лежала, очень разволновалась. Поэтому кончаю, а то можно вспоминать бесконечно. У меня сохранились случайно последние письма Сергея Кирилловича, некоторые его документы, но я тебе их пока не посылаю. Может быть, мы с тобой встретимся здесь, в Клюквине, или я приеду в Москву, у невестки есть машина, она иногда ездит в Москву по делам, за покупками. Но я бы хотела, дорогой Павел, увидеть тебя здесь, я стала плоха, истинная старуха. Обнимаю тебя. Ответь мне поскорее. Твоя Ася.

Между прочим, невестка, она довольно бесцеремонная, прочитала мое сочинение и сделала такой вывод: «Вы, матушка (называет меня, как ей кажется, остроумно — матушкой), неправильно построили жизнь. Вам надо было сочинять романы. Вы пишете — прямо не оторвешься. Как детектив». Вот какие комплименты

на старости лет. Напиши, как ты переносишь жару. У нас тут все сгорело, картошки не будет, ягод совсем не видели».

Павел Евграфович прочитал письмо дважды, потом еще перечитал отдельные места, испытывая чувство восторга и какой-то невнятной тревоги, отчего было сердцебиение и холодели руки. Принял лекарство, немного успокоился. Восторг был оттого, что умершее трепетало и жило на страницах школьной тетрадки, а тревога — бог знает... Не оттого же, что Ася написала нелепость, будто он верил в вину Мигулина. Хотя, может, и верил, но не так, как другие. Совсем не верить было нельзя. Она не должна была так писать, упрекая его спустя полвека. Просто не помнит, как было на самом деле. Было очень грубо, однозначно: изменник, и все! Чего ж она требует? К чему эти упреки? Захотелось немедленно ответить и послать кое-какие материалы, чтобы она поняла суть: как было трудно пробивать заметку в журнале! Даже теперь. Она смотрит со своей колокольни и не видит многого, не помнит, не хочет знать. А не послать ли вот это воззвание, которое он выпустил сразу после выступления?

«Измученный русский народ, при виде твоих страданий и мучений, надругательств над тобою и твоей совестью никто из честных граждан, любящих правду, больше терпеть и выносить этого насилия не должен. Возьми всю власть, всю землю, фабрики и заводы в свои руки.

А мы, подлинные защитники твоих интересов, идем биться на фронт со злым врагом твоим генералом Деникиным, глубоко веря, что ты не захочешь возврата помещика и капиталиста, сам постараешься...» Так, так... Вот дальше: «На красных знаменах Донского революционного корпуса написано: вся земля крестьянам, все фабрики и заводы рабочим, вся власть трудовому народу в лице подлинных Советов рабочих, крестьянских и казачьих депутатов. Все так называемые дезертиры присоединятся ко мне и составят ту грозную силу, перед которой дрогнет Деникин и преклонятся коммунисты.

Командующий Донским революционным корпусом гражданин Мигулин».

Вот ведь какая каша варилась. Всего там было намешано. Он-то надеялся, что корпус будет расти, а корпус таял. Теперь взять его отношения с Казачьим отделом.

Да, первое время отношения были неплохие. Когда ездил в Москву, он встречался с людьми из отдела, они обещали помощь, и он отзывался о них по-доброму. Потом какие-то эмиссары отдела приезжали в корпус, писали сочувственные доклады. Но почему ты не упоминаешь, Ася, что на том митинге, который ты так подробно описываешь, он называл Казачий отдел «собачьим отделом» и «червеобразным отростком слепой кишки»? Это его подлинные слова!

И насчет того, кто верил, кто не верил... Да если честно, все верили! До единого. Как было не верить, когда читались такие обращения:

«Товарищи! Нами были приняты все меры к мирному улаживанию конфликта между Мигулиным и Советской Республикой. Теперь время разговоров кончено, и, чтобы вы знали, куда вас ведут и на что толкают, мы передаем решение Ревсовета Республики.

Мигулин объявляется мятежником, против него двинуты сильные отряды. С ним будет поступлено как со стоящим вне закона. Сообщите это войскам с предупреждением, что всякий, кто посмеет поднять оружие против советской власти, будет сметен с лица земли. Во избежание кровопролития предлагаю Мигулину в последний раз вернуться к исполнению воинского долга, иначе... будет считаться изменником Революции. Если подчинится добровольно, гарантирую безопасность, иначе погибель его неизбежна...»

А вот из обвинительного акта:

«В этих своих воззваниях, которые он выпускает по пути следования, есть указание, что он хочет свергнуть коммунистическую партию. В одном воззвании говорится: я поднял бунт против советской власти, которая не нравится вам, подразумеваются красноармейцы... Он зовет в свои ряды дезертиров, которые являются главнейшим злом Советской России, они подорвали наше положение на Южном фронте... В пути следования Мигулина было несколько боев с нашими красноармейскими частями, по показаниям одних — 4, по другим сведениям — 5. Стало быть, в тот момент, когда обнаружилось, что советская власть не может допустить партизанских выступлений, Мигулин силой оружия прорывается на фронт... 23 августа поздно вечером Мигулину было известно, что если он выйдет на фронт, то будет объявлен вне закона... В результате стычек среди наших войск было много убитых и раненых, были потери

и со стороны Мигулина. В этих затруднительных наших оперативных действиях Мигулин отдавал приказания рвать телефонные и телеграфные провода. Имеются сведения, что Мигулин в пути арестовал коммунистов и некоторых крестьян — правда, он затем отпускал их — за то, что они отказывались давать ему подводы, и даже грозил расстрелом. По пути был ограблен один завод, у заведующего была отобрана некоторая сумма денег. (Видишь, Асенька, эти факты почему-то тебе не запомнились. Да, наша человеческая память — еще более чудо потому, что умеет поразительным образом одно отсеивать, а другое сохранять!) При приближении к фронту, когда положение Мигулина стало довольно опасным, когда он почувствовал, что его игра проиграна, он начал колебаться, но все же вместо того, чтобы сдаться мирным путем, он пытался идти дальше... Мигулин арестовал двух коммунистов, Логачева и Харина, по подозрению в покушении на его жизнь. Но в деле нет материалов, устанавливающих наличность такого покушения. Коммунистов этих Мигулин объявляет заложниками и грозит расстрелять при первом выстреле со стороны советских войск. Арестованные коммунисты шли в течение нескольких дней с красноармейцами, и им в любой момент грозила опасность быть расстрелянными, и только паника, вызванная выстрелами с нашей стороны, дала им возможность бежать...»

А она пишет, будто арестованные находились в рядах корпуса и, когда Маслюк спросил, где они, Мигулин махнул рукою назад, как бы говоря: здесь. Бог ты мой, память — штука ненадежная. Нужны старенькие бумажки, истлевшие на сгибах документы, выцветшие чернила, бледный шрифт «ундервуда»... Но посылать все это ей нельзя.

Павел Евграфович сейчас же сел за ответ.

«Дорогая Ася!

Благодарю тебя за присланные содержательные воспоминания. В них я почерпнул очень много интересного, раскрывающего...» Тут он надолго задумался, какое применить выражение: «всю историю», или «весь ход», или же просто «события». Однако, призадумавшись покрепче, решил написать «некоторые подробности». Дальше написал «выступления Донского корпуса на фронт» и услышал выстрел где-то близко. Он не обратил внимания, ибо в расположении корпуса всегда постреливали. Дисциплина тут была не ахти. Следующую

фразу только начал, как бабахнуло сразу два выстрела, и он подумал, что на трехлинейку не похоже, бьют вроде из охотничьего, что показалось странным: откуда охотничье? Какие-то тонкие, то ли женские, то ли детские, голоса кричали. Павел Евграфович отложил ручку и, как был, в сетчатой майке и в полосатых брюках от пижамы, вышел из комнаты и задней дверью через большое общее крыльцо спустился на двор.

На повороте дороги, ведущей в глубь участка, он увидел грузовик с крытым кузовом. Возле грузовика толпились несколько человек, женщины и ребятишки, и что-то кричали, вопили и даже плакали. Внучка Полины великовозрастная Алена бросилась к Павлу Евграфовичу, рыдая.

— Спасите! Они убивают!

— Кого? — изумился Павел Евграфович.

— Уже убили Гуслика! Теперь ищут Арапку, хотят убить! Какие-то звери! Боже мой, звери, звери!

Человек с охотничьим ружьем на плече удалялся в сторону сараев, рядом с ним мелькал, кажется, Приходько — в соломенной шляпе, в чем-то белом, развевающемся, — за ними бежала толпа детей. Павел Евграфович услышал азартный крик:

— Толя́! Айда Арапку стрелять!

Он с ужасом узнал голос внука. Возле заднего борта в кузове стоял знакомый парень — Митька совхозный, прохвост, пьянчужка, он и теперь был, видно, хмелен, рожа красная, еле ворочал языком, что-то женщинам объяснял мыком, а те на него орали и махали руками. Застреленные собаки лежали в кузове. Мальчишки подпрыгивали, чтобы заглянуть через борт. Павел Евграфович поспешил, задыхаясь, к сараям, где человек с охотничьим ружьем тыркался из одной сараюшки в другую, ища Арапку. Какой-то мальчик плакал. Другой закричал радостно:

— Вон! Вон! Вон он!

Убийца разбрасывал груду досок.

— Что можно сделать? — говорил Приходько. — Приказ дачного треста... Это не от нас, товарищи, зависит...

— Прекратить! — крикнул что есть мочи Павел Евграфович.

Никто почему-то не услышал. Он опустился на что-то вроде ящика, деревянное, ноги не держали. В груди была боль. Он вдруг подумал, что сидит на чем-то дере-

вянном и длинном, как гроб. Внезапно из-под досок выскочил, скуля, Арапка и бросился к Павлу Евграфовичу. Прыгнул к нему на колени и сунул нос ему под мышку. Павел Евграфович обнял пса, чувствуя, как тот дрожит. Павел Евграфович задыхался, и в груди была боль.

— Это мой пес... Это не бездомный...— сказал слабым голосом.

Люди что-то кричали. Женщина ругалась с Приходько. Он понимал, что Приходько хочет, чтобы Арапку убили, потому что Арапка пристает к его собачонке. Убивать только за то, что дворняга. Да он лучше всех. Они сами бешеные, эти пьянчуги, их самих застрелить. Ему хотелось все это крикнуть человеку с ружьем и Приходько, сказать Приходько, что он подлец. Он бывший юнкер. Он перекрасился. Его самого застрелить. Но не то что крикнуть, даже сказать не было сил, в груди была боль, он обнимал пса и дрожал вместе с ним. Он чувствовал подступающую тошноту. Никто не отнимет у него пса, как бы ни кричали, как бы ни воняли водкой в лицо. Приходько злобно вертел глазом.

— Вы нарушаете параграф! Указание Моссовета!

Павел Евграфович собирал во рту слюну, чтобы плюнуть. Какой-то мальчик подбежал и сел рядом с Павлом Евграфовичем, обняв Арапку. Теперь обнимали пса вдвоем. Потом с другой стороны подошла девочка и положила руку на Арапкин затылок, торчавший из-под мышки. Вдруг он почувствовал, что пес перестал дрожать.

Кто-то хрипел в ухо:

— Найди червонец... Я ему дам, змею, а то не отстанет...

Это был Митька совхозный. Тот мальчишка, что сел с Павлом Евграфовичем рядом, нес Арапку на руках, уморился, выпустил, Арапка побежал рядом, прижимаясь к ногам. Павел Евграфович останавливался, когда давила боль. Дома искал деньги, рылся повсюду, по карманам, по ящикам, спросил у Валентины, но нашел только три рубля и копеек сорок мелочью.

Митька был недоволен, ворчал, но согласился.

— Ладно, давай! — Побежал, прыгая через насаждения, треща кустами, торопясь к грузовику, к новым собакам, новым трешницам.

Павел Евграфович ушел в дом и затворил за собой дверь. Ни с кем разговаривать не хотелось. По-прежнему

болела грудь, но не оттого разговаривать не хотелось. Нет, не оттого. Все вместе — какая-то гадость. Арапку он спас. Но как спасти остальное? Например, того мальчика, который кричал: «Вон! Вон! Вон...»? И собственного внука? Как теперь разговаривать с Приходько? Подумал, что при Гале всего этого быть не могло. Не могло быть таких душителей собак, таких любознательных мальчиков, такой жары. Жара нечеловеческая, нездешняя, жара того света. Все было другое при Гале.

Сидел в кресле-качалке, вдруг говор — Верочка с Эрастычем. Где-то под окном, внизу, совсем близко. И разговаривают-то негромко, а ему, как назло, все слышно. Даже удивительно, до чего отчетливо и ясно. Верочка жаловалась: «Ужасно волнуюсь. Смотреть больно. Стал такой старенький, такой жалкий, чудной... Еле ходит...» Эрастыч: «Не бери в голову. (Что за глупость: не бери в голову. Научный работник, а выражается черт знает как.) Ведь не можешь заставить брата бросить пить? Не можешь вернуть старику здоровье? Значит, не бери в голову». Слушал спокойно. Ничего нового. Мучило только то, что подслушивает, но подняться с качалки было непросто, требовались усилия, и он некоторое время колебался, затевать ли сложную операцию по подъему с качалки, надеясь, что томительный разговор внизу сам собой прекратится. Кашлянул громко и стукнул палкою в пол, давая знать, что сидит рядом. Нет, не слышали, продолжали. Верочка все жалобней: «Но ведь мне его жалко, правда же. Ну что он сидит ночами, не спит, перебирает свои бумажки...» — «И слава богу, есть занятие». — «Это не занятие, Коля. Это что-то...» — «Все старики немного «чайники». Старость — вид шизофрении». И ушли.

Думал над странной фразой: «Все старики немного «чайники». Что этот неприятный человек имел в виду? От фразы исходила тревога. Шизофрения — понятно. Считают его шизофреником. Но при чем тут чайники? Бог ты мой, они сами больны, они больны непониманием, больны нечувствием, о чем мечтал человек с голым и мятым черепом — как его звали? — он говорил, что надо избавиться от эмоций. Уже избавились? Вылетела из головы фамилия. Череп похож на кулич. Его зарубили весной двадцатого года.

Нет, не пойду и разговаривать не стану. Все разговоры неинтересны. А если нет интереса, нет смысла, зачем об этом беспокоиться? Все это давно ушло и абсолютно не нужно; подумаешь, загадка, кто получил домик старухи, не имевшей наследников. Нет, нет, неинтересно. Единственное, что интересно: что выбросило Мигулина из Саранска навстречу Деникину? Вот тут поистине болит, тут проблема, вопрос вопросов!

Чтобы ответить на упрек: «Ты все же верил в его вину...»

Спросите у муравьев, которые бегут цепочкой вот здесь, по подоконнику, один за другим, верят ли они в то, что там, куда они бегут, их ждут корм, спасение, истина... Один человек, как всегда, недоверчиво хмыкал.

Приехали в Балашов на рассвете. Мглистый темный октябрь. В квартире, которую для нас сняли, живет корреспондент реввоенсоветской газеты «В пути» Лев. На льва непохож: тонок, бледнолиц, военный френч сидит на нем, как с чужого плеча.

Он привез последний номер газеты «В пути» со статьей о Мигулине «Полковник Мигулин». Написал Троцкий. Суд начинается через два дня.

— Послушайте, нельзя же, ей-богу...— говорит Шура, вчитываясь в статью, и я вижу, как лицо его грубо, пятнами белеет. Знаю, эти белые пятна — признак раздражения.— Смотрите, что он пишет: «Постыдно и жалко заканчивается карьера бывшего полковника Мигулина. Он считал себя, и многие другие считали его большим «революционером»... Но что явилось причиной временного присоединения Мигулина к революции? Теперь совершенно ясно: личное честолюбие, карьеризм, стремление подняться вверх на спине трудящихся масс...» Дальше впрямую об измене...

— И что же? Почему не устраивает? — спрашивает Лев.

— Да потому, что нельзя до суда писать: «Теперь совершенно ясно...»

— Не понимаю...

— Если «совершенно ясно», тогда суд ни к чему. Все суды мира устраиваются, чтобы установить ясность.

— Все суды мира нас не интересуют,— говорит Лев.— Революционный суд ни на что не похож. Такого суда не было в истории.

Лев — это фамилия? Зовут как-то сложно, и все привыкли: Лев, Лев. Мы знакомы давно, недели три. То он мелькал в Козлове, то в штабе IX армии. Шура объясняет: если б он знал, что так обстоит дело, он бы не дал согласия участвовать в процессе. Лев холодно:

— Не думаю, Александр Пименович, чтобы зависело от вашего согласия.

С этого темного рассвета, статьи «Полковник Мигулин» и неприятного разговора с корреспондентом Львом все пошло вкось. Шура сразу стал возражать, как у него бывало, против всего подряд. Раздражение и злость кипели. Кажется, он проклинал себя за то, что не уклонился вовремя, и теперь делал все, чтобы разругаться, поломать, уехать. А он был нужен — его авторитет, каторжанская слава прибавляли веса суду. Два других члена суда — кубанские казаки, председателем назначен старый партиец Сыренко. Главный обвинитель — Янсон. Он давний знакомец Шуры. Они на «ты». Янсон тут главный, все споры, ругань, несогласие — с ним.

— Пойми ты, черт упрямый, что сей суд имеет не юридический, а политический смысл. Пропагандистский смысл! Мы должны сокрушить легенду о Мигулине. Мы должны нанести удар по контрреволюционному казачеству — раз, по бонапартизму — два и по партизанщине — три.

И еще говорит Шуре:

— Почему, Александр, ты всегда ломишь свою линию? Почему ты всегда — а я хорошо помню по старым временам — так тяжело подчиняешься дисциплине и коллективному мнению?

Шура говорит, что приехал участвовать в судебном разбирательстве, а не в театре. Если тут заранее отрепетированный спектакль, тогда увольте. Не совсем правда. Спектакля хотел автор статьи «Полковник Мигулин». Но вышло иное. Вышло совсем иное, но Шура не знал, что выйдет. Янсон раздраженно уверяет: не волнуйся, будет настоящий суд, будет обвинитель, защитник, будут члены суда, публика, журналисты, но у него, Янсона, предварительное мнение четкое. Мигулин должен быть судим за измену.

— Ты этого не считаешь?

— Я не знаю. За тем и приехал — узнать.

Споры делаются все резче, Шура закусил удила.

Кончается катастрофой: вечером Шура уезжает в Пензу, бросив гневное объяснение, что снимает с себя обязанности члена суда в связи с несогласием с тем-то и тем-то. Не помню, с чем именно. На его место срочно вызван председатель армейского ревтрибунала Десятой. Шура поступает рискованно. Я за него в страхе. Была минута — сразу после внезапного отъезда, когда Сыренко и Янсон, взбешенные, говорят об аресте и привлечении к суду. Но, разумеется, вздор! Потом соглашаются, что, может, и к лучшему: с его настроением неизвестно, что он бы отколол на суде...

А я остаюсь в Балашове. Потому что еще раньше назначен в помощники секретарю суда. Много волокиты, много бумаг, имен. Кроме Мигулина судятся двенадцать человек командиров и близких ему казаков, допрашиваются полтора десятка свидетелей. Да и все захваченные Скворцовым 430 человек находятся на положении обвиняемых и ждут решения своей доли.

Мрачный, исхудалый, разом старик — в черных волосах проседь сильней привычного,— сидит Мигулин на первой скамье сбоку от стола судей и то и дело порывисто, наклоняясь вперед, выламываясь плечом, оглядывает зал, ища глазами. Ищет Асю, а ее нет. Публику в первый день не пускают. С Асей встречаюсь вечером...

Вот редчайшая редкость, драгоценность в сто шестьдесят страниц в синей папочке: стенограмма суда. Если начнется в доме пожар и надо хватать самое ценное, схвачу эту папку. А зачем? Все читано, перечитано.

Председатель. Подсудимый Мигулин, вы слышали, в чем вы обвиняетесь?

Мигулин. Слышал.

Председатель. Признаете себя виновным?

Мигулин. По всем предъявленным пунктам, за исключением некоторых деталей, признаю себя виновным, но прошу во время судебного процесса выслушать мою исповедь...

Все читано, перечитано, передумано, перемеряно памятью. Но каждый раз что-то новое. Галя тоже читала. Говорила, что Мигулин — правдивый и честный человек, но с узким кругозором. Это она вывела из стенограммы. А уж она-то понимала. Она ничего не знала про Асю. Галя в людях разбиралась преотлично, в особенности в мужчинах. Женщины занимали ее мало. Да у ней и по-

друг не было — одна Полина. Она говорила: «С ними скучно. В них столько ерунды...»

Мигулин. Я был не против идейного коммунизма, а против отдельных личностей, которые своими действиями подрывали авторитет советской власти... Я обрисовывал на митингах все примеры очень рельефно... Итак, я хочу указать на невозможно сложившуюся политическую атмосферу в Саранске вокруг меня. Затем распространился слух, что пал Тамбов, и мне казалось, что кадеты могут подойти при таком положении к Богоявленску. Мне казалось, что деникинские войска вклинятся в наше расположение в направлении Ряжска, тем более что распространились слухи об эвакуации Козлова... И решил выступить с наличными силами, убежденный, что я своим выступлением в любом месте остановлю фронт...

Председатель. Вы грозили арестовать коммунистов?

Мигулин. Это был просто тактический шаг, так как я не хотел, чтобы кто-нибудь мешал мне на пути. Я сперва объявил, что Харин и Логачев будут расстреляны, но затем отдал приказ, чтобы этого не делали, так как я в принципе против смертной казни. Мною не был расстрелян ни один из арестованных коммунистов.

Председатель. Когда была написана ваша декларация «Да здравствует Российское Пролетарское Трудовое Крестьянство»?

Мигулин. В первых числах августа, когда мне на одном из митингов была подана записка: что такое социальная революция и как должно жить человечество?

Председатель. Не жалели ли вы, что у вас нет орудия, а то бы вы смели Пензу с лица земли?

Мигулин. Нет, не говорил этого.

Председатель. Руководили ли вы боями и какими во время похода?

Мигулин. Мы старались избегать боев и, еще не доходя до реки Суры, советовались с Юргановым, как лучше пройти, чтобы избежать столкновения... Откровенно говорю, что первоначальное мое направление было на Пензу, так как мне хотелось, чтобы т. Янсон меня наконец понял...

Янсон. Скажите, когда вы выступили со своей частью якобы на защиту фронта, логично ли было с ва-

шей стороны устраивать новый фронт в тылу советской власти — как офицер, подумали ли вы над этим?

Мигулин. Конечно, я действовал нелогично, но поймите мое душевное состояние, поймите ту атмосферу...

Янсон. Чувствовали вы себя в последние дни нормальным человеком или ваш разум мутился?

Мигулин. Вы уже слышали от меня, я не отдавал себе отчета и, когда вел с вами переговоры, метался из стороны в сторону, несколько раз бывал на станции, несколько раз подходил к аппарату и в конце концов, измученный этой борьбой...

Откуда она узнала, что я в театре? Вечером со Львом пошли в театр, вернее, в клуб, где выступают артисты из Саратова, показывают «Даму из Торжка». Кроме названия, ничего не помню. Помню еще, что Лев поражает необычайной презрительностью суждений, он театрал, знаток, столичная штучка, у него друзья среди актеров МХАТа. Сразу после процесса он возвратится в Москву. «Если подобная дрянь будет процветать на сцене, надо устраивать вторую революцию!» Актеры садятся кучей в телегу, их везут на вокзал. В телегу положили мешок с мукой. И тут внезапно появляется Ася, которую я сразу не узнаю: она закутана в платок до глаз, в длинном черном пальто. Хватает меня за руку и тащит от подъезда в темноту.

«Павлик, на одну минуту...»

Просит устроить свидание с Мигулиным. Я ошеломлен. На меня обрушивается какой-то бред, она вне себя, больна, помешалась, у нее жар, губы горят; она целует меня, стискивает, умоляет, уговаривает... «Я знаю, я виновата перед тобой, ты меня любишь, ты мой родной и ты сделаешь... ты поможешь... Если не увижу его завтра, я умру... Что он говорил сегодня, какой ужас. Клеветал на себя! Говорил, что помутился разум...» Оказывается, она была на процессе, упросила кого-то, пробралась, сидела, спрятавшись, он ее долго не видел, хотя все время искал, но потом она сделала так, что он увидел! Я говорю: невозможно. Я там мелкая сошка. С Янсоном и Сыренко отношения плохие из-за Шуры, они на него сердиты и для меня не сделают ничего. «Но ведь они его расстреляют! Другого не будет!» Я молчу, потому что это правда. Что могу ей сказать? Мне и жаль ее бесконечно, и изумление перед любовью душит меня... И, когда она лепечет в безумии, хватая

мои пальцы, заглядывая в глаза, не видя меня, что, если я помогу, она готова на все, она останется со мною, я спрашиваю: «Навсегда? Или только сегодня?» Ужасен этот вопрос, низок и не мой, не мой! Не мог я так спросить, будь я самим собой! Но ведь и я в угаре, и я как помешанный. Она глядит на меня и вдруг разражается рыданием, и шепчет, и рукою показывает: навсегда, навсегда! Навсегда — лишь бы только одну минутку с ним...

Вот о чем она не вспоминает в письме. Вот про что забыла. Будто не было встречи на улице, рыданий, безумия, будто не пошли потом на квартиру, где Лев храпел за стеной, где она осталась до утра и где не было ничего, кроме разговора, многих часов объяснений, чужой любви, тоски, фантастических планов, ничего не могло быть. Ничего, ничего, поэтому забыла. Помнит только, что не смог ее свести с адвокатом. Не желает ни понимать, ни знать. Я говорю: «Но ты войди в положение. Деникин наступает, взят Курск, в Москве раскрыт заговор, бомба в Леонтьевском переулке, погибли наши товарищи... Как прикажешь в час смертельной опасности судить человека, который обвиняется в измене?» — «А я чем хочешь клянусь, он не изменник!» — «Но ведь даже близкий ему человек, Юрганов, говорит, что хотел его застрелить за измену».— «Ложь! Не было ничего отвратительнее ответов Юрганова. Я этого человека поняла... Это гниль, которая вырывается бурей со дна...»

Где ответы Юрганова? Не забыть взгляд, каким смотрел на него Мигулин.

Юрганов. Я был исключен из шестого класса гимназии по подозрению в убийстве, затем года через два стал народным учителем, но вследствие постоянных столкновений с попами, с которыми никак не мог сговориться, я бросил службу, скитался, пролетарничал, потом был взят на войну. Во время Керенского был допущен в военную школу и получил звание прапорщика. С Октябрьским переворотом вступил в Красную Армию, где нахожусь по сие время...

Председатель. В каких должностях служили вы?

Юрганов. Сперва рядовым, потом выборным командиром, командовал бригадой и в корпусе Мигулина был начдивом... Я увидел разлад и неправоту Мигулина. Он был неправ в огульных нападках на политических работников... Неправоту Мигулина я объяснял его

болезненной нервностью и подозрительностью... Я старался связать враждующие стороны.

Председатель. Писали ли вы письмо комбригу Скворцову, называя Мигулина вождем мировой революции?

Юрганов. Да, я писал. Но на собрании 21 августа, когда Мигулин призывал идти на фронт и когда массы, возбужденные его призывом, кричали «Вперед на фронт!», Мигулин спросил меня: «А вы идете защищать своих товарищей?» Что я мог ответить? Я сказал: иду. Потом он арестовал на митинге комиссара и, когда я пошел к нему и указал на неуместность его поступка, он сказал: «Я погорячился». Меня возмутил поступок Мигулина, и я сказал, что если он сделает сдвиг вправо, то я его убью... (Мигулин что-то выкрикивает со смехом. Председатель делает ему замечание.) И в конце концов, видя, что Мигулина ни в коем случае нельзя допускать до фронта, решил сделать то, что давно уже я задумал,— убить его. Раньше это сделать не представлялось возможным, так как он окружал себя верными людьми, «янычарами»...

Председатель. Зачем вы предупреждали комбрига о выступлении Мигулина в письме?

Юрганов. Я писал, что он может сделать что-нибудь из ряда вон выходящее.

Председатель. И вы хотели, чтобы комбриг поддержал вашу авантюру?

Юрганов. Я опять повторяю, что письмо было написано под давлением Мигулина.

Председатель. Я прочту вам наиболее существенные фразы. «Мигулин — не только великий стратег, но и великий пророк». Вы писали эту фразу?

Юрганов. Да, это моя фраза.

Председатель. «Если он восстанет, то за правду, за истину, за волю».

Юрганов. Это мои слова.

Председатель. «Крестьянство готово броситься в кабалу Деникину, лишь бы не пережить тех мук...»

Юрганов. Это слова Мигулина.

Председатель. Почему вы в конце письма пишете: крепко целую тебя, может быть, в последний раз?

Юрганов. Это вообще только приписка, которой я не придаю особого значения, тем более что я в то время колебался, мог убить Мигулина и сам покончить с собой...

Допрос Дронова. Спрашивают: чем занимался до Октябрьской революции, чем занимался во время войны?

Дронов. Я был в чине подъесаула, был полковым адъютантом, после Октябрьской жил в Киеве, в ряды Красной Армии вступил после Октябрьского переворота. В корпус Мигулина попал 15 августа на должность адъютанта второго полка...

Председатель. При Скоропадском были в его войсках?

Дронов. Мне пришлось служить при шести правительствах, в штабных должностях...

Председатель. Почему вы пошли за Мигулиным?

Дронов. Отчасти в силу личных причин, потому что не получал жалованье в течение полутора месяцев.

Председатель. Вы понимали, что значит — вне закона?

Дронов. Я не придавал этому большого значения.

Почему-то кажется, что именно об этом Дронове — вдруг возникает: щеголеватый, долговязый, почтительно вытягивает кадыкастую шею и даже ухо поворачивает в сторону председателя, чтоб лучше слышать,— писала Ася в письме. Про какого-то, который приставал к ней, тискал в потемках. Он? Померещилось почему-то, что он, и вот читаю со злобой...

Председатель. Перед разоружением Мигулин обращался к войскам?

Дронов. Дело было так. Мигулин приказал полку выстроиться и сказал подлинную фразу: «Я жертвую своей жизнью, чтобы не проливалась кровь. Идем на соединение с казаками. Песенники, вперед!» И полк двинулся вперед с песнями. Это было в Крутеньких, не доходя до Мокреньких...

Председатель. Скажите, слышали вы когда-нибудь от Мигулина отзывы о Троцком?

Дронов. Да, слышал. В некоторых деревнях во время похода были митинги, на которых говорили такую фразу: «Недавно я прочел в газете, что России нужна в течение ряда лет твердая диктаторская власть, и не думает ли уж Лев Троцкий стать диктатором России?»

Председатель. Когда вы узнали, что Мигулин объявлен вне закона?

Дронов. Минут за пять — десять до выступления...

Председатель. Мигулин, вам известно было, что утром 22 и 23 августа казаки бесчинствовали и арестовали коммунистов?

Мигулин. Я не знал этого.

Объявляется перерыв на два часа. Вечером обвинительная речь Янсона. Ему тогда двадцать восемь. Но я не видел — никто не видел — в белобрысом коротконогом человечке на трибуне ни его молодости, ни университетского прошлого, ни прибалтийского происхождения: это говорила ледяным голосом революция, говорил ход вещей. И замораживался дух, цепенели руки — помню, помню...

Помню: холодный блеск неба за окном. Внезапный солнечный день. Помню: Ася в одном из первых рядов, не замечая, не слыша ничего, глядит на казака с седыми усами. Помню нараставшее изумление: как я мог сомневаться в его вине? Все так смертельно ясно.

«Я обвиняю бывшего казачьего полковника Мигулина и всех его соучастников в том, что во время войны Советской власти с Деникиным они, занимая ответственные посты в нашей Красной Армии, подняли вооруженный мятеж против Советской власти. Перед нами громаднейший следственный материал, из которого картина восстания вырисовалась достаточно ясно. В ночь на 23 августа я узнал, что в Саранске творится что-то неладное, что корпус волнуется, что Мигулин произносит мятежные речи. Я предпринял все меры к мирному улаживанию конфликта. По прямому проводу я сообщил Мигулину об обстановке на Южном фронте, о рейде Мамонтова. Я заявил ему, что его несогласованное выступление может принести большой вред делу защиты Советской Республики. На это последовал сумбурный и бестолковый ответ, что он «больше не может», что он «задыхается»... Увлекая за собой корпус, он двинулся из Саранска на фронт, намереваясь соединиться с 23-й дивизией и образовать воинскую силу для каких-то ему, Мигулину, одному известных целей...

Здесь на суде Мигулин чересчур скромен. Он раскаивается. Он говорит о том, что человек он неуравновешенный, что его, так сказать, толкнули на это дело, что, совершая это преступление, он не отдавал себе отчета. Но было время, когда Мигулин, чувствуя за собой некоторую силу, был не таким. Он надеялся стать на-

родным героем, чем-то вроде русского Гарибальди. Тогда он умел даже грозить. Так, например, в своем воззвании или манифесте, где он объявлял мне войну, он пишет: «Я сокрушу, смету вас, если посмеете выступить против меня...» Анализируя весь материал по делу Мигулина, я пришел к выводу, что перед нами не орел, а всего лишь селезень, ибо приемы, при помощи которых он увлекал за собой своих солдат, не приемы вождя... Я утверждаю, что никто за время нашей революции не создавал более путаной и туманной идеологии. Невольно напрашивается сравнение Мигулина с блаженной памяти Керенским, который, задыхаясь, говорил: «Если вы мне не верите, я застрелюсь...»

Главный соучастник Мигулина Юрганов держит себя на суде трусливо, указывает, что он был против Мигулина и что он пытался даже его убить. Он называет себя сочувствующим партии коммунистов. Значит, в совершенном преступлении Юрганов повинен вдвойне, как изменник своей партии и Советской власти. В революционное время отношение к таким жалким слюнтяям редко когда бывает сочувственным. Он должен был побороть свое малодушие, свою трусливость и ясно и отчетливо сказать войскам: «Мигулин — изменник, вы должны оставаться в Саранске». Такое заявление, может быть, спасло бы нас от необходимости судить четыреста с лишним человек, среди которых заведомых предателей и изменников, безусловно, меньшинство. Из лиц командного состава, которые пошли с Мигулиным, меня еще интересует фигура Дронова, согласно заявлению которого он на Украине служил шести правительствам. Очевидно, Советской власти, потом Петлюре, гетману Скоропадскому, снова Советской власти и т. п., причем при всех правительствах оставался в штабных должностях. Я думаю, что на этот раз он изменял последний раз... Такие люди, как Мигулин, неуравновешенные, недурные ораторы, возбудив темную массу, не в состоянии удержать ее в своих руках. Им на смену приходят деникинцы. Дронов вместе с Мамонтовым создал бы действительно фронт против Советской власти. Недаром этот человек пошел с Мигулиным. По его словам, он как будто пошел за тем, чтобы получить свое жалованье за полтора месяца. Это смешно слышать из уст бывшего полкового адъютанта. Чуя авантюру, чуя возможность легкой политической наживы, он пошел за Мигулиным. Здесь он держит себя

скромницей, простачком, услужливо отвечает на все вопросы. Этакая божья коровка и скромница не могла бы служить при шести правительствах в штабных должностях...

Вы все знаете, что уже почти два года смысл и суть нашей революции заключается в борьбе крайностей: рабочего класса, партии коммунистов и Советской власти с одной стороны и буржуазной контрреволюции — Деникина, Колчака, Юденича — с другой стороны. Все попытки соглашательских партий, попытки учредиловцев, попытки сторонников всяких «рад» и т. п. найти какую-то среднюю линию до сих пор оказались тщетными. Мы знаем, и всякий это может проверить на тысяче фактов, что всякая борьба, поднятая против Советской власти, железной неумолимой логикой вещей влекла к Деникину и к контрреволюции. Против нас поднимали восстание чехословаки, левые эсеры, демократические группы меньшевиков и прочие. Все эти группы оказались в конце концов в объятиях Деникина, который смел их всех с дороги. Только он один решительный и сильный противник, и кто-нибудь один, или Советская власть, или Деникин, выйдет победителем из этой страшной, колоссальной борьбы...»

Неглупо, неглупо рассуждал Эдвард Янович! И говорить умел, и голова светлая. А время катастрофическое — октябрь девятнадцатого. О чем тогда думали в захолустном Балашове? На что надеялись? Бог ты мой, Деникин взял Воронеж, подходил к Орлу и Брянску... На востоке пал Тобольск... Юденич в Красном Селе, немцы в Риге... Все на волоске... И ни секунды сомнения в конечной победе! На другой день после суда отправились на охоту: встали на рассвете, поехали сначала на озеро, стреляли уток, потом куда-то в поле за куропатками...

«...Здесь он развивает перед нами полутолстовскую, полусентиментальную мелодраму. Он, дескать, за такой строй, который вводился бы без каких бы то ни было насилий. Но кто поверит, что вы, старый казачий офицер, который в старой войне имел почти все воинские отличия, вплоть до георгиевского оружия, искренне стали на такую точку зрения? Возьмем даже его теорию государства. Он хочет немедленной свободы для всех граждан. Он не понимает, что путь к социализму лежит через диктатуру угнетенных над угнетателями. Он не понимает, что требование свободы для всех в эпоху

гражданской войны есть требование свободы для контрреволюционеров...

Вы много распространяетесь о любви к народу, о свободе, причем пишете, что народу плохо живется в России, и обвиняете в этом партию коммунистов. Вы лжете, партия коммунистов тут ни при чем! Вы хорошо знаете, что мы разорены четырехлетней войной, вы знаете, что наши заводы и фабрики остановились, потому что контрреволюция захватила области, богатые нефтью, углем и хлебом... Вы говорите, что не надо принуждать людей, что они должны все делать добровольно, что вообще весь аппарат государства должен быть ослаблен. Хорошо, но что же было бы теперь, если бы у нас не было принудительного набора в Красную Армию, не было бы хлебной монополии? Истреблены были бы не только коммунисты, но и вы, гражданин Мигулин, не особенно пышно расцвели бы при генеральской диктатуре. Вы жалуетесь на то, что тяжело жить крестьянину. Это правда, ему живется нелегко, страна разорена! Но вы не вспомнили, критикуя нашу продовольственную политику, что города обнищали, что им нечего обменивать на хлеб. Рабочий должен умереть с голоду, если Советская власть не даст ему хлеба. Явление это позорное в такой стране, где хлеб в избытке...

Теперь о безобразиях на Дону. Из следственного материала видно, что безобразия имели место. Но также видно и то, что главные виновники этих ужасов уже расстреляны. Не надо забывать, что все эти факты совершались в обстановке гражданской войны, когда страсти накаляются до предела. Вспомните французскую революцию и борьбу Вандеи с Конвентом. Вы увидите, что войска Конвента совершали ужасные поступки, ужасные с точки зрения индивидуального человека. Поступки войск Конвента понятны лишь при свете классового анализа. Они оправданы историей, потому что их совершил новый, прогрессивный класс, сметавший со своего пути пережитки феодализма и народного невежества. То же самое и теперь. Вы должны понять...

Мы переживаем величайшие трудности, революция охвачена железным кольцом, наша армия выбивается из последних сил, чтобы удержать октябрьские завоевания. Наша армия начинает изживать ту разнузданность, которая раньше процветала в красноармейских частях,

когда каждый начальник действовал самочинно, кустарническим способом... Мигулинщина, какими бы маниловскими словечками она ни прикрывалась, есть выражение этой разнузданности кустарнического периода.

Перед нами преступник, болтающий о счастье человечества, а на деле открывающий Мамонтову дорогу на Москву. К таким людям у нас не должно быть жалости. Сор мелкобуржуазной идеологии должен быть сметен с пути революции и Красной Армии. Я считаю, что по отношению к Мигулину и его соучастникам должна быть применена самая суровая кара...

Я требую для Мигулина, всего командного состава и всех комиссаров и коммунистов, шедших с ним, расстрела».

Потом защитник Стремоухов: не похожий ни на кого, пожалуй, довоенный, допотопный, в пенсне. Он толст, что тоже необыкновенно, говорит с одышкой.

«Товарищи! Революционному трибуналу угодно было поручить мне тяжелый долг защиты обвиняемого. Не систему мигулинщины, не историческое явление, известное под именем мигулинщины, а самого обвиняемого... Обвинитель прочел нам целую лекцию о мигулинщине, он изложил нам взгляд господствующей коммунистической партии; все это не ново, и если обвинитель, объясняя партийно это явление, обращался лицом к публике, а к вам боком (председатель останавливает защитника, указывая на неуместность таких выражений), то я, как защитник людей, обращаюсь к вашим сердцам... Я много думал над этим делом и теперь спрашиваю: в чем они обвиняются? В дезертирстве... Но до сих пор мы знали и обвиняли людей, *бегущих с фронта*, теперь же обвиняем группу лиц, которая *пошла на фронт*!

Кого же мы здесь обвиняем? Не селезня, как сказал обвинитель. Перед нами лев революции. С самого начала Советской России он бился в рядах защитников революции, бился честно два года, и как бился! Этот селезень, повторяю, бился с самого начала пролетарской революции. Правда, он не совсем представлял себе политическую программу, он не мог разбираться во всех тонкостях политики, как в этом разбирается обвинитель, очевидно, старый партийный работник, которого нам было приятно слушать, но лев революции разбирался во всех этих вопросах сердцем, он сердцем почувствовал,

что партия несет то, что нужно обездоленному трудящемуся классу... Где случится беда, где белогвардейские банды расстроят наш красный фронт, туда стремится этот селезень, ему доверяют в такой ответственный момент, на него возлагают надежды, и он оправдывает их. Позвольте вам напомнить, когда в прошлом году, я слабо знаю историю наших военных событий, наши красноармейские части на Хоперском участке не могли прорваться через проволочные заграждения, вот этот самый селезень ударил в тыл неприятеля, опрокинул и погнал врага на юг. Разве это селезень, который в дальнейшем своем движении дошел до Новочеркасска?

Так в чем же провинился этот человек, который сейчас стоит перед нами в качестве подсудимого? А вот в чем: как боец Красной Армии, он был плохой политик, плохо разбирался в той политической атмосфере, которая его окружала, и, как боец, был прям в своих поступках. Человек цельный, у него что на сердце, то и на деле, не скрывающий своих мыслей... В беседе со мной в камере № 19 он выразил сожаление, что вся его переписка попала сюда. Тут письма личного характера. Он просил не цитировать, да нам и не нужно, но я позволю себе нарушить его желание только в одном пункте: я прочел тут замечательную фразу, в которой он весь. Он пишет любимой женщине: «Принадлежи мне вся или уйди от меня». В этой коротенькой фразе сказалась вся натура Мигулина...»

Сколько я ни вспоминаю, не могу припомнить этой фразы, хотя речь защитника слушал внимательно. И даже более чем внимательно — жадно, восторженно! Она меня захватила и перевернула, так же как сперва захватила и перевернула речь Янсона. Но если в стенограмме стоит, значит, фраза была... Когда? В феврале? Когда еще жив был Володя? И она делила любовь между ними двумя?

«...На Дону со стороны внутреннего управления дело обстояло неладно. Мигулин кричит: «Беда идет! В результате наши успехи сойдут на нет!» Но голос его слабо слышен. Ему говорят, что в центре не забывают Дона, издают приказы, но дело-то ведь не в том, чтобы издавать приказы и писать, что мы будем бороться со всеми этими безобразиями, а в том, что безобразия все-таки продолжаются... Верный себе, Советской России, Мигулин из глубины души кричит: «Так дальше жить

нельзя! Помогите! Сделайте что-нибудь для облегчения создавшегося положения!»

И кто знает, не было ли вызвано этим криком известное обращение центра к казакам. Мы знаем, что за последнее время политика Советской власти изменилась по отношению к казачеству. В газете «Красный пахарь» от 11 сентября сказано, что политика по отношению к казачеству будет изменена, будут считаться с бытовыми условиями Дона... Мигулин закричал, и крик его побудил к излечению одной из язв Советской России. В этом его заслуга, и за эту заслугу его можно помиловать. И я, как защитник людей, прошу вашего великого снисхождения, прошу всем сердцем взвесить обстоятельства этого процесса, вдуматься и тогда уже вынести свое решение».

И вот речь Мигулина:

«Граждане судьи, когда я очутился в камере № 19, я занес свои впечатления в первые минуты моего пребывания в камере на клочке бумаги, который останется после меня. Дико в первую минуту в этом каменном мешке, и, когда захлопнулась дверь, сразу как будто и не понимаешь, в чем дело. Вся моя жизнь отдана революции, а она посадила тебя в эту тюрьму, всю жизнь боролся за свободу, и в результате ты лишен этой свободы. В этом каменном мешке я, быть может, впервые свободно задумался, никто мне не мешал, задумался над тем, кто я такой.

Янсон сказал, что я незнаком с Марксом. Да, я не знаю его, но тут в камере я впервые прочел небольшую книжку о социальном движении во Франции и неожиданно напал на одно определение, характеризующее таких людей, как я. Дело в том, что во Франции были социалисты, озабоченные мыслью о справедливости и везде и всюду искавшие ее. Люди в высшей степени искренние, но лишенные научных знаний и методов... Таким как раз являюсь я, и в этом мое несчастье... И я прошу Революционный трибунал прислушаться к этому. Я скажу кое-что о тех революционных выступлениях, которые мне приходилось делать в течение моей жизни.

В 1895 году, когда я еще был нижним чином, одним из начальников из моего девятирублевого жалованья было вычтено шесть рублей. Я возмутился против этого и сказал, что я застрелю такую собаку. Создалось такое тяжелое положение, которого я не мог долго выносить и перешел на службу в мировые судьи. С 1904 года я

уже был офицером и был избран на общественную должность станичным атаманом. В это время пришлось снаряжать на общественный счет девять человек, это тяжело отзывалось на казаках, заставляло их входить в долги, и я, горячо стоявший за интересы казачества, принял все меры для облегчения казаков. Так, во время приемки лошадей я сумел провести перед комиссией всех лошадей, числом девять, когда же приехал атаман, он забраковал всех этих лошадей и приказал мне представить новых к двенадцати часам. Сколько я ни старался узнать, почему забракованы представленные лошади, не мог ничего добиться, и тогда я решил представить атаману тех же самых лошадей. В двенадцать часов приводят к нему лошадей, тех же самых, и атаман выбирает из них шесть, а остальных бракует, приказывая мне к трем часам представить недостающих еще лошадей. Я опять решил представить ему тех же самых лошадей... В результате мне удалось провести тех же самых лошадей, и свидетелями моего поступка были 18 станиц Усть-Медведицкого округа... Затем, когда была объявлена японская война, я был мобилизован и отправлен на войну. Там я увидел произвол и бесчинства со стороны командного состава, и, когда начальник Четвертой казачьей дивизии генерал Телешов был посажен в арестное отделение за те бесчинства, вакханалии и преступления, которые им были совершены, я публично сказал командиру полка, что так и нужно было сделать с начальником, ибо невозможно терпеть безобразия, совершаемые в нашей армии... За что я был отправлен в госпиталь нервнобольных. За мою правду меня хотели объявить сумасшедшим. Тогда мне пришлось переживать тяжелые, безрадостные минуты, и помню, как я был обрадован манифестом 17 октября, помню, как все встретили его как светлый праздник... 1906 год был очень тяжелым для меня. Не буду рассказывать о своей истории с генералом Широковым, в результате которой я очутился в Даниловской слободе. Когда возник «Союз русского народа», я объяснял всем значение его, и, когда было перехвачено секретное письмо «Союза русского народа», я прочел его казакам и объяснил истинное значение. Когда я был послан в Первую казачью дивизию под начальством генералов Самсонова и Вершинина, я переживал там страшно тяжелые минуты, никем не понятый, и после одного из столкновений со своим начальством я сказал ему, что он не человек, а зверь. Таким

образом, где бы я ни был, всегда и во всяком месте совершал революционные поступки, дабы дискредитировать власть. Все, о чем я здесь говорил с целью показать...».

Вдруг за ужином открылось ужасное: Руська болен, находится в больнице, от него скрывали. Скрывали, скрывали! Уже шесть дней! Знал весь двор, и только он, отец, в неведении. Подлую конспирацию провалила Приходькина дочка, толстуха Зоя, прибежавшая с вытаращенными глазами: «Как дела у Русика? Я слышала, ему лучше?» Павел Евграфович обомлел, голос у него исчез, и, на секунду оцепенев, он ждал, что ответят сидевшие за столом.

Вера, ничуть не смутившись, объяснила: да, лучше, вчера дозвонились в больницу, положение удовлетворительное, но продержат не менее двух недель. Передавал всем привет.

— Кто дозвонился? Куда? — ахнул Павел Евграфович.

— Я,— сказала Валентина.— В Егорьевск.

— Что с Руськой? Почему ничего не знаю?

— Папа, зачем этот вздор? Как тебе не стыдно? — Вера, якобы возмущенная, махнула на Павла Евграфовича рукой.— Перестань, пожалуйста.

— Что с Руськой?! — закричал Павел Евграфович.

— Папа, ты с ума не сходи. Ты эти номера брось.

Вера грозила пальцем, Эрастович смотрел сердито. Все это, конечно, разыграли, не хотели при чужом человеке выглядеть лгунами. И, продолжая игру, не желали ничего говорить! Он, чуть не плача и одновременно задыхаясь от ярости, требовал: немедленно объясните! Он действительно ничего не знает! Смотрели на него, как на глупца. Нет, как на человека конченого. Вера якобы мягко, якобы терпеливо пыталась внушить:

— Папа, ну как же так? Во вторник ты сидел вот здесь, мы вошли, разговаривали... Потом ты ушел к себе...

— Павел Евграфович, вы переутомились. С вашими мемуарами,— сказал Эрастович.— Вам надо передохнуть.

Павел Евграфович закрыл руками лицо.

— Бог ты мой, могу я узнать...

Заговорила свояченица:

— А ночью, вы знаете, услышала стук, испугалась, вхожу, он на кровати одетый, то есть в пижаме, и спит... Свет горит, папка на полу, и все бумажки рассыпаны...

Наконец дознался: Руська получил ожоги, слава богу, не слишком опасные. Работал он там, как бывший танкист, на тракторе. Трактор куда-то провалился. В прогоревший торф. Подробностей не знал никто, поехать туда сейчас же, что следовало сделать, почему-то не поехали. Толстуха Зоя предлагала якобы простосердечно:

— Ребята, давайте туда съезжу, а? В Егорьевск? Я сейчас свободна, у меня отпуск. Абсолютно не трудно, я с удовольствием...

И это при живой жене, при первой жене, и при сестре, и при сыновьях... Какая-то ерунда несусветная. Вера бубнила невнятное:

— Спасибо, Зоечка, сейчас как будто нужды особой вроде бы...

Валентина, сжимая надутые губы, отчего лицо получалось квадратным и злым — это выражение появлялось у нее, когда они с Руськой ссорились, давно уже не ссорились, все затухло,— молча гремела посудой, потом ушла. Его не касалось, что там кипело между женщинами. Но уж будьте любезны, когда случилась беда... Он почувствовал злобу против Валентины... Сводить счеты в такой момент!

— Я поеду... Дайте адрес... Поскорее! — Павел Евграфович, суетясь, поднимался из-за стола.

Все закричали. Набросились на него. Махали лицемерно руками. Он их почти не слышал, думая о Гале: хорошо, что не дожила. Старик поедет в больницу, потому что женщины, которые морочили сыну голову тридцать лет, не могут его поделить. Ах, бог ты мой, сам виноват! Сам, сам виноват, глупец, беспринципный человек. Всю жизнь — по воле собственного хотения. Вот и наказание — некому воды... Околевай, как собака, среди чужих... И одновременно жалость к сыну невероятной силы, до слез, стискивала Павла Евграфовича. И как могут сидеть спокойно под абажуром, пить чай? Валентина приносит варенье. Верочка выбирает без косточек, накладывает в розетку. Значит, в эту минуту не все равно — с косточками или без косточек?

Они на него шикали и махали руками, как на курицу, залетевшую со двора на веранду.

Бормотал, задыхаясь, продираясь сквозь их руки, крики, испуг:

— Зачем вы едите... варенье?

— Витя! — кричала Вера.— Капли! У него на столе!

Она его уложила в комнате. Все ушли. Стало тихо Держала его руку, считая пульс, и смотрела паническими глазами. Объясняла шепотом:

— Папочка, не волнуйся, ему уже лучше. Ты совершенно не беспокойся... Валя с ним говорила...

— Но как вы могли? Столько народу...

— А что можно сделать, если потребовал...— Еще тише: — Чтоб никто не приезжал. Понимаешь? Никто... Валентина, конечно, обижена, Мюда ехать боится, я тоже не хочу...

Радостная догадка:

— Значит, он не один?

— Я не знаю... Я думаю... Мой брат — человек таинственный...

— Пустой малый! — Сделал движение пальцами, означавшее: всему конец! Но — отпустило.

Поздно вечером тихонько стучали: Графчик. Вошел почему-то на цыпочках, как входят к больному, и заговорил шепотом. Принес последний номер «За рубежом».

— Вас проведать, Павел Евграфович... И Руслану передать кое-что... Положительную эмоцию...

— Что такое?

— Как его состояние, во-первых?

И этот все знал! Павел Евграфович, помрачнев, опять вспомнив злодейский заговор, ответил сухо: удовлетворительное. К Графчику Павел Евграфович относился доброжелательно, считал его человеком смышленым, начитанным, кроме того, учитель физкультуры проявлял знаки внимания, приносил журналы и книжки (у детей не допросишься), охотно вступал в беседы и слушал с интересом, задавая неглупые вопросы, но теперь Павел Евграфович насупился: закралось подозрение, что Графчик был в сговоре. Почему не принес «За рубежом» раньше?

Графчик, развязно присев на маленькую, детскую скамеечку, отчего было похоже, будто сидит на корточках — Павел Евграфович использовал скамеечку, чтобы зашнуровывать обувь,— рассказывал что-то юмористическое. О каком-то приятеле.

— И знаете, манера такая: «Хочешь положительную эмоцию? За пять рублей?» Или позвонит по телефону: «Могу дать положительную эмоцию. За рубль...» Ха-ха!

— Это что же, шутка?

— Оно и шутка, оно и... От рубля не откажется.

— Хорошие у вас приятели.

— Парень он недурной. Но он игрок, понимаете? Всю жизнь играет во все...

Стал рассказывать про игрока, неинтересное.

Павел Евграфович перебил:

— Что вы хотели сообщить, милый Анатолий Захарович? В качестве положительной эмоции.

— Да вот что: передайте Руслану, что его главный соперник в битве за дом, кажись, отпал. Кандауров.

— Как отпал?

— Отпал,— шепотом повторил Графчик и сделал значительное лицо: округлил глаза и губы вытянул трубочкой.— Так мне думается. Не до того ему. Серьезно болен.

— Да? — спросил Павел Евграфович. Не верилось, что молодые люди могут серьезно болеть. Графчик кивал. Лицо было значительное. И это не вязалось с тем, что он сидит на детской скамеечке, как будто на корточках.— Чем заболел?

— Чем-то плохим. Я ему зла не желаю. Дай бог ему выкарабкаться, но, по-моему, дело худо.

Павел Евграфович сидел на кровати, молчал, думал.

— А вы, Анатолий Захарович, случайно не игрок?

— Я? Ну что вы! — Графчик засмеялся и встал рывком со скамеечки.— Что вы, что вы! У меня семья, мне некогда. Впрочем, можете считать, что я вам ничего не рассказывал. В самом деле... Как глупо!

И он стремительно вдруг исчез. Павел Евграфович зачем-то поплелся к Полине. Было черно, как ночью, звезды едва мерцали сквозь мглу. Каждый день временами дымная мгла. Зачем к Полине? Что можно сказать, если дело худо? Полинин муж Колька умер много лет назад, она была еще молодая, лет пятидесяти, могла устроить свою жизнь, но не захотела. Галя ей советовала устроить. Причем немедля, терять время было нельзя. Наметила ей одного знакомого, врача по детским болезням. Полина отказалась. Дело вот в чем: люди, подоб-

ные Мигулину, однолюбы. Они могут любить что-нибудь одно: одну женщину, одну идею, одну революцию. Когда возникает выбор, когда начинают тянуть в разные стороны и почва колышется, необходима гибкость, такие люди ломаются. Разве Мигулин мог не полюбить ее! Объявили приговор — к расстрелу, всех командиров к расстрелу,— выслушали спокойно, только кто-то один, кажется, командир комендантской сотни, потерял сознание, упал, Мигулин не пошевелился во время суматохи, смотрел презрительно, как упавшего поднимают. Вдруг Ася из зала: «Сережа! Я с тобой!» И такой живой, пронзительный, могучий и воспламеняющий крик, что Мигулин в одно мгновение из окаменевшего серого старика превратился в счастливого человека: улыбался, глаза сверкали, он что-то шептал, кивал... Когда я вернулся на другой день с охоты — это было как глоток воды, я бы умер от нервного истощения! — Ася встретила меня у калитки дома. Сказала, что пробыла всю ночь у тюрьмы. Смотрела с ужасом. «Ты ходил на охоту?!» Я ходил, ходил, я ходил на охоту, ничего изменить нельзя, я ходил на охоту, потому что не мог видеть, не мог разговаривать... Оставалось тридцать два часа до исполнения приговора... Она закричала: «Ты ничего не знаешь! Послана телеграмма в Москву с ходатайством о помиловании!» Я ничего не знал. Знал только, что в последний день суда пришла телеграмма Реввоенсовета Республики с просьбой учесть поведение Мигулина на суде и вынести мягкий приговор. А ведь Мигулин закончил последнее слово так: «Видите, моя жизнь была крест, и, если нужно нести его на Голгофу, я понесу. И хотите верьте, хотите нет, я крикну: «Да здравствует социальная революция! Да здравствуют коммуна и коммунисты!» Но телеграмма Реввоенсовета опоздала — приговор вынесен. Однако Янсон тем же вечером отправил телеграмму во ВЦИК с просьбой амнистировать Мигулина и мигулинцев... Вот этого я не знал... И, конечно, не знал, что поздно ночью пришел ответ из ВЦИКа...

Павел Евграфович для чего-то взял со стола папку со стенограммой. Шел в потемках через кусты к домику Полины и по дороге вдруг заметил: в руке-то папка! А зачем? Для чего ее к Полине тащить? Совсем старый спятил. Не помнит, что творит...

— Я к тебе в гости направился,— сказал Павел Евграфович,— и для какого-то черта папку с собой забрал...— И он в сердцах шлепнул папку на стол.

На верандочке за пустым столом сидели трое: Полина, ее дочь Зина и маленькая Аленушка. О чем-то разговаривали и сразу замолчали, когда Павел Евграфович появился. Зина ушла в дом. Полина сказала:

— Паша, дорогой! Будешь пить с нами чай? — Она придвинула к себе папку, развязала тесемки, полистала странички.— Твоя работа, очень интересно... Хочешь, чтоб я почитала?

— Да ничего я не хочу! Дай сюда. Это я просто забрал с собой ненароком. Из дома случайно унес, понимаешь?

— Понимаю, Паша. Я всегда тебе рада... Хочешь чаю?

Согласился. Было молчание. Он вспоминал: зачем сюда пришел? В такую поздноту? Ведь одиннадцатый час. Пришел за чем-то важным. Никак не впоминалось. Нет, никак. Никак, никак не вспоминалось. Не мог же просто так, здорово живешь, прийти к людям ночью? Нет, не вспоминалось. Так бывало: возникает каверзная пустота и ничем, ничем, абсолютно ничем ее заполнить нельзя. От напряженных усилий вспомнить он внезапно ослаб, немного испугался, потому что от напряжения мог быть мозговой спазм, и решил перестать думать. Единственное, что помнилось: было что-то связанное с Мигулиным и с Асей. С тем, как Мигулин принял расстрел. Он принял расстрел спокойно, а помилования не выдержал. Янсон вспоминает. В своей книжке двадцать шестого года. Там вот что: надо было торопиться, надвигалось время приведения приговора в исполнение. Оставалось чуть больше суток. Ведь если опоздают с ответом из Москвы хоть на полчаса по каким угодно причинам — техническим, метеорологическим,— конец! Помню давящее ожидание. Меня не допускали. Совещались впятером: только члены суда и Сыренко. Прежде чем обратиться во ВЦИК с просьбой о помиловании, решили потребовать у приговоренных честное слово... Какая наивность! Но было так, именно так. Все решалось под парами революционного клокотания. Янсон вспоминает: свидание с Мигулиным состоялось в канцелярии Балашовской тюрьмы, с остальными — в камере. За ночь Мигулин сильно постарел. Когда Янсон сказал, что будет ходатайствовать о помиловании, старик не выдержал и зарыдал. Янсон называет Мигулина стариком. Мигулину тогда сорок семь, Янсону двадцать восемь...

— Если б вы знали, дорогие мои,— сказал Павел Евграфович,— какое было облегчение! Я ликовал, все ликовали. А Янсон очень красочно описывает вот тут, я сейчас найду, это отдельно от стенограммы, я отдельно выписал из его книжки. Вот! Нашел. Вы хотите? Вам интересно? Нет, в самом деле интересно, или вы просто из вежливости?

Аленка кивала, Полина шептала как будто вполне искренне:

— Очень, очень. Паша, ей-богу, очень.

И он стал читать:

— «Старому солдату было легче проститься с жизнью, чем вернуться к ней. Когда мы подходили к камере остальных, то там прекратилось пение какой-то революционной песни. Мы вошли, кто-то из заключенных крикнул: «Встать! Смирно!» Люди повскакали с пола. Когда мы сообщили о цели нашего прихода, радостное возбуждение было велико. Возгласы «На Деникина!», «Да здравствует Советская власть!» заполнили камеру. Люди радовались возможности жить и бороться...» — Он прервался на мгновение, потому что вошла Зина, что-то сказала на ухо Алене, та сейчас же ушла, а Зина села на ее место.— Зиночка, тебе должно быть интересно. Ты любишь психологические переживания. Хочешь узнать, что испытывает человек, приговоренный к расстрелу? Я прочту из записей Мигулина. Это в другом месте. Он записывал уже в Москве, по памяти. Прочитать, или, может быть, поздно?

— Прочитайте, Павел Евграфович,— сказала Зина и опустила голову на руки.

Ему показалось, что читать, пожалуй, не стоит. Настроение не совсем подходящее. Да и час поздний. Но уж очень хотелось. Вдруг постучали в дверь с крыльца. Свояченица. Его разыскивают. Полина сейчас же воскликнула:

— Любочка, Любочка! Иди сюда!

Старухи стали шептаться. У него пропало желание читать потому, что свояченица — он знал это — была равнодушна к истории Мигулина. Он обратился к Зине:

— Зина, если хочешь, я прочитаю, а если нет, тогда в другой раз. Можно вообще не читать. Я ведь занес эту папку сюда совершенно случайно.

— Павел Евграфович, вы на меня не обращайте внимания. Я вся разбитая, я вообще не человек. Целый день по жаре — то в больницу, то в институт,— сказала Зина,

продолжая сидеть, опустив голову на руки.— Читайте, пожалуйста.

Он поколебался.

— Ну хорошо, если ты просишь, я почитаю немного. Значит, так. Это записи, которые Мигулин сделал в Москве, в гостинице «Альгамбра», куда его привезли из Балашова. «После выслушанного приговора в просьбе собраться нам в одну камеру, чтобы провести последние часы вместе, отказано не было. Вот здесь-то, зная, что через несколько часов тебя расстреляют, через несколько часов тебя не будет, крайне поучительно наблюдать таких же, как ты, смертников, сравнивать их состояние со своим. Здесь человек помимо своей воли сказывается весь. Все попытки скрыть истинное состояние души бесполезны. Смерть, курносая смерть смотрит тебе в глаза, леденит душу и сердце, парализует волю и ум. Она уже обняла тебя своими костлявыми руками, но не душит сразу, а медленно сжимает в своих холодных объятиях... Некоторые и при такой обстановке умеют гордо смотреть ей в глаза, другие пытаются это показать, напрягая остаток духовных сил, но никто не хочет показать себя малодушным. И себя и нас старается, например, обмануть вдруг срывающийся с места наш товарищ, начинающий отделывать чечетку, дробно выстукивая каблуками по цементному полу. А лицо его неподвижно, глаза тусклы, и страшно заглянуть в них живому человеку. Но его ненадолго хватает... На полу лежит смертник. Он весь во власти ужаса. Сил нет у него бороться, и сил нет без глубокой, полной отчаяния жалости смотреть на него...» А ведь прекрасно пишет, черт! А? Правда хорошо? Стиль очень красивый, литературный. Мог бы и писателем стать.

— Павел Евграфович...— Зина смотрела странно, пугающе, глаза красные.— А я вам хочу сказать, между прочим: в нашей жизни, где нет войн, революций... тоже бывает...

— Что, что? — спросил Павел Евграфович.

— Мне, например, хочется иногда... чечетку.

Она поднялась со стула, руки раздвинула локтями в стороны, как цыганка, лицо ее затряслось. Полина проворно подошла к ней, обняла за плечи, увела. Свояченица шептала:

— Пойдем, пойдем, Паша. Надо идти. Пойдем...

— Постой! Я пришел...— Вдруг вспомнил: помочь Полине. Люди не доживают до старости, болеют, уми-

рают, и помочь не может никто. Но помогать надо. Внезапно все разрушается. Но все равно надо. Красная луна вставала над соснами. И запах гари душил. Теперь они будут долго страдать, долго бороться, надеяться до последнего, и этот молодой, неприятный, который Полину не уважал и относился к ней, как к домработнице, начнет погружаться в свою погибель, как в топь, все глубже, все безвозвратней, пока макушка не исчезнет в свинцовой зыби.

Павел Евграфович сидел, прижимая папку к груди, и терпеливо ждал, когда женщины вернутся на веранду.

И однажды в конце августа как будто лопнула струна — жара прекратилась. Но не все дотянули благополучно до этого чудесного времени. Одни ужасно похудели, другие подорвали здоровье инфарктом, иные вовсе не дождались прохлады, но те, что остались живы, испытали необычайную бодрость и как бы наслаждение жизнью: они теперь иначе относились к городу, иначе относились к воде, иначе относились к солнцу, к деревьям, к дождю. Впрочем, эта пора наслаждения продолжалась недолго, дня два. А на третий день все забыли о недавних мучениях — чему помог зарядивший с утра мелкий, сеявший осеннюю скуку дождь — и стали заниматься делами. Валентина с Гариком переехали в город, надо было готовиться к школе, искать по магазинам форму, учебники, то да се. Мюда и Виктор тоже исчезли. Виктора послали на картошку в колхоз. Верочка затеяла переклейку обоев в городской квартире, а Эрастович уехал в Кисловодск. Опустели дачи, затихли детские голоса. Когда Павел Евграфович шел в санаторий с судками, он не встречал на берегу людей, пляжи были пустынны, у причала теснились никому не нужные лодки. Слегка одичавшие собаки бегали по шоссе, хозяева их пропали. Павел Евграфович закончил письмо Гроздову из Майкопа. А Руслан гулял по участку с палочкой. У него был бюллетень до середины сентября. Руслан любил тишину и исчезновение людей — конец августа, начало сентября, — но в жизни этой сладости было так мало! Было раз в юности, потом как-то в середине пятидесятых, когда ушел с завода и еще не устроился никуда, и вот теперь. Он гулял по участку, где все так тихо дичало, и сохло, и ждало осени, и думал: можно начать сначала. Ничего страшного. Вот ста-

рик, он начинал много раз. Он только и делал, что начинал все сначала.

Руслан первый увидел черную «Волгу», которая вкатилась во двор, встала на повороте каменистой дорожки, и из машины вылезли три человека. Вылезши, стали закуривать и не спеша оглядываться по сторонам. Один держал красную папку. Руслан подошел, не особенно торопясь, и спросил, кого ищут. Те ответили, что никого не ищут. Разговаривая, они пошли в глубь участка. Тот, что нес красную папку, шел посередине, держал папку двумя руками сзади и слегка постукивал ею по спине. Руслану не понравилось, как он постукивает папкой по спине. Была какая-то нагловатость. Они шли медленно, прогулочным шагом и ничем не интересовались вокруг, разговаривали между собой. Как будто все им было известно.

Руслан подошел к черной «Волге», в которой сидел шофер в замшевой куртке, и спросил, откуда машина.

— А вы не знаете? — спросил шофер.

— Нет.

— Ну да!

— Не знаю.

— Машина из управления. Здесь пансионат будут строить. Для младшего персонала...

— А наши дома? — удивился Руслан. Вопрос был глуп. Он задал его только потому, что после жары, болезни, больницы как-то ослаб душой.

— Дома! — Шофер усмехнулся, покачав головой. Выглянув из окошка, посмотрел на нищую деревянную дачу из потемневших бревен, где прошла вся Русланова жизнь, и опять усмехнулся, на этот раз несколько насильственно, как плохой шутке.— Дома...

Не понимают того, что времени не осталось. Никакого времени нет. Если бы меня спросили, что такое старость, я бы сказал: это время, когда времени нет. Потому что живем мы, дураки, неправильно, сорим временем, тратим его попусту, туда-сюда, на то на се, не соображая, какая это изумительная драгоценность, данная нам неспроста, а для того, чтобы мы выполнили что-то, достигли чего-то, а не так — пробулькать жизнь лягушками на болоте. Например, выполнить то, о чем сам мечтал, достигнуть того, чего сам хотел.

А ведь одной малости не хватает — времени! Потому что порастрачено, пораскидано за годы, бог ты мой... Они говорят: куда ты, старый, поедешь? Погода скверная, дожди, холод, простудишься, схватишь воспаление легких. В твоем возрасте воспаление легких — конец. Подожди до весны, никуда твоя Ася не убежит, никуда Мигулин не денется. Подумаешь, спех! Государственная важность! А о таком не догадываются: сам-то я до весны никуда не денусь? Нету времени ждать, нету, нету, ни одного денечка не остается.

Стали меня с дачи сдергивать, чтобы под надзором держать: Верочка умоляла, Руслан на такси прилетел, свояченица притаскивалась. «Не понимаю, Павлуша, как может тут жить живой человек?» Сидит в пальто, зубами стучит от холода. А я прохладную температуру нарочно соблюдаю, не больше тринадцати градусов, потому что жить в холоде полезно, как и спать на жестком. «Павлуша, ты меня извини, конечно, но у тебя тут запах тяжелый. И это тоже, ты считаешь, полезно?» Закричал: «А старика жизни учить — полезно? Когда этой жизни — на донышке?» Кричать не надо. Они не виноваты. Не понимают. Свояченица расплакалась. Оставили в покое, и вот: на даче один, вокруг ни души, снег выпал, река стоит черная, незастылая, по берегам бело. Скамейки мокрые. Когда идем с Арапкой в санаторий за обедом — а идем теперь медленно, минут сорок в один конец, — отдыхаем стоя, сидеть на мокром неохота, и дышать трудно, воздух сырой. Идем по берегу и все поглядываем на шоссе, не едет ли Дуся-почтальонша на велосипеде. Жду от Аси весточки. Когда? Написала, что в октябре ляжет в больницу на месяц ноги лечить, а как выйдет из больницы, даст знать, я к ней тотчас отправлюсь. Другого времени нет. Пускай в ненастье, в холод, теперь выбирать не приходится. Ах, упущено, упущено! Столько лет... А ведь только для того, может быть, и продлены дни, для того и спасен, чтобы из черепков собрать, как вазу, и вином наполнить, сладчайшим. Называется: истина. Все истина, разумеется, все годы, что волоклись, летели, давили, испытывали, все мои потери, труды, все турбины, траншеи, деревья в саду, ямы вырытые, люди вокруг, все истина, но есть облака, что кропят твой сад, и есть бури, гремящие над страной, обнимающие полмира. Вот завертело когда-то вихрем, кинуло в небеса, и никогда уж больше я в тех высотах не плавал. Высшая истина там! Мало нас, кто там побывал.

А потом что ж? Все недосуг, недогляд, недобег... Молодость, жадность, непонимание, наслаждение минутой, то работа утягивала, семья, беды, то к чертям на кулички забрасывало, хотя и ненадолго, всего на два года, ни за что ни про что, считалось, что повезло, то война, фронты, госпитали, то опять из последних сил, обыкновенно, как все... Вернулся живой и теперь живой... Бог ты мой, но времени не было никогда! Снег выпал рано, перед ноябрьскими, в тот год, когда Мигулина отправили из Балашова в Москву; осужден, помилован, разжалован, но оставлен жить. Все затевай сначала. Котел перевернулся, вари заново. Как я когда-то. В сороковом приехал в Москву из Свободного драный, больной. Как жить? Бог ты мой, жить, жить! Писарем на заводишке, где клепали какую-то ерунду. Через год в августе с ополченцами на войну. А он в ноябре девятнадцатого стал гражданским человеком: заведующий земельным отделом Донисполкома. Ростов еще не был взят, сидели в Саратове. Но через два месяца снова дали полк...

С Русланом приехали двое, мужчина и женщина. Хотят жилье снять на зиму. Он после инфаркта, воздух нужен, покой, а она будет за ним ухаживать. Оба довольно молодые, лет сорока. Роман Владимирович и Майя. Чаю? Компот санаторский? Нет, нет, спасибо, мы накоротке, только выясним подробности. На веранде холодно, сели в комнате.

Сразу догадался, что за птицы, сейчас начнут врать. Решил про себя: если начнут врать, сдавать им ничего не нужно. Руслан в людях не разбирается, они его одурачат. Спрашиваю строго — и в точку:

— Вы муж и жена?

Переглянулись. Женщина улыбается.

— Скорее нет, Павел Евграфович... Мы друзья. Коллеги по работе.

Улыбка у нее открытая, обольстительная и дающая понять. Красивая улыбка. Губы красивые. И женщина пикантная, пухленькая, лицо румяное, хотя не первой молодости. Романа Владимировича можно поздравить. Но дачу им сдавать не желаю. Женщина спрашивает разрешения закурить, я киваю хотя и согласительно, но сухо, она поняла — тонкая женщина, с чутьем! — и сразу:

— Ах, у вас, видимо, не курят? Извините, я потерплю.

Возражать не стал. Пускай терпит. Чем-то они мне не понравились.

— А ваша работа какая, если позволите?

— Мы научные сотрудники,— отвечает Роман Владимирович.— Занимаемся биологией. Я кандидат наук.

Потом сами на меня накидываются: как печи топить?! Не замерзаю ли? Газ в баллонах? Воды горячей нет? А как происходят водные процедуры? Туалет действует? Бреюсь каждый день? Не угнетает ли одиночество? Не мучит ли то, что называется «великой деревенской скукой»? Соседи есть? Собаки, вороны? Старуха по прозвищу Маркиза? Она живет в этом доме или в соседнем? В гости к ней захаживаете? И она к вам никогда? Что ж так? Не о чем говорить? А что вечерами? Телевизора у вас нет? Глаза не устают? Спите со снотворным? И вдруг все у меня переворачивается, и я догадываюсь: это совсем не то, что я думал! Совсем другое. Абсолютно не то. Догадываюсь. Глупые дети, становится их жаль, как всегда. Руслан сидит как в воду опущенный, на себя непохож. Как будто от этих людей зависит. Как будто не он их сюда, а они его привезли. А вдруг правда зависит?

Роман Владимирович буравит пристально-улыбчиво сквозь толстые очки и все время указательным пальцем свое лицо, смуглое, арабское, теребит: то в ухе сверлит и что-то, пальцами скатав, на пол сбрасывает, то в ноздрю залезет, то губу трет.

— Вы бы рассказали, Павел Евграфович, коли уж нас случай свел...— Сунул палец в рот и ногтем в зубе колупается.— Хоть немного о Мигулине... Вы о нем материал собираете, как я слышал... Интереснейшая фигура! Если есть минутка свободная...

— Зачем вам?

— Слыхал о нем, читал кое-что. Было б прекрасно хоть немного...

Врет. Не слыхал, не читал, а с Руськиных слов.

— О Мигулине могу рассказывать долго. Но сын мой к такой беседе не располагает. Что с вами, Руслан Павлович? Вы белены объелись? Или человека убили?

— Рассказывай! — кивает мрачно.— Просят тебя...

Нет, язык не поворачивается, неохота, ни к чему это им. Они для другого приехали. Бубню что-то через силу, из вежливости, они слушают вроде бы внимательно, Ро-

ман Владимирович головой покачивает, приговаривает «так, так», а женщина подошла к стене и разглядывает портрет Гали. Летом после войны на речке. Долго глядит на портрет, не спрашивая ничего. Тогда, прервав рассказ, говорю:

— Хотите спросить о моей покойной жене? Спрашивайте, пожалуйста. Ведь вам нужно спросить.

Нарочно нажимаю на «нужно». Но те делают вид, что не заметили. Роман Владимирович вдруг:

— Ваша покойная жена тоже как-то связана была с Мигулиным?

Тут я его насквозь узрел. Никаких сомнений не осталось.

— Нет,— говорю,— ошибаетесь, дорогой мой.

— А вы сами, Павел Евграфович, не чувствуете ли,— указательным пальцем подпер очки на переносице, так что глаза будто выпрыгнули вперед,— какую-то, что ли, неосознанную, ничтожную, может быть, вину перед памятью Мигулина?

— Вину? — переспрашиваю. И чую, он меня опрокинул. В самое сердце холод вонзил. Зачем же спрашивает, негодяй? Вся сила из меня вышла, и я молчу.

Он извиняется, вскочил, руки к груди прижимает, побежал в другую комнату, чайник принес зачем-то старый, распаявшийся.

— Нет, милый доктор. Перед ним вины своей не чувствую. А перед всеми остальными — и перед вами — да, виноват...

— Чем виноваты, Павел Евграфович?

Объяснил как мог: тем, что истиной не делился. Хоронил для себя. А истина, как мне кажется, дорогой кандидат медицинских наук, ведь только тогда драгоценность, когда для всех. Если же только у тебя одного, под подушкой, как золото у Шейлока, тогда — тьфу, не стоит плевка. Вот почему мучаюсь на старости лет, ибо времени не остается. Не знаю, понял ли что-нибудь. Скорей всего, нет, хотя поддакивал «так, так», но во взоре, пристально-улыбчивом, сквозь очки, тот же холод. Скорей всего, сделал вывод, что опасения подтверждаются: старик несет околесную. Маниакально-депрессивный психоз на почве неясного чувства вины. Осложнено тоскою вдовца. Бедные ребята! Я им сочувствую, могу оценить тревогу, перепуг, то, что они кинулись к этим умникам, притворившимся дачниками, но все равно понять не могут.

— Ты не можешь понять,— шепчу, отозвав Руслана в соседнюю комнату и затворив дверь,— потому, что мы разные существа. Сорок лет назад, когда тебе было одиннадцать, а мне тридцать три, мы были ближе друг к другу, чем теперь. Потому что оставалось много времени. А теперь у тебя есть, у меня же нет ничего...

— Отец! — Он схватил мои руки, сжал их с силой.— Мы волнуемся, мы не хотим, чтоб ты жил один, чтобы ты уезжал... Ведь ты у нас замечательный... Таких людей, как ты...

Он прижимает меня к себе, как будто я мальчик в его руках, большой ладонью поглаживает мою голову, мою тощую шею, мою бессильную спину. Как я люблю его!

— Я вам прощаю,— говорю я.— Весь этот бред с докторами...

— Прости, отец! Мы хотели... Это друзья...

— Бог с вами. Все равно не можете понять.

— Не можем, отец! Не можем, не можем... Ты прав...

— Конечно, ведь *нет же времени*.

— Поэтому как хочешь... живи...

И я вижу на его глазах слезы. Через несколько дней он провожает меня на вокзал и сажает в вагон электрички, к окну. Я давно не ездил по железной дороге. Интересно смотреть на долго тянущиеся многоэтажные пригородные дома, они восхищают и пугают одновременно (где взять людей для такого множества домов?), на мокрые асфальтовые дороги, на хвосты автомобилей перед шлагбаумами, металлическое сверкание, свет фар среди бела дня, цветные зонты, на детей, бегущих под дождем с портфелями на голове, на дачные веранды, заборы, черноту деревьев, туманные луга, белую собачку, сидящую на вершине песчаной горы; и снова дома, дома, дома, бело-серо-блочно-громадное, не имеющее названия, небывалое, грозное, уходящее за горизонт. По вагону идет продавщица мороженого, и я покупаю снарядик в скользкой вафельной оболочке. Не так уж хочется есть мороженое, но все вокруг покупают снарядики и грызут, как мы когда-то грызли морковь на даче в Сиверской, воровали с чухонского огорода. Мама однажды сильно побила. Я возвращаюсь в Сиверскую. Темные сырые заборы, сумеречное небо — ноябрьский день или белая июньская ночь? Я возвращаюсь пригородным

поездом. В Питере все смутно, тревожно, каждую ночь стрельба, мама запрещает мне ехать вечерним поездом одному, недавно ограбили целый вагон. «Если задержался в городе, лучше переночуй дома и приезжай утром». Но нет терпения ждать! Я мечтаю хотя бы ночью, летними потемками пробежать мимо дачи, где на втором этаже окно Асиной комнаты всегда полуоткрыто, колеблется, как живое. Белое небо горит в стекле. Ася спит и не знает, что я бегу по песчаной дороге мимо. Но завтра я с нею увижусь утром. Вот почему не могу оставаться в Питере. Вафельный снарядик несъедобен. По вкусу он напоминает ледышки, которые я любил когда-то, в незапамятные времена, до Сиверской. В полдень автобус привозит меня в неизвестный город.

Какие-то люди ведут меня по тротуару, уложенному бетонными плитами. В зазорах между плитами чернеет хвоя. Ведут под руку, будто я беспомощный старец, могу на ровном месте упасть. Плиты мокрые, кое-где нерастаявший снег, ледяная корка, можно поскользнуться, но я иду осторожно. Не надо меня держать. Есть старики куда хуже, я еще ничего. «Вон там!» — говорит женщина, показывая на высокий дом среди сосен. Башня в двенадцать этажей. Женщина исчезает в дверях магазина. Оттуда выходят люди, неся стеклянные пивные кружки. Некоторые несут по три, по четыре. Один сделал из кружек гирлянду и повесил на шею. Удивительно вот что — я не испытываю никакого волнения! Мне просто хочется ее скорей увидеть, как можно скорее, для того чтобы что-то узнать. Человек живет вожделением, когда-то желал любви, удач, громадного дела, благополучия близких, теперь ничего, кроме единственного — узнать. Последняя страсть. Бог ты мой, что же у Аси узнать? О чем спросить?

В лифте пахнет, как в москательной лавке. На площадке двенадцатого этажа стою и смотрю вниз. Сосны, крыши домов, пегими пятнами снег, слюдяным изгибом блестит река, за которой хвойная даль, синева. Есть такие картины, написанные древними красками, их находят в подземных гробницах, в склепах, стоит к ним прикоснуться, и они рассыпаются. Но сердце колотится не от волнения, не от страха, что притронусь и рассыплются, а от предчувствия того, что предстоит узнать.

Меня по ошибке принимают за доктора. Минутная чепуха: пройдите сюда, вот полотенце, вырывают из рук

портфель, мою драгоценность, и куда-то хотят отнести, но я не даю. Я говорю: «Дайте воды. Мне надо принять лекарство». И в разгар суматохи маленькая, в седых космочках старушка шасть из дверей, вся клонящаяся вперед, как бы гнутая навстречу, сухонькая, как кикимора, я вижу зеленоватое темя, мятую кожу, и в глазах — голубых, знакомых, Асиных — сияет ужас. Вокруг счастливое щебетание, плеск голосов, легкие руки, как ветви, обнимают меня. И сразу обо всем, о всех временах, о пятидесяти пяти годах. И о главном, о чем нужно до зарезу узнать. Вот что: зачем он выступил тогда на фронт? В августе девятнадцатого. Она должна знать. Никто в целом мире не знает, никого не осталось, кроме нее. Мумиевидная старушка глядит на меня сияющими глазами и странно моргает, подмигивает. «Тебе это важно?» — «О да! Очень, очень!» — «Я понимаю, да, да...» Она кивает сочувственно, соболезнующе. И продолжает делать знаки глазами, ее губы складываются в таинственную полуулыбку. «Павел, я тебя так хорошо помню, дорогой мой...»

«Мне нужно знать истину!»

«Понимаю, да, да,— кивает старушка.— Понимаю, Павел. Ты не устал? Не хочешь прилечь? Я написала все, что могла. Больше я ничего не знаю». Входит молодая женщина и ставит на стол три стеклянные пивные кружки. Потом одну кружку водружает на буфет, наливает в нее воду и ставит в воду еловую ветку. Любуясь, оглядывает свою работу. Все время, пока женщина занимается кружкой и веткой, старушка делает мне знаки глазами. Постепенно старушка превращается в Асю. Я не замечаю седых космочек, морщинистых щек, вижу только издавна знакомые, скрытно и лукаво мигающие голубые глаза. Как тогда что-то сообщала втайне от взрослых, на Пятнадцатой линии. Женщина, шлепая тапками, уходит, и Ася шепчет в необыкновенном волнении: «Она не должна знать! Я потом объясню. Она догадывается, но мы не дадим ей козыри в руки».

В комнате Аси — угловой, маленькой, светлой, она мне нравится, я рад за Асю — на столе пишущая машинка и повсюду, даже на кровати, разбросаны бумага, копирка. Ася всю жизнь работает машинисткой. С тех пор, с девятнадцатого, когда научилась стучать на «ундервуде» в штабе Мигулина... Разумеется, на пенсии, уже четырнадцать лет. Но без работы не сидит. Стучит дома.

А как можно без работы? Разве это жизнь? Во-первых, не хочет быть тунеядкой, во-вторых — иждивенкой. Ого, зависеть от дорогих внуков, от невестки? Боже избави! Нет уж, у нее всегда будет своя копейка, чтобы быть независимой и чтобы им подкидывать. Они безалаберные, постоянно без денег... Нет, невестка — это особь статья, она сама по себе, с Людмилой даже столоваться не хочет и, кажется, наметила свою жизнь устраивать. Это пускай! Осуждать нельзя, она еще не стара...

«Так, подвяла чуть-чуть, с одного бока,— Ася хихикнула по-молодому, по лицу разбегаются морщинки,— как яблочко лежалое. Да желающие найдутся, подберут. Она женщина с положением. В администрации института. И, говорят, еще дальше шагнет. Вот Борька ничего не умел...— Шепчет: — Она оттого такая опасливая, понимаешь? Оттого знать не знает и слышать не хочет про Сергея Кирилловича... Боится, что повредит... Женщина ух какая расчетливая...»

Молчок, молчок! Ася прижимает палец к губам и опять играет глазами, как в детстве. Теперь вижу недостаток комнаты — почему-то нет двери. Вместо двери портьера. Все слышно. В соседней комнате ходит, шлепая, невестка, слышен ее разговор с сыном. Когда шлепанье раздается вблизи портьеры, Ася понижает голос, едва шепчет — недоступно для моего слуха, я переспрашиваю, как всегда, раздражаясь — или же вдруг начинает говорить преувеличенно громко:

«Удар у меня был страшный! Я пятый экземпляр пробивала. А теперь третий еле виден, сил-то нет. А раньше колотила невероятно. Мне покойный муж говорил: «Тебе на кузне работать, а не машинисткой...»

Неужели эту смешную кикимору я держу на руках, едва не падая от отчаяния, ее молодое, тяжелое — белый живот, белые ноги, запах пота и крови, острый, как скипидар, запах девятнадцатого года, и он вырывает у меня из рук, как будто свою добычу; потом в комнате, не зажигая света, в Балашове, когда душила тоска и чужая любовь и то же самое недоумение: «Зачем он двинулся на фронт? Что за всем этим крылось?» И еще потом бритая, тифозная голова, тончайшая шея, страдание в глазах, злоба ее матери, тогда казалось — после убийства Шигонцева,— что теперь конец, убит не Шигонцев, а Мигулин, зарублен в балке ночью, видели, как Шигон-

цев на лошади светлой масти и с ним неизвестный на темной выехали со двора штаба и поскакали в сторону хутора, Шигонцев вез боевой приказ, кроме того, печати и шифр, ординарец был ранен, дали кого-то в штабе. Мигулин этого черта больного, яростного, Шигонцева терпеть не мог из-за старых дел, из-за Стального отряда, присылать его комиссаром глупость, но кто-то делал нарочно — недоверие тлело, норовили захомутать, обуздать, хотя полностью был оправдан, работал в земельном отделе Донисполкома, потом полк, бригада, смелые действия на юге, опять набирал силу, слегка затерло на Маныче, припозднился, затыркался в Новочеркасске, начался ледоход, переправы губительные, и вот нарочно шлют Шигонцева, железного дурака, непременно желавшего подчинить Мигулина революционной воле, которую, он мнил, олицетворял собственной персоной, слепым, горячечным взором, доигрался, дорвался, зарубили ночью, прострелили странную голову, похожую на плохо испеченный хлеб, лошадь прибрела утром без седока, никогда не узнать имен, это пропало, опустилось на дно — нет, не думайте, что все непременно всплывает на свет божий, кое-что исчезает, до убийц не дотянулись, не доныряли, но убить Мигулина не удается, комиссия от Ревтрибунала фронта не находит улик, опять он на коне, в войсках Фрунзе вместе с Блюхером и Буденным громит Врангеля. Перекоп, станция Воинка, Джанкой, почетное оружие и орден Красного Знамени, и вдруг зимою в холодной комнате при свете керосинки читаю в газете три строчки о том, что арестован бывший комкор за участие в контрреволюционном заговоре, февраль двадцать первого, голодный Ростов, я лечусь, ковыляю, мучаюсь, всех растерял, хожу на службу в Реквизиционную комиссию, бог ты мой, хорошо помню эту зиму, бумажки, жалобы, стрельба, турецкий подданный Кифаров, мануфактурщики, плачущие старухи, мы, мелкие торговцы со столиков на бульваре, смеем заявить, что мы не спекулянты и не скрыватели товаров, а что купили, то у нас на столе, между тем пришел агент и переписал у нас для реквизиции суровую нитку, и ввиду того, что я прибыл с фронта и сейчас служу комиссаром службы связи, прошу выдать ордер на одну кровать с правом реквизиции таковой, так как кровать принадлежала артисту, который убежал с белой бандой, бросаю просителей, заявителей, инвалидов, жалких людей, несчастных сирот, честных тружеников, благоже-

лателей советской власти, мчусь в станицу Михайлинскую, где арестован комкор, на второй день там, забрать Асю, теперь или никогда, черныш в дубленом тулупе, с маузером в желтой коробке встречает на крыльце, щупает белыми глазами, тянет руку за документом, потом говорит: «Взята вместе с ним, по групповому делу. А ты кто ей будешь?» — не помню, что отвечаю, может быть, «друг», может быть, «брат», а может, «никто», и на этом конец, и все, и навсегда, на жизнь, обледенелое крыльцо, красноармеец в тулупе, я сажусь в снег, остальное неинтересно, разве эта сухенькая, гнутая старушонка — она?

Провел два дня в родной станице. Всего два дня! По дороге в Москву. Колебался: заезжать или нет? И друзья отговаривали, и она не хотела ужасно. Нет, не потому, что там родные первой жены, она не боялась, а вот предчувствие. Такое муторное, такая вдруг тоска, что всю ночь прорыдала неостановимо. Он испугался: «Да что с тобой?» Она, конечно, объяснить не могла. Сама себя корила: ну что, дура, изводишься? Что с ним может случиться, с героем войны? Только что награжден орденом. А случилось то, что с ним случалось всегда: не вытерпел, чтобы не влезть в драку, не встать на чью-то защиту. Непременно ему кого-то оборонять, а кого-то бить по морде. В ту пору — в феврале двадцать первого — казаки волновались из-за продразверстки. Опять закипали восстания. В округе буянил какой-то Вакулин, какие-то вакулинцы нагоняли страху, и этот Вакулин, бывший казак мигулинской дивизии, пустил слух, будто Мигулин вернулся на Дон, чтобы пристать к восставшим. А Мигулин спокойно и мирно, хотя с тяжелым сердцем, направлялся в Москву получать почетную должность: главного инспектора кавалерии Красной Армии. Нужна ему эта должность! Опять то же — с Дона подальше. Возможно, и не Вакулин распустил слухи, а кто-то иной. Первый день — разговоры в крик с казаками, жалобы, слезы баб, рассказы о продотрядчиках. Мигулин чуял за собой силу и, никого не боясь, клял местных деятелей и грозил: «Приеду в Москву и в первую очередь пойду к Ленину, расскажу о ваших злодействах». Деятели перетрусили, подсунули к нему провокатора, некоего Скобиненко. А он, как видно, давно ходил по следам Сергея Кирилловича. Рожа этого

негодяя как сейчас перед взором: губастая сволочь, пухлощекий такой, курчавый. Что Мигулин не кричал в гневе — а кричать мог бог знает что, не знал удержу! — все Скобиненко запоминал, записывал. Да что особенного? То, что вскоре было всеми признано и к чему пришли: заменить продразверстку продналогом. Ну и на рассвете третьего дня решились — окружили хату, стучат прикладами в дверь.

«Ася, одно мне неясно, и об одном спрошу: куда он двигался в августе девятнадцатого? И чего хотел?» Молчит старушка, кивает задумчиво, припоминая. Дрожат старушкины веки, как мотыльковые, сохлые крылышки, и прикрывают выцветшие, голубые... После молчания, все вспомнив, говорит: «Отвечу тебе — никого я так не любила в своей долгой, утомительной жизни...»

А через год после смерти старика появился Игорь Вячеславович, аспирант университета. Он писал диссертацию о Мигулине. Когда Павел Евграфович был жив, аспирант с ним переписывался, даже звонил из Ростова, а теперь мечтал получить воспоминания и все документы, собранные стариком. Руслан ему отдал. Игорь Вячеславович понравился Руслану. Они сидели до четырех утра, пили водку, разговаривали о революции, о России, о большевиках, о добровольцах, о чекистах, о генерале Корнилове, о маркизе де Кюстине, о казаках, о Петре Великом, о царе Иване, о том, что есть истина, о любви к народу, о том, что Мигулин своей судьбы не избег, заговора не было, погиб понапрасну, говорили также о нефти и льне, о видах на урожай, а когда на другой день вышли на улицу — Игорь Вячеславович торопился на вокзал,— обрушился внезапный ливень с холодом, с градом, побежали со стоянки такси прочь, спрятались под аркой дома, и Руслан, мрачный с похмелья, думал: истина в том, что Валентина ушла к матери, другой женщины нет, третья женщина не подает вестей, пиджак под дождем превратился в тряпку...

Игорь Вячеславович, костлявый юноша в тесном провинциальном пиджачке, в очках, залепленных дождем, думал вот что: «Истина в том, что добрейший Павел Евграфович в двадцать первом на вопрос следователя, допускает ли он возможность участия Мигулина в

контрреволюционном восстании, ответил искренне: «Допускаю», но, конечно, забыл об этом, ничего удивительного, тогда так думали все или почти все, бывают времена, когда истина и вера сплавляются нерасторжимо, слитком, трудно разобраться, где что, но мы разберемся». Вслух он сказал:

— Кажется, я опоздал на поезд...

Дождь лил стеной. Пахло озоном. Две девочки, накрывшись прозрачной клеенкой, бежали по асфальту босиком.

1978

СОДЕРЖАНИЕ

НЕТЕРПЕНИЕ. *Роман* 5
СТАРИК. *Роман* 409

Трифонов Ю. В.

Т69 Собрание сочинений. В 4-х т. Т. 3. Нетерпение; Старик: Романы / Редкол. С. Баруздин, Ю. Верченко, Ф. Кузнецов и др.— М.: Худож. лит., 1986.— 607 с.

В том вошли романы «Нетерпение» (1973) и «Старик» (1978).

Т $\frac{4702010200\text{-}133}{028(01)\text{-}86}$ подписное

ББК 84Р7
Р 2

ЮРИЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ
ТРИФОНОВ

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ В ЧЕТЫРЕХ ТОМАХ

ТОМ ТРЕТИЙ

Редактор О. Я. Афанасьева
Художественный редактор Е. А. Ененко
Технический редактор Л. И. Витушкина
Корректоры М. Миримская, Е. Ивасюк

ИБ № 4431

Сдано в набор 24.05.85. Подписано в печать 26.10.85. Формат 84×108¹/₃₂. Бумага тип. № 1. Гарнитура «Банниковская». Печать высокая. Усл. печ. л. 31,92. Усл. кр.-отт. 31,92. Уч.-изд. л. 34,14. Заказ № 1199. Изд. № III-2033. Тираж 130 000 экз. Цена 2 р. 50 к. Ордена Трудового Красного Знамени издательство «Художественная литература». 107882, ГСП, Москва, Б-78, Ново-Басманная, 19. Ордена Октябрьской Революции и ордена Трудового Красного Знамени МПО «Первая Образцовая типография» имени А. А. Жданова Союзполиграфпрома при Государственном комитете СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли.
113054, Москва, Валовая, 28